

ШОЛОМ-
АЛЕХЕМ
4



ШОЛОМ-
АЛЕИХЕМ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТИ ТОМАХ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1989

ШОЛОМ-
АЛЕИХЕМ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

МОНОЛОГИ
РАССКАЗЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПОВЕСТЬ

ПЕРЕВОД
С ЕВРЕЙСКОГО

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1989

ББК 84Е1

Ш78

Редакционная коллегия:

Г. БАКЛАНОВ,

М. БЕЛЕНЬКИЙ,

В. ЛАКШИН

Составление, примечания

М. БЕЛЕНЬКОГО

Оформление художника

Е. НИКИТИНА

Ш $\frac{4702210201-203}{028(01)-89}$ подписное

ISBN 5—280—00800—1 (Т.4)

ISBN 5—280—00212—7

© Составление, примечания, оформление. Издательство «Художественная литература», 1989 г.

МОНОЛОГИ

ГОРШОК

Ребе, у меня к вам дело. Вы, наверное, меня не знаете, а может, и знаете, я Ента, Ента Куролапа. Я, значит, торгую яйцами да курами, курами да гусями. У меня свои постоянные покупательницы, два-три дома, они меня и выручают, дай им бог здоровья. Ведь заставь меня платить проценты, я живо вылечу в трубу. А так я держусь,— где подстрелю трешку, где отдам, возьму, отдам — вот и верчусь. Но, что там ни говори, живи сейчас мой муженек, мир праху его, я бы горя не знала. Хотя опять-таки надо признать, что мне с ним жилось тоже не так уж сладко-сахарно, потому как насчет заработков он был слабоват, не в обиду ему будь сказано, все, бывало, сидит-корпит над своими книгами, а тружусь-надрываюсь я. Правда, я к этому приучена с малолетства, меня к труду мама приохотила, ее звали Бася, мир праху ее, Бася-свечница: бывало, накупит у мясников трэфного сала и давай сальные свечи лить, ведь тогда знать не знали ни про керосин, ни про всякие лампы да стекла, которые то и дело лопаются,— у меня, к примеру, что ни неделя, то новое стекло...

Да, о чем бишь у нас шел разговор? Вот вы сказали, мол, рано умер. Еще бы не рано, ведь моему покойнику, моему Мойше-Бенциону, было всего двадцать шесть, когда он умер. Почему двадцать шесть? Судите сами! Девятнадцать ему сровнялось в год нашей свадьбы, да после его смерти пробежало как-никак восемь годочков. Вот и выходит, по моему расчету, двадцать три. Почему не двадцать шесть? Потому что семь лет его болезни я не считаю. Он, конечно, хворал гораздо дольше, он, может, всю жизнь был хворый, верней, всю-то жизнь он, конечно, был здоровый, вот разве только кашель, он всегда кашлял,— кашель его и убил... Он всегда, не про вас будь сказано, кашлял. Впрочем, вовсе не всегда, а только когда кашель нападает. Зато уж как примется кашлять, будет кашлять и кашлять, весь изойдет каш-

лем. Врачи говорили, что это, мол, у него спазмы такие, хочешь — кашляй, хочешь — не кашляй! Это сущая чепуха и ерунда, от них, от врачей, толку, как от козла молока. Взять, к примеру, сына Арона-резника, Иокл его звать. Как-то схватило у него зубы; чего только с ним не делали: и кололи и заговаривали, а толку чуть. Маялся Иокл, маялся, потом взял и засунул себе в ухо чесноку, говорят, чеснок здорово от зубов помогает. Ему и вовсе невтерпеж стало, от боли на стенки лезет, а о чесноке ни слова. Приходит врач и давай у Иокла пульс щупать. Дурак этакий, при чем тут пульс? Хорошо, что Иокла отвезли в Егупец, иначе он бы как пить дать отправился вслед за своей сестрой Перл, она, бедняжка, скончалась от сглазу во время родов, избави вас бог от этого...

Да, но о чем бишь у нас шел разговор? Вот вы говорите — вдова. Овдовела я совсем молоденькой, осталась одна с грудным младенцем на руках, в половине дома на Бедняцкой улице, рядом со столяром Лейзером, вы его тоже должны знать, он живет за баней. Вы спросите: почему только полдома? Да потому, что другая половина не моя, а моего зятя, вы его тоже должны знать, его звать Азриел. Сам он веселокутский, из местечка, значит, Веселый Кут, и торгует рыбой, рыботорговец, значит. И зарабатывает, не сглазить бы, очень даже неплохо. Все зависит от реки. В тихую погоду рыба клюет — и цена на нее вниз ползет. В плохую погоду рыба не клюет — и цена на нее растет. И вот зятек Азриел считает, что лучше, когда рыба клюет и цена вниз ползет. Я ему: «Какой же тебе расчет?» А он: «Расчет прямой. В тихую погоду рыба клюет — цена вниз ползет. В плохую погоду рыба не клюет — цена растет. Так пускай уж лучше рыба клюет и цена вниз ползет». — «Какой же тебе расчет?» А он опять: «В тихую погоду рыба клюет — цена вниз ползет, в плохую погоду рыба не клюет — цена растет. Так пускай уж лучше клюет и цена вниз ползет». Тьфу, пропади ты пропадом, заладил одно, поди толкуй с таким невеждой!

Да, о чем бишь у нас шел разговор? Вот вы сказали — своя квартира... Само собой, лучше свой уголок иметь и не мыкаться по чужим людям. Недаром сказано: чужое со своим не сравнишь. У меня, значит, своя половина, свое владение. Но куда мне, бедной вдове, с единственным сыном на руках, куда мне целых пол-

дома? Есть где голову приклонить — и ладно! Зачем же мне полдома, да еще с худой крышей? Ведь который год крыша не чинена. А тут еще зятек мой, Азриел, значит, пристаёт: «Давай класть новую крышу, давай — и никаких!» — «Ладно, говорю, давай». — «Давай крыть», — говорит он. «Давай крыть», — отвечаю я. Туда-сюда, давай-давай, судили-рядили, крыша-солома, а проку не видать. Ясное дело, ведь тут надо уйму соломы, про тес я уж не заикаюсь, тес — это зарез. Пришлось, значит, мне сдать две комнаты, пришлось сдать. В одной живет глухой Хаим-Хоне, он уже старый и вовсе, можно сказать, из ума выжил. Его дети платят мне за него пять пятиалтынных в неделю, а кормиться он ходит к ним, правда, через день: день ест, день постится, но и в сытый день он тоже живет впроголодь. Он мне сам это говорил. А может, он и приврал немного, ведь старый человек любит поворчать. Сколько ему ни дай, куда ни посади — плохо, куда ни положи — жестко.

Да, о чем бишь у нас шел разговор? Вот вы сказали — соседи... Избави бог от них! О глухом речи нет, с него взятки гладки, он, как вы говорите, квартирант спокойный, тише воды, ниже травы. Но лукавый меня попутал другую комнату сдать мучной торговке Гнесе, она, значит, мукой торгует, Гнеся эта. Ну и язва! Спервоначалу-то она была шелковая, все напевала: «Душечка, кошечка, милочка, я для вас буду делать и то и се...» И ничего-то ей, мол, не надо, только вот столечко места в печке чугунок поставить, да краешек доски раз в неделю мясца сготовить, да уголок стола раз в полгода тесто раскатать... «А куда вы, говорю, ребят ваших денете? Ведь их у вас, говорю, Гнеся, слава богу, целый выводок?» — «О чем вы беспокоитесь, Енточка, душенька! Вы не знаете, значит, моих детей. Ведь это же брульянты, а не дети! Летом они день-деньской во дворе, а зимой как заберутся на печку, только их и видели. Плохо другое: уж очень они любят поесть, уж такие охотники до еды, не напасешься на них». Да что толковать, видно, мне на роду написано страдать и мучиться. Ребята у нее оказались такие горластые — ужас! День ли, ночь — все едино, вечно у них шум, гомон, орут, визжат, кричат, ругаются, дерутся — сущий ад. И то, пожалуй, в аду легче... Но это еще не все, это еще полбеды. Ребят как-никак можно успокоить, дашь им пинка, щелчка, шлепка, они

и уgomонятся, на то они и ребята... Но бог ей дал мужа, его зовут Ойзер. Вы его должны знать, он младший служка малой синагоги и, видать, набожный, неглупый человек. Но как она им помыкает, Гнеся эта! «Ойзер, туда! Ойзер, сюда! Ойзер, то! Ойзер, се!» Только и слышно: «Ойзер, Ойзер...» А ему хоть бы что! Либо отделается шуточкой (он еще ко всему большой шутник), либо картузик на затылок — и был таков. Счастье, что у него характер покладистый.

Да, о чем бишь у нас шел разговор? Вот вы сказали: плохие соседи... Плохие плохому рознь! Избави бог, я про Гнесю худого не скажу, она не злая и даже подаст нищему ломоть. Но когда ей вожжа под хвост попадет — прнеси ты, господи! Стыд и срам! Другому я бы ни словечка, но вам, вам можно по секрету, тсс, молчок... она своего мужа того, поколачивает... да-да... тайком от всех... «Ах, Гнеся, Гнеся,— говорю я ей,— побойтесь бога, как вам не совестно, бога побойтесь». А она в ответ: «Это не ваше дело». А я ей: «Да ну вас к шуту!» А она мне: «Пускай шут унесет того, кто сует свой нос в чужой горшок». А я ей: «Ослепни тот, кто лучшего не видал». А она мне: «Оглохни тот, кто любит подслушивать...» Вот бессовестная!

Да, о чем бишь у нас шел разговор? Вы сказали, что я люблю чистоту... Не откажусь, верно, люблю, когда кругом чисто, ни пылиночки. Чем же это плохо? А она, Гнеся, стало быть, не терпит, что у меня все сверкает-играет, убрано-прибрано, чистота, красота... А к ней загляни! Пакость, мерзость, грязь до ушей, помойное ведро полнехонько — бррр!.. С самого утра, не успеют глаза продрать, у них уже начинается столпотворение. Разве это дети? Сущие черти, а не дети. Разве их можно сравнить с моим Давидкой, с моим сыночком! Мой Давидка, дай ему бог здоровья, весь день в хедере, а как придет вечером, тоже без дела не сидит: либо молится, либо занимается, либо книжку читает. А ее черти? То жрут, прости господи, то рвут, то дерутся, то без дела околачиваются. Скажите сами, при чем тут я, если бог ее наградил оравой сорванцов и озорников, а мне он послал чудного сыночка, настоящий брульянт, чистое золото, не сглазить бы, потому что я над ним немало слез пролила, ох немало. Вы не смотрите, что я женщина. На моем месте ни один мужчина не выдержал бы. Иной мужчина, не про

вас будь сказано, конечно, в тыщу раз хуже женщины. Чуть жизнь немного припрет его к стене, он уже и не человек! Да что далеко ходить. Взять хотя бы Осю, сына Мойше-Аврома. Пока его жена Фруме-Неха была жива, все шло хорошо. Но как только она умерла, он сразу опустил голову, раскис... «Реб Иося,— говорю я ему,— Иося, бог с вами, возьмите себя в руки, ничего не попишешь. Смерть жены, говорю, ведь это божья воля. Как там сказано в наших святых книгах — бог дал, бог и взял. Да вы это лучше меня знаете».

Да, о чем бишь у нас шел разговор? Вот вы сказали — единственный сын... Он, верно, у меня один-единственный, как солнышко в небе. Неужели вы его не знаете! Имя ему дали по моему свекру, по Довид-Гиршу, значит. Посмотреть на него — вылитый отец, дай бог ему долгой жизни, и лицо такое же желтое, как у отца, мир праху его, испитое, и весь он такой же тощий, слабенький, кожа да кости, еле-еле душа в теле... Доконали его, беднягу, и хедер и Талмуд... «Хватит тебе, сынок, говорю, хватит надрываться, отдохни малость, посмотри, на кого ты похож, поешь, выпей чего-нибудь, хоть чашечку цикория». А он в ответ: «Спасибо, мама, пей сама, тебе нужней, ведь ты работаешь, надрываешься. Хочешь, я тебе помогу корзину с базара принести?» А я ему: «И не выдумывай. Таскать корзины тебе не пристало. Мои враги (а их у меня хватает) этого не дождутся. Твое дело учиться, набираться ума-разума». А сама глаз с него не свожу, до чего на отца похож, как две капли, и кашляет точно так же. Боже ты мой, за что мне такое наказание?! Как начнет кашлять, у меня сердце кровью обливается. Разве можно передать, чего мне стоило его поднять, в люди вывести? Сколько муки я приняла, сколько страданий. Ведь никто, ребе, никто не верил, что мой сынок, мое чадо выживет, потому что не было на свете болезни, не было заразы, которая бы к нему не приставала. Чем он только не болел! И корью, и оспой, и скарлатиной, и железками, и дефтеритом... Сколько я над ним бессонных ночей просидела, одному господу богу известно. Но, видно, дошли до всевышнего мои вдовьи слезы, и я дождалась радостного денечка, когда моему чаду сровнялось тринадцать лет и он стал совершеннолетним. Но не думайте, что этим дело кончилось. Вот слушайте. Однажды зимним вечером шел мой сынок из хедера и вдруг видит: идет по улице

призрак, весь в белом, и руками размахивает. Долго ли ребенку испугаться? Он так и обмер, потерял сознание и свалился в снег. Кто знает, сколько он там пролежал, покамест его нашли и принесли домой. А как его в чувство привели, он заболел по-настоящему и пролежал, на горе своей матери, в жару, в бреде целых шесть недель! Чудо из чудес, что я все это перенесла. Чего только я с ним не вытворяла: и обет давала за него в синагоге, и «продавала» его, и обратно «выкупала», и еще одно имя прибавила * (Хаим-Довид-Гирш), чтобы он долго жил и чтобы ангел смерти его не узнал, а главное — плакала, плакала над ним в три ручья. «Боже милостивый,— молила я,— ежели надо меня наказать, накажи, только сыночка моего не отбирай». И бог, видно, сжалился надо мной, и сынок мой стал поправляться, и вот однажды он мне говорит: «Мама, я могу тебе передать привет от папы, я его видел, он навестил меня». Как я это услышала, так внутри у меня что-то оборвалось, а сердце тук-тук-тук... «Пусть он там постарается. Это значит, что ты долго будешь жить»,— говорю я, а сердце тук-тук-тук... Ну, а позже я дозналась, что это был за призрак, который белыми ручищами размахивал. Может, вы угадаете, ребе, ведь вы у нас умница! Это был Липе, Липеводовоз. Он купил тогда новый тулуп, и как на грех, белый, а мороз стоял лютый, вот он и решил согреться и давай махать руками, чтоб ему пусто было. Где же это видано, чтобы солидный человек напяливал на себя ни с того ни с сего белый тулуп!

Да, о чем бишь у нас шел разговор? Вот вы сказали: здоровье... Здоровье — это первейшее дело! Наш врач тоже так считает и велит ухаживать за ним, варить ему каждый день бульон, хотя бы, говорит, из четверти курицы, и если вы, говорит, в состоянии, кормите, говорит, его и молочком, и маслицем, и шоколадом, если только, мол, вы в состоянии. Что за пустые слова: «Если вы в состоянии»! Да разве есть на земле такое, чего бы я не сделала ради своего Давидки! Какое тут может быть «состояние»? Скажи мне, к примеру: «Ента, ступай рой землю, коли дрова, таскай воду, меси глину, ограбь церковь»,— ради своего Давидки все сделаю, пускай в самую глухую ночь, пускай в самый страшный мороз. Этим летом, например, вздумалось ему прочитывать какие-то книги не то учебники, их у меня и в помине нет, но ведь я вхожа в богатые дома, бываю

там, значит, вот он меня и просит, достань мне, мол, мама, эти не то книги, не то учебники, и написал мне их на бумажке, значит. Вот пришла я, значит, с этой бумажкой в богатый дом и выпросила эти книги — выпросила разок, другой, третий. А потом меня там на смех подняли: «Зачем вам, Ента, эти книги? Вы что, ими своих гусей да кур кормите, что ли?» Ладно, думаю, смейтесь, смейтесь, зато у моего Давидки есть что читать. Ночи, ночи напролет просиживает он над этими не то книгами, не то учебниками, все читает да просит еще принести. Что ж, мне не жалко! Отнесу прочитанные, принесу новые. Тут как раз и явился этот умник, горе-врач этот, и спрашивает: могу ли я ему готовить каждый день бульончик хоть из четверти курицы? Чудак человек! А если понадобится из трех четвертей, разве я откажусь? Откуда берутся этакие врачи? На каких дрожжах их замешивают и в каких печах выпекают?

Да, но о чем бишь у нас шел разговор? Вот вы говорите: бульон... Я каждый божий день готовлю бульончик из четверти курицы и подаю ему вечером, когда он приходит после занятий; он ест, а я с какой-нибудь работой в руках сижу рядышком, гляжу на него, рада-радешенька, и думаю только об одном: помоги мне, господи, завтра тоже сварить бульон. А он мне: «Мама, а почему тебе не поесть со мной?» — «Кушай на здоровье, говорю, кушай, я уже ела». — «А что ты ела?» — «Что бы я там ни ела, а только я уже наелась, говорю, а ты кушай на здоровье». Потом он берется за свои не то книги, не то учебники, а я достаю из печки печеной картошки или крошу себе лучку с хлебом и заморю червячка. И хотите верьте, хотите нет, клянусь его здоровьем и счастьем, что эта луковица мне слаще самого вкусного жаркого, самого наваристого супа, потому что я рада, что Давидка мой сегодня ел бульончик и что на завтра еще осталось четверть курицы. Одна беда: уж очень сильно он кашляет, только и слышно: кхакха... Я прошу врача: «Дайте же ему что-нибудь против кашля!» А тот все допытывается: «Сколько вашему мужу было лет, когда он умер, мир праху его, и от чего он умер?» — «От смерти, говорю, умер, от смерти. Очень просто, года его вышли, вот он и умер. При чем тут отец, когда речь идет о сыне?» А тот свое: «Нет, мне надо знать, я вашего сына осмотрел, хороший сын у вас, славный парень!» — «Спасибочки вам, гово-

рю, я это и сама знаю. Вы лучше дайте ему лекарство от кашля, чтобы он не кашлял, чтобы...» А тот опять: «Дело не в лекарстве, вы лучше следите, чтобы он поменьше сидел над книгами». — «А что же еще ему делать?» — «Пусть гуляет побольше и, главное, пусть не засиживается по ночам над книгами. Если ему суждено стать врачом, говорит, не беда, если он им станет на два-три годочка попозже». Эти слова мне пришлось не по нутру, нет! Неладное он толкует, сразу видно, что мозги у него не в порядке. С чего это он взял, что мой сыночек будет врачом? Он бы еще сказал — «губернатором»! Пришла я домой и все это выложила своему Давидке. А он весь покраснел и говорит: «Больше, мама, не ходи к нему и не толкуй с ним ни о чем». А я говорю: «Наплевать мне на него, я больше в его сторону и смотреть не хочу, ведь он не в своем уме. Зачем он лезет не в свое дело, зачем выпытывает, где больной работает, да как живет, да сколько зарабатывает? Какое ему дело! Тебе сунули в лапу полтинник — выпиши рецепт, и дело с концом!»

Да, о чем бишь у нас шел разговор? Вот вы сказали: хватает, мол, забот!.. Еще бы не хватало. Забот полон рот. Да и как им не быть, если на руках у тебя корзина с яйцами, да с гусями, да с курами, да с утками, да еще парочка богатых дам в придачу, которые так и норовят взять у тебя самое лучшее, самое свеженькое, боятся, что одна другую опередит! Вы сами видите, что мне не до бульонов, ведь я никогда дома не бываю. Но голь на выдумки хитра. Встану пораньше, затоплю печь и убегу на базар, потом заскочу на минутку, замочу четверть курицы, посолю ее и опять убегу. Потом снова заскочу, воду солью, поставлю горшок в печку, а сама попрошу соседку, Гнесю, значит, последить за горшком; как закипит, мол, прикрыть его крышкой и задвинуть подальше в самый жар, чтобы не остыло. Что ж тут хитрого? Сколько раз, бывало, я для нее готовила полный ужин! Ведь мы как-никак все же люди, а не звери, живем не в лесу, а среди народа, значит, живем!.. А вечером, как приду с работы, разведу огонь, нагрею, значит, и подаю ему свеженький, горяченький бульончик. Кажется, все вроде хорошо? Как бы не так! Вы забыли, что соседка у меня сущая... стыдно выговорить... не скажу кто... ну ее совсем... Сегодня утром ей вдруг приспичило угостить свою ораву молочным обедом — не то галушками, не то балабушками на

молоке. Что за вкус в этих молочных балабушках! Да и при чем тут балабушки, когда сегодня не суббота, а самая обыкновенная среда, никак не пойму! Чудная она все-таки, эта торговка мукой, Гнеся эта! У нее всегда: разом густо, разом пусто. То она три дня к печке не подойдет, а то вдруг как примется стряпать, набúхает полный котел и готовит, значит, не поймешь что, то ли пшенный кулеш, то ли кашу, причем хоть очки нацепляй, все равно ни пшенинки не найдешь. А то вдруг начистит горшок картошки, вроде как с рыбой, а на самом-то деле там один лук, за версту разит, да вдобавок еще перцу положит столько, что вся орава потом сутками не отдышится, и все они ходят разинув рты, чтоб их ветром продуло.

Да, о чем бишь у нас шел разговор? Вот вы сказали — не везет. Надумала, значит, моя соседка сварганить балабушки из гречневой муки и, значит, поставила в печку кувшин с молоком, чтобы, значит, вскипятить его. А ребята ее, само собой, обрадовались — давай петь, давай орать, хоть уши затыкай! Никогда, что ли, они молока не пробовали?! Да сколько там молока было, смешно сказать, дай бог нашим врагам иметь не больше. От силы две ложки — остальное все как есть вода. Но для бедняка и это радость. Вдруг нелегкая приносит самого служку. Видно, он еще в синагоге почуял, что дома пахнет богатым блюдом, вот он и пожаловал и по своей привычке шутливо говорит: «С праздником, мол, вас». А она ему в ответ: «Какой тебе, сатана, праздник, ты почему так рано приперся?..» — «Боялся,— говорит он,— опоздать к праздничному обеду. Что там у тебя в печке?» А она ему: «Специально для тебя шиш с маслом в маленьком горшочке». А он ей: «Уж лучше в большом, чтобы хватило нам обоим». Она вышла из себя да как крикнет: «Убирайся отсюдова со своими шуточками»,— да как возьмет ухват, да как подцепит свой кувшин. А кувшин хлоп на бочок, а молоко — бултых на всю печку. Тут поднялся крик, рев, шум! Гнеся принялась честить мужа последними словами. Его счастье, что он сразу ноги унес. А вся орава, значит, прыг-прыг с печки и начала реветь, плакать, причитать, словно у них отца с матерью убили... А я говорю: «Провалитесь вы с вашими балабушками, из-за них, говорю, может, бульон моего Давидки пострадал, и горшок, может, теперь, не дай бог, придется выкинуть!» * А она мне в ответ: «Черт бы

побрал ваш горшок вместе с вашим бульоном, мне мои молочные балабушки дороже всех ваших горшков и всех ваших бульончиков, которыми вы пичкаете своего Давидку». А я говорю: «Один ноготок на мизинце моего Давидочки больше стоит, чем вся ваша орава». А она кричит: «Наплевать мне на вашего Давидку, он один, а у меня их вон сколько!» Такого сокровища, как эта Гнеся, еще свет не видывал. За такие слова ее бы надо как следует отхлестать мокрой тряпкой по лицу!..

Да, о чем бишь у нас шел разговор? Вот вы сказали: мясному и молочному в одной печке не место... Так оно и вышло. Кувшин, значит, повалился набок, и молоко, значит, разлилось по всей печке. И если, не дай бог, хоть капля молока брызнула на мой мясной горшок, тогда мне погибель. Хотя, опять же, как могло молоко добраться до моего горшка: ведь он стоял вон там, в самой глубине, да еще был прикрыт золой. Но ручаться я не могу. А вдруг — судьба!.. Я вам все выложу начистоту, все. Бог с ним, с бульончиком, не в бульончике дело. Конечно, бульончик тоже жалко! Чем я вечером покормлю Давидку? В общем, что-нибудь соображу! Вчера я как раз принесла битых гусей, принесла, выпотрошила их, и у меня, конечно, остались потроха, значит, головки, желудочки, то-се. Что-нибудь состряпаю. Вопрос — в чем? Ведь если вы, ребе, не дай бог, решите, что мой мясной горшок стал из-за капли молока трэфным, я с ума сойду, потому что больше горшков у меня нет. Правда, раньше у меня было целых три мясных горшка, но Гнеся эта, чтоб ей пусто было, взяла у меня новенький, целехонький горшок, а вернула мне битый горшок. Я спрашиваю: «Чей это горшок?» Она говорит: «Как чей? Это ваш горшок!» А я ей: «Как мой? Ведь я вам дала целый горшок, а это битый горшок». А она мне: «Тише, не кричите, не запугаете! Во-первых, я вам вернула целый горшок, во-вторых, я брала у вас битый, а в-третьих, я у вас никаких горшков брать не брала. У меня хватает своих, и оставьте меня в покое!» Видали бесстыдницу!

Да, о чем бишь у нас шел разговор? Вот вы говорите: горшки в хозяйстве всегда пригодятся... Осталось у меня, значит, всего-навсего два горшка целых и один битый, в общем, считай, что два горшка. Но разве бедному человеку положено иметь два горшка? Притащила я как-то с базара полную корзину кур, и вдруг, на

ту беду, прибежала кошка и напугала, значит, моих курочек. Вы, конечно, спросите: откуда взялась кошка? Все эта самая орава. Как увидят где-нибудь котенка, обязательно подберут и начнут его мучить, пока не замучают. «Пожалейте,— просит, бывало, мой Давидка,— ведь кошке тоже больно!» Но им, этим бездельникам да озорникам, наплевать! Они кошке на хвост что-то там такое нацепили, она давай прыгать, давай рваться, куры мои перепугались, одна отвязалась, заметалась, взлетела на полку, и — трах — оттуда горшок на пол! Ну, что ей стоило сбросить битый горшок! Так нет же! Известное дело. Битый горшок никогда не свалится, а свалится целый. Так уж оно на земле водится испокон веков!

Вот бы узнать, почему это так, вот бы... К примеру: идут двое. Один идет, и другой идет. Первый — любимый сын у своей мамы, один-единственный, как солнышко в небе, а другой, скажем... Ребе! Помилуй бог, ребе, что с вами?! Ребе, где ваша жена? Где она там?! Живей сюда, сюда, нашему ребе плохо! Он теряет сознание! Воды! Воды!..

ГУСИ

Монолог женщины по имени Бася, которая режет гусей на хануку и вытапливает сало на пасху

В прошлую хануку у меня, не про вас будь сказано, не про меня будь сказано, ни про кого не будь сказано, случилась беда с удачей вместе. Можете послушать! Такая история случается раз в тысячу лет! Я вот уже двадцать с лишним лет торгую гусями и пасхальным салом, а такой истории, знаете ли, со мной не случалось.

Торгую гусями... Думаете, так это просто — берут и торгуют? Прежде всего начинается целая история: как только наступает осень, после праздников надо закупать гусей, сажать их на зиму в клетку, кормить их, наблюдать за ними. А к хануке гусей начинают резать и превращать в деньги. Но вы небось думаете, что так это легко закупать гусей, сажать гусей, резать гусей и превращать их в деньги? Во-первых, покупка гусей. Надо иметь, на что покупать. Наготовленных денег,

своих капиталов то есть, у меня ведь нет. Надо одалживать, обращаться к реб Алтеру. А реб Алтера вы ведь знаете,— это такой человек, который и воду выварить любит. То есть отказать он не откажет, но велит прийти завтра, а завтра скажет — послезавтра, душу вымотает. А потом только начинает соки выжимать: проценты тянуть, дни присчитывать... Что и говорить, хорош реб Алтер! Недаром у него такая рожа. А она, Алтериха то есть, ходит с такими щеками, хоть нож об них точи! А жемчуга у нее какие! Вот недавно она дочь просватала. Иметь бы мне вместе с вами хотя бы треть того, что стоила помолвка, мне бы не надо было гусями торговать... Хотя жениха она нашла,— накажи меня бог, если бы я за такого свою дочь отдала! Да ведь он лысый,— по-вашему, это плешь, а по-моему — парша... Но не моя это забота, ничего дурного я, упаси бог, не говорю, злословить не желаю... Путаю только одно с другим. Уж вы не обижайтесь, привычка у меня такая... Как говорится: у бабы слов — девять коробов...

Закупать гусей... Где закупать гусей? Думаете, наверное, на базаре? Конечно, как же! Если бы нам приходилось всех гусей покупать на базаре, мы бы в золоте ходили! Если хотите купить гусей для торговли, вам надо потрудиться встать до рассвета, когда сам бог еще спит, и выйти далеко за город, по ту сторону мельниц. Находится, однако, еще одна такая умница, как и вы, прибегает раньше вас и уже ждет по ту сторону мельниц. И еще, оказывается, есть одна, умнее той, и приходит еще раньше и еще раньше... короче говоря, собирается настоящая ярмарка, и все стоят, ждут и высматривают, авось господь сжалится, крестьянин вынесет пару гусей... Тогда нападают на него и на его гусей со всех сторон: «Що тобі, чоловіче, за гуску?» Если это торговец и человек, с которым можно говорить, то можно с ним и поторговаться! Но бывает и так, что налетите на малахольного, к которому и не подступиться, хоть ты его режь. «Геть-бо! — кричит он.— Убирайся вон! Нема у мене гуски!» И делай что хочешь! Вы ему толкуете:

— В чем дело? Що ж ты хочешь,— чтоб тебе на роже высыпало и нехай тобі боже дає хворобу в кости и добрую лихоманку!..

А он в один голос:

— Геть! Не продаю гуску!

А уж если бог сжалился и крестьянин выпустил из рук гуся, надо этого гуся хорошенько осмотреть. А осмотреть гуся надо умеючи! Возможно, знаете ли, что в гусях надо быть знатоком таким же, как, скажем, в брильянтах. По-вашему, например, выходит, что все гуси одинаковы. А знаете ли вы, что есть гусыни, а есть и гусаки? Гусыня — это не гусак. Гусь — это гусь, а гусак — это гусак. Гусь набирает жир, а гусак — хворобу! Как же отличить гуся от гусака? Да уж отличают! Во-первых, по чубику, у гусака на голове чубик и длинная шея. Затем гусака узнают по голосу, у него голос грубый, как у мужчины. А идет он всегда впереди гусей, тоже как мужчина, как человек. У нас мужчина, хоть будь он самая что ни на есть шляпа, шагает впереди, будто желая сказать: «Вот он — я!» К чему вам больше? Взять, к примеру, моего мужа, Нахмен-Бера. Уж на что, казалось бы, растяпа. Дальше как будто некуда? Человек, с тех пор как я за ним замужем, и двух ломаных грошей не заработал! Все счастье в том, что он знаток Талмуда и что он дальний родственник нашего богача Иоськи, как говорится: нашему забору двоюродный плетень... Спросите, что я имею от этого моего родственника — богача? Иметь бы то моим врагам на обед! Досаду я имею и горести, да еще и позор, когда меня попрекают тем, что моя родственница, то есть невестка моего родственника, парика не носит, щеголяет в собственных волосах... И это не напраслина! Хороша штучка!.. Но я о ней ничего плохого не говорю, злословить не желаю. Путаю только одно с другим. Уж вы не взыщите, привычка у меня такая... Как говорится: у бабы слов — девять коробов...

Закупать гусей... Когда гуси куплены, надо их, стало быть, на зиму в клеть засаживать. Но вы думаете, что засадить гусей — дело очень легкое? Ошибаетесь! Хорошо засаживать гусей, когда есть у тебя свой дом, своя кладовая, когда ты, как говорится, одна на базаре. Но как быть, если я жила, не нынче будь сказано, не про вас будь сказано, ни про кого не будь сказано, на квартире у Енты и отдельной кладовой не имела? А хозяйка моя, то есть Ента, и сама приторговывала гусями и пасхальным жиром, — попробуйте-ка, прошу вас, держать гусей в одной кладовке с Ентою и не драться с ней трижды в день! Это — одно. А затем будьте умником и отличите, какие гуси ваши, а какие не ваши. Однажды, когда я, не нынче будь сказано,

не про вас будь сказано, ни про кого не будь сказано, жила у нее на квартире, у нее, у Енты то есть, сломалась клетка в кладовой, все гуси вышли и налетели прямо на мое корыто с овсом... Кто оказался в убытке? Кому пришлось кричать? Мне или ей? А она как налетит на меня! Если бы, говорит, она знала, что я торгую гусями, она бы не сдала мне квартиру ни за сто миллионов червонцев!

— А чем же,— говорю я,— думали вы, я торгую? Брильянтами?

А она мне:

— Сами вы хороший брильянт, и муж у вас брильянт, и дети брильянты!

Что же мне — молчать?.. Странная женщина эта Ента! Так вообще она готова вам душу отдать. Если вы, упаси бог, заболели, она собой пожертвует ради вас. Но только вспыльчива — спасения нет! Вот мы однажды — было это накануне хануки... Рассказать вам — вы бы волосы на себе рвали!.. Но я в чужие горшки заглядывать не люблю, худого ничего не говорю, злословить не люблю... Путаю только одно с другим. Уж вы не взыщите, привычка у меня такая... Как говорится: у бабы слов — девять коробов.

Теперь начинается история: засаживать гусей... Если хотите, чтобы гуси у вас были удачные, сажайте их в клеть во второй половине месяца. Упаси бог призрагиваться к гусям в начале месяца, сразу после новолуния, — это беда! Гуси не будут удачными: будут толсты в кости, а кожа будет тонкая. А уж на жир от таких гусей и рассчитывать нечего. Об этом забудьте! И днем, когда люди толкутся, гусей не засаживайте. Лучше в сумерки, при свете или даже в темноте, но только в это время ущипните себя и произнесите тихонько три раза: «Как я в теле, так и ты будь в теле...» Мой муж, правда, смеется над этим и говорит, что это и понюшки табаку не стоит. Но я была бы хороша, если бы прислушивалась ко всему, что он говорит! Вот он говорит, например, мой муж, — он ведь страсть какой ученый, дни и ночи над священными книгами просиживает, — что капорес * — глупый обычай! Как это вам нравится? Можете себе представить, как ему от меня влетело за такие слова!

— Это ты сам,— говорю,— собственным умом дошел?

— Так в священных книгах сказано! — отвечает он.

— Выходит, стало быть, что моя мама, и тетя Двойра, и Нехама-Брайна, и Сося, и Двоя, и Цивья, и Ципора, и все — дуры?

Молчит мой умник, и это его счастье, потому что я могу, знаете, устроить ему такое веселое утро, чтоб он помнил три дня подряд! Думаете, я, упаси бог, такая ведьма, злюка? Поверьте, я хорошо знаю, что такое ученый, что такое человек, сидящий над Священным писанием, хоть он и палец о палец не ударяет. Думаете, он ленится? Он бы делал все что угодно, было бы что... Вот он и сидит над книгами. Пускай сидит. На что мне его труд, я и сама могу обойтись и с расходами по дому кое-как справлюсь, ни к кому не прибегая. Я сама, всюду сама. И на базаре, и дома, и у печи встану, поставлю варить картошку и детей одену и отправлю в хедер,— это у меня главное! Хлеба, правда, иной раз может не хватить, халы на субботу, случается, нет, но плата за учение ребят — у меня, кроме девочек, четверо мальчиков, дай им бог здоровья,— обязательно должна быть, хоть бы камни с неба валялись! Я не равняюсь по нынешним, которые суют детей своих в классы, как, к примеру, сын нашего кантора Берл — форменный безбожник! Но черт с ним, я у бога в стряпчих не состою, худого ничего не говорю, злословить не люблю... Путаю только одно с другим. Уж вы не взыщите, повадка у меня такая... Как говорится: у бабы слов — девять коробов...

Засадив гусей, надо позаботиться, чтобы у них было достаточно корма; кормить их и поить вовремя. И больше ничего. Потому что гуси — это не утки и не куры. Утки боятся оспы, а куры — хорька. А гусям нужна только еда. А едят они все: гуси едят овес, гуси едят просо, гуси едят кашу, гуси едят, извините, и кое-что похуже... Гусь не привередлив. Гусь глотает все. Гусь постоянно голоден, как ребенок у бедняка, не будь рядом помянут. У бедняка дети едят, не сглазить бы, с аппетитом все, что дадут, и никогда не бывают сыты. Я знаю это по себе. Мои дети, были б они здоровы, когда приходят из хедера, не сглазить бы, не повредил бы им дурной глаз,— не успеешь оглянуться, а буханки хлеба как не бывало, от чугуна картошки и запаха не остается! А наступает суббота, надо каждому дать свою порцию булки, как пряника, а остальное — под замок, иначе от нее назавтра и воспоминания не останется! Дети, знаете, дело хорошее, славное. Мне бы не надоело

и в тягость не было бы содержать десять ребят, пятнадцать, семьдесят пять, кабы не утроба! Богачи должны были бы себя чувствовать невесть какими счастливыми, зная, что их дети ложатся спать сытыми, что не снятся им побирушки, что не проснутся они среди ночи с плачем: «Мама, ку-у-шаты!..» Поверите ли, сердце болит, выскочить готово, а тут на них еще и прикрикнуть надо: «Спать, байстрюки! Что еще за еда среди ночи! Спать! Спать...»

И все же видели бы вы этих богачей, как черт их за душу хватает, когда родится у них, упаси бог, лишнее дитя! Ай-яй-яй! Вот у нас недавно померла одна богачиха, женщина кровь с молоком, добрая душа, праведница. Бейльця звали ее, красивая, здоровая, крепкая... А из-за чего, думаете? Не стоит об этом говорить, она уже на том свете, царствие ей небесное... Но я ничего худого не говорю, злословить не люблю... Путаю только одно с другим... Уж вы не взыщите, привычка у меня такая... Как говорится: у бабы слов — девять коробов...

Ну и заработок — эти гуси!.. То есть, вообще говоря, заработок неплохой, а если бог благословит, то на гусях можно и порядочно заработать. Но, видите ли, это случается раз в десять лет. Гораздо чаще бывает, что на гусях не только не заработаешь, но еще и потеряешь! А труда они требуют столько, что, право же, ни к чему весь этот тарарам. Спрашивается в таком случае: коль скоро заработка гуси не дают, зачем же ими торговать? Но позвольте, а что прикажете делать, если я уже столько лет торгую гусями?! Подумайте: связать тридцать с лишним пар гусей; отнести к резнику тридцать с лишним пар гусей; принести обратно тридцать с лишним пар гусей; ощипать тридцать с лишним пар гусей; разделать, посолить, вымочить, ополоснуть тридцать с лишним пар гусей,— кожа отдельно, жир отдельно, потроха отдельно, обдирки отдельно,— из всего этого надо сделать деньги, не дать пропасть ни крошки,— и все это одна я! Прежде всего выжарить кожу и вытопить жир. Я каждый год вытапливаю пасхальный жир, потому что мой пасхальный жир славится во всем городе как наилучший, как самый кошерный. Я, когда вытапливаю пасхальный жир в первые дни хануки, навожу в доме пасхальный порядок. Печь разжигаю, мужа отсылаю в синагогу — пускай там сидит над книгами. Детей выгоняю — пускай идут куда-нибудь играть в юлу. А сама принимаюсь за работу. Жир не любит лишнего

глаза, а тем более пасхальный жир. Я однажды обожглась... когда я, не нынче будь сказано, не про вас будь сказано, ни про кого не будь сказано, жила на квартире у Енты. Были там и еще соседи. И вот вздумалось одной соседке, Гнеся ее звали, печь оладьи из гречневой муки, и как раз в тот день, когда я режу гусей. Я прошу ее: «Гнесенька, душенька, любонька! Попридержите ваше желание на один денек. Вы завтра, бог даст, будете печь оладьи!» А она мне: «Я-то, пожалуй, согласна. Но дети узнают. У меня,— говорит она,— дети такие обжоры, любят поесть, если узнают, что оладий не будет, они меня живьем съедят!..» И действительно, дети, лежа на печке, услышали, что оладьи собираются отложить на завтра, тогда один из них, Зелик, мальчик с косыми глазенками, как раскричится: «Мама! Если не будешь печь оладьи, я сейчас упаду с печи...» Посмотрели,— горе мне,— Зелик висит головой вниз, вот еще минута, и он слетит и разобьется вдребезги! Увидав такое, я стала кричать: «Гнесенька, душенька, любонька! Пеките оладьи, пеките!» Говорят, знаете ли, что у нищего утроба без дна. Святая истина! Посмотрели бы вы, какие у Гнеси деточки,— не накажи меня, господи! Но я ничего худого не говорю, злословить не люблю... Путаю только одно с другим. Уж вы не взыщите, привычка у меня такая... Как говорится: у бабы слов — девять коробов...

Гусиный жир... На один жир от гусей рассчитывать нельзя. Жир, когда все проходит благополучно, может вернуть то, что затрачено на гусей. А заработок должно принести все прочее. Прежде всего тушки. Когда случится, что тушки хороши, а мясо в городе дорого, их расхватывают! Но как же быть, если мясники у нас ссорятся, а мясо продается по дешевке, и город, богачу назло, пригласил нового резника, а старый резник подал на нового восемнадцать доносов, а кроме того, распростил слух, что он, то есть новый резник, молодчик из нынешних, из «ценистов», которые возятся с хедерами и собирают деньги на Палестину? Но богач этих «ценистов» не признает, он их видеть не может, они, говорит он, шарлатаны! А коли так, то и резник, значит, режет не по закону, не всякий станет покупать готовые обдирки. Я толкую своим покупательницам: «У меня вы можете спокойно покупать обдирки, моих гусей режет старый резник».

— Да,— отвечают они.— Вы, конечно, совершенно

правы, но дело в том, что у обдирок на мякоти не написано, кто их резал — старый резник или новый.

— Что значит,— говорю я,— не написано? Если я говорю: старый резник, значит, старый! Или вы и мне перестали верить? Тогда уж свету конец!

А они:

— Странная вы женщина! Мы вам, конечно, во всем доверяем. Но если мы и сами можем послать к резнику гусей зарезать, зачем же нам обдирки, о которых мы не можем знать, кто их резал!..

— Тьфу! Опять двадцать пять! Я клянусь вам жизнью мужа и детей! Вы знаете, что у меня клятва верная!..

— К чему вам клясться,— говорят они,— когда мы и так вам верим!

— Тогда возьмите у меня обдирки, освободите мне корзину!

— Не можем мы,— отвечают они,— взять у вас обдирки, не знаем, кто резал...

Ну, вот и теши кол у них на голове! Нет того, чтобы войти в положение! Пожалели бы: женщина мучается с гусями, все думает, чем черт не шутит, а вдруг заработает сколько-нибудь... Такая зима стоит, дров нет, солома дорога, воз соломы — червонец, а дети, бедные, босиком бегают в хедер, приходят домой посиневшие, заберутся на печку, скрючатся, как кролики, и ждут не дождутся горячей картошки, а картошка — на вес золота, много не родилось, а много и на поле осталось... Город хорош! Хоть бы оглянулся кто: бедняки от холода мучаются, нищие умирают, пухнут с голоду, дети падают, как солома, как мухи... Хорошо еще, что только бедняки помирают... Не накажи меня бог, я ничего худого не говорю, злословить не люблю... Только путаю одно с другим... Уж вы не взыщите, привычка у меня такая... Как говорится: у бабы слов — девять коробов...

Гусиные обдирки... Если бы рассчитывать на одни обдирки, так хорошо бы мы выглядели с нашими гусями! Но, кроме обдирок, есть у гусей всякая мелочь: потроха, шкварки, печеночки, пупочки, головы да лапки, гортани, крылышки, язычки, сердечки и почки. А шейки?! Есть у меня покупательница, зовут ее Печерициха, она забирает у меня все шейки, сколько бы ни было,— будь хоть полсотни шеек, она меня не выпустит. Муж ее, говорит она, то есть Печерица, большой любитель

грудинки и шеек. Грудинку он любит холодную, приперченную, а шейки — начиненные мукой, или кашей, или фарфелем, или печенкой со шкварками, жаренные или варенные с морковью. И что же вы думаете? Как покойники едят, так они и выглядят. Он выглядит, не сглазить бы, в сравнении с моим мужем, как человек лет тридцати с лишним, хотя он старше моего мужа лет на десять. Мой муж тоже никакой работы не делает, но он, по крайней мере, изучает священные книги, и, придя домой, он не скажет, как иные мужья: «Слышь ты, дай-ка покушать!» Он, когда приходит из синагоги, первым долгом берется за книгу, глядит в нее и вздыхает, вздыхает потихоньку, — это значит, что он голоден. Сказать: «Давай кушать!» — этого нет. Но что же? Стонет, хватается за сердце и произносит: «Ох-ох-ох!» Это значит, что ему сильно есть хочется. «Может быть, закусишь?» — спрашиваешь его. А он отвечает: «Пожалуй...» Сколько раз я ему говорила: «Ведь у тебя язык есть, почему не скажешь, что ты голоден? Зачем тебе сидеть и стонать?» Молчит, не отвечает... Хотела бы я посмотреть, что было бы, если бы ему три дня кряду не давать кушать? Думаете, он такой дурак? Но как может человек ученый, светлая голова, быть дураком? Если бы он при своей учености был чуть побольше пролазой, не мог бы он разве быть у нас раввином? А что бы мы стали делать со старым раввином? Но что мы станем делать со старым кантором? Очень нужно было нанимать нового кантора в синагогу, чтобы старый помирал с голоду? Или был он недостаточно беден? Только потому, что богачу захотелось пения? Хочешь пения? Иди в триатр¹, не будь рядом помянут, и будут там тебе петь песни, хоть тресни!.. Будь я мужчиной, я бы с богачами рассчиталась! Думаете, я имею что-нибудь против них? Ничего я против них не имею, но только я их терпеть не могу! Не выношу богачей! Богачей и пауков, не накажи меня бог! Я ничего плохого не говорю, злословить не люблю... Только путаю одно с другим... Уж вы не взыщите, привычка у меня такая... Как говорится: у бабы слов — девять коробов...

Зарабатываешь на гусях!.. Не думайте, что продать все сало, все обдирки и все потроха — это великое счастье. Не будь у гусей пуха и пера, не стоило бы вообще

¹ Театр (искаж.).

со всем этим делом возиться. Прежде всего, когда я только еще собираюсь засадить гусей в клеть, я их уже подщипываю под мышками и собираю немного пуха. А потом, когда их уже порезали, и говорить нечего: пух отдельно, перо отдельно, и я приготавливаю себе работу на всю зиму. Вечера долгие, нащиплешься всласть. Вот я и щиплю. Сейчас у меня кое-какая помощь есть: девочки. Девочки — это не мальчики. Мальчики в хедер ходят, а девочки — что? Девочки что гуси: сидят, кормятся и растут. Вот я и сажаю их рядом с собою над решетом: «Помогайте, дети, перо щипать, дам вам за это завтра шкварок, намажу ломтик хлеба жиром, а то и вовсе сварю суп с потрохами!» А что поделаешь? Мяса всю неделю, до субботы, в глаза не видишь. Если бы я не торговала гусями, не знаю, что бы я стала делать с детьми всю неделю! А так все же переппадают им кожица, голова, лапка, потроха, немного жира — одного запаха и то довольно. Когда я, не нынче будь сказано, не про вас будь сказано, ни про кого не будь сказано, жила на квартире у Енты, я сама слыхала, как Гнеся говорила: «Как только наступает пора хануки и вы начинаете возиться с гусями и с пасхальным жиром, моя орава словно оживает: от одного запаха у них голова кружится и кажется им, что они едят гусятину...» Думаете, приятно, бывало, смотреть на Гнесину ораву, не сглазить бы, как они, сидя на печи, глядят, видят перед собою такой чугун жира и столько шкварок и не смеют даже ручонку протянуть, а вынуждены, бедняжки, только смотреть, как волчата, блестящими глазенками и облизываться, — жалость за душу берет! Сунешь им шкварку, помажешь по губам каплей сала. А что же еще, скажите на милость? Как я могу накормить столько ртов, когда и сама я осыпана, не сглазить бы, ребяташками, а муж и ломаного гроша не зарабатывает, да и должна я за гусей — иметь бы нам с вами хотя бы треть того, а проценты растут, черт бы их взял, и платить нужно, не могу же я вдруг обанкротиться, упаси бог, как это сделала Ента, которая не уплатила шурина за вторую половину дома из-за сына, который учится, говорят, в классах и пишет по субботам... Так люди говорят, я при том не была. Не люблю я говорить о том, чего не знаю, и возводить напраслину на людей не стану. Я спрашиваю только одно: для чего Ентиному сыну быть ученым? Тот совсем больной, прости господи, чахоточный. Все они, не тут будь сказано, не про

вас будь сказано, ни про кого не будь сказано, чахоточники. Пускай он живет до ста двадцати лет и принесет ей счастье, что я могу иметь против нее? Хотя, если подойти с другой стороны, она со мной не так уж хорошо поступила! Не выкуривают квартирантов перед самой пасхой! А из-за чего? Из-за того, что Менаше-водовоз может платить рубль в неделю, а я нет! Пускай похвастает, когда он ей уплатит! Говорят, что этот Менаше должен всем, — волосы и те ему не принадлежат. Забрал у всех хозяев за воду вперед за всю зиму, да и бедняк он порядочный, а жена у него, ее Песей звать, тоже хороша штучка! Не накажи меня бог, я ничего плохого не говорю и злословить не люблю... Но погодите-ка, я, кажется, хотела рассказать вам что-то интересное? Но что? Понятия не имею, сама забыла!.. Женщины, доложу я вам, — народ, с ними не шути! Вот смешала я все вместе, кашу с борщом, с печенками да со вчерашним днем — а для чего? У бабы, скажу я вам, и в самом деле слов — девять коробов!.. Придется отложить мой рассказ до следующего раза.

НЕМЕЦ

Происходить происхожу я из Деражни, из маленького местечка Подольской губернии, из совсем крохотного местечка. Нынче, правда, Деражня целый город, с железной дорогой и вокзалом. И когда Деражня делалась станцией, все завидовали нам: шутка сказать — железная дорога!

Мы думали: вместе с железной дорогой на землю спустится счастье, появится работа, золото будет валяться на улице. Люди стали сползаться из всех местечек. Жители перестраивали дома, открывали новые лавки. На мясо повысили налог, и стали поговаривать о новом резнике, о второй синагоге, о расширении кладбища — шум был большой. Шутка ли — железная дорога, станция, вокзал! Извозчики вздумали бунтовать, но до них никому дела не было. Проложили у нас рельсы, привезли вагоны, построили станцию, повесили колокол, прибили досщечку «Станция Деражня», и пошла писать губерния.

Как только открылась железная дорога, жена моя спрашивает меня:

— Что ты намерен теперь делать, Иойна? (Иойна — так зовут меня.)

— А что мне делать? — отвечаю я. — То, что делают все люди, то и я буду делать. Все деражненцы вертятся около поезда, стало быть, и я буду вертеться...

Взял я свою палку, пошел на вокзал и сделался, с божьей помощью, «правителем». Что такое «правитель»? Кто-нибудь продал, скажем, вагон зерна, вагон этот надо погрузить и отправить, тут-то и требуется «правитель». Но так как все деражненские евреи стали «правителями», то получилось нехорошо, мы не «правим», а мучаемся, болтаемся без дела. Покупаешь мешок пшеницы и перепродаешь — иногда на пользу, иногда в убыток, или вдруг набегит комиссия со стороны. Хватаешься за то, хватаешься за это, — что делать, когда нечего делать?

Раньше, правда, тоже нечего было делать, но мы не имели железной дороги, и досады поэтому было меньше. Зачем же нам понадобилась станция с вокзалом, с колоколом и всей кутерьмой?

И вот случилось происшествие: стою я однажды на вокзале и, убитый своими болячками, провожаю почтовый поезд. Третий звонок отзвонил, локомотив отсвистал, осматриваю я платформу и замечаю одного барина, высокого и сухого, в четырехугольных очках, в большой шляпе, а в руках у него куча чемоданов. Стоит, вытянув шею, и осматривается кругом, как человек, только что совершивший преступление.

«Барин чего-нибудь да хочет», — соображаю я про себя и чувствую, как что-то толкает меня в спину: «Подойди к нему, человек, и спроси, чего он хочет». И только я тронулся с места, как он начинает двигаться ко мне, приподнимает шляпу и говорит мне не иначе как по-немецки:

— Добрый вечер, господин...

— Дай вам бог здоровья, — отвечаю я тоже по-немецки, то есть наполовину по-еврейски, а остальное русскими. И спрашиваю: откуда он едет?

— Нет ли в Деражне подходящей квартиры? — осведомляется он.

— Конечно, есть, — говорю я, — отчего не быть.

И соображаю про себя: «Обидно, что у меня нет гостиницы. Будь у меня гостиница, привел бы я его к себе. Это порядочный немец, на нем можно густо заработать...» И в голове моей зажигается мысль: глупец и сын глупца, разве на лбу у тебя написано, что ты не имеешь гостиницы? Пусть немцу кажется, что у тебя есть гостини-

ца. Я и говорю ему, наполовину по-немецки, наполовину по-еврейски, а остальное руками:

— Если господин имеет желание, так пусть он возьмет извозчика, и мы поедем в еврейскую гостиницу.

Услыхав эти слова, немец загорается, как куча соломы, и показывает на свои губы:

— Можно ли там покушать? Есть ли там пища?

— Первейшая пища,— отвечаю я ему.— С божьей помощью, вы получите большое удовольствие, господин немец. Моя благоверная, жена моя, значит,— первейшая хозяйка. Ее обеды прославились во всей окрестности. Персидский царь Артаксеркс не откажется от ее рыбы.

— Яволь! — веселится мой пассажир, глаза его поблескивают, лицо сияет как солнце.

«Какой чудной немец»,— думаю я, но канителиться тут некогда, нанимаю я подводу и еду с ним прямо к себе домой.

Не успели мы приехать, как сейчас же я рассказываю жене, что вот послал мне бог гостя, немца, редкий товар. Но что понимает женщина? Она начинает меня пилить за то, что я приехал в неудачный час, когда убирают квартиру.

— Что это за новости с гостями? Что это за постояльцы ни с того ни с сего?

— Женщина,— обращаюсь я к ней,— не говори по-еврейски. Этот господин все понимает, потому что он немец.

Но тут она поднимает вой и трясет веник над моей головой. Она воет, а мы с немцем стоим у двери, ни туда ни сюда. Еле-еле убедил ее, что это не бесплатный гость, что это пахнет деньгами, что на немце может быть заработок.

Вы думаете — убедил? После долгих препирательств она сообщает мне:

— Куда же я положу его, в могилу, что ли?

— Тише,— говорю я,— безумная женщина! Сказано тебе — не выражаться по-еврейски, потому что этот господин понимает по-немецки.

Только тогда она поняла в чем дело; мы уступили гостю нашу спальню, жена пошла раздувать самовар и готовить ужин. Осмотрев спальню, немец немножко повел носом — «могло бы быть лучше...». Но что может понимать немец? Как только внесли самовар и заварили чай, он вытащил добрую бутылку рома, превосходно глотнул (дал и мне глотнуть), и всем нам сделалось хо-

рошо. Немец расположился со своими чемоданами, как у родного отца, и стали мы друзьями.

После чая завожу я с ним беседу, туда-сюда, что он здесь делает, чем торгует? Не нужно ли ему что-нибудь купить или продать? Нет, ему ничего не нужно. Какие-то машины, говорит он, должны прибыть. Вижу я, что делом здесь не пахнет,— прошлогодний снег какой-то. А он поминутно заглядывает в печь и тревожится — не готов ли ужин?

— Вы,— говорю я,— господин немец, видать, не дурак покушать?

Отвечает он мне пустяками — что может понимать немец? Пустяками этими занимались мы, пока не принесли ужин — свежий бульон с гренками, курицу с манной кашей, с морковью, с петрушкой, о!.. (Жена моя может, если захочет!)

— Благословение восседающим! — произнес я по-древнееврейски.

Но он ни полслова в ответ — присосался к курице, как после поста.

— Кушайте на здоровье! — говорю я ему еще раз, а он знай глотает, хоть бы слово сказал, хоть бы поблагодарил — какое там!

«Грубый человек,— думаю я,— и большой нахал!»

Одним словом, поужинал он, раскурил длинную трубку и сидит, посмеивается. Вижу я, что немец озирается по сторонам, ищет местечка, куда бы ему приткнуться голове, глаза его слипаются. Я сейчас же кивнул жене.

— Куда его положить? — спрашивает она.

— Как это куда? Положи его в мою постель.

Она не заставляет себя просить, подходит к кровати и начинает взбивать постель, как полагается по закону. Жена моя, если захочет... А немец, замечаю я, чем-то недоволен, не нравится ему, видно, что перья летят. Он вертит носом, кашляет.

— Дай бог здоровьечка, господин немец,— приговариваю я.

И хоть бы ответил спасибо! Какое там! «Грубый человек,— думаю я,— и дикарь!..» Старушка моя взбила постель до потолка, королевскую постель,— жена моя, если захочет... Настоящий трон. Мы попрощались с ним, пожелали спокойной ночи и разошлись.

Сначала, как только мы легли спать, я все прислушивался — спит мой немец, чтобы не сглазить, великолепно, храпит на все гооса, сопит, как локомотив, свистит

и мычит, как зарезанный бык. Но внезапно он вскакивает с постели, начинает вздыхать, фыркать, икать, чесаться, плевать, ворчать, потом переворачивается на другой бок, засыпает, и снова храпит, и сопит, и свистит, и опять спохватывается, и опять начинаются вздохи, фыркание, чесание, плевки и ворчание. Так повторил он несколько раз, пока совсем не соскочил с кровати, и слышу я вдруг, что все его постельные принадлежности летят на пол, одна подушка за другой. Он бросает их в бешенстве и рычит какие-то дикие слова:

— К дьяволу, сакрррраменто, гррром и молния...

Я вскакиваю, подбегаю к двери, заглядываю в щелку. Немец мой стоит на полу в костюме Адама, сдирает с кровати все перины, плюется и проклинает божий свет на своем языке, упаси и помилуй нас бог.

— В чем дело, — спрашиваю я, — в чем дело, господин немец? — и открываю дверь.

Тогда он наливается гневом, нападает на меня со сжатыми кулаками, хочет стереть меня с лица земли. Он хватает мои руки, тащит к окну и показывает, что у него растерзано все тело. Потом он выгоняет меня и закрывает за мной дверь.

— Сумасшедший немец, — говорю я жене. — И большой чудака! Ему показалось, что кто-то его кусает... Скажите, какое горе!..

— Удивляюсь, — отвечает жена, — всего только на пасху я чистила кровать керосином...

Думал я, что немец мой рассердится и убежит утром, куда Макар телят не гонял. Но наступило утро, и ничего подобного — опять «здравствуйте», опять улыбки, опять сосет он свою трубку; приказал обед состряпать, а до обеда сварить ему яйца на завтрак, и желательно ему, чтобы яйца были в мешочке. Сколько яиц, полагаете вы? Десяток — ни больше, ни меньше! За завтраком глотнул он порядочно рому, и мне дал глотнуть — ах, хорошо! Но наступила ночь — и снова та же история! Сперва храп, свист, сопенье, мычанье, потом вздохи, стоны, фыркание, чесание, плевки и ворчание. Он снова вскакивает с постели, снова сдирает все подушки и ругается, проклинает на своем языке:

— К дьяволу! Сакрраменто!! Гррром и молния!!!

А наутро — «здравствуйте», и сосет трубку, и просит кушать, и делает за завтраком порядочный глоток, и так несколько дней подряд, пока не прибыли его машины и не пришло к нему время уезжать.

Наступил день отъезда, стал мой немец собираться в дорогу и просит у меня счет.

— Считать тут нечего,— говорю я.— Счет наш,— говорю я,— простой, с вас следует четвертная...

Выпучил он на меня глаза напы, как будто говорит: «А? что такое? не понимаю...»

Тогда я объяснил ему по-немецки:

— Господин немец будет настолько любезен и уплатит мне четвертную, или двадцать пять карбованцев, рублей, значит...

И я показываю на пальцах — десять, десять и пять.

Он, думаете, испугался? Ничуть не бывало. Потягивает, как прежде, свою трубку, улыбается и говорит, что очень бы хотелось ему знать, за что причитается с него двадцать пять рублей. Вытаскивает он карандаш, берет клочок бумаги и требует, чтобы я перечислил каждую вещь отдельно.

«Хоть ты и умный немец,— думаю я про себя,— но умный еврей умнее умного немца, в одной моей пятке больше мудрости, чем во всех твоих мозгах».

— Так пишите,— говорю я,— пишите, господин немец...

За гостиницу — шесть дней, полтора рубля помножить на шесть — девять рублей; двенадцать самоваров по семь с половиной копеек составляют девяносто копеек. Теперь помножьте шесть раз по десять яиц утром и десять вечером, выходит сто двадцать, или две корзины яиц, по рублю за корзину — будет два рубля. Шесть бульонов, шесть куриц по семьдесят пять копеек за каждую курицу, не считая крупы, сельдерея, петрушки, того, этого,— шесть рублей. Теперь возьмите шесть ночей и шесть ламп — шестьдесят копеек. За распитие ваших напитков — по два рубля. За пользование вашим чаем и сахаром один рубль, получается три рубля, а с вином, которое вы могли бы у нас потребовать,— получается четыре рубля. Пиво мы могли подать за семьдесят копеек. Итого имеем не более, не менее, как двадцать четыре рубля с полтиной, но для ровного счета поставим двадцать пять рублей.

Объяснил я ему это очень достойно. Вы думаете, счет ему не понравился? Упаси бог! Он сосет, не переставая, из трубки, очень красиво улыбается, вынимает четвертную и швыряет ее мне, как швыряют трешницу. Очень красиво попрощался с нами и уехал на станцию.

— Ну, а теперь что ты скажешь, жена моя, о нашем немце?

— Дай бог,— говорит она,— чтобы мы получали таких немцев каждый день, было бы неплохо...

И уехал наш немец. Не прошло после этого и трех дней, как заявляется ко мне почтальон и протягивает письмо, но сначала он просит потрудиться и заплатить четырнадцать копеек. За что четырнадцать копеек? Отправитель забыл, говорит он, наклеить марку.

Уплатил я четырнадцать копеек, распечатал письмо — написано по-немецки, ни слова не понимаю. Бегаю я с моим письмом то к одному, то к другому, никто не читает по-немецки, беда! Обошел все местечко, насилу нашел провизора в аптеке, тот читает по-немецки. Прочел он письмецо и объяснил, что пишет это мне какой-то немец, благодарит за спокойный ночлег, который он имел у нас, благодарит за гостеприимство, за любезность, которых никогда не забудет...

«Ох, пожалуйста,— думаю я,— очень хорошо. Если ты доволен, так и я доволен!» И говорю я жене:

— Что ты скажешь о таком немце? Он, видно, дурак не из простых.

— Дай бог,— говорит она,— чтобы мы получали каждую неделю таких умников, было бы совсем неплохо...

Проходит еще одна неделя. Возвращаюсь я как-то с вокзала домой. Навстречу идет мне жена, несет письмо и говорит, что почтальон велел доплатить двадцать восемь копеек.

— За что двадцать восемь копеек?

— Иначе,— говорит жена,— почтальон не хотел...

Распечатываю письмо — опять по-немецки. Бегу к провизору, прошу его прочитать. И рассказывает мне провизор, что этот самый немец только что миновал границу, и так как он возвращается домой на свою родину, то он еще раз благодарит меня за тихий ночлег, который он имел у меня, за наше гостеприимство, за нашу любезность, которых он никогда не забудет.

«Пропади ты,— думаю я,— со своей благодарностью...»

А дома жена спрашивает меня:

— Что это за письмо?

— Опять от немца,— говорю я.— Он не может,— говорю я,— забыть нашу любезность, сумасшедший немец!

— Дай бог,— говорит она,— чтобы мы каждую не-

делю получали таких сумасшедших, было бы совсем не-плохо...

Проходит еще две недели. Приносят мне с почты большой пакет, почтальон требует за него пятьдесят шесть копеек. Я отказываюсь. Тогда почтальон говорит:

— Как хотите,— и берет пакет назад.

Тогда я начинаю раскаиваться, ужасно хочется знать, откуда этот пакет, может быть, необходимая вещь?

Заплатил я пятьдесят шесть копеек, вскрываю пакет, смотрю — опять по-немецки. Отправляюсь я, конечно, прямо к провизору, умоляю его простить мою назойливость,— что делать, если бог меня наказал и я не умею читать по-немецки?.. И провизор читает мне новое послание от немца. Дело в том, что он прибыл уже домой и увиделся со своим дорогим семейством, с женой, с детьми, и рассказал им, как он приехал в Деражную, как встретил меня на вокзале и как я его хорошо принял, предоставил ему хороший, спокойный ночлег, и вот в эту радостную для него минуту он не может не поблагодарить меня от всей души за гостеприимство, за нашу любезность, которых он не забудет никогда, до гробовой доски.

— Будь ты проклят,— говорю я и обрушиваю на этого немца всю горечь моей души, но жене ничего не рассказываю, притворяюсь, что ничего не было.

Проходит еще три недели. Получаю я с почты по-вестку на один рубль и двенадцать копеек.

— Что бы это значило, один рубль и двенадцать копеек? — спрашивает жена.

— Не знаю,— отвечаю я,— пусть я не знаюсь с ли-хом,— и отправляюсь на почту, спрашиваю, откуда мне прислали один рубль двенадцать копеек. Но почта отве-чает, что это не я получаю один рубль двенадцать ко-пеек, а, наоборот, надо заплатить один рубль двена-дцать копеек.

— За что?

— За письмо.

— За какое письмо? Может быть, от немца?

На это мне не отвечают ни слова. О чем с ними тол-ковать? Заплатил я один рубль двенадцать копеек и взял это письмо, то есть не письмо, а целый ящик. Рас-печатываю — снова от него. От немца! Прибегаю к про-визору.

— Не сердитесь — говорю я,— пане, у меня несча-стье, опять письмо от немца.

Провизор мой не ленится, он бросает работу и читает мне целую эпопею, все от этого самого немца, да сотрется имя его из списка живущих. Что же он пишет? Он пишет: так как у него сегодня именины, то есть праздник, и сидят у него гости, собралась вся семья, то он рассказал им для праздника случай о том, как приехал он в маленький городишко Деражня, как он очутился на станции, одинокий на чужой стороне, языка нашего он не понимает, и тут встретил он меня, и я привел его к себе, предоставил ему чудный, спокойный ночлег, отвели мы ему лучшую комнату, кормили и поили его, и как честно мы с ним обошлись. Принимая все это во внимание, он не может отказать себе в удовольствии поблагодарить нас еще раз за гостеприимство и любезность, которых он не забудет вечно, вечно...

«Какой пакостник этот немец,— думаю я,— не стану больше получать от него писем, пусть хоть золотом их обсыплет...»

Проходит еще один месяц, два месяца — нет больше писем, конец! Стал я уже забывать об этом немце, как вдруг приходит повестка со станции на посылку в двадцать пять рублей.

— Что это может быть за посылка в двадцать пять рублей? — раскладываю я мозгами так и этак, жена моя тоже раскидывает, и головы у нас трещат; потом я догадываюсь. Так как у меня есть друзья в Америке, то, может быть, это подарок от них — шифскарта или лотерейный билет. Лениться я не стал, побежал на станцию, хочу получить эту посылку, но мне говорят: будьте любезны, заплатите сначала два рубля двадцать четыре копейки, а потом сможете взять посылку.

Толковать тут нечего, надо одолжить где-нибудь два рубля двадцать четыре копейки, надо заплатить и взять посылку. Выкупил я эту посылку, очень красивый ящичек и чудно упакован. Прибежал домой, вскрыл ящичек, оттуда сейчас же выпал портрет. Посмотрели мы на этот портрет,— о, лихо мое, о, горе мое, о, погибшая жизнь моя,— он! Это он на портрете — проклятый немец с длинной шеей и высокими плечами, с трубкой в зубах. К карточке прикреплено письмецо, по-немецки, конечно, и та же история. Он благодарит за ночлег, за гостеприимство и за любезность, которых он, конечно, не забудет. Какой ядовитый немец, будь он проклят! Дай бог, чтобы на его голову пала хоть половина, хоть малая часть наших проклятий, о боже всевышний!

Прошло еще несколько месяцев — конец. Умер немец! Избавились, слава богу, от заразы! Я почувствовал себя счастливым... И вы думаете, что это все? Погодите, конец впереди. Совсем недавно получаю я ночью телеграмму о том, чтобы обязательно мне выехать в Одессу и поскорее к одному торговому человеку, по фамилии Горгельштейн. Остановился Горгельштейн в гостинице «Виктория» и срочно хочет меня видеть по делу.

— Одесса? Горгельштейн? Отель «Виктория»? Дело? Что за сон такой! — говорю я жене.

Но жена гонит меня, она хочет, она требует, чтобы я ехал, мало ли что бывает: может быть, нас ждет хорошее дело, может быть, куртажные или партия зерна?

Легко сказать — езжай в Одессу! Поездка в Одессу должна влететь в копейку. Но дело не стоит, надо ехать. Короче говоря, достал я займы несколько рублей, сел в поезд и помчался в Одессу. Прибыл в Одессу, стал я расспрашивать, где стоит отель «Виктория». Наконец нашел его.

— Не у вас ли, — говорю я, — живет некто Горгельштейн?

— У нас, — говорят, — но только его сейчас нет дома. Он просил навеститься в десять часов вечера.

Наведываюсь в десять часов вечера — нет Горгельштейна. И меня просят прийти в десять часов утра, тогда я его застану. Прихожу в десять часов утра. Где Горгельштейн? Нет Горгельштейна. Он только что ушел и очень просил передать еврею из Деражни, чтобы тот пришел в три часа пополудни или в десять часов вечера.

Прихожу в три часа пополудни, прихожу в десять вечера — нет Горгельштейна! Зачем долго толковать, провалялся я в Одессе шесть дней и шесть ночей, питался болячками, укрывался бедой. С великим трудом, с невообразимыми мучениями поймал я этого Горгельштейна. Он оказался порядочным человеком с красивой черной бородой, принял меня очень мило, попросил присесть.

— Это вы, — говорит он мне наполовину по-еврейски, наполовину по-немецки, — тот самый еврей из Деражни?

— Это я тот самый еврей из Деражни. В чем дело?

— У вас, — говорит он, — прошлой зимой останавливался один немец?

— У меня, — говорю, — а в чем дело?

— Дела никакого нет, — говорит он, — но этот немец мой компаньон. Я получил от него письмо из Лондона.

Он просит, если я увижу вас в Одессе, передать вам дружеский привет. Он благодарит вас за хороший спокойный ночлег, и за ваше гостеприимство, и за любезность вашу, и за то, что вы с ним так честно обошлись. Никогда, пишет он, ему не забыть этого, никогда...

О, великая беда стряслась надо мной! Сейчас же после праздника я решил выехать из Деражни в другое местечко. Бежать, бежать куда глаза глядят, бежать к черту на рога, лишь бы избавиться от этого пакостника, от этого немца, да сотрется имя его и память о нем!..

БЕЛАЯ ПТИЦА

Монолог дамы

Не знаю, как вы, а у меня, хоть потоп, белая курица в канун Судного дня непременно должна быть! Скажу вам по чистой совести, я даже не понимаю, как я могла исполнить обряд капорес, не будь у меня белой курицы! Мне кажется, я бы весь год потом боялась смерти. Так уж я привыкла с малых лет. Все на свете — привычка. Моя мама, надо вам знать, тоже не такая уж великая праведница, но этих вещей она как раз придерживается. Например: на пасху — пасхальный борщ, на швуэс — любисток, капора — белая, в хануку — блины, в пурим — гостинцы, и тому подобные богоугодные дела я соблюдаю, как настоящая раввинша. «Поминание душ» — для нее что зеница ока, а не слушать звуков рога * для нее гораздо большее несчастье, чем для меня не слушать — не будь рядом помянут! — Шаляпина... И тем не менее, если бы вы ее знали, вы бы, наверное, подумали, что имеете дело с великосветской образованной дамой. Гете и Шиллер не сходят у нее с языка, с Цшоке * она ложится спать еще по сей день. А наступит месяц элул *, и она, вы бы видели, накрывает голову белым платком и начинает водиться с «мещанками». Боюсь, не советуется ли она с ними насчет свечей для синагоги... А потом — прошли покаянные дни — платок с головы долой, и снова Гете, опять Шиллер, сызнова Цшоке. Вот она какая женщина, моя мама, и в таком же еврейском духе она воспитывала нас, своих дочерей. Нас у нее было пятеро, и все мы вышли замуж по любви, то есть все мы были красивыми девушками, образованными и по давню, и приданого было за

нами в банке по пятнадцать тысяч на каждую, — как же нас было не любить? Мы славились по всему свету, надо вам знать, не столько красотой и образованием, сколько добропорядочным воспитанием: А воспитание, знаете ли, — это великое, великое дело! Например, в некоторых отношениях мы были воспитаны нашей матерью очень свободно: мы могли говорить, с кем нам захочется, могли ходить, куда нам угодно, и делать могли все, что вздумается. Но в том, что касается еврейства, соблюдалась величайшая строгость! Например, снимите мне голову, но я не сниму левый башмак раньше правого! Володя смеется надо мной и издевается, но если бы я обращала внимание на все, над чем смеется Володя, у меня бы на пасху были одни куличи да крашеные яйца и ни кусочка мацы. Мой Володя в отношении еврейства немного того... То есть вообще — наоборот! К евреям он относится с величайшим уважением. Услышит, что на евреев свалилось какое-нибудь новое несчастье, погром, и ходит сам не свой. Помилуйте, еврей! Еврейская кровь!.. Но терпеть он не может еврейских ужимок, еврейских выходок... Однако пусть кто-нибудь чужой позволит себе сказать о евреях худое слово, он готов глаза вырвать. Станный он человек, Володя! Сколько раз слыхала я, как он хвастал перед господами, которые приходят к нам иногда поиграть в преферанс, что у нас есть свой, еврейский, дипломат Герцль, который чувствует себя своим человеком у турецкого султана. А когда сионисты пришли к нему как-то за деньгами, он с ними долго спорил и доказывал, что они носятся с химерами и втемяшили себе в башку бог знает что... Ну а деньги? Думаете, не дал? Дал! Вот какой он человек — мой Володя. Сколько мне приходится спорить с ним из-за детей! Дети у меня, не сглазить бы, удачные, красивые, здоровые, свежие, ясные. Чего еще надо? Но ему, Володе то есть, хочется, чтобы они все знали. Знать? Пожалуй. Я тоже хочу, чтобы они все знали. Кто же не хочет, чтобы дети все знали? Но их здоровье для меня дороже. Я мать, быть может, не такая уж горячая, но все же мать, я знаю, что значит здоровье. Мои Сашка и Сонька, прежде чем они выросли, — э-ге-ге! А он их еще мучает, хочет, чтобы они все умели, все знали, даже еврейский, говорит он, они должны знать. Мало того что у них и гимназия, и музыка, и танцы, и всякая напасть, — не хватает им, видите ли, еще одного несчастья: учить еврейский! Если бы учили, по крайней мере, еврейский,

как учат, например, немецкий, французский или английский. Или если бы еврейский учитель был таким же, как и все учителя. Но он,— не накажи меня бог за такие речи,— сама не знаю что. Володя тоже не выносит запаха этого еврейского учителя. Каждый раз после его ухода он раскрывает окно.

— На что он тебе нужен? — спрашиваю я.

— Нынче,— отвечает он,— еврейский язык в моде. Вот и надо, чтобы они учили еврейский.

Понимаете? Мода! На все мода! Карты тоже в моде. Мой Володя когда-то не знал преферанс, шестьдесят шесть... А сейчас он может засесть на целую ночь и играть до следующего вечера. Он уже почти не может обходиться без карт. Но куда он играл дома, меня это не трогало. Я и сама не прочь поиграть в преферанс, и очко мне не претит. У моей мамы мы все частенько играли в очко. Меня волнует, что он играет в клубе! Ох уж мне этот клуб! Сгореть бы всем клубам на свете! Во-первых, жалко денег. Играет он для того, чтобы выиграть, но проигрывает много денег! Я знаю, когда он выигрывает и когда проигрывает. Если пришел нервный, то есть прямо-таки помешанный, и вымещает на мне все, что на сердце, придирается на каждом шагу,— значит, проиграл. А времени сколько уходит?! Ночи! Ночи! На первых порах, пока я узнала, куда он исчезает каждую ночь, я места себе не находила, чуть с ума не сошла! Каждый раз он придумывал новую отговорку. То третий суд на три ночи кряду, то заседание, а то просто приятель затащил к себе на преферанс. Но ведь я же Володю знаю. Знаю, когда он врет, а когда правду говорит. Если клянется и в то же время сердится — значит, врет. Я, конечно, стала вынюхивать, прощупывать и узнала, что он ходит в клуб. Камень с души свалился! Слава богу, что не еще куда-нибудь...

— Володя,— говорю я,— играть в карты ты разве не можешь дома?

— В клубе,— отвечает он,— видишься с одним, с другим, узнаешь, что на свете творится...

Чепуха! Это, как говорится, разговоры в пользу бедных.

— Володя,— продолжаю я,— подумай, ты оставляешь меня одну на целые ночи, детей в глаза не видишь... Бога не боишься, разбойник этакий!

А он отвечает, что терпеть не может сцен и не может слышать, когда я разговариваю с богом.

Я начинаю плакать. Тогда он хлопает дверью, уходит и является утром следующего дня страшно сердитый. Понимаете? Выходит, что я еще у него в долгу! Смотрю я тогда на своего Володю и вспоминаю то время, когда он за мной увивался, сватался, умолял, шаги мои считал, оберегал мою тень. Нелегко ему далось. Прежде всего он старался понравиться моей маме, выслушивал целые страницы из Гете, из Шиллера и Цшоке. Затем он читал ей книги, и обязательно романы, и обязательно такие, от которых и камню впору слезами изойти... Держал на руках ее нитки, летом помогал варить варенье, зимой играл с ней в карты, измотался вконец, и все ради меня. По мне он помирал, готов был целовать следы моих ног. Немалую муку вытерпел, пока дождался от меня доброго слова, потому что у меня тогда было три таких жениха, не менее привлекательных, чем он. Один из них — сейчас он доктор — был в меня влюблен прямо-таки до смерти. То есть все они подышали по мне. А сейчас? Вздумай я вскружить кому-нибудь голову, — очень это мне трудно? Вот, к примеру, аптекарь Бренголец, — который пляшет вокруг меня — он мне сказки рассказывает, хочет убедить, что я моложе на десять лет, — и который приходит как раз тогда, когда Володи нет дома. Правда, я сама даю ему повод: хочу, чтобы Володя знал об этом и чтобы ему было досадно. Я сама потом ему рассказываю:

— Знаешь, кто здесь был?

— Бренголец? — спрашивает он и хоть бы поморщился.

— Завтра, — говорю я, — мы с ним идем вдвоем на Шаляпина...

— С кем? С Бренгольцем?

Я смотрю на него в это время и думаю: «Погоди, я тебя дойму!» И спрашиваю:

— Как ты думаешь, Володя, ничего было бы снять вместе с Бренгольцем одну дачу?

— А что же тут такого? — отвечает он.

— Бренголец, — говорю я, — предлагает мне поехать с ним в нынешнем году в Мариенбад.

— Пожалуйста! Счастливого пути!

Вот как? «Пожалуйста»? Ну, нет! Именно потому, что тебе хочется, я не желаю! Скажите на милость, что это стало с моим Володей? Товарищи втянули его в свою компанию... О, они умеют! От клуба ничего хорошего ждать не приходится. Из клуба каждую ночь

ходят в «Парнас», в «Олимп», в «Аркадию» и тому подобные веселые места и довольно весело проводят время... Сгорел бы этот клуб! Сгореть бы картам! Сгореть бы этой компании. Когда-то мы с Володей просиживали целые ночи, и разговаривали, и разговаривали, и всегда нам хватало разных тем... Зато теперь у нас с аптекарем Бренгольцем достаточно разговоров на разные темы. Разговоры, вообще говоря, пустые: остроты, песенки, анекдоты. Ох и анекдоты у него, у Бренгольца, черт бы его побрал! И как раз анекдоты еврейские, хихи, разные. Я люблю хороший анекдот, слушать анекдоты мне никогда не надоедает. Вот и сидит он, Бренголец то есть, ночи напролет и рассказывает мне анекдоты... Я знаю, что весь город обо мне говорит. Знаю отлично, что говорят обо мне, но меня это нисколько не трогает! Меня волнует только то, что это Володю не волнует!.. Бог ты мой! Если бы в прежние годы, например, пришли к Володе и рассказали, что у меня просиживает по ночам какой-то аптекарь и рассказывает мне анекдоты... Ого-го! А нынче — ничего! Володя приходит иной раз поздно ночью и застаёт его у меня на балконе, и — ничего.

— Что нового, господин Бренголец?

И господин Бренголец рассказывает ему новости. Володя курит, притворяется, будто внимательно слушает, а на самом деле думает в это время бог знает о чем, потому что голова его там... Хотите знать, где это «там»? Э, если бы я знала, было бы хорошо! Давно уже мне хочется это знать, уж я как будто и на кое-какой след напала. Недавно я у него из брючного кармана вытряхнула письмецо на розовой бумаге, пропитанное духами, за подписью «Маша»... Маша? Маша? Кто такая Маша? Вот уже две недели, как я ломаю себе голову и никак додуматься не могу... О, пусть я только узнаю наверное, уж он тогда не обрадуется! Будет ему Маша! У него в глазах «замашит».

Однако куда ж это я заехала? С чего я начала? Да, с белой курицы. Не знаю, как вы, а у меня, хоть потоп, белая курица в канун Судного дня непременно должна быть! «Как бела курица, так и я от грехов бела!» Так учила меня мама. Я следую ее примеру. Поэтому и курица мне нужна обязательно белая. И не только за меня, но и за Володю, за детей и даже за мою маленькую Лелечку, я тоже покупаю маленького белого цыпленка, маленькую белую курицу. Я за них всех приношу

жертвы. Горе горькое, когда ты единственная еврейка в доме, единственная, соблюдающая еврейские законы и придерживающаяся еврейства... Я беру молитвенник, произношу молитву и верчу над головой свою жертву, повторяя: «Это да будет моей заменой, моим искуплением», — и чувствую, как крепнут мои силы, потому что это белая, белая капора, как завещано богом!

ПРАЗДНИЧНЫЙ ЦИМЕС

Монолог виленской женщины

Они говорят, бесстыдники эти, из нынешних, лихо им, будто тогда только люди будут счастливы, когда создадут ералаш: мое — твое, твое — мое... А вот я вам говорю, что если когда-нибудь такое случится, то это будет столпотворение, конец миру, земля кувырком. Вы только послушайте, что приключилось со мной в прошлом году, как раз в это время, в первый день кушей. Живу я, как вы, наверно, знаете, в переулке Гитки-Тойбы, в доме Гутки Нехиной. Хотя и то сказать, дом этот так же принадлежит Гутке Нехиной, как вы приходитесь мне дядей. Хозяев в этом доме предостаточно: пять братьев, с божьей помощью, имеют в нем долю и две сестры. Братья-то все умерли, и сестры тоже умерли, но и те и другие оставили детей, и порядочно, можно сказать, детей. И дети никак не могут прийти к согласию насчет дома: то ли продать его, то ли разделить. Можно бы, правда, его сжечь, но жаль соседей, огонь полгорода унесет. Вот и не расстанутся наследники с этим домом, точно я — с моими горестями. Ни тебе крыши, ни лестницы, ни печи — курятник, черт его побери. А снимешь там койку, так изволь платить два с полтиной в месяц, да еще с копейками. А за что? За то, что с отоплением, видите ли. Такой бы жизни нашим врагам, какое там отопление, — разве лишь накануне субботы или под праздник какой слегка протопят. Хозяева говорят, что от такой пропасти жильцов само собой жарко... И в самом деле жарко. Даже слишком. Подумайте, сколько жильцов, не сглазить бы, в одной квартире; вот подсчитайте-ка: стекольщик Шмерл — это раз; мясник Пине-Меер — два; сморгонский меламед Нафтоле-Бер — три; вдовец Мойшке — вот вам

уже четыре. Был бы он и вправду вдовцом — это бы еще с полбеды. Но он такой же вдовец, как вы губернатор. Когда-то он и в самом деле был вдовцом, да не повторится с ним такая беда, так это звание за ним и осталось. Теперь он уже, слава тебе господи, не вдовец. Наградил его бог ведьмой, хоть бы она подольше продержалась у него...

Да, чуть не забыла, а писец реб Йоше со снохой? Вы спросите, почему я говорю «со снохой», а не с сыном? Это потому, что сын пошел на войну, и реб Йоше уступил свой угол одной счастливой чете, которую у нас прозвали «Бунимовичи» *. А прозвали их так за то, что он калека, а она слепая, и оба загребают золото. У них-то деньжонки водятся; наверно, немалый капитал уже скопили, ведь всего два человека, и оба — добытчики! Корректора реб Лейбе можно не считать, ведь, кроме субботы, его всю неделю и не видно; он человек занятой, у него не меньше десяти профессий, не считая работы в типографии: он и маклер священных книг, и посыльный, и умеет трубить в рог, и псалмы читает, а в случае беды, если кто-нибудь тяжело заболит, реб Лейбе и амулет сочинит. Да разве перечислишь все его занятия?.. Жена его тоже не сидит сложа руки, не беспокойтесь, она льет восковые свечи и торгует бобами, и — черт их знает — все равно бедняки!

Да, так на чем же мы остановились? Людей у нас полон дом. Но и это бы ничего, если бы все ходили молиться в одну синагогу. Так нет же, у каждого свой нор.

Если стекольщик, скажем, молится в синагоге стекольщиков, мясник — в синагоге мясников, а меламед — в Любавичской синагоге *, — это еще куда ни шло: каждого тянет к себе подобным, в свой цех. Но какое отношение имеет, спрашиваю я вас, вдовец к старой синагоге? Что он, такой уж знаток пения, без кантора Сироты * никак не может? Вы бы послушали этого вдовца, как он заливается по субботам. У самого-то голос недорезанного петуха, а еще хорохорится, лихо ему! Он так забивает всем головы своим «Благословен накормивший нас», что весь воскресный день у меня в ушах звенит. Не знаете ли вы, чем его там накормила его ведьма, разве лишь проклятиями и ругательствами! А потолкуйте с ней,

то правда, выходит, на ее стороне: муж, говорит она, подобен чужбине — терпишь, пока не привыкнешь. Как вам это нравится?

Казалось бы, у меня больше оснований жаловаться на всевышнего: ведь мой-то и в самом деле овца овцой, палец о палец не ударит, день и ночь сидит в синагоге над священными книгами, а я, как вы знаете, не живу, а мучаюсь. Во имя чего, спрашивается? А мне, видите ли, кресло в раю уготовано. Вот и работай во все тяжкие, как ишак, да смотри, чтобы по субботам и праздникам у тебя все было по-царски. Почему только по субботам и праздникам? Потому что во все остальные дни муж кормится за счет Двойры-Эстер *. Чем его там кормят и как — в это я не хочу вдаваться. Знаю только, что, когда приходит суббота или другой какой праздник, у меня для него и хала есть, и рыба, и добрый кусок мяса, и тому подобное. В праздник у меня непременно и цимес должен быть: на пасху цимес из слив, на куши — из моркови.

И вот послушайте историю: в прошлом году накануне кушей морковь страсть как вздорожала. Привозить ее, что ли, перестали, кто их знает, только каждая морковочка на вес золота. Но ничего не поделаешь, цимес моему мужу милее всего. Он и от рыбы готов отказаться, и от мяса, и от всего такого прочего, был бы только цимес. Хотя я-то знаю, что так только говорится, будто прочее ему нипочем, цимес ведь подается напоследок, — значит, нетрудно быть уступчивым.

Принесла я, значит, с базара морковь, почистила ее, нарезала и поставила к огню. Что мне вам сказать: райская еда! Недаром богачи едят цимес в будни, на это у них ума хватает. Богачи любят есть в будни то, что мы едим в субботу... Сварила я цимес и задвинула его в мой уголок — у нас у каждой жилички свой уголок в печи — и пошла на минуточку проведать сестру. У меня есть сестра Бейлка, так у нее вот уже десять лет как отнялись ноги, не про вас будь сказано, и все же она сама зарабатывает себе на пропитание: оципывает птицу.

Зимой, значит, она щиплет перья, а летом вяжет детские чулочки и гарусные шапочки. Живет моя сестра вместе с еще несколькими семьями во дворе Лейбе Лей-

зерова, на Еврейской улице. Ну, что плохого в том, спрашиваю я вас, что по случаю праздника я сходила на полчаса к сестре? Кстати, я ей и халу понесла, и кусок рыбы, пусть тоже почувствует праздник. Не чужое я ей понесла, упаси бог, все моим трудом добыто, даже перед мужем я не должна ответ держать — так кому какое дело?

Видимся мы с сестрой только по праздничным дням, вот мы и заговорились немного, и за мной пришли. Оказывается, муж успел уже вернуться из синагоги. Горе мне, наверно, сердится, небось проголодался, бедняга. Прибежала я домой ни жива ни мертва, а в шалаше * ужинает уже шестая по счету семья: у нас на всех жильцов один шалаш, и все разом не могут в нем поместиться. Слава богу, он мне ни слова не сказал, мой муж. Он не из тех мужей, которые что-нибудь скажут. Тихий человек. Но по тому, как смотрит, вижу, что он обижен: смотрит в книгу — значит, обижен. Правда, это редко бывает, чтобы мой муж не смотрел в книгу, но все зависит от того, как смотреть: можно смотреть по-одному, а можно и по-другому. На один глаз мой муж чуть подслеповат, вот и получается совсем невесело... Я, конечно, оправдываюсь: то да се, целую неделю с сестрой не виделись. Куда там! Мой недоволен, смотрит в книгу. Поднесла я ему кружку воды руки помыть, потом подала рыбу: пахнет — объедение! За рыбой кусок мяса, бульон с клецками, все кругом хорошо. Дошло до цимеса, я и говорю ему, — ведь как-никак муж, который вечно сидит за священными книгами: «У меня сегодня цимес, скажу я тебе, сам царь не побрезговал бы, честное слово! Настоящий праздничный цимес, из моркови!» Услышав о цимесе, мой отложил книгу и ожил. А я тем временем направляюсь к печке. Смотрю — гром меня порази, горшок чист, хоть бы крошка осталась, цимеса как не бывало. Где же цимес? Нет цимеса! Я к тому, я к другому: «Не видели ли вы моего цимеса?» Пустое! Никто и слыхом не слыхал ни о каком цимесе. К счастью, нашла соседка, которая сжалилась надо мной и сказала, что знает, куда девался мой цимес. Цимес, сказала она, приказал долго жить. Его давно уже съели, но кто съел, она боится сказать, потому что кому же охота связываться с кривой, с одноглазой, значит... Смотрю на своего — так и кипит! Уткнулся носом в книгу — и ни слова!..

Побежала я к этой счастливой чете, к Бунимовичам. «Как же так, говорю, гибель на вас, чем провинился перед вами мой цимес?» А она, кривая эта, отвечает: «Какой цимес?» — «Праздничный, говорю, из моркови». — «Дай вам бог здоровья, — говорит она, — на что мне сдался ваш цимес, если у меня был собственный цимес, пожирнее вашего». Это меня задело за живое: какова нахалка! Я же точно знаю, что у нее ни одной морковки не было, хотя бы на пробу, а она говорит, что у нее был цимес пожирнее, то есть получше, чем у меня. «Значит, говорю, у вас жирнее?» — «Да, говорит, жирнее!» Тогда я еще раз спрашиваю: «Жирнее?» И она еще раз: «Жирнее!» Тогда и я еще раз: «Жирнее, значит?» И она еще раз: «Жирнее!» Это было уж слишком. Пусть бы она отрицала, что разделалась с моим цимесом, это я, может быть, еще бы стерпела, я бы подумала: кто его знает, вдруг это и в самом деле не она, а кто-нибудь другой? Но утверждать, что у нее цимес был жирнее!..

Стоит ли рассказывать, что было дальше? Нехорошо получилось, очень плохо. Кто же виноват, что взяли людей и, словно кур, загнали их всех вместе в один курятник, и живи как знаешь! А вот подите же поговорите с ними, с нынешними, значит, с этими бесстыдниками, которые хотят завести новые порядки, все перемешать, устроить кавардак, и они вам докажут, что раз умные люди так говорят, значит, оно так и должно быть... А я вам еще раз скажу: это будет столпотворение, конец миру, земля кувырком и... С праздником вас!

ЗА СОВЕТОМ

— Вот уже третий день заходит к тебе какой-то молодой человек. Говорит, что ему очень нужно с тобой повидаться. По нескольку раз в день наведывается.

Эту, с позволения сказать, радостную весть мне сообщили, когда я однажды вернулся домой из поездки.

Я подумал: «Вероятно, сочинитель со своим произведением».

Звонок раздался, как только я сел к столу и принял за работу.

Вот уже открыли дверь. Кто-то там возится в передней. Снимает калоши. Кашляет. Сморкается. Да, все

признаки «сочинителя». Что ж, я бы хотел скорей увидеть этого субъекта.

И вот он, с божьей помощью, входит в мой кабинет.

Он весьма любезно меня приветствовал. Точнее сказать: сделал какой-то замысловатый реверанс и, потирая руки, представился. Назвал свое имя — из тех имен, какие тотчас испаряются из вашего сознания.

— Присаживайтесь! Чем могу быть вам полезен?

— Я пришел к вам по наиважнейшему делу. Иными словами: дело, которое привело меня к вам, — чрезвычайно важное. Скажу более: дело это является вопросом моей жизни. Я думаю, что только вы поймете, в чем тут суть. Все-таки вы писатель, много пишете и, стало быть, знаете что к чему. Иными словами: умеете взвесить и оценить все то, что происходит на свете. Да, именно так я думаю, то есть даже не думаю, а уверен, что это так...

Я поглядываю на посетителя. Это тип местечкового просвещенца, сочинителя. Молодой человек с бледным лицом и с жалобными черными глазами, которые как бы тоскливо говорят: «Пожалейте одинокую заблудшую душу!»

Нет, не люблю таких глаз. Я побаиваюсь их. В таких глазах никогда не бывает искры смеха или улыбки. Они всегда обращены вглубь. Мне решительно не нравятся такие глаза.

Я откладываю в сторону перо и говорю:

— А ну, покажите, что у вас там?

Ожидая, что сейчас мой посетитель засунет руку за пазуху и выгребет оттуда изрядную рукопись. Быть может, это будет роман в трех частях — длинный, как еврейское изгнание. Однако не исключена возможность, что это будет драма в четырех актах, причем действующие лица будут носить имена: Мердерзон, Эрлихман, Фрумхарц, Битерцвайг¹ и тому подобные — имена, которые сами говорят, с кем вы имеете дело...

А впрочем, возможно, что это всего лишь стихи о Сионе:

Туда, в горы, его тянет,
Туда, где орлы парят,
И там пальмы зацветают,
Там пророки отдыхают,
Мудрость бога прославляют.

¹ Мердерзон — сын убийцы. Эрлихман — честный человек. Фрумхарц — благочестивая душа. Битерцвайг — горькая ветвь.

Мне хорошо знакомы такого рода вирши. Мне знакомы эти рифмы, от которых в ушах звенит и в глазах мелькают круги и точки. И пусто, как в самой дикой пустыне, сказал бы я, делается у вас на душе после чтения таких стихов.

Однако, представьте себе, на сей раз я ошибся. Молодой человек не засунул руку за пазуху и не выгреб оттуда рукопись. У него и в помине не было ни романа, ни драмы, ни стихов.

Поправив воротничок рубашки, обстоятельно откашлявшись, мой посетитель сказал:

— Видите ли, я пришел к вам для того, чтобы излить перед вами горечь своего сердца, чтобы посоветоваться с вами. Я думаю, что такой человек, как вы, можете меня понять. Вы так много пишете, что должны все знать и, стало быть, можете дать мне хороший совет. Заранее скажу, я сделаю так, как вы посоветуете. Я даже могу дать честное слово... Однако простите, быть может, я отнимаю у вас время?

— Время не имеет значения. Рассказывайте, что с вами, — сказал я ему, почувствовав, как у меня с души свалилась огромная тяжесть.

Молодой человек придвинулся к столу и стал потихоньку изливать мне всю горечь своего сердца. Сначала он делал это спокойно, но потом увлекся и заговорил с жаром.

— Видите ли, я проживаю в одном маленьком местечке. Вообще-то говоря, местечко наше совсем не маленькое. Скажу более: это большое местечко. Это, пожалуй, город. Но этот город против вашего города — опять-таки маленькое местечко... Конечно, вы хорошо знаете наше местечко. Однако его название я вам не открою. Мало ли: вы можете его описать. А это меня не устраивает по многим причинам... Вероятно, вы хотели бы знать, чем я занимаюсь? Гм... Я занимаюсь... Вообще-то говоря, я ничем не занимаюсь. Иными словами: я пока ничего не делаю. Скажу проще: я нахожусь на харчах у своего тестя. Не на харчах, конечно, а на всем готовом. Еще бы: она единственная их дочь, и мы у них получаем все, что нам нужно. Не убудет у них от этого, даже если они будут нас содержать еще десять лет, потому что они состоятельные люди! Скажу прямо: они богачи. А для нашего маленького местечка так даже боль-

шие богачи. Короче говоря: у нас нет людей богаче, чем они.

О моем тесте, вы, конечно, кое-что слышали. Но его имени я все-таки вам не открою. Это как-то не подобает при его положении. Хотя, между нами говоря, он любит, чтобы вокруг его имени был некоторый шум. Например, для бобруйских погорельцев он дал самое крупное пожертвование. И для города Кишинева он опять-таки дал больше всех. Что касается нашего города, то своим землякам он почти ничего не дает. Он не дурак: он хорошо знает, что в своем городе его и без того уважают. Зачем же ему и тут еще давать и неизвестно перед кем выхваляться? Вот по этой причине он дает своим только фигу с маслом. А щедро жертвует только чужим, которые еще не знают, что он такой добрый. Но, впрочем, он и перед чужими бледнеет как покойник, когда к нему приходят с просьбой или за подаванием. Таким людям он кричит: «Ага! Вы пришли обирать меня? Натe мои ключи! Идите сами, ройтесь в моих шкафах. Берите у меня все!..» Вы, наверное, думаете, что он и в самом деле отдает им ключи? Нет, простите, вы ошибаетесь. Ключи от шкафа у него заперты в столе. А ключик от стола тоже неплохо где-то запрятан... Вот каков человек мой тесть. А каков человек — такова и его слава. В нашем местечке, между нами говоря, его называют свиньей. Но, конечно, за глаза. А вообще-то в глаза ему льстят. И так льстят, что с души воротит. А он доволен и все принимает за чистую монету. Поглаживает свой животик и живет припеваючи. Да, конечно, это и есть жизни! Спрашивается: человек ничего не делает, живет в полном довольстве, сладко кушает, крепко спит. Ну, что ему еще нужно? Выспавшись, велит запрячь фаэтон и катается по грязи. А вечером у него собираются гости. А это почти все хозяева города. Они сплетничают. Болтают всякую чепуху. Смеются над нашими жителями и над всем миром. Засим подают им большой самовар. И тут мой тесть непременно усаживается играть в домино с резником Шмуел-Абе. Шмуел-Абе, должен вам сказать, носит пейсы, и все же он из нынешних. В белом воротничке, с начищенными сапогами, он не прочь поболтать с молодухами, хорошо поет, читает газету, отлично играет в шахматы и в домино. А в домино? А в домино он с моим тестем может играть целую ночь. А ты сиди и смотри, как они играют. Можно сказать, уже рот разрывается от зевоты. Охота встать из-за стола,

уйти в свою комнату и там взяться за книгу. Так нет! Уйти, оказывается, неприлично. Мой тесть на это крепко обижается. Он тогда надувается, как индюк, и перестает с тобой разговаривать. А глядя на него и теща перестает тебя за человека считать. А уж коли родители не в ладах с зятем, то их чадо единственное тоже, как говорится, свой нос в сторону воротит. А это чадо о себе высокого мнения. Еще бы: она у родителей «зеница ока», а если ей чуть нездоровится, то немедленно появляется доктор, и все ходуном ходит. Мудрено ли, если такое создание полагает, что весь мир сотворен только для нее. А между нами говоря: она если и не дура, то и не особенно умна. Нет, когда она говорит, то незаметно, что она глупа. Напротив того, она кажется как будто бы даже не глупой, а умной. Иной раз даже может показаться, что она исключительно умна. Но что значит для нее ум, если она избалована и распущена, как дикая коза? Целые дни она либо хохочет, либо плачет, а уж если плачет, то плачет, как малое дитя. Иной раз спрашиваешь ее: «Что ты плачешь? Чего тебе не хватает?» Стена скорей ответит, чем она. Но это еще полбеды. Жена если начнет плакать, то плачет до тех пор, пока не кончит. Вся беда в теще. Она тут же является на этот плач. Является в своей турецкой шали на плечах. Ломает руки. Воскликает что-то молитвенным тоном. А у самой голос грубый, как у мужчины. Спрашивает свое дитяtko: «Что с тобой? Ах, это опять твой разбойник, бандит и убийца?! Горе мне! Что ему до «зеницы ока». Что он, ее кровь пролил?» Тут разные слова сыплются у нее, как из мешка. И мне кажется, что язык у нее никогда не остановится. И мне делается дурно, у меня сердце щемит и душа тоскует от ее слов. Причем иной раз у меня появляется дикое желание схватить ее турецкую шаль, измять ее руками, растоптать ногами, а то и порвать на мелкие куски. Хотя, конечно, если здраво рассудить, то шаль тут ни при чем. Шаль как шаль, какие обычно привозят из Брод. Вероятно, вам знакомы эти турецкие шали? Они с крапинками, в клеточку и оторочены бахромой...

Тут я перебиваю моего молодого посетителя и строго ему говорю:

— Извините, но ведь вы хотели со мной посоветоваться о деле.

Посетитель тяжело переводит дыхание.

— Ах, простите,— говорит он,— я, кажется, отни-

маю у вас время? Но все это чрезвычайно важно — то, о чем я рассказываю. Вы должны немного познакомиться с домом и с людьми. Только тогда вы до конца поймете мое положение и мое дело... Да, так вот является теща в своей турецкой шали. И тут ей кажется, что ее дитяtko, упаси боже, чувствует себя нехорошо, что оно не совсем здорово. Тогда в дело вмешивается тесть. Он велит запрячь фазтон и посылает за доктором. Посылает за «новым доктором» — именно так называют у нас одного врача, черт бы его драл. Но имени его я вам не открою по некоторым причинам... Так вот, посылают за этим доктором. И тут-то и начинается вся эта история, которую я вам хотел рассказать для того, чтобы выслушать ваш совет...

Мой посетитель на минуту прерывает свою речь. Он вытирает платком вспотевшее лицо и придвигается ко мне поближе со своим стулом. И при этом он берет со стола какой-то предмет. Есть люди, которые непременно должны держать в руках какую-нибудь вещьцу. Иначе они не могут рассказывать. А на моем письменном столе много всяких безделушек, и среди них имеется машинка для сигар в виде крошечного велосипеда. Так вот мой посетитель облюбовал себе именно эту вещьцу. Сначала, рассказывая, он только смотрел на этот велосипедик, но потом взял его в руки и принялся вертеть колесики. В общем, эта машинка была в его руках почти все время, пока он рассказывал.

— Так вот,— снова заговорил он,— посылают за новым доктором. А в нашем местечке, да будет вам известно, докторов что собак нерезаных. Есть у нас доктора — русские, евреи, а также и врачи-сионисты, то есть такие, которые занимаются сионизмом. Но тот доктор, о котором я вам рассказываю,— совсем молодой доктор, местный портновский сын. Иными словами, его папаша был когда-то портным. Но сейчас он уже, конечно, не портной. Зачем ему быть портным, если его сын доктор? Вернее сказать: зачем сыну-доктору иметь папашу-портного? Скажу о папаше два слова, чтобы вам иметь представление и о нем... Это человек совсем низенького роста, косоглазый и с искривленным пальцем на правой руке. Ходит он всегда в длиннополом ватном кафтане. А голос его напоминает трещотку. Целые дни он трещит и трещит о своем сыне: «Мой доктор вчера имел практику. Ну и практику! Мой доктор все умеет. Мой доктор!» Этот портной всем и каждому забивает голову своим

доктором. К тому же, на беду всему городу, его сын — доктор по женским болезням. Иными словами: он акушер. И уж если у кого-нибудь в этом вопросе есть тайна, то эту тайну портной раззвонит по всему городу. Короче говоря: горе той женщине или девушке, которая попадает в руки к этому доктору и на язык к его папаше — портному. Была у нас одна девушка, которая...

Я снова перебиваю моего рассказчика:

— Простите, молодой человек, но вы же хотели рассказать мне о вашем деле?

— Ах, извините, — говорит он, — я чувствую, что отнимаю у вас время! Но как же быть? Ведь должен же я рассказать вам о докторе, который является моим злым гением! Ведь если бы не этот доктор, то все в моей жизни шло бы самым лучшим образом. Сообразите сами: чего мне не хватает? Детей мы пока не имеем. Жена у меня красавица, умница, единственная дочь у своих родителей. Когда они умрут, через сто двадцать лет, все их богатство перейдет к ней, то есть ко мне. Да и сейчас, тьфу-тьфу, не сглазить бы, я уже пользуюсь некоторым уважением. В гостях за столом меня всегда сажают на почетное место, как зятя богача. Во время богослужения в праздники я всегда иду первым за моим тестем. Не совсем, конечно, первым, но я иду вслед за кантором и раввином. А уж потом — все остальные. И даже, простите за выражение, в бане я встречаю такое же отношение. Едва начинаю раздеваться, как уж банщик кричит: «Расступитесь, люди! От дверей отойдите! Сейчас пойдет мыться зять нашего богача!» Нет, эти слова банщика мне неприятны, я такого внимания не люблю. Однако что значит — не люблю? Лесть всякий любит, и от почета никто не отказывается. Но только я-то знаю, что сам я еще этого не заслужил. Да, у меня тесть — богач. Вот пусть люди и лижут его. Дикари, скажу я вам, и только. А я-то тут при чем? Тем более — кто такой мой тесть? Вот он сейчас не слышит меня, и поэтому я могу вам сказать: он невежда! С ним и говорить-то не о чем. А она единственная их дочь. Чуть что, она бросается на постель и рыдает. И тогда, как я вам сказал, тесть посылает фаэтон за новым доктором, чтоб ему ни дна ни покрышки! Ах, поверьте мне, жизнь моя становится невыносимой, когда я вспоминаю об этом докторе. Именно тогда мне хочется схватить нож и зарезаться либо побежать к реке и утопиться!

Молодой человек загрустил, задумался.

Тут я спросил моего посетителя, стараясь подобрать самые деликатные слова:

— Значит, вы, так сказать, подозреваете, что ваша жена...

Мой посетитель вскакивает со стула как ошпаренный.

— Упаси бог! — восклицает он. — Таких подозрений у меня нет! Что вы! Ведь это еврейская дочь! Это благочестивое дитя!.. Я говорю о докторе, об этом замечательном враче, сгореть бы ему! И главное, чтобы огонь сожрал его папашу, этого косоглазого портняжку, который всюду шляется в своем ватном кафтане! Шляется, трещит и барабанит по всему городу. Вы, вероятно, думаете, что он что-нибудь путное мелет? Нет, он мелет всякий вздор, чепуху! Язык у него длинный, вот он и мелет. Меня это трогает, как прошлогодний снег. Но беда в том, что у человека имеются уши. Уши же любят послушать, а хорошенько прислушиваясь, услышишь такое, чего слышать не хочется. К тому же надо знать наше местечко. Оно славится на весь мир обилием сплетников и клеветников с длинными языками. Скажу больше: если человек попадает к ним на язычок, он может попрощаться с жизнью!.. В глаза они мне ничего не говорят, но зато за глаза говорят такое, что я стал приглядываться и прислушиваться. Я стал ловить каждое его слово, когда он о чем-нибудь с ней беседовал. Нет, я ничего такого не усмотрел и ничего особенного не уловил из их разговоров. И только единственно, что я заметил: она становится совсем другим человеком, когда он приходит. У нее делается другое лицо и другие глаза, то есть человеком она остается таким же, каким и была. Но в глазах у нее вдруг вспыхивает какой-то блеск. И на лице у нее появляется какое-то иное выражение, чем при мне. Я спросил ее однажды: «Скажи, душенька моя, почему ты вдруг становишься совсем другим человеком, когда он приходит с визитом?» Нет, вы никогда не догадаетесь, что она мне на это ответила. Она ничего не ответила. Она только рассмеялась таким уничтожающим смехом, что я уж думал — сквозь землю провалюсь. После этого бросилась она на кровать с рыданиями и потеряла сознание. Тут, конечно, прибежала теща в своей турецкой шали. Стала приводить ее в чувство. А тесть велел запрячь фаэтон и послал за новым доктором меня самого. И когда я привез доктора, то ей вдруг стало легче. Глаза у нее снова засверкали, как брильянты на солнце. И на щеках вы-

ступили розочки... Да, но вы представьте мое положение! Я же к нему должен был на дом ехать и везти его в фаэтоне к себе. А мне, может быть, легче в ад было войти, чем в его квартиру. Видели бы вы эту рожу! Красная, как бурак, вся покрыта прыщами, и притом вечно улыбается. Меня доктор встречает с особой улыбочкой. Со мной он сладок, как сахар, и мягок, как пластырь, приложенный к болячке. Его доброта ко мне, я бы сказал, беспредельна. Когда я как-то заболел модной болезнью — инфлюэнцей, он так старался меня вылечить, что мне даже стало это как-то не по нутру. И удивительное дело — чем он внимательнее ко мне, тем больше я его ненавижу. И пусть простит меня бог — не могу я его видеть. Особенно не могу в тот момент, когда он сидит у нас и с ней переглядывается. Вот тогда мне кажется, что я способен схватить его за шиворот и вышвырнуть вон. Это вернуло бы мне мое утраченное здоровье. Но я без этого, сударь, дал себе слово положить конец всему. Довольно мне терпеть его улыбочки и его взгляды, когда он приходит к нам и сидит возле нее. Сколько, я вас спрашиваю, можно выносить такой позор? Ведь клеветники и сплетники нашего города уже давно мною занимаются. Нет, я принял твердое решение: развестись с ней! Иного выхода у меня нет. Однако при этом решении у меня возникает мысль: а какая мне прибыль от того, что я с ней разведусь? Ведь, с другой стороны: тесть — богач, она — единственная дочь, все их — будет мое. Но тут же я думаю: «Черт с ними, все-таки разведусь,— иного выхода нет!» А как вы думаете?

Мой собеседник перевел дыхание, вытер лицо и кротко посмотрел на меня, ожидая, что я отвечу. Я сказал:

— Да, мне тоже кажется, что другого выхода у вас нет. К тому же и вашу любовь никак нельзя назвать пламенной. Да и детей у вас нет. И все эти сплетни в городе. На что вам все это?

Слушая это, мой собеседник смотрел на меня своими жалостливыми черными глазами и усердно вертел колесики велосипеда. Затем он придвинулся ко мне еще ближе и, тяжело вздохнув, снова заговорил:

— Вот вы говорите — любовь. О чем тут толковать? Нет, я не могу сказать, что я ее не люблю. Да и за что же, помилуйте, ее не любить? Ясно, что я ее люблю. И даже очень ее люблю... А что город сплетничает — так

и пусть его сплетничает, если уж ему это так нравится! Нет, сударь, не это воспламеняет огонь в моей душе. Единственное, чего я не могу перенести, это лишь тот факт, что она радуется, когда видит доктора. Я задаю себе вопрос: а почему она не делается розовой и веселой, когда видит меня? Чем я, собственно говоря, хуже его? Может быть, тем, что он доктор, а я нет? Да, но если бы меня в свое время учили, то и я, быть может, стал бы врачом. И лечил бы людей не хуже, чем он. Уж поверьте мне на слово — я не только в этом заткнул бы его за пояс! Вот эти мысли несколько колеблют мое решение. А что, собственно говоря, произошло? Почему я должен дать ей развод? А, новый доктор? Ну, а как быть, если уже не этот доктор, а еще другой какой-нибудь черт появится? Где это написано, что молодой женщине нельзя быть знакомой с врачом? Это во-первых. А во-вторых, я спрашиваю вас, какой мне будет толк, если я все-таки с ней разведусь? Ведь я сам по себе сирота, без родных, без друзей. Вам-то легко сказать — разведись. Ну, разведусь, и что я тогда? Снова — бедный парень, которому опять надо начинать свою жизнь с начала и опять надо на ком-нибудь жениться. А откуда я знаю, что найду жену лучше, чем она? А вдруг я попаду в еще худший ад, чем было до сих пор? Уж тут-то я, так сказать, притерпелся и знаю, в чем состоит мое горе. Тем более что горе это все-таки до некоторой степени — горе наследного принца, которому через энное количество лет достанется все. А в противном случае — что? В противном случае я снова должен пускаться на всякие комбинации и, так сказать, спекулировать моей жизнью. А ведь жизнь — это игра, лотерея. А? Не так ли? Или, по-вашему, не лотерея?

Я ответил моему посетителю:

— Да, отчасти игра, лотерея. И если так думать, то, пожалуй, вам и в самом деле лучше не разводиться, а закончить дело миром.

Мне самому понравился мой совет, который так отчетливо повернул все дело на путь мирных решений. Мне даже на минуту показалось, что беседа с моим посетителем подошла к концу. Но не тут-то было! Мой посетитель яростно схватил со стола велосипедик и, завертев колесики, сказал мне прямо в лицо:

— Вы говорите — помириться с ней? А доктор, доктор с прыщевой мордой, черт бы его в клочья драл! А папаша доктора — этот косоглазый портной? Ведь

этот портняжка и без того ходит по городу и барабанит, что дочь моего тестя собирается со мной развестись! Нет, вы понимаете ли всю низость этого портняжки, который звонит об этом? Ясно: теперь весь город знает, как обстоят мои семейные дела. Но, с другой стороны, я сам себе задаю вопрос: уж если теперь весь город знает, то что же я в таком случае теряю? Да я ровным счетом ничего не теряю, если тот же папаша-портняжка об этом трезвонит. Извините за афоризм: дрянь дрянью и останется. Но, с другой стороны: если уже весь город говорит о моем разводе, то прилично ли мне придерживаться иных решений? Нет, сударь, увы, у меня нет другого выхода, кроме развода. А? Не так ли? Как вы думаете?

Я отвечаю моему посетителю:

— Пожалуй, что вы правы. Уж если весь город обсуждает ваш развод, то при всяком другом вашем решении вы окажетесь в несколько деликатном положении.

Надвинувшись на меня со своим стулом, посетитель почти кричит:

— Ага! Стало быть, по-вашему, я непременно должен дать ей развод? Нет, сударь, вы хорошенько обдумайте все это дело, прежде чем так опрометчиво говорить! Вот, к примеру, вы раввин, и я прихожу к вам с женой разводиться. Естественно, вы меня спрашиваете: «Скажи мне, молодой человек, по какой причине ты хочешь развестись со своей супругой?» Какой же, к примеру, ответ я должен дать раввину? Или, по-вашему, я должен ему ответить: «Она смотрит на доктора, а он на нее». Да разве в таком ответе заключается какой-нибудь смысл? Но ведь другого-то я ничего не смогу ему ответить. Да как же я после этого буду выглядеть перед всем миром, если я с ней из-за этого разведусь? Ведь это каждый скажет, что он взбесился: развелся с женой-красавицей в тот момент, когда все их богатство через сто двадцать лет будет принадлежать ему. Да и вы тоже мне скажете: да вы взбесились, с ума сошли. А? Не так ли?

— Да, я тоже говорю: взбесились, с ума сошли.

Тут мой собеседник приблизился ко мне так, что наши ноги почти сплелись вместе. Откинув в сторону велосипедик, который сломался, посетитель взялся за мою чернильницу. Шумно вздохнув, он торопливо забубнил:

— Да, вам легко сказать, что я взбесился! Хотелось бы мне знать, как бы вы сами поступили, если бы такая история случилась с *вами*?! Нет, вы подумайте на минут-

ку: *ваш* тесть — невежда, теща ходит в турецкой шали, ворчит мужским голосом, жена все время лечится у врача, а весь город тычет на *вас* пальцем и за глаза говорит: «Муж козы». Да вы, сударь, посреди ночи вскочили бы с постели и удрали бы за тридевять земель! А? Что? Разве не так?

Я говорю моему посетителю:

— Да, это так. Пожалуй, я и в самом деле вскочил бы среди ночи, развелся бы с ней и удрал бы за тридевять земель!

Мой посетитель кричит на меня:

— Вам-то легко сказать: вскочил, развелся и удрал за тридевять земель! Удрал! Кто удрал? Куда удрал? В могилу, что ли? Да вы сообразите сами: ведь она единственная дочь. Все ее через сто двадцать лет будет моим! Это что? Это тоже, по-вашему, ничего? А к этому добавьте или, вернее, спросите самого себя: что я имею против нее? Нет, попробуйте ответить мне, *что я имею против нее?*

— А в самом деле,— спрашиваю я моего посетителя,— что вы имеете против нее?

— То есть как что? — отвечает он.— А доктор? О докторе-то вы и забыли? До тех пор, пока он посещает наш дом, видеть ее не могу.

— Ну, в таком случае вы должны с ней развестись.

— А какая мне от этого будет прибыль? — кричит посетитель.— Ну, допустим, я разведусь, и что я тогда буду делать в нынешние тяжелые времена?! Нет, вы не увиливайте, а будьте умницей и дайте на это ответ!

— Пожалуй,— говорю,— вам не надо разводиться.

— Не давать развода, а как же доктор... Пока...

Я хочу положить конец нашей беседе и поэтому решительным тоном говорю:

— Вам надо с ней развестись.

— Развестись? А какой прок мне от этого?

— Ну, тогда не разводите.

— А доктор?!

Я не сумею объяснить вам, что именно со мной случилось. Видимо, кровь ударила мне в голову. В глазах потемнело. Во всяком случае, я схватил моего собеседника за горло, прижал его к стене и не своим голосом закричал:

— Развод! Дай ей развод, выродок этакий! Разводись, разводись! Разводись!!!

.

На наши крики сбежалась вся моя семья. Что такое? Что тут случилось?

Да нет, как будто бы ничего не случилось.

Однако я и сам себя не узнал, когда взглянул в зеркало на свое помертвевшее лицо.

Я долго жал моему посетителю руку, просил у него прощения и умолял позабыть то, что произошло между нами. Я сказал ему:

— Иной раз бывает, что человек по неизвестной причине выходит, так сказать, из себя...

Мой посетитель был чрезвычайно растерян, смущен и во всем соглашался со мной. Он соглашался с тем, что человек сам себе не хозяин и действительно иной раз выходит из себя.

Засим посетитель мой почтительно и вежливо поклонился и, потирая руки, ушел, причем, уходя, деликатно произнес:

— Не обижайтесь, если я отнял у вас время. Большое спасибо за совет. Будьте здоровы!

— Счастливого пути! Но благодарить не за что.

У ДОКТОРА

Хочу вас попросить, господин доктор, об одном: чтоб вы меня выслушали. То есть не болезнь мою выслушали,— о болезни мы поговорим потом. Уж я сам растолкую вам, в чем состоит моя болезнь. Я хочу, чтобы вы выслушали меня самого, потому что не всякий доктор любит выслушать больного. Не всякий доктор дает поговорить. У докторов манера: они не дают говорить. Они знают только щупать пульс, смотреть на часы, прописывать рецепт и брать за визит. О вас я слышал, что вы не из таких докторов. Вы, говорят, еще молодой доктор, еще не так жадничаете, не тянетесь за рублем, как другие. Поэтому, стало быть, я и пришел к вам посоветоваться относительно моего желудка. Я, видите ли, человек с желудком. Правда, по вашей докторской науке выходит, что каждый человек обязательно должен иметь желудок. Но в каком случае это говорится? В том случае, когда желудок — это желудок.

Но если желудок — это не желудок, а черт знает что, то к чему вся жизнь? Вы, пожалуй, ответите мне изречением: «Не по своей воле живешь»? Но это я знаю без вас. За это самое «не по своей воле» меня еще в хедере секли. Я говорю о том, что человеку, покуда он жив, умирать не хочется. Хотя, если правду говорить, я сам смерти вообще не боюсь. Потому что, во-первых, мне уже перевалило за шестьдесят, а во-вторых, я такой человек, для которого что жить, что умереть — одна и та же радость. То есть жить, конечно, имеет больше смысла, чем умереть, потому что кому же это хочется умирать? А тем более еврею? А тем более отцу одиннадцати детей, дай им бог здоровья, и с женой, хоть и третьей, а все же женой.

Короче говоря, сам я каменецкий, то есть не из самого Каменца, а из местечка неподалеку от Каменца. Кроме того, я — горе мне! — мельник, держу мельницу, то есть мельница держит меня, потому что, как вы скажете: «Залез, так лежи!» А что поделаешь? Жизнь — колесо, понимаете ли, вот оно и вертится! Посудите сами: за пшеницу надо платить наличными, а муку раздаешь в кредит, вексель туда, вексель сюда, и дело приходится иметь с грубыми существами, да еще с женщинами. Вы любите иметь дело с женщинами? Поди отчитывайся перед ними: почему то да почему это? Почему у них не удались булки? А я чем виноват? Может быть, говорю, у вас мало жару? Или дрожжи были плохие? Может быть, у вас были сырые дрова? А они еще на вас нападают, смешивают с грязью и обещают, что в следующий раз булки полетят вам в голову... Вы любите, когда булка летит вам в голову? Таковы те, что покупают в розницу. Но вы думаете, что оптовики лучше? Тоже не лучше! Поначалу, когда покупатель приходит на мельницу и хочет получить кредит, он мягок, словно масло, льстит вам, рассыпается в комплиментах, хоть прикладывай его к болячке. Но потом, когда дойдет до платежа, он предъявляет вам целый список претензий: транспорт прибыл к нему с опозданием, мешки оказались рваными, мука горчила, была тухлая, то есть лежалая. Беды и напасти, восемнадцать недостатков и семьдесят семь отговорок!

— А деньги?

— Деньги? — говорит он. — Пришлите счет!

Дело как будто наполовину улажено. Пошлешь получить по счету, отвечает: «Завтра». Придешь завтра —

говорит: «Послезавтра!» Прошлогодний снег! Начинаешь стращать его протестом и подаешь на него в суд. Ну, а если подал, так что же? Получаете «лист». А придешь с «листом» описывать, и оказывается, что все значится на имя жены,— и изволь, ругай его, сколько тебе угодно!

Вот я и спрашиваю: как при таких делах не заболеть желудком? Недаром мне говорит моя, хоть она у меня не первая, третья она у меня, а третья жена, вы скажете, что солнце в декабре... Однако и от нее не отмахнешься,— все-таки жена... Вот она и говорит:

— Брось, Нойах, брось мучное дело. Пускай оно сгорит вместе с мельницей, тогда я буду знать, что ты живешь на свете!

— Э-ге-ге! — отвечаю я.— Кабы мельница захотела гореть! Она неплохо застрахована...

— Не о том, Нойах, я думаю! — говорит она.— Я думаю о том, что ты все время носишься: ни тебе субботы, ни тебе праздника, ни жены, ни детей. А чего? Чего ты крутишься?..

А я знаю? Я и сам не знаю, чего я кручусь. Что же мне делать, раз у меня натура такая, ко всем чертям! Люблю крутиться! Может быть, вы думаете, что я имею что-нибудь от этого кручения? Горести я имею! Какое бы дело мне ни предложили, я принимаю. Нет ничего такого, что бы мне не подошло. Мешки? Можно и мешки. Дрова? Дрова! Торги? Торги! Вы небось думаете, что у меня, кроме мельницы, никаких дел нет? Ошибаетесь! Я, видите ли, с компаньоном торгую лесом, который мы рубим, и поставляю провиант для тюрьмы, и имею долю в откупе коробочного сбора, и теряю на этом деле столько, что вы могли бы себе пожелать зарабатывать такую сумму ежемесячно (я вам не враг!). Вы спросите, на что мне это нужно? Общине назло! Я, знаете ли, человек горячий: пускай хоть весь город провалится и я вместе с ним, лишь бы поставить на своем! Вообще-то я по натуре человек неплохой, но ужасно капризный, вспыльчивый то есть! Честь мою задеть — спаси и помилуй бог! Да и упрям я к тому же: когда-то, в добрые времена, я за честь в синагоге готов был до крови драться! Синагогу осудили, а я своего добился! Ну, что поделаешь? Такая уж у меня кровь! Это нервы, говорят они, доктора то есть, и имеет отношение к желудку. Хотя, если здраво рассудить, то это как будто бы ерун-

да. Какое касательство имеют нервы к желудку? Сказали тоже! Где нервы, а где желудок? Ведь нервы, по вашей докторской науке, главным образом, кажется, там, где мозги? А желудок — бог знает где, на каком расстоянии!.. Погодите, я сейчас кончаю, куда вы так торопитесь? Посидите еще минутку. Ведь я хочу рассказать вам подробно, чтобы вы меня выслушали и сказали, откуда у меня взялось такое несчастье, то есть желудок я имею в виду. Может быть, это оттого, что я постоянно скитаюсь, что никогда меня дома нет, и даже когда я дома, меня тоже дома нет. Клянусь вам честью, это смешно слушать и позор говорить — ведь я даже не знаю, сколько у меня детей и как их зовут. Нехорошо, знаете ли, без хозяина и без отца! Посмотрели бы вы у меня дом, не сглазить бы, и обзаведение! Корабль без руля! Днем и ночью тарарам, гармидер, спаси господи и помилуй! Шутка ли сказать, одиннадцать детей, не сглазить бы, от трех жен! Один пьет чай, а другой в это время обедает. Я молюсь, а другому спать хочется. Один щиплет булку, а другому хочется селедки, одному подавай молочное, а другие кричат в один голос: «Мяса!» А когда садишься за стол, нет ножа, нечем хлеба кусок отрезать, а среди малышей вечный шум, ад, драки, хоть беги куда глаза глядят! А из-за чего все это? Все из-за того, что мне вечно некогда, а она, моя то есть, не сглазить бы, очень добрая, то есть не то чтобы добрая, а мягкая, не умеет обращаться с детьми. С детьми надо уметь обращаться. Вот они и лезут к ней на голову... Она, правда, их проклинаят, щиплет, куски мяса вырывает, но что толку? Все-таки это мать. А мать — не отец. Отец разложит и всыплет ребенку. Я знаю, что меня отец сек. И вас, может быть, отец сек? Что же вы думаете? Благо вам! Не знаю, было бы для вас лучше, если бы вас не секли? Куда вы торопитесь? Я скоро кончаю. Я не зря вам рассказываю: это для того, чтобы вы поняли мой образ жизни. Может быть, вы думаете, что я знаю, какое у меня состояние? Возможно, что я человек богатый, и даже очень богатый, а возможно, — это, конечно, между нами, — что я банкрот... Я знаю? День и ночь только то и делаешь, что заплаты ставишь: отсюда стекло вынул, туда вставил, — а что делать? Можно ли, нельзя ли, а приданое дать своему ребенку надо? Тем более что господь наделил дочерьми, да еще взрослыми к тому же! А ну, попробуйте иметь трех взрослых дочерей, не сглазить бы, —

всех троих впору в один день под венец,— посмотрим, сможете ли вы хотя бы один день дома усидеть! Теперь вы понимаете, почему приходится крутиться и метаться? А когда мечешься, можно и простуду в вагоне схватить, можно и поужинать в заезжем доме так, что потом еле жив останешься. А запахи, которых нанюхаешься, а замечательный воздух... Диво ли, что у тебя желудок? Счастье, что я по натуре человек не болезненный, смолodu крепкого здоровья. Вы не смотрите на меня, что я такой тощий и высохший,— это дела меня высушили, а кроме того, у нас рост такой, порода — высокие и тощие. У меня было несколько братьев, и все они, царство им небесное, такие же были, как я. И все же я всегда был здоровым человеком, не знал никакого желудка, ни доктора, ни черта-дьявола, дай бог и дальше не хуже. Но с некоторого времени меня начали пичкать лекарствами, пилюлями, порошками и кореньями, и каждый придумывает что-нибудь свое: один велит, чтобы я придерживался диеты, то есть быть «недоедой», чтобы я ел поменьше. Другой говорит, чтобы я вообще не ел, то есть чтобы я постился. Думаете, это все? Является новый умник доктор и наказывает, чтобы я обязательно ел, и побольше! Сам, видно, не дурак покушать! У всех докторов такая манера: все, от чего они сами не отказываются, они и больным советуют. Удивляюсь только, что они не велят глотать рубли... С ума от них можно сойти! Один доктор наказывал мне много ходить, просто так ходить, шагать... Пришел второй и велел лежать,— поди угадай, кто из них глупее... Чего вам больше: один кормил меня ляписом, чуть ли не круглый год один ляпис! Прихожу к другому, а он говорит: «Ляпис? Упаси бог! Ляпис для вас — отрав!» И прописывает мне порошок, желтый такой порошок. Вы, наверное, знаете, какой это порошок? Прихожу с этим порошком к третьему доктору, а он как схватит этот желтый порошок, да как разорвет рецепт и прописывает мне коренья. Но какие, думаете, коренья? Покуда я привык к этим кореньям, можете мне поверить, мне всю желчь наружу вывернуло! Сбылось бы на этом докторе хотя бы половина того, что я ему, бывало, желаю, когда мне надо было принимать это зелье перед едой. Смерти в глаза каждый раз глядел! Но чего только не пьет человек ради того, чтобы быть здоровым? А в конце концов, когда я снова пришел к первому доктору, который меня кормил ляписом, и рассказал ему историю с горькими кореньями, которые

омрачают мне жизнь, он вскипел от злости и стал кричать на меня, как если бы я его зарезал:

— Ведь я же вам прописал ляпис! Зачем же вы бегаєте как сумасшедший от одного доктора к другому?

— Тише! — говорю я. — Ведь вы же не один на рынке! Контракта я с вами не подписывал, а жить хочет каждый: у того доктора тоже есть жена и дети!..

Он загорелся, вы бы видели, как будто я ему бог знает что сказал! Словом, он меня попросил обратиться к тому доктору.

— В советах, — сказал я, — я не нуждаюсь. Если захочу, я и сам могу пойти.

И кладу ему рубль. Может быть, вы думаете, что он мне его швырнул в лицо? И не подумал! Рубли они любят. Ох, знаете, как они любят рубли! Гораздо больше, чем мы, простые людишки. А нет того, чтобы сесть, например, и выслушать больного как следует быть! Лишнего слова сказать не дают. Вот был я недавно у одного доктора, вашего же знакомого, — не хочу его называть по имени. Только я вошел, не успел двух слов сказать, — ага! Он уже велит мне, извините, раздеться и лечь на кушетку. В чем дело? Он, видите ли, желает меня выслушать. Хочешь меня выслушать? Прекрасно! Выслушай! Почему же ты мне говорить не даешь? Что мне от этого щупания и от выстукивания? Нет, у него нет времени! Его, говорит он, ждут за дверьми люди, у каждого своя очередь. Пошла у вас нынче мода — «очередь», как, скажем, на вокзале или на почте, где продают марки... Что? Вам тоже некогда? У вас уже тоже, может быть, «очередь»? Но ведь вы же еще молодой доктор! Откуда у вас «очередь»? Знаете, если вы будете так себя вести, у вас будут огорчения, а не практика!.. И сердиться вам нечего. Я не имел в виду бесплатно, упаси бог. Не такой я человек, чтобы хотеть бесплатно. И хоть вы и не захотели выслушать меня до конца, все же одно другого не касается, за визит надо вам уплатить... Что? Не хотите брать?.. Ну что ж, принуждать вас я не стану... Наверное, у вас есть средства к существованию... Купоны небось стрижете... Растут они у вас... Ну что ж, помогай вам бог, пусть они у вас растут и растут... Адье! Извините, может быть, я отнял у вас время... Но на то вы и доктор...

«ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»

Если угодно, я расскажу вам про одну беду, которая приключилась со мной; сам я эту беду наделал и чуть от нее не погиб. И почему все это? Потому, что я был неопытный, наивный молодой человек. Собственно, я и сейчас не умник; был бы я умником, так у меня, как вы говорите, водились бы денежки, а с деньгами человек умен, и красив, и талантлив...

Был я, значит, молодоженом и жил на полном содержании у тестя и тещи, сидел и изучал Тору, заглядывал иногда в светские книжки, но тайком, чтобы не увидели тесть с тещей. Теща моя, надо вам знать, не женщина, а мужчина, то есть она женщина, но в сюртуке, всеми делами сама ворочает, сама детей просватала, сама выбирала женихов для дочерей. Меня она тоже сама нашла, сама проэкзаменовала и привезла в Звогель из Радомысля. Родом я радомысльский, вы, наверное, слыхали о нашем Радомысле, про него писали недавно в газетах...

Итак, сидел я в Звогеле на полном содержании, протирал штаны над «Море Небухим» и носа не казал на улицу, до тех пор пока не пришло мне время приписаться к призывному участку. Понадобилось мне, стало быть, прогуляться домой, в Радомысль, справить бумаги, выхлопотать, как водится, льготу и получить паспорт. Это был мой первый выезд в свет. И вот пошел я на базар нанимать подводу, пошел один, чтобы доказать, что я сам себе хозяин. Бог послал мне находку: я наткнулся на радомысльского мужичка, — дело было зимой, — мужичка с санями, крашеными, широкоспинными, размалеванными по бокам всякими птицами. О лошади, о том, что она белая и что белая лошадь, как утверждает моя теща, сулит несчастье, я и не подумал.

— Дай бог соврать, — сказала она, — но боюсь, что поездка эта будет ох какая неудачная...

— Типун тебе на язык, — сказал ей тесть и сейчас же спохватился, но получил он, конечно, по заслугам, хотя и успел шепнуть мне: — Волос долог...

Начал я готовиться к путешествию. Упаковал свои филактерии * и талес, пирожки, несколько карбованцев на расходы и три подушки: одну для сиденья, другую для спины и третью для ног. И давай прощаться! Подошла последняя минута, а слов у меня нет. Такая уж

у меня привычка: как надо прощаться, так у меня отнимается язык. Мне и на ум не приходит, что полагается говорить в таком случае. Грубо это как-то получается, когда человек поворачивается ко всем задом и оставляет их с носом. Не знаю, как у вас, но для меня прощанье тяжелая церемония. Однако погодите! Я, кажется, залез бог знает куда...

Распрощался я, значит, и поехал в Радомысль. Было это в начале зимы, снега залегли рано, санный путь был хорош. Лошадка, хоть она и белая, летит как песня. Мужичок попался мне молчаливый, из той породы мужичков, которые на все вопросы отвечают «эге» (да) или «ни» (нет) и дальше ни тпру ни ну, хоть режь его!.. Поехал я из дому после обеда в наилучшем расположении духа, одна подушка подо мной, другая за спиной, а третья в ногах; лошадка несется, извозчик погоняет, сани хрустят, ветер дует, и падает мелкий снежок; он ложится, как пух, на широкий тракт, я чувствую себя превосходно, очень превосходно, душа моя светится. В первый раз в жизни выехал в свет, сам себе господин, что хочу, то и делаю! Прислонился я к спинке, разлегся как пан... Но зимой, как тепло бы ни были вы одеты, мороз продирает вас, и хочется вам остановиться где-нибудь, согреться, отдохнуть и тогда уже ехать дальше. Мне представилась, в воображении конечно, теплая корчма, кипящий самовар, горячий бульон, заливной соус... Сердце сжимается от этих мыслей, ох как хочется перекусить. Завел я с моим извозчиком разговор насчет корчмы, пытаюсь узнать, далеко ли она...

— Ни,— отвечает он.

— Близко? — спрашиваю.

— Эге!

Как близко — выпытать невозможно, хоть ноги протни. Я вообразил себе, что было бы, если б на месте моего мужичка сидел еврей-балагула. Тот рассказал бы не только, где корчма стоит, но и кто ее арендует, и как зовут арендатора, и сколько у него детей, и сколько он платит за аренду, и кто был арендатором до него, наговорил бы три короба... Странный это народ, наши евреи, пусть они будут здоровы!.. Совсем другая кровь, право!.. Мечтал я, стало быть, о теплой корчме, фантазировал о горячем самоваре и тому подобных хороших вещах до тех пор, пока бог не смилостивился: извозчик дернул вожжу, повернул сани в сторону, показалась небольшая серая изба, засыпанная снегом до самой ма-

кушки; степная корчма, которая в белоснежной этой пустыне выглядела заброшенной, забытой могильной плитой...

Лихо подъехав к корчме, мой мужичок поставил сани и лошадь в сарай. Я вошел в избу, открыл дверь и... ни туда ни сюда. В чем дело? Хорошенькая история, хоть и короткая. Лежит посреди корчмы на полу мертвец, покрытый черным, в головах у него стоят два медных подсвечника с крохотными свечками, вокруг мертвеца сидят малые дети, оборванные и заморенные. Они бьют себя по голове кулачками и кричат, режут, убиваются: «Ма-ма! Ма-ма!» — и кто-то высокий, длинноногий, в драной летней накидке, одетый совсем не по сезону, шагает из угла в угол, то и дело заламывая руки, и разговаривает сам с собой:

— Что делать? Что делать и с чего начать?

Я понял, конечно, куда я попал. Первой моей мыслью было: «Беги, Нойах!» Я отскочил и хотел ретироваться, но дверь закрылась, земля притянула меня к себе, как магнит, ноги мои приросли к порогу, и я не мог двинуться с места. Заметив свежего человека, высокий корчмарь ринулся ко мне и простер руки, как утопающий.

— Беда приключилась со мной, — сказал он и показал на воющих ребятишек, — они потеряли свою маму. Что делать? Что делать и с чего начать?

— Благословен судья праведный! — произнес я и попытался, как водится, утешить его цитатами из Библии, но корчмарь перебил меня и обратился ко мне с ниже следующей речью:

— Выслушайте меня и поймите. Она была мертва, жена моя, еще год назад. У нее была эта болезнь, самая эта чахотка, и она просила себе смерти, но в чем же остановка? Остановка в том, что мы сидим здесь в степи. Что делать? Что делать и с чего начать? Я пошел бы в деревню, достал бы подводу и отвез бы ее в город, но как оставить детей одних в глухой степи? А ночь близка, караул, что делать? Что делать и с чего начать?..

И корчмарь странно как-то заплакал, без слез, словно он смеялся, и издал при этом удивительный какой-то звук, будто закашлялся: «Ту-гу-гу!» Он ранил мое сердце, этот человек! Что там голод и холод? Я забыл обо всем на свете и сказал ему:

— Я еду из Звогеля, еду в Радомысль, сани у меня хорошие... Если до города недалеко, я могу вам услужить и дать вам сани. Сам же я подожду здесь...

— Дай вам бог вечную жизнь за ваше доброе сердце! Царствие небесное заработаете вы себе этим, честное слово! — так говорит корчмарь и осыпает меня поцелуями. — Городок отсюда недалеко, четыре-пять верст, это займет не больше часа, я сейчас же отошлю вам сани. Царствие небесное заработаете вы себе этим, честное слово! Дети! Встаньте и благодарите этого молодого человека, целуйте ему руки и ноги, он дает нам свою подводу, я отвезу маму на кладбище!.. Царствие небесное, честное слово, царствие небесное!

Я сказал бы слово «радость», но оно будет здесь не-кстати, потому что дети, услышав, что сейчас отвезут их мать, припали к ней и начали рыдать и выть с еще большей силой. Новость все-таки ошеломила их, что вот нашелся наконец человек, который оказывает им такую услугу. Сам господь послал его им! Они смотрели на меня, как на спасителя, на Илию-пророка, и я должен открыть вам чистую правду: я сам тоже считал себя в эту минуту необыкновенным человеком. В эту минуту я готов был сдвинуть гору, перевернуть весь мир, не было такой вещи, которую я не согласился бы совершить, и у меня вырвались следующие слова:

— Знаете что, я с моим мужичком, мы сами отвезем ее. Зачем затруднять вас, зачем отрывать вас от детей?

Чем больше я говорил, тем больше рыдала эта семья. Рыдала и взирала на меня, как на посланника неба, я вырастал в своих глазах все выше и выше, почти до самых небес, и в ослеплении своем я забыл даже о моем страхе перед мертвецами. Я помог вынести покойницу и уложить ее в сани. Извозчику я пообещал лишний полтинник и лишнюю рюмку водки. Мой мужичок почесал у себя за ухом, пробурчал что-то, но после третьей посуды смягчился, и мы отправились в путь втроем; я, мой извозчик и покойница корчмарка Хаве-Нехама, так звали ее. Хаве-Нехама, дочь Рефоел-Михла, я помню это, словно это случилось вчера, потому что всю дорогу я зубрил имя, сообщенное мне ее мужем. Он несколько раз повторил его, потому что для похорон надо ведь знать точное имя. Всю дорогу зубрил я наизусть: «Хаве-Нехама, дочь Рефоел-Михла! Хаве-Нехама, дочь Рефоел-Михла! Хаве-Нехама, дочь Рефоел-Михла!» И покуда я зубрил ее имя, имя ее мужа вылетело у меня из головы, хоть вскрой себе череп. Корчмарь особенно просил меня запомнить, как его зовут, он уве-

рял меня, что стоит мне только назвать в городке его имя, как у меня тотчас же выхватят покойницу и я смогу поехать дальше. Он, корчмарь этот, у них в городке праздничный гость, каждый год он едет туда на праздники, ему это стоит денег: и на синагогу он дает, и на баню, и на многое другое!.. Корчмарь много наговорил мне всякой всячины, наговорил с три короба, куда поехать, и что сказать, и как сказать, но все это пулей вылетело у меня из головы, даже следов не осталось. Мысли мои судорожно вертелись вокруг одного: я везу мертвеца. Одного этого было достаточно, чтоб все у меня спуталось в голове и чтобы я забыл даже собственное имя, ибо с малых лет я смертельно боюсь покойников. И сейчас я ни за что не останусь с глазу на глаз с мертвецом, хоть бы вы осыпали меня золотом. Мне представляется, что полузакрытые эти и закатившиеся глаза смотрят на меня и видят меня, что сомкнутые эти и безжизненные губы сейчас откроются и раздастся чудовищный крик, словно из-под земли. Одни такие размышления могут свести с ума. Недаром рассказывают у нас насчет мертвецов всякие истории, как люди падали в обморок от испуга, теряли рассудок или, пригвожденные к своему месту, не могли пошевелиться...

Ехали мы, значит, втроем с мертвецом. Я уступил ему одну из своих подушек и уложил его у моих ног. Чтобы не думать о страшных вещах, я смотрел вверх, на небо, и тихо зубрил: «Хаве-Нехама, дочь Рефоел-Михла! Хаве-Нехама, дочь Рефоел-Михла». Зубрил до тех пор, пока у меня не получилось: Хаве-Рефоел, дочь Нехама-Михла, Рефоел-Михл, дочь Хаве-Нехама. И не заметил я, как становилось все темней и темней, ветер свистал все сильнее и сильнее, и снег не переставал падать. Он завалил дорогу так, что сани пошли куда глаза глядят, извозчик мой начал ворчать, сперва тихо, под нос, потом громче и громче, и я мог бы поклясться, что он благословляет меня трехэтажным благословением...

— Ну, что с тобой? — спросил я его.

Ответил он плевром и показал искаженное злобой лицо, упаси и помилуй боже, потом он открыл рот, и посыпались слова: я погубил его, кричит он, погубил его вместе с конягой. Из-за мертвеца лошадь сошла с пути, и мы блуждаем. Бог знает, как долго мы будем еще блуждать, вот наступит ночь, и мы пропали...

Услыхав эту приятную новость, я готов был вернуть-

ся назад в корчму, отказаться от царствия небесного — и конец! Но мужичок мой сказал, что теперь уже все равно, все пропало, выхода нет: мы путаемся где-то посреди степи, черт знает где!.. Дорога засыпана, небо смутно, вокруг ночь, лошадь замучена до смерти, чтобы черт унес, говсрит он, корчмаря и всех корчмарей на всем свете.

— Нехай,— говорил он,— лучше бы я ногу сломал, прежде чем остановиться возле этой корчмы. Нехай,— говорил он,— водка застряла бы у меня в глотке, прежде чем я дал себя уговорить и взял такую беду к себе в сани. Погибай за нее, за проклятый полтинник, в степи, черт знает где, с конягой вместе. Нехай,— говорил он,— погиб бы я сам, может, судил бог околеть в поле, но бедная коняга? Что вы имели против этой бедняги? Невинная скотина, бедное животное, оно-то ведь ни о чем не подозревает...

Готов поклясться, что в его голосе слышались слезы... Я пытаюсь утешить его, обещаю еще один полтинник и стопку водки, но извозчик впадает в ярость и говорит откровенно, что если я не замолчу, то он выбросит моего покойника из саней! И я думаю себе, что я в самом деле стану делать, если он выбросит моего покойника из саней со мной вместе? Шутка ли — взбесившийся извозчик?.. И я молчу, лежу, зарывшись в подушки, и изо всех сил слежу за тем, чтобы не уснуть. Но, во-первых, как можно спать, когда мертвец подпрыгивает у твоих ног, и, во-вторых, я слышал, что зимой, на морозе спать нельзя, потому что можно заснуть навсегда. Но, как назло, глаза слипаются, вздремнуть хочется до смерти, полжизни отдал бы за то, чтобы соснуть. Я продираю глаза, но они не подчиняются мне, они сжимаются, открываются и снова смыкаются, а сани скрипят, сани несутся по белому, глубокому, мягкому снегу, и сладостная теплота окутывает все мои члены, хочется, чтоб сладость эта продолжалась долго, продолжалась вечно... Но чужая чья-то сила все время стоит надо мной и тормозит: «Нойах, не спи, не спи!» — и я опять продираю глаза и вместо теплоты чувствую палящий холод во всем теле и страх, черный страх, упаси нас бог и помилуй! Мне мерещится, что покойник мой шевелится, сбрасывает саван и смотрит на меня полураскрытыми глазами, словно говорит: «Что ты пристал ко мне, молодой человек? Взял ты мертвую женщину, мать многих детей, и лишил святого погребения...»

А ветер гудит, свистит человеческим свистом, шепчет какой-то секрет, страшный секрет; черные думы лезут в голову, и мне кажется, что мы все погребены в снегу, все — и я, и мужичок, и коняга его, и покойница... Мы мертвые все, и только покойник, только жена корчмаря жива...

Неожиданно услышал я, как развеселившийся мой извозчик начинает погонять лошадку, славословит во все горло, крестится в темноте и сопит. Я возликовал, словно и я заново на свет родился... И вот вижу: вдалеке светится огонек, он мигает, пропадает и выплывает опять. «Чудеса,— думаю я,— благодарение создателю»,— и обращаюсь к моему извозчику.

— Видно,— говорю,— мы попали на дорогу? Похоже,— говорю,— что городок недалеко?

— Эге,— отвечает он коротко и спокойно, нисколько не злобствуя.

Я трепещу от желания обнять его, вlepить ему поцелуй в спину за эту приятную новость, за славное «эге», которое мне теперь дороже самой умной беседы.

— Как тебя зовут? — спрашиваю я его, и мне удивительно, что я до сих пор не знаю его имени.

— Микита,— отвечает он коротко.

— Микита? — повторяю я. И имя «Микита» кажется мне прекрасным.

— Эге,— бурчит он односложно, а мне хотелось бы услышать от него хоть два-три слова.

Он дорог мне, этот Микита, и лошадь его мне дорога, отличная лошадь. И я завожу с ним разговор о коняге:

— Хорошая у тебя коняга, Микита, очень хорошая!

— Эге.

— И сани у тебя, Микита, хорошие!

— Эге.

И ни слова больше, хоть убей.

— Ты, видно, не любишь разговаривать, сердце мое, Микита?

— Эге,— отвечает он, и я начинаю смеяться. Мне весело, словно я взял с бою Очаков, или нашел клад, или открыл такое, чего никто еще не открывал...

Приехали мы, с божьей помощью, в городок еще до рассвета. Городок спал, до утра далеко, огня не видно нигде, еле нашли избу с большими воротами и веником на них — признак, что это заезжий двор. Остановились мы, слезли и начали вдвоем с Микитой стучать кулаками

в ворота. Стучали, стучали, покуда не зажегся свет в окошке. Потом мы услышали шлепанье чьих-то ног, и из-за ворот раздался голос:

— Кто там?

— Откройте, дядя, и вы заработаете себе царствие небесное.

— Царствие небесное? Кто вы? — говорит человек за воротами и начинает отпирать замок.

— Откройте,— говорю,— я привез сюда мертвеца.

— Кого?

— Мертвеца.

— Что это значит — мертвеца?

— Это значит — покойника. Я привез сюда умершую женщину из деревни, из корчмы.

За воротами стало тихо. Я услышал, как заскрипел замок и ноги зашлепали вглубь. Огонек потух, и что тут делать? Это обидело меня. Я попросил моего мужичка помочь мне постучать в окошко. Стучали мы отлично, огонек снова показался, и снова раздался голос:

— Чего вы хотите от меня? Что вы пристали ко мне?

— Ради бога,— умоляю я этого злодея,— пожалейте меня. Я здесь с покойником.

— С каким покойником?

— Жена корчмаря.

— Какого корчмаря?

— Я забыл, как его зовут. Но ее имя будет Хавемихл, дочь Ханы-Рефоел, то есть Хане-Рефоел, дочь Хавы-Михл, то есть Хана-Хава-Хана...

— Уходите отсюда, бездельник этакий, не то я оболью вас сейчас кипятком!

Вот с такими словами обращается ко мне хозяин этого заезжего двора, уходит в глубь дома и тушит огонь. Пожалуйста, выкуси! Только через час, когда начало светать, ворота приоткрылись и он высунул черную голову в белом пуху.

— Это вы барабанили в окна?

— Я.

— Что вам нужно?

— Я привез мертвеца.

— Мертвеца? Везите его к службе из погребального братства.

— Где он живет, ваш служка? Как его зовут?

— Ехиелем зовут его, служку. Живет он внизу, под горой, возле бани.

— А где у вас баня?

— Вы не знаете, где баня? Похоже, что вы не здешний. Откуда едете, молодой человек?

— Откуда? Из Радомысля, но теперь я еду из Звогеля, а покойника взял я в корчме, недалеко отсюда. Это жена корчмаря. Она умерла от чахотки.

— Не к ночи будет помянуто! Кем она вам приходится?

— Мне? Никем. Я проезжал мимо, и он попросил меня, корчмарь. Живет ведь он в степи с малыми детками, похоронить ее негде. И я решил заработать себе царствие небесное, почему бы нет? Человек, видите ли, просит...

— Подозрительная ваша история,— говорит мне вдруг трактирщик,— вам нужно сперва поговорить с членом погребального братства.

— А кто у вас в погребальном братстве? Где они живут?

— Вы не знаете нашего погребального братства? Реб Шепсл, габай *, он живет за базарной площадью, реб Лейзер-Мойше, габай, живет на самой площади, и реб Йося, габай, рядом со старой молельней. Раньше всего надо вам поговорить с реб Шепслом, он у нас воротила, твердый человек, скажу я вам...

— Спасибо,— говорю,— дай бог слышать от вас новости получше! Когда я могу их видеть?

— Что это значит — когда? Утром, после молитвы...

— Поздравляю вас! А сейчас что я буду делать? Впустите меня хотя бы погреться...

Услыхав эти слова, хозяин плотно запер ворота — и снова тишина, как на кладбище. Что делать? Сани наши стоят посредине улицы. Микита ворчит, чешет затылок, плюет и сыплет трехэтажные благословения. Чтоб черт унес, говорит он, корчмаря и всех корчмарей на свете. О себе он уже не думает, черт с ним, с Микитой, но лошадка!.. Что люди имеют против скотины, почему они морят ее голодом и холодом?.. Невинная скотина, бедное животное, ничего она не знала, ничего она не ведала...

Стыд горит во мне... Что-то он подумает, мужичок этот, о наших евреях? Какой вид имеем мы, евреи, милосердные из милосердных *, в глазах Микиты, если один еврей не впускает к себе другого, не позволяет ему погреться. Стало быть, мы заслужили все наши несчастья?

И я недалеко уже от того, чтобы оправдывать все, что выпало на нашу долю... Никто на свете не говорит о нас

столько худого, сколько мы сами. Сто раз на день вы можете услышать от нашего же брата такие слова: «Еврей — тертая штука!», «С евреем каши не сваришь», «На это способен только еврей», «На то она еврейка», «Ой, евреи, евреи!» и тому подобные аттестации. Я хотел бы знать, как у других в этом отношении обстоит дело.

Если один из «них» не поладил с другим из «них», то они тоже говорят, что весь народ никуда не годится, даром небо копит? Однако хватит! Опять я, кажется, залез бог знает куда...

Стоим мы посредине базара и ждем, когда наступит утро и город покажет миру, что он живет. Так и было: где-то заскрипела дверь, застучало ведро, из труб показался дымок, петухи закукарекали бойчее. Открылись двери, и вынырнули божьи существа в образе коров, телят, коз и, простите, евреев, женщин и девушек, закутанных в теплые шали, скрюченных в три погибели, замороженных, как замороженные яблоки, — одним словом, ожил мой городок не хуже, чем оживает человек. Встали, умылись, набросили на себя одежду и взялись за работу. Мужчины за божье дело — молиться, распевать молитвы, читать псалмы, женщины — к печам, детям, телятам и козам. Я стал разузнавать насчет габаев, где живут здесь реб Шепсл, реб Лейзер-Мойше, реб Йося? Тогда меня начали пытаться:

— Какой Шепсл, какой Лейзер-Мойше и какой Йося? Есть у нас в городишке несколько Шепслов, несколько Лейзер-Мойшей и несколько Йосей.

Я сказал им, что мне нужны габаи из погребального братства. Они испугались и начали выведывать у меня, что нужно молодому человеку в погребальном братстве в такой ранний час. Я не позволил себя долго морочить и открыл им наболевшую мою душу. Рассказал секрет моей поклажи. Надо было видеть, что с ними случилось! Вы думаете, они поспешили мне на помощь? Упаси бог! Они выбежали на улицу — посмотреть на сани: в самом деле там лежит покойник или это сказки? Вокруг нас образовалась толпа. Холод прогонял одних, тогда на смену им приходили другие, они заглядывали в сани, качали головой, пожимали плечами, спрашивали, кто это помер, откуда он, и кто я такой, и как он попал ко мне, и не ударяли палец о палец, чтобы помочь мне. Я с трудом добился у них адреса реб Шепсла. Его я нашел в талесе и филактериях. Он молился так крепко и сладко и с таким азартом, что стены, право слово, пели.

Он шелкал пальцами, мычал и качался, делал такие гримасы. что я возликовал. Во-первых, я люблю послушать такую молитву, во-вторых, наконец-то я мог согреть окоченевшее мое тело. Когда реб Шепсл повернул наконец ко мне лицо, на глазах его еще дрожали слезы, он показался мне святым человеком, душа которого так далека от земли, как тело от неба. Так как он не кончил еще своих молитв и не хотел осквернить себя будничным разговором, то изъяснялся со мной на древнееврейском языке, то есть на таком языке, который состоит из мельканья рук, поворота глаз, пожиманья плеч, качанья головой, верченья носа и пары древнееврейских слов. Если угодно, я передам вам этот разговор слово в слово. Вы догадаетесь сами, что относится ко мне, что к нему.

— Шолом-aleyхем, реб Шепсл.

— Алейхем-шолом. И, о... скамейка...

— Благодарю. Я сидел достаточно.

— Ну, о? Что? Что?

— У меня к вам просьба, реб Шепсл. Вы можете заработать царство небесное!

— Царство небесное? Хорошо... Что именно? Что?..

— Я привез к вам покойника...

— Покойника? Кто покойник?

— Недалеко отсюда находится корчма, и живет там еврей-бедняк. Скончалась у него, не к ночи будь помянута, жена. От чахотки. Оставила малых деток, несчастные сироты. Если бы я не пожалел их, то один бог знает, что делал бы корчмарь один в степи с покойником.

— Благословен судья праведный! Ну... Деньги? Погребальный взнос?

— Какие деньги? Какой взнос? Бедняга гол как птица, нищий среди нищих, отец многих детей. Вы зарабатываете себе царствие небесное, реб Шепсл...

— Царствие небесное? Хорошо, очень хорошо. Что именно? Что? Где? Взносы? Евреи! Ну? Все нищие! И-о! Ну-фе!

Так как я не понял, что он хочет сказать, он сердито отвернулся и начал снова молиться, уже не с таким жаром, как раньше, быстро-быстро, на курьерских. Он сбросил с себя талес и филактерии и набросился на меня с такой яростью, как если бы я был его заклятым врагом или плюнул ему в кашу.

— Как? — вскричал он. — В нашем нищем городе

хватит своих бедняков, которым надо собирать на саван, так тут приходят еще из чужих мест? Со всего света сюда?! Все сюда?!

Я начал оправдываться: я ни в чем не виновен, я сделал только доброе дело. Представьте себе, что вы нашли мертвеца на улице и нужно его предать погребению.

— Вы,— говорю,— порядочный, набожный еврей. Вы можете себе этим заработать царствие небесное!

Тогда он еще яростней набросился на меня, стал донимать, загонять, пилить, сокращать мою жизнь...

— Вот как? Вы еврей с царствием небесным? Пройдитесь тогда по нашему городу, сделайте так, чтобы не умирали с голоду и не замерзали, и вы заработаете себе царствие небесное! Молодой человек, который торгует царствием небесным! Идите себе с вашим товаром к бездельникам, может, они купят у вас! У нас есть собственные добрые дела, и если мы захотим достать кусочек царствия небесного, то сделаем это и без вас...

Так вскричал габай реб Шепсл и сердито выпроводил меня, хлопнув дверью. Я готов поклясться, я ведь вижу вас в первый раз и, может быть, в последний, что с того утра я возненавидел слишком набожных евреев, тех, кто молится слишком громко, тех, кто качается, и мычит, и делает гримасы, возненавидел всех евреев, которые имеют дело с богом, служат ему и ничего без него не делают.

Стало быть, старший габай реб Шепсл, извините за выражение, выгнал меня... Что делать? Надо двигаться дальше, к остальным габаям. Случилось, однако, так, что я не пошел к ним, а они пришли ко мне. Мы встретились нос к носу у двери. Они сказали мне:

— Это вы, молодой человек, с козой?

— С какой козой?

— Молодой человек, который привез сюда мертвеца, это вы?

— Да, это я. В чем дело?

— Пойдем назад к реб Шепслу, и мы посоветуемся.

— Советоваться? — сказал я. — При чем тут советы? Возьмите у меня покойника, отпустите меня, и вы заработаете себе царствие небесное...

— Никто вас не держит,— ответили они,— поезжайте себе с покойником куда хотите, даже в Радомысль. Мы вам спасибо скажем...

— Спасибо,— говорю,— за совет.

— Не за что,— ответили они, и мы вошли к реб Шепслу.

Все три габая начали спорить между собой, ссориться, ругать друг друга. Те двое говорят, что реб Шепсл — упрямец, жестокий человек, которого трудно переубедить. Реб Шепсл мечется, кричит, забрасывает их стихами из Писания. Своя рубашка к телу ближе, своих мертвецов хоть отбавляй. Тогда те двое нападают на него:

— Что же из этого следует? Вы хотите, значит, чтоб молодой человек поехал с мертвецом назад?

— Ничего подобного,— говорю я,— как это можно, чтобы я поехал с мертвецом назад? Я еле живой приехал сюда, чуть не погиб в степи. Мужичок мой, дай ему бог здоровья, хотел выбросить меня в поле. Умоляю вас, пожалейте меня, освободите меня от этого покойника. Вы заработаете себе царствие небесное...

— Царствие небесное, конечно, лакомый кусок,— отвечает один из тех двоих, высокий и худой еврей с тонкими пальцами, тот, кого зовут Лейзер-Мойше,— покойника мы у вас возьмем и воздадим ему должное, но это будет стоить вам несколько рублей...

— Как так? — говорю я.— Мало того что я сделал доброе дело, чуть не погиб в степи... И вы еще говорите — деньги!

— Зато вы имеете царствие небесное,— обращается ко мне реб Шепсл с гнусной усмешкой.

— Сделайте одолжение,— говорит один из тех двоих, тот, кого зовут реб Йося, маленький еврей с бородкой, выщипанной наполовину,— вы не должны забывать, молодой человек, что везете с собой поклажу. Где ваши бумаги?

— Какие бумаги?

— А откуда же мы знаем, кто ваш покойник? Может быть, это совсем не тот, за кого вы его выдаете? — говорит высокий, с тонкими пальцами, Лейзер-Мойше.

Я оглядывал всех по очереди, а тот высокий, с тонкими пальцами, кого зовут Лейзер-Мойше, качает головой, тычет в меня тонкими пальцами и говорит:

— Да, да, да. Может быть, вы зарезали где-нибудь женщину, а может, и собственную жену, и привезли ее сюда и рассказываете сказки: степная корчма, жена корчмаря, чахотка, малые детки, царствие небесное...

Вероятно, я хорошо выглядел после этих слов, потому что тот маленький, кого зовут реб Йося, стал утешать

меня. Они, собственно, ничего против меня не имеют и не возражали бы. Они мне не враги и отлично понимают, что я не злодей и не разбойник, но все же я чужой, а покойник, как говорится, не картофельный мешок, речь идет о мертвом человеке, о мертвеце...

— У нас, — говорит он, — есть для этого раввин и урядник. Нужно составить протокол...

— Да, да, да! Протокол, протокол! — вмешался длинный, тот, кого зовут Лейзер-Мойше, тычет в меня пальцем и оглядывает меня, словно я в самом деле совершил уголовное дело.

Я потерял язык, пот густо выступил у меня на лбу, со мной чуть обморок не приключился. О чем с ними говорить? Я вытащил свой кошелек и обратился ко всем членам погребального братства.

— Выслушайте меня, евреи! Я вижу, что попал в беду. Черт занес меня в эту корчму как раз тогда, когда жене корчмаря угодно было умереть, и черт дернул меня столкнуться с этим бедняком, отцом многих детей, и прельститься царствием небесным! Значит, я должен заплатить за это? Вот вам мой кошелек, все мое состояние, семьдесят с лишком рублей. Возьмите и делайте что хотите. Оставьте мне на расходы до Радомысля, заберите у меня покойника и отпустите меня.

Вероятно, слова были сказаны с чувством, потому что все три габая переглянулись, не прикоснулись даже к кошельку с деньгами и сказали, что у них не Содом и Гоморра. Правда, городок бедный и нищих больше, чем богачей, но напасть на человека и сказать ему: «Жид, давай гроши», это — тьфу! Пожалуйста, сколько вы дадите с божьей помощью, будет хорошо! Без ничего тоже не годится, это бедный город! Кто заплатит служкам, носильщикам? А саван; водка, а милостыня? Если сыпать без толку, то скоро дно покажется.

— Хорошо!

Что тут толковать?.. Если б корчмарь имел пять тысяч рублей, и то жена его не добила бы таких похорон... Весь город сбежался, чтобы посмотреть на молодого человека, который привез покойника. На меня указывали пальцами, а нищие? Нищих — словно песок морской. Нигде я не видел такой оравы нищих. Меня таскали за полы, рвали в клочья. Шутка ли, молодой человек, который швыряет деньгами! Счастье, что габаи взяли мою сторону, а тот длинный, с тонкими пальцами, Лейзер-Мой-

ше, не отходил от меня ни на минуту и, тыча пальцами, не переставал внушать мне:

— Молодой человек! Швыряние не имеет конца! Швырять можно без конца!

Но чем больше убеждал он меня не швырять, тем теснее нищие окружали меня, тем яростней грызли они меня.

— Ничего,— кричали они,— когда хоронят такую богатую тещу, то можно и поистратиться. Теща оставила ему немало денег, дай бог каждому!

— Молодой человек! — голосил один, дергая меня.— Молодой человек, дайте нам на двоих полтинник! Двугривенный дайте! Мы оба рожденные калеки, пятнадцать копеек на двух калек! Двое калек заслужили у вас пятнадцать копеек!

— Что вы его слушаете и при чем тут калеки? — воскликнул другой нищий, толкнув собрата ногой.— Это, по-вашему, калеки? Вот жена моя, та именно калека: ни рук, ни ног, ни кусочка тела, и малые детки, тоже больные. Дайте мне, молодой человек, еще один пятак, и я буду молиться о вашей теще, да будет ей земля пухом...

Теперь мне смешно, но тогда я не склонен был смеяться, потому что команда эта всходила, как опара, за полчаса они запрудили весь базар. Служки начали разгонять палками народ, получилось побоище, которое привлекло всеобщее внимание. Стали собираться хохлы и хохлушки, юноши и девушки, пока дело не докатилось до высшей инстанции и не примчался господин урядник верхом, с нагайкой в руках. Одним взглядом и несколькими взмахами нагайки он разогнал всех, как козавок. Сам же он соскочил с седла и подошел к процессии посмотреть, что там делается, кто умер, и от чего умер, и почему так запружена площадь? Для начала захотелось ему спросить меня, кто я, куда и откуда еду? Я потерял язык, и душа моя убралась в пятки. Не знаю, что это значит: только увижу урядника, у меня опускаются руки, хоть я, как говорят, мухи никогда не обидел и хорошо знаю, что урядник такой же человек, как и все прочие. Наоборот, я знаю евреев, которые с урядниками живут в большой дружбе, ходят друг к другу в гости, на праздниках урядник ест у евреев рыбу и, в свою очередь, угощает их яйцами... Однако хватит! Опять, кажется, забрался бог знает куда.

Итак, стал меня урядник допрашивать. Изволь рас-

сказать ему, что живу я в Звогеле у тестя на хлебах, а сейчас еду в Радомысль за паспортом. Счастье мое, что габаи помогли мне и вытащили из болота. Маленький, с выщипанной бородкой, отозвал в сторону урядника и начал шептаться с ним, а долговязый, с тонкими пальцами, поспешно учил меня словами и пальцами, что надо сказать.

— Скажите ему, что вы здешний и живете за городом. И это ваша родственница, ваша теща, померла, и вы приехали похоронить ее. И в то время, когда вы будете ему давать ответы, придумайте какое-нибудь имя из Апокалипсиса, а извозчика вашего мы затащим в дом и угостим хорошей стопкой, чтоб не болтался под ногами, и все будет хорошо.

Я пошел за урядником в дом, и там он начал составлять протокол.

— Как тебя зовут?

— Мовша.

— Отца?

— Ицко.

— Сколько тебе лет?

— Девятнадцать.

— Женат?

— Женат.

— Дети есть?

— Есть.

— Чем занимаешься?

— Торгую.

— Кто у тебя умер?

— Теща.

— Как звали ее?

— Ента.

— Отца ее?

— Гершон.

— Сколько ей было лет?

— Сорок.

— Отчего она умерла?

— От испуга.

— От испуга?

— От испуга.

— Как это так, от испуга? — сказал он, положил ручку, закурил папиросу и осмотрел меня с головы до ног таким взглядом, что язык у меня прилип к гортани. Но раз начав, надо окончить. И я рассказал ему целую историю, как теща моя сидела за работой, она вязала

чулок и забыла, что в комнате с ней сидит еще мальчишка Эфраим, паренек тринадцати лет, но дурашливый, лодырь, играет с собственной тенью. Он сложил за ее спиной руки, сделав козочку на стене, и закричал: «Мэээ!» Тогда она скатилась со стула и умерла.

Я плету свою небылицу, а урядник не спускает с меня глаз. Выслушав до конца, он плюнул, вытер свои рыжие усы, вышел со мной на улицу к носилкам, раскрыл мертвеца, осмотрел умершую и покачал головой, словно говоря: «Нечисто здесь». Я смотрю на него, он на меня.

— Ну-с, покойницу можете похоронить,— говорит урядник габаям,— а этого человека я должен задерживать, пока я не проверю, в самом ли деле это его теща и умерла ли она от испуга.

Вы можете себе представить, какой мрак окутал меня, когда я услышал эти слова? Я отвернулся и зарыдал.

— Молодой человек! Почему вы плачете? — обратился ко мне маленький реб Йося и стал утешать меня.

— Не ешь чеснока, и запаху не будет,— прибавил реб Шепсл с усмешкой.

— Не пугайтесь, бог с вами! Этот начальник не такой уж плохой. Суньте ему что-нибудь... и скажите ему, чтобы он покончил с протоколом. Это умный начальник. Он хорошо знает, что все, что вы наговорили, не стоит ни гроша.

Так говорит мне с помощью своих пальцев реб Лейзер-Мойше. Если бы я мог, я растерзал бы его надвое, как разрывают селедку. Это он надоумил меня показаться по скользкой дорожке, да сотрется имя его и память о нем!

Я не могу больше рассказывать. Не могу припомнить даже, что было. Вы понимаете, конечно, что мелочь мою у меня забрали, и в кутузку посадили, и суд был, но все это меркнет перед тем, что было потом, когда тещь с тещей узнали, что зятек их сидит из-за мертвеца, которого он откуда-то привез... Они мигом приехали и представились моими тестем и тещей. Вот тут-то заварилась настоящая каша. С одной стороны, полиция: «Если теща твоя, Ента Гершонова, жива, то кто же покойница?» С другой стороны, теща пристала ко мне: «Что я сделала тебе такого, что ты взял и заживо похоронил меня?» На суде выяснилась моя невиновность, но это влетело в копейку. Привезли корчмаря с детьми и из

кутузки меня выпустили. Но того, что я натерпелся от моей тещи, не пожелаю и самому заклятому моему врагу!

С той поры я избегаю царствия небесного...

ИОСИФ

Рассказ «джентльмена»

Можете смеяться надо мной, можете посвятить мне фельетон и даже написать книгу, если хотите. Говорю вам заранее, я вас не боюсь, потому что я, видите ли, не из пугливых. Меня не очень-то испугает писатель, я не сробею перед доктором, не растеряюсь перед адвокатом и не растаю от восторга, когда мне сообщат, что такой-то учится на инженера. Я и сам, если хотите знать, учился когда-то в гимназии. Правда, окончить гимназию мне не удалось: вышла история с девушкой.

Влюбилась в меня девушка (я, видите ли, всегда был недурен собой) и заявила, что, если я ее не возьму замуж, она примет яд. А мне так же хотелось жениться на ней, как вам. Она, понимаете ли, была у меня не единственная. Однако зашло у нас с ней слишком далеко, и тогда вмешался ее брат, провизор. Он пригрозил мне, что, если его сестра отравится, он меня обольет — уж он знает чем... И я вынужден был жениться на ней и года три промаяться. Она требовала от меня только двух вещей — чтобы я сидел дома и чтобы не заглядывался на других женщин... Как вам это нравится? Ну, что я могу поделаться, если бог одарил меня такой внешностью, что все женщины и все девушки помирают по мне? Думаете, почему? Так просто. Любят — и только. Куда бы я ни пришел, куда бы ни приехал, на меня сразу набрасываются, точно пчелы. Шадхены прямо голову мне отгрызли. Почему, думаете? Я, видите ли, молодой человек из современных, недурен собой, здоров, пользуюсь хорошей репутацией, порядочно зарабатываю, деньги для меня — тьфу! — и тому подобное. Вот почему они не сулят мне золотые горы. Я, конечно, отмахиваюсь. «Отвяжись, говорю, я уже один раз ошпарился». А они свое: «Да что с вами станется, если поглядите еще одну невесту?» Ну, кто же откажется от такой штуки! Вот я и смотрю невест, а невесты — меня. Ссорятся из-за меня, прямо на шею вешаются, честное слово. Всем я желанен, ну буквально всем. Но что мне с того, что они меня

желают, если я их не желаю? А ту, о которой я мечтаю, никто не знает, кроме меня. И это мое больное место, и об этом я как раз хочу вам рассказать. Но, прошу вас, пусть это останется между нами. Я не о себе забочусь, — я ведь сказал, что писаний ваших не боюсь, — но вообще к чему это?.. Вот вам, значит, мое вступление, а теперь и самую историю изложу.

Вы сами, конечно, понимаете, что я не стану рассказывать вам, *кто* она, *что* она собой представляет и *откуда* она. Женщина она, девушка, и весьма красивая девушка, бедна, правда, горемычная сирота. Живет с матерью, молодой вдовой; эта тоже весьма недурна. Содержит еврейскую ресторацию — кошерная пища. А я, должны вы знать, хотя и из современных, порядочно зарабатываю, деньги для меня — тьфу! — и тому подобное, — кушаю все же кошерное. Не потому, что я уж такой праведник и боюсь хрюкающего *, но просто оберегаю свой желудок — это во-первых, а во-вторых, еврейские блюда просто вкуснее...

Итак, значит, она содержит ресторацию, вдова эта; сама варит, сама жарит. А дочь ее подает к столу. Но *как* там готовят! *Как* подают! Все блеснит, говорю я вам, все поет, все играет. Кушать там — истинное наслаждение. Собственно, не так уж еда, как мамаша и ее дочка, — одна прелестней другой. Посмотрели бы вы эту вдовушку! Стоит у печки, варит, жарит, и так свежа, так чиста! Лицо белее снега! Ручки — золото! Глаза — огонь! Уверяю вас, в нее еще тоже можно влюбиться. Теперь представьте себе ее дочку. Не знаю, разбираетесь ли вы в таких вопросах, — я говорю о женской красоте. Личико — кровь с молоком, щеки — пышечки, глаза — вишенки, волосы — шелк, зубки — жемчуг, шейка — алебастр, ручки — каждый пальчик расцеловал бы, верхняя губка слегка вздернута, как у ребенка. Видали вы что-нибудь подобное? Одним словом, все, все в ней изящное, точеное, ну прямо модель для выставки. Будто говорит вам: «Любуйтесь! Сходите с ума!» А улыбка, смех, ямочки на щеках! Только за одно это отдал бы все! Когда она смеется, смеется все вокруг: смеетесь вы, столы, стулья, стены смеются. Весь мир смеется! Вот какой у нее смех! Попробуйте поглядите на нее и не влюбитесь!

Одним словом, чего тут долго тянуть? Почти с первого обеда я почувствовал, что спекся. Спекся — и кончено! Хотя вы сами уж должны понять, что девица для ме-

ня — не бог весть какое событие. А в «любовь», «романы» и всякие такие штуки я вообще никогда не верил. Так просто приударить — почему нет? Но стреляться из-за этого — фи! Это — для гимназиста шестого класса, не для мужчины. Не так ли?

Почувствовав, что влип, я отозвал мамашу в сторонку, ну, конечно, не для того, чтобы, как это говорят, «просить руки». Нет, я не из торопливых! Но так просто. Пощупать, что на возу, никогда не мешает. Стал вкручивать ей: «Как да что?.. То да се». Наконец спрашиваю: «Как у вас обстоит с дочерью?» — «Как, говорит, может обстоять с дочерью?» — «Я о цели в жизни толкую». — «Конечно, говорит, об этом надо заботиться. Но о ней уже позаботились». У меня даже сердце упало. «Что значит, говорю, о ней позаботились?» — «Да вы ведь сами видите, — говорит весело, — какая она у меня озабоченная». И как раз в этот момент входит дочь, и тут сразу во всех уголках засияло.

— Мама, Иосиф еще не приходил? — спрашивает она.

И как мелодично прозвучало в ее устах это имя! Только невеста может так певуче произносить имя своего жениха. Так мне представляется, то есть я уверен, что это так. И не только в тот раз, о котором я рассказываю, но всякий раз, когда она произносила это имя, «Иосиф» звучало в ее устах как песня. «Иосиф!» Вы понимаете? Это не просто Иосиф, а Иосиф!..

И так везде и всюду, постоянно и всегда я слышал здесь — Иосиф, Иосиф. Бывало, садятся за стол, и первый вопрос: «А где Иосиф?..», «Будет сегодня Иосиф?..», «Иосиф сказал...», «Иосиф пишет...», «Пришел Иосиф?..», «Это Иосиф взял...», «Это Иосиф дал...», Иосиф-Иосиф, Иосиф-Иосиф! Хотел бы я уже видеть этого Иосифа, какой он из себя.

Само собой разумеется, что я возненавидел этого Иосифа, как какого-нибудь паука. Хотя, в сущности, что он мне сделал? Не знаю. Наверно, мальчишка мальчишкой, из тех молодчиков, или «яшек», как она их с улыбкой называет. «Яшки!» Имя это точно специально для них придумано. Это действительно всего лишь только «яшки», какие-то мелкие людишки, большей частью из того сорта, которые носят длинные волосы и черные косоворотки — как раз то, чего я не люблю...

Простите, у вас, кажется, тоже большая шевелюра и черная косоворотка. Если вы думаете, что это очень

красиво, то жестоко ошибаетесь. Честное слово, смокинг с белым жилетом куда красивей! Когда я вижу черную косоворотку, мне представляются, извините за выражение, протертые штаны. Вы думаете, я им этого не сказал? Сказал. Я человек прямой, подлизываться и кривить душой не могу. Имеете что-либо против, говорите прямо в глаза. Не люблю только, когда меня обзывают «буржуем». За слово «буржуй» я и в морду заехать могу. Какой я буржуй? Я такой же человек, как все, — все понимаю, все знаю, потому что всякие книжки и новые газеты читаю наравне со всеми. Какой же я после этого буржуй? Только потому, что ношу смокинг и белый жилет, а вы — черную косоворотку? Я говорю не о вас, я имею в виду этих самых «яшек», Иосифа, о котором здесь речь идет...

Несколько раз у нас за столом возникали такие разговоры, из которых мне стало ясно, что они меня любят точно так, как я их. Как говорится, сердце сердцу весть подает. Однако раскрывать душу, показывать, что у меня там внутри, я вовсе не обязан. К тому же я немножко подделался к ним, хотел втереться в компанию, не столько для них, сколько ради Иосифа, и не столько ради Иосифа, сколько ради нее. Досадно было, понимаете, что его имя у нее с уст не сходит. И я дал себе слово: так или иначе, пусть небо поливает меня камнями, пусть земля вверх тормашками летит, — я должен познакомиться с этой личностью. И я добился своего. Если я чего-нибудь захочу, меня уж ничто не остановит. О деньгах нечего и разговаривать. Ведь я, как уже говорил вам, коммерсант, у меня приличные доходы, деньги для меня — тьфу! — и тому подобное.

Вполне понятно, что втереться в доверие к этим молодчикам было не так-то просто. Я приближался к этому осторожно, взвешивая каждый шаг. Время от времени я стал закидывать словцо, так, со стороны, о страданиях народных; охал, вздыхал, давал понять, что на такое дело я и денег не пожалею: всегда готов бросить рубль-другой.

Вы понимаете, что значит «бросить» рубль-другой? Один вынет рубль, а другой бросит его. Тут большая разница. «Бросить» — это значит выхватить кошелек, вынуть несколько кредиток — извольте! — и, не считая, понимаете... Вот как я люблю! Не всегда, конечно, но в тех случаях, когда это требуется. Когда нужно выбросить четвертной, полсотни или даже сотню, рука не долж-

на дрогнуть. Вот, например, сидите вы с компанией в ресторане, обедаете или ужинаете. И вот подают счет — платите вы. Вы должны лишь взглянуть на итог внизу, разговаривая при этом о чем угодно. А когда принесут сдачу, вы не пересчитываете ее, как какая-нибудь баба при покупке лука, но берете в пригоршню и суετε в карман — и все тут. Жизнь, скажу я вам, хорошая школа, и ее нужно пройти. Жить надо умеючи. Могу сказать про себя, что я жить умею, потому что знаю что к чему, что можно, чего нельзя. Будьте уверены, я уж никогда не пересолю, и по мне вы не узнаете, ел я только что молоко или мясо.

Поглядели б вы на меня, когда я был среди «яшек», и сказали бы, верно, что я и сам такой же «яшка». То есть длинных волос я не отпустил и косоворотки не надел, — в том же смокинге и белом жилете, что сейчас. Но что же? Очень просто, я интересовался всем тем, чем они интересуются; я говорил так, как они говорят. «Пролетариат», «Бebelь», «Маркс», «реагировать» и тому подобные словечки, бывало, сыплются у меня, как из рукава. Но странное дело, чем больше я к ним подделывался, тем больше они меня сторонились. Начну, бывало, повторять вот эти слова: «пролетариат»... «Бebelь»... «Маркс»... «реагировать»... — гляжу, мои «яшки» притихли, странно переглядываются, ковыряют в зубах. И еще более странно: деньги они у меня всегда брали. Чуть ли не каждый понедельник и четверг, понимаете, устраивали концерты, и каждый раз я у них был первой жертвой. «Джентльмен, вероятно, и сегодня возьмет билет первого ряда за три рубля?»

И «джентльмен» — другого имени я у них не имел — вынужден был каждый понедельник и четверг брать билет за трояк. Что же оставалось делать? Зато если этот «джентльмен» появлялся среди «яшек» даже в самый разгар спора, становилось сразу тихо, точно здесь никто никогда не говорил. Немые — и только! Можете себе представить, как это бесило «джентльмена»! Но что ему оставалось делать? Я вам, однако, сказал, что если я захочу, то своего добьюсь. И вот я все-таки втерся к ним, по крайней мере настолько, что мне было однажды разрешено присутствовать у них на «дискуссии». Там, сказали мне, будет выступать Иосиф. Вы, верно, понимаете мою радость: дожил, буду наконец иметь честь лицезреть этого Иосифа и даже слушать его.

Где будет эта «дискуссия» и когда, этого вы у них

не узнаете, дудки! Я даже не пытался спрашивать: я знал, в свое время придут и скажут. У этих «яшек», понимаете ли, все секреты. На их языке это называется «конспирация». Я хорошо запомнил это слово. Оно записано у меня в книжке. Когда я слышу красивое слово, я его сразу записываю в книжку. Пригодится, не пригодится — не знаю, во всяком случае, не повредит.

И вот в один прекрасный летний день, в субботу это было, заявили ко мне двое «яшек», в черных рубашках, понятно, и зовут меня: «Идемте!» — «Куда?» — «Не все ли равно? Пойдемте с нами...» Что ж, надо пойти. И мы двинулись, далеко куда-то за город, затем в лес. По дороге все время встречались «яшки» — сидят под деревом, смотрят как будто бы в другую сторону, а сами буркнут: «Вправо!», «Влево!...». Сказать, чтобы я боялся, — нет, конечно, глупости: чего мне бояться евреев? Просто не по мне вся эта история, оскорбляло все это: коммерсант, с хорошей репутацией, приличный доход, деньги — тьфу! — и тому подобное, дает себя вести каким-то мальчишкам, «яшкам» каким-то. Вы понимаете?

Ну ладно, что там говорить! Мы шли-шли, шли-шли, лесом да по лесу, по лесу да лесом, добрались, наконец, до высокой горы. И вот когда мы взобрались на нее, а потом спустились, я вдруг увидел перед собой море голов — черным-черно. Это все «яшки» примостились здесь, — пареньки в черных рубашках, девушки в блузках и просто так молодые люди. Но сколько их было! Боюсь соврать, — верно, тысячи три их, если не больше. А тишина-то какая: муха пролетит — услышишь! Тихонько, на цыпочках подошли мы к толпе и уселись на землю, и я стал разыскивать глазами, где же здесь «Иосиф». И я увидел... Угадайте, кто это был? Я увидел знакомое лицо, одного из тех «яшек», которые вместе со мной обедали у вдовы. Вот тебе раз!

«И только-то! — подумал я. — Вот это — тот самый Иосиф?» А я-то думал, что он бог весть какой. Скажу вам по правде, я был почти доволен, нет, я был очень доволен, что он оказался именно таким. Я мысленно сравнил его с собой, не потому, что я считаю себя каким-то красавцем, которому нет равного. Я вовсе не обманываюсь, знаю, что есть и лучше меня. Но по сравнению с ним... Вы понимаете? Вот я вам обрисую его таким, каким я его увидел тогда. Прислонившись к дереву, стоял маленький, бледный, сухопарый человек, узкогрудый, с впалыми горящими щеками, гу-

стыми бровями и короткими светлыми волосами. Но лоб у него действительно большой, высокий, белый; серые, как у кошки, глаза горят огнем. А речь его! Как он говорит! Накажи меня бог, до сих пор не понимаю, откуда у этого существа такая сила! Как это ему удастся говорить так громко, так быстро, так много, так долго и с таким воодушевлением, с таким задором, с таким огнем! Должен сказать, это была не обыкновенная речь. Так люди не говорят. Это был дьявол, заведенная машина, или кто-то свыше сыпал словами, поливал огнем. А может, это вовсе дерево говорило? Мне все казалось, вот-вот это маленькое существо с болезненным румянцем на щеках и откровенными серыми глазами воспарит вслед за своим словом куда-то ввысь. Нет! Говорите что хотите, — я слышал на своем веку знаменитых адвокатов, но такой речи я еще никогда не слышал и, наверно, никогда не услышу.

Как долго он говорил, я не знаю — забыл про часы. Я глядел только на него и на эти головы, на рассевшихся на земле людей, которые глотали каждое его слово, точно изголодавшиеся или истомленные жаждой...

Но кто в это время не видел «ее», тот ничего прекрасного не видел. В море голов я заметил — она сидит, поджав под себя ноги, скрестив руки на груди. Лицо сияет, щеки горят, верхняя губка вздернута, а прелестные глаза-вишенки улыбаются ему, только ему. Нечего скрывать, в эту минуту я завидовал Иосифу. Не столько его красноречию, восторженному шуму и аплодисментам, которыми его наградили потом, — нет, совсем не этому. Я завидовал тому взгляду, которым она одарила его. За один такой ее взгляд я бы отдал неведомо что. Этот взгляд был красноречивее слов. Мне казалось, я слышу звук ее голоса, ее напевное: «Ио-сиф!»

Я вам уже говорил, что для меня девушка — не бог весть что. Я девушек повидал немало, потому что я, можно сказать, человек из современных, недурен собой, прилично зарабатываю, и деньги для меня — тьфу! — и тому подобное. Но так на меня не глядела даже жена в блаженные дни, когда изнывала по мне. Я не поленился подойти поближе, усесться почти рядом, я вертелся у нее перед глазами, как муха, звенел, как комар над ухом. Куда там! Никакого внимания! Ее глаза, как пьявки, впились в его глаза, а его глаза тянулись к ней. И мне казалось, эти двое ничего не видят вокруг —

только друг друга: он ее, она его, а дальше им ни до кого дела нет. Муки ада, говорю вам, ничто в сравнении с тем, что я переживал. Бешенство пылало в моей груди, и я не знал, против кого это — против нее, против него, против них обоих или даже против самого себя...

В тот вечер я пришел домой со страшной головной болью. В постель лег с твердым решением: пока жив, ноги моей не будет там, у вдовы. На черта они мне все сдались! Какая у меня нужда в них? Что, разве не верно? А утром я с трепетом ждал мгновенья, когда пробыет наконец два и наступит время обеда. Потом я безо всяких отправился туда и застал за столом, как обычно, всю компанию «яшек». Был здесь и «он».

Не знаю, как вы, но я, когда вижу артиста, министра или вообще знаменитого человека, то, хотя и знаю прекрасно, что этот человек, как все мы: кушает, пьет, как все,— все же каждый раз, когда мне укажут на такого, то есть на артиста, министра или вообще большого человека, он мне представляется каким-то особенным, будто в нем есть нечто, чего не различишь сразу. И так вот было со мной, когда я увидел Иосифа после его речи; как будто тот же «яшка», и все же что-то в нем есть такое... И в лице у него что-то такое... А что именно — я и сам не знаю. Но за это «что-то» я бы все отдал. Не потому, что это мне нужно. Зачем оно мне сдалось? На кой черт оно мне! Это мне нужно только ради нее. Ведь она не отходила от него ни на шаг. Даже когда она обращалась ко мне, разговаривала со мной, я видел, что в голове у нее только он. Будьте уверены, я уж кое-что смыслю в этих делах, можно сказать, тут я все науки превзошел. Мне это недешево досталось.

И новый ад разверзся предо мной. Раньше, когда я не знал, кто такой Иосиф, и он мне представлялся высоким, интересным, здоровым, настоящим мужчиной, я спокойно не мог вспомнить о нем, я завидовал ему и ненавидел его одновременно, как только можно ненавидеть. Но теперь, когда я увидел этого «мужчину», когда я убедился, что это такой же «яшка», как и все, меня зло взяло. Не знаю, на кого я злился: на нее ли за то, что она боготворит его (что боготворит — это и слепому видно), на него ли за то, что бог наградил его даром речи, или на себя за то, что я не обладаю такой способностью... Не потому, что это мне очень нужно. На что оно мне сдалось? И не потому, что я какой-нибудь безъязыкий. Не думайте! Если захочу, я тоже могу го-

ворить. Я уже один раз говорил на заседании, да еще где — в Купеческом клубе. Люди передавали потом, что я говорил неплохо, очень даже неплохо...

Нет, мое состояние, боль мою словами не выразить! Это надо понять, нет, это надо почувствовать, надо побыть на моем месте — приходить каждый день в столовую, видеть эту чудную головку, слышать ее пленительно-сладкий голос, ловить ее смех, который растекается по всем жилкам, и в то же время видеть тут его и понимать, что все это для него, только для него и ни для кого другого. Нет, его нужно убрать с дороги! Нужно избавиться от него! Но как? Ведь не пойду же я его травить, не стану и стрелять: не злодей же я какой-нибудь, и опять же еврей. Вызвать на дуэль? Фу! Только в романах вызывают на дуэль, да и то не верю, что это правда. Это просто так пишут для красоты. Так я думаю. И тут мне пришла замечательная мысль: дай-ка я с ним самим потолкую! Отдам-ка ключи самому вору!.. Славно, не правда ли? И не долго думая — не люблю долго думать, — я обращаюсь к нему однажды после обеда:

— Знаете, у меня к вам важное дело. Мне нужно с вами поговорить.

А он? Хоть бы шелохнулся! Ни-ни. Только уставился в меня своими простодушными серыми глазами, точно спрашивал: «Ну, слушаю».

— Нет,— говорю ему,— не здесь. Я хотел бы с глазу на глаз.

— Пойдемте,— говорит он мне, выходит со мною на улицу, становится против меня и ждет, как бы спрашивая меня: «Что же вы молчите?»

— Не здесь,— отвечаю я.— Когда вас можно дома застать?

— Я мог бы к вам зайти...— начал было он, но сразу осекся.— Если хотите... будьте у меня завтра (он вынимает часы) между половиной десятого и половиной одиннадцатого утра. Вот мой адрес.

Потом он долго пожимал мне руку, глядел мне в глаза, точно напоминал о конспирации.

— Конспирация, не беспокойтесь! — отвечаю я, и мы расходимся в разные стороны.

Конечно, я в ту ночь не спал: понимаете, лежал и мучился — все думал: что я ему скажу? С чего начну? И хорош я буду, если он вдруг скажет мне: «Господин «джентльмен», что это вы суетесь не в свои дела? С каких это пор, господин «джентльмен», вы записались в

родню к девушке, которую один из «яшек» уже с давних пор называет своей невестой?»

Что ему ответишь на это? Или что я сделаю, если он, скажем, схватит меня за шиворот, да трах — со всех ступенек? То есть бояться мне нечего. Чего мне, в самом деле, его бояться! Ведь я пришел к нему по делу. Да — да, нет — нет! А швыряться тут нечего.

Так в мучительных думах прошла ночь. А назавтра в половине десятого я уже взбирался к нему на чердак, куда-то к черту на кулички; пересчитал, может, две с половиной сотни ступенек. Я застал его дома. У него были еще двое «яшек», которые при виде меня с недоумением переглянулись, точно спрашивали друг друга: «Что здесь нужно этому «джентльмену»?» Но мой молодчик мигнул им, чтобы они исчезли, и те сразу поняли, что от них требуется, — схватили шапки и испарились.

Оставшись с Иосифом наедине, как говорится с глазу на глаз, я закатил такую речь: «Так, мол, и так. Я вот человек коммерческий, с хорошей репутацией, прилично зарабатываю, а деньги для меня — тьфу! — и тому подобное. Это не мешает мне знать, что на свете делается. Потому что я, надо вам сказать, из современных, читаю все новые газеты, журналы...» Тут я как сыпану этими модными словечками: «Пролетариат... Бебель... Маркс... реагировать... конспирация» — и тому подобное.

Выслушав меня, Иосиф совсем просто и мягко спросил: «Чем же я вам могу служить?» — «Да совсем пустяком, отвечаю, советом...» — «Я?.. Вам?.. Советом?..»

И он устался на меня своими простодушными серыми глазами, точно хотел сказать: как это можно мне, молокососу, давать советы такому «джентльмену»? Вы понимаете, ему самому все это казалось несуразным. А мне и подавно. Но что поделаешь! Начал — значит, надо доводить до конца. Взял я да и выложил все, что меня гнетет. Открыл я перед ним всю душу, рассказал все — от первой минуты, когда я ее увидел, до сегодняшнего дня. Мне, мол, теперь жизнь не мила. Сгубила она меня. Я вовсе не привык, говорю, из-за девушки, будь она даже царской крови, так «реагировать», потому что хоть я и человек из современных, все же коммерсант с хорошей репутацией, прилично зарабатываю, и деньги для меня — тьфу! — и тому подобное.

Выслушал он меня и снова говорит мягко и просто: «Мой совет таков — поговорите с ней самой». — «Ну, а вы?» — спрашиваю. «Я не хочу... — говорит.

И осекся.— Я не могу... Мне некогда заниматься такими делами». — «Нет,— говорю.— Я об этом и не думал. Я вовсе не требую, чтобы вы с ней говорили. Как могу я это требовать? Я только хочу знать, что вы скажете...» — «Что же я могу сказать, если ее чувства таковы же, как и ваши...» — говорит он мне просто и деликатно. Потом вынул часы, точно хотел напомнить, что разговор, собственно, окончен... Смысл поглядывания на часы мне совершенно ясен. Когда я хочу от кого-нибудь избавиться, я тоже так поступаю. Вся беда в том, что не каждый догадывается, чего от него хотят. Но я сразу поднялся, тут же попросил, чтобы все осталось между нами,— «конспирация», так сказать, и помчался домой.

Что вам сказать! Радость — это не то слово. Восторг? Вот это то. Я был на семьдесят седьмом небе от счастья! Каждого встречного я был готов обнять и расцеловать. Все казались мне теперь прекрасными. Об Иосифе и говорить нечего: в тот день я полюбил его, как родного брата. Не стыдись я, вернулся бы и расцеловал его, а если б не боялся обидеть, преподнес бы ему хороший подарок: золотые часы с хорошей цепочкой и массивным брелоком.

С большой радости я отправился в клуб. Понимаете, я иногда захоживаю в клуб, как говорят, между ночью и днем. Вовсе не потому, что я люблю карты. Я сам не играю. Люблю лишь смотреть, как играют, да иногда, и то очень редко, «мазать»... Тут одно из двух: либо ты забираешь, либо тебя забирает. На этот раз мне везло — карта шла, как никогда до сих пор. Я сорвал порядочный куш, кликнул «босую братию» (так называют в нашем клубе проигравшихся дотла) и закатил ужин с шампанским «редерер».

А когда я добрался домой, было уже совсем светло. Тут я нашел у себя на столе телеграмму. Меня вызывали срочно по важному делу. Вы, вероятно, знаете, что наш брат, когда он получает деловую телеграмму, бросает все. Тут уж пропадай корова вместе с веревкой! К черту все! Сел и поехал.

Уезжал я, собственно, на два дня, а задержался, как водится, три недели. Вернувшись, конечно, немедленно помчался в столовую. Там был полный переворот. От моих «яшек» и следа не осталось. А те, которые появлялись, были совсем непохожи на прежних — что-то очень уж они были обеспокоены, возбуждены, озабо-

чены. Наскоро проглотив обед, как говорится, стоя на одной ноге, они сразу же расползались с опущенными головами, точно собаки после дождя, — один туда, другой сюда.

Но больше всего меня удивляло — где Иосиф, почему его не видно? Присматриваюсь ближе к моим «яшкам» — что-то они слишком уж сдержанны, все таятся — шу-шу да шу-шу! Не просто конспирация, а конспирация на конспирации. Приглядываюсь к «ней», и она молчит, задумчива и очень уж «конспиративна». Прекрасные щечки уже не пылают, глазки-вишенки не улыбаются. Куда девались ямочки на щеках, которые сами звали: поцелуй меня! Не слышно веселого смеха, который заставлял смеяться все кругом: и стол, и стулья, и стены, и все живое.

Вы, конечно, понимаете, что особенно сильно я по Иосифу не скучал. Я ломал лишь голову: куда он мог деться? Надолго ли это он? Навсегда ли? Пишет ли он ей письма? Спросить у этих «яшек»? Но разве они ответят? Они глядят вам в глаза, ковыряют в зубах и молчат, точно хотят сказать: молодой человек, будете все знать — скоро состаритесь...

В одно прекрасное утро захожу в столовую и застаю ораву «яшек» за столом. Один читает газету, остальные слушают. Это, должно быть, об Иосифе — не иначе. Откуда я знаю? По ней вижу. «Она», в белом передничке, сложив руки на груди, стоит тут же в стороне, а лицо ее сияет, щечки горят, верхняя губка вздернута, — все точно как тогда в лесу. Разница лишь в том, что тогда эти красивые вишенки-глаза смотрели на него, а теперь они блуждали где-то в пространстве, верно, искали все его, все Иосифа.

Что тут говорить? Я еле дождался, когда они положат газету; заглянув в нее, я сразу получил ответ на все мои недоуменные вопросы: *моего Иосифа взяли как следует в оборот*. Знал я, однако, что он плохо кончит, что не сегодня завтра обязательно попадется. Что там такое, собственно, с ним — было не ясно, но совершенно очевидно, что по щечке его там не потреплют, медом он не полакомится и благовониями тоже наслаждаться не будет...

Что творилось на душе у меня — передать я не в состоянии. Сказать, чтобы все это очень волновало меня, не могу — ведь он у меня все-таки стоял поперек горла. И опять-таки если скажу, что меня это радова-

ло, будет тоже неверно. Такого ведь и злейшему врагу не пожелаешь. Наоборот, я от всей души желал, право, можете мне поверить, чтобы бог явил чудо и его бы... Совсем, так сказать, оправдали?.. Нет, этого ведь не может быть... Пусть бы его наказали не так сильно... Вы понимаете?

Несколько дней, говорю вам, я ходил как в чад, места себе не находил. А когда я узнал, что вся эта канитель, слава тебе господи, кончена и завтра уже выносят приговор, клянусь жизнью, — а я все-таки дорожу ею, — я ночь не спал, так-таки и не смыкал глаз: ворочался с боку на бок и в конце концов вскочил и пошел в клуб, — не для игры, конечно, я надеялся здесь хоть на минуту забыться. Слишком уж тяжело было на душе. Я чувствовал, почти знал, что дела Иосифа плохи.

Так оно и случилось. Шагаю в обычное время в столовую, вижу — выскакивают оттуда двое «яшек», всклокоченные, расстроенные, не дай господи! За обедом я застал несколько посторонних человек. К столу подает уже не «она», а мать; сама мать тоже, как говорится, не в своей тарелке, я бы поклялся, что она плакала.

Не долго думая, отозвал я ее в сторону:

— Где ваша дочь?

— У себя, — отвечает мать и показывает глазами на маленькую клетушку с дверкой.

Должен вам признаться, мы вели с матерью своеобразную игру. Напрямик я с ней никогда не говорил, но понимал, что мое сватовство было бы ей по душе. В самом деле, молодой человек из современных, коммерсант с хорошей репутацией, приличный доход, деньги — тьфу! — и тому подобное... почему бы ей не хотеть! Я не раз намекал, что ее дочь меня очень интересует. Доказательство: не нравится мне, что девушка сама подает к столу... Угадайте, что мне ответила мать: «Не нравится, что она подает? Подавайте сами!»

Ну, что тут поделаешь?

Да, на чем же мы остановились? На маленькой комнатке. Каким манером вошел я в эту комнатку, каковы были мои первые слова — режьте меня, ничего не помню. Помню лишь, она сидела у окна, все в том же белом передничке, сложив руки на груди. Бледная, ни кровинки в лице, верхняя губка вздернута,

а глазки-вишенки, подернутые легкой дымкой, глядели задумчиво куда-то вдаль. И ни единой слезинки, ни намека на слезы! Только немая печаль лежала на чуть-чуть наморщенном белом лобике.

Клянусь жизнью,— а жизнью своей я дорожу,— в эту минуту она была так хороша, так божественно хороша, что я готов был упасть к ее ногам, целовать следы ее ног.

Увидев меня, она не всполошилась, не вскочила с места, не спросила, что мне нужно. Я сам взял стул, уселся против нее и стал говорить, говорить — без конца, без края. Фонтан красноречия забил из моих уст, и я говорил, говорил, говорил... Что я там говорил, я ведь вам сказал,— не знаю. По-видимому, смысл был все тот же: я хотел открыть перед ней душу, утешить ее; намекал, что ей ни к чему так сильно «реагировать». На нашем языке это означает: пусть не принимает слишком близко к сердцу, для этого она еще слишком молода, слишком свежа, слишком хороша. Я ей внушал, что еще неизвестно, где ее счастье обретается. Вот, например, я — молодой человек из современных, коммерсант с хорошей репутацией, приличный доход, деньги — тьфу! — и тому подобное... Да пусть только слово скажет, пусть скажет, что она готова забыть прошлое: не было никакого Иосифа, никаких «яшек» и никакой «конспирации».

Понимаете, я и сам не знаю, откуда у меня взялся дар слова. А она, думаете, что-нибудь ответила? Ничего. Она сидела молча и глядела, глядела, глядела... Что мог означать этот взгляд? Он мог означать: «Вы это на самом деле? Не верится что-то». Или: «Я подумаю». Или: «Оставьте меня в покое». А может быть, вовсе: «Ио-сиф!» Понимаете, не просто Иосиф, а Ио-сиф!

Какими глазами смотрел я потом на самого себя! Врагам пожелаю это испытать. Несколько дней подряд мне стыдно было на людях показаться. На душе у меня было мрачно, я чувствовал себя так, точно я сам в какой-то мере виноват в несчастье, свалившемся на них. Сколько я ни старался выбить из головы, забыть его, вот этого Иосифа,— никак не мог.

Надо вам сказать, что снам я не придаю значения, покойников не боюсь, в колдовство не верю. Но, клянусь вам честью, не проходило ночи, чтобы Иосиф не явился мне во сне: он будил меня и показывал ру-

кой вокруг шеи,— не про меня будь сказано,— там у него осталась синяя полоса. Как вы думаете, можно придавать какое-нибудь значение снам? Вот я знаю факт... Приключилось это давно с моим дядей... Но ведь это глупости! Какое мне дело до снов! Просто я немного расстроился, потерял аппетит, лишился сна. От страха, думаете? Нет! Но вы понимаете: знакомый человек, сколько раз за одним столом сидели... Тут я решился. Была не была. Собрался с духом и отправился снова туда, в столовую.

Прихожу. Где там столовая, какая столовая? Как и не бывало — даже место высохло. «Куда девалась столовая?» — «Уже несколько дней как выехала». — «Что значит выехала?» — «Очень просто: выехала — значит выехала». Бегу во двор, звоню домовладельцу: «Куда девалась столовая? Куда переехала?» Ищи ветра в поле. Никто не знает, никто не может ответить, куда она девалась. Начинаю шуметь, вламываюсь в амбицию. А я если вламываюсь в амбицию, тут упаси господи. Клянусь вам, я бегал как сумасшедший, кидался из конца в конец. А «яшки»? Как назло, никого! Хоть бы на развод одного оставили.

Тогда я отправился в полицию «расследовать», то есть навести справку.

Явился. И тут меня взяли в оборот: «Что надо?» Говорю: «Так, мол, и так, куда девалась столовая?» — «Какая столовая?» Отвечаю: «Такая-то и такая». — «Зачем она вам понадобилась?»

Вы понимаете, поди Расскажи им, зачем она мне понадобилась. Я молчу. Тогда они спрашивают снова и снова.

Что и говорить, доставил же я себе удовольствие!.. Уж меня там погоняли! Черт меня понес туда! Хотя, с другой стороны, чего мне, собственно, бояться? Молодой человек — коммерсант с хорошей репутацией, приличный доход, деньги — тьфу! — и тому подобное. В подобные дела я не впутываюсь. Как говорят, не евши чесноку... чего же тут бояться? Ну я просто не люблю таких дел, понимаете, не люблю,— и все тут. Я проклял самого себя... Вот так столовая! Вот так девушка! Вот так Иосиф!

Я и сам бы рад забыть «ее», да не тут-то было. Из головы нейдет. До сих пор стоит предо мной в сверкающем беленьком передничке; горят глазки-вишенки, губка вздернута, ямочки на щеках зовут: поцелуй

меня! А в ушах все еще звенит ее смех. Частенько во сне я слышу ее голосок. Она зовет: «Ио-сиф! Ио-сиф!» Я просыпаюсь в холодном поту. Потому что чуть вспомню о ней, как на ум приходит он...

Видите, я не жду, чтобы вы достали часы. Я сам знаю, что все на свете должно кончаться. Извините, что я отнял у вас слишком много времени. Дайте, прошу вас, руку и пообещайте, что все рассказанное здесь останется между нами, как говорится,— «конспирация».

Адье!

ХАБНО

Случилось это в Одессе, в компании литераторов. Были среди нас и писатели, которые пишут, и читатели, которые читают, и несколько студентов,— среди них одна девушка, приехавшая на курсы, весьма зрелая девица, здоровая, краснощекая,— и еще какие-то молодые люди, и совсем посторонняя публика, не имевшая к нам никакого отношения. Просто увидели — люди о чем-то толкуют, стали прислушиваться, придвигаться все ближе, пока не образовалась одна компания и перепутались стаканы на столе и ноги под столом,— словом, все свои. Был будний день, отнюдь не суббота, и разговор у нас шел не о субботе, а совсем о другом. Если память мне не изменяет, мы спорили о сионизме, территориализме, ахадгаамизме, клойзнеризме *, но, уж во всяком случае, не о субботе, не о деньгах каких-то и не о местечке, которое носит название Хабно. Всего этого ни у кого из нас и в мыслях не было. Вдруг,— и не припомню, как это вышло,— какой-то молодой человек из посторонних, рыжий с белыми ресницами, поднимается с места, взмахивает рукой и говорит:

— Это что!.. Вот я вам расскажу более интересную историю, которая приключилась со мной в Хабно. Хабно — это местечко, есть такое местечко, которое называется Хабно. В Хабно вы найдете все, чему полагается быть в местечке: почту, казенного раввина и духовного, реку, телеграф, кладбище, пристава, талмудтору, хасидов, две синагоги, очень много бедняков и очень мало богачей, как это бывает во всех наших маленьких местечках. И вот нечистый занес меня однажды накануне субботы в это местечко. Вы только

послушайте, история весьма любопытная, она может вам пригодиться. Вы и сами прекрасно знаете, что стоит вам попасть накануне субботы в маленькое местечко, и вы поневоле станете вдруг жителем этого местечка, ничто вам тут не поможет. Продолжать свой путь и не мечтайте. Хабно — это вам не Одесса. С тех пор как существует Хабно, ни один еврей еще не нарушил там субботы. И если уж вам суждено на одну субботу стать жителем Хабно, то вы прежде всего должны отправиться в баню. Что же вам еще остается? Не священные книги же писать. И не вздумайте только не пойти в синагогу,— об этом не может быть и речи. Хотел бы я видеть, как бы вы, остановившись на субботу в Хабно, не пошли бы в синагогу. Вы думаете, с вами бог знает что сделают? Ничего с вами не сделают; на вас будут только *смотреть*. Все Хабно соберется посмотреть на еврея, который остался на субботу в Хабно и не хочет идти в синагогу. А какими глазами посмотрит на вас хозяин? И что за вкус будет иметь еда, которую вам подадут отдельно от всех? Да еще подадут ли? Что вы, помещик какой-нибудь, который может позволить себе есть отдельно, не за одним столом с хозяином, и не произнести во весь голос предобеденной молитвы, не петь вместе со всеми субботние песнопения? Вот если бы вы были, не в обиду вам будь сказано, помещиком — тогда другое дело. Вам бы все подали в вашу комнату: и еду, и питье, и папиросы, и даже самовар в субботу. Хотите знать, отчего это так? Не стоит спрашивать. Если вы начнете задавать вопросы, почему так да почему этак, истории конца не будет. Короче говоря, раз вы приехали в Хабно, вы должны на время стать жителем Хабно.

Так вот со мной случилась история: я ехал к помещику одному недалеко от Хабно и вез с собой деньги, добрых несколько тысяч,— карманы распирало. Мне казалось, что любому, пусть он и не знает ничего, видно, что я везу с собой деньги, потому что человека, у которого деньги, можно узнать на расстоянии: он и стоит по-особому, и ходит по-особому, и говорит не так, как все. Уж такова сила денег, понимаете ли, деньги — это деньги!..

Я и подумал: как мне быть с деньгами? Суббота на носу, а Хабно — это вам не Одесса, не буду же я носить с собой в субботу деньги. А потом, скажу вам

истинную правду: мне было страшновато оставаться в заезжем доме с такой крупной суммой. Не то чтобы я не доверял хозяину, упаси бог! Хозяин был с виду весьма почтенным человеком, благочестивым евреем в очень приличном кафтане, подпоясанном кушаком. Не опасался я также и грабителей: никто не скажет, что Хабно — город бандитов и разбойников. Миру неизвестны убийства или зверства какие-нибудь, совершившиеся в Хабно. А то, что там случился как-то небольшой погром, так это ведь только во время погрома, а где в наше время не бывает погромов?.. Можете среди ночи ходить по Хабно один-одинешенек, и, клянусь, ничего плохого с вами не произойдет. Чего же мне в таком случае было бояться? Я, понимаете ли, одного только боялся: такая сумма, а деньги-то ведь чужие, не мои... Мало ли что бывает, упаси бог! И так и этак прикидываю — дело плохо. Как же быть? И я подступаю к хозяину с вопросом: кого у них, в Хабно, считают богачом, кто здесь самый уважаемый человек? А хозяин, как водится, мне в ответ: «А зачем это вам знать? Дело есть?» Поди Расскажи ему, что мне покоя не дает. Он, правда, видать, почтенный человек, и кафтан на нем весьма приличный, кушаком подпоясанный, к тому же и про Хабно никто не скажет, что это город разбойников и грабителей, но все же деньги, такая сумма, чужие деньги, не свои... Итак, я спрашиваю об одном, он спрашивает о другом. Я ему — «богач», он мне — «дела», но, так или иначе, то, что мне нужно было, я из него вытянул: в Хабно, видите ли, все сплошь бедняки, конечно, есть и богачи, но их очень мало. Всего-то навсего только один и найдется, которого в самом деле можно назвать богачом, но это уж настоящий богач, одним словом — богатей, толстосум. И то правда, денег его никто не считал, но есть у него деньги, и, надо думать, немало. У него и дома собственные, и магазины по всему базару, и роща у него, настоящий лес, даже два леса, можно сказать. И человек он неплохой, добрый по натуре, очень даже добрый, с отзывчивым сердцем и щедрой рукой. Он, понимаете ли, не прочь отличиться благим делом: и пожертвует при случае, и займы даст, никому не откажет, кто бы к нему ни обратился. Все это, конечно, ради славы, он гонится за славой, известное дело — богач любит славу. Хотя с виду он как будто прост, совсем даже скромник, о почестях и знать не хочет.

Вообще-то он, можно сказать, вполне порядочный человек, ну, не то что праведник какой, но того, что нельзя делать, он не сделает открыто, так, чтобы все видели; может быть, как-нибудь так, втихомолку, когда никто не видит, бог его знает, за другого трудно поручиться. Но что касается честности, то, само собой, не благодарить же его за это; если уж такому человеку не быть честным, так с кого и спрашивать?..

Короче говоря, я понял со слов хозяина, что могу доверить богачу мой капитал. И я отправился к нему заблаговременно, в канун субботы, еще до бани, и застал его дома склонившимся над фолиантом. Весьма почтенный человек, и живет он великолепно, на широкую ногу, можно сказать, и, видать, спокойно, как и подобает богачу в маленьком местечке. Вхожу, приветствую его и выкладываю всю свою историю: так, мол, и так, еду я к такому-то и такому-то помещику, везу с собой деньги, и поскольку я вынужден остановиться здесь на субботу, то я боюсь, мало ли что бывает, хотя, конечно, никто не скажет про Хабно, что это город разбойников и грабителей, а мой хозяин почтенный человек, и кафтан на нем приличный, кушаком подпоясанный... Так в чем же дело? Деньги, такая сумма, не сглазить бы, чужие деньги, не свои... «Чего же вы хотите, молодой человек?» — с улыбкой спрашивает меня богач.

Я ему и говорю, что у меня к нему просьба, не согласится ли он взять у меня деньги и спрятать их на субботу у себя в шкафу, в железном шкафу, — вот я и буду спокоен. Я не то что не доверяю кому-либо, упаси бог, о Хабно никто не скажет, что это город разбойников и грабителей, но такие большие деньги, чужие, не свои... Богач слушает меня с улыбкой и говорит: «Молодой человек, вы меня знать не знаете и ведать не ведаете, как же вы доверяете мне такую сумму?» А я ему: «Добрая слава далеко бежит, и потом, вы ведь, наверно, дадите мне расписку — такие большие деньги, чужие, не свои...» А он все улыбается и говорит, что никогда в жизни никому не давал расписок. «Пусть тогда без расписки», — говорю. Но богач не хочет брать у меня денег, наотрез отказывается. «Как же быть?» — говорю. А он в ответ: «Как знаете». Тогда я спрашиваю: «А если при свидетелях?» — «Пожалуйста», — говорит он. «Кого же мне к вам привести?» — «Кого хотите». — «Не назовете ли вы не-

сколько приличных людей?» — «У нас тут все приличные люди», — говорит. «Тогда я сбегаю и приведу к вам несколько хозяев». — «Бегите и приводите кого угодно», — отвечает богач. Вижу, что он немного обижен, и начинаю оправдываться: воздай мне бог сторицей, сколько я бы ему доверил; будь эти деньги мои, я бы ни за что не стал звать свидетелей, но деньги эти ведь прежде всего божьи, а потом уж людские, — во всяком случае, не мои, поэтому осторожность не помешает. Что вы на это скажете, должен я соблюдать осторожность или нет? Богач выслушивает меня с улыбкой и молчит. Я, конечно, понимаю, что он немного задет, но раз я сказал, что сбегаю за свидетелями, значит, надо сбежать и привести нескольких свидетелей. Отправляюсь обратно в заезжий дом и снова принимаюсь за хозяина, начинаю у него выпытывать, кто здесь в Хабно числится среди самых достойных людей. Но из него и слова не вытянешь. Его интересует, для чего мне это нужно знать. Если речь идет о сватовстве — это одно, а если мне понадобились деньги под залог, то это совсем другое дело, если же, говорит, ни то и ни другое, то ему все равно не мешает знать, что мне нужно.

Я и так, я и этак, пока наконец не добился от хозяина ответа, что в Хабно все хозяева, собственно, достойные люди, хотя если подумать, то в отношении порядочности они оставляют желать много лучшего. И что такое, в сущности, порядочность? Всякого можно назвать порядочным, а если хотите знать, то порядочности вообще на свете нет. Все зависит от того, какие достоинства ближнего вас интересуют: богатство ли, хорошее ли происхождение, образованность, вежливое обхождение или все, вместе взятое? Но так как, говорит он, всех достоинств ни у кого не найдешь, то можно считать, что в Хабно все люди достойные. Но если, говорит он, я интересуюсь достойными из достойных, то в Хабно можно найти лишь двух достойных людей — это реб Лейзер и реб Иося. Вот это действительно достойные люди! «А кто они такие, к примеру, эти реб Лейзер и реб Иося?» А хозяин мне говорит: «Какая вам разница? Если я вам и скажу, вы все равно не будете знать». А я ему: «Но все-таки ведь у каждого свой нрав». А хозяин в ответ: «Станный вы человек, все вам расскажи. Реб Лейзер — это человек, которого зовут Лейзер, а реб Иося — это

человек, которого зовут Иося. Ну и что же, легче вам от этого стало, что ли?..»

Итак, я пошел к реб Лейзеру, которого зовут Лейзером, и к реб Иосе, которого зовут Иосей. Познакомился я с ними; как будто вполне почтенные люди, и бороды у них почтенные, потолковал с ними о том о сем просто так, толковали, толковали, пока подошли к тому, что мне нужно было, и я им прямо выложил все как есть: так, мол, и так, еду я к помещику, везу с собой деньги, вот я и боюсь: кто его знает, хотя Хабно, конечно, не город разбойников и грабителей, но ведь большие деньги, чужие деньги, не свои... Поэтому я прошу их, пусть не откажутся сходить со мной к богачу и присутствовать при том, как я дам ему на хранение свои деньги. Этим они заслужат царство небесное. Реб Лейзер, которого зовут Лейзером, и реб Иося, которого зовут Иосей, внимательно выслушали меня, поглаживая бороды, все снова допытываясь, что да как. А я не заставлял долго упрашивать себя, все им выложил, и мы наконец отправились втроем к хабненскому богачу, попросили у него, как водится, прощения: Хабно, мол, не город разбойников и грабителей... Я распорол карманы, достал деньги, пересчитал, тщательно завернул в бумагу и с рук на руки передал их хабненскому богачу, чтобы он спрятал их на субботу у себя в железном шкафу, и еще раз попросил у него прощения за беспокойство, Хабно, конечно, не славится своими разбойниками и грабителями, упаси бог, но деньги ведь, такие большие деньги, чужие, не свои... И хабненский богач весьма торжественно принял у меня узелок, словно младенца на торжестве обрезания, а два моих свидетеля смотрели, поглаживая бороды и облизываясь, как кот на сметану. Я еще раз попросил прощения за беспокойство, Хабно, конечно, не город разбойников и грабителей, упаси бог, и попрощался, и счастливой вам субботы, и дело с концом.

Только опорожнил я карманы, как у меня будто гора с плеч свалилась. Со спокойной душой отправился я в синагогу, послушал там весьма замечательного кантора, который, правда, уж слишком изощрялся, выделял всяческие диковинные штучки, пускал рулады, заливался соловьем. «Споем песнь в честь субботы» он заключил совсем как актер в театре, не будь рядом помянут, а «Кехавно» у него получилось слаще сладкого, поистине по-еврейски, и такая «мораль»

звучала в нем, что хотелось послушать еще и еще раз. Давно уж мне не доводилось слушать такого кантора, как в Хабно, давно уже мне не доводилось слушать такой «Кидеш» и такие «Змирес» *, как в Хабно, давно уж я не ел такой наперченной рыбы, такой вкусной лапши и такого мяса с цимесом, как в Хабно, давно уж я не спал так сладко, как в ту субботнюю ночь, и чуть не весь субботний день я проспал, словно король какой. Отлежав себе бока, я вышел немного погулять, чтобы ознакомиться с местечком и с его жителями, полюбоваться на хабненских юношей и девушек, выряженных по последней моде; потом я славно отужинал вместе с хозяевами, славно спел «Змирес» и прошел в синагогу на вечернюю молитву. Вернувшись в заезжий дом, я произнес «Габдалу» *, честь честью рассчитался с хозяйкой, выторговал у нее несколько двугривенных, как водится, и отправился за своими деньгами.

Хабненского богача я застал в приличном шелковом халате с шелковыми кистями. Он расхаживал по залу, наматывая кисти халата на пальцы и напевая весьма приятным голосом:

Илья-пророк!
Илья из Тишби!
Илья из Гилода!
Скоро, скоро, скоро в наши дни!

«Ну что ж,— подумал я,— человек поет, пусть поет; кончит петь, я у него попрошу...» Мой богач, однако, и не собирался кончать, он все мычал и пел, наматывая кисти халата на пальцы. Я же тем временем сидел как на горячих углях, то и дело поднимался, готовый подойти к нему и заговорить о своем деле, но никак не мог начать: он все наматывал кисти халата на пальцы, мычал, пел, и голос его все креп:

Пророк Илья!
Пророк из Тишби!
Пророк из Гилода!
Ай-яй-яй-яй!
Ай-яй-яй-яй!
Скоро, скоро, скоро в наши дни!
Илья-пророк!
Илья из Тишби!
Илья из Гилода!

«Будь что будет!» — подумал я и, набравшись смелости, подошел к богачу и сказал, что собираюсь сегодня же, не медля, пуститься в дальнейший путь и поэтому

хотел бы его попросить... гм... Богач поднял палец с намотанной на него шелковой кистью халата и запел громко, во весь голос, прямо мне в лицо:

Илья-пророк!
Илья из Тишби!
Илья из Гилода!
Ай-яй-яй-яй!
Ай-яй-яй-яй!

«Наваждение какое-то, дурной сон,— подумал я.— И влюбился же человек в Илью-пророка — водой не разольешь!» В общем, он пел и мычал до тех пор, пока наконец не перестал и петь и мычать. «Доброй недели вам,— приветствовал меня богач,— здравствуйте, садитесь!» Он весьма любезно усадил меня за стол, угостил весьма приличной папиросой, велел подать два стакана чаю — ему стакан и мне стакан, и тогда только спросил: «Что скажете хорошего, молодой человек?» — «Что мне сказать? — говорю.— Уезжать собираюсь, вот прямо сейчас, и поэтому я бы хотел попросить у вас свои деньги». — «Какие деньги?» — «Да моих несколько карбованцев», — говорю. «Какие карбованцы?» — «Деньги, говорю, мои деньги». — «Что за деньги?» — «Как, говорю, что за деньги? Разве вы не знаете, зачем я пришел? Я пришел за деньгами, которые оставил у вас на субботний день». — «Вы оставили у меня деньги?» — говорит он и делает при этом такую мину, как если бы я, к примеру, сказал, что нос на его лице — это не его нос, а мой.

Можете себе представить, каково у меня стало на душе: Хабно, конечно, не город разбойников и грабителей, но кто его знает... «А может, богач шутит», — подумал я и рассмеялся: «Ха-ха, ну и шутник же вы, — говорю, — в этом деле вы мастак!» А он серьезно: «В каком деле?» — «Я же вижу, что вы шутник», — говорю. Тогда он отвечает мне уж слишком серьезно: «Молодой человек, я вам не ровня и шутки шутить с вами не намерен! Скажите, что вам от меня нужно?»

Тут я почувствовал, что лицо у меня дергается, глаза странно мигают, а ноги подкашиваются, вот-вот упаду. Но я креплюсь и пытаюсь превратить все в шутку: «Ну, хватит вам меня разыгрывать, честное слово, дайте мне мои деньги — и дело с концом». Хабненский богач сидит рядом, смотрит мне прямо в

лицо, и хоть бы он глазом моргнул, хоть бы бровью повел, ничего, будто я не в себе, будто перед ним помешанный. «Молодой человек,— говорит он спокойно,— вы ошиблись, вы не туда попали». Тут уж я не стерпел: «Если вы не шутите, то я не понимаю, что это за игра такая. Я вам дал,— говорю,— деньги на хранение, крупную сумму, деньги эти не мои, чужие деньги...» Язык у меня заплетается, в горле стоит ком, в левом ухе звенит, еще минута — и я потеряю сознание. А богач свое: «Не понимаю, о чем вы говорите». — «Значит,— говорю,— вы у меня денег не брали?» — «Я у вас? Покажите,— говорит,— наверно, у вас моя расписка?» Тут мне стало совсем плохо, я понял, почему он мне накануне сказал, что никогда никому не дает расписок... «Как, говорю, а свидетели? Есть же свидетели!» А он в ответ: «Свидетели? Какие свидетели?» — «А реб Лейзер и реб Иося разве не видели, как я вам давал деньги?» — «Не знаю никакого Лейзера и никакого Иоси». — «Бог с вами,— говорю,— вот я сейчас сбегаю и приведу их сюда». — «Бегите,— говорит он,— куда хотите, только меня оставьте в покое, вы не в своем уме, молодой человек!..»

Побежал я за свидетелями, а сам не могу отделаться от мысли: может быть, я в самом деле не в своем уме; может быть, все это наваждение, сон; может быть, я вовсе не в Хабно? Я бегу, и мысли мои бегут, так что голова трещит. Черт понес меня на субботу в Хабно! Горе мне, этакое несчастье со мной стряслось, что я теперь буду делать?

Бегу к реб Лейзеру, бегу к реб Иосе, рассказываю им о своей беде: идемте со мной, говорю, люди добрые, идемте скорее, сжальтесь надо мной, ведь такие большие деньги, не свои, чужие,— спасите, говорю. Запыхавшись, являемся мы все трое к хабненскому богачу, а он встречает нас со странной улыбкой и обращается к моим почтенным свидетелям с такими словами: «Слышали вы, какую чушь порет этот молодой человек, прямо напасть какая-то. Я будто взял у него на хранение крупную сумму денег, и вы будто тоже были при этом. Ну, что скажете?» Мои свидетели, два почтенных хозяина с почтенными бородами, стоят и смотрят то на богача, то на меня, то друг на друга. «Что же вы молчите? — говорит им богач.— Слышали вы когда-либо подобную клевету?» — «Господи, спаси и помилуй», — в один голос отвечают мои свидетели,

почтенные люди с почтенными бородами, переглядываясь друг с другом. «Он говорит,— продолжает тем временем богач,— будто сумма была бог весть какая, несметные тысячи, и будто вы оба собственными глазами видели, как он давал их мне на хранение. Как это вам понравится? Боюсь, что этот молодой человек, упаси бог, не в своем уме!» — «Не иначе как... не в своем уме!» — отзываются оба моих свидетеля, поглаживая свои почтенные бороны и поглядывая то на богача, то друг на друга. Хочу возразить им, хочу крикнуть, но я не в силах. Язык у меня прилип к гортани, в горле пересохло, в глазах потемнело. Тем временем мои почтенные свидетели, реб Лейзер и реб Иося, неслышно выскользнули из комнаты, странно поглядывая то на богача, то друг на друга. Лица их, хотя и были бледны, как луна, все же сияли, а глаза у них блестели, как у людей, которым всевышний послал в самом начале недели неплохое дельце.

Поверите ли, один бог знает, что бы тут со мной было, но богач вдруг подошел ко мне, положил руку мне на плечо, открыл шкаф и сказал: «Не принимайте этого так близко к сердцу, молодой человек! Вот вам ваши деньги. Я только хотел показать вам, что такое Хабно и кто такие хабненские почтенные хозяева!..»

Рыжий молодой человек с белыми ресницами замолчал, отодвинулся вместе со своим стулом и стал заглядывать каждому из нас в глаза, чтобы проверить, какое впечатление произвел его рассказ. Мы все будто застыли. Разговор не возобновлялся. Только один из нас, не помню, кто именно, может быть, даже я сам, решился спросить молодого человека с белыми ресницами:

— По какому, собственно, поводу вы рассказали нам эту историю?

— По какому поводу? — переспросил он, как бы удивленный нашим недоумением. — Что значит — по какому поводу? Ни по какому. Просто так, к слову пришлось. Как раз вспомнилась мне эта история, вот я вам ее и рассказал.

ТРИ ВДОВЫ

Повествование холостяка закоренелого,
к тому же вспыльчивого

ВДОВА НОМЕР ОДИН

Ошибаетесь, уважаемый,— не все старые девы несчастны, не все старые холостяки эгоисты. Вы сидите в кабинете с сигарой в зубах, с книжкой в руках, и вам кажется, что вы проникли в самые тайники души, всё уже знаете, что нет для вас больше неразрешенных вопросов. И особенно когда вы, с божьей помощью, отыскиали такое словечко, как «психология»... Шутка ли — пси-хо-ло-гия!.. А знаете ли вы, что такое психология? Есть растение такое — петрушка... На вид неплоха и пахнет приятно, приправишь ею кушанье — вкусно. Вот и психология — та же петрушка. Но попробуйте жевать одну петрушку!.. Не хотите? Так что же вы мне навязываете «психологию»? Ежели хотите знать по-настоящему, что такое психология, то садитесь, пожалуйста, и слушайте внимательно, что я вам расскажу. Потом будете высказывать свое мнение насчет того, откуда берутся всякие несчастья, где кроются причины эгоизма и так далее.

Вот я — старый холостяк и старым холостяком умру. Почему? Тут особые обстоятельства... Коль скоро вы спрашиваете — почему, и готовы выслушать меня, то вот это и есть по-настоящему психология! Главное, не перебивайте меня вопросами — как, да что, да почему... Не люблю, когда меня перебивают. Я, как вы знаете, не без капризов, а в последнее время и нервы пошаливают... С ума я не сошел, не пугайтесь! Терять рассудок — это больше подходит вам, вы человек женатый. А мне нельзя, мне полагается быть в здравом уме и твердой памяти. Я обязан быть здоровым. Это вы и сами подтвердите. Короче говоря, вопросов прошу не задавать. Когда я расскажу всю историю и что-нибудь вам покажется непонятным, тогда можете предъявлять ко мне претензии. Ну? Все? Так вот, садитесь сюда, на мое место, а я, с вашего позволения, сяду в качалку. Я тоже, знаете, люблю помягче и поудобней... Да и вам здесь лучше будет,— не уснете...

Итак, приступаю к самому рассказу. Терпеть не могу предисловий, лишней болтовни.

Звали ее Пая, а прозвали — «молодой вдовой». Почему? Начинается история: почему да отчего? Что ж тут непонятного? Раз называли «молодой вдовой», значит, она была молодая и была вдовой. Я был моложе ее. На сколько? Не все ли равно? Говорю — моложе, значит — моложе. Словом, нашлись люди, у которых язык не на привязи, и стали поговаривать о том, что я, мол, холостяк, а она — молодая вдова... Поняли? Иные меня даже поздравляли, желали счастья. Поверьте мне, а не верите — тоже беда не велика. Хвастать мне перед вами ни к чему. Я был с ней близок так же, как вы близки со мной... Просто мы были хорошие друзья, любили друг друга. Да и что тут удивительного? Я был знаком еще с ее мужем. И не только знаком, но и дружил. Я не говорю, что мы были друзьями. Я говорю, что мы были дружны. Это разные вещи: можно дружить, но не быть друзьями и, наоборот, быть очень близкими друзьями, но не дружить. Таково мое мнение. Вашего мнения я не спрашиваю! Итак, у нас с ее мужем велась дружба, мы играли в преферанс, иной раз в шахматы. Говорят, я первоклассный шахматист. Не хвастаю перед вами! Возможно, что есть игроки получше меня. Передаю только то, что говорят... Муж ее был человек молодой, способный и развитой, к тому же знающий, очень даже знающий. Самоучка, в гимназии и университетах не учился, дипломов никаких не получал. Ломаного гроша не стоят все ваши дипломы! Что? Вы не согласны? Не надо! Не стану спорить! Он был богат, очень богат. Хотя я не знаю, что, по-вашему, называется быть богатым. У нас человека, у которого свой дом, свой выезд да еще прибыльное дело к тому же, принято считать богатым. Мы не шумим, не гремим, до небес не возносимся, двигаемся потихонечку и полегонечку. Так вот. Были у него дела, и жилось ему хорошо. Приходить к ним доставляло большое удовольствие: когда бы ни пожаловали, вы всегда желанный гость. Не то что у других: в первый раз придете, не знают, где и посадить вас; в следующий раз вас принимают уже не так радушно, а в третий раз встретят так холодно, что простудиться можно... Нечего улыбаться: речь идет не о знакомых... Туда, бывало, попадешь, тебя накормят, напоят, примут как родного. Чего больше?

Вот, к примеру, — прошу извинить меня, — пуговица на жилетке оборвется, ее тут же пришьют! Смеетесь? По-вашему, это смешно. Пуговица! Что такое пуговица? Пуговица, друг мой, для нашего брата холостяка — великое дело! Целый мир! Из-за пуговицы однажды скверная история приключилась: молодой человек пришел на смотрины, а ему кто-то с усмешкой показал, что у него пуговицы не хватает... А тот вернулся домой и повесился... Однако не задерживаюсь на этом: не люблю припутывать посторонние вещи... А жили они — муж и жена — как голубки. Уважали друг друга гораздо больше, чем многие из нынешних, даже из самых что ни на есть «высокопоставленных». Я никого задевать не собираюсь. А если вы другого мнения, меня это ничуть не трогает. Итак, продолжаю свой рассказ.

Однажды Пиня, муж Паи, приехал домой. Слег в постель, прохворал дней пять, а на шестой день нет Пини! Что? Как? Почему? Не спрашивайте! У него чирей на шее вскочил, надо было вскрыть, а его не вскрыли. Почему? Потому! На то и врачи на белом свете! Привел я к нему двух врачей, и стали они спорить. Один настаивает вскрывать, другой возражает — не надо. А больной тем временем скончался. Что тут скажешь! Подумаешь иной раз, сколько людей они на тот свет отправили, волосы дыбом встанут. Родную сестру мою отравили! Думаете, дали ей яду? Я ведь не сумасшедший, чтобы говорить такие глупости! Отравили — значит, не дали того, что нужно. Дали бы ей вовремя хинину, она, может, и осталась бы в живых... Не беспокойтесь, я знаю, на чем остановился. Итак, потеряли мы нашего друга Пиню. Как выразить свое горе? Брата, отца родного не так было бы жалко! Шутка ли — Пиня! Точно годы, многие годы жизни отняли у меня. Боль какая! Несчастье какое! А вдова! Осталась с крошечным ребенком на руках, — Розочка, ангел... Единственное наше утешение. Если бы не ребенок, я не знаю, как бы мы все это пережили, — и она и я! Я не женщина и не мать, чтобы ни за что ни про что расхваливать ребенка. Но если уж я говорю, что ребенок был на редкость удачный, — можете поверить мне на слово. Глядишь на него — не нагладисься. Ну, словом, — плод любви двух замечательно красивых людей. Не знаю, кто из них был лучше — он или она? Пиня был красив, Пая была прелестна. Глаза

у ребенка были отцовские — голубые. Любили мы этого ребенка оба, но я и сам не знаю, кто больше — она или я? Скажете, как это возможно? Она — мать, а я — чужой? Ничего не значит. Надо смотреть глубже: моя привязанность к дому, жалость к вдове, сочувствие к бедной сиротке, очаровательному ребенку, и то, что я одинок как пень, — все это, вместе взятое, и есть то, что вы называете психологией. Не петрушка, а настоящая психология в чистом виде. А может быть, скажете вы, все это потому, что я любил мать? Не отрицаю, очень любил. Знаете, как любил? Мучился, изнывал от любви, но намекнуть ей об этом — ни за что! Ночи напролет, бывало, не спишь, лежишь и думаешь о том, как бы это сказать ей. Встанешь утром, готов, кажется, пойти к ней и прямо заявить: «Да будет вам известно, Пая, так, мол, и так... А дальше — решайте сами...» Но придешь, а слов-то и нет! Скажете, я трус? Пожалуйста, говорите. Но попытайтесь глубже вникнуть: Пиня был моим другом, я любил его сильнее, чем брата. «А Пая? — спросите вы. — Ведь вы, мол, только что сказали, что изнывали по ней?» Вот именно, отвечу я вам, именно потому, что изнывал, именно потому, что мучился, — не мог, не решался! Боюсь, однако, что вы меня не поймете. Конечно, сошлись я на вашу пресловутую «психологию», вы бы, конечно, поняли, а когда рассказываешь просто, без выкрутасов, от чистого сердца, это начинает казаться диким. Впрочем, думайте как вам угодно! Я продолжаю. Ребенок рос. Это, конечно, только так говорится «рос». Ребенок растет, и дерево растет, и редька тоже растет. Разница все-таки. Дождаться, покуда ребенок начнет сидеть, стоять, ходить, бегать, говорить! Но вот наконец он уже сидит, и стоит, и ходит, и бегаёт, и разговаривает. А дальше? Не хватало еще, чтобы я, как баба, стал вам перечислять: оспа, корь, зубки и тому подобное! Я не баба, и глупостями занимать вас не стану, и о детских проделках рассказывать не буду. Девочка росла, и выросла, и расцвела — «как нежная роза», сказал бы я, если б захотел изъясняться на языке ваших романистов, которые столько же смысла в цветении розы, сколько свиньи в апельсинах... Они, знаете ли, большие мастера сидеть у себя в кабинете, греть ноги у печки и описывать природу, зеленый лес, бушующее море, песчаные горы, прошлогодний снег, вчерашний день... Противны мне такие писания.

С души воротит!.. И не читаю их! А как возьму книжку и вижу, что солнце сияло, что луна прогуливалась по небу, что воздух был напоен ароматом, что птички щебетали,— швыряю книгу на пол. Смеетесь? По-вашему, я психопат? Ну и ладно!

Итак, выросла она, Роза, и воспитание получила надлежащее, как полагается в интеллигентном доме. Мать за этим присматривала, и я малость следил за ее образованием, да что там — не малость, а по-настоящему; можно сказать, почти все свое время отдавал ребенку, заботился, чтобы ее учили, воспитывали лучшие учителя, чтобы она не опаздывала в гимназию, чтобы играла на рояле, чтоб училась танцевать,— за всем этим следил я, я один. Кто ж еще? И делами вдовы к тому же занимался, не то все ее состояние растащили бы! Ее и так здорово обрали...

После смерти Пини к вдове ринулись всяческие людишки, благодетели, советчики, и стали ее обирать, как полагается... Хорошо, что я вовремя спохватился: «Стоп, машина»,— и прибрал к рукам все дела. Она, правда, хотела, чтобы я стал компаньоном, но я решительно отказался. Домов своих не продам и голову себе морочить не стану. Она возражала: не обязательно продавать дома, я и так, мол, могу быть компаньоном. Что же, вы думаете, я на это ответил? Я попросил больше мне таких предложений не делать, потому что в противном случае я рассержусь. «Он, говорю, царство ему небесное, не заслужил того, чтобы я заставил вас платить мне за труды,— а за время, уделяемое вашим делам, говорю, я денег не беру. У меня, говорю, достаточно времени, хоть бейся головой об стенку...» Говорю это я ей, вдове, а она — ни слова. Опустила глаза — и молчок. Если вы что-нибудь соображаете, то вам должно быть понятно, что именно я хотел сказать!.. Почему же прямо не сказал? Не спрашивайте — почему! Стало быть, не пришлось. Могу вас только уверить, что это было так же просто, как вот эту папиросу закурить. Одно лишь слово — и мы сосватаны... Но я подумал: «А Пиня? Ведь мы такими друзьями были!..» Я знаю, что вы хотите сказать: между нами, по-видимому, не столь горячая была любовь... Ошибаетесь. О том, что я по ней изнывал, я уже говорил вам, а о том, что и она — по мне, не хочу рассказывать: подумаете, чего добро-

го... А впрочем, не все ли мне равно, что вы подумаете. Прикажете-ка лучше подать чаю, а то у меня в горле пересохло.

Итак, уважаемый, на чем мы остановились, не помните? На делах. Ну и дела! На всю жизнь запомню. Мало сказать — эксплуатировали, — вокруг пальца обводили! Погодите радоваться! Не меня — ее! Меня вокруг пальца не обведешь. Знаете — почему? Потому что я не дамся. Однако давайся не давайся, ничего не попишешь, когда сталкиваешься с аферистами, жуликами, бандитами, которые кого хочешь обманут. Они из кожи вон лезли, чтобы отобрать у нас последнее. Но вы можете себе представить, не так-то просто забрать у меня деньги. Они, будьте покойны, достаточно намаялись. Они у меня, черт бы их побрал, кровью харкали, пока удалось им выманить и выкачать, знаете — сколько? Сколько смогли! Счастье, что я вовремя спохватился и сказал вдове: «Довольно! Хватит!» И, насколько это было в моих силах, я как ножом отрезал. Тем не менее она здорово погорела. Спросите, как же это я допустил? Хотел бы я посмотреть, как бы вы извернулись при таких обстоятельствах. Возможно, у вас лучше получилось бы. Не спорю. Обо мне, может, скажут: не ахти какой коммерсант! Подумаешь, несчастье какое! Лишь бы не бандит! Думаете, мне это не влетело в копеечку? Но я не собираюсь перед вами хвастать. Я хочу только рассказать, как все складывалось, как все вело к тому, чтобы вдова не осталась вдовой, а я — старым холостяком. Скажи я ей одно слово, одно лишь слово... но этого слова я и не произнес! Почему? В том-то и заковыка. Тут-то и начинается настоящая психология. Новая глава под названием «Роза»!.. Вы только слушайте внимательно, ни слова не упустите, потому что это не выдуманный роман, понимаете ли, — это сама жизнь, подлинная, горячая, трепетная...

Не знаю, какая-то особенная сила таится в душе каждой матери... Чуть девочка из коротких платьиц вырастает, как матери уже не терпится: скорей бы увидеть свою дочь помолвленной. А приметит мать, что вокруг ее дочери увиваются молодые люди, — она волнуется, от радости себя не помнит. В каждом молодом человеке она видит жениха. И что жених этот, может, пустельга, шарлатан, картежник, черт его знает что, — это ее не интересует! Конечно, можете себе предста-

вить, пустобрехи и шарлатаны к нам не ходили, потому что, во-первых, Роза была не из тех, что знаются с каждым плясуном, умеющим извиваться, крутиться по паркету, сгибать руку калачиком, шаркать ножкой и отвешивать поклоны. А во-вторых, я на что? Допустили я, чтобы какой-нибудь повеса на три шага приблизился к Розе? Да я бы ему, кажется, все кости переломал! Был я с нею однажды на балу в клубе, среди отменных аристократов, тех, кого вы называете буржуазией... И вот подходит к нам какой-то франт, ручка кренделем, головка набок, на личике медовая улыбочка, шаркает ножкой, таким визгливым девичьим голоском говорит... Черт его знает, что он наговорил. Пригласил танцевать. Ну и показал же я ему танец! Запомнит он меня! Посмеялись мы потом над злополучным кавалером! С тех пор все кавалеры знали: прежде чем познакомиться с Розой, надо обратиться ко мне, выдержать, если можно так выразиться, экзамен и лишь потом убраться подобру-поздорову. Они меня прозвали цербером, то есть сторожевым псом у входа в рай. Беда какая! А знаете, кто по этому поводу сердился? Мать! «Вы,— говорит она,— отпугиваете людей, не подпускаете близко». — «Каких людей? — спрашиваю я.— Это собаки, говорю, а не люди!» Так случилось раз, и два, и три. Однажды чуть было не кончилось катастрофой. Думаете, мы поссорились? Вы, правда, человек умный, но на сей раз не угадали! Вот послушайте, что было.

Прихожу я однажды к вдове и застаю гостя, молодого человека лет двадцати или тридцати. Есть такие молодые люди, возраст которых никак не определишь. Молодой человек, не отрицаю, оказался очень славным. Бывают такие симпатичные люди — хорошее лицо, хорошие глаза, ни к чему не придерешься. Понравился он мне с первого взгляда. Знаете — почему? Потому, что я терпеть не могу людишек с сахарными личиками, с медовыми улыбочками. Ненавижу эти противные существа, которые умильно заглядывают вам в глаза и поддакивают каждому вашему слову: скажите им, что в июле снег выпал или рыба на вербе росла, они и против этого не возразят... Когда я вижу такое создание, меня так и подмывает, на радость пчелам, вымазать его медом... Хотите знать, как звали этого молодого человека? Что вам до этого? Допустим, его фамилия Шапиро. Удовлетворены? И был он бухгалтером ви-

нокуренного завода, и не только бухгалтером, но и полновластным хозяином; можно сказать, что на заводе он пользовался бóльшим авторитетом, чем даже сам хозяин. А хозяин, который не доверяет своим подчиненным, не достоин быть хозяином... Можете быть другого мнения на этот счет,— это не так уж важно.

Словом, представили мне молодого человека по фамилии Шапиро, бухгалтера, управляющего, порядочного человека, к тому же замечательного шахматиста. В шахматы он играет не хуже, а, пожалуй, даже лучше меня. Ведь я же вам говорил, что не считаю себя крупным шахматистом. И вот, поди будь пророком и угадай, что здесь завязывается роман! Отчаянный! И надо же мне быть таким ослом и не заметить этого с самого начала! Представьте себе, ведь я же собственными руками подливал масла в огонь, всячески расхваливал этого человека, превозносил его до небес! Чтоб они сгорели, эти шахматы, а заодно с ними и все шахматисты на свете! Играли мы с ним, а он тем временем замыслил совсем другое. Я у него брал «королеву», а он у меня Розу отнял! Я давал ему «мат» в десять ходов, а он мне — в три хода, потому что на четвертом ходу, то есть когда он явился в четвертый раз, вдова отозвала меня в сторонку и с особенным огоньком в глазах сообщила мне, что Розочка стала невестой этого самого Шапиро и что она на седьмом небе от счастья. Словом, поздравьте меня, и себя, и нас обоих.

Что со мной сделалось, когда я услышал эту добрую весть, рассказывать не стану. Скажете еще, что я злодей, сумасброд, помешанный? Она, вдова то есть, сказала то же самое. Вначале смеялась, потом раскричалась на меня, а кончилась эта история слезами, истерикой и прочими такими вещами,— словом, конфликт! лопнул, понимаете ли, волдырь... Мы объяснились и за полчаса наговорили друг другу столько беспощадной правды, сколько не было высказано за все двадцать лет нашего знакомства! Я откровенно заявил ей, что она мой злой гений, что она погубила меня, отняла единственное утешение мое, Розу, и отдала ее другому. На это она мне ответила, что если кто-нибудь из нас и покушался на душу другого, то это я покушался, понемножку, на протяжении восемнадцати с лишним лет!.. Что это значит, мне вам объяснять не-

зачем, это и дурак поймет. А что я ей на это ответил, я вам рассказывать не стану. Скажу только, что обошелся я с ней не по-джентльменски, можно сказать — грубо, очень грубо! Я схватил шапку в охапку и, хлопнув дверью, выбежал как сумасшедший... И дал себе слово не переступать ее порога до конца жизни!.. Ну что скажете? Ведь вы же человек мыслящий? Что по этому поводу говорит ваша психология? Что я должен был сделать — утопиться? Или купить револьвер? Или повеситься на первой осине? Что я не утопился, не застрелился и не повесился, вы, слава богу, сами видите. А что было дальше? Об этом в следующий раз. Ничего с вами не станется, если немного подождете. Я должен идти к моим вдовам. Они ждут меня к обеду.

Вот и все о вдове номер один.

ВДОВА НОМЕР ДВА

Почему я заставил вас так долго ждать? Да уж так мне хотелось. Если что-нибудь рассказывать, то, конечно, тогда, когда самому хочется... А что вы не прочь послушать, это видно: до историй, да еще интересных, — каждый охотник. И правда, чем плохо: я, к примеру, сижу себе после обеда в своей комнате, в своем кресле, с сигарой в зубах, а вы надрыгаетесь, рассказывая... А что рассказчику, может быть, это крови стоит, так вам до этого что? Только бы интересную историю послушать! Я не вас имею в виду, не пугайтесь! Вы только слушайте внимательно. И хотя то, что я расскажу вам сейчас, не имеет никакого отношения к предыдущей истории, мне все же хочется, чтобы вы помнили то, о чем я рассказывал вам в прошлый раз, ибо кое-какая связь между всем этим все-таки есть, и даже не кое-какая, а большая! А если вы что-нибудь забыли, я вам напому. В двух словах повторю вам прежнюю историю.

Был у меня товарищ Пиня. Были у него жена Пая и дочка Роза. Товарищ мой помер, а Пая осталась молодой вдовой, я же был ее близким другом, секретарем, братом. Я томился, изнывал по ней. Но сказать ей об этом у меня не хватало духу. Так проходили лучшие годы. Дочь выросла, Роза расцвела, и я потерял покой, окончательно растерялся. Принес-

ла нелегкая молодого человека, бухгалтера Шапиро, неплохо играющего в шахматы, и Роза в него влюбилась. Все, что накопело на сердце, я выместил на матери, поссорился, хлопнул дверью и поклялся, что ноги моей там не будет до конца моей жизни. Ну, довольны?

Теперь, догадываюсь я, вам очень хочется знать: сдержал я слово или нет? Но ведь вы, кажется, «психолог». Скажите, должен был я сдержать свое слово или нет? Молчите? А почему? Потому что сами не знаете... Вот как это произошло.

Всю ночь я шагал по городу как ошалелый, раза три измерил все улицы вдоль и поперек, вернулся домой на рассвете, пересмотрел все свои бумаги, многие порвал — терпеть не могу старые бумаги, — упаковал свои вещи, написал несколько писем знакомым, — друзей и родственников у меня, слава тебе господи, нет, один как пень... Оставил распоряжения относительно моих домов и магазинов и, проделав все это, сел на кровать, склонил голову и думал, думал, думал, пока не наступило утро. Тогда я честь честью умылся, оделся и пошел к моей вдове. Позвонил, вошел, велел подать кофе, стал ожидать, когда вдова проснется. Вдова вскоре встала. Увидев меня, она остановилась на минуту. Глаза у нее припухли, лицо побледнело. Неужели и она всю ночь не спала?

— Как Роза? — спросил я.

В эту минуту в комнату вошла Роза. Свежа, как божий день, хороша, ласкова, приветлива, как ясное солнышко. Увидав меня, она слегка покраснела, потом подошла, погладила меня ручкой по голове, как гладят ребенка, и, заглянув мне в глаза, рассмеялась. Да как, думаете, рассмеялась? Не так, чтобы вас, упаси господи, обидеть, а так, чтобы вам самому захотелось смеяться, чтобы все, все вокруг, и даже стены, улыбалось. Да, господин мой любезный, этаким силой Роза обладает и по сей день! Я и сейчас за ее смех готов отдать все, что имею. Беда только, что сейчас она уже больше не смеется. Не до смеха ей! Но я не намерен забегать вперед. Люблю, начав что-нибудь, продолжать по порядку.

Итак, по порядку.

Знаете ли вы, что значит выдавать дочь замуж? Нет? Не знаете? Ну, и не приведи господи узнать! Я это на себе испытал. Хоть и чужую дочь выдавал, но испы-

тал. Надолго запомню это. Да и что, скажите на милость, оставалось мне делать, когда моя вдова, Пая то есть, привыкла, чтобы ей все готовенькое домой приносили? А кто в этом виноват, как не я сам? Я приучил их — и мать и дочь, — чуть что в доме потребуется, всегда обращаться ко мне. Хоть свет перевернись вверх дном, все должно быть доставлено, и не позднее чем через два часа! Нужны деньги — ко мне. Доктор — ко мне. Кухарка — ко мне. Учитель танцев — ко мне. Платье, ботинки, портной, мясник, перо, крючок — ко мне, ко мне и ко мне! Думаете, я не укорял их: «Что с вами будет? Ведь вы же тряпкой станете!» Говорю, а они смеются. Им все хи-хи-хи да ха-ха-ха! Всю жизнь так. Есть такие люди на свете. Немного, но есть. И кому должны были попасться такие? Мне! Кому нянчиться с чужими детьми? Мне. Кому терзаться из-за чужих несчастий? Мне. Кому плясать на чужих свадьбах? Мне. Кому плакать на чужих похоронах? Мне. Вы спросите, кто меня принуждает? На это я вам отвечу: а кто велит вам бросаться в огонь — спасать чужое дитя? Кто велит вам морщиться, когда другому больно? Скажете, что вы ни того ни другого не делаете? Стало быть, вы зверь! А я не зверь, я человек. Я не корчу из себя идеалиста, я простой, обыкновенный человек, и старый холостяк к тому же. Хотя ваша «психология» утверждает, что старые холостяки — эгоисты. Впрочем, может, все это и есть своего рода эгоизм? Что? Не любите копаться, философствовать? Я тоже этого не люблю.

Итак, нужно было выдавать замуж дочь моей вдовы, Розу, и корчить из себя свата. Что еще мне оставалось делать? А так как вы меня уже немного знаете, то вам нетрудно понять, как это мне было по душе! От одного слова «сват» меня тошнит! Зовите меня «человеком», зовите «лакеем», зовите «шутком гороховым», «приказчиком», лишь бы не «сватом»! А вот она, вдова то есть, ужасно рада новому званию: «сватья». Скажешь ей «сватья» — она прямо-таки тает. «Скоро тещей будете!» — говорю ей. А она улыбается: «Дожить бы уж!» Хороша теща! Посмотрели бы вы на нее в день венчания дочери! Загляденье! Красавица! Не скажешь, что это мать и дочь! Сестры! Залюбовался я на нее, когда дети стояли под венцом. Я думал про себя: «Эх, глупец ты! Пень одинокий! Сейчас для тебя самый подходящий момент... Стоит тебе одно слово сказать,

один взгляд бросить — и конец твоему одиночеству... Строишь дом свой... Возделываешь виноградник... Вступаешь в собственный рай... Живешь спокойной жизнью, среди своих близких и любимых... Забудь, забудь о Розе!.. Роза не для тебя... Она тебе в дочери годится... Не обманывай себя... На мать гляди! Скажи ей одно лишь слово, дикарь этакий!.. К ней обратись, ни к кому больше! Чего ты за душу тянешь? Не замечаешь, какими глазами смотрит она на тебя?..»

Размышляя так, я встречаюсь с ее взглядом: я чувствую, что сердце у меня разрывается от жалости к ней... Слышите? От жалости!.. Уже ничего больше, кроме жалости... Раньше, помню, мной владело совсем иное чувство... А теперь — только жалость... А раз жалость, то, может быть, и меня жалко? И может быть, больше, чем ее? Кто же виноват? Почему она до сих пор молчала? Почему молчит сейчас? Почему же мне надо сказать ей это слово, а не ей — мне?.. Стыдно, скажете вы? Так уж на свете заведено? Начхать мне на ваш свет! Не вижу разницы: «он» ли раньше скажет, «она» ли... Люди — это люди! Раз она молчит, то и я молчу! Вы это назовете упрямством? Амбицией? Дурью? Называйте как угодно! Я вам уже говорил, что мне это безразлично... Я только изливаю перед вами душу и хочу вместе с вами проанализировать, разобраться, в чем тут загвоздка. Может быть, в том, что мы с Паей никогда и двух минут наедине не оставались? Возле нас всегда было существо, поглощавшее все наше время, все наши мысли и чувства: наши горести и радости все принадлежали кому-то другому, не нам. Для нас самих ни одной свободной минуты! Черт побери! Оба мы как бы созданы для того, чтобы заботиться о других! Раньше был Пиня. Потом господь помог — родилась Розочка, теперь бог послал новую радость: зятек на иждивении! Зятек, однако, был на редкость удачный. Такого зятя мог бы себе пожелать каждый. Вы отлично знаете, я не из тех, что сразу приходят в восторг, и не имею привычки превозносить кого бы то ни было. Пустых слов, дифирамбов, притворных комплиментов я не расточаю. Скажу вам только, что слово «ангел» в данном случае прозвучало бы оскорблением. Понятно? Если существует небо, и если ангелы витают в нем, и если те ангелы не хуже вот этого Шапира, тогда, уверяю вас, стоит умереть и быть лучше с ними, чем с двуногими животными, снующими под божьими

небесами и оскверняющими землю. Вы скажете — я мизантроп, человеконенавистник. Если бы люди причинили вам то, что они причинили нам, если бы они поступили с вами так же, как с нами, вы стали бы не только мизантропом, но и злодеем. С ножом в руках кидались бы на людей, резали бы их, как овец! Кстати: что это у вас за манера заставлять человека говорить часами, даже не спросив, не хочет ли он стакан воды? Велите подать чаю!

Итак, на чем же мы остановились? На нашей радости, на нашем зяте Шапиро.

Кажется, я вам уже говорил, что он был главным управляющим на винокуренном заводе, и не только управляющим, но и полным хозяином всего предприятия. Все было в его руках. Владельцы питали к нему безграничное доверие, и любили они его, как родного сына. На свадьбе хозяева — два компаньона (воры, каких мало, — да простят они мне, — оба они уже по ту сторону, в Америке) — держали себя как близкие родственники. Они преподнесли жениху ящик с разными серебряными вещичками и вообще были щедры и любезны, как истые филантропы. А я, знаете, не люблю филантропов, да еще хозяев-филантропов, когда они заявляются на торжество и демонстрируют свою филантропию, чтобы все видели и знали, что вот они — хозяева-филантропы, умеющие ценить «человека»!.. А что, если благодаря именно этому человеку они разбогатели? А что, если, не будь этого человека, они, быть может, не стали бы ни хозяевами, ни филантропами?.. Зря улыбаетесь! Я, уважаемый, социалистом не прикидываюсь. Но хозяина-филантропа ненавижу. Что мне за это полагается? А впрочем, сейчас услышите, на что способен хозяин-филантроп. Казалось бы, владеешь, с божьей помощью, предприятием, которое приносит добрых несколько тысяч годового дохода, и в твоём распоряжении человек, на которого можно положиться, ну и спи себе спокойно дома или поезжай за границу и живи в свое удовольствие. Но им этого мало! Они любят делать дела, греметь, трещать — чтобы все видели! Чтобы все слышали!.. Короче говоря, преуспевающие хозяева не довольствовались тем, что владели таким доходным предприятием, которым успешно руководил Шапиро. Затевая новые дела, они чем дальше, тем больше влезали в «торги», в «откуп», в куплю и продажу пшеницы, отрубей и, наконец,

домов... В общем, дела вихрем закружились, завертелись... Почва из-под ног ускользнула и... все пошло прахом. Втянув в свои аферы нашего Шапиро, они опутали его векселями, а сами успели захватить всю наличность и укатили в Америку. Похоже, что у них там, как американцы говорят, все «ол райт», а его, Шапиро то есть, оставили по уши в долгах, связали по рукам и ногам обязательствами и расписками. Словом, разразился большой скандал, дошло до того, что никто и смотреть не захотел, «человек» он или хозяин,— пусть, мол, платит по векселям, а так как платить ему нечем, то он банкрот! Но он не может доказать, что банкротство вызвано несчастным случаем. А такой человек считается у нас, как вам известно, а может быть, и неизвестно, «злостным банкротом», то есть он негодяй, а банкрота-негодяя сажают в тюрьму, таких у нас не любят. Можете десять раз обанкротиться, десять раз повторить то же самое, но если все это проделано ловко и гладко, как полагается, то вы всему свету покажете, извините за выражение, кукиш да еще купите себе дом со всеми онерами. Вы снова порядочный человек: выгодно выдаете замуж или жените своих детей, с вашим мнением считаются в городе, вы командуете, распоряжаетесь, метите в великие мира сего, в воротилы, которые всех за нос водят... Вам начинает казаться, что вы и в самом деле бог весть кто, пыжитесь, как индюк, людей не узнаете и убеждаете себя в том, что вам сам черт не брат! Извините, вы понимаете, что я не вас имею в виду... Словом, к чему все эти разговоры? Шапиро не смог вытерпеть позора, да и душа у него болела за обездоленных вдов и сирот (его хозяева никого не щадили, брали, где только можно было), и он отравился!..

Думаю, что вам неинтересно, как и чем он отравился. И какое письмо он оставил мне. И что он мне говорил. И как прощался с Розой. И с матерью и со мной. Все это сантименты, которыми пользуются романисты, чтобы выжать из глупого читателя слезу. Скажу вам в нескольких словах: не себя этот человек отравил,— он отравил всех нас! Горе наше было беспредельно, боль так глубока, что у всех у нас даже слезы высохли. Мы застыли, окаменели, замерли, мы были бы счастливейшими из счастливых, если бы явился кто-нибудь и отрубил всем нам головы!.. Можете говорить

что угодно, но я ненавижу всех тех, которые выражают соболезнование. Их притворно печальные физиономии, на каждой из которых написано: «Слава богу, что не я...», их бездушные слова, лишенные всякого смысла, фальшивые восхваления, невнятное бормотанье себе под нос вместо обычного прощания при уходе... Чего уж больше? Даже Книга Иова *, в которую, как это принято в таких случаях, каждый невежда заглядывает, хоть ни черта в ней не смыслит,— и та мне противна! Кошунство, скажете? Это, по-вашему, кошунство? Ну, а подставить ножку ни в чем не повинному человеку, принуждать его подписывать векселя, а самому с деньгами удрать в Америку, оставить «доверенного» человека в безвыходном положении и тем самым толкнуть его на самоубийство, бросить на произвол судьбы три невинные души, загубить их,— это вы как назовете? Какое вы этому имя придумаете? Это ли не кошунство? И сам господь бог, скажете вы, здесь тоже ни при чем? Ибо как можно роптать на бога? А вы посмотрите, что по этому поводу говорит тот самый святой Иов, в книгу которого люди заглядывают, но ни слова не понимают. Молчите? Я тоже молчу, потому что разговаривать можно до хрипоты,— все равно никто не ответит! Будете жевать и пережевывать все те же приевшиеся слова: «Господь дал, господь и взял», да при том и останетесь... Что вы говорите? Философствовать — значит жевать солому? Я то же самое говорю.

Итак, возвращаюсь к вдове... Впрочем, что я говорю — к вдове? К двум моим вдовам! Роза тоже вдова! Ха-ха-ха! Это очень грустно, это оскорбительно, это противоречит всем законам природы... Что же остается, как не смеяться горьким смехом! Роза — вдова! Посмотрели бы вы на нее: Роза — вдова! Но вдова — это еще не все! Роза — мать! У Розы — ребенок! Через три месяца после смерти Шапиро послышался голосок новорожденной девочки. Им заполнился весь дом. Назвали ее Фейгеле — и властительницей всего дома стала одна только Фейгеле, все делалось ради одной только Фейгеле, и где бы вы ни стояли, и где бы вы ни сидели, и что бы вы ни делали, всюду вы слышали только Фейгеле, Фейгеле, Фейгеле. Будь я верующим, верь я в провидение, как вы это называете, я бы сказал, что господь бог вознаградил нас за все наши страдания и ниспослал нам утешение. Но вы

знаете, что я не шибко верующий, да и на ваш счет крепко сомневаюсь... Что? Хотите убедить меня, что вы веруете? На здоровье! Никаких претензий к вам не имею, лишь бы вы сами были убеждены в том, что вы не ханжа и не лицемер. Терпеть не могу ханжей и лицемеров, как правоверный еврей — свинину! Будьте набожны, как десять тысяч чертей, но только по-честному! Но если вы лицемер, ханжа, прикидывающийся фанатиком, то вы мне нужны, как пятое колесо телеге! Такой уж я человек!

Итак, кто же у нас на очереди? Фейгеле! С первой минуты, как только Фейгеле появилась на свет, все словно ожило, все и вся улыбалось и радовалось. Лица засияли, глаза засветились и заблестели. Мы все как бы заново родились вместе с этим ребенком. Роза, на лице у которой столько времени не появлялось улыбки, и та снова начала смеяться своим прежним заразительным смехом, заставляющим вас смеяться даже тогда, когда плакать хочется.

Вот что с нами сделала крошечная Фейгеле, когда она раскрыла свои, как нам показалось, понимающие глазки и стала разглядывать нас троих. А уж когда на губках Фейгеле впервые показалась улыбка, обе вдовы чуть не ошалели от восторга.

Они встретили меня так шумно, что я даже испугался.

— Господи! Где вы были одной минутой раньше? — налетели на меня обе вдовы.

— А что такое? Что случилось? — встревожился я и услышал в ответ:

— Помилуйте! Только что, полторы минуты тому назад, Фейгеле улыбнулась в первый раз!

— И это все? — говорю я довольно холодно, а сердце мое радуется не столько, конечно, тому, что Фейгеле улыбнулась, сколько тому, что обе мои вдовы так счастливы. Теперь можете себе представить, что творилось, когда прорезался первый зубок! Это обнаружила, естественно, младшая вдова — мать! Она подозвала старшую вдову, Паю то есть, и обе стали проверять зубик у девочки, осторожно приложив к нему стакан. А когда слышали, что зубок звякает о стекло, они подняли такой шум, что я прибежал из соседней комнаты ни жив ни мертв.

— Что такое?

— Зубок!

— Вам показалось! — сказал я нарочно, чтобы их немного подразнить. Тогда обе вдовы взяли мой палец и заставили меня нащупать в горячем ротике Фейгеле какой-то острый кончик, нечто вроде зуба.

— Ну? — спрашивают обе и ждут моего подтверждения.

Но я притворяюсь непонятливым. Люблю их подразнить. Переспрашиваю:

— Что «ну»?

— Зубок? Не правда ли?

— Зубок. Чему же еще быть?

И вы, конечно, понимаете, что раз зубок, то, значит, Фейгеле умница, равной которой во всем свете не сыщешь! А раз Фейгеле такая умница, то надо ее целовать до тех пор, пока ребенок не расплатится. Тогда я вырываю ее у них из рук и успокаиваю, потому что ни у кого ребенок так быстро не успокаивается, как у меня, и можно сказать, что ничьих волос Фейгеле не любит так, как мои, и ничьего носа она с таким удовольствием не теребит своими крошечными пальчиками, как мой нос. А ощущать на своем лице эти крошечные пальчики — просто наслаждение! Хочется тысячу раз целовать каждый суставчик этих маленьких бархатных пальчиков! Вы смотрите на меня и думаете: «Бабыя душа у этого человека! Иначе он не любил бы так детей...» Угадал, не правда ли? Видите ли, я не знаю, какая у меня душа, но что я люблю маленьких детей — это факт! А кого же и любить, если не маленьких? Взрослых, что ли? Эти гадкие морды, упитанные, с брюшками, вся жизнь которых — вкусный обед, хорошая сигара и преферанс? Или тех прикажете любить, которые кормятся за счет общества, а сами кричат, шумят, трезвонят на весь мир, что единственная их цель — общественное благо?.. Или вы хотели бы, чтобы я любил молодых цуциков, которые хотят переделать мир, называют меня «буржуем» и хотят меня заставить продать дома и поделиться с ними во имя какой-то экспроприации? Или, может, прикажете любить откормленных дам, единственный идеал которых жрать, наряжаться в шелка и брильянты, таскаться по театрам и нравиться чужим мужчинам? Или — стриженных старых дев, которых когда-то называли «нигилистками» *, а сейчас зовут «эсеровками» *, «кадетками» * и тому подобными замечательными именами? Вы говорите, что я старый холостяк, брюзга и

мизантроп и что именно поэтому мне никто не нравится? Ну хотя бы и так, кому от этого легче? Итак, на чем же я остановился? На ребенке, на Фейгеле, на том, как мы ее любили. Всю свою жизнь мы отдавали ребенку, — все трое, — потому что ребенок этот скрашивал наше существование, давал нам силы и энергию переносить тяготы глупой и грубой жизни. А для меня лично ребенок этот был источником тайных надежд. Вы легко поймете — каких, если вспомните, чем была для меня Роза. Ребенок рос, и с каждым днем в моем сердце расцветала надежда, что кончится наконец мое одиночество и мне когда-нибудь придется вкушать сладость жизни... И не один я носился с этой мечтой — ту же надежду питала в сердце своем и Пая. И хотя мы никогда об этом не говорили, всем было ясно как божий день, что так обязательно будет... Вы, пожалуй, спросите: как могут люди понимать друг друга без слов? Но это значит, что вы знаете психологию, но не знаете людей... Вот я для примера нарисую вам картину, и вы увидите, как люди понимают друг друга с полуслова.

Летняя ночь. Небо исчерчено молочно-белыми полосами. Хотел было сказать: звезды горят, сверкают, мерцают... Но вспомнил, что так в какой-то книжке написано, а я не желаю пережевывать чужие слова. Я говорил вам, что терпеть не могу описаний природы, которые так же похожи на природу, как я на турецкого пашу. Словом, была летняя ночь, одна из тех удивительных, теплых, прекрасных ночей, когда сердце даже самого черствого в мире человека преисполняется поэзией и его тянет куда-то в неведомую даль. Он погружается в священный покой, глядит в опрокинутую синюю чашу, именуемую небом, и чувствует, что небо и земля о чем-то шепчутся, ведут тихую беседу о вечности, о бесконечности, о том, что люди называют божеством...

Ну? Как вам нравится мое описание природы? Не нравится? Ну и не надо! Погодите, это еще не все. Я забыл вам рассказать о жуках — странных, тяжелых, коричневых жуках, которые носятся в темноте, жужжат, гудят, то шлепаясь о стены, об окна, то падая на землю с полураспластанными крыльями. Не огорчайтесь, пожалуйста, они немного поползают по земле, затем поднимутся, расправят крылья и снова начнут кружить на свету, гудеть, жужжать, снова шлепаться об

окна и снова падать на землю... Мы сидим на крылечке, выходящем в сад, все четверо: я, Пая, Роза и Фейгеле. Фейгеле уже большая, осенью ей исполнится четыре года, а разговаривает она как взрослая. И все время задает вопросы. Тысячи вопросов! Почему небо — небо, а земля — земля? Когда бывает день и когда ночь? Почему ночью — ночь, а днем — день? Почему мама называет бабушку «мамой», а бабуся маму называет не «мама», а Роза? Почему я ей дядя, а не папа? Почему дядя смотрит на бабуся, а бабуся на маму и почему мама так покраснела?.. Это, конечно, вызывает общий смех. Фейгеле спрашивает, почему мы смеемся, а мы еще громче заливаемся, и кончается все это тем, что мы трое переглядываемся, отлично понимая, что означает наш взгляд. Слов не надо. Слова ни к чему. Слова созданы только для болтунов, для женщин и адвокатов. Или, как выразился однажды Бисмарк, слова нам даны для того, чтобы скрывать наши мысли. Ведь вот звери, птицы и прочие создания обходятся без слов! Растет дерево, распускаются почки, пробивается травка, — какой у них язык? Глаза, господин мой любезный, глаза человеческие — великое дело! То, что глаза скажут вам иной раз в одно мгновение, языку и за день не передать. Взгляды, которыми мы с обеими вдовами обменялись в ту ночь, выражали многое, многое. Незабываемые взгляды — поэма нашей жизни, если хотите — песнь, печальная песнь о трех потерянных жизнях, о трех искалеченных душах, которым будничная жизнь, суতোлка помешала пить из источника, именуемого счастьем, вкусить от родника, называемого любовью... Слово «любовь» вырвалось у меня нечаянно. Поверьте, меня так и воротит от него. Почему? Потому, что ваши писатели чересчур часто пользуются этим священным словом, оно становится у них слишком будничным. Слово «любовь» в устах ваших писателей — кошунство. Слово «любовь» должно звучать как молитва всевышнему или как мелодия без слов, песнь чистой поэзии, хотя и без таких рифм, как «бежать — покупать», «хапать — лапать», «гнаться — драться» и тому подобных, при чтении которых мне кажется, что я глотаю горох и закусываю бумагой... Примеры мои, может быть, вам и не нравятся, но потерпите немножко. Сейчас я закончу историю о вдове номер два, потому что терпеть не могу, когда зевают... Скажите, не случилось ли с вами такого: нестерпимо болит зуб, его

во что бы то ни стало надо удалить, а вы откладываете со дня на день визит к врачу? Наконец вы набрались духу и отправились. Приходите и читаете на дверях табличку: «Зубной врач такой-то принимает от 8 до 1 и от 1 до 8»... Смотрите на часы и думаете про себя: «От восьми до часу и от часу до восьми? Куда же мне торопиться?»

Возвращаетесь домой и опять мечетесь от боли... То же самое было со мной и с Розой. Каждый день я утром выходил из дому с твердым намерением — сегодня же объясниться без всяких отговорок! Сначала переговорю с вдовой номер один, с матерью то есть, так, мол, и так... Она чуть покраснеет, опустит глаза и скажет: «Я не возражаю, переговорите с Розой...» Тогда я пойду от вдовы номер один к вдове номер два и скажу ей: «Послушай, Роза, так, мол, и так...» И вот прихожу к моим вдовам, а навстречу мне выбегает Фейгеле, бросается ко мне на руки, обнимает за шею, целует в очки и просит, чтобы сегодня, непременно сегодня, я сказал мамочке и бабусе, — меня они слушаются, — чтобы ей разрешили не учиться, не играть, не танцевать, а пойти с дядей в зоологический парк! Привезли туда, говорит она, таких обезьян, таких обезьян, что можно со смеху лопнуть!.. Ну вот, попробуйте откажитесь пойти с ребенком в зоологический парк смотреть смешных обезьян.

«Что станется с этим ребенком?» — ворчит вдова номер один. «Окончательно испортит ребенка», — подтверждает вдова номер два.

А дядя не обращает внимания на упреки и недовольство обеих вдов: он отправляется с ребенком в парк знакомиться с уморительными обезьянами... И так вот каждый раз какая-нибудь другая причина. День проходит за днем, неделя за неделей, год за годом, ребенок растет, начинает понимать такие вещи, о которых говорить не полагается, и мы втроем приходим к молчаливому соглашению, что надо выждать, ребенок вырастет, а там видно будет. Когда Фейгеле станет взрослой, найдет себе жениха, тогда, мол, у нас развяжутся руки, и мы перестроим нашу жизнь, заново возведем наш дом. И каждый про себя строит планы, как мы будем жить все вместе: молодая чета — Фейгеле со своим суженым, старая чета — я и Роза, а вдова-бабушка (Пая) будет властвовать над всеми нами. То-то будет жизнь! Одна беда: как бы дожить до того

времени, как дожидаться, покуда Фейгеле вырастет, станет взрослой и найдет себе жениха? Но кто живет, тот доживает! Так, кажется, гласит поговорка? Не люблю я шаблонных поговорок! А вы разве любите? Ну и прекрасно. На здоровье! Итак: кто живет, тот доживает! Фейгеле выросла. Стала взрослой и нашла себе жениха,— но вот тут-то и вся загвоздка! Тут-то и начинается «психология», как вы это называете.

Зря вы на часы поглядываете. Я все равно сегодня больше рассказывать не буду. Мне пора: мои вдовы невесть что подумают. А захотите послушать историю вдовы номер три,— ничего с вами не случится, если вы пожалуете ко мне. За полы я вас тащить не стану! Сами придете... До свиданья!

Вот и все о вдове номер два.

ВДОВА НОМЕР ТРИ

Хорошо, что вы пришли как раз в такое время, когда я дома. То есть дома-то я всегда, но для себя, а не для других. У каждого человека свои привычки. Я, например, привык, чтобы против меня, когда я ем, сидела кошка. Без кошки я и есть не стану. Кис-кис-кис! Как вам нравится моя кошка? Умница! Сама ничего не возьмет, хоть золото кладите! А шерстка! Как вам нравится ее шерстка? Как вам нравится ее шерстка? Что? Вы не любите кошек? Это вам еще в хедере внушили... Знаем мы эти истории! Не оправдывайтесь. Чай пьете с молоком? Или так? Я пью с молоком... Брысь... Ко всем чертям! Ничего так не любит, как молоко! Масло не тронет, а молоко непременно лизнет.

Вы знаете, я не люблю предисловий, но на сей раз без него не обойдется... Терпеть не могу, когда улыбаются. Смейтесь сколько угодно, только, прошу вас, не улыбайтесь. Вы помните все, что я вам рассказывал? Может, забыли, скажите, не стесняйтесь. Люди покрупнее нас с вами и то, случается, забывают. Боюсь, что придется вкратце повторить все сначала.

У меня был товарищ Пиня, у него была жена Пая, была у них дочь Роза. Товарищ мой умер. Пая осталась

вдовой. А я был ей близким другом. Она была мне по сердцу, да и я ей. Но мы об этом не говорили. Так прошли лучшие годы. Тем временем Роза, дочь ее, выросла, и я полюбил ее. Подвернулся молодой человек — Шапиро, хороший бухгалтер и прекрасный шахматист, и Роза в него влюбилась. Тогда я поссорился с ее матерью и ушел с намерением больше туда не являться до конца жизни. Слова своего я не сдержал и тут же, на следующий день, явился снова и по-прежнему оставался близким человеком; справили свадьбу Розы с этим Шапиро, который был полновластным хозяином в делах своих принципалов и даже подписывал за них векселя. Но они разорились и удрали в Америку, а его оставили в долгах. Шапиро покончил с собой, и Роза осталась вдовой. Итак, вот вам две вдовы. И точно так же, как ее мать Пая — вдова номер один, дочь Роза — вдова номер два — осталась с маленьким ребенком Фейгеле, которая родилась через три месяца после смерти Шапиро. И все мы крепко любили эту девочку, целиком посвятили себя ей, и нам было некогда думать о себе и о моем романе с вдовой номер два, с Розой, о романе, который тянулся долго-долго; пусть, мол, Фейгеле подрастет, станет взрослой, а там видно будет. А когда Фейгеле подросла и стала взрослой... Очень прошу вас, когда я что-нибудь рассказываю, не заглядывать в книгу — противная манера! Прошу вас, внимательно слушайте, что вам рассказывают, потому что тут начинается новая история.

Думайте обо мне что угодно, но ни фанатиком, ни упрямым я никогда не был. Я всегда шел в ногу с эпохой. Никогда не отставал, не тянул назад, как те, что сетуют на молодое поколение с его новыми стремлениями.

Терпеть не могу этих старых умников с их вечными претензиями: как же это яйца курицу учат? Кто старше — яйцо или курица?.. Глупцы! Именно потому, что яйцо моложе, оно и ценнее! Оно способнее! Умнее! И конечно же, мы, старое поколение, должны хорошенько прислушиваться к тому, что говорят нам молодые, потому что они молоды, свежи, они учатся, исследуют, ищут, находят, открывают. А как же? Так, как вы, что ли, плесенью и мохом поросшие мудрецы, которые сидят над своими древними фолиантами и с места двинуться не желают? Сержусь я, правда, на

молодых, на нынешних за то, что они нас уже и вовсе не признают, ни во что не ставят, говорят не только, что мы ослы,— мы даже не ослы, а попросту ничто. Мы не существуем! Нас нет! Нету — и дело с концом!.. Представьте себе, приходят к нам, то есть к моим вдовам или, вернее, к нашей Фейгеле, трое молодых цуциков. Студенты они или не студенты — черт их знает! Носят черные рубашки, волос не стригут, кто они такие — не говорят, языки у них острые, а Карл Маркс — у них бог, не Моисей-пророк, а сам бог! Ну что же — бог так бог! Рук я на себя из-за этого не наложу. Тем более что и сам я не чужд социалистических идеалов, я и сам знаю, что такое капитал, что такое пролетариат, экономическая борьба и тому подобные вещи... А если хотите, то и сам я... Не радуйтесь, не бундовец *, упаси бог, но и не хромоногий сапожник!

Итак, приходят они к нам каждый день, эти три парня, о которых я рассказываю. Одного зовут Финкель, второго — Бомштейн, а третьего — Грузевич. А ходят они к нам, как к себе домой, потому что обе мои вдовы, и мать и дочь, когда к ним кто-нибудь приходит, не знают, куда усадить гостя, готовы душу ему отдать! А тем более такие три сокровища, из которых один несомненно кандидат в женихи для Фейгеле. То есть кандидаты они все трое, но не может же Фейгеле иметь трех женихов, должен же быть кто-нибудь один. Вот и угадай, кто же этот единственный, когда о нем даже заикнуться нельзя, упаси бог! Спрашивать они тоже никого не спрашивают. Да и кого спрашивать? Мать? Но что им мать? Молодая женщина с красивым лицом, да и только. Бабушка? А что для них бабушка? Бабушка для них — это хозяйка, ее обязанность следить за тем, чтобы гостям было что поесть и попить, и не только поесть и попить, но и наесться и напиться... Ну, а обо мне и говорить не приходится. Что я для них? Лишний стул за столом, и больше ничего. Хоть бы словом со мной когда-нибудь перекинулись! Разве что за столом солонку, сахарницу или спички попросят — и то без слов, без «пожалуйста»; махнут рукой, как глухонемому, или надуют губы, когда вы папиросу закурите, — и все! Иной раз застанут меня одного. Тогда они усаживаются втроем и начинают беседовать. Хоть бы слово мне сказали из вежливости, что ли! Ничего! Как будто нет меня! Ну,

а я, вы сами понимаете, и подавно первый не начну с ними разговора, а я к ним подлаживаться не стану и угождать им, как иные, льстивыми словечками да сладкими улыбочками не буду. Не родился еще на свет божий человек, перед которым я бы унижался, и не потому, что я гордец... А если, скажем, и гордец... Называйте как хотите — меня ваше мнение не интересует. Однако я не люблю, когда говорят о себе. Я рассказываю вам об этих троих шелкоперах, что это за звери такие. Однажды я как-то спросил, кто из них играет в шахматы, — надо было вам видеть их лица! Послушали бы вы, как они расхохотались! Казалось бы, что тут такого? Можно быть социалистом и играть в шахматы. Карл Маркс, я думаю, не обиделся бы! А вот поговорите с ними... Впрочем, дело не в них... Меня возмущает она, наша Фейгеле: она смеется с ними заодно! Почему все, что они говорят, для нее «святая святых», будто сам господь изрек это на горе Синайской? * И что это за кумиров нынешняя молодежь себе создала, что за фанатизм такой? Карл Маркс — учитель, а мы — его верные последователи. А кроме Маркса, никого больше на свете нет? А где же Кант? Где Спиноза? Куда девался Шопенгауэр? Где Шекспир, Гейне, Шиллер, Спенсер и еще сотни великих людей, которые тоже, быть может, ненароком умным словом обмолвились? Пусть не столь мудрым, как Карл Маркс, но ведь и глупостей особенных они не болтали. Я, надо вам сказать, не из тех, что позволяют наступать себе на мозоли, я не люблю, когда задирают нос, и поэтому мне иногда нравится делать наперекор. Ты так, а я этак! Ты говоришь одно, а я — другое, и делай со мной что хочешь! Услыхал я однажды их разговор о том, что граф Толстой — ничтожество. Я не принадлежу к горячим приверженцам Толстого, я не поклонник его философии и нового учения о Христе. Но как художник Толстой для меня не ниже Шекспира. Если вы со мной не согласны — пожалуйста! Вы ведь меня знаете... Вот я нарочно приношу книгу Толстого и даю ее Фейгеле почитать. Посмотрели бы вы, с какой гримасой она оттолкнула книгу! В чем дело? Ни Финкель, ни Бомштейн, ни Грузевич Толстого не признают.

Тут уж я не стерпел (я, когда надо, могу и созорничать) и ополчился... на всех троих!..

Ну-ну! Как они вспыхнули! Задень самого святого

из святых, его приверженцы спокойней отнеслись бы к этому!

Вмешались в спор обе вдовы — иначе дошло бы до крупного скандала! Потом, однако, я понял, что сглупил, потому что в конечном счете мне же пришлось перед ними извиняться. А знаете — почему? Потому что этого хотела Фейгеле! А когда Фейгеле захочет чего-либо, то ее желание во что бы то ни стало будет исполнено. Вот скажет она сегодня, к примеру, чтобы я этот дом на другое место перенес, значит, никаких разговоров быть не может!

Эта девушка меня не только зачаровала — она меня поработила, подавила мою волю, превратила в раба, в автомат. И не только меня, но всех нас она ошеломила своим замужеством... Избранником ее оказался Грузевич, химик третьего курса, паренек неплохой, то есть звезд с неба не хватал, но ничего! Бывает и хуже! Во-первых, он был из порядочной семьи. Это весьма существенно. Говорите что хотите, но это само по себе не лишено смысла. Успокойтесь, я не о знатности говорю. Я указываю только на то, что происхождение тоже кое-что да значит. Если вы происхождения сомнительного, скажем — из невежественной семьи, то будь вы образованны, как сам творец мироздания, все равно останетесь грубияном. Об остальных достоинствах Грузевича я не говорю. А вообще эти ребята, надо правду сказать, покуда держатся своего — и честны по-настоящему, и порядочны, и благородны. Но как только выбьются в люди и становятся «бывшими», их не узнаешь, они, эти самые «бывшие», в тысячу раз хуже простого смертного! Потому что простой смертный, если вас одурачит, постарается скрыться, а «бывший», если обжулит вас, то приведет тысячу доказательств, что жулик вы, а не он...

Однако не будем терять времени на пустую философию! Наша Фейгеле стала госпожой Грузевич в семнадцать лет, и я не стану забивать вам голову подробностями о том, какая это была свадьба, кто эту свадьбу справлял, кому это стоило денег и какая была радость в нашем доме. Мать, Роза, дождалась — повела к венцу свою единственную дочь, бабушка Пая была счастлива — внучку замуж выдала! А я, дурак... Я-то чему так радовался? Младшенькую замуж выдал?.. Впрочем, радость продолжалась всего-то от субботы до воскресенья. На третий день после венча-

нья нашего Грузевича кое-куда пригласили по пустяковому делу: где-то был обнаружен склад бомб и динамита, а так как парень был химиком, да еще выдающимся к тому же, то подозрение пало на него. Кстати, нашли несколько его писем... Словом, забрали и увели...

Вот тут-то и началась для меня работа — беготня, хлопоты, взятки... И все напрасно! Уж раз попался, да еще по такому делу, прости-прощай! А видеть горе семнадцатилетней Фейгеле! А страдания матери Розы! А бабушки Паи! Гнев божий обрушился на этот дом! К тому же, надо вам знать, и дела пошли неважно, в кармане начало таять, я стал комбинировать, дома свои заложил. Но деньги ушли, пришлось магазины продать... Я вам не о ловкости своей говорю и не хвастаю перед вами. Я только хочу дать вам характеристику моих вдов: хоть бы поинтересовались, на какие средства живут, откуда деньги берутся, как будут жить дальше? Ничуть — это их не касается! Я должен заботиться обо всем! Я должен обо всем думать. Напрягать все свои силы! Кто мне велит? А я знаю? Наконец, что бы вы стали делать на моем месте с людьми, о которых не знаешь, кто из них лучше? Ни обижаться, ни сердиться, ни досадовать на них невозможно. А если и закрадется в сердце недоброе чувство и вы уйдете домой насупившись, то стоит вам прийти снова и встретиться с ними взглядом, услышать от них первое слово, как все это испарится, и вы мгновенно забудете, что еще совсем недавно были настроены против них. И опять вы готовы ринуться ради них в огонь и воду. Вот такие это создания! Ну, что поделаешь? А уж о Фейгеле и говорить не приходится. Она точно магнитом притягивает. Достаточно ей взглянуть на вас своими прекрасными, глубокими близорукими глазами, чтобы черт побрал вашу душу!.. Вы меня простите, я говорю не вам, а самому себе, потому что она меня окончательно с ума свела своей свадьбой с этим Грузевичем. Мишей звали его. И весь дом заполнил он собой. Только о нем и слышишь, только о нем и говорят, только о нем и заботятся. Никто не должен есть, никто не должен спать, никто не должен жить. Что такое? Миша! Забрали Мишу! Посадили Мишу! Будут судить Мишу! Надо спасать Мишу! Но не тут-то было. Как его спасать? К нему никого не допускают. Ни меня, ни ее — никого! Я понял, что дело пахнет «матерью

сырой землей», что в лучшем случае ему грозит вечная каторга, если не повешение!.. Вам, вижу, тут не сидится, пересядьте вот сюда, к окну. А может быть, я вам немного наскучил? Невелика беда. Я больше вашего терплю. Вам-то что? Вы — выслушаете мою историю (я сейчас кончаю) и пойдете домой, а для меня — это тяжелое бремя на всю жизнь.

На чем бишь мы остановились? На приговоре: присудили к повешению. Вы, наверно, не раз читали в газетах, что вот сегодня там-то и там-то повесили двоих, а вчера там-то и там-то — троих. Нынче что вешать людей, что резать кур — одно и то же. А вы в это время что делаете? Покачиваетесь в кресле и курите ароматную гаванскую сигару либо пьете в это время чашку вкусного кофе со свежими булочками с маслом. А то, что там висит человек, то, что в последних судорогах, в предсмертной агонии дергается знакомый, близкий вам, родной человек, который еще совсем недавно был полон жизни, полон сил, как вы сейчас? А то, что там лежит еще не остывшее тело человека, которого палачи лишили жизни? А то, что там мучается человек, который хотел бы поскорее умереть, а смерть нейдет, потому что палач плохо затянул веревку или она, не выдержав тяжести тела, оборвалась, и человек упал ни жив ни мертв и взглядом угасающих глаз молит поскорее покончить с ним?.. Что? Не любите, когда об этом говорят? Вы избалованы. Я так же избалован, как и вы. И представьте себе, что я побывал, где только можно было, точно знал минуту и секунду его казни, читал потом в газетах о том, как один из троих (повесили всех троих) долго боролся со смертью, потому что он был грузный (это Бомштейн), и его пришлось вешать дважды... Так писали потом в газетах, а мы это читали, то есть не все, — читали об этом только я и Роза: от бабушки и внучки мы эти газеты прятали...

В доме нашем прибавилась еще одна молодая вдова: вдова номер три!.. И на дом опустилась тоска, тихая, мертвая, такая тоска, для выражения которой нет ни красок, ни слов. Такая тоска, которую описать нельзя, потому что описывать — значит осквернять ее. Тоска, которая в изображении кого-либо из ваших писателей прозвучала бы кощунством. Тоска, о которой невозможно, нельзя говорить. Все в прошлом, в воспоминаниях. Три вдовы — три жизни. Не полноценные жизни, а

полужизни, и даже не полужизни, а клочья, обрывки. Каждая из них начиналась так хорошо, так поэтично, сверкнула на мгновение и — погасла!.. О себе я не говорю. Меня нет. То есть я хожу туда каждый день, просиживаю с ними ночи напролет, мы говорим о промелькнувших счастливых днях, вспоминаем разные разности: о моем дорогом друге Пине, о честном и таком благородном Шапиро, о герое Мише Грузевиче, о котором газеты потом писали, что в своей области, в химии, он был гений... Я ухожу от них каждый раз с наболевшим сердцем и сам себя спрашиваю с досадой: почему я так глупо проиграл свою жизнь? Где и когда совершил я первую свою ошибку и когда наконец свершится последняя? Люблю я их всех троих, и дороги они мне все трое, и каждая из них могла быть моей. Может, еще и сейчас... И каждой из троих я и мил — и ненужен, и необходим — и навязан. Стоит мне один день не прийти, как разразится скандал, а засижусь лишних полчаса, меня бесцеремонно выпроваживают, попросту предлагают убираться. Ничего не делают, не спросив меня, но если я в чем-нибудь упрекну, скажут, что я во все вмешиваюсь... Я вспыхиваю, убегаю домой, запираюсь у себя со своей кошкой, прислуге наказываю, если будут ко мне звонить, отвечать, что я уехал. Опять принимаюсь за свой дневник, который веду тридцать шесть лет подряд. Интересный дневник, будьте уверены. Веду я его для себя, не для других. Подождет еще ваша литература, покуда удостоится такой книги! Вам я, может быть, когда-нибудь и покажу этот дневник, другим — ни за какие блага...

Однако не проходит и получаса, как ко мне стучатся.

«Кто там?» — «Девушка от вдов пришла звать вас к обеду. Что сказать?» — «Скажите, что сейчас приду».

Ну, что вы теперь скажете, господин мой любезный? Как насчет вашей «психологии»?.. Торопитесь уходить? Идемте, я с вами. Мне надо к моим трем вдовам. Одну минуту, скажу только, чтобы кошке дали поесть, а то я там, чего доброго, засижусь до утра. Мы играем в «ералаш», иногда в преферанс. Играем на деньги. И каждому хочется выиграть! А сделает кто-либо неудачный ход — пощады нет ни мне от них, ни им от меня. Всякий неправильный ход, когда в карты

играем, меня в ярость приводит: я готов уничтожить того, кто промахнулся.

Ну, что означает ваша улыбка? Поверьте, знаю, о чем вы сейчас думаете. Я ведь вас насквозь вижу. Но мне наплевать. Вы сейчас думаете обо мне: «Старый, старый холостяк, брюзга...»

Вот и вся история о трех вдовах.

С РИВЬЕРЫ

Вы спрашиваете меня, что такое Ривьера? Лучше бы вам ее не знать, как я раньше не знал. Но вы все же хотите знать, что такое Ривьера? Я вам объясню это в двух словах: гони монету! Ривьера — это такое местечко в Италии, которое врачи выдумали специально для того, чтобы выкачивать деньги из народа. Небо, видите ли, там всегда ясное. Небо, собственно, такое же, как у нас, только что море докучает — беда! Волнуется, шумит — голова кругом идет, а вы знай платите деньги! За что, спрашивается? Ни за что, ну прямо-таки ни за что. Разве лишь за то, что ты осел и дал уговорить себя поехать на Ривьеру, — вот и плати за это деньги! И вы платите. Попробуйте-ка ухитритесь и не платите! Вы думаете, с вас там насильно сдерут, ругать вас будут, шельмовать? Упаси бог! Там по-хорошему из вас душу вытянут, с поцелуями. Одно достоинство у этой Ривьеры — это у нее не отнимешь — тепло. А когда тепло, говорят, кашель легче. А тепло там постоянно, круглый год. И зимой и летом. Вы спросите, почему так? Очень просто, солнце греет, вот и тепло. Ну и что из того? У нас, если хорошенько протопить печь, тоже не холодно. Они, правда, говорят еще — воздух. Воздух там и в самом деле хороший. Недурно пахнет. Будто духи там такие. Собственно, не воздух там пахнет, пахнут апельсины. Там апельсины растут. Но стоит ли из-за этого забираться так далеко? Воздух, по-моему, всюду есть, а апельсины и у нас продаются. Доктора, однако, говорят, что воздух воздуху рознь. Воздух, который пахнет духами, лечит. Так говорят они, доктора, значит. Но мало ли что говорят доктора! Они и о море говорят, которое там, на Ривьере, будто оно все болезни вытягивает. Может быть, оно у кого-то и вытягивает болезни, это самое море, но что касается меня, то оно вытянуло у меня

все, что я имел, до последнего гроша. Не столько море, сколько доктора.

Бог наградил меня на Ривьере доктором, как вам сказать, ну-ну! То есть вообще-то он очень милый человек, еврей, и настоящий еврей! По-еврейски говорит, как мы с вами, да еще похлестче: сладко, ладно, кругло — одно удовольствие слушать его. Но и деньги выкачивать он мастер, ох и мастер же! Из меня-то, положим, много не выкачаешь, не на того напали. Я, видите ли, решил до последней минуты не вдаваться в подробности. Я сразу смекнул, с кем имею дело, но притворился, что ничего не понимаю. Хочешь качать — качай! Пришел я к нему в первый раз, и он стал меня расспрашивать да ощупывать, выстукивать молоточками и стукалками, выслушивать трубками длинными и круглыми, а потом велел на следующий день снова прийти. «Простите, господин доктор,— говорю я ему,— я не знаю местных обычаев, сколько вам следует за визит?» — «Об этом после»,— и смотрит на меня сквозь очки, а руки держит в карманах. Я и подумал: «Что ж, хочешь после, пусть будет после». Прихожу на следующий день — то же самое: выпрашивает, выслушивает, выстукивает, ощупывает и опять велит прийти на следующий день — он мне что-то впрыснет. «Простите, господин доктор, сколько вам следует?» А он отвечает: «Потом». Потом так потом. Прихожу на следующий день, он что-то в меня впрыскивает и велит прийти завтра — он мне сделает массаж. Прихожу на следующий день, чтобы он мне сделал массаж, и он мне делает массаж, то есть втирает в меня то, что вчера впрыснул,— как это иначе можно понять? — и велит прийти завтра, он мне снова впрыснет. Я его спрашиваю: «Сколько вам следует?» А он отвечает: «Потом». Потом так потом. И так все время: один день впрыскивание, второй день — втирание впрыскивания. Мне эти штучки с самого начала не понравились. Хочешь дважды меня выпороть, что ж, пори, но зачем же так растягивать? Где это сказано, что для впрыскивания требуется особый день, а для втирания впрыскивания — опять-таки день? Казалось бы, вернее сделать то и другое разом. Ведь это яснее ясного: впрыснул и тут же втер впрыскивание. Так в чем же дело, зачем такие церемонии? Значит, деньги хочешь выкачивать? Так это надо понимать? Ну что ж, качай! А что, если не качается? Может быть, из меня и выкачивать не-

чего? Ты же меня не знаешь и не ведаешь! Ты у меня в кармане был, что ли, деньги мои считал?

Так оно и случилось. Прошел месяц, и доктор прислал мне по почте счет, от которого у меня потемнело в глазах. За каждое впрыскивание, видите ли, он велит заплатить ему десять франков — на Ривьере деньги выкачивают франками. А за каждое втирание того же впрыскивания — еще пять франков. Вот это счет! Если так лечиться, можно и без штанов остаться! Я и подумал: как быть? Торговаться с ним? Это я еще успею. Раз он денег пока не требует, этот умник, то и мне не к спеху. И я продолжаю ходить к нему по-прежнему: я хожу, а он впрыскивает, я хожу, а он меня трет. Не успел я оглянуться — и зима прошла. Пурим уже на носу, пора собираться домой. Тем более что чувствую я себя, слава богу, ничего, совсем даже неплохо, можно сказать, правды не скроешь, дай бог и впредь не хуже, а хорошему и предела нет. Пора, видно, распрощаться с моим доктором-умником и поехать домой. Прихожу я к доктору и говорю ему: «Так, мол, и так, господин доктор, собираюсь домой». — «Что ж, счастливого пути!» — «Ну, а как со счетом? Ведь надо наконец с вами рассчитаться или нет?» А доктор смотрит на меня сквозь очки, не вынимая рук из карманов, и говорит: «Ну?» За чем, значит, дело стало? А я говорю: «Простите, господин доктор, если у вас есть время, я бы хотел прежде, чем рассчитаться, рассказать вам одну историю...» — «Времени у меня нет, — отвечает доктор, — но если история не очень длинная, рассказывайте». Я сел и рассказал ему такую историю:

«Я, как видите, человек, слава богу, не хуже других. И дети у меня тоже есть, пятеро детей, — дай им бог здоровья, и все — сыновья. Четверо из них славные ребята, удачные, только один, не про вас будь сказано, уж и не знаю какой. Не захотел учиться — и все тут, неудачное, говорю, дитя. Наказывал я его, колотил, хотел выбить из него дурь, но ничего мне не помогло. Неудачное дитя. Как же быть? А моя старуха и говорит: «Сделай из него мастерового!» — «Мастерового? Да ты с ума сошла!» — «А если ты его убьешь, лучше будет?» — отвечает она. Как ни верти, а старуха, вижу я, дело говорит. И я отправляюсь к ремесленнику, к самому лучшему портному в нашем городе, и уславливаюсь с ним на три года за три сотни: «Нате вам это

сокровище и сделайте мне из него мастерского...» И мы обменялись с портным расписками, где черным по белому было сказано, что портной обязуется в течение трех лет обучать моего сына портняжному делу, а я обязуюсь уплатить ему за это триста рублей. Прошел год, и портной явился. Получил первую сотню и честь честью расписался. Прошел второй год — мой портной снова пришел, получил вторую сотню, расписался, — все как полагается. Прошел третий год — нет портного. Жду неделю, жду две — нет как нет. Что такое? Отправляюсь я к портному и говорю: «Господин портной, почему вы не пришли за третьей сотней?» А он отвечает: «Потому что мне не причитается». — «Как так?» — «Очень просто. Наше портняжное мастерство состоит из трех составных частей: *во-первых*, портной должен знать свое дело; *во-вторых*, он должен уметь при случае отхватить лишний кусок материи для себя. Называйте это как угодно, можете назвать это воровством, если хотите. А *в-третьих*, — говорит он, — портной должен уметь выпить, то есть опрокинуть стаканчик по большим праздникам. Так вот, по двум пунктам, — говорит он, — ваш сын законченный мастер, то есть он не плохой вор, а по части выпивки он может потягаться с самым отъявленным пьяницей. Мастером, однако, он никогда в жизни не будет. За что ж мне следует третья сотня?..»

Выслушал меня доктор и спрашивает: «К чему, собственно, вы мне это рассказали?» — «К тому, — говорю я, — что ваше дело, докторское, значит, как и всякое дело, тоже состоит из трех частей: *во-первых*, надо быть хорошим доктором; *во-вторых*, надо иметь совесть; *в-третьих*, доктор должен уметь делать деньги. Который из первых *двух* пунктов у вас перевешивает, я, — говорю, — не знаю, но по *составлению счетов* вы мастер, такое бы мне счастье. А теперь, говорю, давайте торговаться: ваш товар, мои деньги...»

Разумеется, ему пришлось уступить не меньше, чем две трети, и врагу не пожелаю столько болезней, сколько денег я у него выторговал. Но он и того не стоит, поверьте. Если бы я просто так сидел дома сложа руки и если бы мне было суждено, я бы все равно выздоровел. На что мне сдалась Ривьера?

История о том, как вдова по имени Гитл, торгующая чаем Высоцкого, после трехлетних хлопот в Третьей Государственной думе в конце концов спасла своего единственного сына от военной службы, отдала целое воинское присутствие под суд и за это в своем городе получила прозвище «Пуришкевич» *. Рассказано единым духом ею самой

Смотри пожалуйста, сколько народу собралось,— чего не видали?! А ну-ка, разойдитесь, растворитесь, словно соль в воде. Комедий здесь показывать не будут и бабьих сказок про базар на небесах рассказывать не станут. Говорили мне, что есть здесь какой-то Шолом-Алейхем, который пишет. Это вы и есть тот самый Шолом-Алейхем, который пишет? Пишите, пишите, пусть рученька ваша не устанет писать! Весь город опишите сверху донизу. Ничего, они это честно заслужили. А главным образом богачи наши, божьи родственники, что втемяшили себе в голову, будто весь свет только для них и создан. Мы должны трудиться и погибать, а они будут откупаться деньгами от всех горестей и напастей, да еще издеваться над вдовой, которая кормится чаем Высоцкого. Я продаю чай Высоцкого всем порядочным домам на выплату и этим добываю кусок хлеба для себя и моего ребенка, единственного сына, которого у меня хотели отнять за чужие грехи. Вот послушайте, что может случиться на белом свете. Мне кажется, с тех пор, как создан мир, не случалось, чтобы забрали единственного сына, кормильца на старости лет, у матери-вдовы, которая только милостью бога, а затем Высоцкого жива на земле. Конечно, все называется жить! Не умирать — тоже значит жить. Что можно иметь от чая, прости господи, при нынешней конкуренции, когда все бедняки стали разносить по домам чай на продажу? Надо, стало быть, конкурировать. Тот скинет десять — я скидываю пятнадцать, тот скинет пятнадцать, а я — двадцать. Но сколько же можно скидывать? Ведь я же не Высоцкий! Не сладко, что и говорить! Вся моя надежда — мой кормилец на старости лет, мой Мойше. Есть у меня единственный сын, наследство от мужа, прости

господи! Парень, правда, очень славный, жаловаться на него не могу. Здоровый, красивый, гладкий, со всеми достоинствами, только учиться не хотел. Но что значит — не хотел? Хоть ты его топором руби, хоть режь его! «Что же будет,— говорю я Мойше,— ни читать, ни писать, ни молиться ты не хочешь, остается тебе только собак гонять!» Молчит, как стена. Тогда я пошла и отдала его учиться ремеслу, к портному, и договорилась с портным, чтобы он научил его портняжному делу. Но так же, как вы видите иголку с ниткой, так и он у этого портного видел иголку с ниткой. День и ночь таскал на руках ребенка, либо помогал жене портного чистить картошку, либо выносил помойное ведро. Разжечь утюг и то было великим делом. Тогда я пошла, отняла его от портного и отдала к сапожнику. Но налетела на такого злодея, на такого разбойника, который, чуть что не по нем, может швырнуть вам в голову молоток и размозжить череп. Отняла я его от сапожника и отдала к переплетчику, неудачнику, который сидит без дела и работы в глаза не видит. Отняла от переплетчика и отдала к еще большему неудачнику — часовому мастеру, который не чинит, а портит часы. Так говорят все в городе. К чему же мне, чтобы он сделал моего сына калекой? Отняла от часового мастера и отдала к галунному мастеру, чтобы он научил его своему мастерству, то есть золотошвейному делу, и расписались мы с ним, с галунным мастером, на два года, то есть два года мой сын должен крутить золототканую ленту у него бесплатно, а на третий, когда он обучится делу, сын будет уже кое-что зарабатывать. И бог мне помог, я попала к настоящему мастеру, который хоть и не чурается рюмочки, но выучил моего сына ремеслу гораздо раньше. Работа ему понравилась, и мой Мойше за полгода сделался настоящим галунщиком. Но что толку, когда он должен целых два года работать бесплатно? Расписалось — пропало! Однако господь помог, два года миновали. Правда, это только так говорится: миновали! Если я пережила это время,— я вообще железная. А если пережила,— думаете, это все? Теперь только еще надо найти должность или искать работу галунщика. Но где она, такая работа? Пьяный, что ли, потерял, а трезвый нашел? К тому же я человек одинокий, ношусь по домам со своим фунтом чаю, а конкуренция страшная, и один из моих клиентов вдобавок обанкротился: набрал у меня три с

половиной фунта чаю, а в одну прекрасную ночь сорвался, удрал, говорят, в Америку, — я бы охотнее дождалась, чтобы его холера забрала! Мне тогда казалось, что весь мир на меня свалился. Шутка ли, три с половиной фунта чаю по два двадцать? И надо помалкивать, потому что, если узнает Высоцкий о том, что я потерпела убыток, это может лишить меня кредита. Что же делает бог? Он говорит: «Гитл, ты плачешь? Погоди, ты еще и не так наплачешься... Вот на тебя надвигается призыв...» Какой призыв? Откуда призыв? Единственный сын у матери-вдовы, которая жива только милостью — сперва господа бога, а потом Высоцкого... Где же это слыхано на белом свете? А где же бог? Где совесть? Но поди кричи! Когда суждено несчастье, так и мой Мойше должен призываться как раз в один год с тремя внуками нашего богача, от трех дочерей, — три нарыва сели бы у каждой в отдельности на таком месте, чтобы они не могли ни стоять, ни ходить, ни лежать, ни сидеть. Мне, однако, говорили: «Смотрите, Гитл, как бы ваш Мойше не оказался жертвой вместо внуков нашего богача!» Ха-ха, что значит? У меня единственный сын, единственный кормилец бедной вдовы, которая жива милостью — сперва господа бога, а потом Высоцкого, а тот — богач, набит деньгами, миллионщик, — разве что бога, упаси бог, нет на свете! Но — вот она, сила денег: начали вводить поодиночке внуков богача... одного ввели — «не годим»! Ввели второго — «не годим»! Можете себе представить, каково мне стало? Потому что если и третий окажется «не годим», то горе горькое моему Мойше! И как назло, к моим горестям вдобавок, мой Мойше, не сглазить бы, парень здоровенный, без всякого изъяна, можно сказать — богатырь! Правда, и внуки богача тоже не хворы бы идти служить, но их доктор бракует. Увидит молодца из дома богача — «не годим»! И делай с ним что хочешь! Что же, я буду молчать? Я, не дожидаясь, пошла к «принцедателю» и говорю ему: «Господин барин, две штуки товара нашего богача уже забракованы. Если и дальше будут браковать, дело может дойти до моего Мойше, а мой Мойше у меня единственный кормилец на старости лет...»

А он как обозлится, как вскипит и велит, чтобы меня выбросили из присутствия. И разумеется, не успели ввести третью штуку товара богача, как доктор

уже заявил «не годим!», и уже ввели моего Мойше, и уже его забрили, и он уже дал присягу, и сказали ему уже «налево-направо», гром меня разразил, в Харьковскую губернию и — поминай как звали! Что ж, молчать буду? Побежала к «принцедателю» и устроила ему веселое утро: богатых детей, мол, будешь браковать, а единственного сына матери-вдовы, у которой раньше бог, а потом Высоцкий... Где же совесть? Где же бог?.. Он, конечно, велит выбросить эту жидовку. Но жидовка не поленилась и поехала в губернию, прямо к губернатору и — бултых ему в ноги: «Господин барин, так, мол, и так: троих внуков богача забраковали, а моего Мойше, единственного сына у бедной вдовы, у которой раньше бог, а потом Высоцкий, кормильца на старости лет... Где же бог? Где же совесть?»

Выслушал меня губернатор и сказал, чтобы я подала бумагу. А я ему говорю: «Господин барин! На что тебе бумаги? Вот слышишь, я говорю тебе ясно... Пошли проверить, увидишь,— все, что я говорю,— святая правда!»

А он опять: на бумаге, на бумаге!

Тогда я ему говорю: «Дорогой барин! Не бумажная я женщина, доносами не занимаюсь. Рассказываю тебе только то, что у меня наболело! Богачей бракууют, а бедняков — единственных сыновей забирают! Где же бог? Где совесть?» — «Бог ты мой! — говорит он.— Чего от меня хочет эта женщина?» — «Она хочет,— отвечаю я,— добиться правды, вернуть кормильца! А больше она ничего не хочет. Небо и земля поклялись, чтобы правда всплыла, как масло на воде».

Тут уж губернатор рассердился и велел выбросить эту жидовку. А жидовка не поленилась, продала все, что имела, и поехала искать правду прямо в Петербург. В Петербурге есть министр военных дел, и министр внутренних дел, и синод. А если к царю понадобится,— что ж, я дороги не найду? С правдой можно и до бога пойти. И действительно. Приехала в Петербург, началась канитель с правожительством, стали меня выгонять. Я им говорю, что этого не боюсь, боюсь только бога и царя, а больше никого, потому что иду за правду. Но кушать, пока суд да дело, надо? Душа-то живая! Что же делать? Милостыню просить я не привыкла. Нашла выход. Петербург, решила я,

тоже не деревня, везде, слава богу, имеются евреи, а чай Высоцкого знают и в Петербурге, да еще, может быть, больше, чем в другом месте. Все чиновники пьют чай Высоцкого, а так как я имею дело с присутствиями и с чиновниками, то и начала я приносить им чай Высоцкого прямо на дом, давать на выплату и — прежде бог, потом Высоцкий — зарабатывала не только на свое горькое пропитание, но могла даже и моему Мойше в полк посылать иной раз рубль, иной раз — два. Единственное, с чем было плохо, — это правожителство! Будь у меня правожителство в Петербурге, я была бы прямо царицей! Но так как имела я горести, а не правожителство, то и было мне горько, прямо-таки до смерти. Дело обстояло так, что меня собирались выслать из Петербурга, и по этапу, как бог велел. Но тут всевышний послал мне некую мадам, которая пишет в газетах, дай ей бог долгие годы! Это ангел, а не человек! Кроме того, что она меня выручала из всех бед, она еще познакомила меня с Пергаментом *. Вы, наверное, слышали о нем? Он был в Думе из тех, что говорят, человек прямо-таки без желчи и красавец, царство ему небесное! Как он старался за меня! Дал мне письмо и еще письмо — все к таким людям, к которым простому человеку и доступа нет. Они меня выслушивали, один отсылал к другому, другой к третьему, каждый раз все выше и выше — и так до самой Думы. И я начала ходить в Думу каждый день, а иной раз и дважды в день и слушала все, что говорили в Думе. А говорят там все, но лучше всех — этот самый Пергамент. Он как начнет говорить, так и стену проймет, камень и тот не устоит... Шутка ли, Пергамент! Зато и врагов у него в Думе было — что вам сказать! И зложелателей! И крикунов! Как собаки, они нападали на него и устраивали такие скандалы, что я едва могла усидеть наверху (мое место в Думе всегда было наверху). Как вспомню об этом Пергаменте, у меня слезы на глаза набегают. Вы даже представить не можете, какой алмаз, какой брильянт это был! Сказано — ангел, о чем же тут говорить! Все дела свои, всех гостей, бывало, бросит, а меня выслушает, расспросит, что пишет мне мой Мойше! Что ему писать мне? Пишет мне Мойше, что служба идет, слава богу, неплохо, начальство им очень довольно, но донимает его «пидфебель». Пристает с просьбами одолжить ему деньги. Мойше клянется, что у него нет.

А тот не верит. Говорит, что у всех евреев есть деньги, были бы у него лихоманка и все казни египетские! Новое несчастье — пидфебель! А он, Пергамент то есть, смеется. Он любит смеяться и шутить. Прихожу однажды к нему, он просит сесть и спрашивает, по своему обыкновению, как мне живется в Петербурге. Я ему отвечаю: «Всем бы выкрестам так жить!»

Он как расхохочется, чуть со стула не упал: «Вы,— говорит,— наверное, еще не знаете, что я и сам выкрест?» — «Таких выкрестов, как вы,— сказала я,— могло бы быть побольше. А те выкресты, что живут на белом свете, могли бы все передохнуть за один ваш ноготок!»

Он еще сильнее рассмеялся. И вот поди угадай, что такой человек возьмет да и помрет! И так неожиданно! Что вам сказать, дорогой мой друг? Нельзя этого говорить, но мне кажется, что, когда мой муж, мир праху его, лежал на земле, я столько слез не пролила, как в тот день, когда мне сказали, что Пергамент умер. Отца родного так не жалеют. Могу вам сказать, что с тех пор, как умер Пергамент, мне опротивел Петербург, и Дума, и весь свет! Был бы жив Пергамент, все было бы по-другому. Ниселович и Фридман * — тоже очень славные люди,— разве можно отрицать? Но Ниселович и Фридман — это не Пергамент! Прихожу к Ниселовичу или к Фридману и плачу, а они мне говорят, что ничем помочь мне не могут, не могут они идти против закона. Я им говорю: где же есть такой закон, чтобы троих байстрюков богача, миллионщика забраковали, а чтобы за них шел служить единственный сын, кормилец бедной вдовы, у которой раньше бог, а потом Высоцкий? А ну-ка, говорю, покажите мне такой закон! В Думе, говорю, столько, не сглазить бы, людей, и все говорят, и все кричат, и все ругаются,— почему же не найдется ни одного человека, который заступился бы за бедную вдову, у которой раньше бог, а потом Высоцкий? Молчите? Вам, говорю, нужен Пуришкевич, свой, еврейский Пуришкевич, он бы вам показал, почем фунт лиха! Вот уже скоро три года, как я в Петербурге, верчусь вокруг Думы, а попытался хоть кто-нибудь слово сказать о таком злодействе, о том, что забрали у бедной матери, у которой раньше бог, а потом Высоцкий, единственную опору, кормильца на старости лет? Один раз за все время случилось так, что какой-то бессарабский помещик выступил с речью насчет

воинской повинности. Услыхав «воинская повинность», я было обрадовалась. Вот, подумала я, слава тебе господи! Наконец-то до правды добрались. Давно пора! И что же? Говорят такие глупости,— слушать тошно! Это, думаю, наверное, оттого, что я так шумела, добивалась к министрам — к министру военных дел и к министру внутренних дел! А в конце концов что же оказалось? Чепуха! Послушайте, что он придумал. «Надо,— говорит он,— ввести для евреев особую воинскую повинность, денежную». Понимаете? «Чтобы евреи,— говорит он,— могли откупиться за деньги. Не хочешь служить, давай деньги!..» В таком случае выходит, что это благодеяние опять-таки для богатых, холера бы их забрала! А служить опять-таки будут бедняки и единственные сыновья к тому же? А где бог? Где совесть? И действительно! Бог совершил чудо, в Думе начался такой шум, крик,— можно было думать, что люди с ума посходили. Больше других, конечно, орудовал Пуришкевич. Этот злодей,— да будет вычеркнуто из памяти имя его,— хотел доказать на словах и свидетельствами, что евреи не служат. Совсем не служат. Нет, говорит он, ни одного еврея на военной службе. Этого я уж не могла выдержать, мне обожгло сердце, и я вскочила: как же так, мой единственный сын, кормилец, служит уже больше трех лет, даже награду имеет, а тут какой-то петух Пуришкевич заявляет перед всем миром, перед всеми министрами такие вещи! Могла ли я умолчать? И я как крикну сверху, с галереи то есть, во весь голос, на всю Думу:

— А Мойше?!

.
Хотите знать, что было? Ничего. Меня выгнали честь честью из Думы, отвели в часть и хотели выслать по этапу, как бог велел. Но я им сказала, что высылки я не боюсь, боюсь только бога и царя, а больше ничего. Потому что я за правду стою. Я тоже имею отношение к Думе, как и вы. Вы о воинской повинности только языком болтаете, а мой сын, говорю, служит царю, хоть он и единственный сын. Словом, они во мне не обманулись! Их счастье, что я не осталась в Петербурге на пасху, когда в Думе началась горячка насчет крови, что нам якобы требуется кровь на пасху. Я бы им показала, кто проливает кровь, мы или они. Но им чертовски повезло: я на пасху поехала домой, по-

тому что из министерства военных дел дали знать, что моего Мойше вернули из полка домой. И похоже, что «принцедатель», и доктор, и все присутствие кончат плохо. Всех их отдали под суд. Потому что была ревизия, и оказалось, что у них была фабрика белых билетов. И евреи и русские — кто в бога веровал и рубль имел в кармане, — все были «не годим», бедняки, единственные сыновья, должны были идти служить. Но теперь, конечно, нету больше счастливых! Нет больше поблажек и произвола. Все теперь будут равны.

Вот я и спрашиваю у вас, — ведь вы же человек пишущий, — скажите сами, заслужила я, чтобы над мной смеялись, издевались и поминали через каждые два слова? Конечно, хотите смеяться — смейтесь, хоть лопните. Но за что мне приклеили прозвище «Пуришкевич», пропади он пропадом! «Гитл Пуришкевич» прозвали они меня! Хоть бы говорили: «Не будь рядом помянут!» Город пересмешников, пустоголовых дурней, бездельников! Не заслужили они разве, чтобы их описали от мала до велика и с головы до ног? Опишите их, пане Шолом-Алейхем, опишите так, чтобы весь свет знал о них, чтобы ни один не остался неописанным!

МИСТЕР ГРИН НАХОДИТ ЗАНЯТИЕ

Рассказано им самим и передано его языком

Хау ду ю ду¹, мистер Шолом-Алейхем! Не знаю, узнаете ли вы меня? Мы с вами некоторым образом в троюродном родстве состоим... То есть не с вами, а с вашим Тевье-молочником и его родственником Менахем-Мендлом из Егупца... Ага! Не правда ли, это вам интересно? Вы даже остановились... Пойдите же со мной минуточку вот здесь, на тротуаре, поговорим немножко насчет Америки, что это за страна золотая... И не столько об Америке, сколько о ее бизнесе, о том, как здесь сохнут и дохнут в богатстве и чести, покуда бог пошлет настоящий «джаб»², а когда господь помог и вы уже добились настоящего занятия,

¹ Здравствуйте (англ.).

² Занятие (англ.).

тогда есть надежда со временем заработать еще, подняться выше, дорасти до такого Джейкоба Шифа, Нейтана Штрауса или, на худой конец, до Гери Фишла *, — одним словом, стать ол райт... Я пока не могу сказать о себе, что я — ол райт, но джаб, слава богу, я уже имею, и самое приятное в этом занятии то, что я дошел до него сам, собственным своим умом... Однако я вижу, что вам не терпится, вы хотите знать, кто с вами говорит? А если я вам скажу, что говорит мистер Грин, вы будете думать: зеленый? желтый? синий? * Это все равно что ничего... Здесь я называюсь Грин, там назывался Гринберг. Откуда я? Из Одессы? Из Одессы... Из Егупца? Из Егупца... Из Касриловки, из Теплика, Шполы, Умани, Бердичева — словом, из тех мест... И торговал я, как все евреи. Крутил, маклерствовал, пока не настало то самое веселое время, пока не выгнали и пока мы не дотащились сюда, в страну Колумба. А тут ели, ели до тех пор, пока последнюю рубашку не проели, и тогда только начали мытарствовать по-настоящему. Никакой работой не брезговали, но ничего не удавалось. Наступил месяц элул. Пришло время осенних праздников, и я увидел, как в газетах рекламируются канторы, синагоги, молельники. В витринах магазинов появились молитвенники — обыкновенные и праздничные, бараньи рога, талесы, а публика, вижу, начала улыбаться богу, льстить ему ради бизнеса... Тогда я подумал и говорю самому себе: «Мистер Грин! До каких пор ты будешь «зеленым»? * Надо и тебе пожить от месяца элула, от десяти покаянных дней!» Но хорошо сказать «пожиться», когда можно пожить... За что я могу приняться? Сделаться кантором? Но я никогда сапожником не был... Резником? Но мой отец никогда извозчиком не был... Раввином я и подавно не стану, потому что знаю грамоту и понимаю значение слов... Разве что мясником по строго кошерному мясу? Но я и дома никогда не торговал краденными лошадьми... Углубившись, как ваш Тевье говорит, в такие мысли и рассуждения, я зашел в синагогу... Начало месяца элула, народ молится, читает псалмы... Помолились, тогда один из прихожан говорит: «А кто же нам протрубит в рог?» — «Протрубить? — отзывается я. — Разрешите мне...» Вы, пожалуй, спросите, откуда я умею трубить в рог. А дело вот в чем: трубачом я дома действительно не был. И отец мой — тоже. И дед не был. Но,

мальчишки-озорники, мы в праздники, бывало, раздобудем где-нибудь рог и спорта ради трубим в него до тех пор, пока служба не выгонит из синагоги. Короче говоря, я это дело знаю, и, как вы говорите, — раз сказано, что он может, так о чем толковать...

И вот взял я в руки рог, да как протрубил, — сначала с трелями, а потом закончил на одной ноте, протяжным звуком, ну, прямо-таки отсюда до Бруклинского моста! Услыхав такую музыку, прихожане и говорят: «Откуда будете, молодой человек?» — «А не все ли вам равно?» — отвечаю я. «Может быть, останетесь у нас трубить на праздники? — спрашивают они. — Наш трубач умер». — «Если бы это могло меня прокормить, — говорю я, — пожалуй». — «Делать жизнь, — отвечают они, — одним этим трудновато. Разве что вы бы еще что-нибудь делали к тому же...» — «А именно? — спрашиваю. — Что мне еще делать? Быть к тому же кучером? Подметальщиком или дворником?» А они мне: «Коль скоро вы трубач, то есть умеете трубить в рог, мы не можем предложить вам такие грубые работы. Единственное, что мы могли бы вам дать, это «ченс»¹, чтобы вы могли трубить еще в одной синагоге...»

Это заставило меня подумать: коль скоро я буду иметь шанс трубить еще в одной синагоге, то почему же я не могу трубить еще в двух синагогах? А почему не в трех? И я пошел по Дауптаун * из одной синагоги в другую, из одной молельни в другую. Всюду делал пробы, показывал свое искусство, всюду имел величайший успех, потому что, когда я трублю в рог, сбегаются из всех молелен. Меня слушали судьи, конгрессмены, ассамблемены, и все говорили: «Поразительно!» Можете себе представить, в первый год я имел одну синагогу и две молельни. На следующий — три синагоги и пять молелен. В нынешнем году, если богу будет угодно, у меня намечается чуть ли не дюжина молелен, и я смогу заработать добрых несколько долларов. Вы, пожалуй, спросите, как же может один человек справиться с таким количеством бизнесов? Этого вы не спрашивайте! На то она и Америка! В этой стране кое-как приспособляются. В одном месте я выступаю раньше, в другом — немного позже, в третьем — еще

¹ Возможность (англ.).

позже. Я делаю все возможное, чтобы публикум был «сатисфайт»¹, потому что, если я пропущу время, я теряю свой джаб и свою «репутейшн».

Вы удивляетесь, мистер Шолом-Алейхем, что я употребляю больше английских слов, чем еврейских? Это из-за детей. Они у меня уже настоящие американцы и не желают ни слова говорить по-еврейски! Посмотрели бы вы на моих «боев»², никогда бы не сказали, что это еврейские дети. И меня самого, когда увидите после праздников, тоже не узнаете. Незадолго до наступления месяца элул я сбрасываю свой сюртук, запускаю бороду, обретаю домашний вид... Но как только праздники пройдут, бороду долой, надеваю свою шляпу и снова становлюсь джентльменом... Чего в Америке не делают ради бизнеса?.. Я вижу, мистер, что у вас есть желание описать меня в газете, вы даже книжечку свою достали,— пожалуйста, на здоровье! Я вам даже спасибо скажу. Это будет для меня рекламой... Мало того, я попрошу вас и адрес мой указать: «Мистер Грин, Черри-стрит, Нью-Йорк-сити...» Плиз...³ Надеюсь, мы еще встретимся на Аптаун... * Пока будьте мне «гуд бай»!⁴

ИСТОРИЯ С «ЗЕЛЕНЫМ»

Рассказ о том, как бизнес-брокер⁵ мистер Барабан проучил «зеленого», женившегося ради денег. Рассказано самим мистером Барабаном, его же слогом

Америка, говорите вы, страна бизнеса, что ж, это в порядке вещей. Однако продать себя, жениться ради бизнеса,— это уже, экскьюз ми⁶, свинство. Я во все не собираюсь проповедовать мораль, но, поверьте, девяносто девять процентов «зеленых» женятся у нас ради бизнеса, это фект⁷, и меня на них досада берет.

¹ Довольна (англ.).

² Мальчиков (англ.).

³ Пожалуйста... (англ.).

⁴ До свидания (англ.).

⁵ Маклер (англ.).

⁶ Извините (англ.).

⁷ Факт (англ.).

Поэтому, попадись мне такой «зеленый», он у меня попрыгает, лив ит ту ми! ¹ Вот послушайте любопытную историю!

Сию я однажды в своем офисе ² и занимаюсь отправкой почты. Вдруг входит ко мне один «зеленый», совсем еще бой, а с ним бабеночка, как вам сказать, кровь с молоком. Хороша, как ясный день, и свежа, как яблочко только что с дерева. Вошел он и говорит: «Хау ду ю ду! Это вы бизнес-брокер мистер Барабан?» — «Сидан! ³ Что скажете?» И «зеленый» раскрывает передо мной душу, рассказывает целую историю, со энд со ⁴. Сам он нипентс-мейкер при трейде ⁵ и в стране всего лишь десять лет, и в него влюбилась вот эта самая бабеночка, была она работницей и скопила тысячу долларов наличными, так вот они поженились и ищут хороший бизнес, чтобы им больше не работать в шоппе ⁶, он, видите ли, страдает ревматизмом, дай ему бог не расставаться с ним подольше! «Какой бизнес вы предпочитаете?» — спрашиваю я его, а сам не спускаю глаз с бабеночки. А он отвечает, что охотно открыл бы стейшннери ⁷, потому что в стейшннери, поясняет он мне, и жена была бы при деле. Как вам нравится этот «зеленый»? Мало того, что ему попало такое сокровище, на которое впору молиться, мало того, что жена принесла ему тысячу долларов наличными, так он еще не прочь, чтобы она на него работала, сам же он будет в это время прохладиться со своими дружками, в пинакл ⁸ будет играть, и так далее — знаю я этих молодчиков! И я подумал: так ты у меня и будешь иметь стейшннери, жди! По мне, ты можешь валяться, как собака, в каком-нибудь лондри ⁹. Ты у меня станешь лондрименом, как миленький! Почему пришел мне в голову именно лондри? Дело в том, что в это время мне как раз нужно было сбыть лондри. «Зачем тебе,— говорю я моему «зеленому»,— морочить себе голову, по восемнадцать часов в сутки сидеть в стейшннеристор и

¹ Можете на меня положиться! (англ.)

² Конторе (англ.).

³ Садитесь! (англ.)

⁴ Так и так (англ.).

⁵ Брючник при магазине (англ.).

⁶ Мастерской (англ.).

⁷ Писчебумажный магазин (англ.).

⁸ Карточная игра (англ.).

⁹ Прачечной (англ.).

ждать, не пробежит ли случайно какой-нибудь скулбой¹ и купит за пенни кенди², и так далее? Лив ит ту ми, я дам тебе лучший бизнес, лондри в Бронксе, и ты будешь работать только в определенные часы и жить по-царски!» Беру в руки пенсл³ и доказываю ему черным по белому, что за вычетом всех экспенсов⁴ — платы за помещение, платы шойртайренерам, фемилренерам, деливери-бою⁵, включая лондрибил⁶ и так далее, у него останется триста с лишним долларов в неделю чистой прибыли — чего же лучше? «А сколько это будет стоить?» — «Тысяча долларов за такое дело — просто баргейн⁷, но лив ит ту ми, я вам сделаю это за восемьсот. Можете, говорю, с завязанными глазами уплатить свои несколько долларов, и вам останется только получить ключи, и вы будете ол райт. А пока, говорю, прощайте, потому что я очень занят, а через три дня можете ко мне прийти. Гуд бай!»

Сам я, не долго думая, отправился к лондримену и поздравляю его: бог послал мне жирную щуку, одного «зелененького», и он, лондримен, имеет теперь ченс избавиться от своего лондри, и за хорошие деньги, пусть он только будет человеком и не теряется, и так далее... Этот мошенник сразу меня понял. «Дайте его мне, говорит, этого «зеленого», и будет ол райт...» Прошло три дня — мой «зеленый» тут как тут. Принес депозит⁸ и, как водится, протраевал⁹ вместе со своей жenuшкой неделю, а мой лондримен, как водится, постарался, чтобы неделя эта прошла ол райт, и не просто ол райт, а ол райт с хвостиком, и бизнес состоялся. «Зеленый» отсчитал свои несколько долларов, лондримен вручил ему ключи и книги, я получил плату с обоих, — бизнес-брокеру мистеру Барабану палец в рот не клади! — и финита ла комедия¹⁰, скажете вы, не правда ли? Так скажете вы, для меня же комедия только начи-

¹ Школьник (англ.).

² Конфеты (англ.).

³ Карандаш (англ.).

⁴ Расходов (англ.).

⁵ Гладильщикам рубаш, гладильщикам постельного белья, посыльному (англ.).

⁶ Расходы по стирке (англ.).

⁷ Дешевка (англ.).

⁸ Здесь: задаток (англ.).

⁹ Торговал на пробу (англ.).

¹⁰ Кончена комедия (ит.).

налась. Когда дельце было обделано, во мне еще больше разгорелась злоба на «зеленого»: за какие такие заслуги этому рохле очищенное яичко, и прямо в рот, без всякой головной боли — ему и женушку, прямо конфетку, и тысячу долларов наличными, и выгодный бизнес... Дай-ка выторгую у него за полцены лондри и продам его прежнему владельцу. Каким образом, спросите? Пусть мое имя не будет мистер Барабан, бизнес-брокер, если найдется дело, которое я не смог бы повернуть. Отправился я на corner другого стрита¹, как раз напротив лондри «зеленого», снял рум² у одного эйджента³, сунул ему в зубы задаток в десять долларов и выставил сайн в винде:⁴

ЗДЕСЬ ОТКРЫВАЕТСЯ ЛОНДРИ

Не проходит и дня, мой «зеленый» тут как тут. В голове, вижу, у него помутилось. Как быть? Его зарезали. «А что случилось?» И он рассказывает мне о своем несчастье: какой-то дьявол снял как раз напротив него стор и тоже открыл лондри! «Чего же ты хочешь, «зеленый»?» Он хочет, видите ли, чтобы я нашел ему покупателя для его лондри, и он отблагодарит меня наилучшим образом, будет век за меня бога молить, и так далее. Я стараюсь его утешить: покупателя, мол, не так-то легко найти, но пусть положится на меня, и я попытаюсь. А пока пусть идет домой и явится ко мне не раньше, чем через три дня, потому что бизнеса у меня по горло, и так далее, и гуд бай!

Тем временем я посылаю за старым лондрименом и рассказываю ему со энд со: «Теперь ты имеешь все шансы за полцены откупить обратно у «зеленого» свой лондри». — «Как же вы это сделаете?» — спрашивает он. А я ему: «Не твоя забота. Не будь я мистером Барабаном, бизнес-брокером...» Тогда он говорит: «Ол райт!» А я ему: «Получу я за это комишен?»⁵ И он говорит: «Ол райт!» — и так и далее. Прошло три дня, и

¹ Угол другой улицы (англ.).

² Помещение (англ.).

³ Агента (англ.).

⁴ Объявление в окне (англ.).

⁵ Вознаграждение (англ.).

мой «зеленый» снова тут как тут, с женушкой, конечно. Желушка, хотя и осунулась немного, все же хороша, как солнышко. «Что слышно?» — «Ничего, говорю, не слышно. Благодарите бога, я вам нашел покупателя, правда, с большим трудом. Но что же? Кое-что придется, конечно, на этом деле потерять». — «Сколько?» — «Вы не спрашивайте, говорю, что потеряли, вы спросите лучше, что нашли. Потому что, говорю, сколько бы вам ни дали, это все равно находка! Что вы, шутите с американскими конкурентами? Они могут вогнать вас в такие экспенсесы, что вам останется только вскочить среди ночи в одной сорочке и бежать куда глаза глядят!» Можете не сомневаться, я нагнал на них такого страха, что они рады были получить хотя бы половину того, что вложили, да еще мне заплатили, я ведь не обязан даром хлопотать, — и конец лондри. Но погодите, это еще не все. Если вы помните, я дал эйдгенту задаток за стор и вывесил сайн, что открывается лондри. Спрашивается, с какой стати мне пускать десять долларов по ветру — ни тебе, ни мне? Разве у бизнес-брокера мистера Барабана краденые деньги? Это одно. Потом во мне еще не остыл гнев на «зеленого», я никак не мог успокоиться: ведь у этого рохли осталось еще добрых несколько сот долларов в кармане, да жена под боком — золото! Чем он это заслужил? У мистера Барабана, самого крупного бизнес-брокера в Ист-сайде, жена, эскьюз ми, уродина, да к тому ж еще и ведьма, а этому «зеленому», чтоб ему провалиться, бог дал, ю ноу¹, такую игрушку, пальчики оближешь... И вот я не поленился и отправил ему посткард², чтобы он пришел ко мне на апойнтмент³ в такой-то и такой-то час, у меня, мол, для него бизнес. Он не заставляет себя долго ждать, приходит точно в указанное время, и все с ней, со своей бабеночкой. Усаживаю я их, своих дорогих гостей, и рассказываю историю, со энд со: не знаете вы американских блеферов. «Вы даже представить себе не можете, что выкинул этот мошенник, этот старый лондримен, волосы дыбом становятся!» — «А что именно он выкинул?» — «А то именно, говорю, что это он снял стор⁴ напротив вас и повесил сайн для того, что-

¹ Знаете ли (англ.).

² Почтовую открытку (англ.).

³ Свидание (англ.).

⁴ Лавчонку (англ.).

бы вас напугать и за полцены получить обратно свой лондри». Услышав это, парочка переглянулась, и оба вспыхнули, в особенности она, бабеночка. Глаза у нее разгорелись, как угли. «Было бы справедливо, говорю, если бы вы с ним рассчитались, с этим мошенником, да так, чтобы он вас надолго запомнил!» — «А как мы можем с ним рассчитаться?» — «Лив ит ту ми, не беспокойтесь, уж я разделаюсь с этой птицей, будет он у меня лежать глубоко в земле на радость вам, а ваш бизнес тогда пойдет лучше прежнего!» Смотрят они на меня, как два голубка, и, вижу, без слов говорят: вашими устами да мед пить, дай вам бог долгие годы, и так далее. Тогда я предлагаю им свой план: зачем, говорю, им покупать чужие бизнесы, платить кому-то втридорога за фирму? Не лучше ли мне сходить к тому же лендлорду¹ и снять у него тот же самый стор, который собирался снять у него тот мошенник? Таким образом, за каких-нибудь триста — четыреста долларов я им устрою, моим голубчикам, лондри как раз напротив старого лондри и начну конкурировать, — сколько бы он ни брал, я буду брать дешевле, и пусть мое имя не будет Барабан, если я не заставлю его через две недели муфить!² Будьте покойны, я так раззадорил их, что «зеленый» чуть не бросился ко мне в объятия, а хорошенькая жена его покраснелась и еще больше похорошела. В тот же день я снял для них стор, и тут же был у меня готов новый лондри с сайном, со столами и со всем прочим, и мои голубчики взялись за дело, и пошла между ними и старым лондрименом ожесточенная конкуренция: побивали друг друга ценами до последней возможности. Если старый лондримен брал за дозн плет³ двадцать четыре цента, «зеленый» со своей бабеночкой брали восемнадцать со спредом⁴ в придачу; если тот спускал рубашки по восемь центов, то эти сбавляли по полтора пенни с колера⁵. Тогда и тому приходилось спускать пенни, и так далее. Короче говоря, они так долго побивали друг друга ценами, пока «зеленый» не избавился наконец от своих последних нескольких долларов и остался без единого пенни.

¹ Здесь: домовладельцу (англ.).

² Здесь: убраться (англ.).

³ Пару белья (англ.).

⁴ Простыней (англ.).

⁵ Воротничка (англ.).

Даже на оплату помещения не хватило. И пришлось ему закрыть свой лондри, и вышел он из дела чистеньким, гол как сокол. А теперь он у меня отдыхает в Лудлов-стрит-джейл¹. Это я выискал для его бабеночки лоера², который требует для нее от «зеленого» всего три вещи: 1) ее деньги, тысячу долларов приданого, 2) развод и 3) чтоб до того, как она получит развод, он ее супортовал³, согласно законам страны, и черт его побери, этого «зеленого»!..

¹ Лудлов-стрит-джейл — тюрьма в Нью-Йорке.

² Адвоката (англ.).

³ Содержал (англ.).

РАССКАЗЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

НОЖИК

«Не укради».

Седьмая заповедь

1

Послушайте, ребята, я расскажу вам историю о ножике, историю не выдуманную, а подлинную, которая случилась со мной!

Ни к чему на свете я так не стремился, ничего в жизни я так не желал иметь, как ножик, собственный ножик! Мне хотелось, чтобы у меня в кармане лежал ножик, чтобы я мог доставать его оттуда когда захочу, резать что захочу,— и пусть мои товарищи завидуют!

Когда я начал ходить в хедер к Иоселю Дардеке, у меня был ножик, то есть почти ножик или что-то вроде ножика. Я его сделал сам. Я выдернул из гусяного крыла перо, с одного конца обрезал его, с другого расщепил и вообразил себе, что это... ножик и что он режет...

— Что это за перо на мою голову? Что это за возня с перьями? — спросил отец, болезненный человек с желтым, высохшим лицом, и закашлялся.— Ему бы только забавы! Перья! Кхе-кхе...

— Что тебе, жалко, что ребенок играет? — ответила ему мать, маленькая женщина, повязанная шелковым платком.— Что ты себя все расстраииваешь? Пусть лучше мои враги расстраииваются...

Позже, когда я приступил к изучению Пятикнижия, я уже имел почти настоящий ножик — тоже собственной работы. Я нашел кусочек стали от маминого кринолина и очень искусно всадил его в кусок дерева. Потом я долго точил о горшок свой ножик и, конечно, при этом порезал себе все пальцы.

— Погляди-ка, как он себя разделал, наследничек твой! — закричал отец и схватил меня за пальцы так крепко, что кости затрещали.— Золотое дитя! Кхе-кхе...

— Ой, горе мое! — сказала мать, забрала ножик и, несмотря на мои слезы, бросила его в печь. — Ну, теперь этому будет конец...

Но вскоре я достал себе другой ножик, уже самый настоящий ножик — деревянный черенок, круглый, пузатенький, как бочонок, с горбатым лезвием, которое открывалось и закрывалось... Вы хотите знать, как я его достал? Я копил деньги, которые мне давали на завтрак, и на них купил ножик у Шлеймеле за десять полушек, семь — наличными, а три в долг...

Ах, как я любил этот ножик, как я его любил! Возвратившись из хедера домой, замученный, усталый, голодный, битый (должен вам сказать, что к этому времени я начал изучать Талмуд у меламеда Моти по прозвищу «Ангел смерти»: «Бык, который боднул корову...» * А раз бык боднул корову, то я получаю оплеуху), я первым делом вытаскивал ножик из-под шкафа, где он лежал днем. В хедере держать его я не мог, а дома уж конечно никто не должен был знать, что у меня есть ножик. Я играл им, резал бумажки, перерезывал соломинки, нарезывал свой хлеб на маленькие, малюсенькие кусочки, накалывал эти кусочки на кончик ножа и лишь после этого клал их в рот. Вечером перед сном я вытирал ножик, брал брусок, который нашел у нас на чердаке, и, поплевав на него, потихоньку точил лезвие.

Отец в ермолке сидел над Талмудом. Он читал его и кашлял, кашлял и читал... Мама возилась на кухне с тестом. А я все точил да точил... Но вот, как бы очнувшись от сна, отец вдруг закричал:

— Кто это там пищит? Что он там возится? Что ты делаешь, негодник этакий?

И подойдя ко мне, он нагнулся над бруском, схватил меня за ухо и закашлялся.

— Что?! Ножик? Кхе-кхе! — закричал отец и отобрал у меня и ножик и брусок. — Бездельник этакий! Книгу бы лучше взял в руки. Кхе-кхе...

Я громко заплакал. Отец влепил мне несколько оплеух. Из кухни прибежала мать, с засученными рукавами, и закричала:

— Тише, что тут такое? Почему ты его бьешь? Бог с тобой, что ты пристал к ребенку?

— Ножик! — кричит отец и кашляет. — Что он, маленький, что ли? Лодырь этакий! Кхе-кхе... Хвор он книгой заняться? Парнишке восемь лет! Я ему дам

ножики, балбесу этакому! Выдумал — ножики! Кхе-кхе...

О господи! И что ему дался мой ножик, что такое он ему сделал, почему он на него так взъелся?

Я помню своего отца всегда больного, всегда бледного, желтого, всегда озлобленного и обиженного на всех и вся. Из-за каждого пустяка он выходил из себя и частенько готов был растерзать меня. Счастье, что мама защищала меня и спасала от его рук.

А ножик мой забросили. Забросили так далеко, что я целую неделю искал его и так и не мог найти. Горько оплакивал я мой ножик, мой чудный ножик. Как тяжело и грустно мне было в хедере при мысли, что вот, когда я вернусь домой с распухшими щеками и с красными ушами, надранными Мотей — Ангелом смерти за то, что «бык боднул корову», никто меня не пожалеет. Одинок я, одинок, как сирота. И никто не видел слез, проливаемых мной ночью втихомолку у себя в постели. Вернувшись из хедера, я тихо плакал и так засыпал, чтобы назавтра утром снова идти в хедер, снова повторять про быка, который боднул бедную корову, снова получать затрещины от Моти — Ангела смерти, снова испытывать на себе гнев отца, слушать его кашель, его проклятия и не видеть ни одной радостной минуты, не видеть ни одного веселого лица, ни одной улыбки. Я был одинок, я был один на всем свете...

2

Прошел год, а может быть, и полтора. Я уже начал забывать свой ножик. Но, видно, мне было суждено все мои детские годы страдать из-за ножигов. На мою беду, появился новый ножик, совсем новенький, прелестный, изумительный, честное слово! — прекрасный ножик, с двумя стальными лезвиями, острыми, как бритвы, с белым костяным черенком в медной оправе, с красными медными заклепками, — одним словом, замечательный ножик, настоящий «завьяловский» *. Каким образом у меня, бедного мальчика, появился такой великолепный ножик? Это целая история — печальная, но очень интересная, послушайте ее внимательно!

Как мог я относиться к нашему квартиранту, еврейскому немцу, подрядчику Герцу Герценгерцу, если говорил он по-еврейски, ходил с непокрытой головой,

брил бороду, не носил пейсов и надевал сюртук, покрывавший — простите — только верхнюю половину тела? Я вас спрашиваю, как мог я сдерживаться и не помирать каждый раз со смеху, когда этот еврейский немец или немецкий еврей заговаривал со мной по-еврейски?

— Скажи мне, милый кнабе ¹, а какой раздел из Пятикнижия должны читать в эту субботу?

— Хи-хи-хи,— фыркал я и прикрывал лицо рукой.

— Скажи мне, киндхен ², какой раздел из Пятикнижия должны читать в эту субботу?

— Хи-хи-хи, «Болок»,— выпаливал я с хохотом и убегал от него.

Но все это было вначале, когда я его совсем еще не знал. После, когда я познакомился поближе с этим немцем, господином Герцем Герценгерцем (он жил у нас в доме целый год), я его так полюбил, что меня уж совершенно не трогало, что он не молится и не совершает омовения рук перед едой. Сначала я не понимал: как может жить этот человек на свете? Как только земля его носит? Почему он не подавится во время еды? Почему его непокрытая голова не оплешивеет? От Моти — Ангела смерти я слышал из его собственных уст, что этот еврейский немец — оборотень, то есть что он — еврей, превратившийся в немца, и что он может еще превратиться в волка, в корову, в лошадь или даже в утку... «В утку? Хи-хи-хи! Вот это дело!» — так думал я и искренне жалел немца. Одного лишь я не мог понять: почему отец, набожный и богобоязненный еврей, всегда уступал ему почетное место и почему другие евреи, приходившие к нам, оказывали ему уважение:

— Здравствуйте, господин Герц Герценгерц!

— Да будет мир с вами, господин Герц Герценгерц! Садитесь, пожалуйста, господин Герц Герценгерц!..

Однажды я даже спросил у отца об этом, но он прогнал меня:

— Убирайся отсюда, это не твое дело! Что ты все в ногах путаешься? Лучше бы позаялся Талмудом!

Опять Талмуд! Боже мой!.. Я тоже хочу смотреть, я тоже хочу слышать, что он говорит!

Как-то, войдя тихонько-тихонько в комнату, я забрался незаметно в уголок и стал слушать, о чем раз-

¹ Мальчик (нем.).

² Детка (нем.).

говаривают, как громко смеется господин Герц Герценгерц, раскуривая толстую черную сигару, которая так прекрасно пахнет. Вдруг подошел отец и отпустил мне оплеуху.

— Ты опять здесь, бездельник?! Что из тебя выйдет, неуч ты этакий! Господи, чем этот мальчишка кончит? Кхе-кхе-кхе...

Господин Герц Герценгерц вступился за меня:

— Не трогайте мальчика, не трогайте его...

Но это было бесполезно. Отец прогнал меня. Я достал Талмуд, но сидеть над ним не хотелось. Что делать? Я бродил из одной комнаты в ту, лучшую комнату, которую занимал господин Герц Герценгерц. О, как там было светло и красиво! Горели лампы, сверкали зеркала. На столе — большая серебряная чернильница, красивые перья, человечки, лошадки, всякие безделушки, костяшки, камушки и... ножик. Что за ножик! О, если бы мне такой ножик! Как я был бы счастлив! Какие бы вещи я вырезал этим самым ножиком! Ну-ка, надо попробовать, остер ли он? Еще бы! Он режет волос! Ой-ой, какой это ножик!..

Мгновение, и ножик у меня в руках. Я оглядываюсь по сторонам и пытаюсь положить ножик на минутку, только на одну минуточку к себе в карман. Рука дрожит... Сердце стучит так сильно, что я слышу его бие-ние... тик-так, тик-так! Кто-то идет, скрипят чьи-то сапоги. Это, наверное, господин Герц Герценгерц! Что делать? Пусть ножик останется у меня. Потом я его положу обратно, а пока надо уйти, уйти отсюда... бе-жать, бежать!..

.
Ужинать я уже не мог. Мать пощупала мою голову. Отец бросил на меня гневный взгляд и прогнал спать... Спать? Мог ли я закрыть глаза? Я был ни жив ни мертв. Что мне делать с ножиком? Как положить его обратно?

3

— Поди-ка сюда, сокровище мое,— позвал меня на следующий день отец,— не видел ли ты но-жика?

Сначала я испугался. Мне показалось, что он знает, что они все знают... У меня чуть-чуть не вырвалось:

— Ножик? Пожалуйста, вот он...

Но слова застряли в горле, и я с дрожью ответил:

— Что? Какой ножик?

— «Что?! Какой ножик?» — передразнил меня отец. — Что? Какой ножик? Золотой ножик! Нашего жильца ножик, босяк ты этакий! Кхе-кхе-кхе...

— Что ты пристал к ребенку? — вмешалась мама. — Он ничего не знает, а ты морочишь ему голову: ножик, ножик...

— Ножик, ножик! Как это так — он ничего не знает? — сказал сердито отец. — Все утро только и разговору, что о ножике. Ножик, ножик, ножик!.. Весь дом перерыли из-за ножика, а он спрашивает: «Что? Какой ножик?» Ну иди уж, умывайся, ты, балда! Кхе-кхе.

Благодарю тебя, господи, что меня не обыскали. Но что делать дальше? Надо немедленно запрятать ножик в надежное место... Куда его спрятать? Ага! На чердак. Я быстро вынул его из кармана и сунул за голенище сапога... Я ел, но не знал, что ем. Я давился едой.

— Что ты так торопишься? — спросил отец.

— Я спешу в хедер, — ответил я ему и почувствовал, что покраснел как мак.

— Какое прилежание! Как вам нравится этот праведник! — заворчал отец и зло посмотрел на меня.

Наконец-то я поел и прочел молитву.

— Ну, отчего же ты не идешь в хедер, праведник мой? — спросил отец.

— Что ты все гонишь его? — сказала мама. — Дай ребенку посидеть минутку.

Я на чердаке. Ножик уже лежит за стропилами, лежит и молчит.

— Что ты полез на чердак, подлец, мошенник ты этакий? — закричал отец. — Кхе-кхе-кхе...

— Я ищу здесь кое-что, — ответил я ему, чуть не упав от испуга.

— Кое-что? Что значит «кое-что»? Что это такое — «кое-что»? Что это такое — «кое-что»?!

— Ищу Тал... ста... старый Талмуд.

— Что? Талмуд? На чердаке? Ах ты, мерзавец, мошенник, подлец этакий! Сию минуту слезай! Вот ты получишь у меня, прохвост этакий, кхе-кхе.

Но меня уже не смущает гнев отца, я боюсь только, как бы не нашли ножик. Почему бы и нет? Могут же они как раз сегодня развесить там белье или пойти замазать трубу. Нет, надо ножик оттуда забрать и

спрятать в более надежное место. Я трепещу при каждом взгляде отца, мне кажется, что он уже нашел место для ножика. Прекрасное место. Где? В земле. В ямочке у стены. Сверху я ее прикрыл соломой, чтобы потом найти это место. Я возвращаюсь из хедера — и сразу во двор, тихонечко откапываю свой ножик. Однако я не успеваю досыта налюбоваться им, как уже слышу крик отца:

— Куда ты опять пропал? Почему ты не идешь молиться, ты ломовик, водовоз? Кхе-кхе-кхе...

Но как бы ни преследовал меня отец, как бы ни избивал меня ребе, все это чепуха в сравнении с тем удовольствием, какое я получаю, когда, вернувшись из хедера, встречаюсь с моим дорогим, с моим единственным любимым товарищем — с моим ножиком! Но это удовольствие причиняет мне столько страдания, оно отравлено постоянной тревогой, боязнью и страхом, ужасным страхом.

4

Лето. Солнце садится. Воздух становится прохладнее. Трава благоухает. Лягушки квакают. Кло-чья облаков проплывают мимо луны, желая ее проглотить. Белая, серебристая луна то прячется, то снова показывается. Кажется, что она несется, несется и все же стоит на том же месте. Отец садится на траву полураздетый, в одном кафтане. Одной рукой он держится за грудь, другой шарит по земле, смотрит на звездное небо и кашляет... Луна освещает его мертвенно-бледное лицо. Он сидит как раз на том месте, где закопан ножик. Он не знает, что там под ним! Что было бы, если бы он знал! Что бы он сказал? Что было бы со мной?

Ага, думаю я, ты забросил мой старый ножик, но у меня теперь есть лучший, более красивый. Ты сидишь на нем и ничего не знаешь. Ай-яй-яй, отец, отец!

— Что ты вылупил на меня глаза, как кот? — кричит отец. — Что ты сидишь сложа руки, как помещик? Тебе совсем делать нечего, что ли? А вечернюю молитву ты уже прочитал, чтобы ты не сгорел, чтобы ты не сдох? Кхе-кхе...

Когда отец говорит «чтобы ты не сгорел, чтобы ты не сдох», это означает, что он не сердится. Наоборот,

это означает, что он в хорошем настроении. И действительно, можно ли быть плохо настроенным в такую чудную летнюю ночь, когда каждого тянет на улицу, на свежий, чистый воздух! Все — на улице: отец, мать и маленькие дети, которые ищут камешки и играют в песке. Господин Герц Герценгерц тоже ходит по двору без шапки, курит сигару и напевает немецкую песенку, смотрит на меня и смеется... Он смеется, очевидно, над тем, что отец прогоняет меня. А я смеюсь над ними над всеми. Скоро они все пойдут спать, а я побегу во двор (я сплю в сених на полу, так как в доме несносная жара) и буду играть и наслаждаться моим ножиком.

Все спят. Кругом тишина. Я незаметно поднимаюсь и на четвереньках, как кошка, крадучись пробираюсь во двор. Ночь тиха. Воздух чист и прекрасен. Медленно подползаю к тому месту, где зарыт ножик. Тихонько откапываю его и разглядываю при свете луны. Он блестит, он сияет, как золото, как алмаз. Я поднимаю глаза и вижу — луна смотрит прямо на меня, на мой ножик. Почему она так смотрит? Я отворачиваюсь — она продолжает смотреть. Я закрываю ножик рубашкой — она продолжает смотреть. Она, наверное, знает, что это за ножик и где я его взял... Как взял? Я же его украл!

Впервые, с тех пор как ножик стал моим, это страшное слово приходит мне на ум. Украл? Значит, я вор! Просто — вор. А в Торе, в десяти заповедях, большими буквами написано:

«НЕ УКРАДИ»

А я украл. Что они со мной сделают в аду? Ой, мне отрубят руку, которая украла... Меня будут жарить на раскаленных сковородах... Вечно, вечно буду я гореть в огне. Надо отдать ножик... Надо положить ножик обратно. Не надо мне краденых ножиков... Завтра же я положу его обратно. Я прячу ножик за пазуху, он жжет меня. Нет! Надо его спрятать, закопать в землю до завтра. А луна все смотрит. Чего она смотрит? Луна все видит. Она — свидетельница... И я тихонько вползаю обратно в сени, ложусь на свое место, но уснуть не могу. Ворочаюсь с боку на бок, не могу уснуть... Только на рассвете я уснул, и мне снилась луна, железные прутья, мне снились ножики. Рано утром я про-

снулся, горячо помолился богу и, впопыхах проглотив свой завтрак, побежал в хедер.

— Что ты так торопишься в хедер? — спросил отец. — Что это тебя так несет? Ничего не случится, если придешь попозже! Ты лучше помолись после еды как следует и не пропускай в молитве слов. Еще успеешь безбожничать, бесстыдник ты этакий, нечестивая душа! Кхе-кхе...

5

— Почему так поздно? Посмотри-ка сюда, — сказал мне ребе и показал пальцем на моего товарища Берла Рыжего, стоявшего в углу с опущенной головой. — Ты видишь, шалопай? Знай, что с сегодняшнего дня его зовут не Берл Рыжий, как до сих пор. Нет! У него теперь более красивое имя. Теперь его зовут Береле-вор. Повторите, дети, за мной: «Бе-ре-ле-вор! Бе-ре-ле-вор!...»

Я стою как окаменелый, мороз подирает меня по коже. Я ничего не понимаю.

— Что ты молчишь, остолоп этакий? — кричит ребе, залепив мне пощечину. — Почему ты молчишь, дурень этакий, ты же слышишь, все поют? Пой и ты: Береле-вор! Береле-вор!

У меня дрожат руки и ноги. Зуб на зуб не попадает. Но я подпеваю:

— Береле-вор! Береле-вор!

— Громче, бездельник этакий, — кричит ребе. — Громче! Громче!

И мы хором кричим изо всех сил:

— Береле-вор! Береле-вор!

— Тише, — неожиданно останавливает нас ребе, хлопнув рукой по столу. — Тише, сейчас мы будем его судить. Ну-ка, Береле-вор, — говорит он нараспев, — подойди-ка сюда, мое дитя, живет, живет немного. Скажи-ка, мальчик, как тебя зовут?

— Берл.

— А как еще?

— Берл... Берл... вор...

— Вот так, молодец, мой родной, — поет ребе. — А сейчас, малютка, дай тебе бог здоровья, стяни-ка с себя одежду, пожалуйста! Вот так, вот так, скорей, умоляю тебя! Вот так, мой дорогой Береле!..

Берл остался совершенно голый, в чем мать родила. Он был страшно бледен и стоял совершенно неподвижно, с опущенными глазами, настоящий покойник!

Ребе вызвал одного из старших учеников и спросил его:

— Ну-ка, Гершеле-большой, выйди сюда ко мне поскорей, вот так, и Расскажи нам подробно, как Береле стал вором, а вы, ребята, слушайте внимательно.

И Гершеле-большой начал рассказывать историю о том, как Берл позарился на кружку Меера-чудотворца *, в которую его мать опускала каждую пятницу вечером копейку, а то и две... Как Берл крал оттуда деньги, хотя на кружке висел замок; как Берл при помощи соломинки, обмазанной смолой, вытаскивал из этой кружки копейку за копейкой, как мать его, Злата-хрипая, заметила это, открыла кружку и нашла там соломинку, обмазанную смолой; как Злата-хрипая пожаловалась на него; как после розог, полученных от ребе, Берл сознался, что он весь год таскал копейки из этой кружки и затем каждое воскресенье покупал на эти деньги два пряника и рожки и т. д., и т. д.

— А теперь, ребята, судите его! Вы сами знаете как. Это вам не впервые. Пусть каждый скажет свой приговор вору, таскавшему копейки из благотворительной кружки. Гершеле, скажи ты первый, как наказать вора, таскавшего соломинкой копейки из благотворительной кружки?

Ребе склонил голову набок, зажмурил глаза и подставил правое ухо Гершеле. А Гершеле ответил во весь голос:

— Вор, таскающий копейки из кружки, должен быть высечен до крови.

— Мойшеле, как наказать вора, таскавшего копейки из благотворительной кружки?

— Вора, таскавшего копейки из благотворительной кружки,— ответил Мойшеле плачущим голосом,— надо разложить, двое должны держать его за голову, двое за ноги, а еще двое должны сечь его розгами, вымоченными в рассоле.

— Тепеле Тутарету, как наказать вора, таскавшего копейки из благотворительной кружки?

Копеле Кукареку, мальчик, который не умел произносить букв «к» и «г», вытер нос и пискливо пропел свой приговор:

— Вор, таставший топейти из тружти, натазывается

тат: все мальчиги должны близко подойти и стазать ему в лицо три раза во весь долос: вор! вор! вор!

В хедере раздался громкий хохот. Ребе пощекотал большим пальцем адамово яблоко, как бы настраивая голос, и, напевая, как кантор в синагоге, вызвал меня.

— Да предстанет перед нами Шолом, сын Нохума! Скажи нам, дорогой Шоломка, твой приговор вору, таскавшему копейки из благотворительной кружки.

Я хотел ответить, но язык мне не повиновался. Я дрожал как в лихорадке. Я задыхался. Обливался холодным потом. В ушах у меня шумело. Я не видел перед собой ни ребе, ни голого Берла-вора, ни товарищей, я видел только ножики, одни лишь ножики — белые, открытые, со множеством лезвий. А там, у дверей, висела луна. Она смотрела на меня и улыбалась, как человек. У меня закружилась голова, пред глазами завертелось все — хедер, столы, книги, товарищи, луна, висевшая у двери, ножики. Я чувствовал, что у меня подкосились ноги. Еще секунда, и я бы упал. Но, собрав все силы, удержался на ногах.

Пришел домой вечером, чувствую — лицо горит, в ушах — шум. Слышу, со мной говорят, но не понимаю о чем. Отец что-то сказал, рассердился, хотел меня ударить; мать заступилась, прикрыла меня передником, словно наседка, которая крыльями прикрывает своих птенцов от нападения. Я ничего не слышал, да и слышать ничего не хотел. Мне хотелось только, чтобы скорее наступила ночь и я мог бы избавиться от ножика. Что делать? Сознаться и отдать его? Тогда меня ожидает участь Берла. Подбросить? А вдруг заметят... Забросить — и конец, только бы избавиться от него! Но куда его бросить, чтобы не нашли? На крышу? Но могут услышать стук. В огород? Но там его могут найти. Ага, я знаю. Выход есть! Бросить в воду! Честное слово, прекрасный выход! В воду, в колодец у нас во дворе. Эта мысль мне так понравилась, что я больше не хотел думать. Я достал ножик и помчался к колодцу, но мне казалось, что в руках у меня не ножик, а что-то отвратительное, гадюка, от которой надо поскорее избавиться. А все-таки было жаль! Такой чудный ножик! Жалко мне было его! Но я набрался решимости и выпустил ножик из рук... Плюх! Раздался плеск, и больше ничего... Нет ножика! С минуту я еще постоял у колодца, ничего не слышно. Слава тебе господи, избавился! Но сердце сжималось от боли. Такой ножик!

Такой ножик! Такой ножик! Я возвращался к себе, чтобы лечь в постель, и видел, как луна будто следила за мной. Мне казалось, она видела все, и я точно слышал голос издалека: «А ты все-таки вор! Лови! Бей вора! Бей вора!»

Я пробрался в сени и лег спать. Мне снилось, что я бегу, что я парю в воздухе с ножиком в руках, а луна смотрит на меня и кричит: «Лови! Бей вора! Бей вора!»

6

Долгий, долгий сон. Тяжелые, гнетущие сновидения. Горю как в огне. В голове шум. Перед глазами — красная пелена. Меня секут раскаленными прутьями, и я обливаюсь кровью. Вокруг меня кишат скорпионы, и змеи разевают пасти, хотят меня сожрать. Вдруг раздался трубный глас, возопивший: «Секите его! Секите его! Он вор!»

А я кричу:

— Уберите луну! Отдайте ей ножик! Зачем вы издеваетесь над Береле? Он невиновен. Это я — вор! Это я — вор!

И больше я ничего не помню.

Я открыл один глаз, потом другой. Где я? Кажется, в постели? Что я тут делаю? Кто это сидит у кровати на стуле? А, это ты, мама?.. Мама! Она не слышит. Мама! Мама! Мама! Что это значит? Ведь я как будто кричу изо всех сил! Тише! Я прислушиваюсь. Она плачет. Она тихо плачет. Я вижу и отца, его болезненно-желтое лицо. Он сидит над Талмудом, что-то тихо шепчет, кашляет, стонет и вздыхает. По-видимому, я умер. Умер? И вдруг у меня в глазах посветлело, стало легко голове, стало легко всему телу. Зазвенело в одном ухе, потом в другом. Я чихнул.

— На здоровье! На здоровье! Это — хорошая примета. Поздравляем. Благословен ты, господи!

— К слову чихнул, правда! Хвала всевышнему!

— Велик бог! Наш мальчик будет здоров, господь помог, да будет благословенно имя его!

— Нужно поскорее позвать Минцу, жену резника. Она хорошо знает заговор от дурного глаза.

— Доктора надо бы позвать, доктора!

— Доктора? Зачем? Чепуха... «Он» — доктор. Все-вышний — самый лучший целитель, да будет благословенно имя его.

— Расступитесь, пожалуйста, расступитесь! Здесь страшно душно. Бога ради, расступитесь!..

Все вертелись вокруг меня, все смотрели на меня. Каждый подходил и щупал мою голову. Меня заговаривали, шептали надо мной, лизали мне лоб и сплевывали; за мной ухаживали, вливали мне в рот горячий бульон, пичкали вареньем. Все толкались около меня, оберегали как зеницу ока, закармливали бульоном, курятиной, не оставляли меня ни на минуту одного, как малое дитя. Постоянно около меня сидела мать и все снова и снова рассказывала мне, как меня подняли с земли полумертвого; как две недели подряд я лежал в страшной горячке, квакал жабой и все бредил о розгах и ножиках. Думали, что я помру. Вдруг я чихнул семь раз и сразу ожил.

— И мы сейчас видим, как велик бог, да будет он благословен,— заканчивала свой рассказ мама со слезами на глазах.— А сколько нами было пролито слез, и мной, и отцом, пока господь не сжалился над нами!.. Чуть-чуть не потеряли ребенка, лучше бы я умерла вместо него. Из-за кого, из-за чего все это? Из-за какого-то мальчишки, из-за какого-то Берла-воришки, которого ребе высек до крови. Когда ты пришел из хедера, ты уже был ни жив ни мертв. Вот разбойник, вот злодей, накажи его бог! Нет, дитя мое, если бог даст и мы доживем, пока ты станешь на ноги, мы тебя отдадим к другому ребе, а не к такому душегубу и разбойнику, как этот Ангел смерти, будь он проклят!

Эта весть меня очень обрадовала, я обнял мать и крепко поцеловал ее.

— Милая, милая мама!

Подошел отец, положил мне на лоб свою бледную, холодную руку и мягко, без всякого гнева сказал:

— Ну и напугал ты нас, разбойник этакий! Кхе-кхе...

А еврейский немец, или немецкий еврей, господин Герц Герценгерц с сигарой во рту наклонил ко мне свою бритую физиономию, погладил меня по щеке и сказал по-немецки:

— Гут ¹, гут! Здоров!

¹ Хорошо (нем.).

Через две недели после моего выздоровления отец сказал мне:

— Ну, сын мой, ступай в хедер и выбрось из головы все эти ножики и все эти глупости. Пришло время стать тебе человеком. Тебе уже десять лет, и через три года, если господь пожелает, ты уже сам будешь отвечать перед богом за свои поступки.

Такими теплыми словами проводил меня отец в хедер к новому ребе, Хаиму Котеру.

Впервые я услышал от моего сердитого отца такие добрые, такие нежные слова, и я мгновенно забыл все его придирки, все его проклятья, оплеухи, как будто бы всего этого никогда и не было. Не будь мне стыдно, я обнял бы и расцеловал его, но... кто же это целует отца?

Мать дала мне с собой в хедер целое яблоко и две полушки. Немец тоже подарил мне две копейки, потрепал по щеке, сказал по-немецки:

— Прекрасный мальчик! Гут, гут!

Я, словно новорожденный, взял Талмуд под мышку и с чистым сердцем, с чистой и ясной головой, с новыми думами, со свежими, честными, набожными мыслями отправился в хедер. Солнце смотрит на меня, приветствует меня своими теплыми лучами. Ветерок, крадучись, забирается ко мне в волосы, птички весело щебечут. Меня как бы несет по воздуху, хочется бежать, прыгать, танцевать. Ах, ах, как хорошо, как сладко сознание, что ты живешь, что ты честен, что ты не вор и не лгун!

Я крепко-крепко прижимаю к груди Талмуд и, радостный, мчусь в хедер. И я даю клятву на Талмуде, что никогда не трону ничего чужого, никогда ничего не украду, никогда ничего не утаю, я буду всегда честен, честен, честен!

ФЛАЖОК

1

Дети! Послушайте рассказ о том, как я, сын бедняка, приобрел к празднику Торы флажок. Я расскажу вам, каких трудов мне стоило раздобыть его и как быстро я его потерял. Да, бог меня наказал. Уж достался мне этот флажок...

Когда я был маленьким — вот таким, как вы, — меня все называли «*Топеле Тутарету*», что, собственно, означало «Копеле Кукареку». И знаете почему? По двум причинам: во-первых, у меня был тоненький, пискливый голосок, как у молодого петушка; во-вторых, я не умел произносить «к» и «г», вместо них у меня получалось «т» и «д». И, как на беду, моего отца звали Калмен, маму — Гита Калменова, меня — Копл, сын Гиты Калменовой, а учителя — Гершн-Горгл из Галгановки.

— Мальчик, как тебя звать? — спрашивали меня.

— Топл, сын Диты Талменовой.

— Громче!

— Топл, сын Диты Талменовой.

— Еще громче!

Я кричу во весь голос:

— Топл, сын Диты Талменовой.

— У кого ты учишься?

— У Дершона-Дордла из Далдановти!..

Все смеются. Людям — смех, а мне — слезы.

И не потому я плачу, что все надо мной смеются, а потому, что из-за моего произношения мне часто достаются пинки и колотушки. Все кому не лень измываются надо мной: отец, мать, сестры, учитель, товарищи... Все хотят научить меня говорить «по-человечески».

Однажды учитель вставил мне между зубов дощечку торчком и велел всем ученикам плевать мне в рот — авось это меня вылечит. Но тут в дело вмешался столяр реб Зяма, сосед учителя:

— Чего зря ребенка мучить! Дайте его мне на одну минуту — я мигом научу его говорить «по-человечески», вот увидите.

С этими словами столяр реб Зяма взял меня за подбородок и сказал:

— Смотри на меня, мальчик, и повторяй за мной: «Кухар-ка ки-да-ет-с-я клец-ка-ми».

Глядя в упор на столяра, я говорю:

— Ту-хар-та ти-да-ет-с-я тлец-та-ми.

— Не так! — поправляет меня реб Зяма. — Смотри мне прямо в рот и повторяй за мной: «Солн-це скро-ет-ся в обла-ках».

Я смотрю ему в рот и говорю:

— Солн-це стро-ет-ся в обла-тах.

— Нет, глупенький! — снова поправляет меня реб

Зяма.— Ты говоришь: «В облаках». Не надо так говорить. Скажи: «В облаках, в облаках, в облаках!»

— В облаках, в облаках, в облаках!

Тут реб Зяма даже рукой махнул.

— Знаете, что я вам скажу,— это напрасный труд! Горбатого могила исправит. Он на веки веков калека!

2

Обзавестись к празднику Торы флажком, и притом настоящим, разукрашенным по всем правилам, с хорошим древком, с яблоком, надетым на древко, и со свечой, воткнутой в яблоко,— казалось мне тогда недостижимым счастьем. Я и мечтать о нем не смел. Мало ли есть на свете заманчивых вещей! Есть же у нас в хедере мальчики, у которых всегда найдутся деньги на покупку ножика, кошелька, тросточки. Есть даже такие, которые каждый день едят конфеты и щелкают орехи, не говоря уже о блинах и бубликах; наконец, есть и такие, которые едят белую булку в будни... Счастливы!

Ах, деточки, я в будни никогда белой булки не ел! Я бывал рад-радешенек, когда мог поесть досыта и черного хлеба. Мы были — не про вас будь сказано! — горькие бедняки, нищая, горемычная семья, хотя и очень трудолюбивая. Отец, царство ему небесное, был помощником служки в пристройке синагоги мясников. Мать, царство ей небесное, была мастерица печь ржаные коврижки, а сестры принимали в надвязку чулки.

Верите ли, мне ни разу за все мои детские годы не пришлось пообедать настолько сытно, чтобы тотчас же не захотелось поесть еще чего-нибудь.

Нечего и говорить, что у меня никогда не было медного гроша — такое счастье мне и во сне не снилось.

И вот представьте себе: я, Копл Кукареку, внезапно разбогател! Да, у меня появились деньги, я стал обладателем капитала в двадцать две копейки!

Вы думаете: произошло чудо? Скажем, какой-нибудь барин потерял, а я нашел? Вот вы и не угадали. Или вы, чего доброго, подозреваете, что я нажил эти деньги каким-нибудь неблагоприятным способом: что я вытащил их из общественной кружки? Пусть господь хранит вас от таких мыслей. Нет, верьте мне, свой капитал я нажил

честным трудом: я заработал его своими... ногами...

Было это в праздник пурим. Отец поручил мне разносить гостинцы прихожанам своей маленькой синагоги. Раньше эта работа поручалась одной из моих старших сестер. Но теперь, когда я чуть-чуть подрос, отец сказал, что и мне уже пора быть чем-нибудь полезным семье. Я взял в руки подносик с пирогом и, шлепая босыми ногами по холодной, скользкой грязи, обошел всех прихожан. Из грошей, которые мне давали за труд, составилась капитал в двадцать две копейки — один серебряный двугривенный и четыре медные поллушки.

3

Оказавшись обладателем такой — не сглазить бы! — уймы денег, я стал прикидывать, что с ними делать.

И тут явились два советчика — дух добра и дух зла — и принялись мучить и терзать мою душу. Дьявол-искуситель нашептывал:

— Какой смысл беречь деньги, дурак ты этакий? Купи себе какое-нибудь лакомство, ну, скажем, маковник у Пирондички или хотя бы мороженое яблоко! Наслаждайся своим богатством!

— Потакать утробе? — запротестовал я. — Этак можно в один день и весь капитал проесть. Нет, ни за что!

— И правильно! — поддакивал дух добра. — Лучше отдать деньги маме взаймы! Ах, как они ей пригодятся!

— Умница! — говорю. — Хочешь, чтоб они пропали? Из каких шишей она тебе вернет долг?

— Как она, бедная, мучается! — шепнул мне дух добра. — Думаешь, легко ей платить меламену за твое ученье?

— При чем тут плата за ученье? — огрызнулся дьявол-искуситель. — Купи себе лучше белый свисток с красными крапинками или острый ножик с двумя клинками, да еще в медном футлярчике. А не то купи кошелек с хорошим замочком.

— А что ты положишь в кошелек? — язвительно спросил дух добра. — Нищету свою?

— Пуговицы! — ответил дьявол-искуситель. — Напи-
хаешь полный кошелек пуговиц. Все в хедере будут
думать, что это деньги, и позавидуют тебе...

— А какая тебе от этого радость? — возразил дух
добра. — Послушай меня — раздай деньги нищим. Гос-
подь зачет тебе это доброе дело. Бедняки ведь с
голоду помирают.

— Бедняки? — с издевкой воскликнул дух зла. —
А сам-то ты не бедняк и не сын бедняка? Ты ведь
и сам никогда сыт не бываешь! Конечно, легко быть
щедрым за чужой счет. Почему тебе никто никогда
не подавал, когда у тебя не было ни гроша за ду-
шой?..

4

Чуть-чуть не соблазнил меня все-таки дья-
вол-искуситель.

Учился со мной вместе в хедере мальчик Элик, сын
богатых родителей. В карманах у него всегда было
полным-полно всякого добра. Но чтобы хоть чем-нибудь
угостить товарищей — ни за что на свете! Это было
не в его натуре. Проси не проси, хоть тресни, — он и
понюхать не даст! И вот этот самый Элик неожиданно
стал почему-то подлаживаться ко мне: сладенько улы-
бается, льнет, всячески норовит завязать со мной тес-
ную дружбу.

— Знаешь, что я тебе скажу? — обратился он од-
нажды ко мне. — Ты славный малый. Ей-богу! Я люблю
тебя за то, что ты никогда не попрошайничаешь,
как другие: «Дай, мол, мне кусочек! Дай попробовать!»
Ненавижу попрошаек!.. Хочешь кусок конфетки?

— Тусок тонфетти? Отче́до же, с удовольствием! —
ответил я.

— Ну, а орешки пощелкать ты бы не прочь? —
спросил он.

— Орешти? — говорю. — Отче́до же нет? Будь у
меня орешти, я бы с удовольствием пощелтал.

Элик засунул руку в карман. «Вот-вот, думаю, вы-
тащит он конфетку или орешек и протянет мне». Не
тут-то было! Он продолжал:

— Я дам тебе полмармеладки и три орешка, если...
ты согласишься поменяться со мной. Хочешь поменяться?

— Меняться? — спросил я. — Чем?

— Я,— говорит,— дам тебе мой ножик. Знаешь, мой белый ножик? Настоящий завьяловский!

Странный вопрос! Знаю ли я белый ножик Элика? Да кто ж его не знает? Сколько раз этот ножик был предметом моей жгучей зависти! Сколько раз он мне снился!

— Ну, а я-то? — спросил я с недоумением. — Что я могу дать тебе взамен?

— Ты,— говорит,— дашь мне свой серебряный двугривенный.

— Соглашайся! — подзадоривал меня дьявол-искуситель. — Бери ножик. Это отличный ножик! Это отличный ножик! Все мальчики тебе будут завидовать.

Я уже собрался было выложить деньги на стол, но спохватился:

— Умнит татой! За двудривенный можно тупить новый ножик.

— Такой, как у меня? — возмутился Элик. — После дождичка в четверг!.. Постой, знаешь что? Я тебе дам еще полдюжины пуговиц в придачу.

— За деньди,— говорю,— можно тупить десять тысяч дюжин пудовиц.

— Ну, а конфеты,— говорит,— а орешки — не деньги?.. Знаешь что? Обещаю тебе и клянусь честью: всякий раз, когда ты у меня что-нибудь попросишь, я буду давать тебе без отказа. Вот у меня есть железный гвоздь, смотри. Даю тебе этот гвоздь даром, ничего за него не возьму. Смотри, какой гвоздь!

— А на что,— говорю,— мне двоздь?

— Пригодится, глупенький,— отвечает он. — Можешь забить его куда угодно. А хочешь, можешь им ямку выкопать.

— А зачем мне,— говорю,— ямти топать?

— Я тебе разрешу,— говорит,— пользоваться моим молитвенником.

— А для чего,— говорю,— мне чужие молитвенники? У меня есть свой.

— Я тебе дам примерить мой субботний картузик.

— А на что,— говорю,— мне примерять чужие тартузиты?

— Не хочешь? Тебе все мало? Так на ж тебе, на! — крикнул Элик, ткнув меня кулаком в бок. — Как вам понравится этот нищий, этот голоштанник? Я ему и ножик, и пуговицы, и конфеты, и орешки, и гвоздь,

и молитвенник, и картузик примерить — все ему мало! Ненасытная утроба у этих нищих, — сколько в нее ни пихай, они просят еще и еще! Думает, ежели у него есть серебряный двугривенный, ему и сам черт не брат. Погоди, Топеле Тутарету, ты еще у меня доиграешься! Боком выйдет тебе твой двугривенный!.. Нехемья, на вот, дарю тебе этот гвоздь!..

И Элик подарил гвоздь Нехемье (это был хромой и очень бедный мальчик). А со мной у него с тех пор дружба врозь.

5

Вам, конечно, интересно знать: для чего я все же припрятал деньги?

Во-первых, на пирушку, которую хедер устраивает ежегодно в складчину на праздники лаг-боймер *. В этот день все мальчики приносят в хедер каждый свою лепту: кто деньги, кто съестное, кто лакомства. Один только я всегда приходил со своим обычным завтраком: кусок хлеба с чесноком. И всегда у меня лицо горело от стыда. Хоть меня и принимали в компанию наравне со всеми, но я чувствовал, что это делается из жалости. Это отравляло мне всю радость веселого детского праздника... «Теперь, — с гордостью думал я, — не нужна мне их доброта, не нужна их жалость. Слава богу, у меня у самого в кармане позвякивают деньжонки. И если такой папенькин сынок, как Элик, вносит четвертак, то будет достаточно, если я внесу копейку. Ведь я против Элика — ничто, нищий! А если я дам не копейку, а целый пятак, — благородно это с моей стороны, как вы думаете? Так вот: я даю гривенник, и знайте, кто такой Копл Кукареку...»

И я бросил в общую копилку целый гривенник. Остальную сумму я приберег до другого раза.

Летом, когда начали поспевать ягоды и фрукты и на рундуке у Пирондички появились крыжовник и смородина, на меня снова насел дьявол-искуситель.

— Видишь, — говорит, — зеленый крыжовник? А вот погляди-ка, что за чудесная красная смородина!

— От зеленых ягод, — говорю, — только оскомину набьешь.

Тут даже дух добра пришел дьяволу на помощь.

— На свежую ягоду, — говорит, — и на фрукты

установлена особая молитва. Отведай и помолись. Сделаешь богоугодное дело.

— Молитва,— говорю,— от меня не уйдет. Лето еще впереди: дойдет свой черед до вишни и до сливы, до яблок и до груш, до дынь и арбузов... Лучше уж я сохраню деньги до праздника кущей и куплю себе флажок.

Решено и подписано: я поберегу, с божьей помощью, деньги к празднику кущей и куплю себе флажок.

6

Наступил наконец праздник кущей, и я купил бумажный флажок — большой, ярко-желтый, расписанный и разрисованный с обеих сторон.

На одной стороне были изображены два зверя, напоминавшие кошек. Но в действительности это были львы, разинувшие свои пасти, из которых высовывались длинные языки. На языках были нарисованы свистелки; по-видимому, они должны были обозначать трубные рога, потому что на них крупными буквами было начертано: *«Фанфарами и трубными звуками»*.

Внизу, подо львами, было напечатано: справа — *«Знамя воинства иудейского»*, а слева — *«Знамя воинства Эфраима»*.

Так была расписана одна сторона флажка. Обратная сторона была куда красивее. Там были портреты *Моисея и Аарона*. Как живые стояли они: Моисей — в большом картузе, надвинутом на брови, а Аарон — с золотым ободком на рыжей шевелюре. Посередине, между Моисеем и Аароном, была намалевана плотная толпа евреев. Все держали свитки Торы. Намалеванные люди были похожи друг на друга как две капли воды: все в длинных, совершенно одинаковых кафтанах; все в туфлях и белых чулках; у всех пояса повязаны чуть пониже живота; у всех подняты ноги для пляски; и все поют, если судить по надписи: *«Радуйтесь и веселитесь в праздник Торы»*.

Имея флажок, надо обзавестись и древком. Пришлось прибегнуть к помощи столяра реб Зямы, того самого, который когда-то пытался научить меня говорить «по-человечески».

— Что скажешь хорошего, Тепеле Тутарету?

— Древто т флажту...

— «Древто»! Что это означает? Не понимаю.

— Ну,— объясняю я,— тусочет дерева, чтобы при-трепить т нему флажот.

Реб Зяма шутил и насмехался надо мной до тех пор, пока я не разревелся. Тут только он смягчился, стал ласков и забросил все дела. Он взял кусок дерева, обстрогал его, раз-два — древко готово.

Теперь не хватало яблока и свечи. Свеча должна быть, конечно, восковая, а не стеариновая: если стеарин капнет на яблоко, оно осквернится, станет негодным к употреблению. А воск — другое дело, воск пищи не оскверняет.

Воску же у меня, понятно, больше, чем у кого бы то ни было из мальчиков. Мало того, когда кому-нибудь в хедере нужен воск, больше не к кому было обратиться, кроме как ко мне. Ведь мой отец — помощник синагогального служки. И весь воск, остающийся от догоревших в Судный день свечей, принадлежит ему по праву — это одна из его доходных статей. Из этого воска отец делает тоненькие свечки для других праздников и продает их. А все, что при выделке свечей падает на пол, принадлежит мне — это моя доходная статья.

Одним словом, у меня уже есть все, что требуется!

7

Вечером восьмого дня кушей с флажком, насаженным на древко, поверх которого торчало румяное яблоко с вставленной восковой свечой, я отправился в синагогу, к хакофам, веселый, радостный, как принц, как королевич, счастливее которого нет в мире!

И чудится мне, будто я уже в синагоге и занимаю самое почетное место, в восточном углу, рядом с детьми состоятельных родителей. Пылают свечи. Мой флажок красивее всех других флажков; мое яблоко румянее всех прочих яблок; моя свеча больше, чем другие свечи. В синагоге тесно и душно. Много женщин и девушек пришли поцеловать свитки Торы. Торжественное шествие вокруг амвона возглавляет кантор реб Мейлах. Широко расправив полы своего молитвенного облачения, он выступает впереди всех с видом фельд-маршала и надтреснутым, жестяным голосом поет:

«Помогающий обездоленным, помоги нам!» Женщины и девушки бегут навстречу торжественной процессии, целуют свитки Торы и визгливо выкрикивают: «Дай вам бог дожить до будущего года! Дай вам бог дожить до будущего года!» На что им отвечают: «И вам того же! И вам того же!»

Но прежде чем спуститься в подвал, где помещается синагога мясников, приходится пройти мимо нескольких синагог и молелен местечка. Надо вам сказать, что все синагоги, все «молитвенные дома» и все молельни расположены у нас в местечке на одной улице, рядом, почти что в одном дворе. Недаром весь участок так и называется: синагогальный двор.

Это своего рода одна огромная синагога. Летом, когда все окна открыты настежь, к вам в уши врывается многоголосый гул, и вы одновременно слышите разные молитвы: и заздравные, и заупокойные, и псалмы, от первого стиха до «аллилуйя».

Два облика имеет наш синагогальный двор — будничный и праздничный. В будни это базар, на котором торгуют молитвенниками и разными предметами религиозного обихода, гнилыми яблоками, грушами, семечками, бобами, маковниками, бубликами и конфетами. На траве располагаются как дома местечковые козы и, тряся бородками, непрерывно жуют свою жвачку. Но лишь только наступает суббота либо праздник, синагогальный двор резко меняется. Нет ни базара, ни торговли, ни коз. Двор кишмя кишит людьми, которые, собираясь кучками, оживленно беседуют, галдят, тараторят, рассказывают друг другу все новости за неделю и за целый год. Мальчишки из всех хедеров тоже все тут как тут. Они бегают, скачут, снуют взад и вперед, носятся по двору, чувствуя себя как рыба в воде. Господь подарил им чудесный день — свободный от ученья! Осматривая друг у друга новые пиджачки или картузики, мальчики примеряют, чей пиджачок длиннее, у кого голова больше, у кого над ухом волосы короче. При этом, разумеется, не скупятся на взаимные щипки, толчки, колотушки, — словом, здесь весело!

Но наибольшее оживление царит на синагогальном дворе вечером восьмого дня кушей. Мальчики проходят с флажками и разбиваются на группы по возрасту: старшие образуют одну группу, малыши выстраиваются отдельно. Затем начинается взаимное ознакомление: осматривают друг у друга флажки и стараются устано-

вить, у кого древко длиннее, чье яблочко румянее, у кого свеча из стеарина, у кого — из воска. При этом, конечно, обмениваются остротами, шутками и прибаутками. Вот кто-то сыграл шутку: погасил свечу у товарища либо, подкравшись сзади, откусил у него кусок яблока. Взамен он получает пару оплеух и крепкие слова в придачу.

А потом ребята начинают расходиться — каждый в свою синагогу.

8

— Поздравляем! В добрый час! У Топеле Тутарету есть свой флажок! Здорово, парень, нос ошпарен!..

Этими словами приветствовали меня школьные задиры, как только я показался на синагогальном дворе.

Я оглядел флажки товарищей и мысленно сравнил их со своим. Какое может быть сравнение! Ничего похожего! Куда им до моего флажка!

Во-первых, взять флажок сам по себе. Ни у кого он не посажен на древко так прямо, чтобы одинаково хорошо можно было видеть обе его стороны. Ни у кого нет такого ровного, круглого, гладко отполированного древка, как у меня. Ни у кого нет такого гладенького, румяного яблочка. О свече и говорить нечего: у кого еще столько воску, сколько у меня? И уж никому, конечно, не выпало на долю столько пинков и затрещин, сколько я получил от отца, когда он застукал меня за сбором воска...

Я еще раз мысленно сравниваю свой флажок с другими, и гордостью наполняется мое сердце. Мне кажется, будто я расту, становлюсь все выше и шире и поднимаю голову высоко-высоко... Ноги у меня точно оторвались от земли и несут меня легко-легко. Хочется хохотать, кричать, визжать, бешено кружиться.

— А ну-ка, покажи! — окликнул меня изумленный Элик.

Каждый из нас осмотрел флажок другого. «Тоже еще, с позволенья сказать, флажок! — подумал я. — А что за древко! Кочерга, а не древко...»

Видно, что Элик сгорает от зависти. Но я прикидываюсь, будто ничего не замечаю, и отвожу от него глаза.

— Копл! — говорит он мне.— Откуда у тебя такое красивое древко?

— А? — говорю я и поворачиваюсь к нему лицом.

— Где ты раздобыл такое чудесное древко? — переспрашивает он.

— Что? — отвечаю я.— Может, хочешь обменять едо на свой двоздь?..

Элик понял намек. Он сверкнул глазками, шмыгнул носом и, заложив руки в карманы, отошел в сторону. С чувством мстительного злорадства глядел я ему вслед, упиваясь своим превосходством. Но вот он отзывает в сторону хромоножку Нехемью и, кивая в мою сторону, о чем-то с ним шепчется. Мне это ясно видно, но я все еще притворяюсь, будто ничего не замечаю. Минуту спустя ко мне подходит Нехемья, держа в руке флажок Элика с кривым, как кочерга, древком.

— Дай мне, пожалуйста, зажечь свечу, — говорит он.— Видишь, у меня свеча погасла.

— Разве это твой флажот? — спрашиваю я, наклоня свою свечу.— Я ведь знаю, чей это флажот.

Не успел я оглянуться, как Нехемья зажег свечу, поднес к моему флажку и поджег его. Мой флажок воспламенился, и пф-пф-фу — конец флажку!

.....
Если бы камень свалился с неба и угодил мне прямо на голову, если бы дикий зверь стал терзать меня на части, если бы ночью ко мне явился мертвец в белом саване и стал меня душить, я не испытал бы такого чудовищного страха, такого ужаса, какой потряс меня при виде моего древка со сгоревшим флажком. Вопль вырвался у меня из груди:

— Флажот! Боже, мой флажот! Мой флажот!..

Слезы так и брызнули у меня из глаз. Весь мир как-то сразу померк. Древко с яблоком и свечой выпало из моих рук. Я поплелся сам не зная куда. Иду, а слезы, горькие слезы льются и льются. Оплакиваю флажок, как оплакивают покойника. Прихожу домой, одинокий и обездоленный, без флажка, забираюсь в угол, сижу в темноте, уткнув голову в колени, и рыдаю тихо и беззвучно, чтобы никто не видел, чтобы никто не слышал. И задаю вопрос: «За что, боже милосердный? За что, владыка небесный? Чем провинился я перед тобой? За какие грехи караешь ты меня?..»

Знаете, дети, всякой сказке бывает конец — веселый или печальный, но конец приходит обязательно.

У еврейской сказки, к сожалению, конец чаще всего печальный. Есть у нас пословица: не для бедняков счастье. Да что долго рассказывать — подрастете, сами увидите...

История с моим флажком не кончилась на том, о чем я вам только что рассказал. После этого я серьезно заболел и мучился долго-долго; я метался в лихорадке и весь пылал. Перед моими глазами проносились страшные чудовища: змеи, разные пресмыкающиеся с огненными языками, страшные звери с человеческими головами. В ушах раздавались дикие крики, вой кошек, рев неведомых зверей. Меня бросало в жар и в холод; я бредил, я был полумертвец. Никто не верил, что я выживу. В синагоге мясников молились о моем выздоровлении и читали псалмы, как по покойнику. Я был на краю могилы.

Но так как в праздник вообще, а тем более в такой веселый, как праздник Торы, полагается быть веселым, то и моя история с флажком тоже кончается весело.

Во-первых, как вы сами можете видеть, я, слава богу, не умер.

Во-вторых, знайте, что в следующем году у меня был к празднику флажок еще лучше, с еще более красивым древком, с яблоком еще румянее. И сидел я в синагоге в самом почетном углу, у восточной стены, рядом с детьми именитых обывателей нашего местечка. Пылали свечи. Мой флажок выделялся своей красотой.

Торжественное шествие вокруг амвона возглавлял все тот же кантор реб Мейлах, выступавший впереди всех с видом фельдмаршала. Надтреснутым, жестяным голосом он пел: «Помогающий обездоленным, помоги нам!» Девушки и замужние женщины шли навстречу процессии, целовали свитки торы и визгливо выкрикивали: «Дай вам бог дожить до будущего года;», «Дай вам бог дожить до будущего года!» — «И вам того же!», «И вам того же!!».

И вам того же, детки!

ХАНУКАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ

1

— Угадайте, дети, какой праздник самый лучший?!

— Ханука.

Восемь дней подряд не ходишь в хедер, каждый день ешь оладьи с гусиным салом, играешь в разные игры и получаешь от всех ханукальные деньги. Разве может быть что-либо лучше?

Зима. На дворе холодно, стоят трескучие морозы, окна замерзли, покрыты инеем, чудесно разрисованы, а в доме тепло, уютно. Серебряная ханукальная лампада приготовлена еще с полудня. Отец ходит по комнате, заложив руки за спину, и читает вечернюю молитву. Продолжая молиться, он вынимает из столика восковую свечку и обращается к нам (ко мне и к младшему брату Мотлу), говоря восклицаниями и делая знаки рукой:

— И! О! О! И-ну-о!

Мы не понимаем, чего он хочет, и спрашиваем:

— Что — спичку?

Отец показывает на дверь кухни:

— И! О! О! И-о-ну!

— Что? Кухонный нож? Ножницы? Ступку?

— Ах, и-о-ну! Фи! Ими! ¹ Ими! Мать, мать позовите.

Я и мой брат Мотл бежим изо всех сил на кухню.

— Мама, скорее, ханукальные свечки!

— Ой, горе мое, ханукальные свечки! — восклицает мать, бросает все свои работы (у нас резали гусей, теперь топят сало и замешивают оладьи) и бежит в комнаты, а за ней — кухарка Брайна, черноволосая женщина с усами, жирным лицом и вечно измазанными руками. Мать становится в сторонке и делает умильное лицо, а кухарка Брайна грязным фартуком проводит по носу снизу вверх, отчего на нем остается черный след. Мы, я и мой брат Мотл, силимся, сдерживаемся всю, чтобы не прыснуть.

Отец подходит с зажженной свечкой к лампаде, наклоняется и произносит молитву традиционным напевом.

¹ Мать! (древнеевр.)

Мать благоговейно произносит «аминь», Брайна набожно качает головой и при этом делает такое плаксивое лицо, что я и мой брат Мотл боимся взглянуть друг на друга.

— «Эти свечи, которые мы зажигаем», — распевает отец, расхаживая по комнате и кидая время от времени взор на лампаду.

Молитва тянется без конца. Нам хочется, чтобы он кончил и взялся за карман, вынул наконец кошелек. Мы перемигиваемся, подталкиваем друг друга:

— Мотл, пойді попроси у него ханукальные деньги.

— Почему это мне просить?

— Так ты моложе, тебе полагается просить.

— А по-моему, как раз наоборот, ты старший, тебе и полагается просить.

Отец отлично слышит, о чем мы толкуем, но притворяется, будто не слышит. Медленно, не спеша, подходит он к столу, открывает ящик и отсчитывает деньги. Легкий озноб проходит у нас по телу, руки дрожат, сердце колотится. Мы глядим на потолок, почесываем затылки, прикидываемся равнодушными, будто нас это и не касается.

Отец кашлянул.

— Гм... дети, подойдите-ка сюда.

— А? Что такое?

— Вот вам ханукальные деньги.

Получив ханукальные, мы идем, я и мой брат Мотл, сначала медленно, как подобает воспитанным детям, потом все скорей и скорей, подпрыгивая и приплясывая, а когда подходим к нашей комнате, мы больше не можем удержаться, кувыркаемся три раза через голову; прыгаем на одной ноге и поем:

Эна, бена, речь,
Квинта, квинта, жечь,
Эна, бена, ряба,
Квинта, квинта, жаба!

И от великой радости и восторга собственными руками даем себе два раза по щеке.

Открывается дверь, входит дядя Беня.

— Ребята, вам следуют ханукальные деньги!

Дядя Беня вынимает из жилета два пятиалтынных и дает нам.

Никто в мире не скажет, что отец и дядя Бенья — родные братья. Отец — высокий, худой, дядя Бенья — низенький, толстый; отец — черный, дядя Бенья — рыжий; отец — меланхолик и молчальник, дядя Бенья — весельчак и говорун. День и ночь, зима и лето, — а все же родные братья.

Отец достает большой лист бумаги, делает на нем белые и черные клетки, велит принести из кухни белой и цветной фасоли.

Мать на кухне топит сало и печет оладьи. Я с братом Мотлом играю в юлу. Отец с дядей Беней садятся за шашки.

— Уговор, Бенья, не брать ходов назад и не плутовать! Сделал ход — пропало, — говорит отец.

— Сделал ход — пропало, — говорит дядя Бенья и подвигает шашку.

— Ход так ход, — говорит отец и бьет шашку дяди Бени.

— Ход так ход, — говорит дядя Бенья и бьет две шашки.

Чем дальше, тем больше они увлекаются игрой, жуют бороду, раскачивают ногами под столом и напевают один и тот же мотив.

— Что делать, что делать, что делать? — говорит отец нараспев и жует кончик бороды. — Если я пойду сюда, он пойдет туда. Пойду я туда, он пойдет сюда. Так лучше сделаем такой ход!

— Такой ход, такой ход! — подпевает ему дядя Бенья на тот же мотив.

— Чего же мне бояться? — напевно тянет отец. — Если он побьет мою шашку, я побью две. А вдруг он вздумает бить три шашки?

— Три шашки, три шашки, три шашки! — подпевает дядя Бенья.

— Ой, и дурак же ты, Бенья! — поет отец и делает ход.

— Сам ты дурак, братец мой, еще больший! — поет дядя Бенья, делает ход и сейчас же спохватывается.

— Фи, Бенья, мы же договорились: ход так ход! — говорит отец уже просто, без напева, и хватается дядю Бенью за руку.

— Вот еще выдумал!.. — говорит дядя Бенья. — Пока я не отнял руки от шашки, ход еще не сделан.

— Нет! — говорит отец. — Сделал ход — пропало, назад не брать.

— Назад не брать! — говорит дядя Беня. — Сколько раз случалось, что ты сам брал ходы назад?

— Я? — говорит отец. — Вот потому-то, Беня, я и не люблю с тобой играть в шашки.

— И не надо, не играй!

— Поздравляю! Уже дерутся из-за фасольки? — говорит мать, появляясь из кухни с раскрасневшимся лицом. За нею Брайна с большим блюдом горячих оладий с гусиным салом. От оладий валит пар. Все идут к столу. Я и мой брат Мотл, которые только что ссорились, царапались, как коты, моментально миримся и усердно принимаемся за олады.

3

Ночью я лежу в постели и думаю: сколько, например, у меня соберется ханукальных денег, если все дяди, все тетки и все родственники дадут мне? Перво-наперво дядя Мойше-Арн, брат моей матери, хотя и очень скупой, но богат; затем дядя Иця и тетка Двойра, с которыми мои родители уже много лет в ссоре. Ну, а дядя Бейниш и тетя Ента? А еще моя сестра Эйdl и муж ее Шолом-Зейdl? А все прочие родственники?

— Мотл, ты спишь?

— Да, а что?

— Сколько, по-твоему, даст нам дядя Мойше-Арн ханукальных денег?

— Почему я могу знать? Я не пророк.

Через минуту:

— Мотл, ты спишь?

— Да, а что?

— Есть у кого-либо столько дядей и теток, сколько у нас?

— Может быть, и есть, а может быть, и нет...

Через две минуты:

— Мотл, ты спишь?

— Да, а что?

— Если ты спишь, как же ты говоришь со мной?

— Раз ты спрашиваешь, я же должен ответить...

Через три минуты:

— Мотл, ты спишь?

— Тссс... Тррр... хиль-хиль-хиль... тсссс.

Мотл храпит, свистит носом, а я сажусь на кровати, вынимаю свой рубль, разглаживаю его, осматриваю.

«Простая бумажка, кажется,— думаю я. — А чего только на нее не купишь: игрушек, ножииков, тросточек, кошельков, орехов, и конфет, и изюму... Чего только не купишь?»

Я прячу рубль под подушку, читаю молитву на сон грядущий... Входит Брайна с целым блюдом рублей... Брайна не идет, она витает в воздухе и поет слова молитвы: «Свечи, которые мы зажигаем», а Мотл глотает рубли, словно галушки. «Мотл! — кричу я во всю глотку. — Господь с тобой, Мотл, что ты делаешь? Рубли???» Я просыпаюсь: «Тьфу, тьфу, тьфу... Какой сон?»

И засыпаю.

4

На следующее утро после завтрака мать напяливает на нас наши шубки на кошачьем меху, повязывает нас большими теплыми платками, и мы отправляемся за ханукальными деньгами. Первый визит, разумеется, к дяде Мойше-Арну.

Дядя Мойше-Арн — болезненный человек, вечно возится с желудком. Когда ни придешь, застанешь его у рукомойника. Он моет руки и бормочет: «Ашер йоцер».

— Доброе утро, дядя Мойше-Арн! — выпаливаем мы разом, я и мой брат Мотл. Нас встречает тетя Песя, низенькая женщина — один глаз черный, другой белый, то есть одна бровь черная, другая белая. Тетя Песя снимает с нас шубки, платки, вытирает нам носы своим передником.

— Сморкайтесь! — говорит тетя Песя. — Сильнее, сильнее сморкайтесь! Нечего жалеть! Еще! Еще! Вот так!

Дядя Мойше-Арн, в старом халате на кошачьем меху, в ватной ермолке, с ватой в ушах и с облезлыми усами, стоит у рукомойника, моет руки, морщит лицо, мигает глазами и набожно шепчет свою молитву.

Я и мой брат Мотл сидим как пригвожденные к столу. Когда бы мы сюда ни пришли, нас всегда гнетет какая-то тоска, тяжесть. Тетя Песя садится против нас, складывает руки на груди и приступает к допросу:

— Как отец поживает?

— Ничего.

— Как мать поживает?

- Ничего.
- Гусей резали?
- Резали.
- Сало топили?
- Топили.
- Оладьи пекли?
- Пекли.
- Дядя Беня был?
- Был.
- Играли в шашки?
- Играли.

И так дальше.

Тетя Песя еще раз приводит наши носы в порядок и обращается к дяде Мойше-Арну:

— Мойше-Арн, надо им дать ханукальные деньги.

Дядя Мойше-Арн не слышит; он потирает руки и нараспев кончает свою молитву.

Тетя Песя еще раз:

— Мойше-Арн, ханукальные деньги детям.

— А? Что? — спрашивает дядя Мойше-Арн и перекладывает вату из одного уха в другое.

— Ханукальные деньги детям! — кричит ему тетя Песя в самое ухо.

— Ой, живот! Живот! — говорит дядя Мойше-Арн и хватается обеими руками за живот. — Ханукальные деньги вам? На что детям деньги? Что вы будете делать с деньгами? А? Истратите, растратите, а? Сколько вам отец дал ханукальных?

— Мне рубль, — говорю я, — а ему полтинник.

— Рубль?.. Гм... Балуют детей... Сами же губят их. Что сделаешь со своим рублем? А? Разменяешь? А? Смотри не разменяй. Слышишь, что тебе говорят? Смотри не разменяй. А может, собираешься разменять?

— Разменяют не разменяют — тебе-то что? — говорит тетя Песя. — Отдай им то, что им полагается, и пусть идут себе с богом.

Дядя Мойше-Арн идет в свою комнату, шаркает туфлями, ищет во всех ящиках и шкапулках, наскреб несколько монет, ворча про себя:

— Гм... балуют детей, губят их! Губят вконец!

И он сует нам в руку несколько потертых медяков. Тетя Песя снова (в последний раз) берется за наши носы, надевает на нас шубки, закутывает нас в большие теплые платки, и мы уходим.

Мы бежим по белому, морозному, скрипящему снегу, и считаем потертые медяки, которые сунул нам дядя Мойше-Арн, и никак не можем сосчитать. Руки у нас озябли, покраснели и распухли, монеты все медные, большие, тяжелые, какие-то гривны допотопные, пятаки старинные, позеленевшие. Трудно, невозможно сосчитать на морозе, сколько дядя Мойше-Арн дал нам ханукальных денег...

5

Второй наш визит — к дяде Ице и тете Двойре, к тем самым, с которыми отец и мать уже много лет в ссоре. Почему они в ссоре, мы не знаем. Мы знаем одно, что отец и дядя Иця (родные братья) друг с другом не разговаривают, хотя молятся в одной синагоге и сидят рядом на одной скамье. В праздник, когда с амвона читается соответственный раздел Пятикнижия и за честь прочитать отрывок этого раздела прихожане должны внести какую-либо сумму в пользу синагоги,— между прихожанами начинается азартный торг. Тогда оба брата обязательно стремятся отбить эту честь друг у друга. В синагоге тогда настоящий базар. Разговаривают, перебегают с места на место, шушукаются, смеются и помогают торгу. Всякому хочется знать, за кем останется «шиши» или «мафтир». Всем хочется, чтоб торговались подольше. Синагогальный служка, рыжий Мехчи, стоит у амвона, перегнувшись корпусом вперед. Его молитвенное покрывало упало с плеч, ермолка съехала набок. Мехчи смотрит на восточную сторону, где сидят отец и дядя Иця, и гнусит:

— Восемнадцать гилдойн за «шиши»! Двадцать гилдойн за «шиши»! Двадцать два гилдойна за «шиши»!

Отец и дядя Иця сидят друг к другу спиной, оба будто погрузились в свои молитвенники. Но стоит одному объявить цену, чтоб другой сейчас же надбавил. Народ доволен, помогает торговаться:

— Тридцать! Тридцать пять! Тридцать семь! Сорок! Сорок!

Служка Мехчи смотрит то на одного, то на другого брата.

— Сорок гилдойн за «шиши»! Сорок два гилдойна за «шиши»! Сорок пять гилдойн за «шиши»!

Отец и дядя не перестают набавлять. Уже подняли цену до пятидесяти злотых. Мехчи поднимает руку и хочет уже пристукнуть:

— Пятьдесят гилдойн!

Вдруг спохватывается дядя Иця, поднимает один палец. Народ кричит: «Пятьдесят один! Пятьдесят один!» — и торг продолжается. Цена поднялась до шестидесяти с лишним злотых (цена неслыханная), и «шиши» остается за дядей Ицей. Потом продается «мафтир». Отец посмотрел на служку и махнул рукой, как бы желая сказать: «Мафтир» мой». Мехчи ничего против этого не имеет, но народ не согласен: «Как же без торгов? На то праздник. Нет монополии на «мафтир».

— Десять гилдойн за «мафтир»! Пятнадцать гилдойн за «мафтир»! Пятьдесят гилдойн за «мафтир»!

Ну и скачок! Отец оглядывается, кто это хочет отбить у него «мафтир». И представьте — это опять дядя Иця захотел купить «мафтир» для своего младшего зятя. Ах! И «шиши» и «мафтир»! Извините! Бить в два кнута? Не пойдет! Отец подымается, мигает служке:

— Сто.

Слово «сто» громом проносится по синагоге. Все ошеломлены. Такой цены никогда в синагоге не слышали со дня ее основания.

А Мехчи гнусит как ни в чем не бывало:

— Сто гилдойн за «мафтир»! Сто гилдойн за «мафтир»! Сто гилдойн... (Собирается пристукнуть.)

Тут дядя Иця поднимается с места. Отец как-то странно смотрит на него, как бы говоря: «С ума спятил? Зарезать хочешь? Режь!»

Дядя Иця садится, и «мафтир» остается за нами...

Но одно другого не касается. Когда случается торжество у нас или у дяди: рождение девочки или обрезание у сына, помолвка, свадьба, — они приходят друг к другу в гости, усаживаются на почетных местах, радуются и пляшут вместе со всеми гостями.

— Доброе утро, дядя Иця! Доброе утро, тетя Двойра! — выпаливаем мы, я и мой брат Мотл, одновременно, и нас принимают как желанных гостей.

— Вы небось не в гости пришли, а за ханукальными деньгами, — говорит дядя Иця, треплет нас по щеке, вынимает кошелек и дает нам ханукальных: мне — новый серебряный двугривенный и моему брату Мотлу — новый серебряный двугривенный. Мы отправляемся к дяде Бейнишу.

Кто хочет себе представить ад наяву, пусть зайдет в дом к дяде Бейнишу. Когда ни придешь, там шум, крик, галдеж. Там полон дом детишек. Полуголые, грязные, замызганные, немытые, вечно дерутся, царапают друг дружку, часто до крови, под глазами у многих синяки. Кто смеется, кто плачет, этот поет, тот визжит, один гудит, другой свистит. Один сорванец надел отцовский сюртук, закатав рукава, а другой разъезжает верхом на метле. Один пьет молоко прямо из кувшина, другой щелкает орехи, третий держит в руке голову селедки, четвертый сосет конфетку, а из носика сопلي текут ему прямо в рот. У тети Енты железные нервы, если она может сладить с этой оравой: она их ругает, щиплет, награждает тумачами. Она не разбирает: кто попался под руку, тот и получает по спине, по шее, куда попало. Подзатыльники, оплеухи — здесь сущие пустяки. Там услышишь и «холеру», и «чуму», и «проказу» — и все это говорится самым добродушным тоном, как другой скажет «здравствуй». Галдеж утихает лишь с приходом дяди Бейниша. Но так как дядя, человек занятой, пропадает целый день в лавке и домой является только закусить, то у него в доме постоянно ад крошечный.

Войдя к ним, мы увидели Азрилика (среднего) верхом на Геце (старшем), а Фройка с Мендлом (двое помоложе) подгоняли Гецю, один — рукавом ватного кафтана, другой — переплетом молитвенника. Хаим (средний между Фройкой и Мендлом) достал где-то горлышко от зарезанного гуся, надул его изо всех сил, как надувают резинового чертика, от натуги весь посинел, и ему удалось извлечь какой-то дикий звук, напоминающий визг свиньи, когда ее режут. Зайнвл (его возраста я не знаю — не то старшенький, не то младшенький) дает концерт на гребешке, а Давид (мальчик лет четырех) надел сапоги на руки и отбивает ими такт. Сендер тащит котенка за горло; котенок высунул язык, закрыл глазки, вытянул ножки, как бы жалуясь: «Видите, как здесь туго приходится! Мучают меня! Мучают!..» Эстер (старшая девочка) вздумала причесать Хаську (младшую дочку), заплести ей косичку, но так как у Хаськи волосы кудрявые и давно не чесаны, то она не дается, кричит благим матом, и Эстер ее шлепает. Тише всех сидит Пиня, крошечный мальчик с искривленными

ножками и подоткнутой рубашонкой. Одно плохо: где бы он ни стал, он оставляет след...

Все это, однако, не мешает тете Енте сидеть спокойно за столом, с одним ребенком у груди, с другим на коленях, и распивать цикорий.

— Крошка моя дорогая! — говорит она и прижимает к груди малютку, сосущую грудь, и в то же время тетя локтем ударяет старшенького, который сидит у нее на коленях.

— Смотри, как ты ешь, чтоб тебя черви ели! Эстер, Рохл, Хаська, куда вас черт занес? Утрите ему нос скорей, вымойте мне блюдо, без блюда мне пить? Дайте ему тумака. Золотце мое, ласточка моя, радость моя! И как только не лопнут! С раннего утра все жрут да жрут!

Завидев меня и моего брата Мотла, ребята кинулись к нам и облепили нас, как саранча. Хаим подул в горлышко зарезанного гуся прямо над моим ухом, а Давид обнял меня своими сапогами, надетыми на руки. Пиня с подоткнутой рубашонкой уцепился за мою ногу, обвился вокруг нее, как уж; поток разных звуков и голосов оглушил нас.

— Чтоб вам онеметь! — кричит тетя Ента из другой комнаты. — Оглохнуть можно от вас! Разве это дети? Какие-то черти, чтоб вам сгореть!

Тетя Ента кричит, дети кричат, все кричат. Вдруг приходит дядя Бейниш из синагоги. В одно мгновение все утихает, и вся орава исчезает.

— Доброе утро, дядя Бейниш! — выпалили мы оба вместе, я и мой брат Мотл.

— Что скажете, шалуны? Небось за ханукальными деньгами пришли? — говорит дядя Бейниш и дарит нам по серебряному гривеннику.

Дети, точно тараканы, смотрят на нас из углов, поблескивая глазами, как мышата, показывают пальцами, строят уморительные рожи, по-видимому желая нас рассмешить, — мы еле-еле удерживаемся от смеха и удираем из этого ада.

Теперь мы идем за ханукальными к нашей сестре Эйdl. Эйdl с детства была какая-то плаксивая душа. Из-за малейшей глупости она плакала, пролиwała сле-

зы над своим и чужим горем. А с тех пор, как стала невестой Шолом-Зейдла, у нее глаза не просыхали. И не потому, чтоб жених ей не нравился. Избави бог! Разве она его знала? Она его и в глаза не видала. Но невесте полагается плакать. Когда портной принес ей к примерке свадебное платье, она проревела всю ночь. Перед свадьбой, когда подружки собрались к ней на девичник потанцевать, Эйdl ежеминутно убегала в свою комнату поплакать в подушку. А в день свадьбы уж и говорить не приходится — то был ее день. Целый день были слезы. Но самое замечательное началось в тот момент, когда скрипач Менаше заиграл на своей скрипке подвечную мелодию, а бадхен Борух влез на стол, сложил руки на животе и запел известную трогательную песню:

Голубушка-невестушка,
Восплачь-возрыдай!
Слезам горьким
Волюшку ты дай.
Наряд подвечный
Ты свой надевай,
Девичьей волюшке
Скажи ты «прощай»!

и т. д.

Женщины, родные и знакомые, которые расплетали невесте ее длинные косы, строили печальные рожи, всхлипывали, пускали слезу, а сама Эйdl так ревела, так рыдала, что три раза падала в обморок, еле в чувство привели ее.

Но насколько сестра наша Эйdl была слезлива, настолько ее муж, Шолом-Зейдл, был весельчак, затейник, шутник и, да простит он мне,— ужасно надоедливый человек. Пристанет — не отвяжешься от него. Любил донимать нас щелчками; это было его величайшим наслаждением. Частенько мы, я и мой брат Мотл, ходили с распухшими ушами от его щелчков. Мы прямо-таки ожили, когда узнали, что молодожены от нас съезжают на собственную квартиру. В день переезда у нас в доме было как на похоронах. Эйdl плакала навзрыд, а мать, глядя на нее, тоже плакала. А Шолом-Зейдл якобы помогал укладывать вещи, носился по дому, каждый раз очень ловко подкрадывался к нам и отпускал нам щелчки то в нос, то в ухо. Он щедро награждал нас ими и имел еще смелость просить нас почаще приходить к нему в гости. Мы дали слово не переступать порог его дома.

Но человек забывает все, в особенности щелчки. Да и как не пойти к родному зятю за ханукальными деньгами?

Когда мы вошли, Шолом-Зейдл торжественно приветствовал нас:

— Добро пожаловать! Как поживаете? Вот умники, что пришли, я приготовил для вас ханукальные денежки.

Шолом-Зейдл вынимает кошелек и отсчитывает нам по несколько новеньких блестящих серебряных монет прямо в руки. Мы не успеваем сосчитать наши деньги, как Шолом-Зейдл уже угощает нас щелчками: меня в ухо, а брата в нос, потом меня в нос, а брата в ухо.

— Да перестань ты их мучить! — умоляет его наша сестра Эйдл со слезами на глазах. Она отзывает нас в сторону, пихает нам в карманы пряники и орехи и дает нам от себя ханукальные деньги.

Мы стрелой мчимся домой.

8

— Ну-ка, Мотл, давай сосчитаем наши капиталы! Но давай так. Ты помолчи, раньше я сосчитаю свои, потом ты сосчитаешь свои.

И я считаю: рубль, и три двугривенных, и четыре пятиалтынных, и пять гривенников, и шесть пятачков — сколько же всего? Один рубль и три двугривенных, и четыре пятиалтынных, и пять гривенников, и шесть пятачков...

Мой брат Мотл не хочет дожидаться, пока я кончу, и принимается за свои капиталы. Он перебрасывает монеты из одной руки в другую и считает:

— Двугривенный и двугривенный — два двугривенных и еще двугривенный — три двугривенных, и два пятиалтынных — будет три двугривенных, и два пятиалтынных, и гривенник, и еще гривенник, и еще гривенник, — будет два двугривенных и три пятиалтынных, то есть три пятиалтынных и два двугривенных... тьфу, что я говорю? Надо начать сначала.

И он начинает сначала. Мы считаем, считаем — и никак не сосчитаем. А когда дело доходит до медяков дяди Мойше-Арна, мы окончательно запутываемся в счете. Его старинные пятаки, стертые алтыны и позеленевшие гроши окончательно сбивают нас со счета. Мы пытаемся выменять эти деньги у матери, у отца, у на-

шей кухарки Брайны: не удается, никто их в руки брать не хочет.

— Что это за пятаки? Кто всучил вам такие деньги? Нам стыдно признаться, и мы молчим.

— Знаешь что? — говорит мне мой брат Мотл. — Давай кинем их в печку, а то выбросим на снег, чтоб никто не заметил.

— Какой ты умник! — говорю я. — Лучше уж нищему отдать.

Но, как назло, ни один нищий не показывается. Куда подевались все нищие? Никогда к вам не придет тот, кто вам нужен! Никогда! Никогда!

ЧАСЫ

Часы пробили тринадцать...

Не подумайте, что я шучу. Я рассказываю вам вполне правдивую историю, которая случилась в Касриловке, у нас в доме. Я сам был свидетелем этой истории.

У нас были стенные часы, старые-престарые часы; отец получил их в наследство от деда, дед — от прадеда, и так они переходили от поколения к поколению с незапамятных времен. Право, жаль, что часы — не живое существо, что у них нет языка и они не умеют говорить: они бы многое могли порассказать... Наши часы пользовались славой первых часов в городе — «часы реб Нохума!..». Они так хорошо шли, так верно показывали время, что люди ставили по ним свои часы. Представьте себе, даже Лейбуш-философ, настоящий мудрец, который определял заход солнца по самому солнцу и знал наизусть календарь, даже он говорил (я слышал из его собственных уст), что хотя наши часы... по сравнению с его часами сушая ерунда, понюшки табаку не стоят, но по сравнению с другими наши часы все-таки часы... А уж если Лейбуш-философ сказал, то на его слова можно было положиться, потому что каждую субботу под вечер, между предвечерней и вечерней молитвами, он не ленился подниматься в женское отделение синагоги или на вершину холма возле старой синагоги и, затаив дыхание, следить за солнцем, ловить мгновение, когда оно сядет. В одной руке держал он часы, в другой — календарь, и, когда солнце спускалось за Касриловку, реб Лейбуш говорил: «Поймал!» Часто он заходил к нам сверять часы. Войдя, он никогда не скажет

«добрый вечер», а только взглянет на наши стенные часы, на свои карманные и на календарь, потом еще раз на наши стенные часы, на свои карманные и на календарь — и нет его.

Лишь однажды реб Лейбуш, придя к нам сверить часы, поднял крик:

— Нохум! Скорей! Где ты?

Отец прибежал ни жив ни мертв.

— А?! Что случилось, реб Лейбуш?

— Злодей, ты еще спрашиваешь!.. — отвечает реб Лейбуш и сует прямо в лицо отцу свои карманные часы, потом показывает ему на наши стенные часы и кричит голосом человека, которому наступили на мозоль: — Нохум! Что ты молчишь? Они ведь спешат на полторы минуты, на полторы минуты! Им место на свалке!!! — Последнее слово он произносит с такой силой, как в молитве слова «бог един».

Отцу досадно: как это его часам место на свалке!

— Откуда известно, реб Лейбуш, что мои часы спешат на полторы минуты? А может, наоборот, может, ваши часы *отстают* на полторы минуты? Чего только не бывает!

Реб Лейбуш смотрит на него такими глазами, как если бы отец сказал, что первое число будет продолжаться три дня подряд, или что канун пасхи выпал в июле, или еще тому подобные нелепости, от которых, если принять их всерьез, может хватить удар. Реб Лейбуш не отвечает ни слова. Он глубоко вздыхает, поворачивается, не простившись, хлопает дверью — и нет его! Но это еще ничего; весь город знает: реб Лейбуш — человек, которому не нравится ни одна вещь на свете. О лучшем канторе он скажет, что это кочан капусты; умнейшего человека назовет скотиной в ослином обличье; счастливое бракосочетание сравнит с кривой коcherгой и о самом справедливом высказывании отзовется, что оно идет к делу, как пятое колесо к телеге. Такой уж человек реб Лейбуш-философ.

Но возвращаюсь к нашим часам. Это, говорю я вам, были часы что надо! Их бой был слышен за три дома; бом!.. бом!.. бом!.. Почти половина города жила по нашим часам. По ним читали и полуночную и утреннюю молитвы; в пятницу по ним пекли халу, солили мясо, благословляли субботние свечи, а к исходу субботы — зажигали свет: по нашим часам делали все, что имело отношение к еврейским обрядам. Словом, наши часы

были городскими часами. Служили они, сердечные, очень, очень верно, никогда не останавливались даже на сутки, ни разу за всю свою жизнь не побывали в руках у часового мастера. Отец возился с ними сам (он достаточно разбирался в тонкостях часового дела). Каждый раз накануне пасхи отец осторожно снимал часы со стены, прочищал пером, извлекая из их внутренностей паутину с запутавшимися в ней мухами, которых пауки заманили туда и свернули им головки, и мертвых тараканов, заблудившихся там и погибших насильственной смертью... Протерев и прочистив часы, отец вешал их обратно на стену и сиял. Вернее, они вместе сияли: часы сияли оттого, что их причесали и нарядили, а отец сиял оттого, что часы сияли.

И был день, и случилась история. Однажды, в хорошую ясную погоду, мы все сидели за столом и завтракали. У меня была привычка: когда бьют часы, считать удары и непременно вслух:

— Раз... два... три... семь... одиннадцать... двенадцать... тринадцать... Ой, тринадцать!

— Тринадцать? — смеется отец. — А ты мастер считать, ничего не скажешь. Разве бывает тринадцать часов?

— Тринадцать, чтоб мне провалиться, тринадцать!

— Тринадцать оплеух ты от меня получишь, — говорит отец, рассердившись. — Не смей повторять такие глупости. Часы, невежда, не могут бить тринадцать!

— Знаешь, Нохум, — вмешивается мать. — Боюсь, что ребенок прав. Мне кажется, и я насчитала тринадцать!

— Вот так новости! — говорит отец.

Похоже было на то, что и он начинает сомневаться. После завтрака он подходит к часам, взбирается на табурет, трогает какое-то колесико, и часы снова бьют. Мы все втроем считаем и киваем головой в такт ударам: «Раз... два... три.. семь... девять... двенадцать... тринадцать».

— Тринадцать?.. — Отец смотрит на нас, как человек, который вдруг услышал, что стена заговорила, неожиданно обрела дар речи.

Он еще немного ковыряется в колесике, и часы еще раз бьют тринадцать. Отец, бледный, со вздохом слезает с табурета, останавливается посреди комнаты, смотрит на потолок и, жуя кончик бороды, рассуждает сам с собой:

— Бьют тринадцать... Что же это такое? Что бы это могло означать? Будь они испорчены, они бы остановились. В чем же тут дело? Надо понимать так: спружинка...

— Что ты мудришь: спружинка, спружинка? — говорит ему мать. — Берут часы и исправляют. Ты ведь мастер!..

— Что ж? Может, ты и права... — отвечает ей отец, снимает часы со стены и начинает возиться с ними.

Он трудится, потеет над часами целый день и наконец вешает их на место — слава богу, идут как следует. А когда приходит полночь, мы все стоим около часов и насчитываем двенадцать! Отец ликует:

— Слышали? Больше не бьют тринадцать? Если я говорю — спружинка, значит, можете мне поверить!..

— Я давно знаю, что ты на все руки мастер, — говорит мать. — Только одного я не понимаю: почему они хрипят? Они как будто никогда так не хрипели.

— Это тебе кажется! — говорит отец, прислушиваясь, как хрипят часы, когда приходит время бить. Словно старик, которого донимает кашель: хил-хил-хил-хил-тр-р-рр... и только после этого: бом!.. бом!.. бом!.. Но и самый «бом» уже не тот, что прежде: прежний «бом» был веселый «бом», жизнерадостный, а теперь закралась в него какая-то грусть, какая-то тревога, и звучит он, как голос старого, отслужившего свое кантора, когда он в Судный день читает последнюю молитву.

Хрип все усиливается, бой становится все тише и печальнее, а отец все мрачнеет. Ему больно, он молча страдает, он вне себя оттого, что ничем не может помочь. Кажется, вот-вот — и часы совсем станут. Маятник начинает проделывать какие-то диковинные номера: он замедляет ход, отклоняясь в сторону, словно цепляется за что-то, как старик, который волочит ногу. Видно, часы собираются остановиться навсегда, навеки. К счастью, отец своевременно спохватывается, что часы тут ни сном ни духом не виноваты, — виноваты гири: мало груза! И отец привешивает к гилям все, что подвешивается под руку (весом в несколько фунтов). И снова часы наши как песня. И отец снова весел — совсем другой человек!

Однако радость наша продолжается недолго. Часы опять начинают лениться, и маятник опять вытворяет странные штуки: в одну сторону отклоняется медленно,

в другую — быстро; от скрежета часов скребет на душе, ноет сердце. Больно видеть, как умирают часы. И отец, глядя на них, тает, исходит жалостью.

Как хороший опытный врач, который жертвует собой ради больного, напрягает все силы, применяет все средства, чтобы исцелить его, не дать ему умереть, так отец всеми способами спасал старые часы.

— Мало груза — мало жизни! — говорит отец и привешивает к гилям одну тяжесть за другой: сначала железную сковородку, потом медную кружку, за ней железный утюжок, мешочек песку, несколько кирпичей — часы набираются сил и идут, с трудом, с мучениями, но идут, пока не случилось однажды ночью большое несчастье.

Это было зимой, в пятницу вечером. Мы покончили с субботним ужином: вкусной наперченной рыбой с хреном, горячим бульоном с лапшой, цимесом из слив — и совершили благословение по всем правилам. Субботние свечи еще не догорели. Служанка достала из печи свежие, теплые, хорошо высушенные семечки. Вошла тетя Ента, смуглая, молодая, но беззубая женщина, которую бросил муж. Вот уже несколько лет, как он уехал в Америку.

— Доброй субботы, — говорит тетя Ента, — я так и знала, что у вас свежие семечки; беда только, грызть нечем, чтоб ему, моему злодею, жить столько лет, сколько у меня зубов во рту... Как тебе нравится, Малка, что творилось сегодня с рыбой? Я спрашиваю его, рыбака Менаше: «Почему у вас такая дороговизна?» Но тут подскакивает богачка Соре-Перл: «Дайте мне, дайте мне скорее, свешайте мне вот эту щучку!» — «Куда вы так спешите? — говорю я. — Бог с вами. Река не стогрит. И Менаше свою рыбу не повезет обратно; у богачей, — говорю я, — деньги, видно, дешевы, а ум дорог...» И что же вы думаете? Она как откроет ротик: «Беднякам, говорит, здесь нечего делать... Бедняку, говорит, и хотеться не должно...» Ну, видели вы такую негодницу! Давно ли она стояла со своей мамашей у столика на базаре и продавала ленты? Точно так же, как Песл Пейси-Аврома хвастает своей дочерью: мол, вышла за стрищенского богача, который взял ее как есть, без гроша за душой... Еврейское счастье, — говорят, она мучается день и ночь, все с детьми не может поладить... Известно, разве приятно быть мачехой? Упаси бог! Вот, к примеру, Хавеле. Кажется, что с нее возьмешь? Вы бы

посмотрели, как ей достается от его детей! С утра до ночи крики, шум, гам, дым коромыслом!

Свечи оплывают. Тени ползут по стене, взбираются все выше и выше. Семечки трещат, люди мирно беседуют, рассказывают истории о том о сем, просто так, каждая история сама по себе. Больше всех говорит тетя Ента.

— Постойте! — восклицает она. — Недавно случилась история еще почище. Недалеко от Ямполья, версты за три, разбойники напали на корчму, целую семью вырезали, даже малое дитя в люльке и то не пощадили. Уцелела только служанка, которая спала в кухне на печи; услышав, что кричат, она, служанка эта, спрыгнула с печи, посмотрела в дверную щель, и увидела она, служанка эта, на полу зарезанных хозяина и хозяйку, а крови — река целая... Не долго думая, служанка выскочила в окно и побежала прямо в город с криком: «Спасите, люди добрые, караул, караул, караул!!!»

Тетя Ента кричит «караул!», и вдруг мы слышим: «трах-тарарах-бом-динь-динь-бом!» Увлеченные историей, мы подумали, что разбойники напали на наш дом и выпалили из десяти пушек или же крыша обвалилась, землетрясение началось, а то еще какое-нибудь несчастье случилось. Мы замерли. Минуту молча смотрели друг на друга, а потом все разом как закричим: «Караул! караул! караул!» В общей сумятице мать прижимает меня к себе.

— Дитя мое! Да минет тебя зло! О, горе мне!

— А? Что с ним? Что случилось? — кричит отец.

— Ничего, ничего, тише, тише! — кричит тетя Ента, размахивая руками.

Из кухни вбегает испуганная служанка.

— Кто кричит? Что такое? Горит? Где горит?

— Кто горит? Что горит? Чтоб ты сгорела, девка этакая, чтоб тебе сгореть и испепелиться! — кричит на служанку тетя Ента. — Мало было, так ее черти принесли... Вот тебе на, горит! Чтоб тебе провалиться! Слышали вы такое! Какого беса вы кричите! Чего всполошились? Проклятие моим врагам! Вот так перепуг, было бы с чего! Стука испугались! Смех берет! Бог с вами, это часы, часы упали, теперь вам ясно? Навешали на часы всякой всячины целых три пуда, вот они и упали. Что тут удивительного? Если бы столько повесили, простите, на человека, он бы тоже поступил не лучше. Слышали такое?

Лишь теперь мы приходим в себя. Один за другим поднимаемся из-за стола, подходим к часам и смотрим, как лежат они, бедные, лицом вниз, сломанные, разбитые на мелкие части, искалеченные навсегда.

— Конец часам,— произносит побледневший отец, низко опустив голову, словно перед ним лежит покойник. Отец ломает руки, и слезы стоят у него в глазах. Я смотрю на отца, и мне тоже хочется плакать.

— Что ты, успокойся, зачем принимать это близко к сердцу? — говорит ему мать. — Наверно, так суждено, начертано на небесах, чтобы сегодня, в эту минуту, пришел им конец, как, простите, человеку, да помилует меня бог! Пусть будут они искуплением за меня, за тебя, за наших детей, за всех наших родных и близких и за всех людей на свете. Аминь...

Всю ночь после этого мне снились часы. Я видел: наши старые часы лежат на полу, одетые в белый саван. Я видел: часы идут, но вместо маятника болтается из стороны в сторону длинный язык, человеческий язык. И часы не бьют, а стонут, и каждый их стон отзывается во мне болью... А на циферблате, где я привык видеть двенадцать, вижу я вдруг цифру тринадцать. Именно тринадцать. Можете мне поверить на слово.

У ЦАРЯ АРТАКСЕРКСА

1

Знаете, кому я завидовал в детстве, когда был маленьким мальчиком?

Артаксерксу.

Не тому Артаксерксу, царство которого простиралось от Индии до Эфиопии и который держал под своей властью сто двадцать семь стран. Нет, я завидовал портному Коплу, когда он появлялся у нас в золотой короне, то есть в бумажном колпаке, с длинным золотым скипетром из метлы.

Завидовал я также первому царедворцу Мордехаю * (сапожнику Лейви), когда он напяливал на себя старый, вывернутый наизнанку кафтан и подвязывал к подбородку большую всклокоченную бороду из пеньки.

Завидовал я и царице Вашти (столяру Мотлу). На

нем поверх длинного кафтана была женская юбка, а борода прикрывалась платочком, чтобы придать ему больше сходства с женщиной...

А как хорошо было царице Эсфири, когда она выходила в зеленом переднике (это был помощник синагогального служки Эйзер), или Аману, которому нахлобучивали на голову треснувший горшок (помощник меламеда Иоська)!..

Но больше всех завидовал я сироте Файвлу: его наряжали в красную рубаху, и он изображал Иосифа-прекрасного. Братья срывали с него красную рубаху, а его самого низвергали в яму львиную. Иосиф-прекрасный, преклонив колени и скрестив руки на груди, произносил заклинание, чтобы свирепые звери не смогли обрести власть над его телом. При этом он пел грустную песенку, трогательные слова которой проникали глубоко в сердце:

Змеи и гады,
Закройте ваш зев!
Закройте ваш зев!
Иль неведомо вам,
Иль неведомо вам,
Иль неведомо вам, кто я?
Я Иосиф-прекрасный,
Внук Исаака,
Сын Иакова,
Сын Иакова!..

Иосиф-прекрасный был круглый сирота, бедняк из бедняков. Он ютился в подвальном помещении небольшой молельни и был у всех на побегушках. И все же я — сын богатых родителей, внук самого реб Меера, — я охотно поменялся бы положением с сиротой Файвлом ради этого единственного дня, ради праздника пурим.

Вот он наступил — этот долгожданный радостный день! С самого раннего утра я с нетерпением ожидал комедиантов, ходивших из дома в дом по грязным улицам местечка в сопровождении целой ватаги мальчишек, месивших босыми ногами снег.

Ах, почему нельзя и мне пойти с этой веселой ватагой! Но нет, не для меня эти радости. Мне нельзя, не подобает: я сын богатых родителей, я внук самого реб Меера, — мне полагается целый день томиться дома, как томится пес в своей будке, а вечером чинно сидеть со взрослыми у дедушки реб Меера за праздничным ужином.

Вот мы идем к дедушке реб Мееру. Я поминутно оборачиваюсь туда, где, провожаемые шумной толпой, шагают комедианты.

— Чего вертишься, как юла? — кричит на меня отец.

— Ты уже большой мальчик, не сглазить бы! — поучает мама. — Ты можешь шагать побыстрее. Еще месяц — и тебе, с божьей помощью, исполнится восемь лет. Дай тебе бог дожить до ста двадцати!

— Не трогайте его! Не видите разве — он не может оторваться от комедиантов! — язвит мой старший брат Мойшеле, хотя он и сам не прочь остановиться и поглазеть.

— Иди же, пошевеливайся! — подгоняет меня пинком в бок мой палач — меламед реб Иця.

Опустив глаза, я стараюсь не отставать от взрослых. А мозг давят гнетущие мысли: «Вечно со взрослыми! Вечно с учителем... Утром и вечером, в будни и в праздник — вечно перед твоими глазами красный от нюхательного табаку нос меламеда, чтоб ему сквозь землю провалиться!»

2

Дедушка реб Меер, первый богач в местечке, живет маленьким царьком. Просторный зал с огромной висячей люстрой. На стенах золоченые бра. Тут же стоит массивный серебряный семисвечник, которым бабушка Нехама украшает стол лишь дважды в год — на пасху и на пурим. Весь дом дедушки залит ярким светом.

В большом кресле с зеленой обивкой сидит сам дедушка, реб Меер. Шупленький человечек, жидкая борода, нос с горбинкой, волосы тронуты серебром, живые молодые черные глаза. Дедушка носит длинный шелковый кафтан, подпоясанный шелковым поясом. На голове у него бархатная шапка, отороченная мехом. На столе перед ним огромный, чудовищных размеров праздничный пирог с маковой начинкой, позолоченный шафраном и утыканный изюминками. Пирог уже слегка надрезан.

Бабушка Нехама, высокая, моложавая на вид женщина, еще сохранила следы былой красоты. На ней золотистого цвета шелковое платье в белый горошек. В волосах, над самым лбом, ободок с брильянтами, на

шее жемчужное ожерелье, в ушах серьги, на пальцах золотые перстни с драгоценными камнями. Перед бабушкой большое блюдо с горячей, вкусно пахнущей, здорово наперченной рыбой, приправленной луком, сахаром, изюмом и разными пряностями. Бабушка накладывает рыбу каждому на тарелку. При этом кончики ее красивого шелкового платка загибаются за уши, и на лбу причудливо играют брильянты. На сияющем лице приветливая улыбка.

За столом много народу. Пришли все дяди и все тетушки с многочисленными чадами. Так как, по установленному обычаю, все дяди и все тетки давали имена своим детям в память одних и тех же покойных дедушек и бабушек, дядей и теток, то в каждой семье мальчики и девочки носят одни и те же имена. У дяди Цодека, например, и у его жены Цивьи три сына: Мойшеле, Гершеле, Велвеле, и две дочери: Сореле и Фейгеле. За ними следуют дядя Нафтоля и тетя Двойра, у которых четыре мальчика: Мойшеле, Гершеле, Велвеле, Нотеле, и три девочки: Сореле, Фейгеле и Рохеле. У дяди Аврома и тети Соси пять мальчиков: Мойшеле, Гершеле, Велвеле, Нотеле, Янкеле, и четыре девочки: Сореле, Фейгеле, Рохеле, Тайбеле. У дяди Бериша и тети Эстер шесть мальчиков... и так далее..

Надо ли продолжать этот перечень? Пожалуй, не надо, а то как бы не сглазить!.. Дедушка как-то попытался, любопытства ради, сосчитать, сколько народу сидит у него за столом.

«Не один, не два, не три, не четыре, не пять, не шесть, не семь...» Но тут бабушка резко оборвала его: «Тьфу ты, прости господи! Что тут считать? Тарелок, слава богу, хватит на всех!»

Обычно, когда вся семья бывала в сборе, никто не садился за стол, пока дедушка не укажет место. Дедушка реб Меер во всем любит порядок. Он рассаживает так, чтобы все дяди и тети сидели рядом: дядя возле дяди, тетя возле тети. Нас, малышей, рассаживают так, чтобы брат не сидел рядом с братом и сестра — рядом с сестрой: родные братья и сестры, говорит он, никогда не ладят меж собой. По этой причине Мойшеле должен сидеть рядом с чужим Гершеле, Гершеле — рядом с чужим Велвеле, Велвеле — с чужим Нотеле, Нотеле — с чужим Янкеле и так далее. Так же рассаживают и девочек: Сореле — рядом с чужой Фейгеле, Фейгеле — с Рохеле, Рохеле — с Тайбеле и так далее. Од-

ному мне не хватило пары, и меня посадили рядом с моим палачом — меламедом реб Ицей. Реб Иця для меня не только учитель, но и воспитатель, наставник, нечто вроде гувернера. Он учит меня правилам приличия: как сидеть за столом, как держать ложку, как есть и как пить.

— Когда сидишь за столом,— поучает он меня,— сиди «как человек». Гляди прямо, а руки держи под столом. Не разговаривай во время еды. Когда ешь бульон с лапшой, набирай в ложку столько же лапши, сколько бульона; проглотил — положи ложку на стол и вытри губы; проглотил второй раз — опять ложку на стол и вытри губы. Нельзя хлебать одну ложку за другой без остановки, как какой-нибудь мальчишка из простонародья.

Усевшись рядом со мной и прошептав молитву, реб Иця прежде всего вынул из кармана красный носовой платок и встряхнул его так, что крупинки нюхательного табаку попали ко мне в тарелку; затем он высморкался с визгом, перешедшим в оглушительный трубный рев и закончившимся воем; в то же время он ни на миг не прекращал наблюдения за мной, все посматривал одним глазом, сижу ли я «как человек».

— «Роза Иакова...» — приятным, бархатным голосом, прищелкивая пальцами, запел дедушка после первой же рюмки вина.

И все хором поддержали:

— «...ликует и веселится!»

Все громче, все оживленнее поет разноголосый хор. Мой меламед реб Иця — хоть он и не ахти какой певец, а голос у него как у тельенка,— поет с азартом, с воодушевлением: разинув рот, полузакрыв глаза и склонив голову набок; он стучит средним пальцем по столу и всем своим видом старается показать дедушке, что и он участвует в хоре. Одновременно он, как водится, все время искоса поглядывает на меня, сижу ли я «как человек»...

3

— Пришли комедианты,— докладывает старый слуга Танхум, человек в красном кафтане, говорящий всем, кроме дедушки и бабушки, «ты».

При слове «комедианты» все дети — и я в том чис-

ле — вскочили из-за стола и мигом обступили царя Артаксеркса, на голове которого сияла золотая корона.

— С праздником вас! — выпалила хором вся компания актеров.

И они тотчас выстроились в два ряда. Царь Артаксеркс воссел на золотой стул. Мемухон * (кучер Хаим), стоя на одной ноге, запел:

Я Мемухон из царских гонцов,
Совсем молодой господин, безбородый.
На одной ноге перед вами стою
И сладким голосом песню пою.

Царь Артаксеркс спрашивает:

Зачем ты пришел, милый слуга Мемухон?
Что в моей стране уловил ты ухом?

Мемухон отвечает:

Пусть царь Артаксеркс сам убедится,
Как не хотят Аману поклониться.

Гневно кричит возмущенный царь Артаксеркс:

Кто смеет противиться тем повеленьям,
Что я разослал по моим владеньям!

Мемухон отвечает:

Какой-то еврей субботу блюдет,
Кафтан его без разреза,
Детей своих обрезает,
Как терпишь ты это в стране своей?

Царь Артаксеркс повелевает:

Ежели так, привести его ко мне!
Мы его повесим на высокой сосне!

Мемухон возглашает:

Входи, входи же, не стой,
Мондриш, братец ты мой.

Входит Мондриш со всклоченной бородой. Он всячески оправдывается перед царем, ссылаясь прежде всего на свой старинный род и знатное происхождение: «Авраам, Исаак и Иаков — мои прадеды; библейские заветы — тому свидетели».

Заканчивает он нараспев:

Горя, горя нам не снести,
Если Аман у тебя в чести!..

. ;

— Это ты — Иосиф-прекрасный? — спросил я сироту Файвла, стоявшего чуть в стороне.

Лицо его было печально, вид усталый, понурый.

— Я — Иосиф-прекрасный, — ответил Файвл.

— Ты будешь представлять сегодня?

— Прикажут — буду... — ответил Иосиф-прекрасный и, приблизив губы к моему уху, шепнул: — Дай-ка мне кусочек вашего калача.

— Увидят, будет мне нагоняй, — ответил я шепотом.

— А ты стащи так, чтобы никто не видел, — сказал он, сверкнув глазами.

— Украсть? — спросил я.

— Разве это значит украсть?

— Тогда что же это значит? — снова спросил я. — Не украсть, а слямзить?

— Я помираю — есть хочу, — сказал он тихо, поедая калач глазами. — С утра ничего во рту не имел.

Внимание всех присутствующих занято представлением. Я потихоньку подхожу к столу, украдкой хватаю кусок калача и незаметно передаю Иосифу-прекрасному. Он ловко прячет калач в карман и пожимает мне руку.

— Ты славный мальчуган! Дай тебе бог здоровья!

.

4

— Если вам угодно, мы сыграем еще и «Продажу Иосифа», — предлагает царь Артаксеркс, снимая с головы корону и надевая простую шапку.

— Довольно! Хватит! — отвечает дедушка и сует царю Артаксерксу серебряную монету.

Когда актеры ушли, дедушка велел Танхуму взять веник и вымести грязь, которую они оставили после себя...

Пока раздвигали стулья и потом опять расставляли их вокруг стола, пока дяди и тетки с их многочисленными семьями усаживались на прежние места, я воспользовался суматохой и выскочил на минуту на улицу проводить актеров.

— Пойдем с нами! — сказал Иосиф-прекрасный, взяв меня за руку. — Право, пойдем! Ты славный мальчик, ты чудесный мальчуган! Я тебя люблю.

Сердце у меня забилося.

— Куда? — спросил я.

— К царю Артаксерксу. Сегодня мы уже больше представлять не будем. Сейчас мы отправимся к царю Артаксерксу и будем пировать.

Иосиф-прекрасный взял меня за руку, и мы вместе зашлепали по грязи.

Все чернее и чернее ночь. Все глубже и глубже грязь. Мне чудится, будто у меня выросли крылья и какая-то сила поднимает меня вверх. Еще мгновение — я вспорхну и полечу...

— Мне страшно,— говорю я Иосифу-прекрасному, остановившись и продолжая держать его за руку.

— Чего бояться, глупенький? — отвечает он, с аппетитом жуя полученный от меня кусок калача. — Там будет пир на славу, дурачок ты этакий! Услышишь, как мы поем... Ах, что за чудесный пирог у вас! Райский вкус! Тает во рту, как масло. Одного я никак не пойму: как это можно спокойно глядеть на это чудо из чудес и даже не дотронуться?

— Эка важность! — хвастливо ответил я. — У нас и в будни едят калачи.

— Каждый день калачи? — изумленно спрашивает Иосиф-прекрасный, облизываясь. — А мясо?

— Каждый день,— ответил я.

— Каждый день мясо?! — воскликнул он, глотая слюну. — А я вот ем мясо только раз в неделю, по субботам, да и то не каждую субботу. Позовет меня к обеду состоятельный человек — перепадет кусок мяса. А попадешь к бедняку — хворобу тебе дадут, а не мясо.

— Как это можно есть хворобу? — изумился я.

— Не знаешь, что значит есть хворобу? — тоже изумился он. — Очень просто: болячку тебе дадут, а не мясо. Понимаешь? Когда есть нечего — питайся болячкой. Я ведь только то и ем, что мне подают другие. Больше всех поддерживает меня шамес Эйзер, дай ему бог здоровья; иной раз хлебом накормит, другой раз картошкой. Золотой человек этот Эйзер! Редкой души человек! Знаешь его?.. Это он — царица Эсфирь...

— Где твой отец? — спросил я.

— Нет у меня отца.

— А мать?

— И матери нет.

— Дедушка? Бабушка?

— Нет ни дедушки, ни бабушки.

— Может, дядя или тетя?

— Ни дяди, ни тети.

— А брат, сестра?

— Нет ни брата, ни сестры. Никого-никого, ни одной родной души! Круглый я сирота, безродный!

Я взглянул на Иосифа-прекрасного, на луну, и мне показалось, что у Иосифа и у луны одинаковый цвет лица, одинаковая мертвенная бледность... Я прильнул к нему, и мы быстро побежали вслед за компанией, мешая грязь своими маленькими ножками.

5

— Здесь вот и живет царь Артаксеркс,— сказал Иосиф-прекрасный.

Мы спустились в маленькую темную землянку.

— Фрейде-Этл, душка, поднимайся с подушки! — крикнул царь Артаксеркс жене, болезненной женщине, видимо страдающей одышкой: кашляя, она одной рукой хватается за сердце, а другой — за голову.

За день актеры столько раз пели стихи и так к этому привыкли, что без рифмы они и говорить разучились.

— Рыбу и каравай на стол подавай! — начал Мемухон. — Халу мы принесли сами, поработаем зубами. Треугольный пирожок с маком будем есть со вкусом. Клецки и печенье — мое почтение! А водки бутылку подарил мне Рахмилка... А ну-ка, Мондриш, развяжи мешок, не то получишь пинок.

— Чем пинок в бок, лучше развязать мешок,— ответил Мондриш тройной рифмой и собрался уже было приступить к делу, но его остановил Мотл (царица Вашти).

— Раньше надо деньги посчитать, а потом и пожевать!

— Вашти, право, не пьяница,— при дележе в дураках не останется,— согласился Аман.

Эйзер (царица Эсфирь) ответил ему в тон и тоже рифмой.

Но едва дело дошло до дележа, поток рифмованных острот сразу прекратился. Люди заговорили простым человеческим языком, как и полагается, когда речь идет о деньгах.

Львиная доля досталась, конечно, царю Артаксерксу. Так уж велось из года в год, и против этого никто не возражал. Но когда дошло до других участников пред-

ставления, возникли серьезные разногласия. Мемухон спросил, за какие-такие заслуги Вашти получает больше, чем он. Он, Мемухон, трудится больше всех, прыгает на одной ноге, так и сыплет рифмами, шутками и прибаутками, сочиняет экспромты, а когда доходит до дележа, на первое место прется Вашти. За какие-такие заслуги? За то, что Вашти состоит в отдаленном родстве с царем Артаксерксом? Известное дело: портной и столяр — всегда одна шайка.

— Молчать! — взревел царь Артаксеркс. — Ах ты, извозчище отродье, лошадиное копыто, глиняное дышло, бумажная шлея, кожаная ось, стеклянная чека! Ты смеешь выступать против царя Артаксеркса?! Сейчас как дам тебе по зубам — пойдешь ты у меня в упряжке, как миленький!..

Мемухон смирился и умолк. Все артисты чтут царя Артаксеркса, беспрекословно его слушаются — как-никак он хозяин дела, так сказать антрепренер... Мондриш, правда, продолжал еще ворчать, да и остальные робко поддерживали его, но Эйзер (царица Эсфирь) весьма удачно оборвал эту грызню. Положив в карман полученные им несколько монет, он отпустил веселую шутку, и актеры снова оживились и стали перебрасываться остротами в рифму.

— Богачам бы иметь не больше грошей, чем мы принесем для наших семей, — сказал Мемухон.

Я осмотрел комнату Артаксеркса. Большой стол, накрытый скатертью из сурового полотна. У одной стены — верстак с инструментами, у другой — деревянная кровать со множеством подушек, положенных одна на другую чуть не до потолка. Против печки — топчан. На нем, поджав лапки, дремлет черный кот. На печи — дети. Несколько пар глаз — черных, карих, серых — глядят оттуда на веселящуюся компанию.

— Слезайте, шельмецы! — крикнул Иосиф-прекрасный, грозя им пальцем.

Обладатели черных, карих и серых глаз не заставили себя долго просить. Почти голенькие, в одних рубашонках, да и то рваных и закрывавших тело лишь чуть-чуть ниже пупочка, они начали спускаться один за другим с печи... Иосиф-прекрасный, видимо, был в доме свой человек — к нему все малыши разом и бросились, как ягнята к пастуху; все подставляли ему свои курчавые головки в ожидании, что он их погладит.

— Голодны?..— спросил Иосиф-прекрасный.— Сейчас начнется у нас пир на весь мир. Ой, сколько же лакомств, сколько вкусных вещей мы принесли!

Когда он перечислял все эти лакомства, маленькие «ягнята» переглядывались, глотали слюну и облизывались. Иосиф-прекрасный, глядя курчавые головки, и сам облизывался и тоже глотал слюну... Все с нетерпением ждали минуты, когда можно будет сесть за стол и начать пиршество...

И вот желанный миг наступил. Царь Артаксеркс поднял бутылку с водкой, торжественно наполнил свою рюмку и, провозгласив здравицу в честь праздника пурим, выпил первый. Вслед за ним осушили по рюмке и остальные актеры. Лишь после этого все, от мала до велика, за исключением Фрейде-Этл, возившейся у печки, сели за стол. Проснулся даже мирно дремавший кот; вытянув спину и сладко позевывая, он подошел к столу и стал возле хозяина в ожидании, что и на его долю перепадет что-нибудь...

Иосиф-прекрасный, голенькие курчавые «ягнята» и я — все мы уселись рядом на одной скамье; скамья хромала на одну ножку и шаталась при каждом нашем движении, что вызывало у нас бурные взрывы смеха. Мне и другим малышам это казалось забавнее самой веселой комедии. И тут компания актеров, взглянув в нашу сторону, заметила меня. Все были изумлены: откуда взялся новый, никому не ведомый человечек?

— Кто этот крыжовник? — спросил царь Артаксеркс.

Иосиф-прекрасный сказал им, кто я и откуда взялся. По-видимому, актеры были рады такому гостю: все они поочередно подходили ко мне, хлопали меня по плечу, трепали по щеке, и всякий отпускал по моему адресу шутку, конечно, в рифму.

И вот началось пиршество. Фрейде-Этл поставила на стол обильно наперченную рыбу с картошкой. И хотя рыба не была приправлена разными пряностями и кореньями, как у моего дедушки реб Меера, она показалась мне необычайно вкусной. Одна беда: слишком много косточек. Зато какая благодать! Все едят из одной миски, все тычут вилки в одну тарелку. Как весело! После рыбы — опять по рюмочке, и опять пошли здравицы. И тут только началось настоящее веселое, бурное, неудержимое пиршество. Встав из-за стола, все взялись за руки и, весело приплясывая, затянули хорovou:

Те или иные —
Мы,
Но бедняки большие
Мы,
Лучше ль, хуже ли
Живем,
Но нужда нам
Нипочем!

— Русскую песню! — громко закричал Мондриш.—
Русскую песню подавай!

Компания затянула русскую песню, сдобрив ее древнееврейскими словами. И, хлопая в ладоши, все пустились в пляс.

Надо знать,
Как гулять,
Перед богом
Отвечать!
Мы и пьем,
Мы гуляем,
Взато, мелех хай векаем ¹,
Ломир, идн, тринкен лехаим ².

— Ну как? Хорошо у нас, не правда ли? — весело спросил меня Иосиф-прекрасный.

Он уже успел подкрепиться, и теперь вид у него был совсем иной — свежий, бодрый. Он тоже выпил рюмочку хмельного, дал мне отведать немного и втащил меня в круг. Не знаю, с чего это, но на меня напало неудержимое веселье; я неожиданно почувствовал прилив буйной радости — все во мне пело и плясало. Мне было хорошо, чудесно, безгранично светло было у меня на душе!.. Вдруг...

6

Вдруг открывается дверь, и на пороге появляются мой отец и учитель реб Иця. У меня в глазах потемнело. Что подумал отец, увидев меня пляшущим в компании комедиантов, я сказать не могу. Я заметил только, что он остановился как вкопанный и, не шевелясь, глядел попеременно то на компанию, то на меня, то на учителя реб Ицю. Учитель, со своей стороны, гля-

¹ А ты, царь превечный (древнеевр.).

² Давайте, евреи, выпьем за здравие.

дел то на меня, то на компанию, то на отца. Я глядел на отца, на компанию, на учителя, а компания глядела на нас троих... Все точно онемели, никто не мог и слова вымолвить.

Первым нашелся Мемухон, прервавший молчание потоком приветствий:

— Что же вы приуныли? Ведь это на смех курам! Ведь сегодня веселый праздник пурим! Выпьем по чарке, чтобы небу было жарко! Да закусим в меру — нашлась ваша потеря!..

С этими словами Мемухон поднес отцу рюмку водки с закуской. Отец молча оттолкнул его рукой. Нимало не смутившись, Мемухон продолжал:

— Реб Ошеру, сыну Меера, наше почтение! Не по душе вам угощение?.. Значит, богач не окажет нам чести выпить с бедняками вместе? Что ж, выпью один и скажу: аминь!..

И, осушив рюмку до дна, Мемухон запел:

Чем беднее, тем больше и гуляка,
Чем богаче, тем больше и собака,
Чем горемычнее, тем больше поет,
Чем зажиточнее, тем больше свинья.

— Мондриш, чего ты молчишь? Спой величальную нашим богатеям, выпей в их честь заздравную чарку!

Наполнив чарку, Мондриш пропел величальную нашим местечковым богачам:

— Благословляющий людей, пошли погибель на богачей! Скрути их в три погибели, кто бы они ни были! Кто бы ни были они, в бараний рог ты их согни! Согника их в бараний рог, чтобы с постели никто из них встать не мог! Чтоб никто встать не мог с постели и черви живьем бы их съели! Чтобы их черви съели живьем, порази их небесный гром! Небесный гром порази их!..

— Что ж вы молчите, реб Ошер? — обратился к отцу учитель реб Иця, заложив в ноздрю изрядную понюшку и щелкнув в воздухе пальцами.

— О чем тут говорить? Не видите, что они пьяны! — ответил отец, вне себя от гнева.

Схватив меня за руку, он сжал ее до боли. И, не попрощавшись, мы все трое покинули дом царя Артаксеркса. На улице отец остановил меня и, смерив грозным взглядом, отпустил мне две гулкие оплеухи.

— Это, — говорит, — тебе задаток. Остальное полу-

чишь дома от учителя... Прошу вас, реб Иця, никакой жалости! Передаю его в ваши руки — секите, порите, не жалея сил! Всыпьте сколько влезет! Хлещите до крови. Парнишке, слава тебе господи, скоро девятый год пойдет! Пусть запомнит, как шляться с компанией комедиантов, шутов, бездельников, нищих... Так отравить всем праздник!..

Ни одной слезинки не проронил я. Только чувствовал, что щеки у меня пылают, а на сердце легла неимоверная тяжесть. Но не мыслью о предстоящей расправе была занята моя голова. Всеми своими помыслами я стремился туда, к царю Артаксерксу, к веселому обществу Иосифа-прекрасного и голеньких курчавых «ягнят». А в ушах неумолчно звенела чудесная русская песня:

Надо знать,
Как гулять,
Перед богом
Отвечать!
Мы и пьем,
Мы гуляем,
Взато, мелех хай векаем.

ОМРАЧЕННЫЙ ПРАЗДНИК

1

— Реб Исроэл! Реб Исроэл! Извините! Вы можете взяться сшить ребенку костюмчик к празднику?

Так кричит мама портному Исроэлу изо всех сил, потому что он глух как стена.

Исроэл, высокий человек с продолговатым лицом и с ватой в ушах, полуулыбаясь, делает рукой жест, который может означать: «Почему бы не сшить к празднику?»

— Снимайте с него в таком случае мерку. Но с условием, что костюм будет готов к пасхе.

Портной Исроэл смотрит на мать, будто хочет сказать: «Странная женщина! Неужели недостаточно одного обещания?» Потом он достает из бокового кармана бумажную мерку и большие английские ножницы и начинает измерять меня вдоль и поперек, а мама стоит в сторонке и командует:

— Длиннее, еще длиннее!.. Шире, еще шире!.. Ради бога, брючки не сузьте!.. А кафтанчик чтобы был с

фалдой!.. В несколько пальцев!.. Еще, еще немножко!.. Вот так! В шаг, упаси бог, чтоб не было коротко! Солидно... Еще, еще! Не жалейте материи, потому что ребенок растет!..

Портной Исроэл и сам отлично знает, что «ребенок растет». Он ни слова не отвечает и делает свое. Измерив меня с головы до ног, он меня отталкивает, словно хочет сказать: «Можешь идти, ты свободен». Мне очень хочется, чтобы кафтан сзади был с разрезом и с карманом, по «нынешней моде», но я не знаю, к кому обратиться. А портной Исроэл свертывает мерку на двух пальцах и говорит отрывисто, обращаясь к маме:

— Трудное нынче предпасхальное время!.. Страшная грязь!.. На рыбу дороговизна!.. Картошка — на вес золота!.. Яиц — ни штуки!.. Работа — к чертям!.. Новой одежды — ни-ни!.. Заплаты, заплатки и заплатки!.. Уж если реб Йошуа-Герш заказывает перелицевать старое пальто!.. Сам реб Йошуа-Герш!.. Времена!.. А?.. Светопрествление!..

Но мама что-то не очень поражена. Она перебивает его:

— Сколько же вы, реб Исроэл, прикажете наготовить денег за всю эту работу?

Глухой Исроэл достает из жилетного кармана костяной рожок, выгибает большой палец руки так, что на тыльной стороне ладони образуется ямочка. В эту ямочку он насыпает кучку табака. Подносит ее осторожно к носу и втягивает всю кучку так ловко, что не остается ни следа даже на усах. Потом, махнув рукой, отвечает:

— Эх!.. Есть о чем говорить... Авось не поссоримся... Понимаете, какое дело? Реб Йошуа-Герш!.. Перелицевать старое пальто!.. Подумать только!..

— Так помните же, реб Исроэл, о чем я прошу: не узко и не коротко, и фалду, и в шаг свободно и просто...

— А раз...? — хочу я вмешаться.

— Тихо! Дай слово сказать! — говорит мама, двинув меня локтем в бок.— Помните же еще раз: не коротко, не узко, и в шаг, и фалда... Непременно — фалду!

— А карман? — пытаюсь я снова.

— Да заткнись ты! — говорит мне мама.— Виданное ли дело, чтоб ребенок вмешивался, когда старшие говорят!..

Исроэл забирает под мышку сверток материала, касается двумя пальцами мезузы * и говорит уже в дверях:

— Значит, вы хотите, чтобы обязательно было готово на пасху? Веселых вам праздников!

2

— А вот и реб Гедалья! Помянуть бы мессию!.. Только что я имела в виду еще раз послать за вами!

Гедалья — сапожник, отставной солдат, без передних зубов, с большой окладистой бородой, по которой видно, что некогда, уже давно, она была посредине выбрита.

— Реб Гедалья! — обращается к нему мама. — Скажите, пожалуйста, вы возьметесь сшить ребенку пару сапожек к пасхе?

Сапожник Гедалья — человек веселый, он, когда говорит, приплясывает.

— Вам угодно непременно к пасхе? — отвечает он маме. — Прямо-таки замечательно! Все хотят к пасхе! Хаеле, реб Мотла, я обещал на пасху две пары ботинок — для нее и для дочери, — значит, надо сделать... Иоселе, реб Шимела, заказал мне четыре пары сапожек к пасхе — обязательно надо сделать... Затем Фейгеле, реб Аврома, я давно уже обещал пару ботишков — хоть камни с неба, ничего не поможет! Портной Мойше просил меня поставить пару головок — нельзя отказать! Столяру Зяме надо подкинуть пару союзоx — тоже ничего не попишешь! Да, еще Асна, дочь вдовы, пристала ко мне, чтобы я, ради бога...

— Словом, — перебивает его мама, — говорите толком. Стало быть, не можете обещать, что будет готово к пасхе? Тогда я пошлю за другим сапожником...

— Почему это я не могу? — говорит Гедалья, приплясывая. — Ради вас я отложу все другие работы, а ваши сапожки обязательно, даст бог, будут готовы к пасхе. Какие могут быть отговорки?

И сапожник Гедалья достает откуда-то кусок синей бумаги, становится на одно колено и снимает мерку.

— Прибавьте еще капельку! — говорит мама. — Еще, еще... Что вы жалеете кусочек кожи? Вот так... Чтоб не жало, упаси бог, в пальцах!..

— Жало в пальцах! — повторяет за ней Гедалья.
— Кожу, реб Гедалья, дайте самую лучшую! Слышите? Не гнилую!
— Гнилую! — следом за ней говорит Гедалья.
— Подошвы поставьте добротные, чтоб не стерлись.
— Стерлись! — повторяет Гедалья.
— И чтоб каблуки не отскочили!
— Отскочили! — повторяет Гедалья.
— Теперь можешь идти в хедер, — говорит мне мама. — Видишь ты хоть, как на тебя тратятся? Хотя бы учился, тогда человеком будешь. Не то — что из тебя выйдет? Ничего, пустое место...

Я сам еще не знаю, что из меня будет: человек или пустое место? Знаю только, что в эту минуту мне очень-очень хочется, чтоб сапожки были со скрипом. Ох, как хочется со скрипом!

— Чего стоишь как истукан? — спрашивает мама. — Почему не идешь в хедер? Иди, больше ничего не дадут!

Сапожник направляется к выходу, но возвращается.

— Стало быть, вы желаете непременно к пасхе? — говорит он. — Веселого праздника!

3

Возвращаясь из хедера, я забегаю первым долгом к портному насчет разреза и насчет кармана.

За большим столом стоит глухой Исроэл, без кафтана, в широком арбеканфесе. Он углублен в работу. На шее у него несколько длинных ниток. В жилетке — несколько иголок. Он чертит мелком, кроит ножницами, почесывается средним изогнутым пальцем и говорит про себя — отрывисто, по своему обыкновению:

— Фалды делай им... Чтоб свободно было... Просторно... А из чего? Из духа святого?.. И без того пальцы себе режешь... Еле-еле... Как мясо на вареники...

Вокруг стола сидят подмастерья и шьют, далеко отводя руки с иголками, и все вместе поют песенку. Один из них, рыжий, конопатый, с чуть провалившимся носом, запекает звонким фальцетом и тянет нитку в такт:

Ох, ты уезжаешь,
Ох, ты уезжаешь,
А меня покида-а-а-аешь!..

А остальные подхватывают с визгом:

А я заколюся,
А я удавлюся,
А я утоплюся,
А я жизни своей лишу-у-у-у-ся!

— Что скажешь, мальчик? — обращается ко мне Исроэл.

— Разрез! — говорю я.

— А? — спрашивает Исроэл, склонив ко мне ухо.

— Разрез! — кричу я изо всех сил, чтобы он услышал.

— Разрез?

— Разрез!

— Где разрез?

— Сзади.

— Что такое сзади?

— Разрез! С карманом!

— Что за разрезы? Какие карманы? — вмешивается жена портного, маленькая женщина, которая сидит тут же и делает три работы сразу: ногой качает люльку, руками вяжет чулок и при этом говорит сердито: — Еще не хватало: разрезы! Извольте вам карманы! А где тут у тебя на карманы? Пускай ему мама даст на карманы, тогда у него будут карманы! Еще какие-то карманы!

Я уже раскаиваюсь, что затеял все это дело, — хоть бы до мамы не дошло!

— Значит, тебе хочется, чтоб обязательно был разрез? — говорит портной Исроэл и достает рожок с табаком. — Иди, мальчик, домой, будет разрез.

— И с карманом? — спрашиваю я, сделав жалостливую мину.

— Иди, мальчик, домой, — говорит Исроэл. — Уж я постараюсь, чтобы было все...

Я быстро и с радостью бегу к сапожнику Гедалье насчет скрипа в сапожках.

Сапожника Гедалью я дома не застаю. У верстака сидит его подмастерье Карп, согнувшись над подметкой.

Карп — крепкий, ширококостый русский парень, с рябым лицом, с кожаным ремешком на черных жестких волосах.

— Чего, мальчик, хочешь? — обращается он ко мне по-еврейски. — Мейде ани, фрейде мани, тателе-мамеле, а геб им а гензеле...¹ Говори, чего хочешь?

— Хажаен! — отвечаю я ему по-русски. — Я о чем хотел иметь до ваш хажаен Гедаля!²

— Балабос³ пошел на обрезание, выпить, благословясь, водочки! — говорит мне снова по-еврейски Карп, и, дабы я понял правильно, о чем идет речь, он щелкает себя пальцем по шее.

Я усаживаюсь на кожаную скамеечку и завожу с Карпом обстоятельную беседу насчет кожи, «товара», о сапогах, подметках, деревянных шпильках, пока не добираюсь наконец до вопроса о скрипе. Он говорит по-еврейски, а я по-русски. Когда он меня не понимает, я объясняю жестами.

— Ведь я же тебе, дурья голова, говорю по-вашему: объясни, почему чеботки делают тррр! Тррр!

— Ты лучше говори по-еврейски! — просит Карп, облизывает языком подошву и проводит по ее краю линию своим крепким черным ногтем.

— В чем секрет, — говорю я ему уже по-еврейски, — в чем смысл скрипа? Что вы такое кладете в сапожки, чтоб они скрипели?

— А! Скрип? — догадывается Карп. — Чтоб сапожки скрипели, нужен сахар.

— Просто сахар? — удивляюсь я. — Как же это?

— Сахар, — пытается мне объяснить Карп, — сахар клап-клап, скрип-скрип.

— Ага! — отвечаю я. — Сахар, наверно, надо растолочь, вот он и трещит. Ну а больше ничего туда не кладут?

— Водки, — отвечает Карп. — Немного водки.

— Водки? — удивляюсь я. — Водки? Зачем водка? Ну, сахар, — скрип-скрип, но водка? На що тобі водка?

Карп с большим трудом объясняет мне — и обязательно по-еврейски, — на что нужна водка. Прежде чем положишь в сапоги сахар, нужно подошвы sprysnut' водкой, не то сахар плохо пристает.

— Вот оно что! — говорю я. — Теперь я хорошо раскусил: не будет водки — не будет и сахара, а если

¹ Бессмысленный набор слов, частью еврейских, частью лишь по созвучию напоминающих еврейскую речь.

² Хозяин... Мне очень нужен ваш хозяин Гедаля!

³ Хозяин.

не будет сахара, то не будет скрипеть. «Если нет хлеба — нет и учения», — поясняю я это библейским изречением, открываю свой кошелек и отдаю Карпу все свое состояние — все ханукальные деньги и те, что получил в пурим. Мы дружески прощаемся, он подает мне большую черную руку, измазанную смолой, и повторяет наскоро: «Мейде ани, фрейде мани, тателе-мамеле, а геб им а гензеле...» Я бегу домой обедать, оттуда обратно в хедер хвастать перед мальчишками новым платьем, которое мне шьют к пасхе: длинно-полый кафтанчик с разрезом и карманом сзади! И сапожки со скрипом! Со скрипом! Скрипом!..

4

— Мама, я свободен! — прибегаю я дня за два до пасхи с доброй вестью о том, что нас отпустили из хедера.

— Счастье твоей бабушке! Дай тебе бог сообщать более веселые вести! — отвечает мама, замороченная приготовлениями к пасхе. Обеих прислуг она повязала белыми платками, дала им щетки, веники и гусиные крылья, а сама тоже повязалась белым платком, и все втроем чистят и мажут, моют и стирают, надраивают и выжаривают к пасхе. Я места себе найти не могу. Где бы я ни присел, где бы ни стоял, где бы ни ходил — все плохо!

— Убирайся подальше от пасхального шкафа! — кричит мне мама таким тоном, как если бы я ходил с огнем возле пороха.

— Осторожно! Сейчас наступишь на пасхальный мешок!

— В ту сторону даже не смотри — там пасхальный борщ стоит!..

Я перехожу с места на место, путаюсь под ногами, и меня то и дело угощают тумакон, подзатыльником, пинком.

— Провалиться бы сквозь землю твоему ребе! Хвор он был продержат вас в хедере лишний день! Чтоб не вертелся ты здесь юлой... Мало без тебя хлопот! У людей дети сидят на одном месте... Хвор такой мальчик, которому уже почти девятый год, делать что-нибудь, лишний раз повторить четыре вопроса? *

— Мама! — говорю я. — Я их уже знаю наизусть!

— Вот радость! — отвечает мама. — Мало, что ли, денег тратят на тебя?..

Еле дождался я того вечера, когда отец ходит со свечой, с деревянной ложкой и гусиным крылом и отыскивает хомец *, а я помогаю ему искать кусочки хлеба, которые он сам сегодня разложил по всем подоконникам... «Всего только одни сутки, — думаю я, — еще одна ночь и один день, — и я оденусь по-праздничному, как принц, в новый кафтанчик с разрезом и карманом позади, а сапожки будут скрипеть!.. Мама, наверное, спросит: «Что это за скрип такой?» А я притворюсь, будто ничего знать не знаю... Потом праздничная трапеза, четыре вопроса, четыре бокала вина, пасхальные яства: оладьи, галушки, катыши, галушки в меду...» Я вспоминаю обо всех этих вещах, и у меня начинает сосать под ложечкой. Я весь день почти ничего не ел.

— Прочитай молитву, — говорит мне мама, — и ложись спать. Сегодня не ужинают, сегодня канун пасхи...

Я ложусь спать, и снится мне, что уже пасха... Я иду с отцом в синагогу молиться... Мои новые одежды шуршат... Сапожки скрипят: скрип! скрип! скрип!.. «Кто это идет?» — спрашивают чужие люди. «Это Мотл, сынишка Рувимова Авром-Герша...» И вдруг — не знаю откуда — появляется черный кудлатый пес, нападает на меня: «Гав-гав!» — и хватает за кафтан... Отец стоит, боится подойти, машет руками и кричит: «Пошел! Пошел!» Но пес не слушает и тянет сзади за то самое место, где разрез и карман, отрывает половину кафтана и хочет удрать... Я изо всех сил бегу за ним, теряю сапожок и останавливаюсь в грязи — одна нога обутая, другая босая... Начинаю плакать, кричать: «Гвалт!» — и... просыпаюсь. Наша прислуга Бейля стоит возле меня, рвет с меня одеяло и тянет за ногу.

— Смотри, пожалуйста! Никак его не добудишься! Вставай! Мама велела тебя разбудить, надо вынести из дому последний хомец!..

5

Отец закидывает в печь деревянную ложку с гусиным крылом и сжигает хомец... В доме — все уже пасхальное... Всюду чистота... Стол накрыт... Вино в графине улыбается мне издали... Вот-вот еще час, еще час — и наступит пасха... Вот-вот еще час-другой,

и я оденусь по-праздничному... Но пока портной и сапожник принесут мои праздничные одежды, мать приводит в пасхальный вид меня самого: она моет мне голову горячей водой с яичными желтками, она расчесывает и дерет мне волосы. Я морщусь, за это она меня то локтем ударит, то оплеухой угостит.

— Перестанешь ерзать, как червяк?.. Чтоб ребенок не мог на месте устоять! Ему добро делают, а он еще недоволен!..

Отбыл, слава богу, и головомойку, теперь сижу в одной рубашке за столом, жду, когда принесут мои обновы, и смотрю на отца, который только что пришел из бани с еще мокрыми волосами. Он сидит над фолиантом, раскачивается и тихонько читает нараспев:

— «Для потребления горечи поступают так: берут хрен, но так как он жестковат, его можно натереть на терке...»

Я смотрю на отца, и мне представляется, что другого такого набожного человека на свете нет; что другой такой чистой пасхи, как у нас, нет нигде; что таких одежд, как у меня, ни у кого не будет! Но почему их еще не несут? В чем дело? А вдруг они не готовы к пасхе? Но об этом я и думать не хочу! А как же я пойду в синагогу? Что скажут мои товарищи? Как я сяду за праздничный стол? Не дай бог! Я этого не перенесу!

Но в то время, как я погружен в мрачные мысли, открываются двери и приходит портной Исроэл. От радости я вскакиваю и падаю вместе со стулом, чуть не свернув себе шею. Из кухни прибегает мама с пасхальной ложкой в руке.

— Что это так ударило? Кто это упал? Это ты, чтоб тебе в огне не сгореть! Черт, дьявол, а не ребенок! Не ударился, упаси бог? Поделом тебе! Не бегай, не прыгай! Ходи как человек!

А портному она говорит:

— Вы держите слово, реб Исроэл! А я уже хотела посылать к вам!

Исроэл отвечает полуулыбкой и машет рукой, будто хочет сказать: «Интересно, право! Чтоб я да слово не сдержал!»

Мать откладывает ложку и помогает мне влезть в новые штанишки, затем надевает на меня новый ситцевый арбеканфес, который она сама сшила на пасху, а поверх него надевает на меня кафтан и довольна, что мне в нем достаточно свободно и просторно...

Я щупаю сзади — о, горе, беда! Нет даже признака разреза и кармана нет! Защито гладко и наглухо все кругом!

— Что это за кишка? — вдруг спрашивает у портного мама, поворачивая меня во все стороны.

Исроэл достает рожок, выгибает палец, насыпает кучку табаку и втягивает ее в нос.

— Что это за кишка? — еще раз спрашивает мама, поворачивая меня.

— Где вы видите кишку? — спрашивает в свою очередь Исроэл, поворачивая меня в обратную сторону. — Ведь это же фалда, вы же просили, чтобы была фалда, — забыли?

— Хороша фалда! — говорит мама и опять поворачивает меня. — Мерзость какая, господи! Позор! Честное слово, позор!

Но Исроэл что-то не смущается. Он оглядывает меня с головы до ног, как профессор, и говорит, что сидит замечательно, лучше некуда! «Такую работу и в Париже не сделают! Кафтанчик поет, честное слово, поет!..»

— Как тебе нравится такое «пение»? — спрашивает мама и приводит меня к отцу. — Что ты скажешь по поводу такого «пения»?

Отец поворачивает меня во все стороны, разглядывает кафтанчик и находит, что штанишки и в самом деле длинноваты...

— Длинноваты штаны, реб Исроэл!

— А?.. Что?.. Длинноваты, говорите? Не знаете, что делать? Подвернуть.

— Может быть, вы и правы... — отвечает отец. — Но как быть, если они широковаты, выглядят, как два мешка?

— Тоже мне беда — невеста чересчур хороша! — говорит Исроэл, снова втягивая в нос понюшку табаку. — Широко, говорите вы? Гораздо хуже, когда узко, в тысячу раз хуже!

Я не перестаю ощупывать себя сзади: ищу разрез и карманы.

— Что ты там ищешь? — спрашивает мать. — Вчерашний день?

«Страшный лгун! — думаю я, зверем глядя на Исроэла. — Глушня поганая! Будь ты проклят!»

— Носи на здоровье! — говорит Исроэл, рассчитывается за работу, и отец снова принимается за свою книгу.

— Носи на здоровье! — говорит мне мама, когда портной уходит, и не перестает любоваться кафтанчиком. — Только не задирайся с озорниками и не дерись с русскими мальчиками, тогда будешь, даст бог, носить этот костюм и носить, только бы здоровье!..

6

— А вот и реб Гедалья! — говорит мама. — Легок на помине!.. Готовы сапожки ребенку?

— Да как еще готовы! — отвечает сапожник Гедалья, приплясывая, и несет начищенные сапожки на пальце, как носят связку живых, трепещущих рыбок, только что выловленных из воды. — Беда прямо-таки с этими заказчиками! Весь мир желает, чтобы готово было на пасху! Работал из последних сил, ночь, почитай, не спал!.. Уж я, если дал слово, так тут хоть гром и молния!

Мать меряет мне сапожки, шупает, давит и спрашивает, не чувствую ли я, что где-нибудь жмет?

— Жмет? — говорит Гедалья. — Мне кажется, что в эти сапожки может влезть еще одна пара таких ножек, как у вашего сына.

— А ну-ка встань на пол! — говорит мама.

Я становлюсь и нажимаю на подошвы, хочу услышать, как они скрипят... Но где там? Что там? Ни звука не слышать!..

— Чего ты так нажимаешь? — говорит мне мама. — Не торопись, ведь год еще впереди. Ручаюсь тебе, что ты их, даст бог, повешешь к будущей пасхе! Теперь пройди с папой к шапочнику Ихиелу, тебе там выберут картузик на пасху. Только осторожно с сапожками! Не стучи так подошвами, они не из железа!

Шапочник Ихиел живет рядом с нами. Мы двором пробираемся к нему в лавку.

Шапочник Ихиел от рождения белый, с белыми волосами. Но так как он постоянно возится с крашеными черными шапками, он всегда словно вымазан сажей. Нос у него с обеих сторон синеватый, а пальцы будто обмакнуты в чернила.

— Добро пожаловать, сосед! — радушно встречает нас Ихиел. — Для кого вам картуз к празднику? Для вас самих или для вашего мальчика?

— Для сына моего! — с гордостью отвечает отец. — Но покажите что-нибудь настоящее... Такое... Понимаете?

— А именно? — спрашивает Ихиел и осматривает полки.

— А именно, — повторяет отец и показывает руками, — чтобы было и добротно, и красиво, и хорошо, и дешево, и этак... Понимаете?

— В таком случае есть у меня для вас как раз то, что вам требуется! — говорит Ихиел и хватает с полки несколько шапок сразу.

И каждая шапка, когда он берет ее на руку, повертывается сама по себе, как по волшебству!.. Поминутно он примеряет мне другую шапку, отступает на полшага, с улыбкой заглядывает мне в лицо и говорит отцу:

— Такой бы нам год, как это ему к лицу! А? Как вам нравится шапочка? Уж это всем шапочкам шапочка!

— Нет, реб Ихиел, это не то! — говорит отец и показывает на пальцах. — Мне бы хотелось такой картузик, чтобы, понимаете ли, был он и на еврейский лад и в то же время по моде, без финтифлюшек, солидно, и... и... и... Понимаете?

— Так бы и сказали! — отвечает Ихиел и длинной палкой достает с верхней полки картузик — полукруглый, цветной, в клетку, с мягким козырьком, и подает его на одном пальце. Картузик вертится на пальце, как мельница... Осторожно он надевает его мне на самую макушку, едва дотрагивается, как если бы голова моя была из стекла и он боится ее разбить, и желает себе такую жизнь, такое счастье, как хорош этот картузик! И как он мне к лицу! Другого такого у него нет, говорит он, быть бы ему так избавленным от всего дурного!.. Отец торгуется с ним долго-долго. Ихиел клянется, что только ради нас он уступает так дешево, почти по своей цене — иметь бы ему так веселый праздник и всяческое благополучие!

Я вижу, что отцу картузик очень понравился, потому что он поминутно подходит, любуется и поглаживает мои волосы...

— Хоть бы лето проносил! — говорит отец.

— Два лета! — отвечает Ихиел и подлетает к отцу. — Три лета! Дай мне бог такую жизнь, какой это прекрасный картузик! Носи на здоровье!..

Пока я добираюсь до дому, картузик уже лежит у меня на ушах. Чувствую, что он мне великоват.

— Не беда, лишь бы не узко! — говорит мама и надвигает его мне чуть ли не на нос. — Ты только не вздумай снимать и надевать его поминутно! И руками не трогай!.. Носи на здоровье!..

7

Вечером, когда мы с отцом пришли в синагогу молиться, я встретил всех своих товарищей: Ицика и Берла, Лейбла и Айзика, Цодика и Велвлa, Шмаю и Копла, Меера и Хаим-Шлойму, Шахне и Шепсла и еще многих других. Все одеты по-праздничному, все в новых кафтанчиках, все в новых сапожках, в новых шапках, но никто не носит такого длинного кафтана с фалдой, как у меня, ни на ком нет таких сапожищ, как у меня, ни на ком не вижу я такой нелепой шапки, как моя... О разрезах и карманах, о сапогах со скрипом я уже не говорю: меня здорово обманули, надули!..

Ребята встретили меня громким хохотом:

— Вот это твои обновы, которыми ты так хвастал? Где же твой разрез сзади? Где карман, о котором ты говорил? А почему не слышать, как скрипят твои сапоги?

Мало того что у меня и без того тяжело на душе, они еще солью посыпают мои раны! Каждый по-своему старается меня уколоть.

И ц и к. Что это на тебе за кафтанище?

Б е р л. Халат!

Л е й б л. Хламида!

А й з и к. Хламиндрик!

Ц о д и к. Жупан!

В е л в л. Юбка!

Ш м а я. Кринолин!

К о п л. Посмотри, какие исподники, какие «чеботы»!

М е е р. А картуз!

Х а и м - Ш л о й м а. Треух!

Ш а х н е. Макитра!

Ш е п с л. Помойное ведро!

Я так разъярен, что даже не слышу пения кантора Герш-Бера... Прихожу в себя только к концу моления, когда прихожане говорят друг другу: «С праздником!

С праздником!..» В подавленном настроении, с болью в сердце иду я с отцом домой, еле ноги волочу. В груди огонь пылает. Не милы мне ни вино, которое мы сейчас будем пить, ни четыре вопроса, которые я буду задавать отцу, ни «Сказание на пасху», которое мы будем читать, ни вкусная приперченная рыба, которую мы будем кушать с намоченной в соусе мацой, ни горячие галушки, ни все прочие вкусные вещи — ничего, ничего мне не мило, все противно, испорчено, омрачено!..

За праздничным столом на самом почетном месте возлежит на мягких подушках отец — король в белом халате поверх одежды и в бархатном картузе. Рядом с ним сидит мама — королева. На ней платье цвета антик-маре, шелковый платок и жемчуг, придающие ей такое обаяние. Напротив сижу я, принц, одетый с головы до ног во все новое. Сбоку сидит прислуга Бейля, в новом ситцевом платье и белом накрахмаленном фартуке, который шумит и шелкает, как маца. По другую сторону сидит кухарка Брайна с усами, в новом желтом платке на голове. Она рукой прикрывает лицо и раскачивается — приготовилась слушать «Сказание»...

— «Се хлеб наш скудный», — поет очень красивым голосом король, а королева помогает ему поднять миску, и лицо у нее сияет и светится, как звездочка. Бейля опускает красные руки на белый передник, который шелестит, словно лист. Брайна, услышав священные слова, делает набожное лицо и морщится, готовая пустить слезу. Все оживлены, все настроены празднично, и только принцу что-то не по себе. На сердце у него тяжело, и все словно затянуто дымкой. Если бы не пасха и не праздничная трапеза, он бы расплакался, и тогда бы ему, быть может, легче стало...

Король садится и откидывается на подушки. За ним следом садятся все на свои места и ждут, чтобы принц поднялся и задал отцу четыре положенных вопроса. Но принц сидит, точно прикованный к стулу, и не может тронуться с места.

— Ну? — произносит отец, махнув рукой.

— Встань! — говорит королева. — Задавай отцу четыре вопроса!

Принц не двигается. Он чувствует, будто схватил его кто-то клещами за горло и душит. Голова клонится

набок. В глазах начинает прыгать. Две слезинки, как жемчужины, катятся по щекам и падают прямо на страницу «Сказания».

— Что с тобой? Что за плач ни с того ни с сего за столом? — сердито кричит королева. — Так ты благодаришь за новые вещи, которые тебе сшили к празднику?

Принц хочет перестать плакать, но не может. Его душит, давит... В нем словно источник открылся, море слез.

— Скажи, что с тобой? Что у тебя болит? Чего ты молчишь? Отвечай! Или ты хочешь, чтобы папа тебе высыпал ради праздника?..

Принц встает, и язык у него заплетается.

— Вопрос, я задам тебе четыре папы... То есть, папа, я задам тебе четыре во... во...

У принца подкашиваются ноги, он роняет голову на белую скатерть и плачет и всхлипывает, как малое дитя...

Омраченный, омраченный праздник!..

РЯБЧИК

Еврейская собака

1

Рябчик был небольшой, белой с черными пятнами собакой, кроткого нрава. Он и не помышлял о том, что можно напасть на кого-либо со спины, оторвать полу или укусить в ляжку, как это делали другие собаки, задиры. Он был рад, когда его самого не трогали. А трогал его всякий кому не лень. Огреть Рябчика палкой, пнуть каблуком в бок, запустить камнем в голову, вылить на него ведро помоев составляло всеобщую забаву, считалось чуть ли не богоугодным делом.

Когда Рябчика били, он не пускался в объяснения с обидчиком, не отбrehивался, как это делают другие собаки, не показывал зубов; при каждом ударе он склонялся до самой земли, отчаянно визжа: ай-яй-яй! Потом, поджав хвост, удирал, забивался в какой-нибудь уголок и там, ловя мух, погружался в думы.

Откуда взялся Рябчик? Какова его родословная? На это трудно ответить. Возможно, что старый помещик оставил его во дворе. Возможно, Рябчик заблудился и, потеряв хозяина, пристал к новому месту, да так и остался у нас навсегда.

Случается, вы идете по улице и за вами увязывается приبلудная собачонка, не отступает от вас ни на шаг. «Что за напасть? — думаете вы и замахиваетесь на собачонку. — Пошла вон!» Собачонка останавливается, изгибается, как человек, ожидающий пощечины, и бежит за вами дальше. Вы склоняетесь к земле и, будто подняв камень, снова замахиваетесь на нее. Но и это не помогает. Вы останавливаетесь и смотрите на собачонку; собачонка тоже останавливается и смотрит на вас; вы с собачонкой так долго смотрите друг другу в глаза, пока наконец не сплунете и не отправитесь дальше в сопровождении той же собачонки. Вы выходите из себя, хватаете палку и со злостью напускаетесь на нее. Но собачонка и тут находит выход из положения: ложится на спину, задрав лапки, дрожит и смотрит вам прямо в глаза, как бы говоря: «Пожалуйста, хочешь бить меня, бей!..»

Вот такого рода собакой был Рябчик.

3

Рябчик не отличался жадностью. Золото увидел на дороге — и то бы не тронул. Рябчик знал: все, что под столом, принадлежит ему, а дальше не суйся. Говорят, что в молодости и он был озорником. Даже попытался однажды тайком стащить гусиную лапку. Но тут случилась кухарка Брайна, женщина с черными усами. Она закричала благим матом: «Айзик! Айзик!» Айзик прибежал на крик как раз в ту минуту, когда Рябчик пытался незаметно прошмыгнуть с гусиной лапкой во двор, и Айзик прищемил его дверьми так, что голова несчастного Рябчика осталась по одну, а хвост — по другую сторону дверей. И вот тогда-то и рассчитались с ним как следует: Айзик бил его по голове палкой, а Брайна колотила поленом, не переставая кричать: «Айзик! Айзик!»

Этот случай оставил у Рябчика след на всю жизнь: стоило подойти к нему вплотную и произнести слово «Айзик», как он пускался со всех ног бежать.

4

Больше всех донимала Рябчика Параська, та самая Параська, которая стирала у нас белье, мазала хату и доила корову.

Трудно сказать, чем Рябчик так досаждал Параське: Рябчик всегда казался ей лишним — стоило ему только попасться Параське на глаза, как в ней закипала злость: «Шоб тобі хвороба, собака невірна!..» И будто нарочно, Рябчик вечно путался у нее в ногах.

Во время работы Параська издевалась над ним, как над злейшим врагом; когда стирала белье, то окатывала его ушатом ледяной воды. Такая баня была Рябчику не по душе, и после нее он долго отряхивался. Когда Параська мазала хату, она норовила заляпать Рябчику морду белой глиной, и он потом чуть ли не целый час облизывался. И даже когда доила корову, Параська и то умудрялась запускать ему поленом в лапу. И Рябчик научился прыгать. Когда в него летело полено, он искусно, как чертенок, перескакивал через него.

Однажды угощение Параськи не пошло Рябчику впрок; она угодила ему поленом в переднюю лапку. Рябчик завизжал не своим голосом: ай-яй-яй-яй-яй-яй! На его крик сбежались со всего двора. Увидев столько людей, Рябчик начал жаловаться, показывать каждому свою подбитую лапу, как бы говоря: «Вот посмотрите, что она со мной сделала, эта Параська!..» Рябчик, видно, думал, что за него заступятся, что Параське голову снесут за такое злодейство.

Вместо этого во дворе поднялся смех; усатая Брайна выскочила из кухни с половником, провела обнаженной рукой по носу снизу вверх и сказала: «Перебили недотепе лапу? Так ему и надо!..» Сбежавшиеся ребята-озорники загикали и засвистели. А тут снова появилась Параська и в придачу окатила его кипятком из кувшина. Рябчик поднял крик еще пуще, завизжал еще сильнее: ай-яй-яй-яй-яй-яй!.. Он подпрыгивал от боли, вертелся волчком и кусал свой собственный хвост, не переставая кричать истощенным голосом, что еще больше развеселило мальчишек. Глядя на Рябчика, который

плясал на трех ногах, они посулили ему новые беды, да еще отдубасили палками. Рябчик с визгом пустился бежать, кувыркаясь и катаясь по земле, а озорники преследовали его палками и камнями, улюлюкали, свистели, пока не прогнали далеко за город, по ту сторону мельницы.

5

Рябчик бежал с намерением не возвращаться в город до конца дней своих. Бежал он в обширный мир, куда глаза глядят. Бежал, бежал и прибежал в деревню. Увидели его деревенские собаки, обнюхали:

— Добро пожаловать! Откуда ты, собака? Что это за штука такая у тебя на спине? Шкура как будто выжжена по самой середине?

— И не спрашивайте! — с грустной миной отвечает им Рябчик. — Долго рассказывать, да скучно слушать. Нельзя ли у вас ночку скоротать?

— Сделайте одолжение! — отвечают ему деревенские собаки. — Земля велика, а поднебесье еще больше.

— А как у вас здесь с едой? — спрашивает Рябчик. — Чем вы утоляете голод, когда желудок требует своего?

— Да ничего, грешно жаловаться! — говорят деревенские собаки. — Помойки всюду есть, а мясо бог одалжил костями; не беда, пусть хозяева едят побольше мяса, а нам пусть достаются кости. Только бы, как говорится, набить утробу.

— Ну, а каковы здесь хозяева? — помахивая хвостом, спрашивает Рябчик, подобно чужеземцу, которому хочется поподробнее все разузнать, во все вникнуть.

— Хозяева как хозяева, — нехотя отвечают деревенские собаки.

— Ну, а Параська?

— Какая Параська?

— Параська, — отвечает Рябчик, — та самая Параська, которая стирает белье, мажет хату и доит корову. Вы разве не знаете Параську?

Деревенские собаки стоят и смотрят на Рябчика, как на помешанного. «О чем это он?» Они снова обнюхивают его и расходятся поодиночке, каждая на свою помойку.

«Вот счастливичики!» — думает Рябчик о деревенских собаках и растягивается на божьей земле, под божьим небом, чтобы немного вздремнуть. Но ему не спится: зудит опшаренная шкура, нестерпимо болит и ноет спина. И мухи докучают, нет от них спасенья. Кроме того, урчит в животе; Рябчик не прочь бы закусить, да нечего. Придется потерпеть до утра. Еще не дает ему спать недавний разговор с деревенскими собаками: нет у них никаких Айзиков, которые прищемляют тебя дверьми, а потом колотят поленом; нет у них Парасек, которые опшаривают кипятком; нет у них озорников, которые бросают в тебя палки, и гикают, и свистят, и гонят прочь. «Есть же счастливые собаки на свете! А я думал, что дальше того двора и жизни нет, как червяк, который забирается в хрен и думает, что слаще ничего не бывает...»

Рябчик засыпает. И снится ему большое помойное ведро, наполненное до краев хлебными корками, мясными жилами, требухой, гречневой кашей, перемешанной с пшеном и фасолью, а костей там — целый клад: и ноги, и ребра, и мозговые кости, и еще рыбные кости, и селедочные головки, совсем целые, необглоданные. Рябчик не знает, с чего начать.

— Приятного аппетита! — говорят деревенские собаки, держась на расстоянии и глядя, как он готовится к еде.

— Откушайте с нами, — для приличия приглашает Рябчик.

— Кушайте сами на здоровье! — любезно отвечают деревенские собаки.

Вдруг над самым его ухом раздается: «Айзик!»

Рябчик просыпается. Это был только сон...

Утром Рябчик отправился по дворам в поисках какой-нибудь помойки, может быть, удастся что-нибудь перехватить, хотя бы самую маленькую косточку. Но куда бы он ни пришел — все места уже заняты.

— Нельзя ли у вас закусить? — спрашивал Рябчик.

— Здесь? Нет. Может быть, на соседнем дворе...

Рябчик бежит со двора на двор и всюду встречает тот же прием. И наконец ему приходит на ум: не хватит ли церемониться? Не вернее ли будет подойти и схватить что попадется? Но при первой же попытке что-либо стянуть с ним схватились деревенские собаки.

Вначале они смотрели на него со злобой, рычали и показывали зубы. А потом разом набросились на него, искушали, истерзали, жестоко разделались с его хвостом и с соответствующими почестями проводили за околицу.

7

Поджав хвост, Рябчик побежал в другую деревню. Но там повторилась та же история: радушный прием, милые речи, почему бы и нет? А потом, когда дело доходит до помойки, сразу косые взгляды, ворчанье, Рябчика кусают, терзают и гонят на все четыре стороны.

Рябчику надоело странствовать, вечно переходить с места на место, и он решил так: люди злы, собаки ничем не лучше их; не попытаться ли ему поискать счастья в лесу, среди зверей?

И Рябчик отправился в лес.

Походил он в одиночестве и день, и два, и три,— единственная собака в лесу,— и почувствовал, что у него все больше сводит живот от голода и жажды, последние силы иссякают, хоть возьми растянись среди леса и помирай! А Рябчику, как назло, хочется еще жить и жить.

Рябчик поджимает хвост, вытягивает передние лапы, укладывается под деревом и думает свою собачью думу: «Где раздобыть кусок хлеба? Где взять кусочек мяса? Косточку хотя бы? Где бы глотком воды разживиться?» От горя Рябчик превращается в философа, его одолевают мысли: «За что бог наказал меня, бедного пса, больше всех зверей, птиц и всякой твари на земле? Вон птица летит в свое гнездо. Ящерица пробирается в свою норку... Вот червячок ползет, жучок, мурашка — у каждого свой дом, каждый находит себе пропитание, один только я, гав-гав-гав!..»

— Кто это лает здесь? — спрашивает волк, который проходит мимо, высунув от голода язык.

Рябчику никогда еще не приходилось видеть волка, поэтому он думает, что перед ним собака. И Рябчик медленно, потягиваясь, поднимается с земли и не спеша подходит к волку.

— Кто ты такой? — высокомерно спрашивает его волк.— Как тебя зовут? Откуда ты взялся и что ты здесь делаешь?

Рябчик рад, что встретился с добрым приятелем, есть, по крайней мере, перед кем излить свою душу. И Рябчик рассказывает волку о всех своих злоключениях.

— Скажу тебе по совести,— заканчивает Рябчик свою печальную повесть,— я бы не прочь повстречаться со львом, с медведем или, скажем, с волком.

— И что бы тогда было? — со шкодливой улыбкой спрашивает волк.

— Ничего,— отвечает Рябчик.— Если мне судьба умереть, то пусть уж лучше волк меня растерзает, чем околет с голоду среди своих.

Волк, ощерившись, щелкает зубами и говорит:

— Ну так знай же, что я волк! Я разорву тебя на части и позавтракаю тобой, потому что я голоден, восемь дней ничего в рот не брал!

Слова волка так напугали Рябчика, что он задрожал всей своей опаленной шкурой.

— Всемогуший царь! Милостивый реб Волк! — взмолился Рябчик жалобным голосом.— Пусть бог пошлет тебе лучший завтрак! Ну, какой прок во мне? Шкура да кости!.. Послушай, отпусти меня, сжался над моей собачьей жизнью!..

Поджав хвост и выгнув спину, Рябчик стал ползать на брюхе, извиваться и гримасничать так, что волку тошно стало.

— Подбери свой гадкий хвост, собачье ты отродье, и убирайся ко всем чертям, чтоб я паршивого обличья твоего не видел!..

Ни жив ни мертв, не чуя под собой ног, Рябчик пустился бежать, боясь даже оглянуться. Он мчался во весь дух подальше от леса, обратно в город.

8

Вернувшись в город, Рябчик миновал двор, в котором вырос, хотя сердце влекло его именно туда, на тот двор, где его били и колотили, на тот двор, где ему подбили ногу и ошпарили спину... Рябчик отправился на базар, в мясные ряды, к собакам, которые там околачиваются, к своим, значит.

— Милости просим! Откуда явилась, собака? — обращаются к нему собаки из мясных рядов, позевывая и устраиваясь на ночлег.

— Да я здешний,— отвечает Рябчик,— вы разве меня не узнали? Я ведь Рябчик!

— Рябчик? Рябчик? Постой-ка, знакомое имя! — говорят собаки, будто никак не могут вспомнить, кто он такой.

— Что это у тебя за отметина на спине? — нахально прыгая перед его мордой, спрашивает Цуцик, маленькая собачонка.

— Это, наверно, для того, чтобы его ни с кем не спутали, или же просто для красоты, что тут удивительного? — насмешливо замечает Рудек, рыжая, мохнатая собака.

— Ничего подобного! — говорит Серко, старый холстяк, серый, кривой, с отрезанным ухом.— Об отметинах меня спросите, уж я вам точно скажу. Это знак суровых стычек, битв с целыми сворами...

— Разговорились! — вставляет Жук, бесхвостая собака.— Дайте же высказаться Рябчику, пусть сам расскажет.

Рябчик вытягивается на земле и начинает рассказывать свою историю, ни одной мелочи не пропускает. Все собаки лежат и слушают молча, один только рыжий Рудек, шутник, то и дело вставляет остроту.

— Да замолчишь ли ты, Рудек? — широко зевая, говорит черный бесхвостый Жук.— Рассказывай, рассказывай, Рябчик! Мы все любим после обеда послушать сказки...

Рябчик все продолжает рассказывать жалобным голосом свою печальную историю, но никто его уже не слушает. Цуцик шепчется с Серко. Рудек сыплет остротами, а Жук храпит, как целый взвод солдат. Изредка он просыпается, широко зевая и приговаривая:

— Ты рассказывай, рассказывай, Рябчик! Мы любим после обеда послушать сказки!

Чуть рассвело, Рябчик уже был на ногах. Он издали смотрел на мясников, которые рубили мясо. Вот висит туша шеей вниз, и кровь из нее течет. А вот кусок жирный-прежирный, любо смотреть... И Рябчик смотрит и глотает слюну. Мясники рубят мясо на мелкие куски и время от времени бросают собачкам то

кусочек мяса, то кожу, то кость. А собаки подпрыгивают, на лету ловят подачки. Рябчик смотрит, как собаки ухитряются подпрыгнуть как раз вовремя, ни одной косточки не упустят. Получив свою долю, каждая отходит в сторонку, привольно располагается там и справляет трапезу, то и дело оглядываясь на других собак, как бы говоря: «Видите кость? Эта кость моя, и я ее ем».

Другие собаки притворяются, будто ничего не замечают.

«Чтоб тебе подавиться,— думают они,— чтобы у тебя эта кость боком вышла, все утро жрет и жрет, а мы стой тут и смотри, сожри тебя черви!»

А иная собака тащит в зубах кусок кожи и ищет место, где бы ей перекусить, чтоб никто не видел, она боится дурного глаза...

А еще одна собака стоит перед злым мясником, который все время чем-то недоволен, кричит, ругается с другими мясниками. Собака вертит хвостом и говорит угодливо, якобы обращаясь к своим товаркам:

— Видите вот этого мясника? Правда, у них как будто сердитый вид? Но такое бы мне счастье, какой это славный человек! На всем свете другого такого не сыщешь! Они по-настоящему жалеют собак; они, можно сказать, покровитель собак... Вот увидите, как сейчас полетит кость, кость с мясом... Гоп!

Собака подпрыгивает и ляскает зубами, пусть другие подумают, что ей попался жирный кусок...

— Всем хорош,— отзывается собака со стороны,— врун, и льстец, и хвастун, чтоб его черт побрал!..

А еще одна собака, улучив момент, когда мясник на минуту отворачивается, прыгает на колоду, на которой он рубит мясо, и лижет ее. Между собаками поднимается лай: это они доносят мяснику, клянутся именем господина, что пес-ворюга стащил кусок мяса, такой бы им слиток золота! Они своими глазами видели, видеть бы им так добро! Пусть их земля проглотит, если они врут, пусть подавятся первой косточкой, пусть им даже рога и копыта не достанутся от зарезанной скотины!..

— Фу, тошно, с души воротит! — отзывается старый пес, который и сам был бы не прочь полакомиться косточкой. Тут Рябчик подумал: что толку в том, что он стоит и смотрит? Все собаки прыгают и хватают, и он как все. Но не успел Рябчик оглянуться, как несколько

собак сразу схватили его за горло и стали терзать, норовя укусить то самое место, где особенно больно бывает...

С опущенным хвостом Рябчик забился в уголок и, вытянув морду, начал выть.

— Чего ты плачешь? — спросил его Жук, облизываясь после еды.

— Как же мне не плакать? — отвечает Рябчик. — Я несчастнейшая из собак! Я надеялся, что здесь, среди своих, мне тоже кое-что перепадет. Я бы не полез, поверь, но я смертельно голоден, сил больше нет!

— Верю, — отвечает ему Жук со вздохом. — Я знаю, что такое голод. Сочувствую твоей беде, но помочь ничем не могу. Здесь уже так заведено; у каждого мясника своя собака, а у каждой собаки свой мясник...

— Разве это хорошо? — говорит Рябчик. — Где же справедливость? Где собачность? Где это видано, чтобы собака пропадала среди собак? Чтобы голодный умирал с голоду среди сытых?

— Разве лишь вздохом могу тебе помочь, — говорит Жук, смачно зевая и располагаясь после еды ко сну.

— Если так, — и Рябчик набирается мужества, — я пойду прямо к мясникам; может быть, мне тоже удастся вылаять себе мясника...

— Желаю успеха! — говорит Жук. — Только к моему мяснику не ходи, потому что, если ты пойдешь к моему мяснику, быть тебе без хвоста, вот как я, видишь?

И Рябчик, миновав всех собак, направился прямо к мясникам, стал улыбаться им, прыгать и вилять перед ними хвостом. Но за неудачником беда следует по пятам. Один из мясников, здоровенный, широкоплечий парень, видно, шутки ради, запустил в Рябчика топором. Не умея Рябчик прыгать, его бы разрубило пополам.

— Ты совсем недурно пляшешь! — с издевкой обратился к нему Рудек. — Почисти нашего Цуцика! Цуцик, поди-ка сюда, поучись, вот как надо плясать...

Цуцик прибежал и начал прыгать прямо перед мордой Рябчика.

Этого Рябчик не мог стерпеть. Он схватил Цуцика зубами, опрокинул его на спину и начал кусать в живот. Всю горечь души своей он выместил на Цуцике, а потом дал стрекача. Один-одинешенек Рябчик пробрался в поле, вытянулся там посреди дороги, от стыда и досады спрятал морду в лапы — ему опостылел божий мир. Его даже не трогало то, что мухи облепили его, пусть кусают, пусть живого места не оставят — все равно конец!..

«Дальше некуда! — думал Рябчик. — Если даже среди собак, среди *своих*, собаке и дня нельзя прожить, то пусть весь мир провалится в тартарары!..»

МАФУСАЛ *

Еврейская лошадка

1

Мафусалом прозвали его в Касриловке потому, что был он обременен годами и не имел ни единого зуба во рту, если не считать двух-трех пеньков, которыми он с трудом жевал, когда было что жевать. Высокий, тощий, облезлый, с побитой спиной и тусклыми глазами (на одном — бельмо, другой — с красниной), кривоногий, мосластый, со впалыми боками, отвисшей губой, точно он вот-вот заплачет, и с общипанным хвостом — таков его портрет. А пребывал он на старости лет в Касриловке у Касриела-водовоза вместо лошади.

По природе своей Мафусал был кроткий, работяга, только очень уж заездили его, беднягу. Натопавшись за день по густой касриловской грязи и обеспечив весь город на сутки водой, Мафусал бывал доволен, когда его наконец распрягали, кидали ему охапку соломы, а затем на закуску ставили перед ним лохань с помоями, которую Касриелиха подносила ему с таким видом, с каким, скажем, подносят блюдо с рыбой или миску вареников самому дорогому гостю. Этих помоев Мафусал ждал всегда с нетерпением, потому что там он находил размокший кусок хлеба, остатки каши и другие вкусные вещи, для которых зубы вовсе не нужны. Целый день Касриелиха старалась для Мафусала, бросала в лохань

все, что подвернется под руку,— пусть бедная лошадка покушает. А Мафусал, подкрепившись, поворачивался лицом к своему бочонку, а к Касриелихе, извините, задом, что должно было, очевидно, означать: «Спасибо за хлеб-соль». При этом он еще больше свешивал нижнюю губу, закрывал зрячий глаз и погружался в глубокое лошадиное раздумье.

2

Не думайте, однако, что Мафусал с первых дней своей лошадиной жизни был таким, каким он здесь изображен. Давно, в молодые годы, когда еще жеребенком он трусил за матерью подле телеги, он обещал стать славным коньком. Знатоки предсказывали, что из него вырастет конь хоть куда. «Вот увидите,— говорили они,— он будет когда-нибудь ходить в карете в паре с самыми лучшими, самыми знатными лошадьми!»

Когда жеребенок подрос и стал лошадью, на него без церемонии надели узду, вывели на ярмарку и поставили там среди других лошадей. Раз пятьдесят его здесь прогоняли взад и вперед, ежеминутно смотрели зубы, поднимали ноги, разглядывали копыта, и так он был передан в чужие руки.

С той поры начинаются его хождения по мукам, бесконечные скитания с места на место. Он переходит от хозяина к хозяину, тащит телеги с тридцатипудовой тяжестью, тонет по брюхо в грязи, познает прелести кнута и палки, которые гуляют по его бокам, по голове, по ногам.

3

Долгое время ходил он коренным в почтовой упряжке с колокольцами, которые не переставая гремели у него над ухом,— глин-глин-глон! глин-глин-глон! — и носился как оглашенный взад и вперед все по одному и тому же тракту. Потом он попал к простому мужику, у которого выполнял самые тяжкие работы: пахал, возил огромные телеги с зерном, бочки с водой, повозки, груженные лошадиным и коровьим навозом, выполнял еще много всякой другой грубой работы, которая была

ему совершенно непривычна. От мужика он попал к цыгану. Цыган вытворял над ним такие штуки, применял такие подлые средства, чтобы он резвей бежал, что Мафусал не забудет этого во всю свою лошадиную жизнь. От цыгана он перекочевал в какой-то большой табун, а спустя короткое время очутился в Мазеповке у владельца тяжелого, окованного железом фургона, над которым высился странного вида разодранный навес, называемый всеми «будой». Здесь, у извозчика, его постоянно награждали кнутом и палкой, точно лошадиная шкура из сыромятины, а не из плоти и крови, точно лошадиные бока из железа, а не из костей. О-ох-о! Сколько раз, бывало, Мафусал уже еле волочит ноги, ляжки точно клещами тянет, в животе какая-то тяжесть, словно там ком какой, а он, этот безжалостный извозчик, все «но!» да «но!», да хлоп кнутом, да бух кнутовищем. Ну за что это?!

Счастье, что у извозчика был заведен такой обычай — один день в неделю можно было стоять на месте; стоять, жевать и ничего не делать. Мафусал не однажды задумывался над этим. Его лошадиные мозги никак не могли уразуметь — в чем же смысл этого дня? Почему в этот день никто тебя не беспокоит? И почему бы не установить такой порядок навсегда? Раздумывая так, он, бывало, настораживал уши и прикрывал один глаз, а другим поглядывал на своих двух товарищей, которые стояли здесь же, привязанные к тому же фургону.

4

Извозчика и его фургон сменила молотилка. Здесь Мафусал познал самый каторжный труд: день-деньской ходил в упряжке по кругу, глотал пыль да мякину, которая набивалась ему в ноздри, забиралась в уши, в глаза, и дурел от грохота машины. «Какой смысл в этом кружении? — не раз спрашивал он себя, пытаюсь остановиться хоть на минутку. — Кто додумался до такой мудрости — кружиться на одном месте?» Однако ему не давали долго раздумывать; сзади стоял человек с кнутом и не переставая покрикивал: «Гу-ги! гу-ги!..»

«Дурачина ты этакий! — думал Мафусал, поглядывая на человека с кнутом. — Хотел бы я видеть, как кружился бы ты вот здесь, если б тебя впрягли в колесо да подстегивали сзади».

Разумеется, от такого кружения в вечной пыли бедняга превратился вскоре в инвалида — один глаз закрыло бельмо, другой покраснел, сдали и ноги. С такими явными пороками он был гош только на свалку. Тогда Мафусала опять вывели на ярмарку — может быть, его все-таки удастся сбыть. Лошадь принарядили, расчесали ей гриву, жиденький хвост подвязали, а копыта освежили жиром. Однако ничто не помогло — людей не проведешь. Сколько его ни муштровали, чтобы он гордо нес свою лошадиную голову, чтобы держался молодцом, он все свое: свешивал понуро голову, подгибал ноги, опускал нижнюю губу и ронял слезу при этом... Нет, охотников на него уже не находилось! Подходил один, другой, но они даже в зубы не глядели ему, только, бывало, пренебрежительно махнут рукой, сплюнут и пойдут своей дорогой. Выискался было один охотник, но не на лошадь, а на ее шкуру. Только не сошлись в цене. Торговец шкурами подсчитал, что это ему невыгодно. Свести лошадь, забить, содрать шкуру — обойдется дороже, чем стоит сама шкура.

Но, видно, суждена была Мафусалу спокойная старость — подвернулся Касриел-водовоз и свел его к себе домой в Касриловку.

5

До этого Касриел — широкоплечий, обросший до глаз человек с приплюснутым носом — был сам себе и водовозом и клячей, то есть попросту сам впрягался в бочку и развозил по городу воду. И как бы туго Касриелу ни приходилось, он никогда никому не завидовал. Вот только когда он видел человека с лошадью, то, бывало, останавливался и долго-долго смотрел ему вслед. Лишь об одном мечтал он всю жизнь: кабы господь помог обзавестись лошадью. Однако сколько он ни копил, ему никак не удавалось собрать столько денег, чтобы хватило на лошадь. И все же он не пропускал ни одной ярмарки, чтобы не потолкаться у лошадок, не поглазеть, — говорят ведь: пощупать, что на возу, никогда не мешает. Увидев несчастную, забитую лошадь, стоящую посреди базара без узды, без привязи, Касриел остановился. Сердце его чуяло, что эта лошадь ему по карману.

Так оно и вышло. Торговаться ему долго не при-

шлось. Ухватив коня за узду, Касриел, счастливый, помчался домой. Он постучался, и Касриелиха вышла испуганная.

— Что такое? Господь с тобой!

— Купил, ей-же-ей, купил!

Касриел и Касриелиха не могли решить, где бы им поместить свою лошадку. Не стесняйся они соседей, поставили бы ее у себя в доме. Вмиг у них появились и сено и солома. А сами — Касриел и Касриелиха — встали перед лошадкой, долго любовались ею, никак наглядеться не могли.

Собрались и соседи посмотреть диковинку, которую Касриел привел с ярмарки. Они подтрунивали над лошадыю, отпускали, как водится, остроты.

— Да ведь это не лошадь, а мул какой-то! — заявил один.

— Какое там мул. Кошка! — добавил другой.

Третий вставил:

— Это тень одна, ее надо заслонить, чтобы ветром, упаси господь, не унесло!

— Сколько, однако, лет этой твари? — полюбопытствовал кто-то.

— Наверное, больше, чем Касриелу и Касриелихе вместе.

— Мафусаловы годы!..

С тех пор его и прозвали Мафусалом. И имя это осталось за ним по сей день.

6

Зато жилось ему у Касриела как никогда раньше, даже в самые лучшие годы. Во-первых, какой у него здесь труд? Смехота! Тащить бочонок с водой и у каждого дома останавливаться — разве это работа?! А хозяин! Да ведь это брильянт! Человек даже не крикнет громко, не прикоснется к нему, держит кнут так просто, для приличия. А еда! Правда, овсом его не балуют, но к чему овес, когда жевать нечем! Уж лучше помои да мякиши, которые подносит ему Касриелиха каждый день. И не столько помои, как вежливое обращение! Поглядеть только на Касриелиху, как она стоит, сложив руки на груди, и умильно посматривает на Мафусала, разделявающегося с помоями, — тьфу, тьфу, не взглянуть бы! А наступит ночь, подстелют ему во дворе

соломки, затем либо Касриел, либо Касриелиха то и дело выходят проведать, не увели ли его, упаси господи. Чуть свет, еще сам бог спит, а Касриел уже около своего конька. Он запрягает его тихонько, взбирается на передок и направляется к реке по воду, напевая при этом на какой-то странный мотив: «Блажен муж, иже не идет...» У него это означает — хорошо человеку, который не идет пешком. А с полной бочкой Касриел возвращается все же пешком; теперь уже он не подпевает, топает вместе с Мафусалом по грязи и знай себе помахивает кнутиком: «Ну, ну, Мафусал, трогай, трогай!»

Мафусал упрямо месит ногами грязь, мотает головой и, поглядывая единственным глазом на своего хозяина, думает про себя: «С тех пор как я — скотина, мне еще никогда не приходилось работать на такого чудака». И вот лошадка, поразмыслив, начинает вдруг припадать на задние ноги, а затем, шутки ради, останавливается в самой грязи: «Дай-ка посмотрю, что из этого выйдет!» Увидев, что лошадь внезапно остановилась, Касриел начинает суетиться вокруг бочонка, осматривает колеса, оси, упряжь, а Мафусал, повернув голову к Касриелу и пожеывая губами, кажется, улыбается: «Ну и дуралей же этот водовоз! Совсем глупое животное!»

7

Но вечного счастья нет на земле. Мафусал мог бы сказать, что он счастливо доживает свою старость у Касриела и Касриелихи, если бы не дети: хозяйские, соседские и всякие иные дети доставляли ему уйму неприятностей, издевались, позорили его.

С первой же минуты, как только его ввели во двор, детвора почувствовала к нему... не вражду, боже сохрани, а, наоборот, большую любовь. И эта любовь оказалась для Мафусала роковой. Лучше бы они его меньше любили, да больше жалели.

Первым делом эти босые воспитанники талмудторы, Касриеловы дети, когда вокруг никого не было, стали испытывать, обладает ли Мафусал теми же чувствами, что и человек; попробовали хлестнуть палкой по спине — ничего; пощекотали ногу — ничего; щелкнули — по уху — еле-еле; и лишь когда провели соломинкой по

бельму, они окончательно убедились, что Мафусал чувствует, как человек, потому что он поморгал глазами и мотнул головой, точно хотел сказать: «Нет, только не это! Это мне не нравится». А коли так, ребята сразу же достали прутик из веника и засунули лошади глубоко в ноздрю. Тут Мафусал дернулся, подпрыгнул и фыркнул.

Вскочил Касриел.

— Озорники, разбойники! Что вы делаете с лошастью! Марш в хедер, бездельники!

Ребята сразу — шмыг и, дай бог ноги, в талмудтору.

8

А в талмудторе был мальчуган по имени Рувеле, озорной парнишка, сорвиголова, — храни бог от такого! Родная мать говорила про него: «Таких погуще сеять, да пореже б всходили!» Любимое его занятие было всем надоедать. Все чердаки, все погреба он облазил. Гонять кур, гусей, уток, дразнить собак, пугать козу, мучить кошек — о свиньях уже нечего и говорить! — было его страстью. Ни тумачи матери, ни розги учителя, ни зуботычины посторонних ни к чему не приводили. Ругай сколько влезет — как горох о стену. Только что его как будто отхлестали, только что он обливался горячими слезами, но вот вы отвернулись, — ага! — Рувеле уже выставил язык, сложил губы вишенкой, надул щеки пузырем. А щеки у него — настоящие пампушки. И был он всегда весел и здоров. Что ему от того, что мать, горемычная вдова, мучается, как в смертный час, а все же вносит за него свой рубль в талмудтору?!

Когда Рувеле проведаль у ребят, что их отец привел с ярмарки коня, которого зовут Мафусал, он вскочил на скамью, провел под носом одной рукой, потом другой и закричал во все горло:

— Ребята, есть смычок!

Нужно заметить, что у Рувеле с малых лет была страсть к музыке. Он любил музыкантов, а по скрипке прямо-таки пропадал.

Кстати, у него был приятный голосок, и знал он на память уйму песен. Единственная его мечта — вырасти большим, купить себе скрипку и играть на ней день и ночь. Но пока он смастерил себе маленькую скрипочку

из дерева, натянул на ней нитки вместо струн и, понятно, получил за это что полагается от матери.

— Музыкантом хочешь стать? Не дожить бы мне до эакого!

Вечером, когда учитель Хаим-Хоне отпустил учеников, они всей гурьбой отправились смотреть лошадку Касриела-водовоза. И Рувеле тут сразу заявил:

— Мафусал — отличная лошадь. Из хвоста у нее можно добыть сколько угодно струн. Да вот мы сейчас попробуем.

И Рувеле подобрался сзади к Мафусалу и стал у него из хвоста выдергивать волосы. Пока он вырывал по одному волоску, Мафусал стоял спокойно. «Один волосок? — точно говорил он. — Не велика беда! Подумаешь, будет на волос меньше!» Но когда Рувеле прилачился и стал выдирать целыми жгутами, Мафусал осерчал: «Вот как! Посади свинью за стол, она и ноги на стол!» И, не долго думая, наддал копытом, да прямо в зубы Рувеле, и рассек ему губу.

— Так тебе и надо! О, горе мне! Очень хорошо! Все несчастья на мою голову! В другой раз не полезешь! О, погибель моя! — причитала мать Рувеле, Енталепетунья, прикладывая холодный компресс к рассеченной губе сына, плакала, ломала руки, убивалась, поминутно бегала к знахарке Хьене.

9

Рувеле был, слава тебе господи, из тех ребят, на которых все заживает, как на собаке. Не успели оглянуться, как у него срослась губа, будто ничего и не было. А он уже новую шутку придумал: надо как-нибудь прокатиться верхом на Мафусале всем школьникам разом. Но как это сделать, чтобы никто не узнал? И Рувеле решил, что это надо сделать в субботу после обеда, когда все лягут отдыхать. В это время Касриловку можно вывести из ее пределов со всем добром.

Один из учеников стал было возражать:

— Как же это можно еврею ехать в субботу?

Но Рувеле ему ответил:

— Осел, разве это значит ехать? Это ведь игра!..

Пришла суббота. Все пообедали, прилегли отдохнуть. Прилегли Касриел и Касриелиха. Тогда во двор к

водовозу стали потихоньку собираться ребята. Рувеле сразу же принялся наряжать Мафусала. Раньше всего он заплел ему гриву в косы и разукрасил их соломинками, затем надел ему на голову белый бумажный колпак, который укрепил тесемками, и, наконец, к хвосту прицепил старый веник, чтобы хвост выглядел длинней и красивей. И ребята, опережая друг друга, стали взбираться на спину лошади. Кому удалось взобраться, тот был на коне, остальным же оставалось только подождать. А пока они шли позади, понукали Мафусала, чтобы тот шел быстрее, и пели хором:

— Так будет воздано коню, которому Рувеле пожелает оказать честь!..

У Мафусала, однако, не было никакой охоты двигаться быстрее, и он плелся шагком. Во-первых, куда ему спешить, в самом деле? Во-вторых, ведь сегодня день отдыха. Но Рувеле не переставая подгонял лошадь, нокал, вьекал, тюкал и орал изо всех сил на остальную братию:

— Черт бы вас побрал! Что же вы молчите?

А Мафусал все трюх да трюх шагком да подумывает про себя: «Ребяшня резвится, пусть их порезвятся!»

Но когда детвора стала уж слишком докучать ему, нукать, гнать, махать руками, Мафусал пошел быстрее, а когда он шаг убыстрил, веник стал бить его по ногам. Тогда он побежал. Веник стал бить еще пуще. Мафусал пошел вскачь. Ребята пришли в восторг, а Рувеле и во все подпрыгивал от удовольствия и все покрикивал: «Гоп-гоп-гоп!» Гопали они до тех пор, пока стали сыпаться с коня наземь, как галушки. А Мафусал только теперь, сбросив всех и почувяв свободу, пустился, как обезумевший, устремляясь все дальше, по ту сторону мельницы, за город.

А здесь пастушата, увидев странно разряженную лошадь, в бумажном колпаке, загикали, погнались за нею, стали кидать в нее палками, натравили собак. Собаки не заставили себя долго просить, пустились вдогонку, стали кусать, рвать ее; одни схватили сзади за ляжки, другие забежали вперед, вцепились в горло. Мафусал захрипел. Собаки терзали его до тех пор, пока не доконали.

На другой день ребята получили по заслугам. Разбитые носы да шишки на лбу — это не в счет. Помимо всего этого, они получили взбучку от своих родителей, да и меламед Хаим-Хоне всыпал им. Больше всего досталось, конечно, Рувеле, потому что все ребята, когда их пороли, плакали, как полагается, а этот, наоборот, смеялся. Тогда его принялись полосовать крепче. Но чем больше его били, тем сильнее он смеялся, а чем сильнее смеялся, тем крепче его били. Дошло до того, что сам меламед Хаим-Хоне рассмеялся, а на него глядя — и все ученики. Поднялся такой хохот, что соседи сбежались, прохожие на улице остановились, — тут были и мужчины, и женщины, и мальчики, и девочки. «Что случилось? Что за смех? Отчего смеются?» Но никто не в силах был ответить — все смеялись. Тогда и прохожие не выдержали — расхохотались. Тут еще пуще загоготали ученики и сам учитель; а на них глядя, покатались со смеху и пришедшие. Одним словом, все надрывали животики, смеялись до слез, до колик в боку.

Не смеялись только двое — водовоз Касриел и его жена. Когда, не дай господи, ребенок умирает в доме, не знаю, рыдают ли по нем так, как рыдали Касриел и Касриелиха по своей утрате, по своей бедной лошадке, по старому Мафусалу.

СКРИПКА

Рассказ из детских лет

1

— Сегодня, дети, я вам сыграю на скрипке. Мне кажется, нет ничего прекрасней, ничего благородней, чем игра на скрипке. Верно, дети? Не знаю, как вы, но я, сколько себя помню, был всегда без ума от скрипки, а музыкантов любил до самозабвения. Бывало, как только свадьба в местечке, я первый лечу встречать музыкантов. Подберусь сзади к контрабасу, рвану толстую струну: бум! — и бежать, бум! — и бежать. За этот «бум» мне однажды здорово влетело от Берл-баса. Берл-бас, человек сердитый, с приплюснутым носом, с

острым взглядом, притворился, будто не видит, как я крадусь к контрабасу, когда же я протянул руку к струне, он хватъ меня за ухо и торжественно проводил до самой двери: «Ну-ка, озорник, марш отсюда!»

Однако это меня ничуть не обескуражило. Я не отступал от музыкантов ни на шаг. Я страстно любил их всех: от скрипача Шайки, человека с красивой черной бородой и тонкими белыми пальцами, до барабанщика Геци, обладателя порядочного горба и плечи до самых ушей. Не раз леживал я под скамьей и слушал этих музыкантов — меня ведь гнали вон. Оттуда, из-под скамьи, я следил за тонкими пальцами Шайки, как они пляшут по струнам, внимал сладостным звукам, которые он так искусно извлекал из своей скрипки.

После этого я, бывало, несколько дней подряд хожу как зачарованный, а перед глазами все Шайка со своей скрипкой. Ночью я его видел во сне, днем наяву. Из головы не выходил у меня этот Шайка. Мне казалось, будто я и сам скрипач. Изогну, бывало, левую руку и перебираю пальцами, а правой вдруг проведу, как смычком, при этом запрокидываю голову, зажмуриваю глаза — ну, совсем Шайка, две капли воды.

Приметил наш учитель Ноте-Лейб — было это как раз на уроке, — что я двигаю как-то странно руками, запрокидываю голову, закатываю глаза, и как влепит мне оплеуху.

— Ах ты, бездельник! Его азбуке обучают, а он корчит рожи, мух ловит!

2

И я дал себе слово: чего бы это мне ни стоило, что бы ни случилось, — я должен иметь скрипку. Но из чего же мне сделать эту скрипку? Конечно, из кедрового дерева. Легко, однако, сказать, кедровое дерево! Попробуй-ка достань его, если растет оно, как говорят, только в Палестине. И вот всевышний внушил мне вдруг такую мысль. Был у нас старый диван, доставшийся по наследству от бабушки реб Аншла. Из-за этого дивана в свое время поссорились между собой два мои дяди и покойный отец. Дядя Беня твердил, что он старший сын и поэтому диван должен, конечно, достаться ему; дядя Сендер утверждал, что, именно как самому младшему, диван должен принадлежать ему; а по-

койный отец заявлял, что он, правда, только зять и никаких прав на диван не имеет, но поскольку его жена, то есть моя мать, была единственной дочерью у бабушки, то диван должна наследовать она. Это во-первых. А во-вторых, диван стоит у нас в доме, значит — это вообще наш диван. Тут вмешались обе тетки, тетя Ита и тетя Злата, и затеяли такую склоку, что держись! Диван, дивана, диваном... В городе только и было разговору что о нашем диване. Короче говоря, диван остался у нас.

Это был простой деревянный диван, облицованный тонкой фанеркой, которая местами отстала и вздулась, как яйцо. Вот этот-то верхний, вздувшийся слой и был настоящим «кедром», который идет на скрипки. Так говорили все ребята в школе. Один лишь недостаток имел наш диван, но этот недостаток обернулся для меня достоинством: сядешь, бывало, на него и уж никак не встанешь, потому что сиденье у него с одной стороны вздулось бугром, а в середине провалилось. Вот это-то и было его достоинством — никто не хотел на него садиться. Диван задвинули в угол и дали ему чистую отставку.

На этот диван я и обратил теперь свое внимание. Смычок я изготовил уже давно. У меня был товарищ Шимеле, сын извозчика Юды, он дал мне пучок волос из хвоста их лошади. Канифоль для смычка я сам достал. На чудеса я никогда не полагался и выменял канифоль у другого приятеля, Меер-Липы, — дал ему стальную пластинку от маминого кринолина, который валялся у нас на чердаке. Эту пластинку Меер-Липа хорошенько отточил с обеих сторон и смастерил себе ножичек. Меня даже взяла охота снова обменяться с ним, но он ни за что не соглашался.

— Вишь, какой умник нашелся! Весь в папашу! — раскричался он. — Я три ночи тружусь — точу, точу, все пальцы себе порезал, а он, видите ли, является — давай обратно меняться!

— Гляди-ка! — говорю я. — Ну и не надо! Какая невидаль, стальная пластинка! Мало валяется их у нас на чердаке? Внукам и правнукам хватит!

Итак, у меня есть все, что нужно. Теперь осталось только одно: содрать с дивана «кедровое дерево». Выбрал я для этого самое подходящее время: мать была в лавке, а отец после обеда прилег вздремнуть. Я взял гвоздь, забрался в угол и углубился в работу. Однако

отец спросонья услышал какую-то возню и, думая, видимо, что это мыши, крикнул: «Кш-кш!..» Я обмер от страха. Но отец тут же повернулся на другой бок. Услышав его храп, я снова спокойно принялся за работу. И вдруг гляжу — отец подле меня и смотрит какими-то странными глазами. По-видимому, он сразу никак не мог сообразить, что же, собственно, я делаю. Потом уже, заметив изувеченный диван, он вытащил меня за ухо из угла и так жестоко избил, что меня пришлось отливать холодной водой.

— Господь с тобой! Что ты с ребенком сделал? — кричала мать плача.

— Наследничек твой! Он живьем в могилу меня вгонит! — отвечал побледневший отец и, хватаясь за грудь, зашелся жестоким кашлем.

— Зачем же тебе так огорчаться? — говорила ему после мать. — Ты и без того хворый! Глянь на себя! Ведь на тебе лица нет! Врагам бы нашим так выглядеть!

3

Страсть к скрипке росла вместе со мной. Чем старше я становился, тем сильнее становилась эта страсть. А тут еще, как назло, каждый день мне поневоле приходилось слушать музыку. Как раз на полпути между школой и нашим домом стояла небольшая хибарка, крытая соломой; оттуда постоянно неслись звуки всяких инструментов, чаще всего — звуки скрипки. Там жил музыкант Нафтоле Безбородько, ходивший в укороченном кафтане, с заложенными за уши пейсами и в крахмальном воротничке. У него был изрядный нос, который выглядел будто приклеенный, губы толстые, зубы гнилые, лицо рябое и без всяких признаков бороды, — потому-то его и прозвали Безбородько. Жена его была дородная, крупная, и звали ее «праматерь Ева». А ребят у них было дюжины полторы, если не больше. Оборванные, полуголые, босые, ребята эти, все от мала до велика, играли кто на скрипке, кто на альте, кто на контрабасе, кто на трубе, на флейте, на фаготе, на арфе, на цимбалах, на балалайке, а кто на барабане и на тарелках. Были среди них и такие, что умели исполнять самую сложную мелодию на губах, на гребенках, на зубах, на стаканчиках или горшочках, на куске дерева, даже на щеках. Дьяволы, черти, да и только!

С этой семейкой я познакомился совершенно случайно. Стою однажды у них под окном и слушаю, как они играют. Выходит один из старших ребят — флейтист Пиня, парень лет пятнадцати, босой, — и спрашивает, понравилась ли мне игра.

— Хотел бы я, — отвечаю, — лет через десять так играть!

— Можешь этого добиться раньше, — говорит он и намекает, что за два целковых в месяц папаша его обучит меня играть, а если угодно, так и он сам обучит меня.

— На каком инструменте ты бы хотел играть? — спрашивает он. — На скрипке?

— На скрипке.

— На скрипке? — повторяет он. — А сможешь платить два с полтиной в месяц? Или ты такой же голдранец, как я?

— Платить-то я смогу, — отвечаю ему, — да только... об этом не должны знать ни отец, ни мать, ни учитель.

— Боже упаси! — говорит он. — Зачем болтать! Нет ли у тебя табачку или папироски? Не куришь? Тогда одолжи пятачок, я куплю папирос... Но смотри, никому ни слова, отец не должен знать, что я курю. А мать, как пронюхает, что у меня деньги, сразу отнимет и купит баранок на завтрак. Пойдем в дом, чего тут стоять!

4

Оробевший, с бьющимся сердцем и дрожащими коленями, переступил я порог этого маленького рая.

Мой новый приятель Пиня представил меня своему отцу.

— Шолом Нохума Вевикова... сынок богача, хочет учиться играть на скрипке.

Нафтоле Безбородько убрал пейсы за уши, поправил воротничок, застегнул кафтан и завел со мной долгий разговор о музыке вообще и о скрипке в частности. Он объяснил мне, что самый лучший, самый замечательный инструмент — это скрипка, что выше и благородней скрипки нет ничего на свете. Даром, что ли, в оркестре всегда дирижирует скрипка, а не труба или флейта! Ведь скрипка — мать всех инструментов.

Вот так Нафтоле Безбородько прочел мне целую лекцию о музыке, при этом, как обычно, размахивал руками, шмыгал носом. Я же стоял и глядел ему в рот на почерневшие зубы и жадно глотал каждое его слово.

— Скрипка, понимаешь ли,— говорил Нафтоле Безбородько, очевидно довольный своей лекцией,— понимаешь ли, скрипка — самый древний инструмент. Первым скрипачом в мире был то ли Тувалкаин *, то ли Мафусаил, точно не помню, тебе лучше знать, ты ведь в хедере учишься. Второй скрипач был царь Давид *. Был еще один, третий скрипач, Паганини его звали, тоже еврей *. Все лучшие скрипачи в мире евреи — вот, например, Стемпеню, Педоцур. Себя я не стану хвалить. Говорят, я играю на скрипке недурно. Но куда мне до Паганини. Паганини, говорят, продал душу дьяволу за скрипку. Паганини терпеть не мог играть пред великими мира сего, пред королями да папами, хоть те готовы были озолотить его. Зато он охотно играл для бедняков в кабачках по деревушкам или даже в лесу — для зверей и птиц. Вот какой скрипач был Паганини!.. А ну-ка, нахлебнички, за инструменты!

Это Нафтоле Безбородько внезапно отдал приказ своей команде, и ребята немедленно собрались вокруг него со своими инструментами. Сам Нафтоле встал посредине, ударил смычком по столу, строго глянул на каждого в отдельности, затем на всех разом, и они рванули на своих инструментах с такой силой, что я чуть было не свалился. Все они старались друг перед другом, но сильнее других оглушил меня один совсем маленький, худенький, мокроносый мальчонка, с босыми опухшими ножками. Хемеле играл на каком-то чудном инструменте; это было что-то вроде мешка, который, если его надуть, испускает дикий звук, будто кошка взвизгивает, когда ей наступают на хвост. Отбивая босой ногой такт, Хемеле все время поглядывал на меня своими маленькими плутоватыми глазенками и подмигивал, точно хотел сказать: «Не правда ли, здорово дую?» Но неистовей всех работал сам Нафтоле Безбородько: он и играл и дирижировал, действуя руками, ногами, носом, глазами, всем телом, а если случалось, что кто-нибудь ошибался, он еще и зубами скрежетал, сердито покрикивая:

— Форто, прохвост! Форто, фортиссимо!.. Такт, бездельник! Такт! Раз, два, три! Раз, два, три!

Договорились с Нафтоле Безбородько: за три раза в неделю по полтора часа — два рубля в месяц. И я его снова и снова умоляю держать все в строгой тайне, иначе я погиб. Он дает мне честное слово, что даже пташка в небе ничего не узнает.

— Уж такие мы человеки,— заявляет он гордо и поправляет воротничок,— из тех, что денег не имеют, но совести и чести у нас побольше, чем у иных богачей!.. Не найдется ли у тебя несколько копеек?

Я вынимаю рубль и подаю ему. Нафтоле берет его двумя пальцами, как профессор, подзывает «праматерь Еву» и говорит, глядя в сторону:

— На, купи чего-нибудь на завтрак!

«Праматерь Ева», однако, хватает рубль обеими руками да всей пятерней, обследует его со всех сторон и спрашивает мужа, что же ей купить.

— Чего хочешь,— отвечает он как бы совсем безразлично.— Купи несколько булок, две-три селедки и колбасы, не забудь головку луку, уксусу, масла, ну, и «мерзавчика», конечно, прихвати.

Когда все эти прелести появились на столе, орава накинута на еду с такой жадностью, точно она разговлялась после долгого поста. Даже у меня слюнки потекли. И когда меня пригласили к столу, я не мог отказать. Не помню, чтобы я когда-либо получал такое удовольствие, как тогда за этой трапезой.

После завтрака Безбородько мигнул своей команде. Все взялись за инструменты и меня угостили новым опусом — «собственной композиции» Нафтоле Безбородько. Эту «композицию» они сыграли с таким грохотом, что у меня заложило уши, закружилась голова, и я ушел оттуда как пьяный. Целый день потом в школе у меня вертелись в глазах учитель, ученики, книги, а в ушах не переставала грохотать «композиция». Ночью мне явился во сне Паганини верхом на дьяволе и огрел меня скрипкой по голове. Я проснулся с криком — у меня болела голова — и начал молоть всякий вздор. Что я говорил, не знаю. Но моя старшая сестра Песя потом рассказывала, что я в бреду выкрикивал какие-то бессвязные, дикие слова, вроде: Паганини, композиция. И еще об одном рассказала мне сестра — когда я болел, к нам раза два приходил от Нафтоле

Безбородько какой-то босой мальчишка и справлялся, как я себя чувствую. Но его прогнали и наказали, чтобы он не смел больше являться к нам.

— Зачем приходил к тебе сынок музыканта? — допытывалась сестра.

Я твердил одно:

— Не знаю. Жизнью своей клянусь, не знаю! Откуда мне знать?

— Ну, на что это похоже? — говорила мне мать. — Ты уже, не сглазить бы, взрослый парень. Тебе уже невесту присматривают, а ты возишься с босыми музыкантами. Хороши у тебя приятели! Ну, что общего у тебя с этими музыкантами? Какие у тебя дела с сыном Нафтоле?

— Какого Нафтоле? — спрашивал я, прикидываясь дурачком. — Какие там музыканты?

— Погляди-ка на этого полоумного! — вставлял слово отец. — Не знает, что и сказать! Бедняжечка! Агнец невинный! Я в твои годы уже давно женихом был, а он все с мальчишками возится! Одевайся — и марш в хедер! Если тебя увидит Гершл-бал-таксе и спросит, чем ты болел, отвечай — лихорадкой. Слышишь, что тебе говорят? Лихорадкой!

Ничего не понимаю. При чем тут Гершл-бал-таксе? И почему я должен ему рассказывать о лихорадке?

Через несколько недель я получил ответ на все мои недоуменные вопросы.

6

Гершл-бал-таксе (так звали его потому, что и он и отец его, и дедушка от века владели мясной таксой *, или иначе — держали на откупе коробочный сбор; это уже была его вотчина) был человек с круглым брюшком, рыжей бородкой, влажными глазами и широким белым лбом — признак светлого ума. И он действительно слыл в местечке человеком просвещенным, образованным, знатоком Библии и хорошим писцом. То есть почерк у него был замечательный; его письмо, говорят, составляло когда-то предмет гордости города. Ко всему прочему, у него были деньги и единственная дочь, девочка с рыжими волосенками и влажными глазками, — две капли воды Гершл-бал-таксе. Имя ее было Эстер, а ласкательно ее звали «Флестер». Было это

существо хрупкое, нежное, и нас, мальчишек из школы, она боялась пуще смерти, потому что мы надоедали ей, вечно дразнили ее, цели при встрече:

Эстер!
Флестер!
Девочка-девчонка,
Где твоя сестренка?

Казалось, что обидного в этих словах? Правда ведь, ничего! Но Флестер, как только услышит эту песенку, заткнет уши и убежит с плачем в дом, а там заберется в какой-нибудь закуток и потом несколько дней подряд не выходит на улицу.

Но это было давно, когда она была ребенком. Теперь она стала взрослой девицей, заплетает свои рыжие волосы в косичку и одевается, как невеста, по последней моде. Моей матери она всегда нравилась, мать не могла нахвалиться этой «тихой голубицей». Эстер иногда в субботу заходила к моей сестре Песе, но, увидев меня, становилась еще красней, чем обычно, и опускала глаза. А сестра Песя нарочно, бывало, подзовет меня, спросит что-либо, а сама смотрит на нас обоих.

И был день, и стряслось оное событие. Является к нам в школу мой отец вместе с Гершлом-бал-таксе, а за ними плетется шадхен Шолом-Шахне, превеликий бедолага, человек с шестью пальцами на руке и курчавой черной бородой. Завидев таких гостей, учитель реб Зорах второпях натягивает на себя кафтан и шапку, но от волнения у него одна пейса заезжает за ухо, шапка сползает, из-под нее торчит пол-ермолки, а одна щека ярко пылает. Можно было сразу догадаться, что тут что-то кроется, тем более что Шолом-Шахне в последнее время слишком уж зачастил к нам в школу; всякий раз вызывал учителя в сени, и там они подолгу простаивали вдвоем, перешептывались, пожимали плечами, размахивали руками. Заканчивалось все это вздохом:

— Ну что ж, пускай будет так! Раз суждено, значит, сбудется. Разве можно все знать наперед?

Когда вошли гости, реб Зорах не знал, что ему делать, куда их посадить. Он схватил кухонную скамейку, на которой его старуха солила мясо *, повертелся с ней по комнате, наконец поставил ее и сам же уселся на ней. Но тотчас вскочил как ошпаренный и, смутившись, ухватился за задний карман кафтана, точно потерял сокровище какое-то.

— Вот скамейка, садитесь! — предложил он гостям.

— Ничего, ничего, сидите! — ответил отец. — Мы зашли к вам, реб Зорах, только на минуту: они хотят послушать моего мальчика... что-нибудь из Библии.

И отец показывает на Гершла-бал-таксе.

— Ох, пожалуйста, с удовольствием! Отчего бы нет! — говорит учитель Зорах, хватает Библию и подает ее Гершлу так, точно говорит при этом: «На тебе, и делай что хочешь».

Гершл-бал-таксе берет в руки книгу, как человек, знающий толк в этом деле, склоняет голову набок, зажмуривает один глаз, листает, листает и, наконец, указывает мне на первый стих из «Песни Песней».

— Гм, «Песнь Песней»? — говорит учитель с усмешкой, которая должна означать: «Эх ты! Трудней ничего не мог найти?»

— «Песнь Песней», — отвечает ему Гершл-бал-таксе, — это вовсе не такое пустое дело, как вы думаете. «Песнь Песней» — это надо понимать!

— Безусловно, — вставляет с улыбочкой Шолом-Шахне.

Учитель кивает мне. Я подхожу к столу и, раскачиваясь, начинаю громко напевать:

— «Песнь Песней, то есть всем песням песнь. Все песни сложил пророк, а эту — пророк пророков; все песни сложил мудрец, а эту — мудрец из мудрецов; все песни пел царь, а эту — царь царей».

Пою, а сам поглядываю на моих экзаменаторов и на каждом лице вижу другое выражение. У отца на лице гордость и удовлетворение; на лице учителя — боязнь и опасение, как бы я не запнулся и не наделал ошибок. Его губы шепчут вслед за мной каждое слово. Гершл-бал-таксе сидит, склонив голову несколько набок, — кончик рыжей бороды во рту, один глаз закрыт, другой уставился в потолок, — и слушает, как великий знаток. Шадхен Шолом-Шахне глаз с него не сводит. Он сидит, согнувшись над столом, покачивается вместе со мной и, не в силах сдержаться, поминутно перебивает меня каким-нибудь возгласом, одобрительным смешком, покашливанием или взмахом своего раздвоенного пальца.

— Раз говорят, что он знает, — значит, знает!

Через несколько дней у нас состоялось торжество — били тарелки, и я оказался женихом единственной дочери Гершла-бал-таксе, маленькой Флестер.

Бывает, что человек в один день вырастает так, как другой не вырастет в десять лет. Став женихом, я сразу же почувствовал себя взрослым; как будто тот же, что и раньше, и все же не тот. От приятеля-мальчишки и до самого реб Зораха, все стали вдруг глядеть на меня с почтением — как-никак жених. И при часах! Даже отец перестал на меня кричать. А о порке и разговору не могло быть. Как это можно вдруг выпороть жениха с золотыми часами в кармане? Позор перед людьми и срам для себя! Правда, в школе у нас однажды высекли жениха, Элю, за то, что он катался на льду вместе со всеми мальчишками. Об этой истории болтал потом весь город. Невеста, проведав о случившемся, рыдала так долго, пока жениху не отослали обратно акт обручения. А жених Эля с горя и со стыда хотел было утопиться, да река к тому времени замерзла.

Почти такая же беда случилась со мной. Но причиной были не розги и не катанье на льду, а скрипка. Дело было так.

Частым гостем в нашей винной лавочке был капельмейстер Чечек, которого мы звали «пан полковник». Это был здоровенный дядька, с большой окладистой бородой, со страшными бровями. Говорил он на каком-то странном диалекте — смеси нескольких языков. Во время разговора водил бровями вверх и вниз. Когда он опускал брови, лицо его становилось мрачным, как ночь, когда поднимал, лицо делалось светлым, как день, потому что под его густыми бровями были голубые, добрые, улыбчивые глаза. Носил он мундир с золотыми пуговицами, поэтому-то мы его и прозвали полковником. У нас в лавчонке он был частым гостем не потому, что пил горькую, а только из-за того, что отец искусно готовил из изюма «лучшее добротное венгерское вино». Чечек был в восторге, не мог нахвалиться этим вином. Бывало, положит свою здоровенную ручищу отцу на плечо и говорит на своем странном наречии:

— Герр келермейстер! У тебя найтепший унгервейн. Нема таки винэ ин Будапешт! Перед богом! ¹

¹ Господин виноторговец! У тебя наилучшее венгерское! Такого вина не найти и в Будапеште! Ей-богу! (Смесь немецких, украинских и польских слов.)

Ко мне Чечек был особенно расположен, хвалил за то, что я учусь в школе, часто проверял мои знания, спрашивал, кто был Адам, кто Изак, а кто Джозеф.

— Иосиф,— говорю я,— Иосиф-прекрасный?

— Джозеф,— отвечает он.

— Иосиф,— поправляю я его снова.

— У нас Джозеф, у вас Иоджеф,— говорит он, потрепав меня по щеке.— Джозеф-Иоджеф-Джозеф — вши́стко ёдно ¹, ганц эгаль ².

— Хи-хи-хи...

Я прячу лицо в кулак и смеюсь.

Но с тех пор как я сделался женихом, Чечек больше не обращался со мной как с мальчишкой, стал разговаривать как с равным, рассказывал полковые истории, небылицы о музыкантах (пан полковник мог наговорить с три короба, да некому было его слушать).

Однажды он разговаривал со мной о музыке. И я его спросил:

— На каком инструменте играет пан полковник?

— А на вши́стских ³ инструментах,— отвечает он, поднимая брови.

— И на скрипке? — спрашиваю я, и он мне уже начинает представляться ангелом небесным.

— Заходи как-нибудь,— говорит он,— я тебе сыграю.

— Когда же я могу к вам прийти, пан полковник? Разве лишь в субботу. Но с условием: чтобы никто не знал. Обещаете?

— Перед богом! — говорит Чечек и вскидывает свои брови.

8

Чечек жил далеко-далеко за городом в маленькой белой хатке с малюсенькими оконцами и крашеными ставнями, с зеленым палисадником возле дома, откуда важно выглядывали высокие желтые подсолнухи. Наклоняя набок головки, они покачивались и будто звали меня: «Сюда к нам, паренек! Здесь свет божий приволен, свеж и душист. Здесь чудесно!..» И после душных, пыль-

¹ Все равно (польск.).

² Все равно (нем.).

³ На любых (польск.).

ных городских улиц, после шума, толчеи и гама в школе тебя так и тянет сюда — потому что здесь действительно чудесно; свет божий здесь приволен, свеж и душист! Хочется бегать, прыгать, кричать, петь или броситься наземь, уткнуться лицом в пахучую зеленую траву. Увы, все это не для вас, еврейские дети! Желтые подсолнухи, веселые кочаны капусты, свежий воздух, душистая земля, ясное небо — нет, извините, этому на вашем мусоре не расти!..

Встретил меня большой черный кудлатый пес с огненно-красными глазами. Он набросился на меня с такой яростью, что я чуть на месте не помер. К счастью, он был на цепи. На мой крик Чечек без мундира выскочил из дому и стал ласково унимать собаку, и она вскоре угомонилась. Тогда Чечек взял меня за руку и подвел к черному псу, уверяя, что мне нечего его бояться, — он не тронет. В доказательство миролюбия пса хозяин предложил мне самому погладить его. И тут же, не раздумывая, схватил мою руку и давай ею водить по спине этого зверя, называя его при этом странными кличками, хотя и очень ласково. Черная бестия опустила хвост, нагнула свою собачью голову, облизнулась и кинула на меня искоса такой взглядец, который мог означать только одно: «Счастье твое, что пан здесь, не то ушел бы ты отсюда без руки...»

Оправившись от испуга, я наконец вошел с паном полковником в дом и остолбенел: все стены сверху донизу увешаны оружием, а на полу лежит шкура с головой льва или леопарда, с оскаленными острыми зубами. Впрочем, лев еще полбеды, все же мертвый лев. Но ружья, ружья!.. Мне было не до свежих слив и прекрасных яблок из собственного сада, которыми потчевал меня хозяин. Глаза мои не переставали перебегать со стены на стену. Лишь потом, когда Чечек вынул из красного футляра маленькую, кругленькую, пузатенькую скрипку, поднес ее к своей большой бороде, провел по ней несколько раз смычком и полились мелодии, я забыл про черного пса, и про страшного льва, и про ружья на стенах. Я видел лишь большую, рассыпавшуюся по деке бороду Чечека, его густые насупленные брови, круглую, пузатенькую скрипку и пальцы, плясавшие по струнам с такой быстротой, что трудно было постигнуть: откуда у человека столько пальцев?

А потом исчез Чечек, исчезла рассыпавшаяся борода его, густые брови и чудесные пальцы, и я уже не вижу

перед собой ничего. Слышу лишь пение, стоны, плач, какое-то всхлипывание, шепот, воркование — чудесные звуки, каких никогда в своей жизни не слышал. Звуки сладостные, как мед, чистые, как елей, лились, лились мне прямо в сердце, и душа моя унеслась далеко-далеко отсюда, в иной мир, мир чистых звуков и песнопений.

— Гербаты хцешь? ¹ — спросил вдруг Чечек, отложил скрипку и хлопнул меня по плечу.

Я точно с неба свалился.

С той поры я стал ходить каждую субботу после обеда к Чечеку слушать его игру на скрипке. Ходил уже смело, никого не боясь, и даже с черным псом подружился так, что он, завидев меня издали, вилял хвостом и порывался лизнуть мою руку. Но я ему этого никогда не разрешал. Будем лучше добрыми друзьями на расстоянии!

Дома ни одна душа не знала, где я провожу субботний день,— жених все-таки! Да и не узнали бы никогда, не случись со мною новое несчастье, которое и будет описано в главе девятой.

9

Казалось бы, кому какое дело, что паренек отправляется в субботу после обеда погулять несколько дальше обычного, за город, например? Неужели больше делать нечего, как следить за другими? Однако что толковать? Такова уж человеческая натура: приглядываться к своему ближнему, выискивать у него недостатки и давать советы! У нас могут, например, подойти к совершенно незнакомому человеку в синагоге, когда он молится, и поправить у него на лбу филактерии; или остановить его, когда он спешит по делу, чтобы сказать, что у него, кажется, подвернулась штанина; или указать на кого-нибудь пальцем так, что тот даже не поймет, что же ты, собственно, имеешь в виду: нос, бороду или шут его знает что еще; или когда человек пытается открыть какую-нибудь банку, коробку, выхватить у него из рук и сказать: «Да вы не умеете! Дайте-ка мне»; или остановиться возле постройки и ляпнуть хозяину, что потолок, кажется, слишком высок, комнаты чересчур

¹ Чаю хочешь? (польск.)

просторны, а окна несоразмерно широки. Хоть ломай постройку и начинай все заново! Так уж у нас, понимаете ли, водится издавна, с сотворения мира. А мы уж с вами мир не перестроим, да и не обязаны это делать.

После такого вступления вы поймете, почему Эфроим Клоц¹, совершенно чужой мне человек, десятая вода на киселе, принялся следить за мной, разнюхивать, куда я хожу, и подставил-таки мне ножку. Он клялся, что сам видел, как я ем трепное у полковника и курю в субботу. Чтоб ему, говорит, счастье так видеть в своем доме! Чтоб ему, говорит, не дойти туда, куда он идет! А если он врет хоть настолечко, пусть ему самому, говорит, скривит рот, пусть у него глаза вылезут!

— Аминь, дай-то бог! — говорю я и получаю от отца затрещину, чтобы не дерзил. Но я, кажется, опережая события — поставил на стол бульон раньше рыбы. А ведь я забыл вам рассказать, кто такой Эфроим Клоц, что, собственно, он собою представляет и как дело было.

На краю города, за мостом, жил некий Эфроим Клоц. Почему его прозвали Эфроим Клоц? Торговал он когда-то лесом, теперь уже не торгует. С ним вышла история: нашли у него на складе бревно с чужим клеймом. Завязалось дело, пошло следствие, судебная волокита, еле-еле от тюрьмы ушел. С тех пор он вовсе бросил торговать, занялся общественными делами и всюду совал свой нос: в дела общины, таксы, цехов, синагоги. Поначалу у него все это шло не очень гладко, натерпелся сраму. Однако дальше — больше, человек втирался в доверие, болтал, что знает «все ходы и выходы». И глядь, наш Эфроим стал нужным человеком, без которого никак не обойтись. Так заберется в яблоко червяк, устроит себе просторное и мягкое ложе и чувствует себя здесь как дома, настоящим хозяином.

Эфроим этот был низенький, на коротких ножках, крошечные ручки, красные щеки, а ходил быстро-быстро, вприпрыжку, подергивая головенкой, говорил торпливо, пискливым голоском, смеялся меленько — ровно горошек сыпал. Терпеть я его не мог, не знаю почему.

¹ Бревно.

Всякий раз, когда я ходил к Чечеку или возвращался от него, я видел, как он прогуливается на мосту в своем длинном залатанном субботнем кафтане, накинутом на плечи. Заложив руки за спину, он пискливо что-то напевал, а длинный балахон бил его по пятам.

— Добрый день,— говорю я ему.

— Добрый день,— отвечает он.— Куда это паренек идет?

— Просто так, гулять.

— Гулять? Один-одинешенек? — спрашивает он и смотрит мне в глаза с такой усмешкой, по которой трудно сразу понять: умно ли это, глупо ли, или, может быть, смело, что я иду гулять один-одинешенек.

10

Однажды, идя к Чечеку, я заметил, что Эфроим Клоц слишком пристально смотрит мне вслед. Я остановился на мосту и стал глядеть на воду. Тогда и Эфроим остановился и стал глядеть в воду. Я повернул обратно — и он за мной. Пошел я опять к Чечеку — и он туда же. Наконец он куда-то исчез. Позже, когда я сидел у Чечека и пил чай, мы слышали, что собака яростно лает на кого-то и рвется с цепи. Выглянул в окно, и мне показалось, будто что-то маленькое, черненькое, на коротеньких ножках семенит, семенит и исчезает. Я бы поклялся, что это Эфроим Клоц.

Так и есть. Прихожу в канун субботы домой, красный от волнения, и застаю Эфроима у нас. Сидит за столом, что-то оживленно рассказывает и мелко смеется. Увидев меня, он замолкает и начинает барабанить своими коротышками по столу. Против него сидит отец — бледный как смерть, мнет бороду, выдергивает по волоску: верный признак, что он сердит.

— Ты это откуда? — спрашивает меня отец и глядит на Эфроима.

— Откуда же мне быть? — отвечаю я.

— А я разве знаю откуда? — говорит отец.— Скажи ты, тебе лучше знать.

— Из синагоги иду,— отвечаю я.

— А где ты был целый день? — спрашивает отец.
— А где мне быть? — отвечаю я.
— Почему я знаю, — говорит отец, — тебе лучше
знать.

— В синагоге, — отвечаю.
— Что же ты там делал, в синагоге?
— Что мне там делать?
— А я знаю, что тебе там делать?
— Я изучал...
— Что же ты изучал?
— Что мне изучать?
— Откуда я знаю, что тебе изучать?
— Я изучал Талмуд.
— Какой трактат ты изучил?
— Какой же мне изучать?
— Откуда я знаю какой?
— Трактат «Суббота» я изучал.

Тут Эфроим Клоц сыпанул своим маленьким смешком, и отец больше не выдержал: он вскочил с места и отвесил мне такие две звонкие, горячие пощечины, что у меня искры из глаз посыпались.

Мать это услышала из соседней комнаты и вбежала с криком:

— Нохум! Господь с тобой! Что ты делаешь? Жениха?! Перед свадьбой! Подумай, что же это будет, если шадхен узнает?!

.

Мать была права. Гершл-бал-таксе проведаль обо всем. Да сам Эфроим Клоц и рассказал, радуясь, что может досадить ему: они издавна были на ножах.

Уже на следующий день утром мне отослали обратно акт обручения и все мои подарки. Конечно, я больше не жених. Отца это так огорчило, что он слег в постель, долго болел, не пускал меня к себе на глаза. Сколько мать ни упрашивала, как ни защищала меня — ничто не помогло.

— Но этот срам! Но этот позор! Не снести мне, — сказал он, — такого позора!

— Да пусть оно пропадом пропадет! — изливала душу мать. — Бог пошлет ему другую невесту. Что ж поделаешь? С жизнью покончить? Видно, она ему не сужена...

Вместе с другими пришел проведать отца и капельмейстер Чечек.

Отец, увидев его, снял с головы ермолку, приподнялся на постели, протянул ему свою тонкую, исхудавшую руку и, посмотрев в глаза, сказал:

— Ой, пан полковник, пан полковник!..

Больше он не мог вымолвить ни слова: его душили кашель и слезы.

Первый раз в жизни я видел отца плачущим. Это меня так потрясло, так больно сжалось мое сердце! Я стоял у окна и глотал слезы. В эту минуту я искренне каялся во всем, что натворил. Я колотил себя в грудь, как истый грешник, и дал себе слово — никогда больше не огорчать отца, никогда-никогда больше не причинять ему неприятностей. Конец скрипке!

ЦИТРУС

Рассказ к празднику

1

Имя мое, надо вам знать, Аре-Лейб, но зовут меня все Лейбл, а в хедере меня прозвали «Лейб-дрейб-обдирик».

У нас в хедере нет мальчика без прозвища: Мотлкапотл, Меер-дреер, Мендл-фендл, Хаим-клаен, Ицик-шпицник, Берл-козел. Как вам нравится такая рифма? Если к Ицику прибавляется шпицник и к Мендлу — фендл — это еще куда ни шло, но что общего, скажем, между Берлом и козлом? С таким же успехом, однако, можно спросить, что это за прозвище Лейб-дрейб-обдирик. Я этого прозвища не переношу и каждый раз лезу из-за него в драку, и каждый раз на меня сыплются тумак, пинки, подзатыльники. Я вечно в синяках, потому что в хедере я самый маленький, я и моложе всех, и слабее, и беднее, некому за меня заступиться, некому меня пожалеть. Наоборот, когда два сынка богатых родителей истязают меня — один сидит на мне верхом, второй дерет меня за уши, — всегда найдется третий, какой-нибудь мальчик совсем бедных родителей, который, поддавая жару, напевает:

Вот так! Вот так!
Всыпьте ему!
Всыпьте ему!
За уши его!
За уши его!
Вот так! Вот так!

Мне тогда остается только лежать тихо, как ко-тенку, а когда меня отпускают, я забиваюсь в угол и плачу тайком.

Потом утираю слезы, возвращаюсь к товарищам, и все идет своим чередом... Короче говоря, если вам встретится в моем рассказе имя Лейбл, то знайте, что это я.

Сам я толстячок, маленький и пухленький, хотя вовсе не упитан, наоборот, телом тощ, а пухленький я оттого, что ношу толстые ватные штанишки, толстую ватную фуфайку и толстый ватный кафтан. Это мама моя заботится о том, чтобы мне было тепло, чтобы я, не дай бог, не простудился, поэтому она с ног до головы укутывает меня в вату. Мама и не подозревает, на что мальчику может пригодиться вата. Из ваты можно сделать отличный мяч, и еще один мяч, и еще один — всех ребят в хедере я надеваю ватой из штанишек и из кафтана. Когда это замечают взрослые, меня награждают оплеухами, пинками, тумакami и подзатыльниками. Но Лейбл делает свое: раздает вату. Кто хочет, берет у него вату, и всякий кому не лень бьет его, колотит, щиплет: «Лейб-дрейб-обдирик... Так ему и надо!..»

Щеки у меня лиловые, нос всегда набит до отказа, будто скован льдом. «И откуда только у него берется!» — говорит мама и заставляет Лейбла сморкаться, без всякой жалости утирает ему фартуком нос, приговаривая: «Еще, еще, еще!!» Вот так напасть — нос! Не будь носа, Лейблу было бы как нельзя лучше. Во-первых, нечего было бы утирать фартуком, во-вторых, зимой нечему было бы мерзнуть. Не раз я задумывался: зачем нужен нос? Чем было бы плохо, если бы люди ходили без носов? Правда, возникает вопрос, какой вид мы бы все имели... Но я, ребята, совсем о другом собирался вам рассказать. Я хотел рассказать вам про цитрус, а забрался вон куда! Поэтому разрешите мне здесь остановиться и перейти к рассказу о цитрусе.

Мой отец, Мойше-Янкл, много лет служит в проекте * кассиром. Жалованья он получает четыре с полтиной в месяц и все ждет прибавки; если ему дадут прибавку, то в этом году он, бог даст, купит на праздник цитрус. Но мама моя (ее зовут Басе-Бейля) не верит в такие чудеса. Скорее, говорит она, казарма обвалится и людей задавит, чем откупщик коробки кому-нибудь прибавит жалованья. Однажды, незадолго до Нового года, Лейбл застал родителей за таким разговором.

Отец. Хоть бы весь мир перевернулся, в этом году на праздник кущей я покупаю эсрог *.

Мать. Мир не перевернется, и эсрога ты не купишь.

Отец. Так ты думаешь? А если часть денег мне даст хозяин, что тогда?

Мать. Тогда запишем на воде, что в начале месяца небывалого один посулил, второй уши развесил. Если я этому не поверю, большого греха не будет.

Отец. Хочешь — верь, хочешь — не верь, но я тебе говорю, что в этом году у нас будет эсрог.

Мать. Аминь, твоими устами да мед пить!

«Аминь! Аминь! Аминь!» — в душе произносит Лейбл, и ему представляется, как отец приходит в синагогу наравне с самыми почтенными хозяевами со своими собственными эсрогом и лулевым *. И хотя он не из богачей, он ходит вокруг анаоя вместе с отцами города, и сердце Лейбла трепещет и радуется, глядя на него. Впереди всех, конечно, выступает кантор реб Мейлах; он подвигается шаг за шагом, как фельдмаршал, с горделиво поднятой головой и красивым голосом выводит слова молитвы. Вслед за ним идет раввин, маленький, тщедушный человек с надвинутым на самые глаза талесом. За раввином идет помощник раввина, с желтым пергаментным лицом, но зато с широкими плечами и жирным брюхом, которое колышется под блестящим атласным кафтаном; за помощником раввина следуют все уважаемые люди города, богачи, сливки общества: реб Додя, сын реб Гершеле, реб Симхе, сын реб Иоселе, реб Арн, сын реб Лейбеле, и три Берла: Берл-большой, Берл-красный и Берл-со-щекой. Потом идут средние хозяева: Мендл, сын Нехаминого Боруха, Шае, сын Довида-Шлойме, Велвл, сын Хаим-Берчика. А уж за ними — всякая мелюзга: Мойше Кот, Хаим Флам, Азриел Качка, Меер Губа, Шолом Скрип, Шму-

лик Петрушка, и еще, и еще... Все следуют один за другим, богач за богачом, хозяин за хозяином, каждый по своему состоянию и положению, как, скажем, во время войны, когда войско идет в бой: впереди выступает фельдмаршал, потом идут генералы, за ними полковники, офицеры, юнкера, унтер-офицеры и фельдфебеля, а потом только простые солдаты... Лейблу представляется, что его отец опередил многих уважаемых хозяев, даже портного реб Исроэла оставил позади. Реб Исроэл, хотя и мастеровой, и отпетый бедняк к тому же, с чужим цитрусом в руке, которым почтил его какой-нибудь разбогатевший мастеровой, обычно кружит вокруг амвона наравне с самыми уважаемыми хозяевами. Это потому, возможно, что и вид у реб Исроэла весьма почтенный, и благообразен он, и благочестив. Лейбл не раз замечал, что, когда в синагоге начинается шествие с цитрусами, каждый норовит протиснуться вперед; будто заглядывая в молитвенник и тоненьким голосом подпевая кантору, какой-нибудь молящийся, с благочестивой миной на лице, исподтишка косится в сторону отцов города, богачей, только и думая о том, как бы изловчиться и захватить место повидней, поближе к этим богачам; если же случится такому очутиться позади, он ускоряет шаг, чтобы кто-нибудь другой, помельче, не опередил его, упаси бог. А если случится ему опоздать в синагогу, он бочком проворно протискивается между другими двумя хозяевами, которые, конечно, так бы его и пустили, если бы это от них зависело...

После разговора между отцом и матерью Лейбл не мог удержаться и растрезвонил в хедере, что в этом году у них будет собственный эсрог, но, сколько он ни божился, никто ему не поверил.

— Нет, вы подумайте только! — говорили ребята-озорники. — Бедняк из бедняков, нищий среди нищих — и вдруг купит собственный эсрог! Он, видно, думает, что это простой лимон или яблоко за грош!

Младшие ребята тут же стали напевать:

Лейб-дрейб-обдирик
Сочиняет враки!
Сочиняет враки!..

Напевая таким образом, ребята, как обычно, награждали его пинками, тумакami, подзатыльниками. Хотя Лейблу было очень обидно, что ребята не поверили,

ему и самому начало казаться, что отец его как был касриловцем, бедняком из бедняков, так и остался им, а бедняк ничего и хотеть не должен... И как же Лейбл был поражен, когда, придя однажды из хедера домой, застал там резника Гензла, в наполеонке на голове, сидящего рядом с его отцом, а на столе перед ними стояла коробка с цитрусами, которые распространяли благоухание по всему дому.

3

Наполеонка на голове Гензла — это нечто вроде шапки, оставленной нам в наследство Наполеоном Бонапартом. Там, у французов, эта шапчонка давно уже вышла из моды, и только у нас в Касриловке еще завалялась одна наполеонка, не больше одной, и носит ее резник Гензл. Это высокая и узкая шапка, с разрезом спереди, с пуговичкой и с двумя кисточками. Меня издавна привлекали эти кисточки. Попадись шапка резника мне в руки хоть на одну минуту, кисточки были бы моими!.. Это я видел в мечтах. Резник Гензл, однако, никогда не снимал своей шапки, и мне порой казалось, что эта шапка с кисточками, и пейсы резника, и голова его срослись воедино и поэтому так трясутся у него пейсы и болтаются кисточки, когда он, размахивая руками, разговаривает. Выложив весь своей товар, реб Гензл отбирает один цитрус, берет его двумя пальцами и показывает отцу.

— Вот этот эсрог, реб Янкл, я советую вам взять, и вы будете довольны, потому что этот эсрог, говорю я вам, настоящее сокровище, лучшего и пожелать нельзя!

— А он корфинский? * — спрашивает отец, и руки у него дрожат от радостного волнения.

— Еще бы не корфинский! — со смешком отвечает шапочка, и кисточки на ней болтаются. — Корфинский из корфинских! Лучше и желать нельзя!

Мойше-Янкл глаз не сводит с эсрога, налюбоваться не может, как будто перед ним богатый фермуар, дорогое украшение или драгоценный камень. Он зовет жену и со счастливой улыбкой указывает на эсрог, как указывают на милого ребенка — утеху семьи. Басе-Бейля подходит молча и так же молча протягивает руку за цитрусом, но ей не дают к нему притронуться: «Без рук,

осторожно, только понюхай, если хочешь...» Басе-Бейля ограничивается нюханьем, мне же и понюхать не дают, меня и близко не подпускают, не дают даже посмотреть на эсрог, как будто это опасно для жизни.

— Смотри-ка, и он тут,— говорит мама,— только допусти его, и он откусит головку у эсрога...

— Не дай бог! — испуганно говорит отец.

— Господи, спаси и помилуй! — вторит ему шапочка, и кисточки на ней болтаются.

Реб Гензл дает отцу клочок пакли, чтобы завернуть цитрус, и запах его, райское благоухание, распространяется по всему дому.

Словно брильянт, словно редкостную драгоценность, которую берегут как зеницу ока и передают для сохранности в верные руки, потому что пропади она — и жизни конец,— так отец принял из рук в руки этот благоухающий плод. Он завернул его, как заворачивают долгожданное дитя, над которым дрожат, как бы оно, упаси бог, не простудило горлышко, и уложил в деревянную коробку из-под сахара, красивую коробку, круглую, точеную. Сахар из нее, не в обиду будь сказано, попросили и, устлав дно паклей, устроили в ней цитрус, словно желанного гостя. Милости просим, реб эсрог! Войдите, войдите же в коробку! Тщательно укутав цитрус соломой, коробку закрыли и поставили ее в стеклянный шкаф, дверцу шкафа тоже закрыли и... прощай цитрус!

— Боюсь, как бы этот выродок («выродок», конечно, я) не забрался в шкаф и не откусил головку у эсрога!..— говорит мама, берет меня за руку и уводит подальше от шкафа.

Точно кот, который, почуяв масло, прыгает с шестка и, выгнув спину, начинает кружить по комнате, тереться об ноги, заглядывать каждому в глаза и облизываться,— так бедняжка Лейбл вертелся около шкафа, заглядывая в стеклянную дверцу и улыбаясь коробке с цитрусом, пока мать не заметила этого и не пожаловалась отцу, что озорник подбирается к эсрогу. И отец прикрикнул на него: «В хедер, проказник этакий, чтоб тебя!..» Брысь, значит, кошка, подальше от масла!.. Понутив голову и опустив глаза, Лейбл отправился в хедер.

Когда я проходил в хедере первый раздел «Бытия» *, я нередко задумывался: что было бы, если бы, поселив первочеловека Адама и его жену Еву в рай, бог не указал им, какие плоды можно есть и какие нельзя? Змей, конечно, не имел бы тогда над ними никакой власти, ему бы никак не удалось соблазнить Еву и заставить ее попробовать от древа познания, Ева не угостила бы яблочком мужа, богу не за что было бы гневаться, он не выгнал бы их из рая, и тогда, возможно, мы бы до сегодняшнего дня разгуливали там. Отцы наши, наверное, все время сидели бы над священными книгами, матерям только и дела было бы, что вязать чулки и ошипывать птицу, а мы, мальчишки-озорники, карабкались бы по горам, на самый Арарат взбирались бы, рвали бы финики, ели бы гранаты, напихивали бы карманы рожками и по целым дням плескались бы в реке...

Несколько слов, сказанные Басе-Бейлей: «Только допусти его, и он откусит головку у эсрога», — были для Лейбла смертельным ядом, в него проникла отравка.

С той самой минуты головка цитруса накрепко завладела его мыслями, и он лишился покоя. Лейбл видел ее часто во сне, она тормозила его по ночам, тянула за полы: «Ты не узнал меня, глупышка? Это ведь я, головка цитруса!..» Лейбл кряхтел, поворачивался на другой бок и засыпал, но кто-то ему нашептывал: «Вставай, глупенький, иди открой шкаф, достань меня и откуси — и тебе прибавится здоровья!»

По утрам Лейбл наскоро умывался и, протягивая руку за завтраком, который брал с собой в хедер, не мог отвести глаз от шкафа, где сквозь стеклянную дверцу проглядывала коробка с цитрусом: ему казалось, что коробка подмигивает ему: «Сюда!.. Сюда, паренек!..» Лейбл отворачивался и... марш в хедер.

В один прекрасный день Лейбл проснулся и увидел, что он дома один, один-одинешенек. Отец на службе, мать ушла на базар, старуха, помогающая по хозяйству, возится на кухне, маленький ребенок спит в колыбельке, подняв ручки вверх, и улыбается во сне. «Ангелы играют с ним», — думает Лейбл и смотрит туда, на шкаф, где в стеклянную дверцу видна коробка с цитрусом. Она подмигивает ему, зовет: «Сюда! Сюда, паренек!..» Потихонечку, потихонечку Лейбл подвигается

к шкафу, открывает дверцу, достает деревянную коробку, красивую, кругленькую, точеную, крашеную коробку, и приподымает крышку. Не успевает он освободить цитрус от пакли, как ему ударяет в нос пряный запах, райское благоухание; не успевает он оглянуться, как цитрус уже у него в руках. А головка подмигивает ему: «Хочешь получить удовольствие? Хочешь почувствовать райский вкус? Тогда возьми и откуси меня! Не бойся, глупенький, никто не узнает, человек не увидит, и петух не пропоет!..»

.
Вам, конечно, не терпится узнать, что было дальше? Откусил ли я головку у цитруса или удержался и не откусил ее? Хотел бы я знать, как бы вы поступили на моем месте, если бы вам не меньше десяти раз наказывали, чтобы вы не смели откусывать головку у цитруса? Разве вам не хотелось бы узнать, какой вкус имеет головка цитруса?..

5

Мойше-Янкл, который служит в проекте, не имеет возможности поставить для себя одного праздничный шалаш. Вернее будет, если шалаш построит сосед, столяр Залмен, ему это проще, досок у него предостаточно. Мы же вносим свой пай в виде двух наволочек, нескольких простынь и одеял, чтобы завесить стены. Кроме того, Басе-Бейля взяла на себя испечь Залмену халу на праздник — столяр Залмен недавно остался вдовцом с восемью детьми — и помочь его старшей дочери Цивье приготовить фаршированную рыбу. Лучшей мастерицы фаршировать рыбу, чем Басе-Бейля, в Касриловке не найти. Ну, а цитрус ничего не значит?

— Вы имеете в эсроге равную долю с нами,— говорит Басе-Бейля столяру Залмену.

— Для прочтения молитвы над ним,— уточняет Мойше-Янкл.

— А то для чего же, съем я его, что ли? — со своей стороны замечает Залмен.

Не один Залмен проложил себе дорожку к цитрусу. О цитрусе мечтали и его дети, как мечтают о величайшем счастье. Шуточное ли дело — в одной руке держать эсрог, в другой — лулев и, произнося молитву,

потряхивать этим лулевым: трррр!.. «Сколько осталось еще до кушей?» — считали они дни.

Накануне кушей отец перевязал лулев, собрал все сорта трав, приготовил все наилучшим образом. Потом отец поставил собранный, нарядный лулев на шкаф в уголочек, чуть прислонив к стене, и он стоял как живое существо, которое прикорнуло на минуточку. Говорить Лейблу, что к лулеву и притронуться нельзя, было излишне. Если Лейбл и захотел бы, он не мог бы его достать; а если бы он надумал приставить табуретку к шкафу и взобрался бы на нее, из этого тоже ничего хорошего не вышло бы: табурет опрокинулся бы, Лейбл полетел бы на пол и свернул себе шею, а потом получил бы еще по заслугам так, что запомнил бы на всю жизнь!..

Была еще одна причина, по которой Лейбл не интересовался лулевым. Дело в том, что ему было не до лулева. Им владела теперь только одна мысль: что будет, когда обнаружится, что у цитруса откушена головка? Правда, Лейбл тут же приклеил ее слюной, но будет ли она держаться?.. Боже, боже, что его ждет? Что он может сказать в свое оправдание? Как он посмотрит в глаза отцу и матери, как он сможет соврать, что ни сном ни духом не виноват? Да и кто поверит ему на слово? И зачем только он это сделал? Что это ему дало? Какое удовольствие от головки цитруса, когда в ней одна только горечь? Тьфу, с души воротит! Ни за что ни про что испортил плод, сделал цитрус негодным, такой красивый цитрус! А что надкусанный цитрус никуда не годится, Лейбл знал от товарищей по хедеру. И какая польза была ему от цитруса? И что это ему пришло в голову? Лейбл смотрит на себя, как на убийцу: взял живое существо, откусил у него голову и лишил его жизни! За что? К чему это? Чем цитрус перед ним провинился? Не проходило и минуты, чтобы он не видел перед собой головки цитруса; на каждом шагу являлся ему мертвый цитрус, желтый, как воск, без признаков жизни, мертвый, мертвый цитрус!..

По ночам эсрог приходил к нему во сне, тормозил его, тянул за рукав, не давал спать: «Что тебе от меня нужно было? Зачем ты откусил мне голову? Ведь теперь я никуда не годен, не годен, не годен!» Лейбл стонал, поворачивался на другой бок и засыпал, но не тут-то было, цитрус снова тормозил его: «Убийца! Чем тебе помешала моя голова? Моя голова! Моя голова!..»

Наступил первый день кушей. Ночью слегка подморозило, а утром на чистом голубом небе взошло солнце и залило землю тем радостным, живительным светом, который растекается по всем жилкам, и сердце пронизывает странное чувство, смутная тоска по промелькнувшему лету. Солнце светит, но уже не греет. «Как мачеха», — говорят у нас в Касриловке. Ушло благодатное летнее тепло! Не видать больше благодатной летней зелени! Не слышать благодатного чириканья птиц! Все ушло с первым дуновеньем элулского ветра, и не так скоро вернется солнечное тепло, не так скоро зазеленеет травка и защебечут птицы. Земля еще достаточно померзнет до тех пор, и снег ее густо покроет. И снег будет падать, и ветер будет дуть, и метели завывать, пока земля наконец не очнется от своего мертвого сна, не сбросит с себя мерзлого одеяла и не нарядится в новое, с иголочки, зеленое платье, и оживут тогда долины и горы, моря и реки, цветы и деревья, звери и животные, люди и птицы — все, что властвует на земле, дышит и копошится на ней...

В этот день Мойше-Янкл встал на рассвете, чтобы лишний раз просмотреть праздничную молитву и спеть ее на давно знакомый праздничный лад. В этот день и Басе-Бейля встала на рассвете, чтобы приготовить фаршированную рыбу, раскатать тесто к празднику, сварить цимес. В этот день столяр Залмен встал на рассвете, чтобы раньше всех помолиться над цитрусом в шалаше, а потом выпить стаканчик чаю с молоком, пожить в свое удовольствие по случаю праздника.

— Реб Залмен просит лулев с эсрогом, — обратилась мать к отцу.

— Открой шкаф и достань коробку, только осторожно! — сказал отец. Он встал на табурет, снял лулев со шкафа и пошел с ним в шалаш, чтобы самому приобщить столяра к богоугодному делу.

— Нате вам, помолитесь над эсрогом, — сказал он столяру, — только осторожно, ради бога, осторожно!..

У столяра Залмена сил дай бог всякому, и руки у него... Одним пальцем он мог бы уложить трех таких, как Лейбл. Руки у него вечно в клею, а ногти на больших пальцах каждой руки всегда красны от лака, и когда он проводит ногтем по доске, остается глубокая борозда, будто по ней провели острием лопаты.

По случаю праздника Залмен надел белую рубаху и новый кафтан, предварительно сходяв в баню, где он долго тер руки и мылом, и золой, и песком, но так и не отмыл их. Руки по-прежнему остались в клею, а ногти — красными от лака.

Вот в эти-то руки и попал вожделенный ароматный цитрус. Недаром Мойше-Янкла бросило в дрожь, когда он увидел, как столяр Залмен зажал цитрус в кулаке и изрядно тряхнул лулевым.

— Полегче, полегче! — взмолился отец. — Теперь, будьте добры, переверните эсрог и прочитайте: «Давший нам жизнь...» Только осторожно, ради бога, осторожно!

Вдруг Мойше-Янкл подскочил, вскрикнув не своим голосом: «Ой!..» На его крик в шалаш вбежала Басе-Бейля.

— Что такое, Мойше-Янкл? Господь с тобой!

— Грубиян! Невежда! — раскричался Мойше-Янкл, готовый растерзать столяра. — Как это человек может быть таким грубым созданием, таким невеждой? Что это вам, топор, долото, сверло? Эсрог — это вам не топор, не долото, не сверло! Вы же меня зарезали! Вы мне испортили эсрог! Вот лежит головка, вот смотрите, грубиян вы этакий! Невежда вы!..

Мы все помертвели. Столяр Залмен застыл, как покойник, не понимая, откуда пришло к нему несчастье. Каким это образом отскочила головка цитруса? Он ведь так деликатно держал его, еле пальцами коснулся... Вот беда!.. Вот горе!.. Побледнел как мертвец и Мойше-Янкл. Даже в синагоге не успел побывать, ни одной молитвы не прочитал, а цитрус уже ни на что не годится. И зачем только он доверил такой дорогой, благородный плод таким грубым рукам? Ничего бы не случилось, если бы Залмен помолился в синагоге над общественным цитрусом! «Грубиян вы этакий! Невежда вы!» Басе-Бейля тоже помертвела. «Если человеку не везет, — говорила она со слезами на глазах и ломая руки, — то ему лучше живьем сойти в могилу!..» Лейбл помертвел не только от страха: огорчение отца, слезы матери, позор Залмена поразили его. Лейбл и сам не знал, плясать ли ему от радости, что бог сотворил чудо и вызволил его из беды, или же плакать над папиным горем, над мамиными слезами и над позором столяра. А может быть, ему броситься к столяру Залмену и расцеловать каждую морщинку на его лице, расцеловать

его грубые руки с пальцами в клею, с красными ногтями за то, что он стал его ангелом-избавителем, спас от неминуемой беды?.. Лейбл не мог отвести глаз от отцовского лица, от покрасневших век матери, от рук столяра и от цитруса, который валялся на столе, желтый, как воск, мертвый, без головы, настоящий покойник!..

— Мертвый плод! — надтреснутым голосом произнес отец.

— Мертвый плод! — со слезами на глазах повторила за ним мать.

— Мертвый плод! — вслед за ними повторил столяр Залмен. Он смотрел на свои руки и, видно, думал: «Ну и ручищи, чтоб они отсохли!..»

ЗЕЛЕНЬ К ПРАЗДНИКУ

1

Накануне швуэс я выпросил у мамы, царство ей небесное, разрешение одному сходить за город, нарвать и принести зелень к празднику.

И мама отпустила меня одного за город — нарвать и принести домой зелень к празднику. Да будет ей за это земля пухом.

Настоящим можно назвать только такое путешествие, которое человек совершает один, без товарищей и без всяких помех. Я один, сам по себе, вольная птица в большом просторном мире. Надо мною вся огромная голубая ермолка, именуемая небом; мне одному светит прекрасная царица дня, именуемая солнцем; ради меня одного собрались здесь, на широком поле, все эти певцы, свистуны, прыгуны; для меня одного распустилась ароматная роза, раскрылся долговязый, рыжий подсолнух, все поле расцвечено и усыпано чудесными творениями природы. Никто не стесняет меня, не мешает мне, никто, кроме бога, меня не видит, и я могу делать что хочу: пожелаю — пою красивую утреннюю песнь; захочу — буду кричать не своим голосом, надрываться; вздумается мне — сложу руки трубой и сыграю «трубача»; а то могу повалиться, как есть, на зеленую травку и кататься, как жеребенок, с боку на бок... Кто же может указать? Я никого не слушаю! Я свободен! Свободен!

День был такой теплый, солнце так прекрасно, небо так чисто, поле так зелено, а на душе так хорошо, что я позабыл, где нахожусь и зачем пришел, и представил себе, что я здесь властелин, принц; что все это поле, насколько глаз хватает, со всем, что на нем, и даже кусок голубого неба над ним,— все это принадлежит мне, я здесь единственный хозяин, один я имею право всем распоряжаться, и больше никто. И как властелину, которому все принадлежит и подчиняется, мне хочется проявить свою власть, свою силу и мощь — делать все, что могу и хочу...

Во-первых, мне не нравится вот этот долговязый в рыжей шапке (подсолнух), который вдруг обретает в моих глазах облик врага, некоего Голиафа *. А все остальные растения с подпорками и без подпорок (бобы и фасоль) — это явные враги, это филистимляне, которые поселились здесь, на моей земле,— кто их звал сюда? А те, низенькие, толстые, в зеленых малахаях, что густо сидят у самой земли (капуста),— что здесь делают? Эти, чего доброго, напьются — и натворят тут бед... Пускай убираются к чертям — не нужны они мне здесь! И пробуждаются во мне злые мысли, дикие инстинкты, меня охватывает какое-то странное чувство мести, и я начинаю мстить врагам,— да как еще мстить!

Были у меня с собой прихваченные для работы инструменты: ножик с двумя лезвиями и меч, хоть и деревянный, но острый.

Меч этот остался у меня с полупраздничного дня «лаг-боймер». И хотя с этим мечом я и мои товарищи ходили за город на войну, я могу вам побожиться (можете поверить мне без божбы), что ни одна капля крови пролита не была. Это было оружие такого рода, которое военные люди носят в мирное время. Никаких, мол, признаков войны хоть и нет, все же, на всякий случай, пусть будут наготове сабли, ружья, пушки и орудия, кони, солдаты,— дай бог, чтобы не потребовалось, как говаривала моя тетка Этл, когда варила малиновое варенье...

2

Всему свету известно, что во время войны стараются попасть в старшего, в офицера. Если можно попасть в генерала,— еще лучше: тогда солдаты поневоле валяются как солома. Так что вас не будет удивлять,

что я первым делом напал на «Голиафа», треснул его мечом по рыжей башке, а потом несколько раз сзади,— и злодей рухнул во весь свой рост к моим ногам. Затем я уложил еще нескольких здоровенных злодеев, вырвал палки из их рук и забросил ко всем чертям. А толстых коротышек, что в зеленых малахаях, я взял в работу на особый лад: кого мог, обезглавил, остальных растоптал ногами, изничтожил!

Во время войны, когда король разгорячится и входишь в раж,— рубишь почем зря! Проливая кровь, забываешься и не знаешь, на каком ты свете. Тогда не смотришь ни на старшего, ни на слабую женщину, не жалеешь малых детей, и кровь, кровь льется как вода... Я, когда напал на врага, вначале не чувствовал в себе такой злобы, как после нескольких крепких ударов, нанесенных противнику. Но чем дальше, тем больше я распалялся, сам в себе разжигал охоту к бою, вошел во вкус, и такой охватил меня экстаз, такое озлобление и жестокость, что я стал крошить и уничтожать все, что попадалось на глаза, и больше всех страдала от меня «мелочь» — молоденькие, круглые арбузики, пузатенькие кабачки, крошечные огурчики, только что показавшиеся на плетях, с желтыми пупырышками,— все они еще больше раздражали меня своей покорностью и хладнокровием. И я им так надавал, что они попомнят меня: я срубал головы, распарывал животики, рвал пополам, крошил, разбивал, колотил, бил насмерть... Ума не приложу, откуда во мне взялось столько злости! Ни в чем не повинные картошечки, сидевшие глубоко в земле, я выкапывал и доказывал им, что от меня не спрячешься!.. Молодой чеснок и зеленые луковки я вырывал с корнями, редиски летели у меня, как галушки, и да накажет меня бог, если я полакомился хотя бы кусочком редьки, потому что я хорошо помнил слова из «Хагады»*: «А к добыче рук своих не допустили»,— евреи не грабили... Поминутно возникал передо мной соблазн и внушал мне попробовать луковку, чесночок, но тут же я вспоминал и слова и напев, с которым их читают... И я не переставал бить, колотить, рубить, крошить, уничтожать, убивать, резать на куски молодых и старых, больших и малых, богатых и убогих без всякой жалости...

Наоборот, мне представлялось, что я слышу их крики, плач и мольбу, но меня это ничуть не трогало! Поразительно! Я, который видеть не мог, как режут

куруцу, как дерут кошку, как обижают собаку, как бьют лошадь,— мог оказаться таким тираном, таким жестоким?! Месты! Я с вами рассчитаюсь! За все, за все вы ответите мне! Ой! Что это?! Гвалт! Спасите! Кто держит меня за ухо?..

Два основательных тумака сзади и парочка пламенных оплеух спереди в одно мгновение отрезвили меня, и я увидел перед собою знакомую личность,— готов поклясться, что это был баштанщик Охрим.

3

Баштанщик Охрим издавна арендовал баштан, огород или бахчу у нас за городом. То есть он арендовал десятину земли и на ней разводил огород, сажал арбузы и дыни, огурцы и картофель, лук и чеснок, редиску и прочую зелень и неплохо зарабатывал на этом. Откуда я знал Охрима? Он с нами имел дела, то есть он одалживал у мамы деньги каждый год перед пасхой, а к осенним праздникам начинал понемногу выплачивать свой долг. Деньги записывались на левой стороне переплета маминого толстого молитвенника (там велась вся бухгалтерия): в сторонке для Охрима отводилось место, особый счет, и записывалось крупными буквами: «Счет мужика Охрима». А дальше шел самый счет: «От Охрима — рубль. От Охрима — еще рубль. От Охрима — два рубля. От Охрима — полтинник. От Охрима — мешок картошки». И так далее. И хотя мама была не богачиха, вдова с детьми и жила на «проценты», она у Охрима никогда не брала процентов: он платил овощами — иногда побольше, иногда поменьше. И никогда мы с Охримом не ссорились.

Если выдастся урожай, он сам насыпал нам полный погреб картошки и огурцов на всю зиму. А если, бывало, не уродится, он просит маму: «Не выбачай, Аврумиха, бо не вродылось!» — то есть: «Не обижайся, Аврамиха, потому что не уродилось!» И мать прощала ему долг и наказывала, чтобы в будущем году он не был свиньей. Так-таки, бывало, и скажет:

— Гляди ж, Охриму-сердце, як бог даст на той год, шоб ты не був свинья!..

— Добре, Аврумиха, добре! — отвечал Охрим и сдерживал слово: первый зеленый лук, первый молодой

чеснок он приносил нам. Первая молодая картошечка, первые зеленые огурчики всегда бывали у нас раньше, чем у богачей. И я не раз слышал от наших соседей и соседок, что вдове живется вовсе не так плохо, как она говорит. «Смотрите, несут ей прямо в дом всякого добра...» Я, разумеется, немедленно докладывал об этом матери, а она их основательно проклинала:

— Соли бы им в глаза, камней на сердце! Кто завидует, пусть сам не имеет! Желаю им на будущий год мои достатки!

И конечно, я тут же передал соседкам все, что пожелала им мама... Те за такие пожелания готовы были маму растерзать и называли ее так, что мне было стыдно слушать... Меня это очень задело, и я тут же сообщил об этом матери. Мать угостила меня двумя пощечинами и велела мне больше не разносить такого рода «подарки» от одного к другому... Пощечины заставили меня поплакать, но слово «подарки» не выходило у меня из головы: я не понимал, почему мама называет это «подарками»?

Для меня бывало праздником, когда я издали вижу Охрима в огромных сапожищах и в толстой, белой и теплой шерстяной свитке, с которой он не расставался ни зимой, ни летом. Я знал, что Охрим несет нам полный мешок овощей, и я, бывало, бегу на кухню сообщить маме, что Охрим пришел.

4

Вообще должен признаться, что между мною и Охримом существовала некая тайная любовь, симпатия, которую словами не выразишь. Мы почти никогда не говорили друг с другом, во-первых, потому что я не понимал его языка, а он — моего (то есть я-то его понимал, а он меня — дудки!), а во-вторых, я стеснялся: Охрим такой большой, — как мне разговаривать с ним? И я прибегал к помощи матери. Она была моим толмачом.

— Мама, спроси у него, почему он мне не приносит вишни?

— А где ж он возьмет тебе вишни? На баштане вишни не растут.

— Почему на баштане нету вишни?

— Потому что на баштане нет вишневых деревьев.

— А почему на баштане не растут вишневые деревья?

— Почему, почему, почему... Дура ты стоеросовая! — отвечает мама и отпускает мне пощечину.

— Аврумиха, не бей дитыну! — говорит ей Охрим, заступаясь за меня.

Вот какой человек был Охрим, и сейчас я оказался у него в руках.

Надо понимать, что дело было так: Охрим, когда пришел и увидел такое разорение у себя на баштане, не сразу сообразил, что происходит. Увидав меня, орудующего мечом во все стороны, Охрим мог подумать обо мне бог знает что: нечистая сила, оборотень, наваждение... Наверное, он несколько раз перекрестился. Подойдя поближе и увидав, что работает так усердно еврейский мальчик, да еще с деревянным мечом в руках, он ухватил меня за ухо, да так ловко, что меня к земле прижало, и я стал кричать не своим голосом:

— Ай! Ай! Ай! Кто это меня за ухо тянет?

И лишь потом, после добрых тумачков и пощечин, которыми меня угостил Охрим, мы повстречались с ним глазами, узнали друг друга и оба были ошарашены и лишились языка.

— Аврумихина дитына?! — вскрикнул Охрим и перекрестился.

Он стал осматривать все, что я здесь натворил, каждую грядку, каждый клочок земли, и так у него защемило сердце, что на глаза навернулись слезы. Он стал против меня, сложил руки на животе и тихо спросил:

— За що?

То есть за что мне это?.. И только теперь я понял, что я натворил и кому причинил такие убытки. Я и сам задавал себе тот же вопрос: «За что? За что?..»

— Ходим! — сказал Охрим и взял меня за руку.

Я от страха пригнулся к земле, подумал, что вот-вот Охрим меня изуродует. Но Охрим меня не тронул. Он только держал меня за руку, но так крепко, что у меня глаза на лоб вылезали, и вел меня домой, к маме. Он рассказал ей все и передал меня в ее руки...

Рассказать вам, что я получил от мамы? Описать вам ее испуг, ее гнев и как она ломала руки, когда Охрим рисовал ей со всеми подробностями разгром, который я учинил на баштане? Охрим не поленился, взял палку и показал маме, как я размахивал своим мечом во все стороны, как я рубил и крошил, колол и топтал ногами, выкапывал из земли картошку, ломал плети и уничтожал молоденькие огурчики... И за что? За что?

— За що, Аврумиха, за що?

Больше Охрим говорить не мог: его, видимо, душили слезы.

Должен вам, ребята, сказать всю правду: я предпочел бы быть избитым руками Охрима тому, что я получил от мамы до швуэс и от ребе после праздника... А позор, который я потом терпел круглый год от моих товарищей по хедеру! Они присвоили мне замечательное прозвище: «Баштанщик», «Иосл Баштанщик»! Прозвище это оставалось за мной чуть ли не до самой моей свадьбы...

Вот как я ходил рвать зелень к празднику.

ЖАЛОСТЬ КО ВСЕМУ ЖИВОМУ

Мысли глупого мальчика

1

— Был бы ты хорошим мальчиком, помог бы нам натереть хрен, пока мы управимся с рыбой к святому празднику.

Так говорит мне мама накануне швуэс и вместе с кухаркой чистит рыбу к молочной трапезе. Рыба еще живая, трепыхается... Когда ее положили в миску, в большую глиняную, обливную миску с водой, она еще билась.

Сильнее всех бился бедный маленький карасик с пухлым животиком, с крошечным ртом и с красными глазками. Этому карасику, видимо, очень хотелось обратно в речку, он кидался, выпрыгивал из миски, рас-

крывал ротик, хлопал хвостом и брызгал водой прямо мне в лицо: «Мальчик, спаси меня! Спаси меня!..»

Вытираю лицо и принимаюсь за работу — натирать хрен на праздник. И думаю: «Бедный ты мой карасик! Ничего я для тебя сделать не могу... Сейчас тебя возьмут в оборот: очистят, вспорют животик, выпотрошат, потом разрежут на кусочки, положат в горшок, посолят и поперчат, поставят на огонь и будут варить, и жарить, и парить, и шкварить...»

— Жаль! — говорю я маме. — Жаль их!

— Кого тебе жаль?

— Рыбок.

— Кто тебе сказал?

— Ребе.

— Ребе?

Она переглядывается с кухаркой, которая помогает ей чистить рыбу, и обе разражаются смехом.

— Глупый ты, а ребе твой еще глупее тебя... Ха-ха! Натирай хрен, натирай!

То, что я глупый, мне известно. Это говорит мне мама каждый раз, и папа тоже, и братья тоже, и сестры... Но что мой ребе еще глупее меня — это для меня новость.

2

Есть у меня товарищ Пинеле, сын резника. Однажды я пришел к нему и увидел, что какая-то девочка принесла большого голландского петуха со связанными веревочкой ногами. Отец моего товарища, резник, спал, и девочка сидела у дверей и ждала. Петух, боевой молодец, вырывался из рук, дрыгал крепкими лапами, бил девочку в живот, клевал ее в руку и издавал сердитое «ко-ко-ко» — протестовал изо всех сил. Но и девочка была не промах. Она зажала голову петуха под мышкой, то и дело ударяла его локтем и приговаривала:

— Сиди, как проклятый!

И он ее слушал и сидел, как проклятый.

Потом резник проснулся, вымыл руки и достал свой резак. Кивком велел подать петуха. Я увидел, что молодец ожил: ему, видно, показалось, что развязывают его спутанные ноги и отпускают на волю, к курам, к просу, к корытцу с водой. Оказалось, однако, что резник зажал его между колен, задрал ему голову, выщипал несколько

перышек у него на шее, произнес молитву и чикнул резакон по горлу. Выдавил в золу несколько капель крови и отшвырнул от себя. Я думал, что петух разлетится в куски.

— Пиня, твой отец разбойник! — сказал я своему товарищу.

— Почему так?

— Нет в нем жалости к живому существу.

— А я и не знал, что ты такой умник! — ответил мой товарищ и поднес мне кукиш к самому носу.

3

Наша кухарка слепа на один глаз. Ее прозвали «Фрума-кривоглазая». Это человек без сердца. Однажды она выдрала кошку крапивой: ей показалось, что кошка утащила куриную печенку. Однако, когда она еще раз пересчитала зарезанных кур и печенки, то оказалось, что она ошиблась. Она думала, что зарезали семь кур, и, значит, по ее расчетам, должно было быть семь печенок, а кур было всего шесть. А если шесть кур, то и печенок должно быть не больше шести... Чудеса, да и только! Напрасно заподозрила кошку.

Вы думаете, что это очень огорчило Фруму? Что она пошла извиняться перед кошкой? Какое там, — забыла! И она забыла, и кошка забыла. Часа два спустя кошка очень чинно сидела на шестке и облизывалась как ни в чем не бывало. Недаром говорят: кошачья память.

Но я не забыл. Нет. Я не забыл. Я сказал нашей кухарке:

— Напрасно драла кошку, грех на душу взяла! Надо жалеть все живое! Бог тебя накажет!

— Не уйдешь? Сейчас дам кочергой по голове! — Так говорит Фрума-кривоглазая и добавляет: — Бог ты мой! Откуда берутся такие глупые дети на свете?..

4

Это было из-за собаки, которую ошпарили кипятком. И опять-таки она, все та же Фрума-кривоглазая. Ах, как было больно собаке! Сначала она визжала, кричала, отчаянно лаяла, места себе не находила. Все местечко сбежалось, смотрело и смеялось. Все

остальные собаки местечка откликались каждая из своей конуры и каждая на свой лад, как будто спрашивали их мнения... Потом, когда ошпаренная вдосталь навизжалась, она начала выть, скулить, облизывать пострадавшую шкуру и тихонько плакать. У меня сжалось сердце. Я подошел к ней, хотел погладить.

— На, Серко!

Собака увидела, что я поднял руку, вскочила, будто ее еще раз ошпарили, поджала хвост и пустилась бежать.

— Стой, Серко! — попытался я успокоить ее ласковыми речами. — Куда бежишь, глупенькая? Разве я тебя трону?

Но собака остается собакой. Безъязыкое существо. Она не знает о «жалости ко всему живому».

Отец увидел, что я вожусь с собакой, и задал мне как следует.

— В хедер пошел, живодер этакий!

Это я, оказывается, живодер...

5

А это случилось из-за двух птичек, двух обыкновенных маленьких птичек, которых двое мальчишек — один постарше, другой поменьше — убили. Оба птенца, когда упали наземь, были еще живы. Они сидели, растопырив перышки, и дрожали всем тельцем.

— Двигайся, ты, мопс! — крикнул старший младшему.

Оба взяли подбитых птичек в руки и стали ударять их головками о дерево, пока они не кончились.

— Что это вы делаете? — не выдержал я и рискнул подбежать к мальчишкам.

— Хиба що? А что такое? — ответили они совершенно спокойно. — Это же воробы!

— А если воробы, так что? А воробья не жалко?

Мальчишки как-то странно переглянулись и, словно заранее сговорившись, взяли меня в работу...

Когда я вернулся домой, мой кафтан выдал меня с головой. И отец наказал меня по заслугам.

— Дурень отпетый! — кричит на меня отец.

Ну ладно, «отпетого дурня» я ему прощаю, но за что мне оплеухи?!

За что мне оплеухи? Разве сам ребе не говорит, что все создания дóроги всевышнему? Даже муху на стене и ту трогать нельзя, говорит он, потому что надо жалеть все живое. Даже паука, хищника, тоже убивать нельзя. И он объясняет: «Если бы ему полагась смерть, его бы сам бог убил...»

Спрашивается в таком случае: если так, почему же каждый день режут быков и телят, ягнят и кур?

И не только животных, зверей и птиц,— люди разве не убивают друг друга? Вот во время погрома разве не сбрасывали маленьких детей, крошек, с чердаков? Не убили разве девочку нашего соседа, Переле,— да как еще убили?!

Ах, как я любил этого ребенка! «Дядя Бебебе»,— называла она меня. Меня зовут Велвеле... Она дергала меня за нос своими маленькими, тоненькими, такими сладкими пальчиками...

Из-за нее меня уже все называют «дядя Бебебе». — Вот идет дядя Бебебе, он тебя возьмет на руки.

7

Переле была больным ребенком. То есть вообще-то ничего, но ходить она не могла. Ни ходить, ни стоять. Только сидеть могла. Вот и приходилось выносить ее на руках, сажать в песок, на солнышко. Она любила солнышко. Очень любила. И я носился с ней. Она обнимала меня за шею своими тонкими пальчиками, прижималась ко мне всем своим тельцем, клала ко мне на плечо свою головку: «Любу дядю Бебебе».

Наша соседка Крейна говорит, что она и по сей день забыть не может этого «дядю Бебебе». Только посмотрит на меня, вспоминает свою Переле.

Моя мама на нее сердится, почему она плачет. «Нельзя плакать,— говорит мама.— Нельзя грешить. Надо забыть... забыть...»

Так говорит мама и заговаривает о другом. А меня прогоняет: чтоб я не вертелся перед глазами, тогда и вспоминать не будут, о чем не следует...

Ха-ха! Как же это возможно не вспоминать? Как вспомню об этом ребенке, у меня слезы сами собой на глаза навертываются, сами собой.

— Смотрите пожалуйста! Он уже опять плачет, этот умник! — говорит Фрума-кривоглазая моей маме, а мама, быстро взглянув на меня, смеется.

— Что? Хрен в глаза полез? Горе твоей маме! Такой сердитый хрен! Забыла сказать ему, чтоб глаза закрыл. Ах ты, горе!.. На тебе мой фартук... Вытри глаза, глупый мальчик, и нос заодно вытри... Нос! Нос!..

ПЕСЕЛЕ, ДОЧЬ РЕБЕ

1

«Короткая Пятница» * и «Великая Суббота» *

Так их прозвали.

Его — потому, что он был коротконогим, низеньким. Ее — потому, что она была длинной и тощей...

Длинная, тощая, сухая, как засохшая ветка. Для того чтобы сказать ему кое-что по секрету («Ох, похоронить бы мне тебя вместе с твоими короткими ножками!»), ей приходилось нагибаться, принаравливаясь к его росту, снисходить до него. А он не любил секретов и поэтому тоже нагибался, и она должна была нагибаться еще ниже, тогда он нагибался все ниже и ниже, тогда и она нагибалась все ниже и ниже, тогда ему приходилось нагибаться еще гораздо ниже, тогда и ей приходилось нагибаться еще гораздо ниже.

— Ох, похоронить бы мне тебя вместе с твоими короткими ножками!

Одним словом, она изводила его, а он сносил это молча. Мы же, его ученики, сорванцы и проказники, злорадствовали.

Почему?

Потому что он изводил нас Талмудом, без конца наказывал, порол, порол, порол... Вы ведь, наверно, помните историю из «Поучения отцов»? * Однажды он увидел плывущую по морю человеческую голову. Он остановился и сказал голове: «За то, что ты утопил ближнего своего, утопили тебя, а тех, кто утопил тебя, постигнет та же участь — их тоже утопят...»

Но возвратимся к Короткой Пятнице и Великой Субботе.

Он был, как вы уже, наверно, догадались, нашим учителем, и звали его реб Зорахл. А она была его женой, и мы звали ее Зорахлихой.

Он обучал нас с утра до ночи, трудился не покладая рук, надрывал свое здоровье за несколько карбованцев в сезон. А она пекла блины и олады для нас, гречаники, бабки и коржики на продажу. Много ли она зарабатывала на этом, не могу вам сказать, но в том, что мы, сорванцы и проказники, надували ее, я могу поручиться: каждый из нас брал в долг, каждый пользовался у нее кредитом до определенной суммы и каждому она верила на слово.

Надо было совсем не иметь сердца, чтобы обманывать Зорахлиху. Никто не знал этого лучше меня.

Я, деревенский мальчишка, жил у нее на харчах и нагляделся, как она трудится, бедняжка: поднимается на рассвете, когда еще сам бог спит, и сразу за квашню или за корыто, засучит рукава и усердно месит тесто длинными, худыми руками. Тесто вздыхает: «тех-тех», корыто кряхтит, и Зорахлиха кряхтит, то и дело выпрямляется, вытирает пот рукавом и произносит длинное-предлинное: «Ох, господи-отец-небесный-мама-моя-родная-любимая!..»

Поверите ли, я знал, что означает это «Ох, господи-отец-небесный-мама-моя-родная-любимая!..». Вот как это следовало понимать: мука взята в долг у бакалейщицы Гнеси до четверга, свой товар она, Зорахлиха, тоже раздаст в долг. И бог знает, вернет ли она свои деньги до четверга, а бакалейщица Гнеся молчать не будет, бакалейщица Гнеся сама взяла муку в долг до четверга, а если сказано до четверга, значит, в самом деле до четверга, потому что язык человеческий — это ведь не голенище сапога, а четверг — вообще хороший день, день накануне кануна субботы, день, когда приходится обращаться к мужу за деньгами. Горе Великой Субботе, когда она нагибается к Короткой Пятнице, чтобы попросить денег на субботу! Горе Короткой Пятнице, когда Великая Суббота приходит требовать у него денег на субботу,— горе им обоим!

Вот что означало «Ох, господи-отец-небесный-мама-моя-родная-любимая!».

Но, возможно, это нужно было толковать по-иному; может быть, за «Ох, господи-отец-небесный-мама-моя-родная-любимая!» скрывались другие горести Зорахлихи. А горестей у нее было предостаточно. Во-первых,

Зорахлиха не могла похвастаться здоровьем, она все кашляла, потихоньку, чтобы никто не слышал; во-вторых, она огорчалась из-за Песеле, своей старшей дочери, девушки в летах, у которой были огненные волосы и лицо словно в отрубях и которую никто не хотел брать в жены. И до чего она досидится? А Убогая? Это уже и впрямь несчастье. Убогая — горбатый уродец, без рук, без ног, без языка, без души и тела. Горе ей, что родилась она на свет, горе ей, что живет она на свете!!

С Убогой мы еще когда-нибудь встретимся, а с Песеле познакомимся очень скоро. Но вернемся пока к Короткой Пятнице и к Великой Субботе.

От души жаль было бедную Зорахлиху, которой приходилось все делать самой: квасить тесто, месить его, сажать в печь, париться у огня, носить воду, таскать дрова, — и все сама, везде сама, помощи никакой. И от кого ей ждать помощи? Зорахл обучает ребят, Песеле склоняется над Талмудом вместе с мальчиками, она ведь ученая, у нее ведь мужская голова! Убогая сидит за печкой в уголке, поджав под себя ножки, и ждет, пока ей что-нибудь поднесут, сунут в ручку: «На, Убогонькая, подавись...»

Вот что еще означало: «Ох, господи-отец-небесный-мама-моя-родная-любимая!» А может быть, это следовало понимать и так! Песеле целиком на его стороне, на стороне отца, и оба они, Песеле и Зорахл, делали все ей наперекор.

— Папочка с доченькой! Закопать бы вас обоих в одну ямку!

Песеле любила отца, и отец любил Песеле. Это была странная, молчаливая любовь.

Никто из нас не слышал, чтобы они сказали когда-нибудь друг другу ласковое слово. Наоборот, реб Зорахл обращался к ней, как к прислуге:

— Послушай-ка, ты!

Но по глазам видно было, что учитель любит дочь, сильно любит, что без нее ему и жизнь не мила. Возможно, он любил ее так потому, что от жены видел только обиду. А может быть, и потому, что с Песеле ему повезло: у нее была мужская голова и она разбиралась в священных книгах. А может быть, и потому, что Песеле знала все его привычки, безошибочно угадывала, чего он хочет, вовремя подавала ему ермолку, плетку, табакерку или стакан воды.

— Папочка с доченькой! — говорила Зорахлиха. — Лучше бы позаботился о муже для нее, подыскал бы какого-нибудь жениха!..

Ребе отвечал жене вздохом, как бы говоря: «Легко сказать, подыскал бы жениха, поди-ка подыщи, если не подыскивается...»

Но всему свое время. Всякий товар лежит до тех пор, пока не найдется настоящий покупатель. Нет такой девушки на свете, которой бы не встретился суженый. Вы ведь знаете, еврейских монастырей нет.

Пробил час, и Песеле «с руками оторвали», как говорила Зорахлиха. Это и в самом деле была судьба. И, если хотите знать, здесь был роман, настоящий роман, не сомневайтесь, роман с влюбленностью, со страстью, со всеми тридцатью напастями, все как полагается.

Но это особая история.

2

Уехали

Высокий, сутулый, рябой, с добрыми серыми глазами, человек молодой, но седоволосый — вот вам портрет коробейника Файвла, или, как его звали в Касриловке, «Файвла-колбойника»¹.

Колбойником прозвали его не напрасно: в коробе у него было все на свете: пуговицы и пуговички, иголки и подушечки для иголок, гарус и шелк, ленты и тесьма, катушки и клубки, ермолки, платья, мыло всех сортов и еще много разнообразных товаров, всего не упомнишь и не перечислишь.

Для девушек и для женщин приезд Файвла-колбойника был праздником. А для нас, мальчишек, сорванцов и шалунов, двойным праздником: во-первых, Файвл-колбойник с коробом — сам по себе праздник, а во-вторых, когда приезжает Файвл-колбойник, можно несколько часов не учиться, погулять на свободе. Почему? Потому что учитель реб Зорахл любит послушать новости: ему интересно, что делается на свете. А кому и знать, что делается на свете, как не Файвлу-колбойнику, которому все пути открыты; нет такой мышиной норы, куда бы он не проник со своим товаром.

¹ Колбойник — от древнеевр. «кол-бой» — все в нем.

Новостей Файвл-колбойник привозил каждый раз целые кучи, горы новостей, да тут еще не столько сами новости, сколько его манера рассказывать. Знаете, что я вам скажу? Рассказывать надо уметь. А Файвл-колбойник умел рассказывать. В его рассказах была искра таланта, притягательная сила, а текли они без остановки, без конца. Вечно, кажется, я мог бы его слушать, никогда бы не надоело.

— Какие новости, вы спрашиваете? Ох, нехорошие новости! — так начинал Файвл-колбойник свой рассказ, между делом распаковывая короб и раскладывая товар. — Неважные дела у наших евреев, у братьев наших!.. Еду я из Житомира, то есть не из Житомира, а из Чуднова, есть такое местечко неподалеку от Житомира, может, слышали? Так в этом Чуднове есть раввин, так этот чудновский раввин родом из наших мест, из Малороссии; Малороссия не Литва, в Малороссии нет таких бедняков, как в Литве: у нас если встречается бедняк, так он просто бедняк, а у вас в Литве бедняк, не в обиду вам будь сказано, это уж такой бедняк, что всем беднякам бедняк. Таких бедняков, как у вас в Литве, я нигде не встречал. А я уже поездил по белу свету, везде побывал — и в Литве и в Польше, — Польшу вдоль и поперек изъездил: и в Радоме был, и в Лодзи, и в Варшаве. Ох, Варшава! Да здравствует Варшава! Дорогой, золотой город эта Варшава! И дешево там — ну все прямо даром! Завтрак вы получаете за одиннадцать грошей, и какой завтрак — со сдобой из крупчатки, тает во рту, как масло! Кажется, постоянно сидел бы в Варшаве, если бы не язык их, который трудно понять, чудно как-то они говорят, быстро-быстро и все на «а», да еще с припевом: «Ай-вай, чтоб я так жил!» И всех там зовут «Ичемайер», одно имя на всех, в честь праведника тамошнего Ици-Меера, так же как в Бердичеве всех зовут Лейви-Ицхок в честь бердичевского раввина реб Лейви-Ицхока, который был притчей во языцех, о нем еще до сих пор рассказывают много удивительных историй; рассказывают, например...

— Может, хватит уже историй? — перебивает его Зорахлиха на самом интересном месте. — Сколько стоит у вас четверть дюжины белых пуговиц с обметанными дырочками?

Файвл-колбойник нисколько не теряется оттого, что его перебивают. Он показывает Зорахлихе все сорта пуговиц: белые и не белые, с обметанными и необме-

танными дырочками, и говорит, говорит, слова сыплются из него, как из мешка, льются, как из бочки, тянутся без остановки и без конца. Он подобен фокуснику, который вытаскивает изо рта разноцветные ленты: красные, зеленые, желтые, синие, и неизвестно, когда кончается желтая и когда начинается синяя,— тянутся и тянутся ленты, мелькают перед глазами ленты, гора лент, без конца ленты, ленты и ленты...

И был день, и случилась история: Файвл-колбойник отозвал в сторону ребе, чтобы сказать ему что-то по секрету, и секретничал с ним часа два: Файвл обливался потом, то и дело вытирал лоб большим красным платком, а учитель реб Зорахл был необычайно взволнован, задумчив и рассеян, с трудом заставлял себя слушать, что ему говорят. А когда пришла с рынка жена, ребе, в свою очередь, отозвал ее в сторону, и тут же слышался возглас: «Не может быть?!» И щеки и глаза Зорахлихи вдруг вспыхнули странным огнем, озарились светом, которого мы уже давно на ее лице не видели.

— Сегодня вы свободны, сегодня заниматься не будем! — сообщил ребе и отпустил нас всех по домам, только я один остался, так как жил у ребе на харчах, и весь хедер мне завидовал, что я буду при этом.

При чем при этом, никто не знал, но все понимали: здесь готовится какое-то торжество, что-то такое, что стоит *при этом* быть. И я *при этом* был...

Началось с того, что жена ребе воскликнула:

— Ой, болячка мне, а коврижки-то нет!

На что ребе ответил:

— Так ведь и водки тоже нет.

Тогда Файвл-колбойник сказал:

— Это я беру на себя...

Короче говоря, и коврижка появилась, и водка, и закуска, и сразу же после вечерней молитвы собрался миньен * из нашей синагоги: был там и кантор реб Мойше-Шмуел, и писец реб Генех, и шамес реб Ойзер, и составили тноим *. «Сей жених, ученый муж, реб... реб... — так читал нараспев писец реб Генех. — Ученый муж, реб... реб...»

Здесь писец реб Генех остановился и взглянул на жениха.

— Реб Шраге-Файвиш-Гецл, сын Нойах-Мордхе-Лейба, и его нареченная, девица, госпожа... госпожа...

Здесь писец остановился и взглянул на невесту.

— Госпожа Песе-Лее-Мейта, дочь раввина реб Зо-рахл-Нафтоли-Цви-Гирша...

Госпожа Песе-Лее-Мейта, дочь раввина реб Зорахл-Нафтоли-Цви-Гирша... Свадьба состоится в добрый час, с божьей помощью... с божьей помощью...

Тут произошла немая сцена: писец посмотрел на учителя, учитель посмотрел на жену, жена учителя — на жениха, жених — на невесту, невеста — на писца, и так далее... Если бы эти взгляды переложить на слова, они на любом языке прозвучали бы примерно так:

Писец (учителю). Ну? Что же вы молчите? Ведь вы здесь шадхен?

Учитель (жене). Откуда я знаю? Скажи-ка лучше ты...

Жена учителя (жениху). Жених, что ты молчишь? Все равно все расходы на твою голову...

Жених (невесте). Я не прочь хоть завтра; что скажешь, Песеле?

Невеста (писцу). Спросите отца, хотя я наперед знаю, что отец велит отложить...

Короче говоря, решили, что, поскольку теперь канун начала месяца, пусть свадьба состоится в середине месяца, то есть через несколько недель, ведь, как бы то ни было, кое-что надо сшить, кое-что придется приготовить... Когда разбили тарелку и все принялись поздравлять: «В добрый час! В добрый час!» — я заметил, что учитель реб Зорахл помертвел; так же, как тарелка, сердце у него разбилось на куски... Я сам слышал, как он сказал кантору реб Мойше-Шмуелу после первой же рюмки водки, от одного взгляда на которую он уже опьянел:

— Приходит чужой человек и забирает у тебя самый сладкий кусок. Кто такой, откуда, почему? Ох, ох, ох!

— Эх,— ответил ему кантор реб Мойше-Шмуел, который отпил из рюмки больше половины и у которого язык уже начал заплетаться.— Эх, ничего, бе! Бог даст, будет вам утеха на расстоянии... Стоит богу захотеть... Утеха и радость всем, всем евреям!..

— Ох, пора уже, пора! Давно пора! — поддержал его писец, который весьма дипломатически переводил взгляд с рюмки на бутылку. Похоже, он бы не возражал, если бы ему снова налили...

— Аминь! — отозвался шамес реб Ойзер. Этот ни-

чего и знать не хотел. Он опрокинул рюмку без всяких церемоний.

А жених и невеста сидели во главе стола, прижавшись друг к дружке так плотно, что я никак не мог затесаться между ними; но мне было хорошо видно — я не близорук, — что *ее* рука лежала в *его* руке; лицо у нее пылало, глаза сверкали. Она вдруг похорошела, стала красивой, прекрасной, как заря. Куда девались ее рыжие волосы? Куда девались отруби на ее лице? Она, говорю я вам, была полна прелести.

И не только в этот вечер — во все дни, когда готовились к свадьбе, Песеле сияла, как солнце в июле, с часу на час становилась все краше и краше. Но в самый день свадьбы было уже не то, потому что Песеле плакала, горько-горько плакала, истекала слезами. Может быть, сердце ей подсказывало, что не ждет ее большое счастье с ее избранником, с ее суженым? А может быть, она жалела отца, который остается один-одинешенек, словно камень у дороги?

Но если Песеле было трудно расстаться с отцом, то отцу было в тысячу раз труднее расстаться с дочерью. Учитель реб Зорахл не плакал. Женщина он разве, что вдруг станет плакать? Учитель реб Зорахл молча томился, таял, как свеча.

Когда дело дошло до прощания, разыгралась такая сцена: узлы, *ее* постель и одежда и *его* коробка с товаром, связанные вместе, уже лежали на повозке. Файвл-колбойник вышел из дома и ждал, когда Песеле взберется на повозку; жена учителя стояла, вытянувшись во весь рост, подперев подбородок двумя пальцами, и смотрела на учителя странным взглядом, который как будто говорил: «Похоронить бы мне тебя с твоими короткими ножками, ты когда-нибудь попрощаешься с ней или нет?»

Учитель реб Зорахл понял, что означает этот взгляд, и обратился к зятю надтреснутым голосом:

— Гм... ну... гм... начнем, значит, прощаться?

— Будьте здоровы, тесть! Будьте здоровы, теща!

— Счастливого пути! Счастливого пути!..

— Прощай, мама... Прощай, папа!..

И тут Песеле, одетая по-дорожному, закутанная в два платка, вдруг бросилась отцу на шею со слезами, с рыданиями, с криком:

— Па-па!.. Милый, дорогой папа!..

Сколько людей было на улице, все плакали: Песеле

и учитель, жена учителя, и Файвл-колбойник, и я, и извозчик реб Лейзер, который сидел на облучке с кнутом наготове, и все его пассажиры, те, что сидели под поднятым верхом повозки, и те, что сидели напротив, и соседка ребе — Двоя, жена служки, которая тяжело болела, и старшая дочь Двояси Златка, растрепанная рыжая девка с черными зубами, которая стояла с маленьким ребенком на руках, и баба Акулина, которая понимает каждое слово по-еврейски, и сапожник Хлавно, который пришел получить за починку сапог, а получать было нечего, и просто человек, совсем чужой, который проходил мимо, увидел — люди уезжают, услышал — люди плачут, и остановился, тихо вздыхая, и тоже стал утирать глаза.

Лейзер щелкнул кнутом: пошли! Лошади рванули, и повозка с шумом покатила.

Долго-долго стояли мы на улице и смотрели туда, где она скрылась, оставив позади себя густую пыль, запах лошадей и смазанных колес.

— Уехали! — сказал чужой, точно сообщил новость, которую, кроме него, никто не знал.

— Уехали! — ответил ему учитель реб Зорахл, точно тот ждал ответа.

— Уехали! — сказали мы все вместе, точно сообщили друг другу бог знает какую радостную весть....

УБОГАЯ

1

Однажды летом, в пятницу это было, мы, несколько мальчиков, возвращались из хедера домой. Шли мы быстро, почти бежали, так как, во-первых, нас отпустили на субботу, а во-вторых, нам хотелось есть — дома нас ждало горячее жаркое со свежей ароматной халой.

Вдруг один из моих товарищей вскрикнул: «Смотрите, птичка!» Мы остановились. На земле, сжавшись в комок и запрокинув голову, лежал крохотный желторотый птенчик. Распушив перышки, трепеща крылышками, бедный птенчик дрожал всем телом. То и дело раскрывал он свой желтый клювик, напоминая маленького голодного ребенка, и попискивал хриплым голоском: «пи-пи-пи». Нам стало жалко птенчика, и мы

принялись размышлять: что с ним делать? Один считал, что не надо его трогать, пусть дожидается своей мамы. Другой говорил, что, если мы подбросим птенчика вверх, он полетит. А третий заключил, что птенчика надо отнести в дом: так велит «жалость ко всему живому». На этом мы и сошлись.

Мы понесли птенчика в дом и, забыв о собственном голоде, стали вливать ему в клювик воду, начали выхаживать его. Но птенчик трепетал, моргал глазками и бился в наших руках до тех пор, пока не запрокинул головку, закатил глазки и скончался.

«Для чего жила эта птичка? Зачем она появилась на свет? Кому на земле она была нужна?» — такие вопросы не давали мне покоя, вопросы, на которые я не находил ответа.

Полчаса спустя мы с большим почетом проводили птичку в последний путь, вырыли на огороде глубокую ямку, завернули птичку в саван (белый носовой платок), похоронили ее и поставили надгробие — дощечку с надписью: «Здесь лежит птенчик Ципойр-Бен-Болок».

И перечислили имена всех, кто участвовал в похоронах: Берл, Иосл, Довид, Мотл, Калмен, Гецл...

Пролетело веселое теплое лето. Наступила сырая осень с холодными плаксивыми днями. Дождь смыл надгробие, сровнял могильный холмик, и маленькая птичка была забыта, как забывается все, что покрыто землей. Но подчас, когда я вспоминаю птенчика Ципойр-Бен-Болока, мне на ум приходит Убогая.

2

Убогой звали мы дочку нашего учителя реб Зорахла, калеку, маленькую горбунью. Сколько лет ей было, я не знал. Помню только ее старческое сморщенное личико, длинные худые ручки, жидкие волосы, черные блестящие мышинные глазки. Она сидела всегда на одном и том же месте, поджав под себя ноги, — бедняжка не умела ходить. Место ей было отведено в уголке за печкой, на голом полу. Там, не произнося ни звука, просиживала она целыми днями, сидела так тихо, что иногда в течение многих часов никто не вспоминал об ее существовании.

Предложат ей кусочек хлеба — она протянет длинную сухую ручку с тонкими скрюченными обезьяньи-

ми пальчиками и схватит хлеб, который тут же исчезнет у нее во рту. А рот у Убогой был такой большой, что в нем без труда могло поместиться целое яблоко.

— Убогая, хочешь медового пряника?

— Убогая, орешки будешь щелкать?

— Убогая, давай с нами в пуговицы играть.

Так мы, мальчишки из хедера, озорники, сорванцы, бездельники, дразнили Убогую. Убогая ничего не отвечала, но каждый раз протягивала к нам худую ручку с тонкими пальчиками и заглядывала нам в глаза, как голодный щенок, который надеется, что ему подбросят кость.

— Бессловесная тварь,— пояснял сын учителя Янкев-Эле, глупый толстощекий парень, самый старший среди нас.— Бессловесная тварь, не умеет разговаривать. Ей бы только есть, только есть, вечно она голодная, бочка бездонная, да и только...

Редко-редко Убогая напоминала о себе какими-то странными звуками, похожими не то на смех, не то на плач, не то на кашель. Тогда жена учителя, Зорахлиха, кричала на нее:

— Когда ж ты, Убогая, онемеешь наконец?

Убогая понимала, что, когда ее называют Убогой, это не к добру, жди колотушек.

А колотушками ее награждали щедро, почти каждый день, и особенно не скупилась мать. Когда у Зорахлихи было скверно на душе, за все доставалось Убогой.

— Ох, Убогая, похоронить бы тебя поскорее! Горе мне, зачем только живет такое на земле?!

3

Любить Убогую никто не любил, но все-таки ее жалели. И больше всех жалел ее реб Зорахл.

— Жалость ко всему живому! — говорил, глядя на нее, реб Зорахл и вздыхал потихоньку. Украдкой, чтоб жена не заметила, он подсовывал Убогой то кусок хлеба, то картошку, то глоток воды. Когда он видел, что мы сосем конфеты или щелкаем орехи, он просил нас сделать богоугодное дело — подарить и Убогой несколько орешков. И мать поила-кормила Убогую, но без жалости, без души: сунет ей что-нибудь в ручку с таким видом, будто хочет сказать: «На, подавись!»

В первое время мы, мальчики из хедера, боялись Убогой, не могли видеть ее горба, не могли слышать ее ни на что не похожего смеха. Но со временем мы все больше и больше привыкали к Убогой, у нас даже завязалось с ней что-то вроде дружбы. Она знала каждого из нас по имени, и вечером, между предвечерней и вечерней молитвами, когда ребе был в синагоге, жена его — в городе, а мы играли во «Владыку небесного», «Экех-мекех» и другие игры, в которые и девочкам не возбранялось играть и в которых принимала участие даже дочь учителя Песл, мы звали и Убогую поиграть с нами хотя бы на расстоянии. И как бывала она счастлива в эти минуты! Она широко открывала огромный страшный рот и смеялась своим рыдающим смехом. Но стоило только появиться отцу или матери, как она тут же замолкала и снова становилась серьезной, грустной, пришибленной, никакого веселья не было и в помине.

Говорила Убогая так странно, так ни с чем не соотносимо, что далеко не каждый мог ее понять. Вместо «хлеб» она произносила «теб», вместо «вода» — «тир-лита», вместо «пуговицы» — «лубицы», яблоки и картошку она называла «больками», мальчики были у нее «мецуцелями». Каким образом мальчик стал «мецуцелей», этого я никак не мог понять.

— Мецуцеля, мецуцеля! На бете лубицу, тай мне болько, тулочек теба!

Это означало: «Мальчик, мальчик, на тебе пуговицу, дай мне яблоко, кусочек хлеба».

Пела Убогая голосом... летучей мыши. Когда никого не было дома, она давала себе волю, раскрывала широкий рот, вытягивала длинную шею и заводила что-то невообразимое, ни один человек на свете не мог бы понять, что означает это пение. Кончала Убогая всегда одинаково, как будто трубила в рог:

Турели-гу-гу,
Турели-гу-гу...

Мать, невзначай застав Убогую за пением, кричала: — Убогая, похоронить бы мне тебя поскорее, что ты распелась!

Услышав, что мать сердится, Убогая, словно черепаха, уходящая в свою броню, вбирала головку в плечи и замолкала.

В городе Убогая была притчей во языцех. Все ее знали, у всех она не сходила с языка. Если у кого-нибудь случалось несчастье — умирала молодая женщина от родов, или невеста перед венцом, или же мужчина, отец семейства, сразу на ум приходила Убогая.

— Такой вот калеке бог смерти не даст. Не беспокойтесь, всевышний знает, что делает!

Говорили это вовсе не потому, что кто-нибудь желал Убогой зла. Упаси бог! Говорили так просто, из жалости. Кроме того, под этим подразумевалось, что бог и впрямь великий бог, правит он миром разумно и справедливо, но случается иногда, да не накажет господь за такие речи, что и он поступает не совсем хорошо. Вот, например, у того же реб Зорахла был мальчик Лейви-Ицхок, — назвали его так в честь бердичевского раввина. Ну и Лейви-Ицхок это был! Если бы он не умер, один бог знает, кем бы он вырос! В одиннадцать лет он уже потрясал весь город. Да что город? Мальчик прогремел на весь мир. И вдруг неожиданно он умирает, проболев три-четыре дня.

И как вы думаете, отчего? Доктор говорил, что от воспаления мозга. Реб Зорахл считал, что виной всему учение. Лейви-Ицхок слишком много учился. На что мать отвечала, что оба ничего не смыслят: дитя ушло по причине дурного глаза, просто, говорит она, ей завидовали. Разве люди могут допустить, чтобы бедному человеку хоть в чем-нибудь повезло? Даже на удачных детей бедняк не имеет права!

С тех пор Убогая стала в городе еще более знаменитой, а дома еще более несчастной. Мать видеть ее не могла, испытывала к ней отвращение, будто к пауку. И не один раз осыпала она мужа страшными проклятиями за то, что он заступается за Убогую, жалеет ее.

— Все-таки «жалость ко всему живому», — отвечал ей на это реб Зорахл, — все-таки живое существо!

— Живое существо? — возражала ему жена. — Урод, выродок, ниспосланный нам за чужие грехи!

— Знаете,— весело обратился к нам однажды сын учителя Янкев-Эле, глупый парень с толстыми щеками. Он так радовался, точно собирался сообщить нам бог весть какую приятную новость.— Знаете, Убогая при смерти. Приходила лекарка Бася, говорит, плохо дело, конец Убогой, конец! — При этом у Янкева-Эле был вид человека, только что провернувшего выгодное дельце.

У всех у нас оборвалось сердце от такой новости. Пока Убогая жила, мы о ней мало думали. Но теперь, когда мы услышали, что она умирает, нам стало казаться, будто мы обращались с ней не так, как следовало, и появилось у нас странное чувство, похожее на раскаяние, в чем раскаяние, я и сам не знаю, но все же это было раскаяние. Мы бросились в уголок за печку и увидели сидящую возле Убогой жену учителя. Глаза у нее были красные, заплаканные. Мы смутились и бросились назад.

— Идите, идите сюда, куда вы убегаете? — позвала нас жена учителя и тихо добавила: — Не бойтесь, Убогая еще не умерла, Убогая еще живет. Если бог захочет, он все может сделать... Господь велик, он все может, если он захочет, мертвые станут живыми... Учителя нет дома, учитель пошел купить пальсин. Пальсин тебе дадут, Убогая, пальсин!

Так говорила жена ребе, ломая руки и склоняясь над больной. Мы никогда не слышали, чтобы ее голос звучал так мягко.

Убогая лежала с закрытыми глазами, свернувшись клубочком, большой уродливый рот был открыт, она шевелила пересохшими губами и хрипловато, словно заболевшая птичка, попискивала: «И-и-и...»

Глядя на Убогую, я вспомнил желторотого птенчика, которого мы выбрали когда-то, у меня сжалось сердце, меня начали душить слезы, и я заметил, что мои товарищи как-то чудно моргают глазами, стыдятся смотреть друг на друга. Мы сели за книги, и, когда учитель пришел с апельсином, он застал нас пайньками и похвалил за то, что мы хорошие мальчики, так тихо сидим! Ребе присоединился к нам. Делая вид, что углубился в Талмуд, он потирал лоб и усердно пел вместе с нами: «И сказал Рав Папе...» Мы, однако, прекрасно видели, что голова его занята совсем не Талмудом, не

«Рав Папе», что душой он там, в уголке за печкой. Он все время поглядывал туда, словно, да простится мне это сравнение, корова в беспокойстве за своего маленького теленка, то и дело он глубоко-глубоко вздыхал, тяжело стонал, и каждый вздох и каждый стон болью отзывались у меня в сердце.

6

— Уже! Уже! Уже! Можете идти домой! — прыгая навстречу нам на одной ноге, сообщил нам на следующее утро толстощекий Янкев-Эле.

— Домой? А что случилось?

— Как что случилось? Папа, мама и мы все будем сидеть «шиве» *. Целую неделю не будет хедера, потому что Убогая умерла.

— Умерла?

— Умерла. Сегодня ночью. Я бегу в погребальное братство.

Мы застыли, пораженные.

С одной стороны, такое несчастье — Убогая, бедняжка, умерла: С другой стороны, такая радость — мы целую неделю свободны... Лето. Небо чистое, ясное, как зеркало. Ни облачка, ни ветерка. Солнце смеется, солнце припекает. Можно уходить на реку, весь день купаться, удить рыбу... От счастья мы прыгаем, блеем и мычим, как телята, корчим рожи: один гримасничает по-обезьяньи и мяукает по-кошачьи. «Гав-гав», — отвечает ему другой. Третий присоединяется к ним: ква, ква, ква! Четвертый кружится на одной ноге, напевая:

Раз, два, три,
Тирли-тирли-ри.
Окен-бокен-лей,
Ну-ка, веселей!..

А пятый отпускает самому себе три пощечины, просто так, за здорово живешь, и пускается бежать как безумный. А за ним бегут все остальные сорванцы. Только я один, я, который знал Убогую лучше всех, потому что жил некоторое время у учителя на харчах, — я стою как прикованный, не могу тронуться с места.

«Умерла? Что это, собственно, значит — умерла? Для чего жила Убогая? Зачем умерла?»

И я отправляюсь в хедер, чтобы хоть издали посмотреть, как это умирают, как бывает, когда уми-

рают. Подойдя к двери, я слышу надрывный плач, горькие рыдания и причитания, похожие на молитву для женщин:

— Горе мне, беда мне! Зачем родила я тебя, несчастье ты мое! Чем была, если подумать, жизнь твоя на земле? Что нужно было богу от твоей невинной души, зачем он спустил ее со своей святой высоты, спустил сюда для мучений, в искупление за чужие грехи! Гром порази меня! Лучше бы ты погибла в материнском чреве раньше, чем я породила тебя, на беду мою великую! Лучше бы мне не дожить до твоих похорон, тяжкий удар придавил меня! Так вкуси же ты райское блаженство, так будь же ты заступницей в небесах за мать, за отца, за братьев и сестер своих, за всех наших родных и близких!..

Мною овладевает глубокая печаль. Хочу бежать, но не могу удержаться, чтобы хоть краем глаза не посмотреть, что делается там, в хедере. Я приоткрываю дверь и вижу: на полу лежит что-то, покрытое черным, и в головах горит свеча, жена учителя сидит рядом, поджав ноги, раскачивается, и плачет, и рыдает, и причитает все тем же странным, необычным напевом. Против нее стоят три женщины, ближайшие соседки: Бася, Песя и Сося. Скрестив руки на груди, они смотрят на жену учителя, и на лицах у них такие бесподобные гримасы, что надо быть крепче железа, чтобы не лопнуть со смеху, глядя на них. Если бы только на полу не лежала Убогая... Три соседки пришли помогать Зорахлихе оплакивать Убогую; но горюют они о живых, оплакивают бедных отца и мать, что породили Убогую, которая родилась калекой и умерла калекой.

Дети учителя тоже сидят на полу и тихо плачут, все дети, кроме Янкева-Эле (Янкев-Эле поскакал на одной ноге в погребальное братство за носилками с такой радостью, точно его послали за музыкантами). А в стороне, в уголке, сидит на табуретке ребе, опустив голову, уронив руки на колени. Мне очень хочется знать, плачет ли он, — интересно, как плачет учитель? Я поскрипываю дверью, покашливаю, учитель поднимает голову, поднимает веки, и я вижу красные глаза. Могу дать голову на отсечение, что они заплаканные...

— Марш домой, бесстыдник этакий! — цыкает на меня ребе.

Я дрожу, как в лихорадке, и сломя голову убегаю куда глаза глядят.

Ночью, лежа в постели, я вижу перед собой Убогую, покрытую черным, рыдания и причитания жены учителя звучат у меня в ушах. Я читаю ночную молитву.

Гасят свет, и я снова вижу перед собой Убогую, рыдания и причитания жены учителя звучат у меня в ушах. Я зажимаю глаза крепко-крепко, чтобы не видеть; я затыкаю уши крепко-крепко, чтобы не слышать — ничего не помогает: я вижу Убогую, покрытую черным, и слышу плач и причитания ее матери.

Я стараюсь думать о чем-нибудь другом. Стараюсь вспомнить что-нибудь смешное. Стараюсь вспомнить трех соседей с перекошенными физиономиями, — не помогает, не смешно! Как сверлом, буравят мой мозг всякие мысли: умерла... Что такое жизнь и что такое смерть? Для чего жила Убогая? Почему она умерла? Почему?

Я натягиваю на голову одеяло, шепчу молитву и засыпаю.

Я засыпаю, и снится мне черный свадебный балдахин. Я стою с Убогой под балдахином, а мои товарищи бьют в ладоши и поют:

Раз, два, три,
Тирли-тирли-ри.
Окен-бокен-лей,
Ну-ка, веселей!

Янкев-Эле, глупый толстощекий парень, прыгает на одной ноге и кричит: «Мецуцеле, мецуцеле!»

А учитель с женой рыдают, обливаются слезами, Убогая смотрит мне в лицо жалобно, просительно и протягивает ко мне худые ручки с искривленными сухими пальчиками. У меня ноет, сжимается сердце, дрожь пробегает по телу.

— Чего ты хочешь? — спрашиваю я. — Убогая, чего ты хочешь? Может быть, пальсин?..

Я присматриваюсь и вижу, что это вовсе не Убогая. Это птенчик, желторотый Ципойр-Бен-Болок. Птенчик бьется, трепещет, шевелит крылышками, открывает желтый клювик, точно ребенок, который хочет есть, и поет на манер койгенов: *

Турели-гу-гу,
Турели-гу-гу...

.
Я просыпаюсь. Стоит теплый, погожий, светлый летний день. Через раскрытое окно в комнату врываются пение птиц и треск кузнечиков. Мои сестры, Златка и Блюмка, хорошенькие девушки с румяными, как персики, щеками, одеты одна в белое, другая в зеленое ситцевые платья в голубой горошек, в их косы вплетены красные ленты. Сияют сестры, словно солнце, цветут, словно розы.

— Вставай же наконец, — говорят мне сестры, — помолись и ступай к своим товарищам. Они ждут тебя, уже два раза приходили. Вам ведь сегодня не надо идти в хедер, вы целую неделю свободны. Везет же вам!

Милые слова: «Сегодня не надо идти в хедер, целую неделю свободны» — веселят душу, согревают сердце. Меня подмывает поскорее выбежать к товарищам. Но тут, как иголкой, укалывает меня воспоминание об Убогой.

— Нет Убогой, умерла Убогая!

Я бегу к своим товарищам.

8

На дворе лето. Небо чистое, ясное, как зеркало. Ни облачка, ни ветерка. Солнце улыбается, солнце смеется, солнце печет. Мы направляемся к реке купаться, удить рыбу. Я купаюсь, я бегаю, я ужу рыбу, но все время меня не оставляет одна мысль, все та же мысль:

— Нет Убогой, умерла Убогая!

Все мы раздетые, в чем мать родила, мы уже успели искупаться, выбежать из воды, вывалиться в песке и стать грязными, как поросята, а потом еще и еще раз искупаться, мы бултыхались в воде так долго, что стали синими, как селезенка, начали дрожать и стучать зубами — и вот мы уже лежим, вытянувшись на раскаленном песке под горячим, обжигающим солнцем, под синим куполом высокого неба. Только двое из нас — Хаим-большой и Хаим-маленький — еще в воде. Они искусно связали за рукава две рубашки и этой «сетью» ловят рыбу, то есть ловили бы рыбу, если бы она была; вся беда в том, что рыбы нет, то есть рыба есть, но в сеть к Хаиму-большому и к Хаиму-маленькому она не попадает. Ей не хочется.

— Глубже, Хаим, глубже! Ниже, Хаим, ниже! К берегу, к берегу! Осторожно, Хаим, рыбки!

Так командует Хаим-большой Хаиму-маленькому. Оба рыбака продвигаются по шею в воде, потихоньку вытаскивают сеть на берег, смотрят, ищут — нету в рубашках рыбок!

— Теперь мы пойдем, мы с Мотлом, мы живо поймем!

Так говорит Мотл-рыжий и вместе с Мотлом-черным прыгает в воду. Новые рыбаки тоже работают неплохо, движутся не спеша, шаг за шагом, сгибаются сильно-сильно, почти ползут по дну реки.

Речка извивается, сверкает, отражает синий купол высокого неба, небо трепещет в воде, колышется. На улице тихо-тихо, ни души не видно, ни звука не слышно. Водовоз Довид-Лейб наполнил свою бочку, напоил лошадку, умыл красивое румяное лицо, обрамленное клочковатой бородой, вытерся засаленной полой и укатил в город. Две-три женщины, которые, стоя у реки, били вальками по мокрому белью, связали белье в узлы и ушли. Тишина, покой. Тиха вода, тихо небо, тихо все вокруг. Даже лягушки, изредка напоминавшие о себе своими «ква-ква» и «буль-буль», — и те уснули. Еще минута — и все замрет. Смежаются веки, хочется, ох как хочется без конца лежать, прижавшись мокрым телом к горячему песку, и, полуприкрыв глаза, смотреть, думать, дремать. Вдруг раздается голос:

— Поймал, поймал!

В голосе этом столько радости, сколько было, наверно, в голосах спутников Колумба, когда они увидели Америку.

Мы бросаемся к берегу, к двум новым рыбакам, заглядываем в сеть и видим: рукав одной рубашки шевелится.

— Рыба, рыба, рыба! — поем мы приплясывая.

Мы поем и приплясываем, и вдруг из «сети» прямо на нас, выпучив два глупых водянистых глаза, выскакивает огромная серая, противная, безобразная лягушка. И мы сломя голову бежим по раскаленному песку с визгом:

— Помогите, помогите!

Разумеется, испуг сменяется смехом. Нам становится еще веселее, еще радостнее, мы валяемся на песке, кувыркаемся в грязи, плещемся в реке. Хорошо,

хорошо, радости ни конца ни краю. Шутка ли — мы свободны! Целую неделю свободны! Только меня не оставляет мысль, все та же мысль: «Нет Убогой! Умерла Убогая!»

Умерла! Умерла! Умерла!

ЮЛА

1

Больше всех товарищей по хедеру, больше всех мальчиков в городе и больше всех людей на свете я любил моего товарища Беню, сына Меера Полкового. Я испытывал к нему странную привязанность, смешанную со страхом. Любил я его за то, что он был красивее, умнее и проворнее всех ребят, за то, что был предан мне, заступался за меня, давал оплеухи, драл за уши каждого мальчишку, который норовил меня задеть.

А боялся я его потому, что он был рослый и драчун. Как самый старший, самый большой и самый богатый из всех мальчиков в хедере, он мог бить, кого хотел и когда хотел. Отец его, Меер Полковой, хоть был и не более чем полковым портным, все же считался богачом и в городе пользовался почетом: имел хороший дом и место у восточной стены в синагоге (третье от священного ковчега), на пасху у него пекли лучшую мацу; на субботу он приглашал к себе в гости бедняка; милостыню подавал щедро; когда просили займы — не отказывал; детей обучал у лучших меламедов, — короче говоря, Меер Полковой старался походить на людей и стать хозяином не хуже других — словом, втереться в общество; но тщетно — не так легко проникнуть в общество у нас в Касриловке, не так легко у нас в Касриловке забывают, из какого человек рода и где его истинное место. Портной может выбиваться в люди двадцать лет подряд, отличиться наилучшим образом, и все-таки у нас в Касриловке он останется только портным. Я думаю, что нет на свете такого мыла, которое у нас в Касриловке могло бы отмыть подобное пятно. Увы! Как вы думаете, сколько дал бы, к примеру, Меер Полковой, чтобы избавиться от прозвища «Полковой»? Несчастье его состояло в том, что фамилию он носил еще в тысячу раз худшую, чем это прозвище.

В паспорте, представьте себе, он был записан: *«Каневский мещанин Меер Мошкович Телка»*.

Удивительное дело! Неужели прапрадед Меера, тоже, наверно, портной, царство ему небесное, выбирая фамилию, не мог найти более приличную!.. Ну, записал бы себя: «Наперсток», «Подкладка», «Иглоузел», «Заплаткин», «Длинноспинкин» — тоже не ахти какие благозвучные фамилии, однако они все-таки имеют отношение к портняжному делу. Но «Телка»? И на что ему сдалась эта «Телка»? Вы скажете: а как же «Бык»? Разве нет людей, которые носят фамилию «Бык»? Можете говорить что угодно: бык и телка действительно одного происхождения, но это совсем не то же самое. Бык — это все-таки не телка...

Но возвратимся к моему товарищу Бене.

2

Беня был славный малый: белолицый, толстенный, веснушчатый, с рыжими колючими волосами, с пухлыми щечками, редкими зубами и красными рыбьими глазами навывкате. Эти выпученные глазки всегда плутовски усмехались. К тому же у Бени был вздернутый нос, и вся физиономия имела довольно нахальное выражение. Но мне она нравилась, и мы с Беней стали друзьями с первого же часа нашего знакомства.

Прежде всего познакомились под столом наши руки в то время, когда мы сидели с ребе над Пятикнижием. Когда мама привела меня в хедер, ребе, человек с густыми бровями и в остроконечной ермолке, читал ученикам главу «Бытие». Без лишних проволочек — сдавать экзамен не потребовалось, метрики представлять тоже — ребе сказал мне:

— Полежай вон на ту скамейку, между теми двумя мальчиками.

Я залез на скамейку, втиснулся между двумя мальчиками и считался принятым. Особых переговоров с ребе моей матери тоже вести не пришлось. Они обо всем условились еще до праздников.

— Помни же, учись как следует! — говорит мне мама уже подойдя к двери. Она еще раз оглядывается на меня со смешанным чувством удовлетворения, любви и жалости. Я прекрасно понимаю мамин взгляд: ей

доставляет радость, что я сижу среди детей порядочных родителей и учусь, но у нее болит сердце из-за того, что она должна со мной расстаться.

По правде сказать, мне было намного веселее, чем маме: я сижу среди стольких новых товарищей, они осматривают меня, я осматриваю их, мы осматриваем друг друга. Однако ребе не дает нам сидеть без дела. Он раскачивается и громко нараспев кричит, а мы за ним, во весь голос, один громче другого:

— Веанохош — и змей! Ойо — был! Орум — хитрее! Микол — всех! Хаес — зверей! Асоде — полевых! Ашер — которых! Осо — бог сотворил.

Когда мальчики сидят так близко друг к другу, хоть и раскачиваются и кричат, они не могут не познакомиться, не перекинуться хотя бы несколькими словами.

Беня, сын Меера Полкового, с которым я сидел бок о бок, прежде всего дает знать о себе, ущипнув меня за ногу. Мы с ним переглядываемся. Он начинает еще сильнее раскачиваться, читает нараспев Библию вместе со всеми и вставляет свои слова:

— Веоодом — Адам. Иода — познал. Возьми эти пуговицы... Эс Хаве — Еву. Иштой — свою жену. Дай мне рожок, а я тебе дам потянуть из моей папирсы!

Я чувствую в своей руке его теплую руку и несколько маленьких, гладких, скользких брючных пуговиц. Мне не нужны пуговицы, у меня нет рожков, и я не курю парирос. Но мне нравится разговаривать таким образом, и я отвечаю Бене тоже нараспев, раскачиваясь вместе со всеми:

— Ватаар —...и она зачала! Кто тебе сказал... Ватейлед — и она родила! — что у меня есть рожки?

Так переговариваемся мы до тех пор, пока ребе не почувал наконец, что, хотя я и раскачиваюсь весьма усердно, голова моя занята вовсе не Библией; и он ловит меня на удочку, устраивает мне нечто вроде экзамена.

— Скажи-ка, ты! Послушай, как тебя там зовут? Ты, конечно, знаешь, чьим сыном был Каин и как звали брата Каина?

Эти неожиданные вопросы кажутся мне такими дикими, точно меня вдруг спросили, когда на небе ярмарка или как сделать из снега сырок, чтобы он не растаял. Ведь мысли мои заняты бог знает чем — пуговицами под столом.

— Что ты смотришь на меня так? — спрашивает ребе. — Разве ты не слышишь, что тебе говорят? Скажи-ка мне скорее, как звали Адама, отца Каина, и кем приходился Каину его брат Авель, которого родила Ева?

Я вижу, мальчики ухмыляются, давятся от смеха, и не понимаю, что тут смешного.

— Глупышка, скажи, что ты не знаешь, потому что мы этого еще не проходили, — подсказывает Бенья, подталкивая меня локтем; я повторяю за ним, как попугай, слово в слово, а хедер сотрясается от смеха.

«Что они смеются?» — недоумеваю я, глядя, как покатываются со смеху не только мальчики, но и ребе, а сам в это время перекидываю под столом пуговицы из одной руки в другую: ровно полдюжины.

— Ну-ка, паренек, покажи нам свои руки! Что ты там делаешь? — говорит ребе и заглядывает ко мне под стол...

Вы умные дети и, наверно, понимаете сами, какую взбучку получил я от ребе в первый же день учения.

3

Следы от розог проходят, позор забывается. Мы с Бенией скоро стали добрыми друзьями, своими в доску, водой не разольешь. Вот как было дело.

Когда я на следующий день с Пятикнижием в одной руке и с завтраком в другой пришел в хедер, я застал моих новых товарищей веселыми, возбужденными, будто они выпили. В чем дело? Оказывается, нам повезло — ребе нет. Где же он? Ушел куда-то на обрезание вместе с женой. Только не подумайте, упаси бог, что действительно вместе, — ребе никогда не ходит вместе с женой: впереди идет ребе, а за ним идет жена.

— Спросим! — сказал мальчик с синим носом, по имени Йошуе-Гершл.

— На что? — спросил Копл-Бунем, мальчик с дыркой в рукаве, из которой выглядывал черный локоть.

— На четверть фунта рожков.

— Ладно, давай на четверть фунта рожков. Значит, что ты говоришь?

— Я говорю, что больше двадцати пяти он не выдержит.

— А я говорю — тридцать шесть.

— Тридцать шесть? А вот посмотрим! Ребята, налетай!

Услыхав эту команду синеносого Йошуге-Гершла, несколько мальчишек вмиг схватили меня и положили на скамейку лицом вверх. Двое сели мне на ноги, двое на руки, один держал меня за голову, чтобы я ею не вертел, а еще один приставил к моему носу сложенные баранкой два пальца левой руки (видно, он был левшой); прищулив один глаз и приоткрыв рот, он начал щелкать меня по носу. Но как щелкать! При каждом щелчке мне казалось, что я вот-вот отправлюсь на тот свет, к моему отцу. Разбойники! Злодеи! Что им нужно было от моего носа? Чем он им не угодил? Кому он мешал? Что они на нем увидели? Нос как нос!

— Слушайте, ребята! — командовал Йошуге-Гершл. — И... раз! И... два! И... три!

Но вдруг...

С тех пор как свет стоит, все чудеса совершаются вдруг. Например, случится, помилуй бог, несчастье с человеком — нападут на него в поле разбойники, свяжут ему руки, наточат нож и велят ему произнести предсмертную молитву. Но в то самое мгновение, когда они соберутся сделать «чик!», принесет вдруг станového с колокольчиками, разбойники разбегутся, человек будет спасен; воздев руки к небу, он возблагодарит создателя за избавление.

Со мной и с моим носом случилось точно так же. Не помню, после пятого или после шестого щелчка открылась дверь и вошел Беня, сын Меера Полкового. Ребята меня тут же отпустили и притворились невинными агнцами. А Беня начал расправляться с каждым в отдельности: хорошенько драл за уши, приговаривая:

— Ну? Теперь будешь знать, как обижать сына вдовы?

С тех пор ребята больше не посягали ни на меня, ни на мой нос; они боялись связываться с сыном вдовы, другом, избавителем и защитником которого был Беня, сын Меера Полкового.

«Сын вдовы» — иначе меня в хедере не называли. Почему же «сын вдовы»? А потому, что моя мама была вдовой, билась как рыба об лед, держала бакалейную лавку, где продавались, насколько я помню, главным образом мел и рожки — два товара, на которые у нас в Касриловке всегда большой спрос: мел нужен для того, чтобы белить хаты, а рожки — хорошее лакомство: и сладко, и легко на вес, и дешево. Мальчишки из хедера тратят на рожки все деньги, которые им дают на завтраки и обеды, а лавочники на рожках здорово зарабатывают. Я никак не мог понять, почему мама вечно жаловалась, говорила, что ей еле-еле хватает на плату за лавку и за мое обучение. Почему именно за обучение? А все остальное, что необходимо человеку: еда, платье, обувь и тому подобное? Мамины мысли целиком поглощала плата за обучение. «Если бог меня наказал, — говорила она, — и отнял у меня мужа, такого мужа, и оставил меня в молодые годы вдовой, одну-одинешеньку, так я хочу, чтоб хоть мой сын был ученым!» Ну, что тут скажешь? Вы полагаете, может быть, будто она не ходила то и дело в хедер справляться, как я учусь? О молитвах и говорить нечего — тут уж она сама следила, молюсь ли я каждый день. Мама все хотела, чтобы я стал хоть наполовину таким, каким был мой отец, царство ему небесное. И каждый раз, хорошенько всматриваясь в меня, она говорила, что я, долгие годы мне, вылитый «он». При этом глаза у нее увлажнялись и странно озабоченным становилось ее грустное лицо.

Пусть простит меня мой отец на том свете. Я никак не мог понять, что он был за человек. По маминым рассказам, он всегда или читал священные книги, или молился. Неужели его никогда не тянуло на волю в летнее утро, когда солнце еще не особенно печет, когда оно только появляется в огромном небе и движется быстро, быстро, словно в огненной карете, запряженной огненными лошадьми, несется огненный ангел, в светлое, горящее, золотое лицо которого больно смотреть. Что за радость, спрашиваю я вас, может доставить в такое божественное утро обыкновенная молитва? Что за радость сидеть в тесном неуютном хедере, когда печет золотое солнце, накаляя землю, как железную ско-

вороду? Вас тянет туда, под гору, к реке, к великолепной реке, сплошь покрытой зеленью. Уже издали несет от нее запахом банного пара, и вас подмывает раздеться поскорее и погрузиться по пояс в нагретую воду, прохладную только внизу, у самого дна, скользкого и вязкого; разные твари, которые копошатся в речной глубине, полурыбки-полулягушки, мелькают, мелькают без конца перед глазами, а диковинные мухи и комары с длинными лапками скользят, как будто на санках, по поверхности воды; и вам хочется переплыть на другую сторону, где растут широкие, круглые зеленые листья, сквозь которые сверкают белые и желтые лилии, и смотрит на вас молодая зеленая верба с нежными свежими веточками, и вы бросаетесь в воду, и попадаете руками в грязь, и бьете, бьете ногами по воде — пусть думают, что вы плаваете. Что за радость, снова спрошу я вас, сидеть дома или в хедере в летний вечер, когда по ту сторону города большой красный небесный шар спускается к земле, зажигает церковный купол, освещает красную черепичную крышу бани и большие окна старой холодной синагоги. И оттуда, из-за города, движется стадо, бегут козы, блеют овцы, столб пыли достигает неба, и лягушки квакают, заливаются, все кричит, трещит, верещит, — тарарам, настоящая ярмарка! Кто сейчас может думать о молитве? Кому пойдет в голову учение? Однако подите поговорите с моей мамой: мама вам скажет, что он, мир праху его, не так поступал; он, мир праху его, был совсем другим человеком. Каким он был человеком, да простится мне, я не знаю, я знаю только, что мама меня в покое не оставляет, без конца напоминая, что у меня был отец, и попрекая десять раз на день платой за обучение, которую она вносит, и требует она от меня только двух вещей: хорошо учиться и от всего сердца молиться.

5

Нельзя сказать, чтобы «сын вдовы» плохо учился. Он ни на волос не отставал от своих товарищей. Но что касается молитвы, тут я не ручаюсь. Все мальчишки одинаковы, и «сын вдовы» был таким же сорванцом, как все, так же, как и все, любил всякие проделки, так же, как и все, любил поозорничать: на-

деть на рога общинному козлу ермолку из мочалы, которой жена меламеда мазала пол, и пустить его по городу; нацепить кошке на хвост бумажного змея, чтобы она как бешеная понеслась по улицам, опрокидывая все горшки на своем пути; повесить в пятницу вечером замок на дверь женской молельни, чтобы женщины падали в обморок и их надо было приводить в чувство; приколотить гвоздями к полу шлепанцы ребе или, когда он спит, прилепить ему бороду к столу сургучом, пусть-ка попробует встать! Сколько розог получали мы потом, когда ребе обнаруживал виновника, и не спрашивайте! Само собой разумеется, что в каждом деле необходим зачинщик, вожак, командир.

Зачинщиком всех наших шалостей, нашим вожаком, нашим командиром был Беня Меера Полкового. Все затевал он, а в ответе всегда оказывались мы; Беня, пухленький, рыжий Беня с глазами навывкате, постоянно выходил сухим из воды, чистым, как слеза, кротким голубем, который ни сном ни духом не виноват. Мы перенимали от Бени все его гримасы, ужимки, во всем подражали ему. Кто научил нас курить тайком папиросы, пуская дым из обеих ноздрей? Беня. Кто водил нас зимой кататься на льду с деревенскими мальчишками? Беня. Кто научил нас играть в пуговки, в узелки, в орла и решку, проигрывая завтраки и обеды? Беня. В играх Беня был очень ловок, обыгрывал всех, обставлял каждого, у кого только заводился грош. А когда дело доходило до расплаты за проделки — он умывал руки, становился тише воды, ниже травы. Игры были нам милее всего на свете, и за игры нам больше всего доставалось от ребе; он говорил, что должен вырвать с корнем нашу страсть к играм.

— Вы у меня доиграетесь! С сатаной будете вы у меня играть! — говорил ребе, вытряхивая содержимое наших карманов; он отнимал все, что находил, и взамен щедро одарял нас розгами.

Но была такая неделя в году, когда разрешалось играть. Да что там — разрешалось! Игра считалась святым делом, ну прямо-таки святым делом!

Это была неделя праздника хануки, а играли мы в «юлу».

Наверно, нынешние азартные игры — такие, как очко, стукалка, трик-трак, штос и тому подобные, похитрее, чем наша тогдашняя юла. Однако, когда играют на деньги, разница не так уж велика. Я видел своими глазами, как двое парней сидели и бились головами об стенку, а когда я их спросил: «Что вы делаете? Вы дураки или сумасшедшие?» — они мне ответили, чтобы я убирался подобра-поздорову, потому что они играют на деньги — кто скорее устанет. Вот и толкуйте после этого!

Игра в юлу — горячая, необыкновенно азартная игра. Можно дойти невесть до чего, можно душу проиграть! И не так волнуют вас деньги, как досада берет: почему выигрываете не вы, а другой? Почему у другого юла падает на «В», а у вас на «Н», на «П» или на «С»? Вы, наверно, знаете, что обозначают четыре буквы юлы: «Н» — нет, «В» — выигрыш, «П» — половина, «С» — скверно. Юла вроде лотереи — кому улыбнется счастье, тот и выиграет. Возьмите, к примеру, Беню, сына Меера Полкового: сколько раз ни запустит он свою юлу, всегда она падает на «В».

— Просто чудеса! — говорят мальчишки и снова ставят монету, а Беня ставит против всех. Ему это не трудно! Он сын богача! И снова у него «В».

— Удивительное дело! — кричат мальчишки, берутся за кошельки и снова ставят деньги, и Беня снова ставит против всех и лихо пускает юлу головкой вверх. Юла сначала пройдет гоголем, потом завертится, попом покачается немного взад-вперед, точно пьяница, и упадет.

— «Вэ», — говорит Беня.

— «Вэ»? «Вэ»? Опять «Вэ»? Вот так да! — кричат ребята и, почесываясь, снова берутся за кошельки.

Чем дальше, тем игра становится жарче. Игроки горячатся, ставят деньги, теснятся к столу, ругаются, толкаются, угощают один другого разными прозвищами: «Сопляк!», «Шепелявый!», «Черный кот!», «Мятая ермолка!», «Рванный кафтан!». Отпуская друг другу подобные комплименты, они не замечают даже, что неподалеку стоит ребе в телогрейке и в ватной шапке поверх ермолки, с талесом и филактериями под мышкой. Он собирается в синагогу, но, увидев, в каком мы азарте,

останавливается посмотреть нашу игру. Ребе не вмешивается. Сейчас ханука. Мы свободны целых восемь дней и можем играть в юлу, сколько нам заблагорассудится. Лишь бы мы не дрались и не ссорились. Вовсе не такой уж плохой человек этот ребе, честное слово! Жена его берет на руки маленького, болезненного Рувеле, затыкает ему ротик грудью, чтобы он не кричал, становится у ребе за спиной и смотрит, смотрит, как мальчики ставят деньги, и Беня ставит против всех; Беня весь дрожит, Беня горит, Беня пылает; юла у него вертится, качается и падает.

— Снова «Вэ»? Ну и комедия!

Беня показывает нам свою ловкость и мастерство, поражает нас своими великолепными фокусами до тех пор, пока, простите, не очистит все кошельки, не отнимет у нас все до последней копейки. Потом он кладет руки в карманы, всем своим видом как бы говоря: «Ну, кто еще желает?» — и мы расходимся по домам, унося с собой в сердце боль и стыд, а дома нам еще придется измышлять всякие небылицы: тот придумывает одно, этот — другое. Один сочиняет, будто все свои ханукальные деньги проел на лакомства, истратил на рожки; другой клянется, что деньги у него украли из кармана еще накануне; третий приходит домой в слезах. «В чем дело, что ты плачешь?» Как же ему не плакать, он купил на ханукальные деньги ножик. «Ну, и чего ж тут плакать?» Как же не плакать, он по пути потерял его!

Я тоже выдумываю целую историю, рассказываю маме сказку из «Тысячи и одной ночи» и выпрашиваю у нее еще раз ханукальные деньги, один алтын и две копейки, иду с ними к Бене, освобождаюсь от них в пять минут и сочиняю для мамы новую ложь. Словом, фантазия работает, и небылицы, небылицы летят одна за другой, и все наши ханукальные деньги уходят на юлу, уходят к Бене в карман и пропадают навсегда.

А один из нас так увлекся юлой, что не ограничился ханукальными деньгами, и все играл и играл с Бенею в юлу почти каждый день до конца хануки.

И этим одним был я — «сын вдовы».

Где брал «сын вдовы» деньги на игру, лучше не спрашивайте. Величайшие игроки мира, которые выигрывали и проигрывали целые состояния, — те знают, те поймут! Увы! Когда появляется искушение играть, нет ничего на свете, что могло бы противостоять ему, оно испепеляет дома, пробивает каменные стены — проделывает непостижимое; шутка ли: такое искушение!

Прежде всего, я все стал разменивать на деньги, то есть продал все, что имел, одну вещь за другой — сначала ножик, потом кошелечек, потом пуговицы и коробочку, которая открывалась и закрывалась, и несколько колесиков, — хорошо почищенные, они ослепительно блестели, прямо как золото, — на все махнул рукой, все уступил за полцены и каждый раз бежал с новыми деньгами к Бене домой, проигрывал ему все до последнего гроша и уходил от него грустный, с поникшей головой, с истерзанным сердцем, с мучительной досадой и раздражением. Нет, на Беню я не обижался, упаси бог! За что мне сердиться на Беню? Разве Беня виноват, что ему везет в игре? Он говорил, что, если бы юла падала на «В» у меня, я бы выиграл, падает каждый раз на «В» у него — выигрывает он. Так говорил Беня и был, конечно, прав... Нет, меня разбирает досада на себя самого: как это я растратил столько денег, мамины трудовые гроши, пустил по ветру все, что имел, остался гол как сокол. Даже молитвенник я продал. Ох, молитвенник, молитвенник! Когда я вспоминаю о маленьком молитвеннике, у меня сжимается сердце и лицо горит от стыда. Это была игрушка, а не молитвенник. Мама купила мне его у книгоноши Песахьи как раз к годовщине смерти отца. Молитвенник был всем молитвенникам молитвенник! Не молитвенник, а всезнайчик, настоящий всезнайчик! Толстенький, убористый... Чего в нем только не было, разве лишь птичьего молока: там было все, что можно пожелать, все, что можно произнести: «Песнь Песней», «Поучения отцов» и «Сказание о пасхе», все молитвы, все законы, все обычаи, а в конце — псалмы. А переплет с золотым тиснением! А обрез, а корешок! Просто искушение, говорю я вам, дьявол, а не молитвенник! Каждый раз, когда Песахья с бельмом на глазу и с коротко подстриженными усами, от которых его озабоченное лицо каза-

лось улыбающимся, каждый раз, когда Песахья раскладывал свой товар у дверей синагоги, я не спускал глаз с молитвенника.

— Что скажешь, мальчик? — спрашивал меня Песахья, как будто он не знал, что мне приглянулся молитвенничек, что я уже раз двадцать щупал его и спрашивал, сколько он стоит.

— Ничего, — отвечал я, — просто так... — И уходил, чтобы не видеть перед собой моего дьявола-искусителя.

— Ой, мама, если бы ты видела, какой у Песахьи всезнайчик!

— Что за всезнайчик? — спрашивает меня мама.

— Молитвенничек такой! Если б у меня был такой молитвенник, я... я... ну, просто не знаю что...

— Разве у тебя нет молитвенника? А где отцовский молитвенник?

— Что ты сравниваешь, мама? Тот — молитвенник, а этот — всезнайчик.

— Всезнайчик? — удивляется мама. — Разве в твоём всезнайчике больше молитв или молиться по нему слаще?

Поди объясни маме, что такое всезнайчик, всезнайчик реб Песахьи в красном переплете, с синим обрезаем и с зеленым корешком!

— Пойдем, — говорит мне мама однажды вечером и берет меня за руку, — пойдем со мной в синагогу. Завтра годовщина смерти отца, мы поставим свечи и заодно увидим Песахью, посмотрим, что у него за всезнайчик такой.

Я понимаю, что в годовщину папиной смерти я добыюсь у мамы всего, даже, как говорят, луны с неба, и сердце у меня стучит от радости.

Мы приходим в синагогу, но Песахья еще не выложил своего товара из мешка. Песахья, понимаете ли, не любит спешить. Он хорошо знает, что здесь у него нет конкурентов, что он свое возьмет. Пока он развязывает мешок и достает товар, проходит год. Я дрожу, я трепещу, я еле держусь на ногах, а он и в ус не дует, как будто это его не касается.

— Покажите, — говорит ему мама, — что это у вас там за молитвенник?

Но Песахье некуда спешить. Над ним не каплет. Потихоньку, не торопясь, развязывает он мешок и выкладывает весь свой магазин: большие и маленькие

Библии, мужские и женские молитвенники, псалмы, своды религиозных законов...

Мне кажется, что это никогда не кончится — неисчерпаемый источник, бездонный колодец! Но вот наконец извлечены и маленькие книжки, и среди них сверкнул всезнайчик.

— Это все? — удивляется мама. — Такой малюсенький?

— Малюсенький, — говорит Песахья, — а стоит дороже большусенького.

— Сколько же вы хотите за эту козявочку, да не накажет меня бог за такие слова?

— Молитвенник вы называете «козявочкой»? — говорит Песахья и потихоньку забирает у нее из рук всезнайчик, а у меня обрывается сердце.

— Ну, так скажите же, скажите, что он стоит! — просит мама. Но Песахье некуда спешить, и он отвечает нараспев:

— Что стоит молитвенник? Ох, и стоит, и стоит... Боюсь, он вам не по карману.

Мама проклинает врагов своих, сулит им все двадцать два несчастья и велит Песахье сказать цену.

Тот называет цену, и мама не отвечает ему, она направляется к двери и говорит мне:

— Пойдем, нам здесь нечего делать. Разве ты не знаешь, что реб Песахья любит запрашивать?

С горечью в сердце следую я за мамой, но во мне еще теплится надежда: может быть, бог смилуется надо мной и Песахья возвратит нас. Но Песахья не такой человек. Он знает, что мы и сами вернемся, и он прав: мы действительно возвращаемся. Мама просит его назвать человеческую цену. Но Песахья не трогается с места, он смотрит в потолок, белое бельмо на его глазу блестит, мы снова уходим и снова возвращаемся.

— Нехороший человек этот Песахья! — говорила мне потом мама. — Ни за что бы не купила у него молитвенник! Шутка ли, какая цена! Жаль, честное слово, эти деньгигодились бы на плату за учение. Ну ладно, ничего. Завтра годовщина смерти отца. Ты будешь читать поминальную молитву, и я хотела доставить тебе удовольствие. Но ты тоже утешь меня, сынок, и обещай, что хоть молиться будешь честно каждый день.

Так ли усердно молился я, как обещал, или нет — об этом мы говорить не будем. Но молитвенничек я лю-

бил всей душой. Представьте себе, я даже спал с ним, хотя, как вы знаете, это запрещено. Весь хедер завидовал мне, и я берег свое сокровище как зеницу ока. А теперь, в эту хануку, я сам, горе мне, собственными руками отнес молитвенничек сыну столяра Мойше, который давно зарился на него, и мальчишку пришлось еще упрашивать... Почти даром отдал я свой маленький молитвенник! Ох, молитвенник, молитвенник! Стоит мне только вспомнить о нем, у меня сжимается сердце и лицо горит от стыда: сбыл, продал, и для чего, для кого? Для Бени. Чтобы Бенья мог выиграть у меня еще несколько копеек. Но разве Бенья виноват, что ему так везет в игре?

— На то и юла,— утешает меня Бенья и кладет себе в карман последние мои гроши.— Если бы тебе везло, как везет мне, ты бы выиграл. Везет мне — выигрываю я.

Щечки у Бени горят, в комнате светло и тепло, на столе стоит заправленная хорошим маслом серебряная ханукальная лампада с красивой свечой, в доме у Бени всего вдоволь, из кухни доносится запах свежего, только что растопленного гусяного сала.

— У нас сегодня пекут оладьи,— сообщает мне Бенья радостную весть, когда я уже стою у дверей и у меня от голода подводит живот.

И я бегу в своем рваном тулупчике домой и застаю там маму, которая только что пришла из лавки и греется у печки. Нос у нее красный, руки тоже красные и опухшие, она продрогла насквозь. Мама видит меня, и лицо ее сияет.

— Из синагоги?

— Из синагоги,— лгу я ей.

— Читал вечернюю молитву?

— Читал вечернюю молитву,— лгу я снова.

— Согреешься, сынок, и благословишь ханукальные свечи. Сегодня последний день хануки.

Если бы у человека были одни только неприятности, ни капли радости, ни крупинцы счастья, он бы определенно не смог этого вынести и покончил бы с собой. Я имею в виду мою маму, бедную вдову, которая маялась день и ночь, недоедала, недосыпала,

и только из-за меня, только для меня. Разве она не заслуживала хоть немного радости? Но каждый человек понимает слово «радость» по-своему.

Моей маме ничто на свете не могло доставить бóльшую радость, чем когда в субботу и в праздники я произносил для нее молитву над едой, освящал для нее пасхальную трапезу, а в хануку благословлял для нее ханукальные свечи. Над чем молитва — над вином или над пивом; какая трапеза — гусиные шейки или просто кусочек мацы с водой; какие ханукальные свечи — в серебряной лампаде или воткнутые в разрезанную картофелину, — честное слово, дело не в вине, не в гусиных шейках и не в серебре, суть совсем в другом: суть в том, как произносится молитва над едой, как справляется трапеза, как благословляют ханукальные свечи. Впрочем, к чему слова, что тут долго толковать, — достаточно, когда я совершаю благословение, понаблюдать за лицом моей матери: все оно озаряется улыбкой, сияет, светится. Это и есть настоящая радость, подлинное счастье. Я наклоняюсь над разрезанной картофелиной и нараспев произношу благословение; я читаю, а моя мама тем же напевом тихо повторяет за мной слово за словом. Я читаю, а мама смотрит на меня и шевелит губами, и я знаю, о чем она в это время думает. «Совсем он! — думает мама. — Как две капли воды, долгие годы ему!» И я чувствую, что меня следовало бы разрезать на куски, словно эту картофелину. Как я мог обмануть маму, и так некрасиво обмануть! Продал маленький молитвенник и деньги проиграл в юлу! Продал, продал, все продал!

Фитили в картофелинах, мои ханукальные свечи, чадят; чадят до тех пор, пока совсем не гаснут. И мама говорит мне:

— Иди умойся, будем есть картофель с салом. В честь хануки я купила стаканчик гусиного жира, свежего, вкусного!

Охотно иду умываться, и мы садимся за стол.

— У людей в последний день хануки пекут оладьи, — говорит мама со вздохом, и я вспоминаю Бенины оладьи и Бенину юлу, которая обошлась мне в целое состояние, и чувствую, как меня, словно иголкой, кольнуло в сердце. И больше всего болит у меня душа и сильнее всего грызет раскаяние из-за молитвенничка.

Даже ночью не оставляют меня тяжелые мысли. Я слышу, как мама вздыхает, как она хрустит паль-

цами; я слышу, как скрипит под ней кровать, и мне кажется, что кровать ее не скрипит, а стонет. А на дворе завывает ветер, он стучит в окно, рвет крышу, свистит в трубе, я слышу его длинное, протяжное вью-ю-ю-ю! А сверчок, который завелся у нас с некоторого времени, стрекочет в щели: чири-ри, чири-ри! А мама все вздыхает, стонет и хрустит пальцами. Каждый ее вздох, каждый стон отдаются в моем сердце. Я еле сдерживаюсь. Вот-вот я спрыгну с постели, подойду к маме, припаду к ее ногам, буду целовать ей руки и покаюсь во всех моих великих грехах. Но я не делаю этого; я укрываюсь с головой всеми мамиными юбками, чтобы не слышать, как мама вздыхает и стонет и как скрипит ее кровать, глаза у меня слипаются, а ветер дует и свистит: вью-ю-ю-ю... а сверчок все трещит: чири-ри, чири-ри, чири-ри! Перед моими глазами вертится, как юла, какой-то человек, как будто знакомый; да ведь это ребе! Я мог бы поклясться, что передо мной ребе в остроконечной ермолке с Пятикнижием в руках. Он вертится, вертится, вертится, как юла. Его остроконечная ермолка мелькает перед глазами, а пейсы развеваются по воздуху. Нет, это не ребе, это юла! Диковинная юла, живая, в остроконечной ермолке и с пейсами. Понемногу, понемногу ребеобразная юла или юлообразный ребе перестает вертеться, и на этом месте вырастает фараон, царь египетский, о котором мы читали за неделю до хануки; фараон, царь египетский, стоит передо мной голый, совсем голый — он только что вышел из реки — и в руках у него мой молитвенник, мой маленький всезнайчик. Я не могу понять, как он попал к нему, к этому злодею, который купался в еврейской крови... И я вижу семь коров*, тощих, изможденных, кожа да кости, с большими рогами и длинными ушами, все они бросаются ко мне, одна за другой, открывают рты и хотят меня проглотить. Откуда ни возьмись появляется Беня, мой товарищ Беня, хватается за длинные уши и начинает крутить их, и кто-то тихо плачет и вздыхает, стонет и всхлипывает, свистит и стрекочет, и кто-то стоит возле меня и тихо спрашивает:

— Скажи-ка, сынок, когда годовщина моей смерти? Когда ты будешь читать по мне «кадиш»?

Я понимаю, что это мой отец пришел с того света, мой отец, о котором мама рассказывала мне столько хорошего. Я хочу ему сказать, когда годовщина его

смерти, когда я буду читать по нему «кадиш», но я забыл. Именно теперь забыл! Я мучаюсь, тру себе лоб, хочу вспомнить, но не могу. Слышали вы такое? Я забыл, когда годовщина смерти моего отца. Помогите, люди добрые! Не знаете ли, не знаете ли вы, когда годовщина смерти моего отца? Что же вы не отвечаете? Помогите! Помогите! Помогите!

— Бог с тобой? Что ты кричишь? Что случилось? Что у тебя болит?

Вы, конечно, понимаете, это говорит моя мама. Она стоит надо мной, шупает мой лоб, и я чувствую, как она вся дрожит. Наполовину прикрученная лампа не светит, а чадит, и тень моей матери причудливо пляшет на стене, а концы маминого ночного платка торчат, словно два рога, а глаза ее блестят в темноте.

— Что ты! Ведь годовщина была совсем недавно! Тебе что-нибудь приснилось? Сплюнь три раза: тьфу, тьфу, тьфу! Да минет нас беда! Аминь, аминь, аминь!..

Дети, я вырос, стал большим. Беня тоже вырос и стал большим, мужчиной с рыжей бородкой. Он отрос-тил себе животик, а на животике носит золотую цепочку. Видно, Беня — богач. Когда-то был сынком богача, а теперь сам богач.

Мы встретились в поезде. Я его узнал по рыбьим глазам навывкате и по редким зубам. Мы не виделись столько времени! Мы бросились целоваться, а потом разговорились о давно прошедших, милых сердцу, сладостных детских годах, припоминая каждую мелочь.

— Помнишь, Беня, ту хануку, когда тебе так везло в игре? Все время юла падала у тебя на «Вэ»!

Я смотрю на Беню, он даже посинел от смеха. Так и покатывается, держится за бока, прямо умирает.

— Бог с тобой, Беня! Что это на тебя вдруг смех напал?

— Ох,— машет Беня руками,— отстань от меня со своей юлой. Да уж это была юла и впрямь юла! Запеканка из одного только сала, компот из одного изюма! С такой юлой трудно проиграть. Как бы она ни падала, она все равно — ха-ха-ха! — покажет «выигрыш».

— Что же это была за юла такая, Беня?

— Это была — ха-ха-ха! — юла из одних,— ха-ха-ха! — сплошь из «Вэ», ха-ха-ха!..

ШАЛАШ — ЛУЧШЕ НЕ НАДО!

1

Бывают люди, которые ничему не учились, а все умеют, нигде не бывали, а все знают, ни над чем особенно не задумывались, а все понимают.

«Золотые руки» — так аттестуют обычно этих счастливых, и все чувствуют к ним почтение, завидуют и удивляются им.

Вот такой человек жил в Касриловке, и звали его у нас «Мойше — лучше не надо»!

А прозвали его «Мойше — лучше не надо» потому, что обо всем, что бы он ни увидел, ни услышал или же сам сделал, он любил приговаривать: «Лучше не надо!»

— Ну и кантор у нас в синагоге, лучше не надо!

— Индюка вон на пасху понесли, лучше не надо!

— Завтра будет мороз, лучше не надо!

— Вот так оплеухи сыпались в синагоге, лучше не надо!

— Ой, люди, и бедняк же я, лучше не надо!

И так по любому поводу.

И был этот Мойше... Уже и не знаю, кем он был. Он был, конечно, евреем, но чем он жил, трудно сказать. Он жил так, как живут тысячи, десятки тысяч людей в Касриловке. Вертелся около помещика, то есть не около самого помещика, а около панов, которые при помещике, и не около самих панов, а около евреев, которые крутятся около панов, которые при помещике. Зарабатывал ли он что-нибудь на этом — другой вопрос. Мойше был человеком, который не любил хвастать своими удачами и плакать от своих неудач. Всегда веселый, с румяными щеками, с одним усом несколько длиннее другого, с добрыми улыбающимися глазами и в шапке набекрень, он вечно был занят и всегда, в любое время был готов пройти хоть десять миль пешком ради первого встречного.

Таким вот человеком был наш «Мойше — лучше не надо»!

Нет такой вещи на свете, которую «Мойше — лучше не надо» не сумел бы смастерить: дом так дом, часы так часы, машину так машину, лампу, юлу, кран, зеркало, ведро, клетку — Мойше на все горазд.

Правда, никто бы не мог указать на какой-нибудь дом, машину или часы, которые были бы делом его рук, но это не мешало касриловцам верить, что Мойше все может. Дай ему только инструменты, и он весь мир перевернет. Но инструментов у него не было, к несчастью! А может быть, к счастью, так как только благодаря этому не перевернулся мир, — остался в целости и сохранности.

Приходится удивляться, как Мойше смог уцелеть в Касриловке, как его там не разорвали на части. Замок испортился — к кому обращались? К Мойше. Часы остановились — к Мойше. Кран в самоваре не действует и вода не идет — к Мойше. Тараканы завелись в доме или другие какие-нибудь паразиты, у кого спрашивают совета — у Мойше. Хорек повадился во двор и каждую ночь душит кур, кто может пособить в беде? Мойше. Мойше, да Мойше, и опять-таки Мойше!

Правда, сломанный замок так и оставался лежать сломанным на шкафу, часы приходилось относить к часовщику, а самовар — к меднику, тараканы и другие паразиты, видно, не очень-то пугались Мойше, а хорек продолжал вести себя так, как положено хорьку... Но это несколько не умаляло славы «Мойше — лучше не надо». Все равно «золотые руки». Наверно, было в нем все-таки что-то такое, не сошел же весь мир с ума! И вот вам доказательство: ко мне ведь не обращаются по поводу испорченных замков, часов, самоваров, по поводу хорьков, тараканов и других паразитов. К вам тоже нет? Значит, не все люди одинаковы, талантов не так уж много.

С этим «Мойше — лучше не надо» мы стали соседями, в одной квартире жили, под одной крышей. Я говорю «стали», потому что прежде у нас был собственный дом. Но колесо вдруг повернулось в другую сторону, и наступили для нас плохие времена. Объявить себя несостоятельным отец не захотел, и вот мы продали наш домишко, расплатились с долгами и поселились у Гершки Мамциса (случилось это накануне Нового года) в облезлой, старой лачуге, без двора, без палисадничка.

— Ну и хата! — сказала мама, посмеиваясь, а в глазах у нее стояли слезы.

— Не гневи господ! — с потемневшим лицом заметил отец. — Довольствуйся тем, что есть.

Чем это нам следует довольствоваться, я не мог понять. Тем, что мы остались просто на улице? Но я предпочел бы остаться на улице, чем быть в жильцах у Гершки Мамциса, жить вместе с чужими мальчишками и чужими девочками, которых я не знаю и знать не хочу, с их рыжими волосами, с их влажными носами, с их тонкими ногами и вздутыми животами. При ходьбе эти мальчишки и девочки переваливаются, как уточки, весь день они что-то жуют, а когда вы едите, они смотрят вам прямо в рот... Я считал большой несправедливостью со стороны господ бога, что он отнял у нас наш дом. Мне не так жаль было квартиры, как шалаша, который у нас там был. Из года в год мы им пользовались, — собственный шалаш с поднимающимся и опускающимся крылом, с красивым потолком из зеленых и желтых палочек, образующих клеточки со щитом Давида в них. Правда, друзья старались нас утешить и говорили, что мы еще когда-нибудь обратно откупим наш дом или же, бог даст, построим себе новый дом, намного лучше, и больше, и красивей прежнего. Я знал цену этим словам. Это были слова утешения, которыми пытались успокоить меня, когда я разбил вдребезги, нечаянно конечно, мои жестяные часики. Мама отпустила мне тогда оплеуху, а отец утер мне слезы и пообещал купить другие часики, намного лучше, и больше, и красивей старых. Чем усерднее отец расхваливал часики, которые мне когда-нибудь купят, тем больше я оплакивал мои разбитые старые часики. Таясь от отца, мать втихомолку плакала по нашему

дому. А отец вздыхал, и лицо его было мрачно, и глубокие морщины прорезывали его высокий белый лоб.

Я считал большой несправедливостью со стороны господ бога, что он лишил нас дома...

— Ты подумал уже, дай тебе бог здоровья, как нам быть с шалашом?

С такими словами мать обратилась к отцу в один из десяти дней покаяния.

— Ты, наверно, хотела спросить, как нам быть без шалаша,— шутя поправил ее отец, но я видел, что ему не до шуток. Он отвернулся, чтобы скрыть свое лицо, которое было чернее тучи. А мать, глотая слезы, высморкалась в фартук. На них глядя, плакал и я. Вдруг отец с неожиданной живостью повернулся к нам.

— Пойдите, ведь сосед наш — Мойше!

— «Мойше — лучше не надо»,— поддержала его мать, и я не знал, шутит она или всерьез говорит. Видно, всерьез, потому что не прошло и получаса, как трое мужчин — отец, Мойше и сам хозяин наш, Гершка Мамцис,— завертелись вокруг дома, выбирая место для шалаша.

4

Дом Гершки Мамциса вообще-то вполне приличный дом. Один только недостаток у этого дома: ни намека на какой бы то ни было двор; дом стоит прямо на улице, будто его здесь потеряли; кто-то проходил по улице и случайно уронил его. Дом без двора, без сеней, без крыши, с дверью по другую сторону улочки, словно кафтан с разрезом впереди и с пуговицами позади. А попробуйте-ка потолкните с Гершкой, он вам голову забьет своим домом: как он судился за этот дом и как ему удалось отсудить этот дом, как у него хотели отобрать этот дом, как он боролся за этот дом и как этот дом остался его домом...

— Где вы собираетесь поставить шалаш, реб Мойше? — спрашивает отец, и «Мойше — лучше не надо» в сдвинутой на затылок шапке задумывается, словно великий архитектор, вынашивающий какой-нибудь грандиозный план. Он показывает обеими руками слева направо и справа налево, тщится объяснить, что если бы дом не стоял прямо на улице, а имел двор, можно было бы сэкономить две стены, и шалаш тогда был бы у него

готов в один день, да что там в один день, и часа не потребовалось бы. Но так как дом без двора, то придется поставить целых четыре стены, а поэтому времени потребуется больше, но зато и шалаш будет — лучше не надо! Главное — это достать материал.

— За материалом дело не станет, а есть ли у вас инструменты? — спрашивает Гершка.

— За инструментами дело не станет, а есть ли у вас доски?

— За материалом дело не станет. А есть ли у вас гвозди? — спрашивает Гершка.

— Достанем гвозди, а будет ли у вас зелень?

— Что-то вы мне сегодня слишком того... — говорит Гершка.

— Слишком чего? — спрашивает Мойше, глядя ему в глаза, и оба заливаются смехом.

5

Как только Гершка Мамцис притащил несколько досок и столбов, Мойше заявил, что шалаш будет — лучше не надо! Мне было любопытно, как Мойше умудрится из нескольких досок и колышков построить шалаш. Я попросил у матери разрешения присутствовать при его работе. Что касается самого Мойше, то добиться его согласия было проще всего. Он не только разрешил мне смотреть, как он работает, но и взял меня в помощники: моя задача состояла в том, чтобы по его просьбе подержать или подать что-нибудь.

Я, разумеется, был счастлив. Шутка ли, я помогаю ставить шалаш! А помогал я Мойше во всем: так же, как и он, шевелил губами, когда он стучал молотком, вместе с ним заходил в дом обедать, вместе с ним кричал на других ребят, чтобы они не мешали нам работать, подавал Мойше молоток, когда ему нужна была лопата, подавал клещи, когда он требовал гвоздь. Другой на его месте за такую помощь запустил бы молотком или клещами в голову. Но Мойше был душа-человек; никому еще не случалось видеть, как он злится.

— Злость, — говорил он, — все равно что идолопоклонство. Помогает нисколько не больше.

Меня так поглотила работа, что я и не заметил, каким чудом был у нас поставлен шалаш.

— Идем, посмотри, какой шалаш мы построили! — сказал я отцу и потащил его на улицу.

Отец полюбовался нашей работой и с улыбкой спросил Мойше, указывая на меня:

— Хорошего помощника я вам дал, реб Мойше?

— Лучше не надо! — ответил Мойше. Он сокрушенно посмотрел на верх шалаша: — Привез бы сейчас Гершка зелень, был бы у нас шалаш — лучше не надо!

Что касается зелени для шалаша, то Гершка Мамцис долго тянул, все откладывал со дня на день. И только в самый канун кущей привез он, с божьей помощью, тоненьких-претоненьких палочек, нечто вроде камыша, который растет у нас на том берегу реки в болоте, и мы начали крыть шалаш, то есть крыл его, собственно, Мойше, а я тем временем разгонял коз, которые набросились на нашу зелень, как на что-то путное. Не могу понять, что хорошего они нашли в этих горьких зеленых палках.

Поскольку дом Мамциса стоял прямо на улице, ничем не защищенный, от коз отбоя не было. Не успеешь одну прогнать, приходит другая, прогонишь другую, ага, первая снова тут.

Я гнал их палкой.

— Уходи, коза, вон! Снова ты здесь, глупая коза? Уходи, коза!

И откуда только они узнали, что у нас зелень? Видно, сообщали друг дружке, не иначе, потому что к нам со всего города сбежались козы, и мне одному пришлось с ними воевать.

Наконец вся зелень была уложена на крыше шалаша, и козы остались в дураках. Они стояли, глупо жуя жвачку и глядя своими глупыми глазами вверх.

— Ну-ка, попробуйте достаньте теперь зелень, глупые козы!

Они, видно, меня поняли и начали по одной расходиться, чтобы найти себе другое занятие, а мы принялись убирать шалаш внутри. Первым делом мы посыпали земляной пол желтым песком, потом мы завесили стены одеялами, принесенными всеми тремя соседями. Когда одеял не хватило, мы взялись за платки, а когда и платков оказалось недостаточно, пошли в ход скатерти и простыни. Покончив со стенами, мы внесли в шалаш столы и стулья, подсвечники со свечами, тарелки, ножи, ложки, вилки, и все три хозяйки помолились над свечами и благословили «Сидящего в куцах».

Моя мать, мир праху ее, любила поплакать. «Грозные дни» были ее любимым праздником, а с тех пор как мы потеряли свой дом, глаза ее не просыхали от слез. Отец, которому и самому приходилось несладко, не хотел этого терпеть, он все говорил матери, чтобы она побоялась бога, чтоб не грешила, а то как бы хуже не было, слава богу за то, что есть... Только здесь, в шалаше, когда, закрыв обеими руками лицо, она молилась над свечами, никто не мог помешать ей тайком от всех всласть поплакать. Но меня не обманешь: я прекрасно видел, как вздрагивают плечи у матери и как сквозь ее тонкие белые пальцы просачиваются слезы и капают на белоснежную скатерть. Я даже знал, отчего она плачет... Ее счастье, что отец в это время собирался в синагогу. Надев праздничный, хотя и поношенный, но все же шелковый кафтан и опоясавшись плетеным шелковым кушаком, он, заложив за кушак обе руки и тяжело вздохнув по случаю праздника, сказал мне:

— Пойдем, пора в синагогу.

Я взял молитвенник, и мы с отцом отправились в синагогу, а мать осталась дома, и я знал, что она будет делать: *она будет плакать*. Она наконец сможет поплакать досыта! И в самом деле, когда мы вернулись из синагоги и с праздничным приветствием вошли в шалаш и отец начал нараспев читать «кидеш», я присмотрелся к матери и увидел, что глаза у нее красные, припухшие, с подушечками. И нос у нее сильно блестел. И все же в моих глазах она была не менее хороша, чем праматерь Рахиль, или Авигаил, или царица Савская, или сама Эсфирь. Я смотрел на мать, и воображение рисовало мне всех еврейских красавиц, о которых я совсем еще ребенком слышал в хедере. Я смотрел на мою красивую маму, на ее красивое белоснежное лицо, которое, как солнышко, выглядывало из-под праздничного шелкового платка, на ее прекрасные, большие озабоченные глаза, и у меня сжималось сердце от того, что такие красивые глаза осуждены вечно плакать, что таким красивым бедным рукам приходится печь и стряпать, и досадовал на господ бога за то, что он не дает нам денег, и я просил бога осчастливить меня и открыть мне клад со множеством золота, алмазов и брильянтов,

или же пусть придет мессию, и пусть он нас отведет в страну отцов, а там ведь всем будет хорошо...

Так я думал, и мысли мои, и золотые мои грезы, которые я не обменял бы ни на какие блага, подняли меня на своих крыльях и унесли далеко-далеко. Мои уши ловили красивый напев отца и слова «кидеша»:

Потому что нас ты избрал
И нас ты выделил
Среди всех народов...

Шутка ли, народ, избранный богом! Это ведь нечто вроде единственного дитяти. У меня становится от-
радно на душе при мысли о счастливом, богом избран-
ном народе. И мне представляется, что я принц... Да, принц, а шалаш — это дворец, на нем почиет божья благодать. Во дворце сидит моя мать — красавица, царица Савская, и в нем мы завтра, бог даст, произнесем благословение над самым прекрасным из плодов, над цитрусом... Ах, кто сравнится со мной? Кто может сравниться со мной?!

7

Вслед за отцом читает «кидеш» «Мойше — лучше не надо». Но куда ему до моего отца, «кидеш» у него звучит совсем не так. После Мойше читает наш хозяин, Гершка Мамцис. Это уж совсем простой человек, и простой у него «кидеш». Потом мы все идем мыть руки, и каждая из трех хозяек вносит в шалаш горячую рыбу с перцем, свежую и ароматную, и каждая семья усаживается за свой стол. На столах хала, и множество рук макает мягкую халу в горячий рыбный соус. Все жуют. В щели между тонкими стенками шалаша и в редкую зелень крыши задувает ветерок, свечи оплывают, и все едят с аппетитом праздничный ужин. И мне представляется, что не в шалаше вовсе мы сидим — мы, избранные, единственные у бога, — а во дворце, в большом, светлом дворце, и едим в свое удовольствие. «Благо вам, евреи! — думаю я. — Кому еще так хорошо, как вам? Кому еще выпадает счастье сидеть в таком великолепном шалаше, увешанном самыми красивыми в мире одеялами, а на столе — праздничная хала и праздничная вкусная рыба, просто объедение, а если еще...»

Вдруг — трррах! Крыша целиком со всей зеленью обрушилась на наши головы, а за крышей — стена, а за стеной другая стена накрывается, и обе падают перед нами ниц, и какая-то коза летит сверху прямо на нас. Вокруг мрак, свечи погашены, столы опрокинуты, и мы все лежим в песке, вперемежку с халой, с посудой, и коза с нами. Светит луна, звезды смотрят на нас. Первой вскакивает на свои тонкие ножки коза, с минуту стоит, как грешная душа, и испуганно оглядывается своими глупыми глазами. И тут же самым наглым образом прыг по опрокинутым столам и стульям с громким «ме-е-е»! Свечи погашены, посуда разбита, наша хала в песке. Насмерть перепуганные женщины визжат, дети плачут — разор! Форменный разор!

— Ну и шалаш вы поставили, если одна коза могла развалить его, — говорит нам немного погодя Гершка Мамцис, да таким тоном, будто мы с него десять шкур содрали за работу. — Хорош шалаш!

— Вот так шалаш! — Мойше, не в силах постичь, откуда эта разруха, стоит с таким видом, будто его высекли. — Шалаш — лучше не надо!

— Да, шалаш — лучше не надо! — ядовито передразнивает его хозяин, и все в один голос повторяют:

— Лучше не надо!..

ПРЕДПАСХАЛЬНАЯ ЭМИГРАЦИЯ

1

Изгнание из рая

— Слава тебе господи, покончено с праздником пурим и можно уже начать, в добрый час, наводить в доме пасхальный порядок!

Так сказала мама через день после пурим, ни к кому не обращаясь, обводя глазами все уголки в зале и отыскивая место, подобно курице, собирающейся снести яйцо. Спустя несколько дней появилась охалка сена, пара колодок, а на колодках — новенький бочонок, накрытый грубым, но безупречно белым полотном. А меня подозвали вместе с отцом и наказали раз три-

дцать, чтобы я даже не смел не только близко подходить, но и смотреть издали на тот уголок. Сразу же после этого дверь зала была заперта, а нас обоих, меня и отца, мать попросила убраться отсюда в добрый и счастливый час и больше в зал не входить до самой пасхи.

С этой минуты зал обрел в моих глазах особую прелесть, и тянуло меня туда, как магнитом. Так хотелось хоть издали взглянуть на «тот уголок»! Я, бывало, останавливаюсь у дверей, жую в это время свой завтрак — кусок хлеба, намазанный жиром, и заглядываю в наш светлый, красивый зал с красным диваном из красного дерева, с овальным столом на трех лапах, с овальным зеркалом в резной раме и с великолепным «востоком» *, который папа, по его словам, сам нарисовал, когда он был еще женихом. Боже, чего только не было на этом «востоке»! Медведи, и львы, и дикие кошки, орлы и птицы, рожки, и семисвечники, и райские яблоки, и мисочки с шестиконечными звездами, и листочки, и пуговики, кружочки, и черточки, и бесконечное количество точек! Даже поверить было трудно, что человеческая рука в состоянии все это нарисовать, — этого и глазом не охватить! «Мастер мой папа! — думал я. — Удалец! Мастак!»

— Ах, чтоб тебя черт не взял! С хлебом у этих дверей, не сгореть бы тебе на огне!

Так говорит мама, берет меня двумя тонкими и острыми пальчиками правой руки за левое ухо и приводит к отцу:

— На, посмотри, полюбуйся на своего наследника! Держит в руке хлеб и смотрит туда, где стоит пасхальный борщ!

Отец делает серьезное лицо, качает головой, выпячивает губы и прищелкивает языком:

— Тц-тц-тц! Пошел, озорник этакий!

А когда мама отворачивается, я замечаю на папиных губах легкую скрытую усмешку. Но как только мама поворачивается лицом к нам, отец снова делает серьезное лицо. Он берет меня за руку, усаживает рядом с собой на стуле и велит мне туда не смотреть! Нельзя!

— Издали тоже?

Но отец уже не слышит. Он углубился в чтение книги. А я потихоньку подкрадываюсь к двери и сквозь щелочку заглядываю в зал: там полно всякого добра,

рай, да и только! Много новых горшков и макитр на полу, и секач, и доска для соления мяса, две связки луку висят на стенке и украшают зал,— уже пасхальный зал, пасхальный, пасхальный, пасхальный!

2

Из рук в руки

— Может быть, вы потрудитесь уйти отсюда с вашими книгами туда, в большую комнату?

Так говорит нам мама, одетая в белое, с косынкой на голове, с длинной палкой в одной руке и с гусиным крылом в другой. Она запрокидывает голову и смотрит на потолок.

— Сосл! Где ты там со щеткой? Ну, шевелись же, девка! Покажись!

И девушка Сосл, тоже повязанная белой тряпкой, показывается с мокрой кистью и ушатом белой глины. И обе они выглядят как живые покойницы в белых саванах. Сосл шлепает мокрой кистью по потолку туда и обратно: фляк-фляк! И обе они сердитые, злые, как пчелы.

Однако долго смотреть на эту замечательную комедию мне не дают. Сначала мне намекают, что мальчик не должен стоять, когда белят дом на пасху. Потом они обе говорят уже без особых церемоний:

— Слышь ты, может быть, ты бы убрался туда, в комнату?

При этом мать берет меня за руку и показывает на дверь, куда мне идти. Но мне не хочется уходить, я отступаю в сторону и встречаюсь с Сосл. Она меня отталкивает: «Везде он путается под ногами!»

— Иди ты к богу в рай, туда, к отцу! — говорит мама и швыряет меня к Сосл, а та подхватывает меня и бросает обратно к маме:

— В жизни своей не видала такого надоедливого мальчишку!

— И никакая пуля его не берет! — говорит мать и дает мне тумака сзади. А Сосл хватается за меня и смазывает известкой.

Я вваливаюсь к отцу в комнату и заливаюсь плачем.

Отец отрывается от Талмуда, успокаивает меня как может, сажает к себе на колени и снова углубляется в свои фолианты.

Из комнат — в чулан

— Извините, хозяин! Хозяйка сказала, чтобы вы, простите, перебрались отсюда в маленькую комнатку.

Так говорит отцу Сосл, появляясь со всеми своими причиндалами, вымазанная как черт, и мы переносим книги из большой комнаты в маленькую. Маленькая комната величиной с воробыный нос, в ней стоит только одна кровать. Там сплю я и, совестно сказать, наша прислуга Сосл. Сосл, понимаете ли, приходится нам родственницей и живет у нас уже много лет. Меня, говорит она, тогда еще на свете не было. Я вырос, говорит она, у нее на руках. Если бы не она, я, по ее словам, был бы уже бог знает где. Потому что, где ни хвороба, где ни напасть — все прилипало ко мне, и из всех бед она меня вытаскивала. «А теперь,— говорит она,— он платит мне камнями! Ну, не заслужил он добрых оплеух?» Так заканчивает Сосл, дает мне пару тумачков, да еще и за волосы дерет в придачу. И вот что удивительно: никто ей и слова не говорит, ни мать, ни отец за меня не заступаются. Все, что Сосл вздумается, она делает со мной, как если бы я был ее сын, а не их.

В маленькой комнатке я забираюсь в уголок, сажусь на пол и смотрю, как папа трет лоб, жует свою бороду, раскачивается, читает нараспев и заканчивает какой-то сложной трелью. Но тут приходит Сосл со своими инструментами и просит нас убраться отсюда куда-нибудь подальше.

— Куда еще? — спрашивает отец испуганным голосом.

— А я знаю? — говорит Сосл и останавливается с кистью посреди комнаты.

— В кладовую! В чулан! — говорит мама, входя с длинной палкой и новеньким крылом. Она выглядит, как неприятель, напавший на страну с оружием в руках.

— В чулане сейчас холодно, как в пустыне! — пытается убедить ее добрым словом отец.

— Лютый холод на него напал! — говорит мама.

— Замерзшие валяются на улицах! — поддерживает Сосл и начинает шлепать мокрой кистью по сухим стенам.

А мы, волей-неволей, вынуждены перебраться из маленькой комнаты в крохотную кладовку, и там нас обоих основательно пробирает холод. Нельзя сказать, чтобы отцу здесь было удобно сидеть и читать: это темное и узкое помещение, в котором двоим не разминуться. Зато для меня это сущий рай. Помилуйте, здесь есть полки, по которым можно лазить. Правда, отец не разрешает, он говорит, что можно убиться. Но кто его слушает? Только он углубился в свои книжищи, а я уже взобрался на первую полку, с первой — на вторую, а со второй — на третью.

— Кукареку! — прокричал я громко, желая показать папе свою ловкость, но поднял голову и так треснулся о потолок, что у меня чуть зубы изо рта не вылетели. Отец, конечно, испугался и поднял крик. Тогда прибежала Сосл, а следом за ней мама, и обе надавали мне сколько влезло.

— Чтоб у ребенка были такие ребячьи повадки! — толковала мать.

— Это ребенок? Черт, а не ребенок! — помогла Сосл и кстати сообщила, что нас сейчас попросят убраться отсюда в кухню, потому что дом уже почти наполовину убран к пасхе.

4

Из чулана — на кухню

В кухне я застал Мойше-Бера, того, что с огромными бровями. Он сидел с моим отцом на кухонной скамье. Они в эту минуту не сидели над книгами, а изливали друг перед другом наболевшую душу. Отец жаловался на предпасхальное изгнание, которому его подвергают вот уже несколько дней. «Скитание, эмиграция с одного места на другое!» Но Мойше-Бер говорит, что это чепуха, — ему хуже приходится.

— Меня, — говорит он, — моя благоверная и вовсе из дому выгнала.

Я смотрю на Мойше-Бера, на его огромные брови и никак не могу себе представить, чтобы его, такого крупного человека, с такими бровями, попросту взяли и прогнали. Постепенно они переходят к обычным своим разговорам и произносят какие-то странные слова: «Рамбам», «Кузари», «Философия», «Спиноза» и им подоб-

ные, которые меня интересуют, как прошлогодний снег.

Гораздо интереснее серая кошка, которая сидит на печке и умывается. Сосл говорит: когда кошка умывается — это к гостям. Я не понимаю: как может знать кошка, что будет гость? Подхожу к ней и начинаю с ней заигрывать. Сначала пробую прижимать пальцами ее лапку — она не желает. Потом я учу ее «служить», стоять на задних лапках, — тоже не хочет. «Стой! Служи!» — говорю я ей и щелкаю каждый раз по носику. Она закрывает глаза, отворачивает голову, высовывает язычок и делает такое лицо, будто говорит: «Чего ко мне пристал этот паренек? Что ему надо от меня?» Мне досадно: «Чтоб кошка была такая упрямая!» И мучаю я ее до тех пор, пока она не царапнет мне руку своими острыми коготками. Я издаю страшный визг: «Ой, мама!» Прибегают мама и Сосл, поднимают шум, и мне достается от обеих, чтобы в следующий раз неповадно было играть с кошками! (Всего-то одна кошка, а у них это — «кошки»!)

— Поди мой руки, — обращается мама к папе, — пойдем в погреб, покушаем...

Сосл хватает кочергу и начинает орудовать в печке, не обращая внимания ни на меня, ни на папу, ни на Мойше-Бера. Наоборот, Мойше-Беру она намекает: чего, мол, толкаться здесь в такое время, перед пасхой? Казалось бы, гораздо разумнее, говорит она, сидеть дома, а не расхаживать по чужим домам! Мойше-Бер соображает, кого она имеет в виду, — он прощается, а мы спускаемся в погреб — покушать...

5

Из кухни — в погреб

Я не понимаю, почему морщится отец, почему он пожимает плечами и ворчит себе под нос: «Вот тебе и эмиграция!..» Что за беда, если один раз мы покушаем в погребе? Разве может помешать запах соленых огурцов, квашеной капусты или молочных крынок? Разве это так плохо, когда берут две опрокинутых бочки, накрывают их доской, на которой раскатывают тесто, а сами сидят тоже на опрокинутых бочонках и едят? Наоборот, мне кажется, что так гораздо лучше и гораздо веселее.

Можно, между прочим, прокатиться на бочке по всему погребу. А если упадешь? Ну что ж, можно встать и снова прокатиться. Беда только в том, что Сосл следит, чтоб не катались.

— Он,— говорит она,— уже нашел себе новую игру! Хочет сломать себе ногу или руку...

Жить бы так моим врагам, как мне хочется сломать себе руку или ногу! Не знаю, чего хочет от меня эта Сосл. Вечно она меня преследует и все истолковывает к худшему. Когда я бегаю, она говорит, что я останусь без головы. Притронусь к какой-нибудь вещи, она говорит, что я хочу ее сломать. Держу пуговицу во рту, она поднимает крик: «Этот дурак хочет подавиться!» Зато я с ней рассчитываюсь, когда заболеваю. Чуть только мне не по себе, она убивается, поднимает страшный шум...

— Теперь возьми ребенка и поди с ним наверх. Надо и погреб подготовить к пасхе.

Так говорит мама после обеда, и не успевает отец спросить, куда еще нам отправляться, как она сама говорит:

— На несколько часов — на чердак.

— Потому что в доме только что вымыли полы,— подхватывает Сосл.— Но смотрите, чтоб этот растяпа не скатился с чердака и не свернул себе шею.

— Типун тебе на язык! — говорит ей мама.

А Сосл подталкивает меня сзади, чтоб я шел быстрее:

— Ну, лезь уже, лезь, малахольный!

Отец идет следом за мной, и я слышу, как он ворчит себе под нос: «На чердак! Вот так эмиграция! Придумает же!..»

Станный человек мой папа! Ему говорят: «На чердак», а он почему-то недоволен! Я, например, был бы очень рад, если бы каждую неделю был канун пасхи и нужно было каждую неделю лазить на чердак. Во-первых, само по себе лазанье — дело интересное. Ведь в другое время, как бы я ни умолял,— разве позволят мне полезть на чердак? А теперь я шагаю по ступеням, как чертяка! Позади меня шагает отец и говорит мне: «Осторожно! Потихоньку!» Но что мне «осторожно», как я могу «потихоньку»? Чувствую, что за спиной у меня выросли крылья, я лечу, лечу!

Из погреба на чердак и — конец

Разве можете вы знать, что творится у нас на чердаке? Клады! Форменные клады!

Битые стекла от ламп, черепки, старые обноски, которые трудно узнать, то ли это женские, то ли мужские исподники. Валяется кусок меха, который расползается, как снег, как только к нему притронешься, листы из старых книг, порванные страницы из молитвенников, перегоревшая труба от самовара, перья, рваное решето, старая пальмовая ветвь растянулась по-хозяйски... А перекладины! А стропила! А крыша! Крыша вся из дощечек, и я могу до нее достать руками! Шутка ли, держать руками крышу!

Отец садится на балку и собирает страницы из молитвенников, складывает листок к листку, заглядывает в них и незаметно увлекается чтением. А я стою у маленького окошка под крышей и вижу перед собою весь город, всю Касриловку как на ладони! Все дома со всеми крышами — черными, серыми, красными и зелеными. А люди внизу выглядят маленькими, и мне кажется, что лучше и красивее нашего города на свете быть не может! Заглядываю к нам во двор и вижу, что и у нас, и в соседних дворах моют и трут, скребут и чистят столы и скамейки и тащат большие чугуны горячей воды, раскаленные утюги, горячие камни, и ото всего валит пар, белый пар. Он клубится, катится, тает, словно дым. И в воздухе пахнет весной, ручьи бегут, козы блеют, и какой-то человечек в больших подвязанных веревочкой сапогах и с белой лошадкой тащится по лужам. Это извозчик Азриел. Он подстегивает свою конягу, которая еле вытягивает ноги из грязи. Это он везет кому-то возок мацы. Я вспоминаю, что у нас уже давно есть маца, она давно уже заперта в шкафу и завешана белой простыней. И яиц в шкафу наготовлена полная макитра, и пасхального жира большая банка, и две связки лука висят на стене, и еще там много разных чудесных вещей, напоминающих о прекрасном празднике. Я вспоминаю о новом костюмчике, который обещан мне к празднику, и сердце в груди растет как на дрожжах.

— Хозяин! — доносится снизу протяжный голос. — Потрудитесь выйти во двор проветрить книги!

Отец встает и сплевывает: «Тыфу ты пропасть! Вот тебе и эмиграция!»

Я никак не могу понять отца: чем он недоволен? Что может быть лучше и приятнее, чем стоять во дворе и проветривать книги? Я отрываюсь от окошка, бросаюсь к дверям чердака и... трах-тарарах головой вниз, ногами кверху по всем ступеням!..

Что было дальше, я не помню. Знаю только, что после этого падения я прохворал довольно долго и был, говорят, при смерти. Но, как видите, остался жив и здоров, дай бог дальше не хуже, если не считать того, что у меня шрам на лице, что с тех пор у меня и дыхание стало коротким и что при разговоре я по сей день моргаю глазами.

САМЫЙ МЛАДШИЙ ИЗ КОРОЛЕЙ

Рассказ в честь пасхи

1

Счастливого дитя этот Юзек! Все его любят, всякий старается приласкать его, поцеловать, потешить.

А в чем дело?

Ну как же — Юзек!

«Родные отец с матерью не стали бы так баловать единственного сынка, как две сестры, Сора и Ривка, балуют своего братишку. Все Юзек да Юзек, Юзек да Юзек! Юзек, ешь! Юзек, пей! Юзек, спи! Юзек, на тебе конфетку! Юзек, вот тебе новые штанишки на праздник! Юзек, накануне пасхи мы пошлем тебя в баню! Юзек, в пасху ты будешь справлять трапезу! Юзек да Юзек, Юзек да Юзек! Прямо надоело слушать! Вы портите ребенка, такое золотое дитя!»

Это говорят двум сестрам соседки, а сами то и дело норовят сунуть мальчику кто сахарный пряник, кто кусок пирога, кто печеночку для него зажарит, а кто даст полакомиться вареньем.

И все из жалости, весь мир жалеет Юзека — ведь Юзек бедный сирота!

Был на свете человек, которого звали Рефое-лом, и прожил этот человек все свои дни в бедности и к тому же страдал одышкой. Он обладал музыкальной грудью, в которой вечно что-то играло, при каждом его вздохе слышалось нечто вроде стоны скрипки, по которой водят немазанным смычком. И был этот Рефоел весьма честным человеком и, да простит он мне, неудачником, то есть именно потому, что он был честным человеком, он был неудачником, а может, наоборот, именно потому, что он был превеликим неудачником, он и был честным человеком. В Касриловке поговаривали, что не будь Рефоел неудачником, он обладал бы большими деньгами.

И в самом деле. Много лет прослужил Рефоел у виноторговца реб Симхеле, довольствовался положенным жалованьем и на чужое никогда не зарился.

Хозяин винного погреба реб Симхеле мог вполне положить на своего приказчика. Потому-то он и держал его в почете: каждую неделю аккуратно выплачивал ему пять карбованцев, по большим праздникам, бывало, дарил даже какую-нибудь десятку, ну, а бутылка вина и бутылка водки к пасхе — это не в счет. Как же иначе? Не такой человек реб Симхеле, чтобы не ценить верного служащего. Не его вина, что Рефоел заболел в погребе ревматизмом, а потом еще воспаление легких подхватил, и с тех пор внутри у него что-то свистит, и поет, и играет. Здоровье — это от бога. Самый здоровый человек может умереть на ногах. Наши мудрецы давно сказали... Но вы, наверно, и сами знаете, что говорили об этом наши мудрецы.

Короче говоря, в груди у Рефоела так долго свистело и играло, пока он не слег с жаром в сорок градусов и больше не встал.

Рефоел умер, и — ах-ах — каких похорон он удостоился! Уж и постарался реб Симхеле! Собственной персоной вынес носилки с покойником из дома; подставил плечо под носилки и так шел до самого кладбища, а там позаботился о хорошем месте для своего приказчика, сам следил за тем, как копали могилу, сам бросил первую горсть земли, и когда сынок покойного,

Юзек, начал произносить вслед за шамесом Ойзером слова «кадиша» над отцовской могилой, реб Симхеле плакал, заливался слезами.

— Вы и понятия не имеете,— говорил он потом встречному и поперечному,— какая у меня потеря, такая потеря, что и сказать невозможно!

— Ты не плачь! — утешал он вдову.— Я тебя не оставлю, конечно, и твоих сирот тоже. Прежде всего бог, потом я...

И реб Симхеле старался как мог. Первые несколько недель после смерти Рефоела он выплачивал вдове полностью жалованье мужа. Правда, каждую неделю ей приходилось ходить за этим жалованьем, и не раз, и не два, и нельзя сказать, чтобы ей это было особенно приятно, но подумайте сами, как могло быть иначе? На дом прикажете присылать ей деньги? Разве не достаточно того, что человеку даже после смерти платят жалованье?

— Вы требуете у меня денег,— сказал однажды реб Симхеле вдове,— как будто вам от меня что-то следует, как будто в моем винном погребе есть ваша доля.

Вернувшись домой, вдова пролила не меньше слез, чем в тот день, когда на полу лежал ее Рефоел. Узнав от матери причину этих слез, Сора и Ривка взяли с нее слово, что к реб Симхеле она больше не пойдет.

— Как же мы жить будем?

— Как другие живут: в прислуги пойдем или белье будем брать в стирку, а то на машине будем шить.

Шитье на машине вошло в обиход в Касриловке. Два пятиалтынных в день, пожалуй, можно этим выработать, если только не лениться и просидеть за машиной каких-нибудь шестнадцать — семнадцать часов в сутки. О работе беспокоиться нечего, работа всегда найдется: не платья, так лифчики, не лифчики, так рубашки, а если и рубашек нет, можно носовые платки подрубать. Скверно лишь то, что для работы нужна машина, вернее, две машины.

Правда, машины продают в рассрочку, но где раздобыть несколько карбованцев для первого взноса?

— Почему бы вам не сходить к вашему богачу? — спрашивали вдову Рефоела соседки.— Скажите ему, так, мол, и так, девушки отработают.

Не так это просто — сходить к богачу! Однако чего не сделаешь ради куска хлеба? И вдова отправилась к реб Симхеле, выбрав для этого самое подходящее время, как раз после обеда. Имейте в виду, если вы нуждаетесь в чьей-нибудь услуге, постарайтесь попасть к нему после обеда. После обеда самый скверный человек добрее, чем до обеда: перед едой человек — зверь.

— Что скажешь хорошего?

Вдова выложила богачу все, как по-писаному, так, мол, и так, необходимы машины.

Лицо у реб Симхеле было красное и потное; ковыряя в зубах, он в полудремоте прислушивался к словам вдовы. Реб Симхеле, конечно, не спал, упаси бог, он только подремывал, глядя на вдову одной половиной одного глаза и думая немного о делах и немного о пищеварении. Он был несколько излишне упитан, чуть жирноват, и доктора велели ему есть побольше мяса и поменьше мучного; реб Симхеле же, как нарочно, любил все мучное: хлеб, лапшу, всевозможные запеканки и тому подобные кушанья, которые делают из муки. Он знал, что это ему вредно, но стоило ему увидеть мучное блюдо, и он его непременно съедал, а съев — раскаивался...

— Ну, как же ты поживаешь, значит? — спросил реб Симхеле, как только вдова умолкла. Встряхнувшись, он посмотрел на нее уже полутора глазами.

— Какая моя жизнь? — ответила вдова. — Я же вам сказала: врагу не пожелаю... Вот имела бы я теперь машину, нет, две машины, ну, хотя бы одну...

— Что за машину? — с удивлением спросил реб Симхеле, теперь уже глядя на вдову во все глаза.

— Я же вам говорила, что мои дочери хотят заняться шитьем, стать портнихами, но у них нет машин. Две машины им нужны, в рассрочку можно взять...

— Это хорошо. Портнихи? Славное занятие. Будут шить, зарабатывать, чего лучше!

«Что за притча, — в то же время думал реб Симхеле, — почему это у меня сегодня так переполнен желудок? Кажется, я не так уж много ел». Один глаз у него снова начал уменьшаться, но так как вдова умолкла, он опять встряхнулся и продолжал:

— Славно! Шить? Что ж, почему бы и нет?

— Вот я и хотела вас попросить, реб Симхеле, вы уже столько для нас сделали, может быть, вы бы...

Почуяв, что от него чего-то хотят, очевидно денег, реб Симхеле окончательно проснулся.

— Что такое?

— Я хотела вас попросить одолжить на первый взнос за машины.

— За какие машины?

— Я же вам говорила, за две машины для моих дочерей, ну хотя бы за одну.

— Откуда у меня машины? Какое я имею отношение к машинам?

— Лишь бы деньги,— сказала, вдова.— Машины они сами купят. На выплату дают. Вот я, к примеру, сегодня вношу пятьдесят рублей, а потом, через три месяца, еще двадцать пять, а потом...

— Знаю, нечего мне объяснять. По мне, они могут и без машин прожить. Машины вдруг...

— Как же они будут шить? На руках много не сошьешь; у всех портних теперь есть машины.

— Как, ты хочешь сделать своих дочерей портнихами? Хороши же они будут! Встал бы твой муж и услышал, что ты хочешь сделать портних из его дочерей, он бы снова умер. Твой Рефоел был почтенным, благочестивым человеком, знаешь ты это или нет? Таких, как Рефоел, на всем свете не найдешь! Портнихи? Услышал бы Рефоел, он бы этого не выдержал. Он бы не знаю, что с собой сделал!

Реб Симхеле говорил проникновенно. Он уже и сам начал верить в то, что говорил, и чем дальше, тем внушительнее становился его голос.

— Портнихи, гм! Подходящее занятие для девушек! Уж мы знаем, что такое портниха, да еще у нас, евреев! Дочери Рефоела — и вдруг портнихи! А где же я? Да знаешь ли ты, что твой Рефоел вырос у меня на руках? Я из него сделал человека, прежде всего бог, потом я. А кто его женил, как не я? И ты хочешь, чтобы я этакое допустил? Ни за что! Да кто я такой, по-твоему, камень, бревно, а?

Вдова с чем пришла, с тем ушла.

Ушла и дала себе слово, поклялась душой своей, что ноги ее больше не будет в доме реб Симхеле, иначе пусть ей не придется вырастить своих дочерей. Уж лучше она в прислуги пойдет!

Легко сказать: пойти в прислуги! Жена приказчика Рефоела, хозяйка наравне со всеми уважаемыми касриловскими хозяйками, пойдет в прислуги! Будет стоять у чужой печи! Сидеть за чужим столом! Чем такая жизнь, лучше умереть! И вдова просила у бога смерти, и великий всемогущий бог, отец сирот и покровитель вдов, на этот раз сжалился над бедной вдовой, не дал ей долго прозябать на свете и придумал для нее легкую смерть — опухоль такую во внутренностях. Помучилась она, и хорошенько помучилась, всего месяца три с половиной, и отдала богу душу. И должно же было случиться, что со времени смерти Рефоела в Касриловке, если не считать маленьких детей, никто не умирал, и вдову похоронили рядом с мужем, могила возле могилы, — суждено же было такое счастье! Юзек начал заодно читать «кадиш» и по отцу и по матери, и тогда-то он стал так дорог соседям и соседкам и любим всеми теми, кто хоть раз слышал, как он, стоя на скамье в синагоге, читает «кадиш», щебечет своим детским голоском «Да возвеличится и святится»... Каждый, кому доводилось видеть этого ребенка с черными глазами и румяными щечками, в круглой шапочке на голове, каждый, кому доводилось слышать, как он, стоя на скамье в синагоге, поет «Да возвеличится и святится», застывал на месте, вздыхал и погружался в невеселые думы, и горько становилось у него на душе, ведь умереть может всякий, умереть и оставить маленьких детей, которые превратятся в сирот, господи, спаси и помилуй! И каждый старался сунуть в ручку сироте кто копейку, кто яблочко, отчасти из жалости, отчасти потому, что «благотворительность спасает от смерти»...

Надо признаться, что Юзек и в самом деле был удачным ребенком, личико его так и просило: «Люби меня!» Кроме того, он отличался хорошими способностями; слыл самым смышленным мальчишкой в касриловской талмудторе, на весь город прославился. Меламед Нойах не мог нахвалиться на него.

— Что-то очень уж хвалят сына приказчика Рефоела!

— Юзека? Другого такого на всем свете не сыщешь!

— И где же должно завалиться такое сокровище? На свалке, у бедняков!

— Это всегда так. Кому суждены долгие годы? Конечно же, безрукому и безногому, старику Мойше-Аро-ну. А кто умирает? Зять реб Симхеле, свежий, здоровый, отец семейства и человек при деньгах — вот он и умирает!

— Зять реб Симхеле, вы говорите? Ну, а сноха богача Пейси?

— Как ее здоровье?

— Здоровье... Три раза уже привозили к ней профессора из Егупца.

— Три раза? Дай мне бог хоть половину того, сколько это стоило!

— Так уж все устроено на свете!

— Как устроено, таков и свет...

Так толкуют в Касриловке и почему зря критикуют творца вселенной: кому он дает долгую жизнь, а кому — короткую! Кому дает деньги, а кому лихоманку вместо них! Кому удачных детей, а кому — черт знает что!.. Однако никто не задается простым вопросом: как живут эти удачные дети? Кто их кормит? Не замерзают ли они в долгие зимние ночи в сырых подвалах? Не вырастают ли из них калеки, горбуны, нищие, никому не нужные несчастные создания?..

К счастью, сестрам Юзека, Соре и Ривке, все же удалось заполучить машину. Им помогли соседки, живущие с ними под одной крышей, — лекарша Бася, служка Песя и старьевщица Сося. Все трое сложились и ссудили сестер несколькими рублями для первого взноса, остальное они уже как-нибудь сами выплатят, и так появилась машина. Что же тут удивительного? Люди ведь! А то как же быть двум взрослым девушкам с мальчиком-сиротой на руках? Даже змея, говорят, жалеет своих маленьких змеенышей, тем более человек!

Одно лишь плохо, машина очень уж докучает своим стуком, а стучит она день и ночь, работы у сестер, благодарение богу, предостаточно, и работают они на машине попеременно, это значит, одна сестра строчит на машине, а вторая в это время топит печь, потом вторая строчит на машине, а первая занимается хозяйством. Машина стучит день и ночь, и соседки держатся за головы и ворчат втихомолку:

— Вот так трещотка!..

Бог милостив; он и болячку пошлет, но и без лекарства не оставит. Таким лекарством был Юзек. Случается, в доме пусто и темно, дела идут плохо, на душе скверно, но на свет появляется маленькое существо, и дом приобретает новый облик. Вначале малыш пищит, кричит, надрывается, не дает спать. Но вот он немного подрастает, перестает кричать и смотрит широко открытыми глазками! Глядите-ка, смотрит! А ну-ка, малютка, ну-ка, крошечка!.. И малютка открывает ротик и показывает язычок, и у всех светлеют лица, все смеются: «Смотрите, смотрите, улыбается, дай мне так бог здоровья, улыбается!» Радость, утеха, у всех светлеет на душе. Дом полон малышом, с ним носятся, он заставляет забыть о всех несчастьях, он делает горести не такими горькими. Счастье в доме — и все тут!

Так и с нашим Юзекком. Юзек и был тем милым маленьким созданием, которое все любили и с которым все носились. На пасху его нарядили по-царски: набрали на сюртучок и на штанишки с помочами, сшили сапожки и шапочку новую купили, да еще орешков наобещали ему, а пока суд да дело, напекли ему из толченой мацы полную сковороду оладий, расстроили ему желудок и чуть не отправили на тот свет.

— Кто вас просит кормить ребенка черт знает чем? — выговаривали сестры Юзека соседкам.

— Полюбуйтесь на них! Дали ребенку оладушку со смальцем, так тут уж бог знает что делается!

Так оправдывались соседки, а лекарша Бася сделала все, что могла, чтобы спасти ребенка. Накануне пасхи Юзеку дали три гроша и чистую рубашку и отправили его в баню. А когда он вернулся, его одели во все новое, и он сиял, как солнышко.

— Царское дитя, — говорили между собой женщины.

— Пусть его зло не коснется, да минет его дурной глаз!

Юзек взял молитвенник, отправился в синагогу и прочитал там «кадиш». Когда он вернулся домой и поздравил всех с праздником, стол был уже накрыт и уставлен всем, чего только можно пожелать. И маца там была, и бутылка вина из изюма, и картошка, и соленая вода, и хрен, и харойсес. Одного только не хватало: некому было отправлять трапезу.

Не было в доме короля! *

Все три соседки были вдовами, то есть вдовами, собственно, были две из них, а третья — разводящей. И детей ни одна из них не имела. Были, конечно, у них дети, но не при матерях, а в чужбине, рассеянные и развеянные по всему миру: кто ремеслом занимался, кто служил в магазине, а кого судьба забросила в далекую, далекую Америку. К счастью, а может, к несчастью, случай загнал этих трех женщин под одну крышу. Хозяйка их обиталища, лекарша Бася, считалась среди них богачкой. Все трое жили под одной крышей, закишивали тесто в одном корыте, стояли у одной печи. Только столик каждая из них имела отдельный, потому что трудно трем женщинам ужиться, всегда быть в ладу. Если вам случится увидеть модных дам, которые дружат между собой, нежно целуются, когда приходят друг к дружке на журфикс, усаживаются рядом и щелкают орешки, то пусть это вас не удивляет: это происходит только потому, что они не живут под одной крышей, не стоят у одной печи, не закишивают хлеб в одной квашне.

В течение трехсот шестидесяти пяти дней, которые насчитывает год, женщины ссорились не меньше трехсот раз, хотя и то сказать, я не знаю, что у вас называется ссорой. Ни одна из них не могла пожаловаться на то, что у нее что-то забрали или оскорбили ее, задели ее честь, упаси бог, но просто соседки иногда не сходились характерами. Служка Песя, например, любит задвигать весь жар и потом закрыть печь заслонкой. Ничего плохого как будто в этом нет. Старьевщица Сося, однако, имеет привычку ставить по утрам на шесток кувшинчик цикория. Тоже как будто небольшой грех; не ставить же ей кувшинчик цикория рядом с горшками. Так нате же, Песя говорит, что из-за какого-то кувшинчика цикория она не даст пропасть своей хале, которая сидит в печи. На это старьевщица Сося возражает, что лучше пропасть ее врагам. Тогда служка Песя удивляется, откуда у старьевщицы столько врагов. А старьевщица Сося ей возражает: «Это добра не занимать стать, врагов хватает, густо бы их сеять и редко бы им всходить». Тогда служка Песя говорит: «С каких это пор вы стали так разговорчивы?» А старьевщица Сося: «С тех пор как поселилась в этой пустыне». Слова старьевщицы задевают хозяйку дома, ле-

каршу Басю, которая во все время разговора стояла в сторонке с торчащими из-под платка ушами и скалкой раскатывала лист теста на субботу. «Не понимаю, почему вам здесь так пусто? Видно, сильно переплачиваете за квартиру?» — «Вам хорошо,— отвечает старьевщица Сося,— если вы богачка и у вас денежки водятся, не сглазить бы!» — «Не ваше это дело, водятся у меня денежки или не водятся. У вас я ничего не взяла». А старьевщица Сося: «Что с меня взять? Мою бедность? Ну и берите ее себе на здоровье!» А лекарша Бася: «Держите ее при себе!» — «От бедности нельзя зарекается,— вставляет служка Песя,— видели мы богачей и почище, собственные дома имели и полетели в тартары!..» — «Глубоко в земле лежат и баранки пекут!» — поддерживает ее старьевщица Сося. Лекарша Бася выходит из себя и весь свой гнев переносит на старьевщицу. А служка Песя за нее заступает. Тогда между тремя женщинами возникает острая перепалка, мешанина из колючих словечек, поговорок и притчей: «Новая заступница нашлась!..», «Как вам нравится дерзость этой бабы?», «Не нравится вам, можете со мной не породниться!..», «Ищешь ножницы, а отзывается медный пестик!..», «Ни к селу ни к городу!», «Тоже мне госпожа — над кочергой да над лопатой!..», «Замолчи, горластая, а то как бы кочерга не полетела здесь кому-нибудь в голову!..», «Не знаю кому, вам это больше всех подойдет!..», «Так вот получай же!..», «На тебе!..», «Нате вам обеим!..».

Вы думаете, здесь бог весть что произошло? Оплеухи посыпались? Упаси бог! Только дули! Дули из двух пальцев и третьего посредине, и прямо в нос!

8

Не взыщите, но должен вам сказать, что если бы на трех модных дам надели одно ярмо и загнали бы их под одну крышу, то трудно поручиться, что бы из этого вышло; возможно, что ничего бы не вышло, а возможно, что вышел бы конфуз, еще, пожалуй, похлестче, чем у наших трех женщин. Я никого не собираюсь этим обидеть, но просто так, пришлось к слову, я и сказал...

Вернемся к нашим женщинам. Несмотря на острые конфликты и на ссоры, которые то и дело вспыхивали

между ними, они друг дружке зла не желали. И откуда, собственно, могло здесь взаться недоброжелательство? Что они, хлеб одна у другой отбивали? Вот они по-ссорились, а вот и помирились. Когда же приближалась пасха, между ними устанавливался прочный мир, полное единство, самые сердечные отношения: в один день пекли мацу, заготавливали на всех одну кадушечку борща, все вместе покупали по дешевке мешок картошки, а потом усаживались за один стол справлять трапезу. Вместе с хозяйкой, лекаршей Басей. Поднимали миску и тихо повторяли за ней слово в слово пасхальное сказание, которое Бася читала вслух по толстому молитвеннику на разговорном еврейском.

Обычно трапезу отправлял Басин муж, лекарь Исроэл. Когда же лекарь умер, трапезу начал отправлять сын одной из соседок. Теперь же все разъехались кто куда, и во всем доме остался один только мужчина, Юзек. Вот и завели женщины разговор, не поручить ли в нынешнем году это дело Юзеку. Парнишка как-никак уже Пятикнижие учит, и читает он бойко, так почему бы ему не занять место мужчины, не выполнить роль короля?

— Юзек, хочешь быть королем?

Королем? Почему бы и нет? Кому придет в голову отказать от королевства?

— Горе королевству, если королем там Юзек!.. — Так шутили соседки, а среди них и сестры Юзека. Тем не менее они устроили ему сиденье из подушек, и когда Юзек с торжественным приветствием пришел из синагоги, он во всем новеньком уселся на трон, как настоящий король.

9

Есть три вещи, которые легко передаются от человека к человеку, — это зевота, смех и слезы. Зевота, смех и слезы не в нашей власти.

Во время трапезы, которую мы здесь описываем, в самый разгар ее, когда сирота Юзек, этот молодой король, успел уже спеть молитвы «Лефихох» и «Галел» и, подняв второй бокал, стал произносить: «Приступаю к богоугодному делу, ко второму бокалу из четырех» *, готовый отпить первый глоток, среди женщин раздалось громкое рыданье, как будто оплакивали покойника.

Как это случилось, которая из женщин первая начала плакать, трудно сказать. Когда Юзек запел «Рабами мы были» *, одной из его сестер вдруг вспомнилось, что в прошлом году они тоже справляли трапезу, которую не сравнить с нынешней. Отец был еще жив, и мать была жива, и им, обеим сестрам, сшили на праздник новые платья. Кому бы тогда могло прийти в голову, что в нынешнем году им придется сидеть за чужим столом, с чужими женщинами и Юзек будет отправлять для них трапезу... Девушка заморгала глазами, и нижняя губа у нее начала дрожать. Глядя на нее, и вторая сестра прослезилась. А глядя на них обеих, одна из соседок вспомнила про свое собственное горе: вот был у нее муж, шамес Ноте, и жилось ей за ним как нельзя лучше,— то есть хорошо ей никогда не жилось,— но, уж во всяком случае, лучше, чем теперь, когда ей пришлось стать помощницей шамеса, потому что шамес Ойзер, который раньше состоял помощником при Ноте, после его смерти возвысился,— из помощника превратился в шамеса, и жена его Гнеся так возгордилась, отец небесный, к ней и не подойдешь!..

От этих грустных мыслей лицо у Песи так скривилось, что будь старьевщица Сося крепче железа, она и то не смогла бы удержаться от слез. Сосе вспомнились всякие грустные вещи: целая орава женщин, которые не дают и гроша заработать, переманивают одна у другой покупательниц, а тем того только и надо, избаловались вконец. И еще вспомнила Сося свою старшую дочь, которая умерла давно, ребенком еще, Росей ее звали; не умерла бы Рося, она теперь была бы уже взрослой девушкой, а может быть, даже матерью семейства. И мужа своего вспомнила Сося, как он, бедный, мучился всю жизнь, ничто ему не удавалось, и больной был, совсем развалина. И старьевщица Сося, тихо повторяя вслед за лекаршей Басей слова пасхального сказания и покачивая в такт головой, заливается слезами. А лекарша Бася, хотя и сама читает, тоже не очень-то вникает в смысл сказания; слова текут у нее сами собой. Она же в это время думает о своих невзгодах, вспоминает детей, которые уехали от нее в далекую, далекую Америку. Она, правда, получает от них неплохие письма. Ее детям в Америке живется как будто не плохо, это значит, что они там наравне с другими людьми трудятся до седьмого пота. Чтобы показать, как им хорошо живется, они прислали матери

фотографии, которые там называются «пикчерс». Они обещают даже прислать ей несколько рублей, или, по-ихнему, долларов, как только у них хоть немного поправятся дела, или, как это там у них называется, «бизнес», и шифскарту пришлют ей, и она поедет туда к ним, в большую счастливую страну, где у всех жизнь как жизнь, где все люди равны, человек может умереть там с голоду посреди улицы, и никто, упаси бог, не скажет ему, что он скверно поступил... Но так она туда и поехала, не дожидаясь этого ее враги! У нее и здесь дети. А если им, бедняжкам, приходится туго, что же делать? Все от бога!

Эти мысли не мешают лекарше Басе бегло читать пасхальное сказание, она и не замечает, как плачет, как по лицу ее текут слезы. И вот, когда дело дошло до второго бокала и самый младший из королев остановился, чтобы отпить немного вина, женщины сами испугались своих рыданий.

Лекарша Бася вытерла фартуком глаза, высморкалась и с криком набросилась на остальных:

— Чего вы вдруг разревелись ни с того ни с сего? Йом-кипур сегодня, что ли? Или тишебов? Видели этакое?

Женщины только тогда успокоились, когда одна из них поднесла королю таз и кружку воды помыть руки, вторая достала из печи горячую рыбу, а третья подала хрен. Самый младший из королев произнес благословение над мацой, женщины ответили «аминь» и молча приступили к ужину.

ГЕЦЛ

— Присядь, я расскажу вам историю про орехи.

— Про что? Про орехи?

— Да, про орехи.

— Теперь? Во время войны? *

— Именно потому, что идет война и на душе не-весело, я хочу вас отвлечь от черных мыслей. Впрочем, орешек раскусишь, а там ядрышко.

Имя его было Гецл, но звали его Придурковатый и считали дикарем. Всякий, кому не лень, рад был пошутить над ним, поиздеваться. Это был не малыш, как прочие в хедере, а рослый парень, с пухлыми губами, с толстенными руками. На нем постоянно топорщились широкие штаны и огромные сапожищи, а говорил он басом, точно из бочки. На этом неуклюжем теле сидела голова, величиной с дежу для выпечки хлеба, и набита она была, извините за выражение, паклей, трухой, перьями.

Реб Янкл, меламед нашего хедера, вечно попрадал его возрастом и обзывал невеждой, верзилой, медведем, грубым животным, дрянной костью, бычьей шкурой и тому подобными замечательными кличками. А он? Хоть бы что! Его это ничуть не трогало. Заберется в угол, набьет полный рот и жует, как теленок. Придурковатый, понимаете ли, очень любил поесть. Еда для него была дороже всего на свете. «Бездонная утроба», — говорили о нем ребята. «Обжора», — называл его меламед. А сам-то он хоть бы поморщился! Достанет завтрак, сунет в рот и уминает без передышки. А завтраки ему приносили в хедер знатные — пирожки с творогом, вареников уйму. И эта неуклюжая тумба, ко всему прочему, был еще у своей богатой матери единственным, бесценным сынком, и она кормила его беспрестанно, день и ночь, как откармливают примерно гуся, и к тому же вечно плакалась, что «ребенок ничего не ест».

— Надо заговорить его от дурного глаза! — замечал по этому поводу меламед реб Янкл, понятно, не в присутствии мамы.

— Болячку его мамаше! — поддерживала жена меламеда и делала при этом такую гримасу, что невозможно было не расхохотаться. — В Полесье таких деток еще пеленают. Бедняжка!

— Подохнуть бы ему, и поскорей! — заключал разговор меламед и надвигал своему ученику шапку по самые уши.

Весь хедер покатывался со смеху, а Придурковатый сидел надутый и молчал. Он, конечно, сердился, но молчал.

Вообще-то его трудно было рассердить. Но если уж рассердили, то держись — медведь тогда не так стра-

шен, как он. В ярости он скакал как бешеный, здоровенными зубами впивался себе в руку. А если уж давал затрещину, то ты получал настоящее удовольствие. Товарищи, хорошо знавшие это, так как испытали все на собственной шкуре, смертельно боялись его и старались не иметь с ним никакого дела. К побоям, понимаете ли, еврейские ребята всегда относятся с большим почтением... И чтобы избежать расправы со стороны Гецла, все ученики объединились, десять против одного. Таким образом, у реб Янкла в хедере образовалось два лагеря: с одной стороны вся школа, а с другой — Гецл. Все ребята упражняли ум, а Гецл — кулаки. Все ребята осваивали Библию, Гецл усваивал пирожки с творогом и вареники.

2

Однажды под какой-то праздник ребята собрались играть в орехи. Игра в орехи такая же, как и все другие игры, не лучше юлы и не хуже карт. В орехи играют по-разному: в «ямку», в «скамейку», в «шапку». Кончается она, понятно, как все игры: один выигрывает, другой проигрывает. И, как всюду, тот, кто выиграл, — умник, ловкач, славный парень, а тот, кто проиграл, — балда, осел, калека, — словом, все как в большом мире, в клубах, где игроки сидят день и ночь за карточными столами.

Итак, ребята собрались в хедере, все десятеро, играть в орехи. Выложили на полу ряд, опрокинули скамью и принялись с нее катать орехи вниз. Кто выбьет больше орехов из ряда, тот выиграл.

Вдруг отворилась дверь, и на пороге появился Гецл, понятно, с полными карманами.

— А, наше вам почтение! — приветствовал его кто-то из ребят.

— Лучше бы нам приветствовать мессию... — отозвался другой.

— ...А тут явился Аман, — добавил третий.

— Раши * толкует этот случай так: черт принес этого Гецла!

— Во что вы играете? В «скамейку»? И я хочу играть! — заявил Гецл. — У меня есть орехи.

— Нет! Ни за что! — ответили ему.

— Почему?

— Потому.

— Ну так я вам не дам играть.

И не долго думая, Гецл зашаркал ножищами и разогнал все их орехи по комнате. Понятно, это взорвало ребят. Какая наглость!

— Ребята, чего вы молчите? — крикнул один из них.

— Что ж нам с ним делать?

— Давайте наломаем ему кости! — пояснил третий.

— Ну-ка, попробуйте! — заявил Гецл и завернул рукава, готовясь к тяжелой работе.

И пошла война между двумя лагерями. С одной стороны был весь хедер, с другой — Гецл.

Однако десятеро — не один. Они, конечно, испробовали на себе силу его здоровенных кулаков, он набил им шишки на лбу, насадил фонарей под глазами, зато и они отделали его под орех: ногтями, зубами, как кому удавалось, царапали, щипали, драли его за волосы, рвали в куски, кусали и спереди, и сзади, и с боков. Короче говоря, десятеро — не один, победили они. И Гецл вынужден был, извините за выражение, отступить, или, попросту говоря, сбежать от них.

И тут только по-настоящему начинается рассказ об орехах.

3

Выскочив на улицу, взлохмаченный, исцарапанный, с разодранными штанами, Гецл минуту стоял в раздумье, потом хлопнул себя обеими руками по карманам так, что орехи у него загремели.

— Значит, не хотите со мной играть в орехи? — спросил он. — Ну, пускай дьявол с вами играет! Очень вы мне нужны! Чтоб вас семьсот раз удавили! Мы и вдвоем сыграем.

И Гецл пошел куда глаза глядят. Остановившись посреди дороги, он спросил, точно рядом с ним был еще кто-то второй:

— Куда же мы с тобой, Гецл, пойдем? — и тут же сам себе ответил:

— Вон туда, далеко-далеко... За город, по ту сторону мельниц. Там никого нет, будем с тобой вдвоем. Никто нам не помешает. Пусть кто-нибудь только по-

пробует, мы ему быстро кости наломаем, в порошок сотрем...

Разговаривая этак с самим собой, Гецл и в самом деле начал ощущать, что он не один и сил у него хватит на двоих. Пускай заявятся его приятели, он их искрошит, сотрет в порошок! Это доставляло ему большое удовольствие, и он не переставал болтать с самим собой, будто их здесь взаправду было двое:

— Послушай-ка, до каких же пор мы с тобой будем шагать? — обратился он к самому себе и тотчас ответил:

— А это от тебя зависит.

— Может, нам присесть и поиграть в орехи? Как думаешь, Гецл?

— Что же, я согласен.

И Гецл расположился на земле, далеко за городом, по ту сторону мельниц. Он высыпал из карманов все орехи, пересчитал их и разделил пополам, на две равные кучки. Одну половину он высыпал в правый карман, другую — в левый, затем снял шапку и, вынув из правого кармана несколько орешков, бросил их туда и проронил:

— Они думают, мы без них не обойдемся... Послушай-ка, Гецл, во что будем играть?

— А я знаю? Во что хочешь.

— Может, нам сыграть в «чет и нечет»?

— Давай.

И Гецл, тряхнув шапкой, спросил:

— Теперь отгадай: чет или нечет? Ну, отвечай же! — крикнул он сам себе и ткнул себя локтем в бок, после чего ответил:

— Чет.

— Чет, говоришь? Видать, давно тебя не пороли. Давай-ка сюда, ты проиграл три ореха!

Гецл вынул из левого кармана три ореха и переложил их в правый карман, затем опять тряхнул шапкой и снова спросил:

— Ну, а теперь? Чет или нечет?

— Нечет.

— Нечет, говоришь? Ах, болячка тебе! Проиграл четыре ореха. Давай их сюда!

И он переложил из левого кармана в правый четыре ореха, тряхнул шапкой и опять обратился к самому себе:

— Ну, может, теперь отгадаешь? Чет или нечет?

— Чет.

— Чет, говоришь? Ах, сгнуть твоим костям! Давай паршивец, пять орехов!

— Мало того что ты меня обыгрываешь, ты еще ругаешься!

— Кто виноват, что ты осел и каждый раз попадаешь, как слепой, в яму? Ну, отвечай опять: чет или нечет? Теперь уж ты, наверно, отгадаешь.

— Чет.

— Чет? Чтоб тебе такую жизни! Давай сюда, лошак этакий, семь орехов и отвечай снова: чет или нечет?

— Чет.

— Опять чет? Ах, не быть тебе отцом! Давай, неудачник, еще пять орехов и уж наконец отгадай! Хоть один раз ответь правильно: чет или нечет? Ну, чего молчишь?

— У меня нет больше орехов.

— Неправда, есть.

— Честное слово, нету.

— Пошарь-ка лучше в кармане, на самом дне. Вот так!

— И следа не осталось.

— Нету? Проиграл все орехи? Что же ты натворил? Ну, не осел ли ты после этого?

— Мало того что ты обыграл меня, ты еще издеваешься надо мной!

— Так тебе и надо! Хотел меня обыграть, а я вот тебя обыграл.

Придурковатый очень рад тому, что Гецл проиграл, а он выиграл. Он чувствует, что ему прямо-таки здорово прибавилось; теперь он в силах обыграть весь мир. «Вот бы их теперь сюда, моих приятелей из хедера! Я посчитался бы с ними! Не оставил бы им ни одного орешка, даже для развода. Они бы у меня на коленях ползали, подошли бы на этом месте!»

Тут Гецл вошел в раж, заскрежетал зубами, сжал кулаки и закричал так, точно он и в самом деле был здесь не один, а еще с кем-то:

— Ну-ка, попробуйте связаться со мной! Теперь я не один, нас двое... Ну, Гецл! Ты чего это сидишь, как жених! Давай еще играть в орехи!

— В орехи? А где мне их взять? Я ведь сказал, что у меня нет ни одного орешка.

— Ах, я совсем забыл, что у тебя нет орехов... Знаешь, Гецл, я дам тебе совет.

- Какой?
- Деньги у тебя есть?
- Есть. Ну и что?
- Купи у меня орехи.
- Как это я куплю у тебя орехи?
- Осел! Не знаешь, как покупают? Давай деньги, бери орехи. Ха!
- Ну что ж, согласен.

Гецл вынул из кошелька серебряный гривенник, поторговался, переложил два десятка орехов из правого кармана в левый, и игра началась снова.

4

Рассказывают, бывалый картежник за полчаса до смерти призвал к себе сына, тоже картежника, и сказал ему:

— Дитя мое, я уйду из этого мира, больше мы с тобой не увидимся. Я знаю, что ты играешь в карты, у тебя моя болезнь... Так вот что я тебе скажу: играй сколько угодно, только отыгрываться упаси тебя бог!..

Слова эти, простите за сравнение, мудры, как Тора. Нет хуже на свете, чем отыгрываться. Тут, как говорят бывалые люди, спустишь последнюю рубаху; тут тебя так глубоко закопают, что ты не встанешь и в день воскресения мертвых. Так говорят люди, так оно и случилось с нашим молодцом. Он так долго встряхивал шапку, спрашивая, «чет или нечет», до тех пор перекладывал из одного кармана в другой, пока левый карман снова не опустел.

- Ну, почему ты не играешь?
- У меня уже нечем играть.
- Опять остался без орехов, недотепа?
- Ты говоришь, я недотепа, а я говорю, ты шулер.
- Еще раз скажешь «шулер», и я тебя стукну по рылу.

— От тебя всего можно ожидать.

На несколько минут Гецл присмирел; мурлыча под нос какую-то песенку, он усердно ковырял пальцем землю; затем, выкопав ямку, проговорил:

- Скучно. Давай играть в орехи!
- Да нет же у меня орехов.

— А деньги у тебя есть? Я продам тебе еще десяток.

— Деньги? Откуда у меня деньги? Ни гроша!

— Ни орехов, ни денег? Ох, не могу, уморил! Ха-ха-ха!

Это «ха-ха-ха» разнеслось по всей равнине, эхом отозвалось в далеком густом лесу. А Гецл продолжал покатываться со смеху.

— Что это ты расхохотался сегодня, мужик неотесанный? — спросил он сам себя и тут же ответил:

— Смеюсь над тобой, неудачник ты этакий. Мало того что ты проиграл все орехи, ты еще спустил мне все деньги, и какие деньги! Балда, сын балды! Ой, не могу! Ха-ха-ха!

— Да ведь ты сам подсказал мне, чтобы я так сделал, злодейская твоя душа, негодная тварь, дрянь этакая!

— Ну и умник! А если б я подсказал тебе отрезать нос, ты бы тоже послушал меня? Балда! Скотина в образе осла! Ха-ха-ха!

— Помолчал бы, Придурковатый! И лучше мне не видеть твоей противной рожи!

Гецл отвернулся сам от себя. Некоторое время он сидел надувшись, затем принялся ковырять пальцем в земле, затем засыпал выкопанную ямку, напевая что-то себе под нос.

5

— Знаешь, что я тебе скажу, Гецл? — обратился он спустя некоторое время к самому себе. — Давай помиримся, будем друзьями! Раз уж мне так повезло и я, с божьей помощью, выиграл столько орехов, почему бы нам не разгрызть несколько штук? Они, должно быть, недурны. Как ты думаешь, Гецл?

— Я тоже так думаю: они должны быть весьма недурны, — ответил он сам себе и швырнул в рот один, другой, третий орех, хлопая при этом себя каждый раз по зубам. Орешек с треском раскалывался, он вынимал жирное ядрышко, очищал его от шкурки и, бросив в рот, смачно жевал большими белыми зубами, похрустывая, точно лошадь, хрупающая овес.

— Может, и ты, Гецл, хочешь ядрышко? Не стесняйся, говори!

— Почему бы нет? — ответил он сам себе и протянул левую руку, но тотчас ударил по ней правой рукой.

— А болячки не хочешь?

— Пускай тебе будут болячки!

— А тебе две!

При этом Гецл не переставая щелкал орехи и жевал жирные ядрышки, хрустя зубами, как лошадь. Ему, однако, показалось мало того, что он сам обжирается, а тот, другой, сидит и смотрит ему в рот, он еще задал такой вопрос:

— Послушай-ка, Гецл, я хочу тебя спросить вот о чем: каково тебе, когда я ем, а ты смотришь?

— Каково мне? Дай бог, чтоб ты себя так чувствовал!

— Э, да ты, кажется, сердисься? Ну, на уж, на орешек!

Правая рука Гецла протянула левой руке ядрышко. Левая рука хотела его взять, но правая рука выставила ей, простите за выражение, кукиш. Тогда левая шлепнула по правой руке. Правая рука ударила левую руку. Левая рука развернулась и дала затрещину по правой щеке. Правая рука отвесила две оплеухи левой щеке. Левая рука ухватила правый лацкан. Правая рука тотчас оторвала напрочь левый лацкан. Левая рука вцепилась в правую пейсу, в ответ правая рука заехала в левое ухо.

— Послушай, Гецл, отпусти пейсу! Отпусти, говорю!

— Отпусти ухо, тогда отпущу пейсу.

— Дудки!

— Значит, останешься, Гецл, без пейсы.

— Значит, останешься, Придурковатый, без уха.

— Ой!

— Ай, ай!..

Эпилог

Несколько минут катался по земле наш Гецл. То он лежал кверху правым боком, то левым, но неизменно придерживал при этом руками карманы с орехами. Мгновенье победителем был Придурковатый, потом верх брал Гецл.

Наконец наш Гецл, вывалявшийся, как свинья, в грязи, растрепанный, с окровавленным ухом и оторван-

ной пейсой, вскочил с земли, выволок из карманов орехи и принялся швырять их далеко-далеко, по ту сторону мельниц, в самую грязь, при этом сердито приговаривая:

— Вот так! Сделаем доброе дело! Ни тебе, ни мне!

ТРАПЕЗА

Сцена из моих детских лет

1

— Ума не приложу, что из этого ребенка выйдет! Что из него вырастет! Рохля какая-то, рева, мокрая тряпка, плакса, чтоб ему!.. Видали вы, чтобы ребенок вечно плакал?!

Это мама моя разговаривает сама с собой, наряжая меня во все праздничное, и то толкнет меня в бок, то шлепнет по спине, то ухватит за ухо, то рванет за волосы или пребольно ущипнет. И она еще хочет, чтобы я от таких ее дел не плакал, а смеялся! Она застегивает на мне сверху донизу мой субботний кафтанчик, который давно уже мне тесен настолько, что глаза лезут на лоб, когда его надевают на меня; да и рукава у него удивительно коротки, и мои вечно иссиня-красные руки совсем вылезли из них и выглядят, как опухшие. А это приводит мою маму в ярость.

— Ну и лапы! — говорит она и шлепает меня по рукам, чтобы я их опустил вниз, может, их не так видно будет.— Когда будешь у дяди Герца, лапы свои держи под столом! Слышишь, что тебе говорят! А морда чтобы не была багровой, как у девки Явдохи! И глаза не тарачи, как кот! Слышишь, что говорят! И чтобы сидел по-человечески! А главное — нос! Ох, этот носик! Дай-ка сюда твой носик, уж я его приведу в порядок!

Пока у меня нос считается носом, еще туда-сюда, но как только мой нос становится «носом» и мама начинает его «приводить в порядок», тут уж ему несдобровать. Не пойму, в чем мой нос провинился перед ней больше, чем, например, ухо, брови, глаза? Нос у меня вроде как все носы — чуть толстоват, чуть красноват, немного вздернут и чуть-чуть мокроват. Ну и что же? За это его нужно со свету сжить? Поверите ли,

бывали времена, когда я молил бога, чтобы он избавил меня от этого носа, пусть отвалится ко всем чертям — и кончено. Я рисовал себе такие картины: в одно прекрасное утро я встаю совсем без носа и за завтраком подхожу к матери. Она хватъ меня: «Ой, горе мне! Где же твой нос?» А я отвечаю: «Какой нос?» — ощупываю спокойно лицо, а сам гляжу на маму, как она выходит из себя, и торжествую: «Ага, так и надо! Пусть знает, какой вид у ее сына без носа!..» Глупые фантазии! Детские мечты! Господь не внемлет моим мольбам: нос растет, мама все время «приводит его в порядок», а я страдаю. И больше всего моему носу достается, когда наступает какой-нибудь праздник, пурим, например, и мы собираемся на ужин к дяде Герцу.

2

Дядя Герц — не только самый состоятельный в нашей семье, он первый богач в нашем местечке. Да и во всей округе, во всех местечках, только и слышишь — Герц, Герц и Герц! Вам станет все понятно, если скажу, что дядя Герц держит пару рысаков, имеет собственный экипаж, который так гремит, что все местечко выбегает поглядеть, как катит дядя Герц. А дядя Герц, со своей пышной медно-красной бородой и строгими серыми глазами, величественно восседает в экипаже, важно покачиваясь из стороны в сторону, и поглядывает на всех сверху вниз сквозь свои серебряные очки, точно хочет сказать: «Куда вам, мелюзге, до меня! Я — богач Герц, разъезжаю в собственной карете, а вы — голодранцы, нищие, шлепаете по грязи».

Не знаю, как другие, но я дядю Герца терпеть не могу; ненавижу я его красное лицо, его жирные щеки, его медную бороду и серебряные очки на носу, его большой живот с массивной золотой цепью на середине, его круглую шелковую ермолку на голове. Но больше всего ненавижу я его покашливание. У него особенный такой кашель, — кашляет, дернет плечом, откинет назад голову и фыркнет, точно хочет сказать: «Внимание! Это я, Герц, кашлянул. И не потому, что я, упаси господи, простужен, но просто так, захотел и кашлянул».

Никак не пойму я моих родных: что это с ними творится, когда приходит праздник пурим и мы начи-

наем собираться к дяде Герцу на трапезу? Казалось бы, все в доме у нас любят его, как хорошую хворобу, а мама, которая приходится ему родной сестрой, тоже не слишком тоскует по нему. Когда старших детей нет дома (меня мама, видно, мало стесняется), она благословляет дядю Герца странным образом: она желает ему, «чтобы он в будущем году оказался в ее положении». Но пусть кто-нибудь другой попробует дурно отозваться о дяде Герце, она глаза выцарапает. Однажды я был свидетелем, как мой отец попался на слове. Он лишь спросил у мамы: «Что слышно? Твой Герц уже приехал?» Тут мама задала ему такую взбучку, что бедный отец не знал, куда ему деваться.

— Почему это «мой» Герц? Что это за разговоры? Что за выражение? Почему именно «мой»? Почему?

— Конечно, твой, а то чей же? Мой, что ли? — пробует отец отразить удар, но ему это не удается, мама атакует его со всех сторон.

— Ну, а если мой, то что? Ну, мой! Тебе это не по нраву? Это роняет твое высокое достоинство?! Ты, наверное, истратил на него отцовское наследство?! И ты, конечно, никогда никакого добра от него не видал?!

— Да кто говорит, что не видал? — пробует отец по-хорошему. Он готов уже сдаться.

Но не тут-то было. Мать не перестает наступать:

— У тебя, наверное, лучшие братья, чем у меня, да? Знатней, почтенней, добрей, богаче, да?

— Ну, довольно! Будет уж! Конец! Оставь ты меня в покое! — кричит отец, нахлобучивает шапку и выбегает из дому. Отец опять потерпел поражение, а мать и на этот раз победила. Она всегда побеждает, и не потому, что она у нас верховодит, но потому, что дядя Герц... Потому что дядя Герц — богач, а мы его бедные родственники — всего лишь его родня.

3

Что, собственно, нам до дяди Герца? Кормит нас, поит, благодетельствует нам? Не знаю, не могу сказать. Вижу лишь, что у нас в доме все, от мала до велика, боятся его, как смерти. Подходит праздник пурим, и у нас уже за две недели начинают готовиться к трапезе. Мой старший брат Мойше-Авром, юноша

с бледными, впалыми щеками и черными задумчивыми глазами, приглашает себе пейсы всякий раз, как только при нем произносятся: «У дяди Герца за трапезой...» Что уж там говорить о моих двух сестрах — Мирьям-Рейзл и Хане-Рохл (одна из них уже невеста)! Эти ради вечера у дяди Герца сшили себе платья «по последнему фасону», накупили красивых гребешков и лент в косы. Они надеялись, что и ботинки им починят, но мама отложила это до пасхи, хотя ей очень больно, что они, бедняжки, ходят почти разутые. Особенно страдает она из-за Мирьям-Рейзл; ее беспокоит, как бы жених не заметил, что невеста ходит в рваных башмаках. Сестра и без того немало терпит от своего жениха. Мало того что он неуч, выдающий себя за бухгалтера, на самом же деле попросту приказчик в лабазе,— он к тому еще и ломается. Ему, видите ли, нужно, чтобы его невеста, то есть моя сестра, наряжалась по последней моде, как какая-нибудь принцесса.

Каждую субботу после обеда этот самый приказчик приходит к нам в гости, усаживается с моими сестрами у окна и заводит разговор; разговор этот почти всегда о нарядах, о новых костюмах, о лакированных сапожках с калошами, о модных шляпках с перьями, о зонтиках с кружевами; говорят они также о наволочках с прошвой, о матрасах в красных наперниках, которые покрывают белой простышкой и застилают сверху хорошим одеялом, настоящим теплым байковым одеялом. Лечь в такую постель зимой одно наслаждение! И я вижу, как моя сестра Мирьям-Рейзл становится вдруг красной, как мак. Такой уж у нее характер, чуть что, сразу кровь приливает ей к лицу. Когда жених нечаянно глянет ей на ноги, она быстро прячет их под стул, боится, как бы он не заметил ее стоптанных каблучков и торчащих наружу пальцев.

4

— Ты уже готов? — спрашивает мама у отца днем в праздник пурим.

— Давно уже готов,— отвечает отец и надевает праздничную бекешу.— Как дети?

— Дети тоже почти готовы,— отвечает мама, хотя прекрасно знает, что дети, то есть мои сестры, еще далеко не готовы. Они еще только расчесывают волосы,

мажут их миндальным маслом, причесывают друг дружку, прихорашиваются, надевают свои новые платья, смазывают ботинки гусиным смальцем, чтобы они блестели, казались новыми. Но какой уж тут блеск, когда каблуки — ох уж эти каблуки! — совсем сели, а пальцы чуть ли не торчат наружу! Что бы это придумать, чтобы, упаси господи, жених не приметил? И как назло, черт несет его к нам, приказчика этого, в новешеньком костюме, с сильно накрахмаленным воротничком, с зеленым модным галстуком; а из густо накрахмаленных белых манжет торчат две здоровенные красные руки с черными ногтями, только что постриженные волосы стоят дыбом. Он вытаскивает из кармана белый накрахмаленный носовой платок, от которого так разит духами (смесь гвоздики и ноготков), что у меня начинается щекотать в носу и я чихаю; а от чиханья лопается мой кафтанчик, две пуговицы на нем отскакивают прочь. Ну, тут уж мама устраивает мне настоящую головомойку.

— Вот балбес! И пуговицы на нем не держатся! Чтоб тебя не разорвало! — Так, поругиваясь, мама хватает иголку с ниткой и принимается пришивать на мне отскачившие пуговицы.

Когда наконец все готовы, мы отправляемся к дяде Герцу на ужин. Впереди всех, высоко подобрав полы бекеши, шествует отец; за ним, так как на улице непролазная грязь, в мужских сапогах шагает мама; за нею — обе сестры с зонтиками в руках (не знаете ли вы, к чему в пурим зонтики?); за сестрами выступает мой старший брат Мойше-Авром. Он держит меня за руку и выискивает место, где посуше, но каждый раз попадает в самую грязь и всякий раз вскрикивает, как ошпаренный: «Уф-фа!» В стороне идет приказчик, наш жених, в новых глубоких калошах, единственный среди нас в калошах, и каждую минуту громко выкрикивает, чтобы все слышали: «Ах, не набрать бы мне в калоши!»

И вот так мы являемся к дяде Герцу на трапезу.

5

Хотя на дворе еще день, но у дяди Герца уже зажгли свечи, много свечей; на столе горят лампы, по стенам бра. Стол накрыт. Большое место на нем занял

огромный праздничный пирог с маком, величиной с целого вола. А вокруг стола толчется вся наша родня — все дядя и тетки, как на подбор, — одни чуть победнее, другие чуть побогаче! Они тихо переговариваются между собой и напряженно ждут, как на обрезании, когда вот-вот должны внести младенца. Дяди Герца не видно, а тетя, женщина со вставной челюстью, синегубая, в белом жемчуге, озабоченно мечется вокруг стола; она расставляет тарелки, пересчитывает всех нас левой рукой, ничуть не беспокоясь о том, что это может принести нам несчастье.

Но вот открывается дверь, и появляется сам дядя Герц, одетый во все праздничное. На нем шелковая блестящая бекеша с широченными рукавами, меховая шапка, которую он надевает только в пурим к трапезе и в пасху к торжественной вечере. Вся родня отвешивает ему почтительный поклон, мужчины как-то странно улыбаются, потирают руки, женщины поздравляют его с праздником, а мы, детвора, стоим как истуканы и не знаем, куда деть свои «лапы». Сквозь серебряные очки дядя Герц окидывает нас всех, всю свою родню, одним коротким взглядом и, кашлянув, неопределенно машет рукой.

— Ну, что же вы не сидите? Садитесь, вот стулья!

Вся родня мгновенно рассаживается, но каждый сидит на кончике стула, боится прикоснуться к столу — как бы чего не испортить, и глубокое молчание воцаряется в зале. Слышно, как потрескивают свечи; мельтешит в глазах, на душе неладно. Хотя все голодны, но есть уже никто не хочет; аппетит сразу пропал.

— Что же вы молчите? Потолкуйте, расскажите что-нибудь! — говорит дядя Герц и кашляет, при этом подергивает плечами, откидывает назад голову и фыркает.

Родня молчит. Никто и слова не смеет вымолвить у дяди Герца за столом. Глуповато улыбаются мужчины: хотелось бы что-нибудь сказать, да не знают, с чего начать; растерянно переглядываются женщины, а мы, детвора, горим, как в огневице или в оспе. Мои сестры разглядывают друг дружку так, точно они впервые в жизни встретились. Мой брат Мойше-Авром глядит куда-то в пространство, и лицо у него бледное, перепуганное. Нет, никто не решается вымолвить слово у дяди Герца за столом. Лишь один человек, как всегда и везде, чувствует себя хорошо, — это приказчик, жених

нашей Мирьям-Рейзл. Он вытаскивает из заднего кармана свой большой накрахмаленный и сильно надушенный платок, громко сморкается, как у себя дома, и говорит:

— Удивительно, чтобы в пурим была такая грязь! Я все боялся, сейчас наберу в калоши...

— Кто этот молодой человек? — спрашивает дядя Герц, сняв серебряные очки, и, кашлянув, дергает плечами, вскидывает голову и фыркает.

— Это мой... мой жених... жених моей Мирьям-Рейзл,— еле слышно говорит отец, точно человек, который кается в совершенном убийстве.

Мы все застываем на месте, а Мирьям-Рейзл,— о, боже мой! — Мирьям-Рейзл пылает, как соломенная крыша.

Дядя Герц вновь оглядывает родню своими строгими серыми глазами, вновь дарит нас своим «кхе-кхе», опять дергает плечами, вскидывает головой, фыркает и говорит:

— Ну, что ж вы не моетесь? Мойте руки. Вот вода!

6

Омыв руки и прошептав наскоро молитву, вся родня вновь рассаживается вокруг стола и ждет, когда дядя Герц совершит благословение и надрежет огромный праздничный пирог, тот самый, что величиною с вола. Все сидят, как немые. Мы бы уж не прочь что-либо отведать, да, как назло, дядя Герц устраивает всякие церемонии, точно праведник какой. Еле-еле дождались. Наконец-то нарезали пирожнице величиною с вола. Но не успели мы и куска проглотить, как дядя Герц уже подымает на нас свои строгие серые глаза, кашляет, дергает плечами, запрокидывает голову и фыркает:

— Ну, что же вы не поете? Спели бы что-нибудь! Ведь нынче пурим на земле!

Родня переглядывается, шушукается, переговаривается шепотом; один другому предлагает: «Спой что-нибудь!», «Спой ты!», «Почему я, а не ты?». Торгуются так долго, пока наконец не выскакивает один — Авремл, сын дяди Ици,— человек без растительности на лице, моргающий глазами, обладатель пискливого голоса, мнящий себя почему-то певцом.

Что хотел спеть Авремл, не знаю. Знаю лишь, что нужно было быть ангелом, самым богом, чтобы не прыснуть со смеху, когда Авремл взялся двумя пальцами за горло, состроил плаксивое лицо, сразу сбился на фальшивый тон и визгливо затянул неестественно высоко что-то дикое и тягучее. А тут еще напротив сидят ребята и таращат на него такие глаза! Нет, не покатыться со смеху никак нельзя было!

И первым прыснул я, зато и первую оплеуху от матери получил тоже я. Однако эта пощечина меня не охладила, наоборот, она вызвала хохот у всей оравы ребят и новый взрыв смеха у меня. А новый смех привел к новой пощечине, новая пощечина — к новому смеху, новый смех — к новой пощечине, и так до тех пор, пока меня наконец не выволокли из зала на кухню, из кухни на улицу, а там уже, избитого, истерзанного, обливающегося слезами, кровавыми слезами, отвели домой.

В тот вечер я проклинал себя, проклинал пурим, трапезу, проклинал Авремла, сына дяди Ици, но больше всего дядю Герца, — да простит он мне: он теперь уже в лучшем из миров. На его могиле стоит надгробный камень, лучший памятник на нашем кладбище; на том камне золотыми буквами перечислены все добродетели, которыми отличался дядя Герц при жизни:

«Здесь покойся человек благочестивый, добрый, сердечный, добродетельный, щедрый, приветливый, отзывчивый, любезный со всеми, и т. д. и т. д.

Да обретет душа его вечную жизнь».

ТРИ ГОЛОВКИ

1

Если бы перо писателя могло превратиться в кисть художника или хотя бы в аппарат фотографа, то я бы, друг мой, подарил тебе в честь пятидесятницы картину с изображением редкостной группы: ты бы увидел три хорошеньких юных головки, трех бедных, разутых и раздетых еврейских детей. У всех трех головок черные вьющиеся волосы, большие сияющие глаза, которые смотрят на вас, как бы чему-то удивляясь, и спрашивают: «Почему?» А вы восхищаетесь, глядя на эти головки, и чувствуете какую-то вину перед ними: как

будто вы виноваты в том, что они появились на свет божий, появились на свет три лишних существа.

Три хорошеньких головки принадлежат двум братьям — Абрамчику и Моисейчику — и их маленькой сестренке Двойрке. Абрамчик и Моисейчик — так, на русский лад, называл мальчиков их отец, переплетчик Пейся. Если бы он не стеснялся своей жены Песи и не был бы таким отчаянным бедняком, он бы и себя переименовал из Пейси-переплетчика в Петю-переплетчика. Но так как он слегка побаивался жены и так как он, не в обиду будь сказано, гол как сокол, он пока остался при старом имени — Пейся-переплетчик — в ожидании лучших времен, тех счастливых времен, когда все переменится, как Бебель говорит, и как Карл Маркс говорит, и как все хорошие умные люди говорят. Вот тогда-то, вот тогда все будет по-другому. А пока наступят эти добрые счастливые времена, надо стоять с рассвета до поздней ночи за верстаком, резать картон и клеить коробочки. И Пейся-переплетчик целые дни проводит на ногах, и режет картон, и клеит коробочки. Помогает он себе старыми и новыми еврейскими и нееврейскими песнями. Большею частью это песни полугрустные-полувеселые с полугрустными-полувеселыми мелодиями.

— Перестанешь ты когда-нибудь петь эти песенки? И надо же так влюбиться в иноверцев! С тех пор как переехали в большой город, настоящим православным стал, прости господи...

2

Все трое — Абрамчик, Моисейчик и Двойрка — родились и выросли в углу между стеной и печью. Все трое каждый день видят одно и то же: веселого отца, который режет картон, клеит коробки и поет песни, и озабоченную, высохшую мать, которая варит и печет, убирает и метет, и всегда торопится, и никогда не успевает. Оба всегда заняты: мать — у печки, отец — за верстаком. Кому нужны все эти коробки, зачем столько картонок? Папиных коробок, наверно, на весь мир хватило бы. Так размышляют три хорошеньких головки, с нетерпением дожидаясь, когда же у отца снова накопится много-много коробочек, тысяча коробочек, и он, наполнив ими корзины, поставит одну на голову, а другие две возьмет в обе руки и пойдет на

базар; а домой он вернется без коробок, но с деньгами для мамы и с баранками, крендельками или конфетами для детей. Какой же у них хороший отец, до того хороший, ну просто замечательный! Мама тоже хорошая, но сердитая. Только и жди от нее шлепка, пинка или оплеухи. Мама не любит, когда в доме беспорядок, она не хочет, чтобы дети играли в папу и маму, она не хочет, чтобы Абрамчик кромсал падающие со стола куски картона, чтобы Моисейчик таскал клей у отца и чтобы Двойрка пекла хлеб из песка и воды. Мама хочет, чтобы дети сидели тихо, спокойно. Мама, видно, не знает, что три головки работают, что юные души куда-то влечет, влечет... Куда же их влечет? К свету, конечно, к свету — к окну.

3

Всего лишь одно окно, одно-единственное окошечко. Три головки спорят из-за места у этого окна. Что же видят они в окно? Стену, высокую, широкую, серую и сырую стену. Никогда не просыхает эта стена, даже летом. А навещает ли детей когда-нибудь солнце? Конечно, навещает. Не полное солнце, разумеется, а солнечный луч. Тогда в доме праздник. Все три хорошеньких головки припадают к окну и смотрят вверх и видят высоко-высоко длинную узкую синюю полосу, похожую на длинную узкую синюю ленту.

— Смотрите, смотрите, это небо!

Так говорит Абрамчик, Абрамчик знает. Абрамчик ходит в хедер. Он там учится складывать буквы. Хедер помещается неподалеку, в соседнем доме, даже не в соседнем доме, надо только войти в соседнюю дверь. Ах, каких только чудес не видит Абрамчик по пути в хедер! Абрамчик рассказывает, что он сам видел — видеть бы ему так всякое добро — большой каменный дом, сплошь из окон, сверху донизу; Абрамчик клянется, что он сам видел — видеть бы ему так всякое добро — высокую трубу, а из высокой трубы валил дым; Абрамчик рассказывает, что он сам видел — видеть бы ему так всякое добро — машину, на которой шьют без рук; Абрамчик рассказывает, что он сам видел — видеть бы ему так всякое добро — телегу, которая ездит без лошадей. Много еще чудес рассказывает Абрамчик и божится при этом точь-в-точь как мама: «Видеть бы мне

так всякое добро». А Моисейчик и Двойрка слушают его, и вздыхают, и завидуют ему: все на свете знает Абрамчик, все, все.

Например, Абрамчик знает, что дерево растет. Правда, сам он тоже никогда не видел, как растет дерево. Нет у них на улице деревьев, нету. Абрамчик, однако, знает (он слышал об этом в хедере), что на деревьях растут фрукты. Поэтому, прежде чем отведать какой-нибудь фрукт, произносят молитву «Сотворившему древесные плоды». Абрамчик знает (чего он только не знает!), что картошка, например, или огурцы, или лук, или чеснок растут на земле, и поэтому, прежде чем есть их, произносят молитву «Сотворившему плоды земли». Все знает Абрамчик. Не знает он только, где и как все это растет, потому что так же, как Моисейчик с Двойркой, он никогда ничего подобного не видел: ведь у них на улице нет поля, нет огорода, нет деревьев и травки нет, нет и нет... У них на улице есть большие каменные дома, серые стены, высокие трубы, из которых идет дым, и много-много окошек в каждом большом доме, тысячи окошек у них на улице, и машины, которые шьют без рук, и телеги, которые ездят без лошадей, а больше ничего, ничего. Даже птичку здесь редко увидишь. Если и залетит когда-нибудь воробушек, так и он сер, как эта серая стена. Ткнется в серый камень: «пи-пи...» — вспорхнет и улетит. Что касается птиц, то иногда по субботам дети видят четверть курицы с бледной вытянутой ножкой. Сколько ножек у курицы? Само собой разумеется, четыре. Так же, как у лошади. К такому решению приходит старший, Абрамчик, а ведь Абрамчик все знает! Иногда мама приносит с базара куриную головку с закатившимися глазами, подернутыми тонкой белой пленкой. «Она мертвая», — говорит старший, Абрамчик. И все трое смотрят друг на друга большими черными глазами и вздыхают. Рожденные и выросшие в большом городе, в каменном доме, в тесноте, заброшенности и бедности, они не имели возможности увидеть живого зверя, птицу, даже коровы никогда они не видели, никого, никого, кроме кошки. Кошка у них своя, живая, настоящая серая кошка, серая, как высокая серая сырая стена. Кошка — их единственная радость. С кошкой играют они часами, повязывают ей голову платком, называют ее сватьей и смеются, смеются без конца! Завидит эти игры мама и всыплет детям: кого пинком наградит, кого оплеухой, а кому

и уши надерет. И дети уходят на свое место, за печку. Старший, Абрамчик, рассказывает что-то, а младшие, Моисейчик и Двойрка, слушают, смотрят на старшего брата большими глазами и слушают. Абрамчик говорит, что мама права, Абрамчик говорит, что с кошкой нельзя играть, потому что кошка — нечистая тварь и пакостница. Все знает Абрамчик, все, все. Нет такой вещи на свете, которой бы Абрамчик не знал.

4

Все знает Абрамчик. Абрамчик знает, что есть страна, очень далекая страна, которая называется Америкой. Там, в этой Америке, у их родителей много друзей и знакомых. Туда, в эту Америку, вся семья переедет, с божьей помощью, в будущем году, когда получит шифскарты. Без шифскарт нельзя ехать в Америку, потому что надо плыть через море, а на море буря, и буря швыряется, и это опасно для жизни. Все, все знает Абрамчик.

Все, все. Даже что делается на том свете. Он, например, знает, что на том свете есть рай, специально для евреев, конечно. В раю много деревьев с самыми лучшими плодами, в раю текут молочные реки, алмазы и брильянты валяются на улицах, только не ленись набивать карманы. Благочестивые евреи сидят там день и ночь за молитвой и наслаждаются божьей благодатью.

Абрамчик рассказывает, а у Моисейчика и Двойрки загораются глаза, они завидуют старшему братишке, который знает все на свете. Все он знает, даже то, что делается на небе. Абрамчик божится, что два раза в год: ночью гейшанорабо и в ночь на пятидесятницу, — раскалывается небо. Правда, он сам никогда еще не видел, как раскалывается небо, потому что у них на улице нет неба, но зато видели его товарищи. Да, они клянутся, что видели собственными глазами — видеть бы им так всякое добро, — как раскалывается небо, не будут же они клясться в том, что не видели, ведь это грех! Как жалко, что на этой улице нет неба! Есть только длинная узкая синяя полоса, похожая на длинную узкую синюю ленту. Что можно разглядеть на таком клочке, кроме двух-трех маленьких звездочек и кусочка луны? Чтобы убедить своего младшего братишку Моисейчика и свою младшую сестренку Двойрку

в том, что небо действительно раскалывается, Абрамчик теревит за платье мать.

— Мама, правда, сегодня, в пятидесятницу, около полуночи расколется небо?

— Голову я тебе расколю.

Такую отповедь получает Абрамчик от матери. Теперь ему остается только поджидать отца. Отец отправился на базар с целой горой коробочек.

— Ну-ка, угадайте, какой подарок принесет нам сегодня отец?

Так говорит Абрамчик, и все три головки принимают гадать, какие же гостинцы принесет им с базара отец. Они загибают пальцы, перечисляя все, что есть на базаре, все, что глаз человека может увидеть и сердце человека может пожелать: баранки, крендельки, конфеты... Но на сей раз ни один из них не угадал. Боюсь, что Пейся-переплетчик не принес ни баранок, ни крендельков, ни конфет. А принес он траву, целую охапку травы — длинной, зеленой, пахучей, удивительной травы.

Три хорошеньких головки окружают отца.

— Папа, что это?

— Это зелень.

— А что такое зелень?

— Зелень на праздник. Евреям в праздник нужна зелень.

— А где ее берут, папа?

— Как так, где берут? На базаре покупают, на базаре.

Так говорит отец и разбрасывает по свежевymетенному полу зеленую пахучую траву и радуется, что в комнате зелень и что зелень пахнет, и говорит маме весело, как всегда:

— Песя, с праздником тебя!

— Поздравляю, мусору в доме не хватало, будет выродам твоим чем сорить!

Так отвечает мама, как всегда недовольная, и, по своему обыкновению, награждает детей: одного — пинком, другого — шлепком, третьего — оплеухой. Чудная у них мама! Ничего-то ей не нравится, вечно она невеселая, вечно озабоченная, совсем не похожа на отца!

И три хорошеньких головки смотрят на мать, смотрят на отца, смотрят друг на друга, а когда родители отворачиваются, бросаются на пол, припадают к пахучей траве, целуют пахучую траву, которая называется

зеленью, которая нужна евреям на праздник и которую покупают на базаре.

Все есть на базаре, даже зелень. Все покупает папа, все нужно евреям, и все есть у евреев, даже зелень, даже зелень!

ЧЕТА

Чудовищная история о том, как однажды два невинных существа были среди ночи разбужены, связаны, отвезены на ярмарку и проданы дикарям; как те целый месяц кормили их на убой, а за день до пасхи зарезали, как баранов

ОТ АВТОРА

Рассказчик просит читателя не искать в этой истории каких-то аллегорий, не строить догадок насчет того, кого писатель имел тут в виду. В рассказе нет и намека на аллегорию и даже, если хотите знать, ни на грош того, что у нас называют символизмом. Это самое простое повествование — без какого-либо умничания и претензии на глубокомыслие — о двух невинных божьих созданиях, которые жили, любили, мечтали, терзались, предавались надеждам и пали от рук жестоких убийц как раз в канун пасхи ни за что ни про что.

Нерви (Италия)

1

Страшная ночь

Это стряслось в одну из черных, тонуших в вязкой грязи предпасхальных ночей. Все было окутано мраком, все было погружено в сон. Кругом была такая тишь и оцепенение, что даже рыба в воде и та боялась высунуть голову на божий свет в эту застывшую, черную, недвижимую ночь. В такую ночь у ангела сна хлопот полон рот. Он, не жалея красок,

полной горстью рассыпает вокруг фантастические сны, в которых ни складу ни ладу, нелепица на нелепице.

Сны, которые видел в эту ночь герой нашего повествования, были странные, необычайные, дикие. Целую ночь ему снились птицы — куры, гуси, утки. Какой-то красный петушишка, совсем еще юнец, однако до крайности дерзкий, нагло прыгал перед самым его носом, гоготал и пел странную песенку:

Кукареку, длинный нос!
Будешь пойман, точно пес,
Будешь связан, бит в свой срок,
Будешь брошен на возок,
Будешь крепко весь истерзан
И, как курица, зарезан!..

Свою песенку петух закончил громким «кукареку».

Шнырявшие вокруг куры, гуси, утки, как снилось нашему герою, кудахтали, гоготали, смеялись над ним какими-то невероятными голосами и так громко, что он, разобидевшись, кинулся расправляться с петухом-хулиганом. Тут охватившее нашего героя возмущение заставило его проснуться, он с бьющимся сердцем раскрыл глаза и увидел пламя свечи, услышал шум, гам, топот ног и дикие крики:

— Не этот! Вон тот! Да, да!.. Бери его! Хватай! Вяжи его!.. Осторожней ноги!.. Не выверни ему ногу!.. Вот так!.. Готово? Ну, трогай! Трогай! Ночь не ждет!.. Марш в повозку!..

И он почувствовал, как крепкие руки, будто клещи, схватили его, связали, спутали ноги, потом рванули кверху и швырнули в просторную, на высоких колесах повозку. В повозке лежало еще одно такое же существо, как он, но это была, кажется, женщина. Она вся дрожала.

Два человека все время вертелись подле них, один дикарь был без шапки, другой — в малахае. Тот, что с непокрытой головой, возился в задке, осматривал возок, лошадей, щупал колеса. Наконец человек в малахае забрался в повозку и так плюхнулся пленникам на ноги, что те чуть с ума не сошли от боли.

— Смотри, чтобы они у тебя не развязались и не выскочили! Слышишь или нет? — крикнул человек без шапки человеку в малахае.

Но тот ничего не ответил, хлестнул как следует лошадей, и повозка покатила.

Как они пережили эту ночь и не испустили дух на повозке только от одного испуга, просто уму непостижимо! Где они? Куда их везут? За что им это? Почему?

В темноте они не могли как следует увидеть один другого. Только когда начало светать, они оглядели друга друга и стали негромко разговаривать.

— Доброе утро, мадам.

— Здравствуйте, доброе утро.

— Я мог бы поклясться, что вы из наших... Из Индии...

— Не клянитесь, вам верят на слово.

— Я вас сразу узнал по ожерелью.

— Это говорит о том, что вы наблюдательны.

Прошло несколько минут, и наш герой снова обратился к соседке:

— Мадам, как вы себя чувствуете?

— Всем моим врагам желаю так себя чувствовать.

Помолчав немного, он, пригнувшись к самому ее уху, шепотом сказал:

— Мадам, я хочу вас кое о чем спросить...

— Спрашивайте.

— В чем вас обвиняют?

— В том же, в чем и вас.

— Я спрашиваю, в чем вы виновны?

— В том же, что и вы.

— Мне кажется, вы немного раздражены?

— Раздражена? Нахал! Уселся мне на ноги, так что глаза у меня от боли на лоб лезут, и еще говорит — раздражена!

— Да что вы такое говорите, мадам? Я сижу у вас на ногах?

— А кто же?

— Это вон тот дикарь в малахае, чтоб ему пропасть!

— Вот как! А я думала, это вы прижали мне ноги. Извините, если я вас обидела.

Вот все, что им удалось сказать друг другу. Малахай вдруг, точно пробудившись от сна, со злостью хлестнул лошадей, повозка запрыгала, и два существа стали

прислушиваться к тому, как у них там все переворачивается внутри.

Внезапно повозка остановилась, и их глазам предстало такое, чего они никогда в жизни еще не видывали.

3

Из одной неволи в другую

Впервые им довелось увидеть такое скопление коней, коров, телят, свиней и человеческих существ. Бесконечное количество человеческих существ! Разного рода повозки с поднятыми сверху оглоблями были полны всякого добра, хлеба, живности — гусей, уток, кур. А там, в стороне, одна на целой подводе лежала связанная свинья и выражала протест таким визгом, что можно было оглохнуть. Но кто внимал ей? Все были заняты своими делами, переговаривались, мчались куда-то, — на то и ярмарка.

Сюда вот и привез их дикарь в малахое. Он слез с подводы и стал возиться со своими пленниками. А те, придя в себя, почувствовали, как сильно бьется у них сердце: «Что он станет с нами делать? Может, развяжет, освободит, велит идти на все четыре стороны, куда глаза глядят?»

Ах, напрасная надежда! Дикарь лишь приподнял их чуть выше, вероятно, чтобы покупатели лучше видели их. Какой срам! Какой позор! А может быть, это к лучшему? Пусть видит их весь свет! Может, здесь найдется добрая душа, которая подойдет, посочувствует им, спросит у этого дикаря: за что это он их? Почему?

Так размышляли несчастные пленники. И случилось точно так, как они задумали, — нашлась-таки добрая душа, какая-то толстуха в турецкой шали. Она подошла к повозке, заглянула внутрь и спросила у малахая:

— Ты привез эту парочку?

— А тебе что?

— Индийские?

— А что ж они, турки?

— Сколько прикажешь заплатить за них?

— Откуда у тебя столько денег?

— Если б у меня не было денег, зачем бы я стала толковать с таким хамом, как ты?

Вот так переговаривались между собой турецкая шаль и малахай. Потом у них пошел долгий торг. Ди-

карь в малахее был холоден как лед, а турецкая шаль горячилась, прыгала, убегала от повозки и вновь возвращалась. Тогда они снова принимались торговаться, пока наконец малахай не взбеленился и не обругал ее.

Парочка между тем обменялась несколькими фразами:

— Мадам, вы слышите?

— Слышу, конечно. Почему мне не слышать?

— Кажется, нас хотят выкупить из неволи.

— Похоже на то.

— Чего ж она торгуется, как за гусей?

— Такое уж наше несчастье!

— Пусть хоть головой о стенку бьются, лишь бы нам выйти на волю.

— Амины! Дай господи!

Слава богу, турецкая шаль уже сунула руку в карман за деньгами.

— Значит, не уступишь?

— Не уступлю.

— Последнее слово?

— Последнее слово.

— А может быть?.. Ну ладно! Смотри, какой злюка!.. На тебе деньги! На!

И наша пара перешла от дикаря в малахее к толстухе в турецкой шали.

4

Среди дикарей

Как только пленников доставили на новое место, их тотчас развязали, и они с удовольствием ощутили твердую землю под ногами. Оба вытянули затекшие ноги, принялись шагать из угла в угол, проверяя, служат ли они им еще. От большой радости пленники и не заметили, что до подлинной свободы еще далеко, а спустя немного времени обнаружили, что они снова в неволе. Их засадили в какой-то темный угол. С одной стороны здесь была теплая печь, с другой — холодная стена, а спереди от света отгораживала перевернутая лестница. Им принесли еду и питье и оставили одних, как говорится, на попечение божье.

Разглядев свое новое жилье, оба они стали друг против друга, надулись, как это часто бывает с совершенно незнакомыми, смотрели, смотрели, затем, повер-

нувшись, извините, задами, разошлись в разные стороны, и каждый погрузился в свои думы.

Однако долго думать им не пришлось. Вскоре раскрылась дверь, и к ним в темницу шагнула сначала турецкая шаль, а за ней еще несколько женщин. Каждую из них турецкая шаль брала за руку, подводила к пленникам и, указав на чету пальцем, спрашивала с сияющим лицом:

— Нравится вам эта парочка?

— Сколько вы за них отдали?

— Угадайте!

Женщины принялись гадать, и ни одна не была близка к истине. Когда же турецкая шаль назвала им настоящую цену, они всплеснули руками.

— В самом деле? Правда?

— Дай нам бог всем иметь такую веселую пасху, как это правда!

На лицах у женщин мелькнула зависть, щеки их запылали, глаза зажглись, но со всех сторон тотчас посыпались благие пожелания:

— На здоровье вам!

— На благо вам!

— Дожить вам до будущего года!

— И мужу и деткам!..

— Аминь. И вам также! И вам также!..

Женщины ушли.

Через минуту турецкая шаль вновь появилась. Она притащила с собой какого-то дикого мужчину, до глаз обросшего красными волосами, и опять спросила, сияя:

— Ты ведь знаток! Что ты скажешь об этой парочке?

— Я знаток? Какой же я знаток?

— Да ведь ты ученый. А где ученье, там и мудрость. Как думаешь, может уж теперь бог послать нам радостную пасху? Ведь это все ради его святого имени.

Обросший человек, поглаживая рыжие волосы, вознес глаза к потолку и с миной святоши произнес:

— Пусть бог даст радостную пасху всем евреям!

Турецкая шаль и обросший человек удалились, и наша пара вновь осталась одна. Оба они, мрачные, застыли в молчанье на одном месте. Потом у нее из горла вырвался какой-то странный звук — не то кашель, не то визг.

Он тотчас обернулся.

— Мадам, что с вами?

— Ничего. Я вспомнила о доме.

— Глупости. Об этом надо забыть. Лучше давайте посмотрим, где мы и что можно предпринять.

— Где мы? Глубоко в могиле. Дела наши совсем плохи.

— Например?

— Вы еще спрашиваете? Не видите, что нас продали дикарям, как продают, например, кур, уток или гусей?

— Что они с нами будут делать?

— Уж найдут что делать! Когда я еще была ребенком, то наслышалась немало рассказов о том, что делают дикие люди с такими, как мы, когда они попадут к ним в руки.

— Да ну, сказки! Не верьте бабушкиным сказкам!

— Это не сказки. Я сама слышала. Моя сестра рассказывала, что они хуже хищных зверей. Хищник, если поймает кого-нибудь из нас, разорвет и сожрет. И все тут. А эти...

— Те-те-те, мадам. Вы, кажется, смотрите на мир слишком пессимистично.

— Слишком как?

— Слишком пессимистично.

— Что такое пессимистично?

— Это значит... Это значит, вы смотрите через темные очки.

— Где вы увидели у меня очки?

— Ха-ха-ха.

— Чего вы смеетесь?

— Ох, какая вы, мадам!..

— Какая я?

Он хотел объяснить ей, какая она, но тут внезапно раскрылась дверь, и...

Читайте дальше!

5

Галт-дыр-на-дыр-нэм-дыр¹

Внезапно раскрылась дверь, и в закуток ворвался вихрь, казалось, затопал целый полк солдат. Это влетела ватага ребят-озорников, с красными щечками, с черными глазками. И все они разом кинулись к печи.

— Ну-ка, где они? Где?.. Вот они! Во-во! Эй, Янкл, Берл, Велвл, Эля, Гецл! Скорей сюда! Скорей!

¹ Игра слов, основанная на созвучиях: держи, возьми, бери.

Вот тут-то наша пара поняла, что такое ад кромешный. На их долю выпало великое горе, муки, страдания, позор без меры, без конца. На них напали ребята и, как дикие ослы, принялись прыгать и плясать вокруг четы, разглядывать со всех сторон, издеваясь и отпуская по их адресу всякие шуточки и непристойности.

— Йосл, посмотри, какой у него нос! Ха-ха-ха.

— Ну и носик! Берл, гляди, носик!

— Велвл, потяни его за нос!

— За клюв, Эля, за клюв!.. Вот так!

— Сильней, Гецл, пускай закричит!

— Все вы дураки! Они кричат, только когда свистнешь. Они не любят, чтобы свистели. Вот я вам сейчас покажу. Фью!

Чета надулась, оба покраснели, опустили к земле носы и в один голос закричали:

— Галдр! Галдр! Галдр!

Ребята с диким хохотом повторили крик по-своему:

— Галт-дыр-на-дыр-нэм-дыр!

Парочка еще больше разволновалась и закричала громче прежнего:

— Галдр! Галдр! Галдр!

Это очень понравилось ребятам. Держась за бока и покатываясь со смеху, они старались перекричать пленников.

От этого состязания крикунов закуток наполнился таким громом, что в комнату тотчас ворвалась турецкая шаль (пошли ей бог долгие годы!) и давай хватать ребят за шиворот и вышвыривать поодиночке на двор, наделяя каждого хорошим подзатыльником и сопровождая все это длинным-предлинным проклятьем:

— Чтоб на вас, господи, обрушились все несчастья — пожары, холера, мор; чтоб вас взяло за животы так, чтобы вы катались, и катались, и выкатились бы на тот свет в компании со всеми выкрестами, господи боже мой; чтоб до пасхи от вас не осталось ни одного в живых, боже мой милостивый, милосердный!

Избавившись от этой напасти, наша чета еще долго не могла прийти в себя. Неистовые выкрики, свист, хохот диких тварей долго звенели у них в ушах. Однако уже немного спустя наш герой стал подумывать, что вряд ли есть смысл так сильно страдать из-за этого злключения и лучше попытаться чего-нибудь перекусить. Неторопливо подойдя к завтраку, который им оставили, он обратился к подруге по несчастью:

— Мадам, сколько можно горевать? Пора бы что-нибудь перехватить! Жизнь есть жизнь, честное слово! Живую душу не выплюнешь. Не забудьте, что у нас сегодня еще ничего во рту не было.

— Кушайте на здоровье. Я не буду.

— Гм... Почему? У вас сегодня пост?

— Никакого поста... Просто так.

— Может быть, вы хотите их проучить?.. Голодать? Себя погубите, и только.

— Не знаю, как можно тут кушать. Ничего в горло не лезет.

— Полезет, полезет! Первый кусок, как пробочник, он пробьет ход.

— Как что?

— Как пробочник.

— Странные у вас разговоры.

— Ха-ха-ха.

— Опять «ха-ха-ха»? Что за смех?

— Мне припомнилась встреча с маленькими вырожденками.

— Ну конечно, как тут не хохотать!

— А что же, прикажете плакать?

— Почему вы, господин хороший, не смеялись, когда они свистели?

— А что же я делал?

— Вы галдели.

— Я галдел? Я?

— А кто же галдел? Я, что ли?

— Вы первая начали кричать — галдр, галдр, галдр!

— Извините, это вы первый начали кричать — галдр, галдр, галдр.

— Хорошо! Какой же тут стыд, если я первый сказал — галдр, галдр?!

— А какой позор, если я первая сказала — галдр, галдр?

— Но если это не стыдно, чего же вы, мадам, опустили нос?

— Кто? Я опустила нос?

— А кто же опустил нос?

— Ах, как легко увидеть чужой нос!..

Жаль, что этот занимательный разговор не мог дальше продолжаться. Его прервали на самой середине. К ним снова появился их властелин — турецкая шаль. Но об этом рассказывается ниже.

Турецкая шаль не одна, оказывается, властвовала над ними. Пленникам суждено было познакомиться еще с одной дикой тварью в образе зеленой девки в красном платке. Обе женщины появились с руками, полными всякого добра: в чашке у них был рис, горох и фасоль, в тарелке — вареная картошка и рубленые крутые яйца, а в отвисших фартуках — ломтики яблок и волошские орехи.

Поставив еду, зеленая девица ткнула пальцем в сторону четы и сказала турецкой шали:

— Замечательно, хозяйюшка! Посмотрите, ведь они даже не прикоснулись к еде!

— Пусть у меня после пасхи не будет большей заботы! Вот мы их сейчас покормим. Я подержу их, а ты пихай им в горло еду. Ну, девица, что ж ты стоишь? Чего скалишь зубы?

— Что они такое увидели на мне, что не переставая галдят: галдр, галдр?

— Ах, чтоб тебе сгореть, глупая девка! Сбрось скорей красный платок! Ведь они терпеть не могут красного!

— Фу, чтоб они пропали!

— Чтоб ты пропала, дурочка! Тебе это легче. Вот как!.. Почему ж ты не суешь ему в рот рис и фасоль?

— Почему не сую? За мной дело не станет. Я б совала ему хоть три дня подряд, да ведь, видите, не дается: вертит головой и не раскрывает рта.

— Ну, плевать нам на него. Вот я прижму ему горло, и он сразу раскроет у меня рот. Так! Толкай! Толкай!

— Ох, хозяйюшка, чтоб вы здоровы были! Что-то он слишком закатывает глаза. Смотрите, как бы не подавился.

— Самой бы тебе подавиться! Тебе это легче. Тоже ведь скажет — подавился! Будто это у меня первый раз. Суй ему прямо в горло! Вот так! Я уже двадцать один год хозяйствую... Теперь положи ему в рот кусочек яблока и ядрышко ореха. Еще! Еще! Чего ты жалеешь?

— Я вовсе не жалею. Чего ради мне жалеть? Это ведь не мое. Жаль только живое существо.

— Как тебе нравится эта девка? Ей жаль живое существо! Разве мы делаем это ему во вред? Ведь мы его кормим! И во имя кого это? Во имя господа бога. Во имя святого праздника. Всевышний должен облагодетельствовать меня — я уже выкормила ему к пасхе не одну парочку. Положи ему еще орешек — и конец. На этот раз с него хватит. *Он* уже сыт. А теперь возьмем за *нее* и начнем, как говорится, с утренней молитвы, это значит опять с риса и фасоли.

— Чтоб вы здоровы были, хозяйшка! Как это вы узнаете, где *он*, а где *она*?

— Ах, все напасти, которые мне приснились, на твою голову. Ей велят дело делать, а она лезет черт знает с чем! Выйди замуж, глупая девка, стань хозяйкой, тогда и будешь спрашивать. А пока делай что велят! Вот так!.. Не жалеи! Это не ради кого-нибудь, а ради его святого имени. К пасхе! К пасхе!

Кончив экзекуцию, обе женщины удалились, и наши пленники остались одни. Они забились в дальний угол, положили друг на друга свои несчастные головы и углубились в такие тоскливые думы, какие приходят на ум очень редко, разве только за полчаса до смерти.

7

Червяк заберется в хрен и думает, что слаще ничего на свете нет

Ничто так не сближает, как горе. Лучший пример тому — два несчастных героя нашего повествования. В короткий срок своей неволи они сошлись характерами, начали понимать друг друга с одного взгляда, уж не стеснялись, как раньше, и так сблизились, что перестали называть друг друга на «вы», — словом, это была одна душа, одно тело; он называл ее «душенька», она его — «любонька».

Турецкая шаль и красный платок, заявляясь сюда с пищей, не могли досыта налюбоваться на них.

— Что скажешь об этой парочке?

— Живется им, как у бога за печкой.

— Замечаешь, как они у меня поправились?

— Упаси их бог от сглаза!

— Возьми-ка их под мышки! Что скажешь? Каков жирок? Разве не должен всевышний облагодетельство-

вать меня за то, что я выкормила ему к пасхе эту парочку?!

Дикие женщины проделали свое дело и удалились, а чета стала размышлять над словами турецкой шали о том, что она кормит их к пасхе и что всевышний должен ее облагодетельствовать за это. Они изощрялись в поисках ответа на свои вопросы и немало спорили по этому поводу.

— Что такое пасха, любонька?

— Пасха, душенька, это у них такой праздник, праздник освобождения.

— Что значит — освобождения?

— Вот я тебе сейчас объясню. У них считается благим делом поймать таких вот, как мы, и кормить до самого праздника, который зовется пасхой. А когда наступит пасха, выкормышей отпускают. Теперь тебе понятно?

— Еще долго до праздника, который зовется пасхой?

— Как я понял из слов турецкой шали, не больше трех дней.

— Три дня?!

— Что ты так всполошилась, глупенькая? Эти три дня пролетят, как сон. А когда наступит добрый праздник пасхи, пред нами откроют все двери и скажут: «Айда, детки, идите туда, откуда вы пришли!» И тогда мы с тобой зашагаем...

— Ах, любонька, какие сладостные речи! Дай бог, чтобы все было, как ты говоришь! Я, однако, страшусь другого.

— Сердце мое, ты всегда страшишься.

— Жизнь моя, ты не знаешь дикарей.

— Откуда, душенька, ты их знаешь?

— Я, любонька, наслушалась немало историй о них еще дома. Моя сестра рассказывала, что она сама видела...

— Опять сказки твоей сестрицы! Забудь, душенька, эти сказки!

— Ах, милый, рада бы забыть, да не могу. Они терзают меня днем, не дают покоя ночью.

— Что ж это за истории, которые терзают тебя днем и не дают покоя ночью?

— Любонька, ты не будешь надо мной смеяться?

— Чего ж я буду, душенька, над тобой смеяться?

— Такая уж у тебя привычка: когда я что-нибудь

рассказываю, ты вечно надо мной смеешься, обзываешь дурочкой, гусыней, глупой индюшкой и тому подобными словами.

— Обещаю не смеяться, только Расскажи, что говорила тебе сестра.

— Сестра рассказывала, что люди, которых мы здесь видим, хуже диких зверей. Хищник, если поймает кого-нибудь из нас, разорвет и сожрет. И конечно. А люди поступают иначе. Если кто-нибудь из нас попадется им в лапы, они держат его взаперти, кормят до отвала, пока он как следует не раздобреет..

— Ну?

— А когда он раздобреет, люди убьют его, снимут шкуру, разрежут на части, посолят, вымочат...

— Ну, и дальше что?

— А дальше разложат огонь, зажарят в собственном соку и съедят вместе с потрохами.

— Бабушкины сказки! Сказки из «Тысячи и одной ночи»! Корова летела над крышей и снесла яйцо. А ты, глупая, веришь этому. Ха-ха-ха.

— Ну вот! Разве я не говорила, что ты будешь смеяться надо мной?!

— Как же иначе? Когда вы ровным счетом ничего не понимаете! Кажется, ты сотню раз слышала, как турецкая шаль говорила, что нас выкармливают не для кого-то, а для бога!

— Жизнь моя, что же из этого следует?

— Из этого следует, душа моя, что ты глупая индюшка, и только.

— У вас всегда такая привычка... Оскорбить кого-нибудь для вас — тьфу...

— Кто этот «вас»?

— Я говорю о вас, мужчинах.

— О мужчинах? Скольких же мужчин ты знала?

— Я знаю одного мужчину, и с меня достаточно.

— Нет, ты сказала «мужчин». Значит, кроме меня, ты знала других?

— Еще что выдумашь?

— Ну вот! Уже опустила нос. Поди сюда, я тебе что-то скажу...

Эта милая любовная сцена была внезапно прервана ребятами, которые столпились под окнами. Внутрь их не пускали, вот они каждый день и собирались теперь под окнами, прижимали носы к стеклу, крив-

лялись как сумасшедшие, показывали языки, хохотали, свистели и кричали всей оравой: «Галт-дыр-на-дыр-нэм-дыр!»

Чета, конечно, отвечала им на своем языке, но уже не так раздраженно, как раньше, а просто как отвечают, к примеру, на приветствие «Добрый день» — «Здравствуйте» или на «Прошу откусать» — «Кушайте на здоровье».

Как вы знаете, нет такого положения, к которому бы божье создание не привыкло. Наша чета настолько свыклась со своей бедой, что им уже казалось, что иначе и быть не может. Это вроде того червяка, который забрался в хрен и думал, что слаще ничего на свете нет.

8

Недобрая встреча со старым знакомым

Было раннее утро. На улице стоял густой туман, а в доме вовсе царил мрак. Наша парочка еще крепко спала. Им снился родной дом, беспредельные, широкие просторы, голубое небо, зеленая трава, серебряная речка, беспокойная мельница, которая грохочет и брызжет водой. У берега там плескались утки и гуси, по траве похаживали куры, кричали петухи, повсюду порхали птицы.

Ах, как прекрасен сотворенный для них мир! Для них? Конечно! Для кого же созданы эти высокие деревья с широкими кронами, под которыми можно вволю разгуливать?! Для кого эта мельница, подле которой они всем семейством кормились и куда не подпускали чужака за версту? Для кого этот огромный круглый небесный фонарь, который каждый вечер опускался по одну сторону реки и утром поднимался с другой стороны? Чего бы они сейчас не отдали, чтобы еще раз взглянуть хоть одним глазом на чудесное, милое пылающее солнце, на широкие, бескрайние светлые просторы, на мельницу и все вокруг нее?

Эти сладкие, золотые сны длились недолго. Нашу парочку разбудили и вытащили наружу. Чистый воздух туманного утра ударил им в лицо и обдал своей свежестью. Им казалось, что у них выросли крылья. Вот они поднимутся и полетят высоко над кровлями, над

садами, над лесами, туда, к родному дому. Там они встретятся со своими.

«— Благословенны пришельцы. Откуда вы?

— От дикарей.

— Как с вами обошлись?

— Кормили к пасхе.

— Что такое пасха?

— Это у них такой праздник, добрый, хороший праздник освобождения...»

Так мечтала связанная чета всю дорогу, пока наконец их не привезли в какую-то узкую, темную улочку и не бросили прямо в грязь. Тут они увидели забрызганную кровью стену и множество связанных по двое, по трое кур, лежавших на земле. В стороне стояли девушки и женщины; они перебрасывались шутками, зубоскалили.

Чета стала оглядываться по сторонам: «Для чего нас привезли сюда? Что делают здесь связанные куры? Чего смеются девушки и женщины? Что означает эта окровавленная стена? Вот это и есть добрый, милый праздник пасха? Где же свобода? Где воля?»

Так размышляла наша чета, разглядывая связанных кур, которые лежали тихо и мирно, не задаваясь никакими вопросами, будто все это так им на роду написано. Только одна крикливая курица не унималась. Она рвалась изо всех сил, била крыльями по грязи и вопила как сумасшедшая:

— Пустите! Пустите меня! Не хочу лежать! Я побегу! Отпустите! Отпустите меня!

— Кукареку! — отозвался какой-то красный петух, который был связан еще с двумя курицами, и хлопнул крыльями.— Как вам нравится эта умница?! Она не хочет лежать! Она хочет уйти, она хочет бежать! Ха-ха-ха!

Наш герой поднял голову, пристально поглядел на нахального петуха и почувствовал, как все члены у него немеют, стынет кровь в жилах. Он побожился бы, что ему знаком этот озорник, что он где-то его уже видел, где-то слышал. Но где? Этого он никак не мог вспомнить. И все ж он ему знаком, так знаком! Его голос все еще звучит у него в ушах. Боже мой, где же он с ним встречался? И наш герой приподнялся чуть повыше.

Тут его заметил красный петух и сразу же затянул звонким сопрано:

Кукареку, длинный нос!
Вижу, жиром ты оброс.
Твой тугой живот набили
Сладкой пищей в изобилие.
Из тебя теперь, влюбленный,
Сварят жирные бульоны
И жаркое приготовят...

Однако нашему певцу не суждено было кончить свою песенку. Чья-то крепкая рука неожиданно ухватила его с такой силой, что у петуха тут же отнялся язык.

9

Последний акт трагедии

Это было странное, дикое существо, высокое, тощее, с заспанным лицом. Полы его одеяния были подоткнуты, рукава закатаны; на ногах у него были носки и ботинки, а в руках черный, поблескивающий нож. Не долго думая, человек схватил петуха, завернул ему кверху голову и, глянув в круглые зрачки, выдрал у него несколько перьев, затем — чик ножом по горлу, и марш! — швырнул его подальше от себя прямо в грязь. Несчастный петух полежал немного, затем, как очумелый, кинулся бежать с перерезанным горлом, ворочая головой вправо и влево, будто искал кого-то или что-то потерял.

Наш герой взгляделся в зарезанного петуха и узнал своего старого знакомого, которого видел когда-то во сне, вспомнил песенку, пропетую тогда озорником, и уже не смог и слова вымолвить своей несчастной подруге, которая прижалась к нему, трепеща всем телом.

А дикое существо с ножом делало свое дело довольно хладнокровно, как настоящий палач. Курицы летели от него одна за другой: пощечокет им ножом горло и швырнет в грязь. Одни вытягивались всем телом и, потрепыхавшись, истекали кровью; другие вскидывали головы, хлопали крыльями по грязи. Жертв с перерезанным горлом с каждой минутой становилось все больше.

Стоявшие в стороне женщины глядели на все это — и ни слова. Больше того, некоторые из них набрасывались на зарезанных и принимались тут же ошипывать перья еще у теплых, трепещущих кур, перебра-

сываясь словцами и хихикая, точно здесь лилась не живая кровь, а водица. Где их глаза? Где их уши? Где их сердце? Где их совесть? Где их бог?

Так размышляла наша несчастная пара, все еще лежа в грязи и наблюдая ужасную трагедию, это неслыханное злодейство среди бела дня. Неужели их доставили сюда для того же, что и всех этих кур, уток и гусей? Неужели и их, благородных, избранных выходцев из Индии, ждет та же участь, что и этих простаков? Значит, все, что рассказывают о диких людях, не выдумка?! И предсказания красного петуха?!

И они начали наконец понимать леденящую правду, им стало ясно все, о чем они слыхали и что видели до сих пор. Одного они только не могли понять: зачем турецкая шаль каждый раз хвалилась, что бог должен облагодетельствовать ее за то, что она выкормила такую парочку к пасхе? Вот этого хочет бог? Это ему любо? Ах, какой злой бог у этих диких людей!

Через несколько минут наша влюбленная пара, наши гордые выходцы из Индии лежали на земле просто, как зарезанные индюки. Они положили друг на друга свои еще теплые перерезанные шеи, и было похоже издали, будто они крепко спят и им грезятся сладкие, золотые сны.

Это о них сказано в Библии:

«Любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей».

РАЗБОЙНИКИ

Необыкновенная, но правдивая история
о том, как школьники проучили своего
учителя

1

— Он еще дрыхнет?

— Еще как дрыхнет!

— Чтоб его!

— Разбудите его! Разбудите его!

— Лейб-дрейб-обдирик!

— Проснись, голубок!

— Открой свои глазки!

Я с трудом продираю глаза, поднимаю голову, оглядываюсь по сторонам и вижу перед собой целую кучу сорванцов, моих товарищей по хедеру. Окно раскрыто настежь, и вместе с их сияющими весельем и радостью глазами в комнату врываются первые лучи теплого, ясного утреннего солнца.

— Смотри, как озирается!

— Уж верно, напроказил?

— Что, не узнали нас?

— Забыл, что сегодня лаг-боймер?

— Ах, лаг-боймер?..— Молнией проносится это слово в моем мозгу. Я вскакиваю с постели. В один миг я на ногах. Еще минута, и я одет, умыт, готов идти. Ищу мать. Она захлопоталась с завтраком, возится с малышами.

— Мама, сегодня лаг-боймер.

— С праздником тебя! Что еще скажешь?

— Ребята устраивают пир в складчину.

— Нет у меня ничего, кроме горя!

Так говорит мать, хотя она и готова все-таки кое-что дать мне. Мы начинаем торговаться, я хочу больше, она дает меньше. Я прошу два яйца. Она отвечает: держи карман шире! Я начинаю приставать и получаю по щеке. Начинаю плакать, она успокаивает меня яблоком. Я прошу апельсин. Она говорит:

— Ненасытная глотка, что еще придумаешь?

А товарищи за окном торопят, житья не дают.

— Скоро соберешься?

— Лейб-дрейб-обдирик!

— Время не ждет.

— Скорее! Скорее!

— Вылетай живее!

После долгих препирательств мы наконец договорились. Я получаю свой завтрак, получаю мою долю для пирушки и выбегаю на улицу к товарищам, веселый, радостный, возбужденный, и все мы одним духом мчимся вниз с горы в хедер.

2

В хедере шум, галдеж, настоящая ярмарка. Два десятка голосов кричат все разом. Стол уставлен всякой всячиной. Такой пирушки, как нынче, у нас никогда еще не было. Даже водки и вина принесли.

Этим мы обязаны нашему товарищу Берл-Йослу, сыну виноторговца. Он притащил бутылку водки, отличной водки, и две бутылки вина, настоящего изюмного вина, собственное изделие его отца. Водку дал отец, а вино он сам взял.

— Как это сам взял?

— Чего тут не понимать, балда? Взял незаметно с полки, никто не видал.

— Значит, ты украл?

— Умная голова, подумаешь, какая беда!

— Как это не беда? А заповедь «не укради»?

— Для праздничной пирушки? Осел!

— Для пирушки можно красть?

— А ты не знал, умница?

— Где ты об этом вычитал?

— Ох, уморил. Поищи в Писании!

— Глава «бери»!

— Страница «тащи»!

— Под новый год, в летний день!

— Ха-ха-ха!

— Тише, ребята, Мазепа идет!

Сразу становится тихо, как во время молитвы. Все сидят за столом, притихшие, невинные агнцы, кроткие голубки, худого слова не скажут, смиренные, золотые деточки.

3

Мазепа — так прозвали мы своего учителя. Настоящее-то его имя Борух-Мойше. Но так как он переехал в наш город недавно из Мазеповки, то в городе ему дали кличку «Мазеповский», а мы, школьники, переделали ее в Мазепу. Впрочем, когда школьники наградят учителя прозвищем, то оно, уж верно, заслужено. Позвольте его вам представить.

Маленький, сухонький, невзрачный, огрызок какой-то. Ни следа бороды, ни усов, ни бровей. Не потому, что он, упаси бог, бреется, а просто так — не растут, да и все, будто сговорились. Зато уж губы у него и нос — ну и нос! Кулич, рог, труба, а не нос! И глотка у него — колокол, львиный рык. Откуда у этого огрызка такая могучая глотка? И где только силы берутся? Как защемит тебе руку своими тонкими холодными пальцами — свету божьего невзвидишь!

А как угостит по щеке — целую неделю помнить будешь! Разговор с учениками у него короткий! По малейшему поводу — прав ты, не прав — у него один суд: ложись!

— Господин учитель, Йосл меня ударил.

— Ложись!

— Неправда! Он первый толкнул меня.

— Ложись!

— Господин учитель, Хаим показал мне язык!

— Ложись!

И ничего не поделаешь — надо ложиться. Никакая сила тебе не поможет. Даже рыжий Эля, тринадцатилетний малый, уже просватанный, при серебряных часах, и ему Мазепа как всыплет! Ого, по первое число! Эля говорит, что порка эта Мазепе даром не пройдет. Еще он посчитается, говорит, с Мазепой, да так, что тот запомнит на веки вечные! Так говорит Эля каждый раз после порки, а мы отвечаем:

— Аминь, из твоих уст да в божьи уши!

4

После того как все помолились под надзором учителя (без надзора Мазепа молиться не дает: знает, что без него мы все молитвы скомкаем), Мазепа обращается к нам своим львиным рыком:

— Ну, дети, давайте садиться за стол! Кончите пирушку, отправитесь в поле погулять.

Мы-то привыкли устраивать свою пирушку за городом, на свежем воздухе, на травке, под синим небом, бросать птичкам крошки, пускай и птички знают, что у нас праздник. Но с Мазепой спорить не приходится. Уж если Мазепа сказал «садись», значит — садись. А то как бы не сказал «ложись».

— Приятного аппетита, ребятки, — говорит нам учитель, когда мы усаживаемся за стол.

— Просим к столу! — говорим мы из приличия.

— Кушайте на здоровье! — говорит нам Мазепа. — Есть еще не хочется, но выпить за ваше здоровье можно. Что это у вас там в бутылке? Водка?.. — И он протягивает свою худую руку с костлявыми пальцами, достает бутылку, наливает себе в рюмку, отпивает и делает губами такую гримасу, что мы еле-еле удерживаемся от хохота.

— Чья это водка? Ну и забористая,— говорит учитель и наливает себе новую рюмку.— Недурное винцо, право,— и наливает себе в третий раз, пьет за наше здоровье.— Дай бог дожить до следующего года, дети, и... и... чтоб... Нет ли у вас чем закусить? Ладно уж, сяду с вами за стол и в честь лаг-боймер закушу с вами.

Что это стало с нашим учителем? Подменили нашего Мазепу! Повеселел, разговорился, щечки разруглялись, нос покраснел, и глаза блестят. Он жует, и болтает, и кивает на бутылки с вином.

— Что это у вас там за вино? Пасхальное, видно? (Он пробует вино, растопыривает губы.) Псссс! Ну и сердитое! (Пьет.) Давно уж я такого вина не пил, право слово. (С улыбочкой к Йослу.) Ты, что ли, постарался? Хе-хе! У твоего отца в подвале полно бочек— я сам видал — знатное винцо, из чистого изюма... Хе-хе... За ваше здоровье, ребятки! Дай вам бог вырасти евреями добрыми и благочестивыми, и... и... откупорить вторую бутылку... Возьмите и вы по рюмочке... Чего вы не пьете? Выпьемте за здоровье! Дай бог (он облизывается, глаза у него слипаются), чтоб... всякого добра... вместе со всеми евреями...

5

Покушав и помолившись после еды, Мазепа обращается к нам заплетающимся языком:

— Итак, мы, значит, исполнили, а? Исполнили завет, устроили пирушку в наш праздник лаг-боймер. Ну, а теперь что? А?

— А теперь пойдем на прогулку.

— А? На прогулку? Отлично! Куда, например?

— В Черную рощу.

— В Черную рощу? Замечательно! И я с вами. Прогуляться по лесу очень хорошо, очень полезно, потому что лес... А? Сейчас я вам поясню пользу леса...

И мы все отправляемся с учителем за город. Сначала нас немного стесняло, что учитель идет с нами. Но — молчок! А учитель шагает посреди нас, размахивает руками и объясняет нам пользу леса:

— Природа леса такова, понимаете, то есть господь создал его так, что в лесу растут деревья, а на них, на деревьях, значит, растут ветки, а ветки покрываются

листьями, и, чтоб они благоухали, эти листья, издавали бы приятное благовоние и, значит, аромат...

Говоря так, учитель втягивает носом это приятное благовоние, хотя мы еще далеко от леса и запахи вокруг нас не так уж благовонны и ароматны.

— Чего вы молчите? — обращается к нам учитель. — Рассказали бы что-либо интересное. Песню затянули бы! И я был когда-то мальчишкой, сорванцом, как вы, хе-хе... и у меня был учитель, как у вас, хе-хе...

То, что Мазепа был когда-то сорванцом, как мы, и имел учителя, как и мы, кажется нам диким и почти невероятным: Мазепа — сорванец? Мы переглядываемся и украдкой хихикаем. Мы представляем себе, как наш учитель, Мазепа, был когда-то сорванцом, имел учителя и учитель его... Даже подумать страшно о такой вещи. Один рыжий Эля набирается духу и спрашивает его:

— Господин учитель! А ваш учитель вас тоже порол, как вы нас порете?

— Еще бы! Да как еще порол, хе-хе...

Мы глядим на учителя, переглядываемся между собой и хорошо понимаем друг друга... Нас разбирает смех от его «хе-хе», и мы смеемся, дурачимся... Но вот мы уже за городом, на широком поле, недалеко от Черной рощи...

6

В поле чудесно, истинный рай. Зеленая пахучая трава, беленькие цветочки, желтые ромашки, легкие бабочки. А над всем этим широко раскинулся голубой свод весеннего неба. Неподалеку лес, празднично одетый. По деревьям птички прыгают с ветки на ветку, поют, щебечут. Это они приветствуют нас — добро пожаловать, ребятки! Мы ищем тень под густым деревом, защиту от палящего солнца, и усаживаемся все на траве. Учитель посередине.

Учитель устал с дороги, он бросается на траву, вытягивается лицом вверх. Глаза у него слипаются. Язык заплетается:

— Вы славные, милые ре... ребята. Чудесные дети... Праведники... Я вас люблю... и вы меня... Правда, вы меня лю... любите?..

— Как собака палку, — отвечает Эля.

— А? Что? Я знаю, вы меня лю... любите,— говорит наш учитель.

— А как же, любим. Сперва утешим, потом повесим! — говорит Эля.

Страх охватывает нас, мы говорим Эле:

— Эля, что ты?!

— Дураки! — со смехом отвечает нам Эля.— Чего вы боитесь? Разве вы не видите, что он пьян вдрызг?

— А? — спрашивает учитель и глядит на него одним глазом (второй глаз уже спит).— Что ты сказал? Праведники! Все праведники... милость господня... хль... хль-хль... хр-р-р-сс...

Наш учитель заснул, громко храпит, точно труба, и его храп разносится далеко по лесу. Мы все сидим вокруг него, и нам делается горько на душе: «Вот это наш учитель? Тот самый, один вид которого приводил нас в трепет? Вот это — Мазепа?»

7

— Ребята! — обращается к нам Эля.— Чего мы сидим, как болваны? Давайте подстроим штуку Мазепе!

Нас охватывает ужас.

— Чего вы трусите, дурни? — уговаривает нас Эля.— Он сейчас труп, мертвец.

От этих слов мы приходим еще в больший ужас, а Эля продолжает свое:

— Теперь мы можем с ним сделать все, что угодно. Всю зиму он нас порол, как баранов. Давайте хоть раз отомстим ему.

— А что ты придумал?

— Ничего. Я хочу его только напугать.

— Чем ты его напугаешь?

— Сейчас увидите,— говорит Эля, поднимается с места, подходит к учителю, срывает с него кушак и обращается к нам: — Видите? Вот его же собственным кушаком мы привяжем его к дереву, да так, чтоб он не мог сам себя развязать. Потом один из нас подойдет и крикнет ему на ухо: «Учитель, разбойники!»

— А потом что?

— Ничего. Мы разбежимся, а он будет кричать «караул».

— До каких же пор он будет кричать?

— Пока привыкнет.

Не долго думая, Эля связал кушаком учителю обе руки, ладонь к ладони, и прикрутил их к дереву, а мы стоим и наблюдаем. Дрожь пробегает по телу.

«Вот это наш учитель?.. Тот самый, один вид которого приводил нас в трепет? Вот это — Мазепа?»

— Что вы стоите как истуканы? — говорит нам Эля.— Если бог уже сотворил чудо и Мазепа оказался в наших руках, то давайте попляшем, повеселимся!

Мы беремся за руки, кружимся в хороводе, как дикари, вокруг нашего учителя, пляшем, прыгаем и поем, словно оглашенные.

— Довольно, ребята! — говорит Эля.

Мы останавливаемся. Эля подходит к учителю, наклоняется над ним и кричит над самым его ухом так, что и мертвого разбудил бы:

— Караул! Учитель! Разбойники! Разбойники! Разбойники!

8

Сломав голову мы бежим, все как один, боимся остановиться на мгновение, боимся оглянуться назад. Страх обуял нас всех, даже Элю, хотя он не перестает кричать на нас:

— Дураки! Олухи! Ослы! Чего вы бежите?

— А ты чего бежишь?

— Вы бежите, и я бегу.

В город мы влетели с гиком и криком:

— Разбойники!.. Разбойники!..

Люди увидали, что мы бежим, и побежали за нами. Другие увидали, что люди бегут, и давай бежать за ними.

— Куда это бегут?

— А кто его знает? Все бегут, и мы бежим.

С большим трудом кое-как удалось остановить одного из нас. На него глядя, мы все остановились, не переставая, однако, кричать: «Разбойники! Разбойники! Разбойники!»

— Где? Где? Где?..

— Там, в Черной роще, на нас напали разбойники, привязали учителя к дереву, бог знает, жив ли он?..

Если вы завидуете нам, что мы свободны и не ходим в хедер (учитель наш заболел), то ваша зависть напрасна. Совершенно напрасна! Никто не знает, что у кого болит. Никто, никто не знает, кто были настоящие разбойники. Мы редко видим друг друга, а когда встречаемся, первый наш вопрос: «Как здоровье учителя?» (Учителя, а не «Мазепы»!) А Эля? Не спрашивайте нас про Элю! Чтоб он сгинул, этот Эля!..

ЭПИЛОГ

Когда учитель выздоровел (месяца полтора он пролежал в горячке и все бредил разбойниками) и мы вновь пришли в хедер, мы с трудом узнали его. Так сильно он изменился. Куда девался его львиный голос? Плетку он куда-то забросил, не слышно больше «ложись». Уж он больше не «Мазепа». На лицо его легла тихая, мягкая грусть. Чувство раскаяния закрадывается к нам в душу. Мазепа становится нам дорог, близок. А он хоть попрекнул бы нас, хоть бы слово сказал. Как будто ничего не случилось. Только иногда во время занятий он внезапно прервет нас и просит рассказать ему еще раз, как было дело с разбойниками тогда, в лаг-боймер. Мы не заставляем себя долго просить и рассказываем ему придуманную нами басню, как разбойники выскочили из лесу, накинулись на него, связали, хотели зарезать ножом, а мы бросились с криком в город и этим криком спасли его...

Учитель с закрытыми глазами выслушивает наш рассказ до конца, вздыхает и внезапно спрашивает:

— Вы наверное знаете, что это были разбойники?

— А кто же, по-вашему?

— Может быть, какие-нибудь сорванцы, а?

Глаза учителя смотрят куда-то вдаль, и нам кажется, что на его толстых мясистых губах промелькнула лукавая усмешка.

ЭСФИРЬ

Рассказано в честь праздника пурим

Не о хедере, не о ребе и не о его жене хочу я вам рассказать. Об этом я уже вам немало рассказывал. Не разрешите ли вы мне на сей раз рассказать вам об Эсфири, дочери ребе?

1

Если библейская Эсфирь была так хороша, как та Эсфирь, о которой я здесь рассказываю, то нет ничего удивительного в том, что она очень понравилась царю Артаксерксу. Та Эсфирь, о которой я здесь рассказываю, нравилась всем. Все ее любили. Все, решительно все. Даже я, даже мой старший брат Мотл, хотя ему давно уже исполнилось тринадцать лет, и ему давно уже сватают невест, и он давно уже носит серебряные часы с цепочкой (если память мне не изменяет, у него уже и борода тогда пробивалась). И любил ли ее мой старший брат Мотл, об этом спросите у меня. Уж я вам точно скажу. Мотл думает, что я не понимаю, зачем это он каждую субботу ходит в хедер повторять Священное писание. Конечно, Мотл не очень прилежен. А бывает так: в субботу после обычной трапезы ребе погружается в сон и храпит вовсю. Жена его судачит с соседками на завалинке; мы, ученики, с увлечением играем в разные игры. А Мотл и Эсфирь глаз друг с друга не сводят. Она смотрит на него, а он — на нее. Иногда мы играем в «куцибабу». Знаете, что такое «куцибаба»? Вот я вам объясню. Вам завязывают глаза платком, выводят на середину комнаты, а все бегают вокруг и поют: «Га-га-га, лови меня!»

Мотл и Эсфирь тоже играют с нами. «Куцибаба», говорят они, им нравится. Знаю я, почему им нравится. Играя с нами в «куцибабу», они гоняются друг за дружкой, ловят друг дружку. Он — ее, она — его.

О многом хочется рассказать, но я не такой...

Однажды я их застал на месте преступления — они держались за руки. И случилось это не в субботу, а в обыкновенный будний день. Это было в сумерки. Мотл собрался в синагогу к вечерней молитве. По дороге он завернул к нам в хедер. «Где ребе?» — «Ребе

нет». Тогда он подходит к Эсфири и берет ее за руку, а я стою и наблюдаю. Она вырывает руку. Ну, он мне и сует копейку — знай, мол, да помалкивай. «Две», — говорю я. Он дает две. «Три», — говорю. Он дает три. Попроси я четыре копейки, он дал бы и четыре. А пять? А шесть? Но я не такой...

Однажды произошло... Но довольно присказок, перейдем к самой сказке.

2

Мой брат Мотл, как вам известно, уже взрослый. В хедер учиться не ходит. Дома учиться не хочет. Поэтому отец ругает его «болваном». Матери это не нравится. «Что за манера взрослого парня ругать болваном? Ведь он в женихи норовит...» А отец на это: «Что ж поделаешь, раз он болван?» И начинается ссора. Не знаю, как другие родители. Мои только знают что ссориться. Рассказать бы вам, какие у нас ссоры да раздоры, вы со смеху покатитесь. Но я не такой...

Словом, мой брат Мотл больше не учится в хедере. Однако он не забывает каждый год посылать ребе подарок к празднику пурим. Как-никак — бывший ученик. Он посылает в подарок стихотворение на древнееврейском языке с нарисованным щитом Давида и с двумя бумажными рублями в конверте.

С кем послать ребе такой подарок? Конечно, со мной. И брат мой Мотл обращается ко мне: «Возьми вот, отнеси ребе подарок, а когда вернешься — получишь пятачок». Пять копеек — большие деньги, что и говорить. «Ну и что?» — «Хочу, — говорю, — получить деньги вперед». Но брат сердится на меня: «Дерзкий мальчишка!» — «Возможно, — говорю, — что я и дерзкий мальчишка, не стану спорить, но денежки гони вперед». Как по-вашему, чья взяла?

Уплатив вперед обещанные пять копеек, он вручает мне подарок для ребе — запечатанное письмо, и когда я уже совсем было собрался в путь, он сует мне в руку еще одно письмецо и говорит торопливым шепотом: «А вот это отдашь Эсфири...» — «Эсфири?» — «Эсфири...» Другой на моем месте потребовал бы за такое поручение двойную плату, но я не такой...

«Господи боже мой! — думаю я по дороге. — Как бы узнать, о чем пишет мой брат дочери ребе? Надо посмотреть. Только посмотреть. Ничего ведь с ним не станется». Распечатываю письмецо к Эсфири и читаю целое послание, ни дать ни взять из библейской книги «Сказание об Эсфири».

Вот послушайте. Передаю слово в слово!

«От Мордехая к Эсфири!

Некий иудей — некий парень, жил в Сузах — граде престольном — жил в нашем местечке, имя его Мордехай — звали его Мотл. И был он воспитателем — полюбил он Гадасы-красавицу, она же Эсфирь — это Эсфирь. Девушка эта была красива — хороша собой, стройна станом — и понравилась ему девушка — девушка ему понравилась. Но не сказывала Эсфирь о народе своем — Эсфирь не рассказывала никому, потому что Мордехай — то есть Мотл, ей приказал — наказал ей, чтобы она никому не сказывала — никому об этом не говорила. И всякий день Мордехай прохаживался — Мотл проходил мимо ее дома, мимо дворца царицы, чтобы посмотреть на Эсфирь. И когда пробил заветный час для Эсфири — и когда наступит пора для Эсфири, дочери Абихаила, — пора сочетаться браком, и взята была Эсфирь к царю Артаксерксу — он возьмет Эсфирь в жены, и он возложит царский венец на голову ее — и он с ней повенчается».

Каково? Здорово мой братец истолковал книгу «Эсфирь»? Что сказал бы ребе о таком истолковании? Ага! Придумал, честное слово, придумал! Перепутаю адреса: стихи, посвященные ребе, отдам Эсфири, а послание Эсфири отдам ребе — пусть наслаждается. Что? Столпотворение?! Кутерьма? Но что же я такого сделал? Ведь каждый человек может ошибиться! И почтальон иной раз не вручит письма. Правда, со мной этого никогда не случится. Я ведь не такой...

— С праздником, ребе! — врываюсь я в школу с таким шумом, что ребе вздрагивает. — Мой брат посылает вам подарок к празднику и желает вам счастливой жизни.

И я отдаю ребе послание. Мой ребе распечатывает конверт, глядит, размышляет, вертит послание во все стороны. По-видимому, он ищет чего-то. «Ищи, ищи, — думаю я про себя, — много найдешь...»

Ребе надевает свои серебряные очки, прочитывает послание, и хоть бы что, даже глазом не моргнул. Только глубоко вздохнул. Затем он обращается ко мне: «Подожди, я напишу несколько слов». А я тем временем слоняюсь по комнате, получаю у жены ребе пряник и кусок пирога и между прочим, уловив момент, сую Эсфири в руку стихи, посвященные ребе, вместе с подарком. Она покраснела, спряталась в уголок. Смотрю — лицо ее запылало, как свеча, а глаза горят — смотреть страшно! «По-видимому, недовольна подарком», — думаю я про себя и подхожу к ребе. Он вручает мне свои «несколько слов».

— Прощайте, ребе, до будущего года! — И отправляюсь домой.

Когда я очутился уже за дверью, меня нагнала Эсфирь с заплаканными глазами. «Вот, — сердито сказала она, — вот это отдашь брату!»

По дороге я вскрываю сперва письмо ребе, — он старше, ему и почет. Там написано следующее: «Дорогой и любимый ученик мой, Мордехай! Благодарю тебя очень, очень за твой подарок, присланный мне. В прошлом и позапрошлом году ты присылал мне другие подарки, настоящие. В этом году ты прислал мне новый комментарий к библейской книге «Эсфирь». Благодарю тебя за него. Но должен тебе сказать, Мотл, что твое толкование мне нисколько не понравилось. Во-первых, написано «В Сузах — граде престольном», это значит в столице, а не «в нашем местечке». Во-вторых, интересно знать, где это ты вычитал, что Мордехай был простым парнем? И почему ты решил, что выражение «он был воспитателем» означает «полюбил ее»? А твое толкование слов «и он возложил царский венец на голову ее» как намерение «с ней повенчаться» просто ни с чем не вяжется. Во-первых, «венец возложил на голову ее» не Мордехай, а царь

Артаксеркс. Во-вторых, нигде в книге «Эсфирь» не сказано, что Артаксеркс венчался с Эсфирью. Не велика премудрость взять текст Священного писания и так исказить! Каждое толкование должно иметь смысл! В прошлом и позапрошлом году ты присылал мне кое-что другое. В этом же году тебе пришлось в голову послать своему ребе комментарий к книге «Эсфирь», да к тому же еще комментарий искаженный. Ну да ладно, стало быть, так надо. Посему я отсылаю тебе твое послание, и да пошлет тебе господь бог счастливый год, как желает тебе твой ребе...»

Вот это головоломка! Так ему и надо, моему братцу! Больше он таких посланий писать не будет.

С письмом ребе покончено. Но надо же взглянуть, что пишет она, дочь ребе? Вскрываю письмо — и что же? Оттуда вылетают два бумажных рубля. Что за напасть? Читаю всего две строчки:

«Мотл, благодарю тебя за твои два рубля, возьми их обратно. Не такого письма я ждала от тебя. Подарки твои мне не нужны, а милостыня — тем более...»

Ха-ха, занятно, не правда ли? Милостыни она не желает! Замечательная история, честное слово! Что же делать дальше? Другой на моем месте порвал бы, конечно, оба письма, а деньги положил бы в карман. Шиш с маслом принес бы он домой, а не два рубля. Но я не такой... Послушайте-ка лучше, что я придумал. Плату за труды я ведь от брата получил, решил я, ну и ладно! И я отдал оба письма отцу. Услышим, что отец скажет. Он лучше, чем ребе, поймет послание брата, ведь отец — это все же отец, а ребе — только ребе...

5

Что произошло, когда отец прочитал оба письма и послание Мотла, — лучше и не спрашивайте. Я мог бы сказать, как мой брат Мотл, словами из книги «Эсфирь»: «И град Сузы в смятении».

Но не в этом дело. Вам, вероятно, хочется знать конец: что было дальше с дочерью ребе Эсфирью и моим братом Мотлом? Что могло быть? Ничего. Эсфирь вышла замуж. Выдали ее за вдовца. Ах, как она плакала! Я был на ее свадьбе. Почему она так плакала, не знаю. Наверно, предчувствовала, что ей с мужем не-

долго жить. Так оно и вышло. Прожила она с ним полгода и умерла. Отчего она умерла — не могу вам сказать. Не знаю, да и никто этого не знает. Ребе и его жена тоже не знают. Поговаривали, что она отравилась, сама себя отравила. Но это неправда. «Враги выдумали», — слышал я от самой жены ребе.

А мой брат Мотл? Ого! Он еще раньше женился, еще до того, как Эсфирь стала невестой, и уехал туда, к тестю. Но вскоре он вернулся. И вернулся один. В чем дело? Он желает развестись. Отец ругает его: «Болван». А матери не нравится, что ругают Мотла. Вот они и ссорятся. Весело! Так-таки ничего не смогли с ним поделать. Он развелся и женился на другой. У него уже и детки есть. Мальчик и девочка. Девочку зовут Эсфирью. Отец было сказал, чтобы ее называли Гитл, по имени его матери, бабушки Гитл. А мать хотела, чтобы ее обязательно называли Леей, в честь ее матери, бабушки Леи. Из-за этого между отцом и матерью разгорелась ссора. Весь день и всю ночь они спорили. И порешили назвать ее Лея-Гитл, в честь обеих бабушек. На этом помирились. Вдруг отец раздумал. Он не хочет имени Лея-Гитл. «Почему?» — «Так! Почему это имя твоей матери должно быть первым?» Тут приходит мой брат Мотл из синагоги и говорит, что девочку уже называли: Эсфирь. Отец сердится: «Болван! Почему Эсфирь?» А Мотл ему отвечает: «Ты забыл, что скоро праздник пурим?..» Что тут отцу возразить? Кончено. Отец больше не кричит и не ругает Мотла «болваном»... Отец и мать как-то странно переглядываются и молчат...

А как понять этот взгляд и это молчание — не знаю. Может быть, вы знаете?

ПАСХА В ДЕРЕВНЕ

1

Пусть дуют ветры, пусть воют бури, пусть все на земле ходуном ходит — что до этого древнему дубу! Испокон веку стоит он, глубоко уйдя могучими корнями в сырую землю! Что ему ветры? Что ему бури?

Древний дуб — это не символ. Это живой человек по имени Нахмен Веребовский из Веребовки. Высокий, широкоплечий, кряжистый — богатырь. Все евреи в городе смотрят на него с завистью и в то же время под-

трунивают над ним: «Шолом алейхем!»¹ Как вы себя чувствуете, как ваше здоровье?» Нахмен знает, что они смеются над ним и над его ростом. Он старается немного сгорбиться, чтоб казаться ниже, чтоб немного более походить на еврея. Но это мало помогает, слишком уж он вырос.

В Веребовке Нахмен — старожил. «Наш Лахман» называют его крестьяне. Они считают его неплохим и толковым человеком и любят покалякать с ним. С ним советуются, как быть с хлебом. У «Лахмана» есть календарь, и он знает, дорогой или дешевый будет хлеб в нынешнем году. А иногда толкуют и о том, что слышно на белом свете вообще. «Лахман» ездит в город, видится с людьми, он знает, что делается на свете.

Невозможно представить себе Веребовку без Нахмена Веребовского. Не только его отец, Файтл Веребовский, родился и умер в Веребовке, но даже дед его Арье — царство ему небесное, это был умница и балагур — хвастался, что деревня потому и называется Веребовкой, что там проживает Арье Веребовский. Потому что еще прежде, чем Веребовка сделалась Веребовкой, он, Арье Веребовский, уже был Веребовским. Да, так говаривал его дед. Вот какие были люди!

И вы думаете, что Арье Веребовский говорил это просто так? Нет, Арье был не столь глуп, чтобы болтать зря.

Он имел в виду гонения на евреев. В те времена тоже были гонения на евреев. Уже тогда поговаривали, что их будут выселять из деревень. И не только поговаривали, но и выселяли. Выселяли и многих выселили. Но старого Арье Веребовского — дудки, руки коротки! Говорили, что сам губернатор ничего не мог поделать, так как Арье Веребовский доказал, что по «закону» его никто из Веребовки выгнать не может. Вот какие были люди!

2

Конечно, когда имеешь такие, можно сказать, неоспоримые права на проживание в Веребовке, можно чувствовать себя достаточно прочно. Что нашему Нахмену Веребовскому «гонения», «черта», «циркуляры»?

¹ Мир вам!

Что Нахмену до злодея Курочки, с его баснями, которые он каждый раз приносит из волости? Курочка — небольшого роста, с короткими руками; на нем поддевка и высокие сапоги; он носит часы с серебряной цепочкой — ни дать ни взять настоящий барин! Он волостной писарь, поэтому он знает, что у кого болит. Кроме того, Курочка читает все эти «хорошие» газеты, которые нынче изрыгают хулу и клевету на евреев.

Курочка — сосед Нахмена, и они как будто приятели. Когда у Курочки болит зуб, «Лахман» дает ему полосканье. Если жена Курочки, например, рождает, то «Лахманка» у нее повитухой. Но с некоторого времени, — черт его знает! — с тех пор, как Курочка начитался этих знаменитых газет, он переменялся. Каждый раз он приходит к соседу с новостью: «Новый губернатор прибыл», «Новый циркуляр от министра», «Новое распоряжение о евреях»... У Нахмена в эту минуту обрывается сердце и кровь стынет в жилах, но он не подает виду. Не должен Курочка об этом знать! И Нахмен выслушивает его с улыбкой и показывает ему одной рукой на ладонь другой руки: дескать, вот когда здесь волосы вырастут... Пускай сменяются губернаторы, пусть министры пишут циркуляры — что до всего этого Нахмену Веребовскому из Веребовки?

3

Живется Нахмену Веребовскому из Веребовки сносно. С прежними временами, разумеется, не сравнить. Конечно, в годы дедушки Арье жизнь была иная. Вот то была жизнь! Вся Веребовка, можно сказать, принадлежала им. Не одно дело имели они, а несколько: держали трактир, лавку, мельницу, амбар с зерном. И доходы были! Как говорится, деньги загребали лопатой. Но все это было когда-то. Было да сплыло. Никаких трактиров, никаких лавок, никаких амбаров с зерном. Ничего. Ничегошеньки. Тогда вы спросите: если так, то зачем же еврею сидеть в Веребовке?

А где ж ему сидеть? В преисподней? Пусть только Нахмен продаст дом, он уже не веревобский. Он тогда будет уже чужаком, гостем. А так все-таки свой угол, есть где голову приклонить. Собственный дом, при доме огород. Жена и дочери сами обрабатывают землю.

И когда бог дает урожай, они все лето обеспечены зеленью, картошки хватает на всю зиму и даже до самой весны. Но не одной картошкой жив человек, к картошке, говорят, еще хлеб требуется. А хлеба нет. Что ж? Нахмен берет клюшку и отправляется по деревне чем-нибудь промыслить. И уж он не придет домой с пустыми руками! Купит что бог пошлет: немного железного лома, гарнец пшена, старый мешок, а не то — овчинку. Овчину растянут, просушат и отнесут в город, к Авром-Эле, шапочнику. И из всех этих дел получается или прибыль, или убыток. На то уж ты купец! «Купец як стрілець!» — говорит Нахмен. Он любит крестьянские пословицы. А Авром-Эле, человек с подсиненным носом и черными пальцами, словно вымазанными в чернилах, смеется над ним, — так он огрубел среди мужиков, что даже поговорки у него мужицкие.

4

Да, он огрубел в деревне. Нахмен сам чувствует, что чем дальше, тем больше грубеет. Конечно, если б его дед, Арье Веребовский, царство ему небесное, встал из гроба и посмотрел на своего внука!.. Ай-яй-яй!.. Вот это был человек! Тоже богатырь, но знаток Священного писания. Знал наизусть и «Поучения отцов», и молитвы, и псалмы. Вот какие были люди! А он, Нахмен, что он знает? Совестно сказать — он едва-едва умеет молиться. Но и это хорошо. Его дети и этого знать не будут... Посмотрит Нахмен на детей, как они растут, все без толку, высокие и широкие, как отец, и ни читать, ни писать, тоже как отец, и так станет ему горько... Больше всего у него болит сердце за самого младшего. Файтл зовут его. Он назван по деду, Файтлу Веребовскому, царство ему небесное. Хороший мальчик этот Файтл, прекрасные у него способности. Он и ростом поменьше других детей, subtilный такой, больше похож на еврея. А голова у него — министерская. Только один раз шутки ради показали ему в молитвеннике алеф и бейс *, и он уже безошибочно их различает. Никогда он вам не скажет на алеф, что это бейс, и на бейс — что это алеф. И такое золото растет в деревне, среди телят и поросят. Играет Файтл с сыном Курочки, Федькой, ездит с ним вместе верхом на палоч-

ке, оба гоняются за кошкой, копают оба одну ямку, словом, делают все то, что делают маленькие дети. Посмотрит Нахмен, как его мальчик играет с крестьянским мальчиком, и обидно ему делается, и он сохнет, как подрубленное дерево...

5

А Федька — славный паренек, с приятным, симпатичным личиком, с льняными волосами. Он одних лет с Файтлом и без Файтла жить не может. И Файтл его любит. Целую зиму лежат эти двое детей каждый у своего отца на печке, тянутся к окошку и скучают друг по дружке. Редко-редко выпадет им счастье увидеть друг друга. Но вот прошла зима, долгая, суровая зима. Вот земля освободилась от своего холодного белого покрова. Блеснуло солнце, и ветерок все обсушил, показалась травка, и там, под горой, заиграла речка. Теленок раздул ноздри и нюхает воздух. А петух закрыл один глаз и стоит задумавшись. Все вокруг ожило, все радуется: скоро пасха! В эту пору уже не удержать дома ни Федьки, ни Файтла. Оба они выбираются на свет божий, который одинаково открылся для них обоих. Они берутся за руки и бегут к горе, которая одинаково улыбается им обоим: «Сюда, ребята, сюда!» Они прыгают навстречу солнцу, которое обоих их приветствует и обоих зовет к себе: «Сюда, детишки, сюда!» А когда мальчики устают бегать, они садятся на божью землю, которая не различает ни еврея, ни русского и зовет: «Ко мне, дети, ко мне!»

6

Обоим есть что порассказать — целую долгую зиму они не виделись. Файтл хвастается, что знает уже почти всю азбуку. А Федька — что у него есть кнут. Тогда Файтл начинает рассказывать, что у них сегодня ночью пасха. У них уже есть маца на все восемь дней пасхи, есть и пасхальное вино.

— Помнишь, Федька, в прошлом году я принес тебе мацу?

— Мацу? — говорит Федька, и его милое личико расплывается в улыбке. Он, видно, вспомнил вкус прошлогодней мацы...

— А ты хотел бы, Федька, сейчас попробовать кусочек мацы?

— Вот еще вопрос?! Есть о чем спрашивать?!

— Ну, пойдем же туда,— говорит ему Файтл и показывает на гору, которая зеленеет вдали и кивает им: «Сюда, дети, сюда!»

Они взбираются на гору, останавливаются на мгновение, зачарованные, смотрят сквозь пальцы на играющие редкие лучи доброго солнца и вдруг бросаются на еще влажную землю, которая уже пахнет зеленью. Файтл вынимает из-за пазухи свежую белую кругленькую мацу, усеянную вдоль и поперек маленькими дырочками. Федька уже заранее облизывается. Файтл добросовестно разламывает мацу пополам и делится со своим товарищем.

— Как тебе нравится, Федька, эта маца?

Что может Федька сказать, когда рот у него набит мацой, которая хрустит на зубах и тает на языке как снег? Еще минута — и нет мацы.

— Еще есть?.. — Федька заглядывает своими серыми глазками за пазуху Файтла и облизывается, как кот на сало.

— А ты еще хочешь? — спрашивает Файтл, прожевывая последний кусочек мацы, и плутовато поглядывает на него черными глазенками. — Подожди немного, в будущем году еще принесу.

Оба смеются и, не произнося ни слова, точно заранее сговорившись, скатываются с горы, как два мяча, быстро, быстро вниз.

7

На той стороне горы они останавливаются, смотрят на речку, которая убегает куда-то налево. А они устремляются направо, дальше и дальше по широкому вольному лугу, который еще не зелен, но вот-вот зазеленеет, который не пахнет еще травой, но обещает, что скоро запахнет.

Задумчивые, притихшие, словно околдованные, идут они и идут по мягкой благоухающей земле, под светлым сияющим солнцем. Они не идут, они плывут. Они

не плывут, а летят. Они летят вместе с птицами, которые парят в воздухе перед их глазами, ныряют и снова несутся вперед по этому доброму зеленому миру. Тише, они уже у мельницы. Это ветряная мельница старосты. Когда-то она была мельницей Нахмена Веребовского. Теперь же она принадлежит старосте. Его зовут Опанас. Он хитрый, этот Опанас с одной серьгой в ухе. У него в доме уже есть самовар. Староста Опанас — богатый хозяин. Кроме мельницы, у него еще есть лавка. Та самая лавка, которая раньше принадлежала Нахмену Веребовскому. Хитростью он выторговал у еврея и лавку и мельницу... Обычно, когда приходит весна, мельница работает. Но сегодня она стоит. Нет ветра. Странная весна, весна без ветра. Поэтому-то она и стоит, мельница. Для наших приятелей, Файтла и Федьки, это даже лучше. Когда мельница стоит, можно все разглядеть. На мельнице есть что посмотреть. Сама мельница не так интересна, как бревно, при помощи которого мельница поворачивается. Вот на это-то бревно и уселись два друга. Тут только и пошли у них разговоры. Файтл рассказывает чудеса о городе. Отец как-то поехал в город, в синагогу, и взял с собой мальчика. Они были на рынке, заходили в лавки; в городе не одна лавка, как у них в Веребовке, там много лавок. А потом вечером, рассказывает Файтл, они пошли в синагогу. Отец должен был поминать своего отца. «Моего деда, значит. Ты понимаешь, Федька?»

Может быть, Федька и понял бы, но он не слышит. Он вдруг ни с того ни с сего начинает рассказывать историю о том, как он в прошлом году увидел птичье гнездо на высоком дереве. Хотел взобраться на дерево, но не смог. Хотел достать гнездо палкой, но и этого не смог сделать. Тогда он принялся бросать в гнездо камешки и так долго бросал, пока оттуда не упали два маленьких окровавленных птенчика.

— Убил? — говорит Файтл со страхом и весь сжимается.

— Маленькие, — виновато защищается Федька.

— А убил?

— Без перышек, желтенькие клювики, толстенькие животики.

— А убил ты их, убил?..

Было уже не рано, когда наши юные друзья, Файтл и Федька, взглянув на солнце, спохватились, что пора домой. Файтл забыл, что сегодня вечером пасха. Сейчас он вспомнил, что мама должна вымыть ему голову и надеть новые штанишки. Он вскочил, Федька за ним. Веселые и радостные, они направились домой. Для того чтобы один не явился раньше другого, они, как настоящие друзья, взялись за руки и стрелой понеслись в деревню. Когда же они прибежали туда, их глазам представилась странная картина.

Дом Нахмена Веребовского осажден людьми. Писарь Курочка и староста Опанас, стражник, сотский и урядник — все тут. Все говорят, все шумят. А Нахмен и Нахменка стоят посредине и машут руками. Нахмен согнулся, вытирает пот с лица обеими руками. В стороне стоят старшие дети Нахмена, темнее ночи. Внезапно вся картина меняется. Кто-то показывает на двух юных приятелей, и вся толпа с писарем, старшиной, старостой, сотским и урядником застывает. Один только Нахмен бросает взгляд на народ, выпрямляется, расправляет свои могучие плечи. «Ну???» — смеется он. А Нахменка всплескивает руками и почему-то начинает плакать... Староста со стражником, сотским и урядником выступают вперед и набрасываются на детей.

— Вы где пропадали, такие-сякие?

— Где мы были? Мы гуляли у мельницы.

Оба друга — и Файтл и Федька — получили хорошую взбучку, и оба не понимали за что.

Файтла отец первым долгом отшлепал ермолкой. «Чтоб мальчик знал...» Что должен мальчик знать? И, должно быть из жалости, мать вырвала его из рук отца и прибавила ему от себя пару шлепков. Тут же она принялась мыть его черную головку и надела ему новенькие штанишки — единственную его обнову к пасхе. И она вздыхает. Отчего она вздыхает? Потом Файтл слышит, как мать говорит отцу: «Ах, если б бог дал, скорей прошел этот праздник! Хоть бы все обошлось благополучно... Лучше бы эта пасха кончилась

прежде, чем началась!» А Файтл недоумевают, он не понимает, за что бил его отец, не понимает маминых шлепков. Он не понимает наконец, что это за пасха нынче на свете!..

10

А уж если Файтлу не понять, то Федьке и подавно непонятно, что творится. Сначала отец, Курочка, ухватил Федьку за вихры, крепко подергал его светлые, как лен, волосы и еще дал ему пару подзатыльников. Подзатыльники Федька принял как философ: он уже привык к ним. Он прислушивается, как мать говорит с крестьянками. Те рассказывают ей какие-то странные вещи. Они рассказывают историю о ребенке, которого евреи заманили к себе перед пасхой, продержали в погребе день и ночь и хотели уже взять его в работу, но люди услышали крик, прибежали и спасли ребенка. У него уже были следы укулов на теле — по четыре укула в четыре стороны, наподобие креста.

Так рассказывает одна бойкая крестьянка с красным лицом, в широком очипке. А остальные слушают ее, качают подвязанными головами и крестятся: «Ой, горюшко, ой, лишенько...» Федька никак не поймет, почему они, рассказывая, все время смотрят на него. И какое отношение имеет эта история к нему и Файтлу? И за что тятка схватил его за чуприну, крепко надергал его льняные волосы и еще дал пару подзатыльников в придачу? Ему не жаль загривка, ему не обидны подзатыльники, их он всегда получает достаточно, но он хотел бы узнать, почему сегодня такая солидная порция: отец и за вихры таскал, и еще подзатыльников надавал. Почему? Почему?

11

— Ну? — слышит Файтл, как отец по окончании пасхи обращается к матери. Лицо его сияет, как будто его посетило невесть какое счастье.— Ты же с ума сходила? Ты же боялась... Женщина остается женщи-

ной. Прошла наша пасха, миновала их пасха — и ничего!..

— Слава богу! — отвечает ему мать, и Файтл опять не понимает, чего боялась мама... И почему надо радоваться, что пасха прошла? Разве не лучше было бы, если б еще долго-долго была пасха?

Файтл встречается с Федькой на улице у самого дома и не может удержаться, чтобы тут же не рассказать ему, как у них на пасху молились, а потом ели. Ах, как ели! И он описывает ему вкус пасхальных блюд, которые он ел, вкус сладкого вина, которое пил. Федька слушает очень внимательно и заглядывает Файтлу за пазуху, нет ли там мацы... Вдруг на всю улицу раздается звонкий певучий голос:

— Хведь-ка! Хведь-ка!

Это мать зовет Федьку домой обедать. Но Федька не торопится. Теперь его никто не схватит за загривок! Во-первых, они не у мельницы. И во-вторых, сейчас уже «после пасхи». После пасхи нечего бояться евреев. И он продолжает лежать, вытянувшись на животе, положив на руки белую головенку. Против него лежит Файтл, тоже на животе, положив на руки черную головенку. А с голубого неба пригревает солнышко. Ветерок играет и ласкает. А рядом теленок; тут же и петух со всеми своими женами. И обе головки, светлая и темная, лежат одна против другой, и мальчики все говорят, говорят и никак на наговорятся...

12

А Нахмена нет дома. Он с самого утра, взяв клюшку, отправился по деревне чем-нибудь промыслить. Он останавливается у каждого двора, с каждым здоровается, каждого называет по имени, говорит обо всем на свете, только не о пасхальной истории... Только не о тревожных днях праздника... И уже перед самым уходом он, как бы между прочим, спрашивает: «Нет у тебя чего лишнего, что тебе не надобно?» — «Нема, Лахман!» — «Железный лом, немного пшена, какая-нибудь старая вещь или овчинка?» — «Прости, Лахман, ничего нет, тяжелое время». — «Тяжелое время! Пропил, должно быть? Такой праздник!» — «Кто там пьет? Что мне праздник? Тяжелое время...»

Крестьянин вздыхает, и Нахмен тоже вздыхает. После этого немного поговорят о посторонних вещах, чтобы не выглядело, что он пришел торговать. Он уходит от этого крестьянина, идет к другому, к третьему — пока не набредет на что-нибудь подходящее. Он не приходит домой с пустыми руками. Нагруженный, вспотевший, шагает Нахмен своими исполинскими шагами и думает сейчас только об одном: сколько может он сегодня заработать или потерять. О пасхальной истории он уже забыл. О пасхальных тревогах он уже не помнит. И сосед Курочка со своими губернаторами и циркулярами совершенно вылетел у него из головы.

Что о нем думать?!

Пусть дуют ветры, пусть воют бури, пусть гибнет все на земле — что до этого древнему дубу! Он испокон веку стоит, могучими корнями глубоко уйдя в сырую землю! Что ему ветры? Что ему бури?

МАЛЬЧИК МОТА

ПОВЕСТЬ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1. СЕГОДНЯ ПРАЗДНИК — ПЛАКАТЬ НЕЛЬЗЯ!

1

Я готов поспорить с вами на что угодно, что никто во всем мире не был так рад теплему, яркому предпасхальному дню, как мы,— я, Мотл, сын кантора Пейси, и соседский теленок по имени Мени (это я, Мотл, дал ему такое имя — Мени).

Оба вместе почувствовали мы первые лучи весеннего солнца в первый теплый предпасхальный день, оба вместе ощутили мы запах первой зеленой травки, пробивающейся из обнаженной земли, и оба вместе мы выбрались из мрачной тесноты навстречу первому, сладостному, светлому, теплему весеннему утру.

Я, Мотл, сын кантора Пейси, вылез из ямы, из холодного, сырого подвала, пропахшего кислым тестом и аптекой. А Мени, соседского теленка, выпустили из еще более зловонного места: из маленького, темного, грязного, загаженного хлева с искривленными полуразрушенными стенами, сквозь которые зимой врывается ветер и снег, а летом хлещет дождь.

Вырвавшись на вольный божий свет, мы оба — я и Мени,— преисполненные благодарности к природе, стали выражать свою радость. Я, сын кантора Пейси, поднял обе руки, раскрыл рот и втянул в себя столько свежего воздуха, сколько мог, и показалось мне, что я расту и расту, что меня тянет все вверх и вверх, в синеву глубокого-глубокого небосвода, туда, где скользят редкие перистые облака, туда, где ныряют белые птицы, то показываясь, то исчезая, с чириканьем и писком. И из моей переполненной груди помимо воли вырвалась песня — более прекрасная, чем та, что мы с отцом певали по праздникам у амвона, песня без слов, без нот, без ме-

лодии, как напев падающей воды, набегающих волн, Песнь Песней, божественная радость: «Отец небесный! Боже милосердый!»

Так выразил свою радость в первый день весны мальчик Мотл, сын кантора Пейси. Совсем по-иному проявил ее Мени, соседский теленок.

Мени, соседский теленок, прежде всего уткнулся черной влажной мордой в мусор, раза три поскреб передней ножкой землю, задрал хвост, затем подпрыгнул всеми четырьмя ногами и издал глуховатое «ме-е-е-е». Это «ме-е» показалось мне таким забавным, что я не мог не расхохотаться и не издать такого же «ме-е», в точности подражая Мени. Теленку, видно, это понравилось: он, не долго думая, повторил мычание, сопровождая его таким же прыжком. Само собой разумеется, что и я не замедлил со всей возможной точностью проделать то же самое и голосом и ногами. И так несколько раз: я — прыг, теленок — прыг, теленок — «ме-е-е», и я — «ме-е-е».

Кто знает, сколько длилась бы эта игра, если бы мой старший брат Эля не огрел меня всей пятерней по затылку.

— Провались ты сквозь землю! Парню уже почти девять лет, а он пускается в пляс с теленком! Домой пошел, паршивец ты этакий! Погоди, отец тебе задаст!

2

Вздор! Ничего мне отец не задаст! Отец болен. Он не молится у амвона уже с самого праздника симхестойре. Ночи напролет кашляет. К нам ходит доктор, черный, толстый, с черными усами и смеющимися глазами — веселый доктор. Меня он называет «пузырь» и щелкает по животу.

Он всякий раз наказывает матери, чтобы меня не перекармливали картошкой, а больному велит давать лишь бульон и молоко, молоко и бульон. Мать внимательно выслушивает его, а когда доктор уходит, она прячет лицо в передник, и плечи ее вздрагивают. Затем она вытирает глаза, отзывает в сторону моего брата Элю и о чем-то с ним шепчется. О чем они говорят, я не знаю. Но мне кажется, они ссорятся. Мать его куда-то посылает, а он не хочет идти.

— Чем у них просить, — говорит он, — лучше в могилу! Лучше помереть мне, не сходя с места!

— Откуси себе язык, нечестивец этакий! Что ты говоришь?

Так отвечает ему мать вполголоса, стиснув зубы, и машет на него руками; она, кажется, готова его растерзать. Однако скоро она смягчается и говорит:

— Что же мне делать, сын мой? Жалко отца... Надо же его спасти...

— Продай что-нибудь! — отвечает мой брат Эля, поглядывая на застекленный шкаф.

Мать тоже смотрит на шкаф, вытирает глаза и тихо говорит:

— Что продать? Душу? Нечего уже продавать. Разве что пустой шкаф?

— А почему нет? — отвечает мой брат Эля.

— Разбойник! — шепчет мать, глядя на него покрасневшими глазами. — Откуда только у меня дети такие разбойники?!

Мама возмущается, кипит, но, выплакавшись, вытирает глаза и идет на уступки. Так же было и с книгами, и с серебряной каймой от отцовского талеса, и с двумя позолоченными бокалами, и с ее шелковым платьем, и со всеми прочими вещами, распроданными поодиночке и каждый раз кому-нибудь другому.

Книги купил книгоноша Михл, человек с редкой бороденкой, которую он постоянно почесывает. Мой брат Эля ходил к нему, бедняга, трижды, куда удалось привести его к нам домой. Мать очень обрадовалась, когда увидела книгоношу, и, приложив палец к губам, просила говорить тихо, чтобы не услышал отец. Михл понял, задрал голову к полке, почесал бородку и произнес:

— Ну-ка, покажите, что у вас там такое?

Мать кивнула мне, чтобы я влез на стол и достал книги. Вторично просить меня не пришлось. Одним прыжком я очутился на столе, но от восторга тут же растянулся во всю длину, да еще в придачу получил нахлобучку от моего брата Эли, чтобы я не прыгал как сумасшедший. Брат Эля взобрался на стол и передал книгоноше книги.

Михл одной рукой листал книги, другой почесывал бородку и во всех книгах обнаруживал недостатки. У каждой книги свой изъян: тут переплет нехорош, у той корешок сильно изъеден, а эта книга вообще не книга... Когда же Михл пересмотрел все книги, все переплеты и все корешки, он почесал бороденку и сказал:

— Будь это «Мишнаэс», полное собрание, я бы, пожалуй, купил...

Мать побелела как полотно, а брат Эля, наоборот, покраснел как рак. Он набросился на книгоношу:

— Что же вы не могли сразу сказать, что покупаете только «Мишнаэс»! Чего же вы пришли голову морочить и время отнимать?

— Пожалуйста, тише! — упрощает его мать.

А из соседней комнаты, где лежит отец, уже слышен хриплый голос:

— Кто там?

— Никого нет! — отвечает мать и отсылает брата Элю к больному, а сама тем временем торгуется с книгоношей, продает ему книги, видно, очень дешево, потому что, когда Эля возвращается из отцовской комнаты и спрашивает: «Сколько?» — она его отстраняет и говорит: «Не твое дело!»

А Михл хватается книги, наскоро сует их в мешок и поспешно исчезает.

3

Из всех вещей, распроданных нами, ни одна мне не доставила столько удовольствия, сколько застекленный шкаф.

Правда, когда пришлось отпарывать серебряную кайму от отцовского талеса, мне тоже не было скучно. Прежде всего — торг с ювелиром Иоселем, изможденным человеком с красным пятном на лице! Три раза он уходил и, конечно, поставил на своем. Затем он, заложив ногу за ногу, уселся к окошку, взял отцовский талес, достал маленький ножик с желтым черенком из оленьей кости, согнул средний палец и стал отпарывать кайму, так искусно, что, умею я так отпарывать каймы, я, кажется, был бы самым счастливым человеком на свете. И все же посмотрели бы вы, как моя мать тогда расплакалась! Даже мой брат Эля, уже взрослый парень, жених, и тот вдруг отвернулся лицом к двери, сделал вид, что сморкается, скривил лицо и, издав горлом какой-то странный звук, вытер полою глаза.

— Что там? — спрашивает отец из своей комнаты.

— Ничего! — отвечает мать, вытирая красные глаза, а нижняя губа и вся половина лица у нее так трясутся, что, право же, нужно быть крепче железа, чтобы не рассмеяться.

Но куда веселее было, когда дело дошло до шкафа.

Во-первых, как его заберут? Мне всегда казалось, что наш шкаф прирос к стене, — как же его возьмут? Во-вторых, куда мать будет запирать хлеб, халу, тарелки, оловянные ложки и вилки (у нас были две серебряные ложки и одна серебряная вилка, но мать их уже давно продала) и где мы будем держать мацу на пасху?

Все эти мысли приходили мне на ум, когда столяр Нахмен стоял у шкафа и измерял его огромным красным ногтем большого пальца измазанной руки. Он все время уверял, что шкаф не пройдет в дверь. Смотрите сами: вот вам ширина шкафа, а вот вам дверь — никак не вынести!

— Как же он попал в дом? — спрашивает мой брат Эля.

— А ты его спроси! — сердито отвечает Нахмен. — Почем я знаю, как он попал в дом? Внесли его, он и попал.

Была минута, когда я очень боялся за наш шкаф. То есть я думал, что он останется у нас. Однако вскоре столяр Нахмен пришел с двумя сыновьями — тоже столярами, и подхватили наш шкаф, как черт меламеда.

Впереди шел Нахмен, за ним оба сына, а позади — я. Отец командовал: «Копл, в сторону! Мендл, вправо! Копл, не торопись! Мендл, держи!..» Я помогал. Мать и брат Эля не хотели помогать. Они стояли, смотрели на пустую стену, покрытую паутиной, и плакали... Удивительные люди: только и делают, что плачут!.. Вдруг — тррах! У самой двери в шкафу треснуло стекло. Столяр и его сыновья стали ругаться, сваливать один на другого вину.

— Повернулся! Оловянная птичка!

— Косолапый медведь!

— Черт его побери!

— Провались ты ко всем чертям!..

— Что там? — слышится хриплый голос из комнаты больного.

— Ничего! — отвечает мать и вытирает глаза.

Самая большая радость была у меня, когда дело дошло до кушетки брата Эли и до моей кровати. Кушетка брата раньше была диваном, на котором сидели. Но с тех пор как брат Эля стал женихом и начал спать

на диване, а я на его кровати, диван превратился в кушетку.

Раньше, в добрые времена, когда отец был здоров и вместе с четырьмя певчими распевал молитвы в синагоге, в диване были пружины. Теперь пружины мои. Я проделывал с ними всякие фокусы: покалечил руки, чуть не выколол себе глаза, а однажды надел на шею и едва не задохся. Кончилось это тем, что брат Эля отдубасил меня, забросил пружины на чердак и убрал лестницу.

Кушетку и кровать купила Хана. До того как она купила эти вещи, мать не позволяла чересчур тщательно разглядывать их.

— Вот, что видите, можете купить, а смотреть там нечего!

Но когда Хана уже сторговалась и дала задаток, она подошла к кушетке и к кровати, приподняла постель, осторожно заглянула во все потайные места и стала неистово отплевываться... Мать рассердилась и даже хотела вернуть задаток, но вмешался брат Эля:

— Купили — пропало!

Постелив себе на полу, мы оба — я и мой брат Эля — растянулись как графы, накрылись одним одеялом (его одеяло продали), и мне было очень приятно услышать от моего старшего брата, что спать на полу вовсе не так плохо.

Я дождался, пока он прочел молитву на сон грядущий и заснул. Тогда я стал кататься по всему полу. Места теперь, слава богу, вдоволь. Раздолье! Простор! Рай земной!

5

— Как дальше-то быть? — говорит однажды утром мать, обращаясь к моему брату Эле, и, наморщив лоб, оглядывает голые стены.

Я и брат Эля помогаем ей осматривать все четыре стены. Брат смотрит на меня озабоченно и с жалостью.

— Ступай во двор! — говорит он мне строго. — Нам нужно кое о чем посоветоваться...

На одной ноге я выскакиваю на улицу и, конечно, сразу же — к соседскому теленку.

За последнее время Мени подрос, похорошел, черная мордочка стала миловидной, круглые глаза — умней,

совсем как у человека, как у разумного существа: глядит, не дадут ли ему чего-нибудь, и очень любит, когда ему двумя пальцами почесывают шею.

— Уже? Опять с теленком возишься? Никак расстаться не можешь со своим дорогим другом?

Это говорит мой брат Эля, но на этот раз не ругается. Он берет меня за руку и рассказывает, что мы пойдем к кантору Герш-Беру. У кантора Герш-Бера, говорит он, мне будет хорошо. Во-первых, меня там будут кормить. А дома сейчас скверно: отец болен, надо его спасать.

— Мы,— говорит Эля,— спасаем его как можем...

При этом он расстегивает свой кафтан и показывает на жилет.

— Вот... Были у меня часы... подарок от будущего тестя... пришлось продать. Если бы он узнал, творилось бы бог знает что! Светопреставление!

Я благодарю бога за то, что будущий тесть Эли ничего не знает о часах, что светопреставления не будет. Подумать только — если бы дело дошло до светопреставления! Что бы тогда было с Мени, с соседским теленком? Бессловесное существо!..

— Вот мы и пришли! — говорит брат Эля, который с каждой минутой становится все добрее и ласковее ко мне.

Герш-Бер слывет знаменитым кантором. Собственно, сам он не поет — у него, бедняги, голоса нет. Так говорит отец. Но он знает толк в пении. Певчих у него десятка полтора, а сам он страсть какой сердитый!

Он прослушал меня. Я с выкрутасами спел одну из субботних молитв. Кантор провел рукой по моим волосам и заявил брату, что у меня сопрано.

Брат Эля добавил:

— Не просто сопрано, а всем сопрано сопрано!..

Брат Эля поторговался с ним, получил задаток и сказал, что я уж остаюсь здесь, у кантора Герш-Бера. Мне надо его во всем слушаться и не скучать...

Легко ему говорить — не скучать! Лето — а мне не скучать? Солнце печет, небо как хрусталь, грязь уже давно просохла. На улице возле нашего дома свалены бревна. Это не наши, это бревна богача Иоси. Он собирается строить дом, приготовил бревна, но некуда было их сложить — он и бросил их возле нас.

Большое спасибо ему, богачу Иосе! Ведь я из бревен могу строить для себя «крепость», а между бревен растет репейник и хлопущка. Колючками репейника можно

швыряться и колоть, а хлопушки надувают и хлопают ими себе по лбу — они лопаются. Мне хорошо! И Мени, соседскому теленку, тоже хорошо. Я и Мени здесь единственные хозяева. Так как же мне не скучать по соседскому теленку Мени?!

6

Вот уже скоро три недели, как я живу у кантора Герш-Бера, но петь мне почти не приходится. У меня другая забота. Я по целым дням таскаю на руках его дочку Добцю. Она горбатая. Ей еще и двух лет не исполнилось, но она тяжеленькая — пожалуй, тяжелее меня. Я надрываюсь, таская ее на руках. Добця меня любит. Она обнимает меня тощими ручонками и цепляется тоненькими пальчиками. Зовет она меня «Кико». Почему Кико — не знаю. Добця меня любит. Не дает мне спать ночи напролет: «Кико, ки!» Это значит: укачивай ее. Добця меня любит. Когда я ем, она вырывает у меня кусок из рта: «Кико, пи!» Это значит: отдай мне!..

Меня тянет домой... Кормят здесь тоже не ахти как. Нынче праздник. Канун швуэс. Хочется выйти из дому, посмотреть, как небо раскалывается. Но Добця не пускает. Добця меня любит: «Кико, ки!» — качай ее. Я качаю, качаю ее и засыпаю. И приходит ко мне гость, Мени — соседский теленок, смотрит на меня понимающими глазами и говорит: «Идем!» Мы спускаемся с горы к реке. Не долго думая, я засучиваю штанишки: «Гоп!» — и я уже в воде. Плыву, а Мени за мной. На том берегу хорошо. Нет ни кантора, ни Добци, ни больного отца... Просыпаюсь — это лишь сон...

Бежать! Бежать! Бежать! Но как бежать? Куда? Домой, конечно... Но кантор Герш-Бер уже встал раньше меня. У него большой камертон, он пробует его зубами, подносит к уху. Он велит мне наскоро одеться и следовать за ним в синагогу. Сегодня во время предобеденной службы будут петь «исключительную вещь».

В синагоге я встречаю своего брата Элю. Как он сюда попал? Ведь он всегда молится в той синагоге, где отец служит кантором! Что это значит? Брат Эля говорит о чем-то с Герш-Бером. Мой хозяин недоволен. Он говорит:

— Так помни же, ради бога, сейчас же после обеда!..

— Пойдем! С отцом повидаться! — говорит мне брат Эля, и мы вместе идем домой.

Он идет, а я прыгаю, бегу, лечу.

— Погоди! Куда ты летишь? — говорит брат и сдерживает меня.

Ему, видно, хочется со мной поговорить.

— Знаешь? Отец болен, очень, очень болен... Бог знает что с ним будет... Надо его спасать, а спасать нечем. Никто не хочет помочь... А в больницу мать ни за что не отдает... Она лучше умрет, говорит, чем отдаст его в больницу... Тише, вот мама идет!..

7

С распростертыми руками идет нам навстречу мать, бросается ко мне на шею, и я чувствую на своих щеках ее слезы. Брат Эля уходит к больному отцу, а я с матерью остаюсь на улице. Нас окружили со всех сторон: тут и жена нашего соседа, Песя-толстая, ее дочь Миндл, ее невестка Перл и еще две женщины.

— У вас гость к празднику? С гостем вас!..

Мать опускает опухшие глаза.

— Да, гость, гость. Ребенок! Пришел проведать больного отца... Как-никак дитя родное, — отвечает она собравшимся женщинам и добавляет тихо, обращаясь к одной соседке Песе, сочувственно кивающей головой: — Ну и город! Хоть бы кто-нибудь обратил внимание... Двадцать три года отбарабанил у амвона... Здоровье загубил... Я бы, может быть, и спасла его, да нечем... Все, с божьей помощью, продала... До последней подушки... Сына в певчие к кантору отдала... Все ради него... Все ради больного.

Так жалуется мама соседке Песе. Я оглядываюсь во все стороны.

— Кого ты ищешь? — спрашивает мать.

— Кого ему, шалуну, искать? Теленка, верно... — отвечает наша соседка Песя и обращается ко мне как-то особенно дружески: — Эх, мальчик! Нет уже теленка! Пришлось продать мяснику. Ничего не поделаешь. Одну скотину едва прокормишь — где уж там о двух думать!..

Вот как — и теленок, значит, у нее уже «скотина»?

Чудная эта Песя. Всюду сует свой нос. Ей обязательно нужно знать, есть ли у нас к празднику молочная трапеза.

— Это вы к чему? — спрашивает мать.

— Просто так! — отвечает Песя и, достав из-под шали горшок со сметаной, сует его матери.

Мать обеими руками отталкивает от себя горшок.

— Господь с вами, Песя! Что вы делаете? Что вы? Разве мы бог вещь кто? Вы меня разве не знаете?

— Вот именно, — оправдывается Песя, — потому что я вас знаю... Коровка — не сглазить бы — за последнее время поправилась... Есть, слава богу, и сыр и масло. Я вам даю взаймы. Вы мне, даст бог, вернете...

И соседка Песя еще долго о чем-то говорит с матерью, а меня тянет к бревнам, к теленку, к теленку! Если бы не стыдно было, я бы расплакался.

— Если отец будет тебя о чем-нибудь спрашивать, говори: «Слава богу!» — наказывает мне мать, а брат Эля объясняет подробнее:

— Ты не вздумай жаловаться, басни рассказывать, выдумки разные!.. Отвечай только: слава богу. Слышишь, что тебе говорят?

И брат Эля вводит меня в комнату отца. Стол уставлен склянками, коробочками, баночками. Пахнет аптекой. Окно закрыто. Ради праздника комната убрана зеленью, на стенке у изголовья висит «могиндовид», сплетенный из любистка. Это, верно, Эля смастерил. Пол устлан пахучей травой.

Увидев меня, отец делает мне знак длинным тонким пальцем. Брат Эля подталкивает меня. Подхожу поближе. Я едва узнал отца. Лицо землистое. Седые волосы блестят, торчат поодиночке, будто нарочно воткнутые чужие волосы. Черные глаза сидят глубоко, как вставные, чужие глаза. Зубы тоже выглядят, как вставные, чужие зубы. Шея до того исхудала, что голова на ней еле держится. Хорошо еще, что он сидеть может... Губы издают какой-то странный звук, как при плавании: мпфу!.. Отец кладет мне на лицо горячую руку с костлявыми пальцами и криво улыбается, как мертвец.

В комнату входит мать, а следом за нею доктор, веселый доктор с черными усами. Он встречает меня как старого приятеля, угощает щелчком по животу и весело говорит отцу:

— У вас гость к празднику? С гостем вас!

— Спасибо! — отвечает мать и кивает доктору, чтобы тот осмотрел больного и прописал ему что-нибудь.

Доктор с шумом распахивает окно и сердится на брата Элю за то, что окно постоянно закрыто.

— Я вам уже тысячу раз говорил: окно любит, чтобы его держали открытым!

Брат Эля кивает в сторону матери: это она виновата, не дает открывать окно, все боится, как бы отец, упаси бог, не простудился. Мать знаком просит доктора, чтобы он скорее осмотрел больного и прописал что-нибудь. Доктор достает часы, большие золотые часы. Брат Эля впивается в них глазами. Доктор замечает это.

— Вы хотите знать, который час? Без четырех минут половина одиннадцатого. А на ваших?

— Мои остановились,— отвечает брат Эля и как-то странно краснеет при этом от кончика носа до ушей.

Матери не терпится. Ей бы хотелось, чтобы доктор скорее осмотрел больного и прописал что-нибудь... Но доктор не торопится. Он расспрашивает о посторонних вещах: когда свадьба моего брата? Что говорит кантор Герш-Бер по поводу моего голоса? У меня, вероятно, говорит он, хороший голос. Голос, говорит он, передается по наследству. Матери невтерпеж! Доктор вместе со стулом поворачивается к больному и берет его сухую, горячую руку.

— Ну, кантор, как справляем нынешние праздники? Как молимся?

— Благодарение богу! — отвечает отец с мертвой улыбкой на губах.

— А именно? Меньше кашляли? Хорошо спали? — спрашивает доктор, наклонившись к нему совсем близко.

— Нет! — отвечает отец, едва переводя дыхание.— Наоборот... Кашлять — кашляем... А спать — как раз не спится... Но, слава богу... праздник... такой день... Да и гость... на праздник...

Глаза всех устремлены на «гостя», а «гость» стоит потупившись, и мысли его витают где-то далеко отсюда — возле сваленных бревен, где растут колючий репей и щелкающие хлопущи, возле соседского теленка, такого понятливого и превратившегося уже в «скотину», возле речки, шумно сбегаящей вниз, или еще дальше — в необъятной шири лазурного свода, который называют небом...

Сметана, которую наша соседка Песя-толстая дала нам «взаймы», пришлась очень кстати. Я и брат Эля справили молочную трапезу: оба макали свежую булку в холодную сметану. Это было совсем не плохо.

— Плохо только, что так мало,— заметил мой брат Эля, который в этот день был так настроен, что позволил мне даже не торопиться к кантору Герш-Беру и поиграть немного дома.

— Ведь ты у нас гость на праздники! — сказал он и позволил мне играть на бревнах, правда, с условием, чтобы я не слишком шалил и не порвал, чего доброго, единственную пару штанишек.

Ха-ха-ха! Не порвать единственную пару штанишек! Смеяться некому, честное слово! Вы бы видели эту пару штанишек — ну и ну! Давайте лучше о штанишках не говорить! Поговорим лучше о бревнах богача Иоси. Ах, бревна, бревна! Богач Иося думает, что бревна принадлежат ему. Вздор! Бревна — мои! Я из них сделал дворец и виноградник. Я — принц. Принц разгуливает у себя в винограднике, срывает хлопушку и — щелк по лбу, еще хлопушку — и снова щелк по лбу... И все мне завидуют. Даже сынишка богача Иоси, Генех-кривой. Он проходит мимо в новом люстриновом костюмчике, показывает на мои штаны, хохочет, щурит свой кривой глаз и говорит:

— Смотри, как бы ты чего не потерял...

— Уходи лучше подобра-поздорову,— отвечаю я,— не то брата позову!

К моему брату Эле мальчики питают уважение, и Генех-кривой убирается восвояси, а я снова остаюсь один, я снова — принц у себя в винограднике... Жаль только, что Мени нет! Наш соседский теленок уже больше не теленок, он уже «скотина». Так говорит наша соседка Песя. Что это значит — «скотина»? И зачем его продали мяснику? Неужели на убой? Для того ли он родился, чтобы его потом зарезали? Для чего рождается теленок, для чего рождается человек?

Вдруг я слышу из дома страшные крики и плач... Узнаю мамин голос... Подымаю глаза — возле нашего дома толпа. Мужчины... Женщины... Входят, выходят... Я лежу на бревне ничком, мне хорошо! Погодите! Вон идет богач Иося! Он староста синагоги, в которой мой отец двадцать три года служит кантором. Иося когда-то

был мясником. Теперь он торгует скотом и кожами и богат, очень богат. Иося машет руками, сердится на мать и толкует:

— Сто знацит? Сто знацит? Поцему мне не сказали, сто кантор Пейся так серьезно болен? (Он не выговаривает «ш» и «ч».) Поцему вы молцали?

— А зачем мне кричать? — оправдывается мать, обливаясь слезами. — Весь город видел, как я мучаюсь, хочу его спасти... Он сам все время так просил, чтобы его спасли...

Мать не может больше говорить, она заламывает руки, запрокидывает голову. Брат Эля подхватывает ее.

— Мама! Зачем ты оправдываешься? Мама! Не забывай, мама, сегодня праздник, сегодня плакать нельзя! Мама!

А богач Иося горячится:

— Сто вы мне рассказываете — весь город! Кто это — город? Мне надо было сказать! Обязательно — мне! Все на мой счет! Погребение, саван — все, все на мой счет! А если нужно сто-нибудь для сирот, обращайтесь ко мне без стеснения!

Но слова богача мало успокаивают мать. Она все время плачет и виснет на руках у брата без чувств. А мой брат Эля, не переставая плакать, все напоминает ей:

— Сегодня праздник, мама! Сегодня праздник! Мама, нельзя плакать, мама!

Вдруг мне все становится ясным. Сердце сжимается, хочется плакать, сам не знаю по ком... Мне жаль матери, смотреть не могу, как она плачет, как убивается, как она трепещет у брата на руках. Я покидаю свой дворец, свой виноградник, подхожу к ней сзади и со слезами на глазах говорю ей то же, что и брат Эля:

— Мама! Сегодня праздник! Мама, сегодня швуэс! Мама! Нельзя плакать, мама!..

II. МНЕ ХОРОШО — Я СИРОТА!

1

С тех пор как я себя помню, я никогда не был в таком почете, как сейчас. За что мне, собственно, такой почет? Отец мой, кантор Пейся, как вы уже знаете, умер в первый день праздника швуэс, и я остался сиротой.

С первого же дня после праздника я и мой брат Эля стали читать «Кадиш». Эля и научил меня этой молитве.

Мой брат Эля — преданный и любящий брат, но учитель он плохой. Он вспыльчив, дерется! Он раскрыл молитвенник, уселся со мной и стал учить: «Да возвеличится, да святится великое имя его...»

Он хочет, чтобы я сразу все запомнил. Повторяет раз и второй от начала и до конца, а потом велит мне говорить одному. Я пытаюсь, но дело не идет.

До второй строфы еще кое-как, а дальше — стоп... Тогда Эля толкает меня локтем и говорит, что голова у меня, видно, где-то на улице (угадал ведь!) или занята теленком (точно в голове у меня побывал!)... Он не ленился и повторяет со мной молитву еще раз. Кое-как добрались до середины, а дальше ни с места! Эля хватается меня за ухо и говорит:

— Если бы отец воскрес и увидел, какой у него сын!..

— Мне бы тогда не нужно было читать «Кадиш»! — отвечаю я и получаю здоровенную оплеуху левой рукой по правой щеке.

Мать, заслышав, обрушивается на брата, кричит, чтобы он не смел меня бить, потому что я сирота.

— Господь с тобой! Что ты делаешь? Кого бьешь? Ты забыл, видно, что он сирота?

Сплю я теперь вместе с мамой в отцовской кровати — это единственное, что осталось в доме из мебели. Почти все одеяло она отдает мне.

— Укройся, — говорит она, — спи, сиротинушка мой дорогой! Кушать-то нечего...

Я укрываюсь, но заснуть не могу. Все повторяю наизусть слова молитвы. В хедер я не хожу, не учусь, не молюсь, не пою. Свободен от всего.

Мне хорошо — я сирота!

2

Можете меня поздравить! Я уже знаю все наизусть. В синагоге я становлюсь на скамью и отбарабаниваю свою молитву на славу. Голос у меня тоже неплохой — наследство от отца: настоящее сопрано.

Мальчишки выстраиваются возле меня и завидуют. Женщины плачут. Состоятельные хозяева дарят мне

копейку. Сынишка Иоси-богача, Генех-кривой (он ужасный завистник!), показывает мне язык, изо всех сил старается меня рассмешить. Но ему назло я смеяться не стану. Однажды это заметил синагогальный служка Арон — он ухватил Генеха за ухо и потащил к дверям. Поделом!

Так как читать поминальную молитву приходится и утром и вечером, то я уже к кантору Герш-Беру больше не хожу и не таскаю на руках Добцю. Я свободен. Целые дни я провожу на реке — ловлю рыбу или купаюсь. Ловить рыбу я научился сам. Если хотите, могу и вас научить. Снимают рубаху, завязывают узлом рукава и медленно бродят по горло в воде. Идти нужно долго-долго. Когда почувствуете, что рубаха стала тяжелая, — значит, она полна. Тогда вы выходите из воды и как можно скорее вытряхиваете из рубахи всю грязь и водоросли и хорошенько присматриваетесь. В водорослях часто попадаются лягушата, бросьте их обратно в воду — жалко их. А в густой грязи можно иной раз найти пиявку.

Пиявки — это деньги. За десяток пиявок вы можете получить три гроша — полторы копейки. На улице такие деньги не валяются!.. А рыбы не ищите. Когда-то водилась рыба, а нынче нет. Да я за ней и не гонюсь. Я рад, когда попадаются хотя бы пиявки. Их тоже не всегда найдешь. Нынешним летом не было ни одной!

Каким образом мой брат Эля узнал, что я занимаюсь рыбной ловлей, ума не приложу! Он однажды чуть мне ухо не оторвал за эту рыбу. На счастье, это заметила наша соседка Песя-толстая. Родная мать не заступилась бы так за своего ребенка.

— Разве можно так обижать сироту!

Брату Эле стало стыдно, и он отпустил мое ухо. Все за меня заступаются. Мне хорошо — я сирота!

3

Наша соседка Песя-толстая влюбилась в меня. Пристала к моей матери, как клещ, чтобы я покуда жил у нее, у Песи то есть.

— Что вам сделается? — толковала она. — У меня за стол садится двенадцать человек. А уж где двенадцать, там и тринадцатый.

Мать почти согласна. Но тут вмешивается мой брат Эля:

— А кто будет смотреть, чтобы он вовремя ходил читать молитву?

— Я буду смотреть. Чего вам еще надо?

Песя совсем не богата. Муж ее — переплетчик, звать его Мойше. Он славится как лучший мастер. Но этого мало. Нужно к тому же и счастье. Так говорит Песя моей матери. Мать соглашается и добавляет, что даже в несчастье тоже нужно счастье. И приводит в пример меня. Вот я сирота, а все хотят взять меня к себе. Есть даже охотники, готовые взять меня навсегда. Но не дожидаться ее врагам, чтобы она согласилась отдать меня навсегда!

Так говорит мама и плачет. Она советуется с моим братом Элей:

— Как ты думаешь? Остаться ему покуда у Песи?

Мой брат Эля уже большой. Иначе с ним не стали бы советоваться. Он поглаживает рукой еще чистое, незаросшее лицо, как если бы у него уже была борода, и говорит, как взрослый:

— Пожалуй... Лишь бы не озорничал...

На том и решили: я поживу пока у нашей соседки Песи, но при условии, что не буду озорничать. Все у них называется озорством! Нацепить кошке бумагу на хвост, чтоб кошка вертелась, — озорство! Постучать палкой по частоколу поповского двора, чтобы все собаки сбежались, — озорство! Вытащить у Лейбки-водовоза затычку из бочки, чтобы больше половины воды вытекло, — озорство!

— Счастье твое, что ты сирота! — говорит Лейбководовоз. — Не то я бы тебе руки и ноги перебил! Можешь мне поверить на слово!

Я верю ему на слово. Я знаю, что сейчас он меня не тронет, потому что я сирота.

Мне хорошо — я сирота!

Наша соседка Песя — да простит она меня! — здорово соврала. Она говорила, что за стол у нее садится двенадцать человек. По-моему, я четырнадцатый. Она, видно, забыла о слепом дяде Борухе. А может быть, она его не считала в числе едоков потому, что он уже очень

старый, беззубый и не может жевать? Не стану спорить, жевать он действительно не может, но глотает он, как гусь, и все норовит схватить лишний кусок. Да и все они за столом хватают совсем не как люди. Я тоже хватаю. За это меня бьют. Бьют ногами под столом. Больше всех колотит меня «Вашти». У всех здесь клички и прозвища: «Колодка», «Кот», «Буйвол», «Пе-те-ле-ле», «Черногус», «Давай Еще», «Смажь Маслом»...

Будьте покойны, прозвища даны не зря. Пиню называют «Колодкой» за то, что он толстый и круглый, как колодка. Велвл — черный, и потому его зовут «Котом». Хаим — увалень, и его прозвали «Буйволом». У Мендла — острый нос, поэтому он «Черногус». Файтла называли «Пе-те-ле-ле» за то, что он говорить не умеет. Берл — ужасный лакомка: дадут ему кусок хлеба с гусиным жиром, а он просит: «Давай еще!» Зороха наградили позорной кличкой «Смажь Маслом»: у него неприятная история, в которой он не виноват. Виновата, может быть, его мать, которая в детстве плохо следила за ним и слишком редко мыла ему голову. А может быть, и она не виновата? Спорить из-за этого не стану. А драться — подавно!

Словом, в этом доме у всех прозвища. Чего уж больше, даже кошка, бессловесное, невинное существо, и та у них имеет прозвище: «Фейге-Лея-старостиха». А знаете, за что? За то, что она такая же толстая, как Фейге-Лея, жена старосты Нахмена. Сколько, по-вашему, все они получили затрещин и оплеух за то, что кошку называют человеческим именем! Ничего не помогает! Как горохом об стенку! Раз дали кому-нибудь прозвище — пропало!

5

Меня тоже прозвали — угадайте как? «Мотл-губастый». Видно, не понравились им мои губы. Когда я ем, говорят они, я шевелю губами. Хотел бы я видеть человека, который при еде не шевелит губами. Я не такой уж гордец и недотрога. Но — не знаю почему — прозвище это мне страшно не нравится! А раз оно мне не нравится — они меня назло только так и зовут. Ужасные приставалы — вы таких в своей жизни не видели! Сначала меня называли «Мотл-губастый», затем просто «Губастый», а потом «Губа».

— Губа! Где ты был?

— Губа! Вытри нос!

Мне досадно, обидно, и я плачу. Однажды их отец, муж Песи, Мойше-переплетчик, увидел меня в слезах и спрашивает, отчего я плачу.

Я говорю:

— Как же мне не плакать, если меня зовут Мотл, а они меня называют «Губа»!

— Кто?

— Вашти.

Мойше хочет побить Вашти, а тот говорит:

— Это не я, это — Колодка.

Отец — к Колодке, а тот говорит:

— Это не я, а Кот!

Один сваливает на другого, другой на третьего — конца не видно!

Тогда Мойше-переплетчик, не долго думая, разложил всех по очереди и отшлепал переплетом от большого молитвенника, приговаривая:

— Байстрюки! Я вам покажу, как насмехаться над сиротой! Черт бы вашего батьку драл!

Так-то! Никто меня в обиду не дает. Все, все за меня заступаются.

Мне хорошо — я сирота!

III. ЧТО ИЗ МЕНЯ ВЫЙДЕТ?

1

Ну-ка, отгадайте, где находится рай? Вам не отгадать. А знаете, почему? Потому что для каждого он в другом месте. Например, мама уверяет, что рай — там, где находится мой отец, кантор Пейся. Там, говорит она, пребывают все праведные души, страдавшие на земле. За то, что у них не было радости на земле, им полагается райское блаженство. Это же ясно как день. Лучшим доказательством может служить мой отец. Ибо где же ему быть, как не в раю? Мало он настрадался при жизни...

Так говорит мать, вытирая при этом глаза, как всегда, когда она вспоминает об отце.

Но спросите моих товарищей — они вам наговорят с три короба: рай находится где-то на горе из чистого хрусталя, высокой, до самого неба. Мальчишки там сво-

бодны как ветер, ничего не делают, не учатся, купаются по целым дням в молоке и едят мед пригоршнями... Думаете — это все? А вот переплетчик заявляет, что настоящий рай — в бане в пятницу. Я сам слышал это от мужа нашей соседки, переплетчика Мойше. Честное слово! Вот и добейся тут толку!

Если бы меня спросили, я бы сказал, что рай — это сад лекаря Менаше. Никогда в жизни вы такого сада не видали! Это единственный сад не только на нашей улице, не только у нас в городе, — пожалуй, на всем свете нет другого такого сада. И не было и не будет! Все вам скажут!

Но что описать вам раньше? Самого лекаря Менаше и жену его Менашиху? Или расписать вам раньше самый рай, то есть их сад? Полагаю, что прежде всего нужно рассказать вам о Менаше и его жене. Они хозяйева, им и честь.

2

Лекарь Менаше и зимой и летом ходит в пелерине. Он подражает черному доктору. Один глаз у него меньше другого, а рот у него — не про меня будь сказано — слегка съехал набок. То есть не слегка, а здорово, здорово съехал. Его как-то ветерком продуло. Так говорит сам Менаше. Я никак не пойму: как может ветерок своротить рот на сторону? Сколько ветров — и слабых и сильных — продувало меня за мою жизнь! Всю голову должно было бы мне своротить задом наперед... Я думаю, что это просто привычка — привык человек, и все. Вот, к примеру, есть у меня товарищ Берл — он моргает глазами. Или, скажем, другой товарищ, Велвл, — тот, когда говорит, будто суп с лапшой хлебает. Все на свете — только привычка. Однако, хоть рот у него на боку, Менаше обдeldывает свои дела почище всех докторов. Во-первых, он из себя не корчит такого барина, как другие доктора. Как только его позовут, он тут же прибеget, запыхавшись. А во-вторых, он не прописывает рецептов. Лекарство он изготавливает сам. У меня как-то вдруг появились озноб и лихорадка, начало колоть в боку (наверное, от слишком долгого купания) — мать сразу же помчалась и привела лекаря Менаше. Он осмотрел меня и сказал своим кривым ртом, обращаясь к маме:

— Нечего пугаться. Пустяки. Сорванец простудил легкие.

При этом он достал из кармана синий пузырек и насыпал в шесть бумажек чего-то белого. «Порошки» называется это. Один порошок он велел мне принять сейчас же. Я, конечно, стал ломаться и вертеться во все стороны. Чуяло мое сердце, что это горько как смерть. Так оно и было. Я угадал! Но горечь горечи рознь. Вы пробовали когда-нибудь свежую кору с молодых кустов? Вот такой вкус имели его порошки. Вообще, имейте в виду: уж ежели порошки, значит, горькие. Однако не помог мне никакой господь бог. Я принял порошок и света белого неувидел... Остальные пять, наказал он маме, я должен принимать через каждые два часа. Нашел охотника желчь глотать! Только мать отвернулась на минутку — пошла рассказать моему брату Эле, что я заболел, — я все пять порошков насыпал в помойное ведро, а в бумажки насыпал муки.

Ну и работа же досталась матери: каждые два часа бегать к соседке Песе смотреть на часы. После каждого принятого мною порошка, замечала она, мне становится лучше. А после шестого порошка я встал совершенно здоровым.

— Вот это доктор! — сказала мать.

Она не пустила меня в хедер, держала целый день дома и кормила сладким чаем с белой булкой.

— Менаше — всем докторам доктор! Дай ему бог здоровья и долголетия! У него есть порошки, которые воскрешают мертвых, возвращают жизнь...

Так потом хвасталась мать перед всеми, вытирая, по своему обыкновению, глаза.

3

Жену Менаше называют по мужу Менашихой-лекарихой. Она вредная женщина. Это все говорят! Знаете — почему? Потому что она очень злая. Лицо у нее, как нарочно, мужское, голос мужской, сапоги носит мужские, а когда говорит, всегда кажется, что она сердится. Вообще слава о ней идет неважная. Ни разу в жизни она нищему куска хлеба не подала. А дом у нее полон добра. Вы можете найти у нее варенье и прошлогоднее, и трехлетнее, и даже десятилетнее. К чему ей, скажете, столько варенья? Спросите у нее — она и сама не знает.

Такой уж у нее характер. Пропащее дело — ее не переделаешь! Она знает одно: чуть наступило лето, только и делает, что варенье варит! Думаете, она варит на углях? Как бы не так! На колючках, на шишках, на опавших листьях. Такого дыму напустит на всю улицу, что задохнуться можно. Если вам случится как-нибудь попасть к нам летом и вы почувствуете, что горелым пахнет, не пугайтесь — это не пожар. Это Менашиха-лекариха варит варенье — собственноручно, из собственных фруктов, в собственном своем саду.

Итак, мы добрались до сада, о котором я обещал рассказать.

4

Чего-чего только нет в этом саду! Яблоки, и груши, и черешни, и сливы, и вишни, и крыжовник, и смородина, и персики, и шпанка, и абрикосы, и малина, и шелковица... Чего уж больше — даже виноград к Новому году можно получить у лекарихи Менашихи. Правда, когда попробуешь этот виноград, глаза на лоб лезут — до того он кислый. И все же она за него получает хорошие деньги! Из всего она умеет делать деньги. Даже из подсолнуха. Упаси вас бог попросить у нее подсолнух! Не даст. Она скорее даст вырвать себе зуб из рта, нежели подсолнух из огорода. А уж яблоко, грушу, вишню или сливу — и говорить нечего! Не дай бог! Я знаю этот сад, как богомольный еврей слова молитвы. Знаю даже, где какой кустик находится, и что на нем растет, и уродится ли на нем что-нибудь в этом году. Откуда я все это знаю? Не пугайтесь, я там еще никогда не бывал. Да и как я мог бы там быть, когда сад огорожен высоким забором с ужасными колючками наверху? Вы думаете, это все? В самом саду есть еще собака. Не собака — волк лютый. На длинной веревке он привязан, этот треклятый пес, и пусть кто-нибудь отважится пройти мимо или пусть этому дьяволу только померещится, что кто-то идет мимо, — он начинает рваться с привязи, прыгать и лаять так свирепо, как будто сам черт его за душу хватает!

Спрашивается: как же я мог попасть в сад?

А вот послушайте — я вам расскажу.

Мендла, сына нашего резника, вы не знаете? Стало быть, где он живет, вы и подавно не знаете. А дом его — рядом с домом лекаря Менаше и окнами глядит прямо в сад. Если сидеть у Мендла на крыше — видно все, что делается в саду у лекаря. Весь фокус в том, чтобы взобраться к Мендлу на крышу. Мне это нипочем. Знаете — почему? Потому что дом Мендла — рядом с нашим и гораздо ниже нашего. Стоит только вскарабкаться к нам на чердак (я это проделываю без лестницы; при случае я, быть может, расскажу вам, каким образом) и просунуть ноги в слуховое окошечко, — и вы уже на крыше у резника. Там вы можете улечься, как вам угодно: лицом кверху или лицом книзу. Во всяком случае, лежать вам придется обязательно, иначе вас могут, не дай бог, увидеть: а что вы там делаете у Мендла на крыше?.. Я обыкновенно выбирал для этого сумерки, когда надо было идти в синагогу читать поминальную. И день еще не кончился, и вечер не наступил — самое лучшее время. Если смотреть с этой крыши, то, клянусь вам, сад не сад, а рай земной!..

В начале лета, когда деревья начинают цвести, покрываться белыми пушинками, знайте — не сегодня завтра на низеньких колючих кустах покажется зеленый крыжовник. Это первый плод, который вам хочется попробовать. Есть люди, которые дожидаются, пока крыжовник станет красным. Глупцы! Уверяю вас, когда крыжовник еще зелен, он гораздо вкуснее и приятнее. Скажете — кислятина? Оскомину набивает? Ну и что же? Кислое так приятно, а против оскомины есть средство — соль. Насыпать на зубы соли, держать с полчаса рот открытым — и можете снова есть тот же крыжовник...

После крыжовника поспевают красная смородина. Пунцовые, с черными точечками, с желтыми зернышками ягоды десятками висят на каждой веточке. Проведите одной только веточкой между губ, и у вас полон рот ягод, кисленьких, душистых — объедение! Когда они поспевают, мать покупает мне на грош кружечку смородины, и я ем ее с хлебом.

У лекарихи в саду два ряда маленьких приземистых кустов, усыпанных смородиной. Она так и рдеет на солнце, сверкает, и так хочется хоть веточку, хоть

смородинку ухватить двумя пальцами, сорвать и — прямо в рот! Поверите ли, даже когда говорю о зеленом крыжовнике и красной смородине, я уже чувствую оскомину на зубах.

Поговорим лучше о черешне. Черешня недолго остается зеленой. Она быстро поспевает. Могу поклясться чем угодно — я сам видал, лежа у Мендла на крыше: несколько черешен утром были зеленые, как трава. Я их хорошо приметил. Днем у них на солнце зарумянились щечки. А к вечеру они уже были ярко-красные, как огонь!

И черешню мне мать иногда приносила. Но сколько? Пять штук на нитке. Что делать с пятью штуками? Играешь с ними, играешь, а там и сам не заметишь, куда они девались...

6

Черешни у Менаше-лекаря в саду что звезд на небе. Вы понимаете, конечно, что я не прочь был подсчитать, сколько ягод на одной ветке. Напрасный труд. Считал, считал и никак не мог сосчитать. Черешня крепко держится на прутиках. Редко-редко какая черешня упадет с дерева — разве что перезреет, станет черной, как слива. Вот персики, видите ли, — те падают, как только хорошенько пожелтеют. Ах, персики! Персики! Люблю их больше всего. За всю жизнь я съел только один персик, но вкус его до сих пор чувствую во рту. Это было несколько лет тому назад, мне тогда и пяти еще не исполнилось. Отец был жив, и в доме у нас тогда еще было все — и стеклянный шкаф, и кушетка, и книги, и постель. И вот однажды приходит отец из синагоги и, сунув руку в задний карман сюртука, где лежит носовой платок, обращается ко мне и моему брату Эле:

— Дети! Персики будете кушать? Я принес вам персики. Два персика.

Он вынимает руку из заднего кармана, где лежит носовой платок, и подносит мне и брату Эле два больших, желтых, круглых, пахучих плода. Брату Эле не терпится. Он вслух произносит молитву «Благословен созидающий плоды» и сразу засовывает весь персик в рот. Я предпочитаю раньше всласть наиграться, налюбоваться, и только потом принимаюсь

есть. И то не весь сразу, а по кусочкам и — с хлебом. Персики хороши с хлебом.

С тех пор я больше персиков не пробовал, но вкуса того персика я никак забыть не могу. Сейчас передо мною целое дерево, унизанное персиками, а я лежу у Мендла на крыше, гляжу и гляжу, как они один за другим отрываются и падают. Один из них желтый, даже чуть красноватый, треснул, раскрылся, видна пузатая косточка. Что она будет делать, лекариха, с такой уймой персиков? Снимет, наверное, и наварит варенья. Варенье запрячет глубоко в печь, а зимой поставит в погреб, и будет оно там стоять, пока не засахарится и не покроется плесенью.

За персиками поспевают сливы. Не все сразу. У меня есть два сорта слив в саду Менаше-лекаря. На одном дереве у меня чернослив. Это круглая, сладкая, жесткая черная слива. На другом дереве растет слива попроще. Этот сорт называют «ведерной сливой»: ее продают на ведро. У неё тонкая кожица, она скользкая, липкая и водянистая на вкус. И все же она вовсе не так плоха, как вы думаете. Давали бы ее только! Но Менашиха не больно щедра... Она лучше сварит из слив повидло на зиму. И когда только она съест такую уйму повидла?

7

Когда кончаются черешня, персики и слива, приходит пора яблок. Яблоки, надо вам знать, — это не груши. Груши, даже самые лучшие на свете («бергамоты»), если они только не созрели как следует, никуда не годятся. Точно дерево грызешь. А яблоки, даже зеленые, даже с белыми зернышками, — и то уже яблоки. Вы запускаете зубы в зеленое яблоко, и во рту становится кисло-кисло. Знаете, что я вам скажу? Я не променяю половины зеленого яблока на два спелых. Спелых надо дожидаться неведь сколько, а зелеными можно поживиться, лишь только яблоня отцвела. Дело только в величине. Яблоко, чем дольше оно зреет, тем оно становится больше, как, скажем, человек. Но это вовсе не значит, что большое яблоко всегда хорошее. Бывает, что маленькое яблочко куда вкуснее самого крупного. Взять, к примеру, райские яблочки. Они кисленькие, но вкусные. Или, например, кислицы, винные яблоки — чем плохи? Нынешним

летом на них такой урожай! Будет столько, что придется возами возить. Это я слышал от самой Менашихи-лекарихи. Так она сказала яблочнику Рувину, когда яблони были еще в цвету.

Рувин осматривал сад. Он уже сейчас хотел купить у нее все яблоки и груши. Рувин — большой знаток в этих делах: стоит ему только одним глазом взглянуть на дерево, и он сразу скажет, сколько прибыли ждать он него. Он никогда не ошибается ни на столечко. Разве что будут сильные ветры и яблоки опадут до времени, или червяк, гусеница сядет на дерево. Но это все такие вещи, которые человек знать наперед не может. Ветер ведь от бога, и гусеница — тоже. Хотя я, право, не знаю, зачем богу черви и гусеницы? Разве для того, чтобы лишить яблочника Рувина куска хлеба?.. Рувин говорит, что он от дерева ничего больше не требует, кроме куска хлеба. У него, говорит он, жена и дети, и ему нужен для них кусок хлеба. Менашиха сулит ему не только хлеб, но хлеб с маслом.

— Такого бы мне счастья,— говорит она,— какие деревья я вам сдаю! Разве это деревья? Золото, а не деревья! Вы знаете, ведь я вам, упаси бог, не враг,— говорит Менашиха, обращаясь к Рувину,— мне бы такого счастья, какого я вам желаю.

— Аминь! — отвечает Рувин с улыбкой на добром, красном, шелушащемся от солнца лице.— Дай мне расписку, что не будет ветров, червей и гусениц,— я заплачу больше, чем вы просите.

Менашиха смотрит на него как-то странно, снизу вверх, и говорит мужским своим голосом:

— Дайте-ка мне расписку, что на обратном пути вы не поскользнетесь на ровном месте и не сломаете себе ногу.

— Уж это как кому на роду написано! — отвечает Рувин и смотрит на нее добрыми улыбающимися глазами.— Это может случиться с богачом еще скорее, чем с бедняком, потому что богачу есть на что хворать.

— Вы очень умный человек! — отвечает, свирепея, Менашиха.— Но у человека, который желает другому сломать себе ногу, может отсохнуть язык, да так, чтобы он даже не знал, откуда что взялось.

— Ну что ж! — отвечает Рувин все с той же усмешкой.— И язык не худо, лишь бы, упаси бог, не у бедняка...

Жаль, что сад не перешел к яблочнику Рувину! Мне бы это было гораздо больше по душе. Вы еще такой ведьмы, как лекариха, не видавали! Упадет какое-нибудь червивое яблоко, высохшее, как лицо у старенькой бабушки, она не поленится, нагнется, подымет его, положит в подол и унесет. Куда она их таскает? Наверное, на чердак, а может быть, в погреб. Скорее — в погреб. Я слышал, что в прошлом году у нее сгнил полный погреб яблок. Ну, разве не сам бог велел рвать у нее в саду яблоки? Да, но как их рвать? Забраться в сад ночью, когда все спят, и набить полные карманы было бы, конечно, самым разумным делом. Но что скажет пес? А яблоки нынешним летом, как назло, одно к одному. Так и просят, умоляют, чтобы их сорвали! Что делать? Знать бы такое слово, заклинание, чтобы яблоки сами ко мне шли! Я долго-долго думал и придумал. Не слово, не заклинание, а нечто совсем иное. Палку, длинный шест с гвоздем на конце. С этой палкой, лишь бы попасть гвоздем в яблоко у самого хвостика и потянуть к себе,— яблоко ваше. Держите только палку так, чтобы яблоко, не дай бог, не упало наземь. Но если и упадет, невелика беда. Она подумает, что ветер сорвал. Разумеется, яблоко гвоздем не задевайте, а то она догадается... Клянусь вам честным словом, что я ни одного яблока не попортил. И не падало у меня ничего! У меня яблоки не падают! Я знаю, как держать шест, когда рвешь яблоки. Главное — не торопиться. Куда вам спешить? Заполучили яблочко,— съешьте его потихоньку, отдохните немного и продолжайте свое дело. Уверю вас, никто на свете знать не будет!

Но поди угадай, что эта ведьма знает, сколько у нее яблок на дереве. Видно, она их сосчитала днем, а наутро заметила, что нескольких штук не хватает. Спряталась у себя на чердаке и стала подглядывать, авось удастся поймать вора. Так я предполагаю. Как же иначе она могла догадаться, что я лежу у Мендла на крыше и орудую шестом? Добро бы она меня поймала одна, без свидетелей, я бы ее как-нибудь умиловил. Как-никак я сирота,— может, она бы и сжалась надо мной? Так нет же! Она пошла за моей мамой, за соседкой Песей, за резничихой, взяла их

всех с собой, вскарабкалась вместе с ними к нам на чердак (этакая ведьма!). А с чердака им уже нетрудно было увидеть через окошко, как я управляюсь со своим инструментом.

— Ну, что вы скажете? Хорошо сокровище? Теперь верите?

Слова эти принадлежали лекарихе. Я узнал ее мужской голос. Повернув голову к чердаку, я увидел всех четырех женщин. Я не бросил шеста с яблоком. Он сам выпал из рук. Счастье, что я сам удержался на ногах. Я не мог никому в глаза смотреть. Если бы не пес в саду, я бы прыгнул и убился со стыда. Хуже всего для меня были мамины слезы. Она, не переставая, плакала, рыдала и причитала надо мной:

— Горе мне! Горе мне! До чего я дожила! Я думала, мой сиротинушка ходит в синагогу, а он, оказывается, лежит на чердаке и рвет чужие яблоки.

А ведьма стоит с ней рядом и гремит своим басом:

— Пороть его надо, озорника этакого! Полосовать до крови! Чтоб мальчишке неповадно было, чтоб он знал, как во...

Мать перебивает, не дает договорить слово «воровать».

— Он сирота! Несчастный! — твердит мать и целует у лекарихи руки, умоляет ее, чтоб она простила меня. — Больше этого никогда не будет! — Она клянется всеми клятвами на свете, что это — в последний раз! Не то умереть ей самой либо меня, сохрани бог, похоронить!..

— Пусть поклянется, что он никогда больше даже не взглянет на мой сад! — требует лекариха своим мужским голосом, без капли жалости к сироте.

— Чтоб у меня руки отсохли! Чтоб у меня глаза вылезли! — говорю я и иду с мамой домой.

По дороге я выслушиваю ее нравоучения и, глядя на ее слезы, плачу и сам горько-горько.

— Скажи мне только, что из тебя выйдет? — говорит мать со слезами на глазах и жалуется на меня моему брату Эле.

Брат выслушивает всю историю с яблоками и бледнеет. Вероятно, от гнева. Видя это, мать пугается, как бы он меня не побил. И шепотом просит его не трогать меня, потому что я сирота.

— Кто его трогает? — говорит мой брат Эля.—

Я только хотел бы знать, что из него выйдет? Что из него выйдет?!

Так говорит мой брат Эля и скрежещет зубами. Скажи ему, что из меня выйдет? А я знаю? Может, вы знаете, что из меня выйдет?

IV. МОЙ БРАТ ЭЛЯ ЖЕНИТСЯ

1

Поздравляю вас! Знаете? Мой брат Эля женится!

Батюшки, что творится! Весь город котлом кипит! Весь мир ходуном ходит! Так говорит наша соседка Песя-толстая. Она уверяет, что свадьба будет на славу! Такой свадьбы, по ее словам, давно уже не было у нас в городе!

Из-за чего такой шум! Из-за того, что все нас жалеют: мать — вдова, жених — сирота. А отчасти — из уважения к памяти отца. Отец, царство ему небесное, оставил по себе доброе имя! При жизни, правда, что-то не слышать было, чтобы о нем говорили много. Но сейчас, после смерти, кантор Пейся возвеличен и увенчан славой. Спасения нет! Послушай только, что говорят моей маме люди! Они говорят, что отец невесты не хвор взять на себя все расходы, да еще и приплатить кое-что. Он не должен забывать, говорят они, что мужем его дочери будет сын кантора Пейси!

Мой брат Эля слышит такие разговоры и смущается. Он стыдливо поглаживает свою бородку, как большой, как мужчина. Он и в самом деле уже мужчина. Совсем недавно у него стала пробиваться бородка. Это у него, наверное, от курения. С тех пор как отец умер, он начал курить. В первое время он мучился, захлебывался от кашля. Но сейчас он уже затягивается и умеет пускать дым через нос. Подумаешь, какой фокус! Я тоже умею, и это и еще черт знает что. На беду, узнал об этом мой брат Эля. Ну и задал же он мне! Ему, видите ли, можно, а мне нельзя! Потому что мне еще неполных девять лет. Ну и что же? Чем я виноват? Я дал ему слово, поклялся на Пятикнижии, что — кончено, больше я не курю.

Как вы думаете, долго я держал слово свое? Скажите на милость, кто в наше время не курит?

Сейчас будет светопреставление. Так заявляет наша соседка Песя. Она вернулась от будущего тестя моего брата Эли ужасно взволнованная. Скверная история. Невестин отец узнал, что у жениха (моего брата Эли) нет часов. Это были хорошие, настоящие серебряные часы. Сват купил их ему в подарок. Куда же они делись? В карты он их, упаси бог, не проиграл. Он продал их, а деньги израсходовал на докторов и лекарства. Хотел спасти своего отца — что ему за это полагается? Так толковала Песя.

Но тот — человек простецкий. Он спрашивает, какое отношение имеет чужой отец к его часам? Он, говорит, не обязан своими часами содержать чужих отцов... Из одних часов уже стало много, а отец превратился в «отцов»... На это ему Песя отвечает, что из поросячьего хвоста раввинской шапки не сошьешь... Это она намекает на нашего будущего родственника. Невежда! Он пекарь, и зовут его Иойна-бараночник. Он печет баранки. «Печь бы вам баранки на том свете!» — говорит ему Песя, видно, в шутку. А может, и всерьез? Я не понимаю, зачем на том свете печь баранки: кто их там покупать будет?

Он состоятельный человек, этот Иойна! Песя считает, что он богач. Она ему в глаза говорит, что, если бы у нее была хотя бы половина его состояния, она бы с ним не породнилась. Она свиней не любит. Ему приходится отмалчиваться: чем попасть к ней на язык, лучше помолчать. Он уже готов простить жениху историю с часами, лишь бы положить конец этому делу. Но Песя заявляет, что она ему не прощает. Она хочет, чтобы он купил жениху другие часы. Неприлично, говорит она, чтобы жених шел к венцу без часов. Тогда Иойна начинает допытываться, какое отношение имеет она к его жениху.

— Очень даже большое! — отвечает Песя. — Потому что жених — сын кантора Пейси, а он, Иойна-бараночник, — и то и другое: и богач и свинья.

Его это, конечно, задевает, он хлопает дверью и говорит:

— Провались все это сквозь землю!

— Провалиться сквозь землю, — отвечает Песя, — ваша первая очередь, — на то вы и пекарь...

Мать очень боится, как бы он не вернул «тноим». Но Песя уверяет, что мать может спать спокойно: сироте «тноим» не возвращают. И как вы думаете, кто поставил на своем? Мы! Сват купил жениху (моему брату Эле) новые часы, тоже серебряные. Еще лучше тех. Он их сам принес. Ах, если бы у меня были такие часы! Как вы думаете, что было бы? Прежде всего я вытащил бы из них все внутренности и добрался бы до секрета, отчего они идут. А потом я знаю, что было бы...

Мать желает Иойне дожить до покупки будущему зятю золотых часов. И Иойна отвечает моей маме пожеланием дожить до свадьбы младшего сына, то есть моей. Я был бы рад хоть сегодня жениться, лишь бы получить часы. Мать гладит меня и говорит, что много еще воды утечет до того времени, и глаза у нее при этом становятся влажными. Я не понимаю, почему должно утечь так много воды, пока я женюсь, и почему при этом надо плакать. Но плакать — это для нее обычное дело, плачет она каждый день. Для нее это все равно, как для вас, например, молиться или кушать. Портной принес жениху костюм, который заказал невестин отец, — она плачет. Песя испекла к свадьбе пирог, — как тут не поплакать? Завтра в это время состоится венчание — опять слезы! Не понимаю: откуда у человека берется столько слез?

3

Выдастся же иной раз денек — рай земной! Уже половина элула, и в воздухе чувствуешь осень. Солнце не печет до пота, так чтобы хотелось купаться. Оно греет, ласкает и целует, как мать. Небо по-субботному умыто. Сама природа радуется тому, что мой брат женится. С утра в местечке открылась ярмарка. А уж раз ярмарка, я там обязательно должен быть! Люблю ярмарку — страсть! Все носятся, как травленные мыши, обливаются потом, галдят, ссорятся, таскают покупателей за полы, до полусмерти хотят выручить сколько-нибудь — театр, да и только!

А покупатели не торопятся. Они ходят степенно, шапки на затылке, поглядывают, пощупывают, почесываются, торгуются, хотят купить подешевле. Крестьянки ходят в диковинных головных повязках, с

широко раскрытыми пазухами, так что груди видны. За пазуху, когда никто не глядит, кое-кто пытается сунуть кусок материи. Торговцы знают об этом и глядят в оба. Если увидят — вытряхивают, и тогда начинается представление! Случается, что крестьянка купит в церкви свечку и воткнет ее в складку головной повязки. Парням делать нечего, хочется им устроить развлечение, — они и зажигают потихоньку свечку. Все смотрят на крестьянку и смеются. Та не знает, почему смеются, и сыплет страшными проклятиями. А люди еще сильнее смеются. Бывает, что такие шутки кончаются дракой... Говорю вам — не надо никакого театра!

Но лучше всего — конный базар. Там покупают и продают лошадей. Тут и лошади, и цыгане, и кнутовища, и барышники, и крестьяне, и помещики. Шум здесь несусветный — оглохнуть можно. Цыгане божатся, барышники хлопают по рукам, помещики щелкают бичами, а лошадки носятся стрелой туда и обратно. Люблю смотреть, как лошадки бегают, а уж о жеребьях и говорить нечего. Обожаю жеребят! И не только жеребят — я все маленькое люблю: щенят, котят. Знаете? Даже огурчики маленькие, картошечку маленькую, луковички, чесночок — все, что мало, — мило! Кроме поросят: свиней не люблю даже маленьких...

Однако возвращаюсь к лошадам. Они бегут, жеребята за ними, а я за жеребятами. Все вместе бежим. Бегать я мастер. Ноги у меня легкие, хожу к тому же босиком и очень легко одет: рубашонка, штанишки и ситцевый арбеканфес поверх рубашки. Когда я бегу под гору, а встречный ветерок раздувает мой арбеканфес, мне представляется, что за плечами выросли крылья и я лечу.

— Мотл! Бог с тобой! Остановись на минутку!

Это кричит муж Песи, Мойше-переплетчик. Он бежит с ярмарки домой со свертком оберточной бумаги. Я боюсь, как бы он не рассказал маме, как бы мне не влетело от моего брата Эли. Подхожу медленно, опустив глаза. Мойше кладет свой сверток, вытирает полый пот и начинает меня отчитывать:

— Как это не стыдится мальчик, сирота, болтаться среди цыган и бегать как угорелый за всеми лошадьми? Да еще в такой день! Ведь скоро уже венчание твоего брата — знаешь об этом? Идем домой!

— Где ты был? Гром меня разрази!

Так встречает меня мать, всплескивая руками и осматривая мои порванные штаны, исцарапанные в кровь ноги и пылающее потное лицо. Дай бог долголетия Мойше-переплетчику! Он ни словом не обмолвился. Мама умывает меня, одевает мне новые штанишки и картуз, купленные специально к свадьбе брата. Штаны сделаны — я и сам не знаю из какого материала: поставишь их — они стоят, а ходишь — они шумят. Удивительные штаны!

— Если ты и эти штанишки порвешь, тогда уж свету конец... — так говорит мама. Я и сам так думаю: штаны не порвешь, разве что поломаешь их. Картуз у меня замечательный, с черным блестящим козырьком. Когда он тускнеет, на него можно поплевать, и козырек снова блестит.

Мать смотрит на меня и радуется, а слезы так и катятся по ее морщинистым щекам. Ей очень хочется, чтобы я на свадьбе всем понравился. Она говорит жене:

— Эля! Как ты думаешь? Мне как будто не придется краснеть за него? Мальчик одет, не сглазить бы, как принц!

Мой брат Эля внимательно разглядывает меня, поглаживает бородку и смотрит на ноги. Я знаю, что означает его взгляд: «принц» ходит босиком... Мать тоже понимает в чем дело, но притворяется, будто ничего не замечает. Сама она одета в какое-то странное желтое платье, которого я на ней никогда не видел. Платье невероятно широко. Готов побожиться, что видел его однажды на нашей соседке Песе... Зато у мамы на голове платок — шелковый, совершенно новый, еще со всеми складками. Цвет этого платка очень трудно описать. Можно сказать, что он белый, можно сказать, что он желтый, а то и розовый. Это зависит от времени: днем он светло-розовый, в сумерки он выглядит желтоватым, а ночью — белым. Рано утром он кажется зеленоватым, а иной раз, если хорошенько присмотреться, платок и вовсе отликает цветом «антик-маре», то есть светло-красновато-синетемно-зелено-пепельным. Ничего плохого о таком платке не скажешь, потому что платок замечательный!

Беда только в том, что на маме он выглядит чужим, совсем чужим, как-то не вяжется этот платок с ее лицом. Платок сам по себе, а лицо само по себе. А ведь женский головной платок — это то же, что, к примеру, мужская шапка. Шапка должна сливаться с лицом. Вот, например, мой брат Эля носит картуз — он точно вырос у него на голове. Пейсы ему начисто отрезали, даже не отрезали, а сбрили. Он надел белую манишку с крахмальным воротником, с отложными уголками. Галстук он купил себе белый с красными, зелеными и синими горошинами. Богатый галстук! Сапоги — с глянцем, со скрипом и на очень высоких каблуках. Это — чтобы казаться немного выше. Поможет ему это, однако, как мертвому банки: он очень маленького роста. Собственно, дело даже не в том, что он мал, а в том, что *она* очень уж велика, очень высока и смахивает на мужчину. Лицо у нее красное, рябоватое, а голос мужской. Я говорю о невесте, о дочери Иойны-бараночника. Ее зовут Броха.

Удовольствие было смотреть на эту парочку, когда они стояли под венцом. Но мне некогда разглядывать жениха и невесту. Я должен разглядеть музыкантов. И не столько музыкантов, сколько их инструменты. Главным образом — контрабас и барабан. Замечательные инструменты! Скверно только, что к ним невозможно близко подойти и потрогать. Музыканты почему-то тут же шлепают по рукам или хватают за ухо. Подумаешь, черт их возьмет, если вы пальцем дотронетесь! Откусите вы их инструменты, что ли? Ах, если бы моя мама была хорошей мамой, она сделала бы меня музыкантом! Но я знаю, что она этого не захочет, и вовсе не оттого, что она нехорошая, а оттого, что весь свет не допустит, чтобы сын кантора Пейси был музыкантом. Ни музыкантом, ни ремесленником! Уж не раз говорили, какой из меня будет толк — мама, мой брат Эля, наша соседка Песя и ее муж, переплетчик Мойше. Он бы не прочь взять меня к себе на работу. Но Песя не позволяет. Она говорит, что кантор Пейся, царство ему небесное, не заслужил, чтобы сын его был каким-то ремесленником...

Однако я заболтался и забыл о свадьбе. Венчание уже кончилось. Накрывают на стол. Женщины и девушки танцуют кадрили. Я со своими деревянными штанами втерся в самую середину. Те, кто глазел на

танцы, стали швырять меня от одного к другому, как мячик.

— Это еще что за напасть? — говорит один.

— Какой-то растяпа! — говорит другой.

— Тебя еще не хватало тут! — говорит третий.

Наша соседка увидела и раскричалась (она уже хрипит от крика):

— С ума вы сошли, или спятили, или рехнулись, или не все у вас дома? Ведь это женихов братик!

Ага! Взяло за живое! Меня, конечно, тут же усадили за стол с невестинной родней. И знаете, с кем еще меня посадили? Будь вы о восемнадцати головах, все равно не отгадаете! С невестинной сестренкой, младшей дочкой Иойны-бараночника. Ее зовут Алта. Она старше меня всего на один год, и у нее две косички, перевязанные сзади ленточкой и похожие на витые бублики. Я и Алта едим из одной тарелки, неподалеку от молодых. Жених, мой брат Эля, поглядывает на меня, следит, чтобы я прилично сидел, ел с вилки, не хватал и чтобы нос у меня был в порядке.

Знаете, что я вам скажу? Никакого удовольствия мне этот ужин не доставил. Не люблю, когда на меня смотрят. А тут еще принесла нелегкая нашу соседку Песю.

— Дай вам бог здоровья! — кричит она изо всех сил, обращаясь к маме.— Посмотрите-ка сюда! Чем е пара?.. Прямо-таки чета, самым богом предназначенная!

На ее хриплый крик подходит Иойна, детый по-субботному, и начинается разговор о том, что я и Алта — жених и невеста. Иойна-бараночник как-то кисло улыбается: верхняя губа смеется, а нижняя — плачет. Все разглядывают нас. А мы оба, я и Алта, опускаем глаза и чувствуем, что нас душит смех. Чтобы не прыснуть, я зажимаю нос и надуваюсь, как пузырь. Еще секунда, пузырь лопнет и буде скандал. К счастью, музыка заиграла грустную свадебную песню. Гости умолкли. Я поднимаю глаза и вижу маму в чужом желтом платье и в шелковом платке. Она занят обычным своим делом — плачет. Вы не знаете, перестанет она когда-нибудь плакать?

У МЕНЯ ВЫГОДНАЯ ДОЛЖНОСТЬ

1

Мама сообщила мне новость: у меня есть должность. Не у ремесленника какого-нибудь, — ее враги, говорит она, не дождутся, чтобы сын кантора Пейси был ремесленником. У меня, говорит она, должность богатая и легкая. Днем я буду ходить в хедер, то есть в талмудтору, а спать буду у старика Лурье. Старик Лурье очень богат, говорит мама. Но он болен. То есть вообще он здоров, ест и пьет, но не спит по ночам. Ночью он спать не может. Глаз не смыкает. Вот его дети и боятся оставлять старика на ночь одного. Нужно, чтобы с ним был кто-нибудь. Хотя бы ребенок, лишь бы человек. Посадить к нему пожилого человека — неудобно. А ребенка — ничего, все равно что кошку.

— Они обещали пять рублей в неделю и ужин каждый вечер, как только ты будешь приходить из талмудторы, — говорит мама. — Хороший ужин, барский. Нам всем хватило бы того, что они оставляют на тарелках. Иди, дитя мое, в хедер, а вечером, когда придешь, я отведу тебя к ним. Работы у тебя не будет никакой. Барский ужин и постель хорошая. И пять рублей в неделю. Я сошью тебе кое-что из одежды, сапожки куплю...

Казалось бы, неплохо, правда? Почему же нужно плакать? Но она, моя мама, иначе не может. Обязательно должна поплакать.

2

В талмудтору я пока что хожу зря. Я еще не учусь. Нету для меня подходящего класса. Поэтому я помогаю жене учителя по хозяйству и играю с кошкой. Работа у учителя легкая: подмести в комнате, помочь натаскать дров, сбегать куда-нибудь — чепуха, не работа. Учиться хуже. Зато кошка — это гораздо приятнее. Говорят, что кошка — нечисть. А я говорю: неправда! Кошка — опрятное животное, ласковое. Собака подлизывается, хвостом виляет. Кошка ласкается, а когда ее гладят по головке, она прикрывает глазки и урчит. Я люблю кошек — что в этом плохого?

Но потолкуйте с моими товарищами — они вам чего только не наговорят! После кошки надо руки мыть. Оттого что возишься с кошкой, ослабевают память. Сами не знают, что придумать. У них манера: как только подойдет кошка, трахнуть ее ногой в бок. Я видеть не могу, как бьют кошку. А они смеются надо мной. Нет у них жалости к животным.

Я говорю о мальчишках, которые вместе со мной учатся в талмудторе. Это — головорезы. Надо мной они смеются, прозвали меня «деревянные штаны», а мою маму — «плаксой», потому что она всегда плачет.

— Вон идет твоя мама-плакса! — говорят они мне.

Это она пришла забрать меня из хедера и отвести на мою прибыльную должность.

3

По дороге мать жалуется, что ей больно и горько (одной боли ей недостаточно). Бог, говорит она, дал ей двоих детей, а она должна жить в одиночестве. Мой брат Эля, говорит она, женился, не сглазить бы, очень удачно, попал, можно сказать, прямо в денежный ящик. Беда только, что тесть — человек грубый. Пекарь — что с него возьмешь?

Так толкует со мной мама, и мы приходим в дом старика Лурье, на мою выгодную должность. Старик Лурье, по словам мамы, живет в царском дворце. Я, конечно, не прочь побывать в царском дворце! Пока что мы находимся в кухне. Я и мама. Здесь тоже неплохо. Сверкает белая печь, сверкает посуда, и вообще все сверкает. Нас просят присесть. Входит женщина, одетая как барыня. Она говорит с мамой и показывает на меня. Мать кивает головой, вытирает поминутно губы и не хочет садиться. А я сижу. Мать собирается уходить и наказывает мне, чтобы я вел себя как следует. При этом она, конечно, проливает слезы. Завтра она придет за мной и отведет меня в хедер. Мне дают кушать. Бульон с булкой (в будни — булка!) и мясо — уйма мяса! После еды велят мне идти наверх. Я не знаю, что значит «наверх». Тогда кухарка меня отводит. Ее зовут Хана. У нее черные волосы и длинный нос. Меня ведут по лестнице. Ступеньки устланы чем-то мягким. Очень приятно ступать босыми ногами. Еще не поздний вечер, а у них уже

лампы горят. Бесконечное множество ламп! Стены оклеены рисунками и человечками. Стулья обиты кожей. Потолок разрисован, как в синагоге. Меня вводят в большую комнату. Она так велика, что, будь я в ней один, я бы бегал от стены к стене или повалился бы и катался по бархатному одеялу, разостланному по всему полу. Кататься по такому одеялу, должно быть, неплохо. Да и спать на нем, я думаю, недурно.

4

Красивый, высокий, с седой бородой, с широким лбом — таков старик Лурье. На нем шелковый халат, ермолка из настоящего бархата, домашние туфли, расшитые гарусом. Он сидит над большой толстой книгой. Ничего не говорит, только жует кончик бороды, заглядывает в книгу, покачивает ногой и что-то тихо бормочет про себя. Станный человек этот Лурье! Я смотрю на него и думаю: видит он меня или не видит? Похоже, что не видит. Он в мою сторону не глядит, а ему ничего не сказали. Меня только ввели сюда и заперли снаружи.

Вдруг старик Лурье произносит, все еще не глядя на меня:

— Подите-ка сюда, я прочту вам несколько строк из Рамбама.

К кому это он обращается? Ко мне? Это он мне говорит «вы»? Я оглядываюсь по сторонам. Никого, кроме меня, здесь нет. Старик Лурье снова говорит хриплым голосом:

— Подите сюда, посмотрите, что говорит Рамбам. Я решаюсь подойти поближе.

— Вы меня зовете?

— Вас, вас, кого же еще?

Так говорит старик Лурье, смотрит в свою большую книгу и, взяв меня за руку, тычет пальцем в страницу и втолковывает мне слова Рамбама. Чем дальше, тем громче и с большим жаром. Он до того разгорячился, что даже покраснел, вертит большим пальцем, а локтем ежеминутно толкает меня в бок и спрашивает:

— Ну, что вы скажете? Хорошо, не правда ли?

Чтобы очень хорошо было, — не могу сказать. И потому молчу. Я молчу, а он горячится. Он горя-

чится, а я молчу. Со звоном повертывается ключ в дверях с той стороны. В комнату входит та самая, что одета как барыня. Она подходит к старику Лурье и говорит, наклоняясь к самому его уху. Он, видно, глухой — иначе зачем кричать? Она говорит, чтобы он меня отпустил, потому что мне уже пора спать. Высвободив из рук старика, она укладывает меня на мягком диване с пружинами. Постель бела как снег. Одежда шелковое, мягкое — наслаждение! Женщина, одетая как барыня, укрывает меня, уходит и запирает дверь с той стороны. Старик Лурье расхаживает по комнате, заложив руки за спину, смотрит на свои красные туфли, напевает, бормочет и как-то странно поводит бровями. У меня глаза слипаются, хочется спать.

Вдруг он подходит ко мне и говорит:

— Знаешь? Я тебя съем.

Смотрю на него и не понимаю.

— Вставай, я тебя съем.

— Кого? Меня?

— Тебя! Тебя! Я должен съесть! Иначе быть не может!

Так говорит старик Лурье. Он шагает по комнате, опустив голову, заложив руки за спину и морща лоб. Но говорит он все тише и тише, обращаясь к самому себе. Я прислушиваюсь к каждому слову. Еле дух перевожу. Он о чем-то спрашивает и сам себе отвечает. Вот что он говорит:

— Рамбам утверждает, что мир не мог быть сотворен из ничего. Чем это доказывается? Тем, что не может быть явления без того, кто это явление вызывает. Как я могу это доказать? Своей волей. Каким образом? Вот я хочу его съесть, и я его съедаю. А жалость? Одно другого не касается... Я творю свою волю. Воля — это не конечная цель. Я его съедаю. Я хочу его съесть. Я должен его съесть!..

5

Веселую весть сообщил мне этот старый Лурье — он должен меня съесть! А мама что скажет? Меня охватывает ужас... Дрожь пробегает по телу. Диван, на котором я лежу, отодвинут от стены. Я понемногудвигаюсь к краю и соскальзываю на пол, между

диваном и стеной. У меня зуб на зуб не попадает. Прислушиваюсь и жду, когда он начнет меня есть. И как? Тихонько призываю маму и чувствую, что соленые капли текут у меня по щекам прямо в рот. Я никогда еще так не тосковал по маме, как сейчас. По брату Эле я тоже скучаю, но не так. Вспоминаю отца, по которому я читаю поминальную молитву. А кто будет читать ее по мне, когда старик Лурье меня съест?

Видно, я крепко спал. Просыпаюсь и никак не могу понять, где я нахожусь. Ощупываю стену. Ощупываю диван. Высовываю голову — просторная, светлая комната. Бархатные одеяла на полу. Стены оклеены фигурками. Потолок как в синагоге. Старик Лурье все еще сидит над той же большой книгой, которую он называет «Рамбам». Мне нравится это название — «Рамбам»! У меня получается вроде «бим-бам».

Вдруг вспоминаю, что только вчера старик Лурье хотел меня съесть. Я боюсь, что он меня увидит и опять захочет есть. Прячусь обратно в промежуток между стеной и диваном и молчу. Со звоном отпирают дверь с той стороны. Входит все та же барыней одетая женщина. Следом за ней входит кухарка, которую зовут Хана, с большим подносом. На подносе кувшинчики с кофе и горячим молоком и свежие сдобные булочки.

— А где же паренек? — спрашивает Хана, оглядываясь по сторонам, и замечает меня между стеной и диваном. — Ты, вижу я, порядочный сорванец! Что ты тут делаешь? Идем со мной на кухню. Там тебя мама дожидается.

Я выпрыгиваю из своего убежища, бегу по мягко усталой лестнице и подпеваю в такт: «Рамбам! Бим-бам! Бим-бам! Рамбам!» — вплоть до самой кухни.

— Не торопитесь! — говорит кухарка моей маме. — Пускай он выпьет хотя бы стакан кофе с булочкой! Да и вы тоже можете выпить стаканчик кофе. Черт их не возьмет! Им хватит.

Мать благодарит и садится, а Хана подает нам горячий пахучий кофе со свежими сдобными булочками.

Вы когда-нибудь ели яичные коржики с сахаром?

Таковы на вкус сдобные булки у богачей. А может быть, даже лучше! Вкус кофе просто не могу вам описать. Райский вкус! Мама прихлебывает из стакана, наслаждается и отдает мне большую часть своей булки. Но Хана, заметив это, подымает скандал, будто ее режут:

— Что вы делаете? Кушайте, кушайте! Хватит! Есть еще!..

И кухарка Хана дает мне еще одну булочку. Так что у меня уже две с половиной. Прислушиваюсь к их беседе. Знакомый разговор. Мать жалуется на свою долю. Вдова, двое детей, один, правда, в «денежном ящике», а второй, бедняжка,— так... Хотел бы я знать, как это мой брат Эля живет в «денежном ящике»? Хана выслушивает маму, кивает головой, потом сама начинает говорить, жалуется на свою судьбу, на то, что ей приходится жить у чужих. Отец у нее был состоятельный человек, потом он погорел. Потом стал хворать. Потом умер. Если бы ее отец, говорит она, встал из гроба и посмотрел на свою дочь и увидел бы, что она стоит возле чужой печи!.. Хотя жаловаться не приходится: и на том слава богу! У нее хорошая должность. Беда только, что старый хозяин немного того...

Чего «того», я не знаю. Хана шевелит пальцами у лба. Мать выслушивает Хану, кивает головой, затем снова начинает говорить. Хана слушает и тоже кивает головой...

На дорогу она дает мне еще одну булочку, и я показываю ее мальчикам в талмудторе. Они окружают меня и во все глаза смотрят, как я ем. Им это, наверное, в диковинку? Я всем даю по маленькому кусочку. Мальчишки облизывают пальцы.

— Где ты взял такую вкусную штуку?

Запихнув куски булочки за обе щеки, я стою, заложив руки в глубокие карманы моих деревянных штанов, жую, глотаю и приплясываю босыми ногами, не отвечая, но будто говоря:

— Эх вы! Гольтепа несчастная! Подумаешь, экая невидаль, сдобные булки! Ха-ха-ха! Вы бы попробовали их с кофе, вот тогда бы вы только узнали, что такое рай на земле!..

VI. ЗОЛОТОЕ ДНО

1

Единственное утешение, поддерживающее мою мать, это удача моего брата Эли: «Напал человек на золотую жилу», — говорит мама и от избытка счастья вытирает, по своему обыкновению, глаза. Его, говорит мама, она уже обеспечила на всю жизнь. Невестка, правда, не ахти какая (я тоже так думаю), но зато бог послал ему богатого тестя. Он — пекарь, Иойна-пекарь. То есть сам он не печет. Пекут другие. Он же только покупает муку и продает хлеб. К пасхе он печет мацу на весь город. Он по своей части человек горячий и к тому же страшный злюка! Я же могу сказать, что он прямо-таки разбойник!

Однажды он меня поймал, когда я, будучи в гостях у моего брата Эли, решил полакомиться яичным бубликом. Бублик был свежий, тепленький, только что из печи. Но нелегкая принесла пекаря Иойну. Видели бы вы, какое у него было злодейское лицо и разбойничьи глаза! С тех пор я туда больше не хожу, ноги моей там больше не будет, даже если бы я знал, что в пекарне золото валяется! Манера у человека — хватать за шиворот и выбрасывать за дверь, да еще подзатыльниками на дорогу угощать!

Я рассказал об этом маме, она тут же помчалась туда, хотела устроить ему основательный скандал, но брат Эля не позволил. Он считает, что тесть прав. Ему, говорит он, постоянно приходится краснеть за меня: каждый раз, когда бы я ни пришел, я ем бублики. Он, говорит, лучше будет давать мне копейку, чтобы я купил себе бублик где-нибудь в другом месте. На это мама отвечает, что ему меня не жалко, его не трогает, что ребенок — сирота. Но брат говорит, что можно быть сиротой, а хватать бублики из чужой печи — нельзя. Мама просит его говорить потише. А Эля отвечает, что он нарочно будет говорить громко, — пускай все знают, что я вор. Слова «вор» мама не может слышать. Она то краснеет, то бледнеет и говорит моему брату Эле, чтобы он не забывал, что есть бог на свете. С богом не шутят! Бог не смолчит! Он покровитель сирот. Он заступится за сироту. Бог велик. Он все может. Если бог за-

хочет, то у пекаря Иойны не останется и того, что бублик стоит!..

Так отчитала мама брата Элю и, взяв меня за руку, хлопнула дверью.

Мы пошли домой.

2

Знаете, что я вам скажу? С богом, как видно, и в самом деле шутки плохи. Если бы вы знали, как кончил пекарь Иойна! Ведь я же вам говорил, что сам он не печет. Пекут другие: двое каких-то черных мужчин и три женщины, оборванные, грязные, в красных теплых платках на голове (хотя на дворе стоит невыносимая жара!).

И вот случилась однажды история. Даже не одна, а несколько сразу. Покупатели жаловались, что в бубликах попадают нитки, тесемки, тараканы, куски стекла. Один русский покупатель принес пекарю целый клоч черных волос. Русского пекаря Иойна испугался. Тем более что тот пригрозил полицией. Принялись за пекарей, чтобы узнать, чьи волосы. Мужчины сваливали на женщин, женщины — на мужчин. Женщины твердили, что у всех у них рыжие волосы. А пекари спрашивали: «Где это вы видели такие длинные волосы у мужчин?» Так и нельзя было добиться толку, пока женщины не перессорились. Тогда только раскрылись интересные вещи: одна уронила в тесто подвязку, другая нечаянно замесила бинт с больного пальца, третья клала себе на ночь в изголовье тесто, приготовленное для халы. Она клялась всеми клятвами на свете, что это вранье и ложь. Случилось это всего один или, самое большое, два раза. Подушки не было...

Весь город ходуном ходил! Пришлось-таки пекарю Иойне побегать. Не помогал никакой господь бог. Никто его изделий в руки брать не хотел. Хоть собакам выбрасывай!

Поделом, так ему и надо!

3

Но пекарь Иойна тоже не лыком шит! Он разогнал своих пекарей, мужчин и женщин, и набрал других. В субботу он велел огласить во всех молельнях, что он нанял новых пекарей, что отныне он сам

будет наблюдать, чтобы все было чисто и аккуратно. Он отвечает штрафом в десять рублей, если в его булках найдут хотя бы один волос. С этих пор он стал выручать уйму денег. Люди начали искать волосы в булках, но больше не находили. Впрочем, если даже находили и приносили к нему, Иойна попросту выгонял. Он говорил, что это положили нарочно, чтобы получить десять рублей. Знаем, мол, такие фокусы!

Хорош гусь этот пекарь Иойна! Но господь бог захотел посчитаться с ним и навлек на него новое несчастье. Однажды, в одно прекрасное утро, все его пекари встали, собрали свои пожитки и ушли. Не будут они больше работать у него ни за какие деньги! Разве что он прибавит им по рублю в неделю, будет отпускать на ночь домой и перестанет тыкать кулаками прямо в зубы. А у Иойны-пекаря такая манера: чуть что — прямо в зубы! Иойна вскипел. Он хозяин уже не первый год, но такого еще не случалось, чтоб рабочий указывал ему, как нужно драться! О повышении платы и говорить нечего. Он найдет десятерых других на их место. Подумаешь, невидаль какая — рабочие! Мало ли людей с голоду помирает?

Пошел искать пекарей. А пекарей-то и нет! Никто не хочет идти. В чем дело? Все пекари устроили стачку. Не пойдут они к нему до тех пор, пока он не примет обратно прежних пекарей и не выполнит все три условия: 1) рубль в неделю, 2) на ночь отпускать домой, 3) не тыкать кулаками в зубы... Ох, и потеха была смотреть, как Иойна кипятился, брызгал слюной, колотил руками по столу и ругался. Ну и рад же я был! Но все это пустяки в сравнении с тем, что случилось потом.

4

Знойный летний день. Только что поспели дыни и арбузы. Это — лучшее время года. Немного позднее начинаются уже слезливые дни. Да не накажет меня бог за такие речи, но не люблю я слезливых дней! Я больше люблю, когда весело. А что может быть веселее, чем базар, ломящийся от дынь и арбузов? Всюду, куда ни глянь, либо арбузы, либо дыни. Дыни желтые и пахнут, как лимоны. Арбузы внутри огненно-красные, зернышки в них черные, а сами они сладкие, как мед. Моя мама арбуз ни во что не ставит. Она гово-

рит, что дыня выгоднее. Когда она покупает дыню, ее хватает для нас обоих на завтрак, на обед и на ужин. А арбуз, по ее словам, — лакомство: от него полон живот воды. По-моему, она ошибается... Будь я царем, я бы круглый год ел арбуз с хлебом. Это ничего, что в нем много зерен. Хороший арбуз достаточно как следует встряхнуть, и все зерна выпадут, а там ешь сколько душе угодно!

Однако я так разговорился об арбузах, что забыл, с чего начал. Так вот, насчет тестя моего брата Эли, бараночника Иойны. Пришла-таки на него погибель! Такого конца никто не ожидал. Представьте себе: сидим мы однажды с мамой за столом и обедаем: едим дыню с хлебом. Вдруг отворяется дверь и входит мой брат Эля с Пятикнижием в руках, с отцовским Пятикнижием. За ним плетется его жена Броха. В одной руке она держит меховой воротник с хвостиками, а в другой — шумовку. Вы не знаете, что такое шумовка? Это такая ложка с дырками, которой отцеживают лапшу.

Брат Эля бледен как смерть. А золовка Броха пылает как огонь.

— Свекровь, мы пришли к вам, — заявляет золовка Броха.

— Мама, мы еле живы остались! — говорит мой брат Эля.

И оба начинают плакать, а мама им помогает. Что случилось? Погорели? Выгнали? Ничего подобного! Тесть моего брата Эли «приостановил платежи». По-нашему это значит обанкротился. Тогда пришли кредиторы и описали его с головы до ног. Забрали все до нитки. Все, что было в доме, да еще самый дом, да еще с каким позором! Попросили очистить помещение. Иначе говоря, выгнали в три шеи!

— Горе мне! — восклицает мать, заламывая руки. — Куда же девались его деньги? Ведь он был так богат!

На это отвечает мой брат Эля, что, во-первых, он вовсе не был таким богачом. А во-вторых... Но тут вмешивается моя золовка Броха: отец ее и в самом деле был богат. Иметь бы ей хотя половину! Но в чем же дело? Ее свадьба стоила отцу целого состояния!..

Она любит поговорить о своей свадьбе. Когда бы она ни пришла, вы только и слышите что о ее свадьбе. Такой свадьбы, как у нее, говорит она, на всем свете никогда не было! Такого печения, такого жаркого, таких тортов и пряников, таких штруделей и царских

хлебцев, таких варений, как на ее свадьбе, нигде не было!

Но так или иначе, сейчас она осталась в чем есть, с меховым воротником и шумовкой. Нечего и говорить, что приданое, обещанное ее отцом, пропало. Брат тоже вышел из этого дела не без «прибыли»: его субботнюю одежду, талес и постель описали. Часы — тоже. Остался гол как сокол.

Мать ужасно убивалась. Подумать только — такое несчастье! Кто мог ожидать? Ведь ей все завидовали. Видать, люди сглазили либо сама она тогда накликала на него беду. Как бы там ни было, удар по ней пришелся, говорит она, сильнее, чем по кому бы то ни было. Денежного ящика ей захотелось? Деньги уплыли, а ящик остался!

— Оставайся у меня, дитя мое, пока господь смилостивится...

Так говорит мама и уступает невестке кровать — единственное, что осталось у нас в доме из мебели.

VII. НАПИТОК МОЕГО БРАТА ЭЛИ

1

«За один рубль — сто рублей! Сто рублей в месяц и больше может заработать всякий, кто ознакомится с содержанием нашей книги, стоящей всего один рубль с пересылкой. Налетайте! Покупайте! Ловите! Спешите! Не то — опоздаете!»

Такое объявление вычитал мой брат Эля где-то в газете вскоре после того, как перестал жить на содержании у своего тестя. А перестал он не потому, что срок кончился. Обещано ему было, собственно говоря, целых три года, а кормили его три четверти года, да и то неполных. С его богатым тестем случилось несчастье. Пекарь Иойна обанкротился и превратился из богача в нищего. Каким образом все это произошло, я уже вам рассказывал. Дважды одно и то же я никогда не рассказываю, — разве что попросят.

Но на этот раз и просьбы не помогут, потому что я очень занят. Я зарабатываю деньги. Я разношу напиток, который мой брат Эля приготовляет собственными руками. Научился он этому по книжке, которая стоит всего один рубль, а может принести заработка сто рублей в месяц и даже больше.

Как только мой брат Эля прочел о том, что есть на свете такая книга, он сейчас же послал по почте рубль (последний рубль) и сообщил маме, что больше ей горевать нечего.

— Мама! Славу богу, мы спасены! Заработком мы уже обеспечены вот так (он провел рукой по шее)!

— А что такое? — спрашивает мать. — Ты получил должность?

— Это лучше должности! — отвечает брат, и глаза у него светятся. Видно, от большой радости. Он просит ее подождать еще несколько дней, пока придет книга.

— Какая книга? — спрашивает мать.

— Уж это книга так книга! — отвечает Эля и спрашивает, хватит ли ей ста рублей в месяц.

Мать смеется и говорит, что она рада была бы ста рублям в год, лишь бы верным. На это брат отвечает, что у нее слишком скромные требования, и отправляется на почту. Каждый день он ходит на почту — спрашивается о книге. Уже больше недели, как он отослал рубль, а книги все еще нет! А пока что надо жить.

— Душу не выплюнешь! — говорит мама.

Не понимаю, как это можно выплюнуть душу?

2

Но вот и книга! Не успели мы распаковать ее, как мой брат Эля принялся читать. Батюшки, и чего только он там не вычитал! Сколько средств делать деньги по различным рецептам! Можно зарабатывать сто рублей в месяц изготовлением лучших чернил. Можно зарабатывать сто рублей в месяц изготовлением хорошей черной ваксы. Можно зарабатывать сто рублей в месяц уничтожением мышей, тараканов и прочей нечисти. Сто рублей и больше можно зарабатывать изготовлением ликеров, сладкой водки, лимонада, содовой воды, кваса и других еще более дешевых напитков.

Мой брат Эля остановился на последнем рецепте. Во-первых, потому, что он сулит заработок свыше ста рублей в месяц. Ведь буквально так и написано в книге. Во-вторых, не нужно пачкаться с чернилами, ваксой, иметь дело с мышами, тараканами и прочей гадостью. Вопрос только в том, за какой напиток приняться? Для ликеров и сладких водок требуется состояние Ротшиль-

да. Для приготовления лимонада и содовой воды нужна машина, какой-то камень, который бог весть сколько стоит. Остается, значит, одно — квас. Квас — это такой напиток, который и стоит дешево, и расходуется хорошо. Особенно в такое жаркое лето, как нынче. От кваса, надо вам знать, у нас Борух-квасник разбогател. Он изготавливает бутылочный квас, который славится по всему свету. Квас этот стреляет из бутылки, как из пушки. В чем тут фокус, никто не знает. Это — секрет Боруха. Говорят, что он кладет туда что-то такое, что стреляет. Кто говорит — изюминку, кто говорит — хмель. Как только наступает лето, Боруху рук не хватает. Так бойко идет торговля!

Наш квас, который мой брат Эля prepares по рецепту, не бутылочный и не стреляет. Наш квас — это совсем особенный напиток. Каким образом его готовят, я не могу вам сказать. Мой брат Эля к себе никого не допускает, когда работает. То, что он льет воду, это все видят. Но когда идет самое приготовление, он запирается в маминной комнате. Ни я, ни мама, ни моя золовка Броха — никто не удостоивается присутствовать при этом. Но если вы пообещаете мне хранить тайну, то я могу вам сказать, из чего состоит напиток. Я ведь знаю, что мой брат изготавливает. Туда входят лимонные корки, жидкий мед, какая-то штука, которая называется «криметартерум» — кислее уксуса, а остальное — это вода. Воды там больше всего. Чем больше воды, тем больше квасу. Все это хорошенько размешивается обыкновенной палкой, — так сказано в книге, — и напиток готов. Затем его вливают в большой кувшин и кладут кусок льда. Лед — это главное! Без льда весь напиток ни к черту не годится. Это я вам говорю уже не по книге, — однажды я попробовал немного квасу без льда и подумал, что жизни моей конец!

3

Когда приготовили первую бочку квасу, было решено, что продавать его на улице буду я. Кто же, как не я? Моему брату Эле такое дело не пристало. Ведь он уже женатый. Маме — и подавно. Да мы и не допустим, чтобы мама расхаживала с кувшином по базару и выкрикивала: «Квас! Квас! Кому квас!» Все решили, что это работа для меня. Я и сам так думал. Я прямо-

таки был счастлив, когда услышал такую новость. Мой брат Эля начал меня поучать: кувшин я должен держать в одной руке на веревочке, стакан — в другой, а для того, чтобы народ останавливался, мне нужно кричать громко и нараспев вот так:

Еврей, напиток!
Копейка — стакан!
Холодно и сладко,
Освежительно!

Голос у меня, как я вам давно говорил, хороший, сопрано, по наследству от отца, царство ему небесное. Я и запел во весь голос, нарочно перепутав слова:

Сладкого квасу стакан!
Копейка — еврей!
Глоток — холодок!
Пей — захлебывайся!..

Не знаю: то ли пение мое так понравилось, то ли напиток был и в самом деле хорош, а может быть, оттого, что день выдался такой знойный,— первый кувшин я распродал за полчаса и вернулся домой, наторговав чуть ли не семьдесят пять копеек! Мой брат Эля отдал матери деньги и сейчас же наполнил еще кувшин. Он сказал, что если я смогу обернуться таким образом пять-шесть раз в течение дня, то мы заработаем как раз сто рублей в месяц.

Теперь вычитите, будьте любезны, четыре субботы, которые приходятся на месяц, рассчитайте, сколько этот напиток нам стоит, и тогда вы сами поймете, какой процент мы на нем зарабатываем. Напиток обходится нам очень дешево. Можно сказать, почти задаром. Все деньги уходят на лед. Поэтому надо стараться как можно скорее распродать кувшин с напитком, чтобы куска льда хватило на второй кувшин, на третий и так далее. Вот и приходится с кувшином двигаться быстрее, вернее, бегать. За мной следом несутся целой ватагой мальчишки. Они передразнивают мое пение. Но я не обращаю на них никакого внимания. Стараюсь как можно быстрее опорожнить кувшин и бежать домой за следующим. Сколько я наторговал в первый день, я и сам не знаю. Знаю только, что мой брат Эля, золовка Броха и мама меня очень хвалили. На ужин мне дали кусок дыни, кусок арбуза и две венгерские сливы. О квасе и говорить нечего. Квас мы все пьем, как воду.

Перед сном мама постелила мне на полу и спрашивает, не болят ли у меня, упаси бог, ноги. Брат Эля смеется и говорит, что я такой мальчик, у которого никогда ничего не болит.

— Конечно! — говорю я. — Хотите, я сейчас, среди ночи, пойду с кувшином?

Все смеются над моей прытью. Но на глазах у мамы я замечаю слезу. Ну, это старая история — мама должна обязательно плакать. Я хотел бы знать: все мамы так, не переставая, плачут, как моя?

4

Везет нам здорово — не сглазить бы! Дни стоят один другого жарче. Печет. Люди изнывают от зноя. Если бы не стаканчик квасу, сгореть можно! Я оборачиваюсь со своим кувшином, не преувеличивая, раз десять на дню! Мой брат Эля заглядывает одним глазом в бочку и говорит, что мы уже добираемся до дна. Тогда ему приходит в голову блестящая мысль, и он доликает в бочку еще пару ведер воды.

Премудрость эту я постиг еще раньше него. Должен вам признаться, что этот фокус я уже несколько раз проделывал. Почти каждый день я забегаю к нашей соседке Песе и даю ей отведать нашего собственного напитка. Ее мужу, переплетчику Мойше, я даю два стакана — он хороший человек. Детям тоже даю по стаканчику квасу. Пускай и они знают, какой напиток мы умеем делать. Слепому я тоже подношу стаканчик. Жалко его, он ведь калека. Всех моих знакомых я угощаю квасом. Даром, без копейки денег. А для того чтобы не было убытка, я в кувшин доливаю воды. На каждый стакан квасу, который раздаю даром, два стакана воды.

То же самое делают и у нас дома. Например, когда мой брат Эля выпьет стакан квасу, он сейчас же подливает воды. Он прав: жаль копейку! Золовка выпьет пару стаканов (она страсть как любит квас моего брата!), сейчас же доликает водой. Иной раз и мама попробует стаканчик (ее надо упрашивать, сама она не возьмет) — и опять-таки сразу же доликают. Одним словом, ни одна капля зря не пропадает, и мы, слава богу, совсем неплохо зарабатываем. Мама уже уплатила много долгов, выкупила самое необходимое, постель. В доме

появилось кое-что из мебели — стол, стулья. На субботу у нас бывает рыба, мясо и белая булка. Мне обещали на праздник новые сапоги! Никому, кажется, не живется так хорошо, как мне!

5

Поди, однако, будь пророком и угадай, что стрясется такая беда и наш напиток вдруг сделается противен людям, хоть выливай его на помойку! Счастье еще, что меня самого не забрали в полицию. Послушайте, как дело было.

Однажды я со своим кувшином забрел к нашей соседке Песе. Вся публика выпила по стаканчику квасу, да и я с ними за компанию. Подсчитав, что мне не хватает стаканов двенадцать — тринадцать, я выскочил в сени, где у них обыкновенно стоит вода. Но вместо бочки с водой я, видно, попал в бадью, в которой стирают белье, плеснул в кувшин стаканов пятнадцать — двадцать и побежал на улицу, распевая новый куплет, который я сам придумал:

Люди добрые! Напитком
Райским вас напоим!
Мне б такую жизнь
И вам — и нам обоим!

Останавливает меня один прохожий, дает копейку и велит налить себе стакан квасу. Выпил его залпом и сморщился:

— Мальчик! Что это у тебя за напиток?

Но я не обращаю на него внимания. Тут же стоят еще двое и дожидаются, чтобы я им налил. Один отпил полстакана, другой — треть. Уплатили, сплюнули и ушли. Еще один поднес стакан ко рту и, не попробовав, сказал, что пахнет мылом и как будто солоно. Следующий только взглянул на стакан, вернул мне его и спросил:

— Что это у тебя?

— Напиток такой, — отвечаю, — водичка!

— Водичка? — переспросил он. — Воничка, а не водичка!

Еще один подошел, попробовал и выплеснул весь стакан прямо мне в лицо. Минуту спустя меня окружили со всех сторон мужчины, женщины, дети. Все говорят, размахивают руками, горячатся.

Увидел городской, что собираются в кучку, подошел и спрашивает в чем дело. Рассказали ему. Он подошел, заглянул в кувшин и велел дать ему на пробу. Я налил стакан квасу. Городовой отхлебнул, сплюнул и рассви-
репел:

— Где ты взял такие помои?

— Это по книге,— отвечаю я,— работа моего брата. Мой брат его сам делает.

— Кто твой брат?

— Мой брат Эля...

— Какой-такой Эля?

— Не болтай, дурья голова, про брата! — заговорило несколько человек сразу, примешивая древнееврейские слова, чтобы городской не понял.

Поднялся шум, крики, скандал. Все время прибывают новые люди. Городовой держит меня за руку и хочет нас (меня и напиток) отвести прямо в полицию. Шум усиливается. «Сирота! Несчастный сирота!» — слышу я со всех сторон. Чует мое сердце, что дела мои плохи. Я оглядываюсь по сторонам: «Люди, пожалейте!» Полагаются сунуть городскому в руку монету. Но он не берет. Тогда один старик с вороватыми глазами говорит мне по-древнееврейски:

— Мотл! Вырви руку, ноги на плечи и — драла!

Я вырываюсь, смазываю пятки и — бегом! Ни жив ни мертв вваливаюсь в дом.

— Где кувшин? — спрашивает мой брат Эля.

— В полиции! — отвечаю я и с плачем припадаю к маме.

VIII. МЫ НАВОДНЯЕМ МИР ЧЕРНИЛАМИ

1

Ах, каким же я был дураком! За то, что я продавал немножко нехороший квас, я думал — мне голову снимут! Оказалось — ерунда. Зря перепугался. А Ента может продавать свечное сало вместо гусяного? А мясник Гедалья не кормил круглый год весь город трэфным мясом? Так убеждала мою маму наша соседка Песя. Беда с моей мамой! Она все так близко принимает к сердцу.

Зато я люблю своего брата Элю. Мой брат Эля не унывает оттого, что мы обожглись на квасе. Была бы

у него книга — все будет хорошо! Он купил книгу за рубль. Книга называется: «За один рубль — сто рублей!» Брат сидит и заучивает ее наизусть. В ней бесконечное количество рецептов добывания денег. Он уже знает почти все рецепты. Знает, как готовить чернила, ваксу, как выводить мышей, тараканов и прочую пакость.

Прежде всего он намерен заняться чернилами. Чернила, говорит он, ходкий товар. Все учатся писать. Эля нарочно справлялся у писца Юдея, сколько он расходует на чернила. Тот ответил: «Состояние!» Писец обучает письму чуть ли не шестьдесят девочек. Мальчики у него не учатся. Его боятся. Он дерется. Колотит линейкой по рукам. А девочек бить нельзя, а тем более пороть.

Мне очень досадно, что я не родился девочкой. Во-первых, мне не нужно было бы молиться ежедневно. Надоело: изо дня в день одно и то же. Затем я был бы свободен от талмудторы. Я провожу там полдня, учусь на грош, а оплеух получаю сверх всякой меры! Думаете, от учителя? Нет, от учительши. Ее, видите ли, трогает, что я кормлю кошку! Вы бы видели, какая у нее кошка,— смотреть жалко! Вечно голодная. Мяукает потихоньку, со слезой в голосе, совсем как человек. Сердце надрывает! Но у них к ней ни капли жалости. И чего им от нее нужно? Только подойдет она к кому-либо, понюхает — на нее уже кричат: «Брысь!» Кошка удирает куда глаза глядят. Голову поднять не дают. Недавно она где-то пропадала несколько дней подряд. Я уже думал, что кошка, упаси господи, издохла. В конце концов оказалось, что она окотилась... Однако возвращаюсь к чернилам моего брата Эли.

2

Мой брат Эля говорит, что времена теперь совсем не те, что прежде. Когда-то, говорит он, для приготовления чернил нужно было покупать чернильные орешки, крошить их, затем варить на огне черт знает сколько времени, потом добавлять медного купороса. А для того чтобы чернила блестили, нужно было класть в них кусок сахара — канитель! Нынче, говорит брат, удовольствие! Купишь в аптеке этаким порошок

и пузырек глицерина, смешаешь все это с водой, вскипятишь — и чернила готовы! Так уверяет мой брат Эля. Он пошел в аптеку, купил уйму порошков и целую бутыл глицерина. Затем он заперся у мамы в комнате и что-то там делал. Что именно — я не знаю. Это — секрет. У него сплошь секреты. Если ему, например, нужно попросить у мамы пестик, он отзывает ее в сторону и шепчет: «Мама, пестик!»

Порошки и глицерин он смешал в большущем горшке (купил новый горшок). Горшок со смесью он задвинул в печь и шепотом попросил маму запереть двери на крючок. Мы все думали, произойдет невесть что! Мама ежеминутно заглядывала в печь. Должно быть, боялась, как бы печь не разлетелась на куски. Затем в дом вкатили бочку из-под кваса. Вылили в нее смесь из горшка. Потом стали лить воду. Когда бочка наполнилась больше чем наполовину, мой брат Эля сказал: «Довольно!» — и кинулся к своей книге «За рубль — сто».

Посмотрел и тихонько приказал принести новое перо и лист белой бумаги. «Для прошений», — добавил он шепотом маме на ухо. Обмакнув перо в бочку, он написал что-то на белом листе, сделал закорючку и росчерк. Написанное он показал сначала маме, потом моей золовке Брохе. Они посмотрели и сказали:

— Пишет!

Тогда снова принялись за прежнюю работу: влили еще пару ведер воды, брат поднял руку: «Довольно!», снова обмакнул перо в бочку, снова написал что-то на белом листе и опять показал написанное сначала маме, затем моей золовке Брохе.

Они еще раз посмотрели и сказали:

— Пишет!

Так несколько раз, пока бочка не заполнилась до краев. Больше некуда было лить воду. Тогда мой брат Эля поднял руку: «Довольно!» И мы вчетвером сели за стол.

3

После еды мы начали разливать чернила в бутылки. Бутылок мой брат натаскал со всего света. Всякого рода бутылки и пузырьки, большие и маленькие — из-под пива, из-под вина, кваса, водки. Наконец просто бутылки. Пробок он накупил старых, чтобы де-

шевле стоило. Кроме того, он купил новую воронку и жестяную кружку для того, чтобы разливать чернила из бочки в бутылки. Затем он шепотом попросил маму запереть двери на крючок, и мы вчетвером принялись за работу.

Работа была распределена хорошо. Моя золовка Броха полоскала бутылки и передавала их маме. Мама заглядывала в каждую бутылку и передавала их мне в руки. Я должен был только вставлять воронку в горлышко и держать ее одной рукой, а другой — бутылку. А мой брат Эля черпал кружкой из бочки и наливал чернила.

Работа эта очень славная, веселая. Нехорошо только, что имеешь дело с чернилами: пачкаются руки, лицо, нос... Мы с братом перемазались как черти. Впервые я увидел свою маму смеющейся. О моей золовке Брохе и говорить нечего: та чуть не лопнула со смеху. Мой брат Эля не любит, когда над ним смеются. Он сердится на свою жену и допытывается, чего она смеется. А она смеется пуще прежнего. Он все сильнее сердится, а та еще больше смеется. Каждую минуту с ней судороги. Того и гляди, лопнет! Наконец мать стала упрашивать, чтобы перестали смеяться, а нам с братом велела умыться.

Но брату некогда. Ему не до умывания. Он с головой ушел в бутылки. Все бутылки уже заняты, больше нет! Где взять еще? Он отзывает в сторону мою золовку, дает ей денег и шепотом велит пойти за бутылками. Она выслушивает, потом взглядывает на него и снова прыскает. Брат злится и обращается с тем же секретом к маме. Мама уходит за бутылками, а мы начинаем доливать воду в бочку. Конечно, не сразу, а понемногу.

После каждого ведра брат поднимает руку и говорит, ни к кому не обращаясь: «Хватит!» — затем обмакивает перо и чиркает по бумаге:

— Пишет.

Это он проделывает несколько раз, пока не приходит мать с новым запасом бутылок. Снова разливаем чернила — до тех пор, пока все бутылки не наполнены.

— До каких пор это будет продолжаться? — спрашивает моя золовка Броха.

— Не сглазить бы! — говорит мать, а брат сердито поглядывает на жену, будто говоря: «Хоть ты мне и жена, но и дура же ты, господи помилуй!..»

Сколько у нас чернил, я и сказать не могу. Чуть ли не тысяча бутылок! Но что толку, когда их девать некуда?

Мой брат Эля уже везде побывал. Продавать в розницу, бутылками, не имеет смысла. Так говорит мой брат Эля мужу нашей соседки, переплетчику Мойше. Когда он зашел к нам и увидел столько бутылок, он даже перепугался и шарахнулся назад. Мой брат Эля заметил это, и между ними завязался странный разговор. Передаю его слово в слово.

Эля. Чего это вы так испугались?

Переплетчик. Что у тебя в бутылках?

Эля. Чему там быть? Вино!

Переплетчик. Какое вино? Ведь это чернила!

Эля. Зачем же вы спрашиваете?

Переплетчик. Что ты будешь делать с такой массой чернил?

Эля. Пить буду!

Переплетчик. Нет, кроме шуток! Будешь и в розницу продавать?

Эля. Что я — с ума сошел? Уж если продавать, то десять бутылок, двадцать, пятьдесят... Это называется «оптом». Вы знаете, что значит «оптом»?

Переплетчик. Я знаю, что значит «оптом». Но кому ты будешь продавать?

Эля. Кому? Раввину!

И мой брат Эля пошел по лавочникам. Пришел к одному крупному оптовику. Тот попросил принести ему бутылку. Он хочет посмотреть. Брат принес ему бутылку чернил, но тот и в руки ее брать не желает, потому что нет этикетки. На бутылке, говорит он, должна быть красивая этикетка с рисуночком. «Я рисуночков не делаю, — отвечает ему мой брат Эля, — я делаю чернила». — «Ну, и делай на здоровье!» — сказал лавочник.

Тогда брат сунулся к писцу Юделю. Но Юдель сказал ему что-то очень неприятное. Он уже, говорит, закупил чернил на все лето.

— Сколько же бутылок вы закупили? — спрашивает Эля.

— Бутылок? — переспросил Юдель. — Купил бутылку чернил... Хватит, пока не выйдут, а там еще бутылку куплю...

Вот тебе раз! На что способен писаришка! То говорил, что у него уходит целое состояние на покупку чернил, а то оказывается, что ему одной бутылки на все лето хватит!.. Мой брат Эля, бедняга, вне себя! Он не знает, что делать с такой уймой чернил! Раньше он говорил, что в розницу торговать не намерен, только оптом. Сейчас он смирился. Начнет, говорит, продавать в розницу. Я бы очень хотел знать: что это значит — «в розницу»?

А «в розницу» значит вот что. Послушайте.

5

Мой брат Эля принес большой лист бумаги, сел и написал крупными, как в молитвеннике, буквами:

ЗДЕСЬ ПРОДАЮТ ЧЕРНИЛА
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ.
ХОРОШО И ДЕШЕВО.

Оба слова: «в розницу» и «дешево» — были такие громадные, что занимали чуть ли не весь лист. Когда написанное просохло, он повесил лист на дверях, с наружной стороны. Прохожие останавливались и читали. Я видел это в окно. Мой брат Эля тоже смотрит в окно и ломает пальцы. Это значит, что он расстроен. Он говорит мне:

— Знаешь что? Выйди-ка, постой у двери и послушай, что говорят.

Меня упрашивать не надо. Я встал у дверей, смотрю, кто останавливается, слушаю, что говорят. Простоял почти полчаса и захожу в дом. Брат Эля подходит ко мне и тихо спрашивает:

— Ну?

— Что «ну»?

— Что они говорили?

— Кто?

— Люди, которые шли мимо.

— Говорили, что красиво написано.

— И больше ничего?

— Больше ничего.

Мой брат Эля вздыхает. Чего он вздыхает? Мама тоже спрашивает:

— Чего ты вздыхаешь, глупенький? Подожди немного. В один день ты хочешь распродать весь товар?

— Хоть бы почин был...— говорит брат со слезами в голосе.

— Ты большой дурень, уверяю тебя. Погоди, дитя мое, будет еще, с божьей помощью, и почин.

Так говорит мама и накрывает на стол. Мы умываем руки и садимся кушать. Нам четверым приходится сидеть рядышком: из-за бутылок в доме стало так тесно — деваться некуда. Только принялись за еду, прибегает паренек. Занятный такой. Он уже жених. Я его знаю. Его зовут Копл. У него отец портной. Дамский портной.

— Здесь продают чернила в розницу?

— Да. А что такое?

— Я хочу немного чернил.

— Сколько тебе нужно?

— Дайте мне на копейку.

Мой брат Эля вне себя. Если бы не стыд перед матерью, он бы этого жениха Копла раньше отшлепал, а потом вышвырнул бы из дому. Однако он сдерживает себя и наливает парнишке чернил на копейку.

Не проходит и четверти часа, прибегает девочка. Ее я не знаю. Она ковыряет в носу и обращается к моей маме:

— Здесь делают чернила?

— Да. А что такое?

— Сестра просила, не можете ли вы ей одолжить немного чернил? Ей нужно написать письмо жениху в Америку.

— Кто твоя сестра?

— Бася, швейка.

— А! Смотри пожалуйста, как она выросла! Не сглазить бы! Я тебя совсем не узнала. Чернильница есть у тебя?

— Откуда у нас чернильница? Моя сестра просила... Может быть, у вас и перо есть... Она только напишет письмо в Америку и вернет вам перо и чернила.

Моего брата Эли нет за столом. Он в маминой комнате. Медленно шагает из угла в угол, опустив голову, и грызет ногти.

— Зачем ты наделал столько чернил? Ты хотел, видно, обеспечить весь мир чернилами,— вдруг наступит чернильный голод? — говорит моему брату Эле муж нашей соседки, Мойше-переплетчик.

Странный человек этот переплетчик! Манера у него — сыпать соль на чужие раны. Вообще он как будто неплохой человек, только нудный и страшно въедливый. Но мой брат Эля его здорово отчитал! Он посоветовал переплетчику лучше следить за самим собой, не делать каши из книг, не переплетать вместе «Агоду» и «Слихес» *...

Мойше-переплетчик знает, на что намекает брат. Однажды он взял у одного извозчика заказ — переплести «Агоду». И вот случилось несчастье: по ошибке Мойше переплел вместе с «Агодой» несколько листов из чужой «Слихес». Извозчик, может быть, и не заметил бы, но сосед услышал, как он вдруг вместо радостной пасхальной песни читает жалобную покаянную молитву... Поднялся хохот. А на следующий день извозчик прибежал к нашему соседу и хотел растерзать его в клочья.

— Разбойник! Что я тебе сделал? Зачем ты в мою пасхальную «Агоду» всучил черт знает что? Вот я тебе все кишки вымотаю!

Да, веселая была у нас тогда пасха!

Однако не взыщите, что я отвлекся посторонним рассказом. Возвращаюсь к нашим блестящим делам.

IX. ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРНИЛЬНОГО НАВОДНЕНИЯ

1

Мой брат Эля ходит сам не свой. Что делать с чернилами?

— Опять чернила? — укоряет его мама.

— Я не о чернилах! — отвечает брат. — Черт с ними, с чернилами! Я говорю о бутылках. В бутылки вложен капитал. Нужно опорожнить их и получить деньги...

Он все превращает в деньги! И мы решаем, что чернила нужно вылить, ко всем чертям! Плохо только,

что мы не знаем, куда девать столько чернил. Ведь это же просто позор!..

— Ничего не поможет! — говорит мой брат Эля. — Придется ждать ночи. Ночью темно, никто не увидит.

Еле дождались ночи. Как назло, луна сияет фонарем. Когда нужно, чтобы было светло, она прячется. А вот теперь она тут как тут, будто посылали за ней!.. Так говорит мой брат Эля, и мы выносим бутылку за бутылкой и выливаем прямо на улицу. Оттого, что лили в одном и том же месте, получилась целая река. Не нужно лить в одном и том же месте, говорит брат Эля, и я следую его совету. Я выискиваю каждый раз новое место. Вот соседкина стена — плюх! Соседский забор — плюх! Лежат две козы и жуют жвачку при лунном свете — на них!

— На сегодня хватит! — говорит брат Эля, и мы отправляемся спать.

Тихо и темно. Заводит свою песенку сверчок. Из-под печи слышится урчание кошки. Вот соня! И днем и ночью только и делает, что греется и дремлет. В сенях, за дверью, слышны чьи-то шаги. Может быть, домовой?.. Мама еще не спит. Я всегда слышу, как она ломает пальцы, вздыхает, кряхтит и говорит, обращаясь к себе самой. Такая уж у нее манера. Каждую ночь она отводит душу. Рассказывает о своих горестях. С кем она разговаривает? С богом? Каждую минуту она повторяет со вздохом:

— Ах, боже, боже!..

2

Я еще не встал со своей постели на полу, как уже сквозь сон слышу шум и гам. Доносятся знакомые голоса. Постепенно открываю глаза — поздний час. Солнечный свет ворвался в окна, манит из дому, зовет на улицу. Пытаюсь вспомнить, что было вчера... Ага! Чернила!.. Вскикиваю и наскоро одеваюсь. У мамы заплаканы глаза (когда, впрочем, они у нее не заплаканы?). Моя золовка Броха ходит сердитая (а когда она не сердитая?). Мой брат Эля стоит посреди комнаты понутив голову, как дойная корова. В чем дело? Оказывается, не одно, а несколько дел! Соседи наши проснулись утром, и пошла кутерьма — прямо зарезали их! У одного всю стену забрызгали чернилами. У дру-

гого облили забор, новенький забор! У третьего была пара белых коз, а ему их покрасили в черный цвет — не узнать их. Но все было бы терпимо, если бы не резниковы чулки. Новенькую пару чулок, белых чулок, резничиха повесила на заборе у нашей соседки, а их испортили вконец. Просили ее вешать чулки на чужой забор! Мама обещала купить ей пару новых чулок, лишь бы все было тихо. Но что делать со стенами? С забором? Решено было, что мама и моя золовка Броха возьмут щетки и затрут пятна белой глиной.

— Ваше счастье, что вы напали на порядочных соседей. Вот напоролись бы с вашими чернилами на Менаше-лекаря, тогда бы вы почувствовали, как велик наш бог! — говорит маме соседка Песя.

— Что же вы думаете? И в беде нужна удача! — говорит мама и смотрит на меня.

Что она этим хочет сказать?..

3

— Теперь уж я буду умнее! — говорит мне брат Эля. — Как только наступит ночь, отнесем бутылки на речку.

Он прав, честное слово! Ничего умнее придумать нельзя! Все равно в речку льют всякую пакость. Там и белье стирают, там и лошадей купают, там и свиньи полощутся. Мы с рекой — близкие друзья. Я вам как-то рассказывал о моей рыбной ловле. Так что вы без труда поймете, с каким нетерпением я ждал минуты, когда мы отправимся на речку.

Как только стемнело, мы уложили бутылки в корзины и стали таскать их к речке. Выльем чернила, порожние бутылки домой отнесем и беремся за следующую партию. Всю ночь работали таким образом.

Давно уже не было у меня такой славной, веселой ночи. Представьте себе: город погрузился в сон, небо усыпано звездами. Луна светит и отражается в речке. Тишина. Хорошо. А речонка у нас бойкая. После пасхи, как только растает лед, она начинает озорничать. Надувается, разбухает, выходит из берегов. А чем дальше, тем она становится меньше, уже и мельче. К концу лета и совсем замолкает. Впадает в дрему. И только на самом дне, в иле, слышится: «буль-буль». С противоположной стороны отзываются лягушки: «ква-ква». Срам,

а не река! Можете себе представить, если я могу перейти ее вброд от берега к берегу, даже не засучив штанишек!

От наших чернил речка немного раздалась вширь. Шутка ли, чуть ли не тысяча бутылок чернил! Зато и наработались же мы — как волы. Уснули как убитые. Разбудила нас мама:

— Горе мне! Разнесчастная моя жизнь! Что вы там натворили на реке?

Оказалось, что мы обезводили город: прачкам негде белье стирать. Извозчикам негде лошадей поить. Водовозы... Вот они соберутся все вместе и придут рассчитывать с нами.

Все это сообщила мама. Но у нас нет никакого желания дожидаться их. Нам вовсе не интересно, как водовозы будут рассчитываться с нами. Я и мой брат Эля наспех собираемся и отправляемся к его товарищу Пине.

— Пускай они нас поищут, если им нужно! — Так говорит мне брат Эля, берет меня за руку, и мы быстро спускаемся под гору к его товарищу Пине. Если мы с вами еще увидимся, я вас как-нибудь познакомлю с товарищем моего брата. С ним стоит познакомиться: ему тоже приходят в голову удачные мысли.

Х. УЛИЦА ЧИХАЕТ

1

Знаете, что у нас теперь на очереди? Мыши!

Целую неделю мой брат Эля изучал свою книгу, при помощи которой делают деньги, «За рубль — сто». Он уже научился, говорит, выводить мышей, тараканов и прочую нечисть. Крыс тоже. Пусть только его куда-нибудь пустят с его порошком — ни одной мыши не останется. Они удирают. Многиедохнут. Нет больше мышей! Как он это делает, я не знаю. Это секрет. Секрет этот знают только он да книга, больше никто. Книгу он носит в боковом кармане. Порошок — в бумаге. Порошок какой-то красноватый, тонко растертый, как нюхательный табак. Называется он «шемерица».

— Что это значит — «шемерица»?

— Турецкий перец.

— А что значит «турецкий перец»?

— Я тебе сейчас такое «что значит» задам, что ты у меня головой двери откроешь!

Так говорит мне брат Эля. Он не любит, когда ему надоедают с расспросами во время работы. Я смотрю и молчу. Вижу, что, кроме красноватого, у него есть еще какой-то порошок.

— Тоже от мышей. Но с этим нужно быть осторожным!

— Смертельный яд! — чуть ли не сто раз подряд повторяет Эля маме, Брохе и мне. Особенно — мне, чтоб я не смел и притрагиваться к этому. Яд!

Первый опыт мы произвели на мышах нашей соседки Песи. Мышей там чертова пропасть. Вы ведь знаете, что муж ее — переплетчик. У него вечно дом полон книг. А мыши любят книги. Не столько самые книги, сколько клейстер, которым книги склеивают. А с клейстером заодно они уже и сами книги едят, причиняют огромные убытки. Недавно они продырявили молитвенник, и как раз в том месте, где большими буквами напечатано «Царь-вседержитель». Как дорвались до этого места, так оставили только кончик одной буквы.

— Пустите меня к вам на одну ночь! — упрашивает переплетчика мой брат Эля.

Но переплетчик не соглашается.

— Я боюсь, — говорит он, — что ты все книги перепортишь.

— Чем я испорчу ваши книги?

— Я и сам не знаю чем. Но боюсь. Чужие книги...

Толкуй с переплетчиком! Еле уломали его, чтобы он пустил нас на одну ночь.

2

В первую ночь нам не повезло. Не поймали ни одной мыши. Впрочем, мой брат Эля говорит, что это хороший признак. Мыши, по его мнению, почуяли порошок и разбежались. Переплетчик качает головой и криво усмехается: видно, не верит. Тем не менее по городу распространился слух о том, что мы выводим мышей. Слух этот пустила наша соседка Песя. Рано утром она отправилась на рынок и разбарабанила по всему городу, что никто так не выводит мышей, как

мы. Она нас прославила. Раньше она всем и всякому твердила о нашем квасе. Затем она на всех углах рассказывала, что мы изготавливаем такие чернила, каких свет не видал. Но что толку от ее рассказов, когда в чернилах никто не нуждается? Мыши — это не то что чернила. Мыши имеются всюду, почти в каждом доме. Конечно, каждый хозяин держит кошку. Но где одной кошке справиться со столькими мышами? А особенно с крысами! Крысам наплевать на кошку. Говорят даже, что крыс сама кошка побаивается.

Так уверяет сапожник Бере. Он такие истории рассказывает о крысах, что мороз по коже дерет! Правда, считают, что он малость преувеличивает. Но если даже половина того, что он рассказывает, правда, то и этого вполне достаточно. Он говорит, что крысы съели у него пару новых сапог. Бере клянется при этом такими клятвами, что не только ему — выкресту поверить можно. Он, говорит, сам видел, как две большие крысы выползли из своих нор и у него на глазах съели пару сапог. Это было ночью. Подойти близко он боялся: крысы огромные, как телята! Издали он их гнал, свистел, топал ногами, кричал: «Киш-киш-киш!» Ничего не помогло. Швырнул в них сапожной колодкой, но крысы только взглянули на него и продолжали свое дело. Тогда он бросил прямо на них кошку. Но они и на нее налетели и слопали! Никто не хотел ему верить. Но когда человек так клянется!..

— Пустите-ка меня к вам на одну ночь, — говорит мой брат Эля, — я вам выведу всех крыс.

— С большим удовольствием! — отвечает сапожник Бере. — Я вам еще спасибо скажу!..

3

Ночь напролет просидели мы у сапожника Бере. И он сидел с нами. Каких только удивительных историй мы от него не наслушались! Он рассказывал о турецкой войне. (Бере был когда-то солдатом.) Ему пришлось быть в таком месте, которое называется «Плевна». Там стреляли из пушек. Вы знаете, какой величины бывает пушка? Представьте себе, что одно только ядро больше, чем целый дом, а пушка каждую минуту выбрасывает чуть ли не тысячу таких ядер! Довольно с вас? Но ядро, когда вылетает из пушки,

так ревет, что оглохнуть можно. Однажды, рассказывает Бере, он стоял на посту. Вдруг он слышит грохот, его подняло в воздух и понесло чуть ли не выше облаков... А там ядро разорвалось на тысячу кусков. Его счастье, говорит Бере, что он упал на мягкое место, не то бы расшиб себе голову.

Мой брат Эля слушает, а брови у него улыбаются. То есть сам он не смеется, смеются только брови. Станный какой-то смех. Но сапожник ничего не замечает. Он не переставая рассказывает свои удивительные истории. Одна другой страшнее. Так мы просидели до утра. А крысы? Хоть бы одна!

— Вы прямо-таки волшебник! — говорит сапожник моему брату Эле.

После этого он отправляется в город и рассказывает чудеса о том, как мы при помощи заговора вывели у него в доме крыс в течение одной ночи. Он клянется, что сам видел, как мой брат Эля что-то прошептал, — тогда крысы вылезли из своих нор и пустились под гору, к речке, переплыли ее и ушли куда-то далеко... Куда — он не знает...

4

— Здесь выводят мышей?

С таким вопросом к нам каждый раз приходят и просят, чтобы мы потрудились и пожаловали выводить мышей при помощи нашего заговора...

Но мой брат Эля — человек справедливый. Он не терпит лжи. Он говорит, что изгоняет мышей не заговором, а порошком. Есть у него такой порошок, от которого мыши разбегаются.

— Пускай будет порошок, пускай будет черт-дьявол, лишь бы избавиться от мышей!.. Сколько это будет стоить?

Мой брат Эля не любит торговаться. Он говорит, что за порошок ему причитается столько-то, а за труд — столько-то и столько-то. С каждым разом он, конечно, просит дороже. Он каждый день повышает цену. То есть не он, а моя золовка повышает.

— Если уж на то пошло, — говорит она, — если уж жрать свинину, так пускай по бороде течет. Уж если ты крысомором заделался, так загребай хоть денежки.

— Ну, а справедливость где же? А бог где? — вмешивается в разговор моя мама.

Но золовка Броха отвечает:

— Справедливость? Вот она где — справедливость! — и указывает на печку. — А бог? Вот где бог! — и хлопает себя по карману.

— Броха! — восклицает мать, заламывая руки. — Что ты сказала? Опомнись, господь с тобой!!

— Ну что ты разговариваешь с коровой?! — говорит мой брат Эля, расхаживая по комнате и теребя свою бороду.

У него уже изрядная бородка. Растет она как на дрожжах. Он теребит ее, вот она и растет. Странно как-то растет. Вся борода почему-то на шее. Лицо чистое, а шея вся в волосах. Видали вы когда-нибудь такую бороду?

В другое время моя золовка Броха задала бы брату за «корову» такую взбучку, что у него бы в глазах потемнело. Но на этот раз она промолчала, потому что он сейчас зарабатывает деньги. Каждый раз, когда мой брат зарабатывает деньги, она начинает его уважать. Да и я становлюсь ей дороже, потому что помогаю брату зарабатывать деньги. Обычно она называет меня «голодранец», или «растяпа», или «гольтепа». Сейчас она обращается со мной ласково. Сейчас я у нее уже «Мотеле».

— Мотеле! Подай мне ботинки.

— Мотеле! Набери мне кружку воды.

— Мотеле! Вынеси мусор.

Совсем другое дело, когда зарабатываешь деньги!

5

У моего брата Эли есть один недостаток — он любит всего помногу: квасу — целая бочка, чернил — тысяча бутылок, порошка от мышей — полный мешок! Муж соседки, переплетчик Мойше, уже говорил ему: «К чему так много?» Но брат здорово отчитал его за такие слова.

Хоть бы запирали этот мешок куда-нибудь в шкаф. Так нет же! Все уходят и оставляют меня дома одного с мешком. Что же такого, что я на минуту сел на него верхом, как на лошадку? Мог ли я думать, что мешок лопнет и оттуда посыплется что-то желтое?

Это и есть тот самый порошок, которым мой брат Эля выводит мышей. Он издает такой острый запах, что можно в обморок упасть. Я нагибаюсь, хочу собрать то, что просыпалось, но меня вдруг одолевает чихание. Мне кажется, если бы я втянул в нос полную табакерку нюхательного табаку, я и то не стал бы так чихать. Выбегаю на улицу — может быть, на воздухе перестану чихать? Куда там! Приходит мама и видит, что я чихаю. Спрашивает, что случилось. Но я не могу сказать ни слова в ответ, только «чхи!», и еще раз «чхи!», и снова «чхи!».

— Горе мне! Где это ты схватил такой насморк? — говорит мама, ломая руки.

Не переставая чихать, я указываю ей на дверь в дом. Она входит и тут же выбегает обратно, чихая еще сильнее, чем я. В это время приходит мой брат Эля и видит, как мы оба чихаем. Спрашивает в чем дело. Мать указывает ему на дверь. Брат бежит в дом и сразу же выскакивает с криком:

— Кто это рас... Чхи! Чхи! Чхи!..

Я давно уже не видел моего брата Элю в таком бешенстве, как сейчас. Он бежит прямо на меня. Счастье, что он чихает... Не то он бы меня искалечил. Приходит моя золовка Броха и застаёт нас троих держащимися за бока и чихающими.

— Что с вами? Чего это вы вдруг расчихались?

Но что мы можем сказать? Мы не в состоянии слова выговорить. Указываем на дом, на дверь. Она бежит в дом и тут же вылетает обратно, красная, как огонь, и нападает на брата:

— Что я тебе го... Чхи! Чхи! Чхи!..

Приходит наша соседка Песя-толстая. Она обращается к нам, но никто не может ответить ни слова. Указываем ей руками на двери. Она входит в дом и сейчас же выбегает:

— Что это вы такое сде... Чхи! Чхи! Чхи!..

Соседка размахивает руками. Приходит ее муж, переплетчик. Он смотрит на нас и смеется.

— Что это на вас вдруг напало такое чихание?

— Потрудитесь ту... Чхи! Чхи! Чхи! — говорим мы, указывая на двери.

Переплетчик входит к нам в дом и выскакивает обратно со смехом.

— Я уже знаю, что это такое! Я понюхал! Это — чеме... чеме... Чхи! Чхи!..

Он тоже хватается обеими руками за бока и чихает всласть. После каждого чихания он подпрыгивает, стоит минуточку на кончиках пальцев, снова чихает, подпрыгивает, снова чихает и так далее. Не проходит и получаса, как все наши соседи и соседки, все их дяди и тетки, все троюродные братья и сестры и их знакомые — вся улица от края до края беспрерывно чихает.

Чего это мой брат Эля так испугался? Он, наверное, боится, как бы все чихающие не выместили на нем свою злобу. Он берет меня за руку, и мы оба, чихая, бежим под гору, к его товарищу Пинее.

Прошло не менее полутора часов, пока мы пришли в себя и смогли говорить по-человечески. Мой брат Эля рассказал всю историю своему товарищу. Пиня выслушал внимательно, как доктор выслушивает больного. Когда брат кончил, Пиня говорит ему:

— А ну-ка, давай сюда свою книгу!

Брат достает из бокового кармана книгу и передает Пинее. Пиня читает на обложке: «За один рубль — сто. Способ из ничего, при помощи пяти пальцев, зарабатывать сто рублей в месяц и больше...»

Он берет книгу и швыряет ее в печь, прямо в огонь. Мой брат Эля вскакивает с места и тянется руками к огню. Но Пиня его останавливает:

— Спокойно! Не торопиться!

Минута-другая — и от книги моего брата Эли, помогающей зарабатывать «сто рублей в месяц и больше», остается лишь горсточка пепла. Только с одной стороны белеет клочок не успевшей сгореть бумаги. На этом клочке едва можно прочесть: «Че-ме-ри-ца...»

ХІ. НАШ ДРУГ ПИНЯ

1

Помните, я как-то обещал познакомить вас с товарищем моего брата Эли, с Пинеей? Обещал потому, что ему приходят в голову удачные мысли. Но прежде чем говорить о Пинее, я должен рассказать вам о его дедушке, затем об отце и дяде и только потом о нем самом.

Не пугайтесь, я расскажу вкратце. Начинаю с деда. Слышали ли вы когда-нибудь о реб Гесе-стеколь-

щике? Это и есть дед Пини. Он и стекольщик, он и зеркальщик, он и табак умеет делать. Сейчас он забросил все свои дела и занимается только тем, что растирает табак и продает его. Покуда, говорит он, человек жив, он должен работать и не прибегать ни к чьей помощи. Человек он высокий, тощий, с красными глазами и с огромным носом, внизу широким, вверху узким, изогнутым, как рог. Боюсь, что это у него от нюхательного табака. Он очень стар, ему, наверное, лет сто, но он еще в здравом уме. Он и сейчас еще, пожалуй, умнее двух своих сыновей — Герш-Лейба-механика и Шнеера-часовщика.

Механик Герш-Лейб так же худощав и высок, как и реб Геся. У него тоже большущий нос, но табака он не нюхает. Может быть, еще будет нюхать, но пока — нет. Он печной механик. Кладет печи. Все говорят, что он человек с головой. У него и в самом деле большой лоб. Если бы его, говорит он, обучали ремеслу, он был бы единственным в мире. Нет такой вещи на свете, до которой он не дошел бы собственным умом. Так он сам о себе говорит. Он все улавливает с первого взгляда. Печи складывать он тоже научился сам. Видел несколько раз, как работает Иван-печник, и хохотал до упаду. Он уверяет, что печник Иван даже не представляет себе, что такое печь.

Однажды он пришел домой, развалил печь и из тех же кирпичей сложил новую. В первое время печь дымила так, что можно было задохнуться. Тогда он снова разобрал ее и опять сложил. И так несколько раз до тех пор, пока не стал знаменитым механиком. Он собственным умом додумался до такой печи, которую достаточно топить один раз в восемь дней. Беда только в том, что у него нет таких кирпичей, какие для этого требуются. Если бы, говорит он, ему дали «кафельные» кирпичи, он сложил бы печь, какую свет не видал.

Он уверяет, что сложить печь — дело более мудреное, чем собрать часы. Это уж он говорит в пику своему брату Шнееру.

Шнеер моложе его, выше ростом, тоже длинноносый, он часовых дел мастер. Вообще-то ему следовало быть раввином, резником или меламедом. Такие у него были способности к наукам. Но он захотел быть часовщиком. Каким образом он дошел до часового мастерства? А вот послушайте.

Когда он был еще мальчишкой и учился в хедере, рассказывает о себе Шнеер, у него голову распирало от больших мыслей. Ему, например, хотелось разгадать секрет замка. Почему, если повернешь ключ направо, замок открывается, а если повернешь налево — запирается? Или — каким образом идут часы? Почему они бьют как раз тогда, когда большая стрелка стоит на двенадцати? Когда он впервые увидел часы с кукушкой, он чуть с ума не сошел. Часы эти старый реб Геся получил в подарок от отставного полковника, который давал ему работу. Каждый раз, когда часы должны были бить, отворялась дверца, выскакивала птичка и куковала! Птичка была до того похожа на живую, что даже кошка ошибалась. Как только появлялась птичка, кошка настораживалась и норовила ее поймать.

Шнеер дал себе слово, что он обязательно разгадает секрет этой птички. Однажды, когда никого дома не было, он снял часы со стены, развинтил все винтики, вытащил механизм. Подоспевший к тому времени отец избил его так, что никто даже не надеялся видеть Шнеера живым. До сих пор, говорит Шнеер, у него остались следы на теле. Но он своего добился — он часовых дел мастер. Не знаю, из лучших ли он, но берет он недорого и держит работу недолго.

Мой брат Эля уже много раз чинил у него свои часы. Чуть ли не каждые две недели он чинит их. Они у него какие-то странные: то спешат как сумасшедшие, то отстают часа на четыре, то остановятся — и делай что хочешь. Мой брат Эля, может быть, и обратился бы к другому мастеру, но ему неловко перед своим товарищем Пиней. А Пиня говорит, что дело тут, наверное, в самих часах, а не в его дяде Шнеере, потому что одно из двух: если часы действительно часы, то их каждый часовой мастер может починить. Если же часы не часы, так чем же тут поможет часовой мастер?

Скажите, что он не прав!

2

Пиня, товарищ моего брата Эли, тоже человек с головой, как и отец его — Герш-Лейб-механик и дядя Шнеер-часовщик. Нос у него тоже длинный, как и у них. Все они носатые, вся семья. Есть у них

тетя Крейна, а у нее есть дочь Малка. Так вот у этой дочери такой нос, что на него можно специально ходить смотреть. И не столько на нос, сколько на все лицо. Совсем какое-то нечеловеческое лицо. Выглядит не то как птица, не то как диковинный зверь. Она стесняется на улицу выходить. Прямо-таки жалко человека! Пиня немного похож на нее, но он мужчина, а для женщины это не так важно. Правда, выглядит он как-то странно. Когда помотришь на него, нельзя не рассмеяться. Мало того что он высокий и худой — у него еще и уши длинные, шея как у гусака, и к тому же он близорук. Куда бы он ни пошел, он обязательно с кем-нибудь столкнется. Если остановится, то непременно кому-нибудь на ногу наступит. Одна штанина у него всегда задрана. Один чулок спущен. Рубашка обязательно расстегнута. Галстук вечно на боку. Он картавит и любит всякие лакомства. Когда бы вы его ни встретили, он что-нибудь держит во рту и причмокивает. Зато он очень способный человек. Нет ничего на свете, чего бы он не знал. Своей ученостью он, говорят, затмил даже раввина. Своим почерком он за пояс заткнет всех знатоков. Помимо того что у него замечательный почерк, он еще большой мастер писать рифмой. Он уже описал весь город: раввина, резника, всех габе, мясные лавки, свою семью — всех описал, и всех рифмой. Его стихи одно время ходили по рукам, люди хохотали до упаду, кое-кто выучил их наизусть. Я тоже помню несколько строчек:

У нашего габе
Реб Шмуел-Абе
Большой и пухлый живот,

Он сидит у стола
И тащит из котла —
Прямо-таки дым идет!

Жена его Нехам —
Благочестивая дама;
Говорить о ней много не стоит...

Она умна,
Как раввина нашего коза,—
Черт поберет их обоих!..

Весь город ходуном ходил от этих стихов. Кто-то еще приладил к ним мотив застольной молитвы. И все распевали эту песенку. Дошла она и до самого габе и

его жены. Послали за отцом, Герш-Лейбом-механиком, и со слезами на глазах допытывались, что против них имеет его сын Пиня. Придя домой, Герш-Лейб-механик позвал Пиню, запер двери и ворота и основательно всыпал ему. Он порол его до тех пор, пока Пиня не дал честного слова, что, покуда жив будет, никогда не сочинит ни одной рифмы.

3

С тех пор Пиня рифм больше не пишет. Ему не до рифм. Пиня и сам о себе говорит, что он в беде. Жениться ему вздумалось. Собственно, не ему, а его отцу, Герш-Лейбу, захотелось, чтобы Пиня женился и стал «человеком». Пиня женился на дочери мельника. Тесть открыл мучную лавку и посадил в ней зятя. Мой брат Эля завидует Пине, потому что у того теперь есть свое дело. А Пиня смеется. Он говорит, что это, может быть, и дело, но не для него. Что это, говорит он, за работа — пачкаться с мукой? Это хорошо для неуча, для мельника... Чем он, говорит, виноват, что не может сидеть в лавке? Не может! У него голову распирает, просто разносит... У них, говорит он, вся семья такая — у всех головы распирает...

Так говорит Пиня и не хочет сидеть в лавке. Лучше, говорит, посидеть над книгой — по крайней мере, удовольствие получишь. Тесть его, мельник, очень сердится на него, но помалкивает, боится, как бы зять не расписал его в стихах, а кроме того, он трясется над своей дочерью. Она у него единственная. Ее зовут Тайбл. Она немного косит на один глаз, но вообще-то она очень добрая. Мама говорит, что это человек без желчи. Я не понимаю, что значит «без желчи». Куда же она девалась, ее желчь? Она по целым дням торчит в лавке, а Пиня отсиживается дома. Мы с братом почти каждый день к нему приходим. Он нам рассказывает о всех своих горестях. Когда бы мы ни пришли, он вздыхает, стонет и жалуется на несчастную свою долю. Ему здесь, говорит он, тесно и душно. Он чувствует, что задыхается.

Ему бы в другом городе жить, тогда бы все было по-иному. Если бы его выпустили отсюда хотя бы на один год, он бы свет перевернул! Так говорит он моему брату Эле. Пиня показывает письма, которые ему пи-

шут «большие люди». «Большие люди» пишут ему, что у него внутри что-то есть. Пиня говорит, что он и сам чувствует, что в нем что-то есть. Я смотрю на него и думаю: «Господи боже мой! Что там у него внутри?»

4

Однажды Пиня пришел к нам и вызвал брата Элю, чтобы сообщить ему что-то по секрету. Раз секрет — я непременно должен знать. Я люблю знать все секреты. Пошел за ними следом, стал прислушиваться. То говорит Пиня, то мой брат Эля. Передаю вам их разговор.

Пиня. Что мы тут высидим?

Эля. Я то же самое говорю.

Пиня. Вот я читал, что один поехал туда с голыми руками, полгода ночевал под открытым небом, улицы подметал за кусок хлеба...

Эля. Ну, а теперь?

Пиня. Дай бог нам обоим не хуже.

Эля. Серьезно?

Пиня. Серьезно, серьезно! Что ж, я обманывать тебя стану? Я уже говорил об этом своей Тайбл.

Эля. Ну, и что же она?

Пиня. Что ей говорить? Она едет.

Эля. Едет? Ну, а тесть?

Пиня. Кто его слушать станет? Если я уеду один, ему лучше будет? Ведь он видит, что мне на месте не сидится, что не могу я тут оставаться!

Эля. А я, думаешь, могу здесь оставаться?

Пиня. Так давай вместе поднимемся и поедем.

Эля. Подняться и поехать? А с чем?

Пиня. Шифскарты ведь нам дают бесплатно, глупенький!

Эля. Что значит — бесплатно?

Пиня. На выплату. Когда-нибудь выплатим. А пока что мы получаем их бесплатно.

Эля. Ну, а до парохода? Расходы? А билеты? Железная дорога?

Пиня. Сколько нам нужно билетов, чудак?

Эля. А ну-ка, скажи сам сколько?

Пиня. Считаю: я и моя Тайбл — два, ты и твоя Броха — два. Значит, четыре.

Эля. И мама... пять.

Пиня. Значит, пять.

Эля. А Мотл?

Пиня. С него хватит полбилета. А может быть, и того меньше... Скажем, что ему еще и трех лет нет...

Эля. Ты с ума сошел?..

* * *

Что мне делать? Больше не могу терпеть. От восторга издаю визг. Оба оборачиваются ко мне: — Пошел, постреленок! Что за манера подслушивать, когда взрослые разговаривают?

Я убегая, подпрыгиваю и хлопаю себя по бедрам. Шутка ли — я еду! Пароход!.. Поезд!.. Билет... Полбилета... Куда, собственно, мы едем? А мне какое дело?.. Не все ли равно куда? Я еду — этого достаточно! Знаете, что я вам скажу? Если подсчитать хорошенько, то я еще в жизни своей ни разу никуда не ездил. Я даже не знаю, что значит ехать. Однажды, правда, мне довелось испытать это удовольствие. Я проехался верхом на козе нашего соседа... Дорого мне это стоило! Помимо того что я упал и расквасил себе нос, я еще получил несколько затрещин. Так что я это и за поездку не считаю.

Весь день я сам не свой. Потерял аппетит. Ночью мне снится, что я еду. Даже не еду — лечу! У меня крылья как у голубя, и я лечу. Дай бог здоровья нашему другу Пине! Он стал мне в тысячу раз милее, чем раньше. Если бы не было стыдно, я бы его расцеловал. Что за чудесный человек Пиня! Ну, не говорил я вам, что ему приходят в голову замечательные мысли?

ХII. МЫ ЕДЕМ В АМЕРИКУ!

1

Ура, мы едем в Америку! Где она, эта Америка? Не знаю. Знаю только, что это далеко, ужасно далеко! Туда нужно ехать и ехать до тех пор, пока не приедешь. А по приезде попадают в «Кестл-Гартл». Там, в этом «Кестл-Гартл», вас раздевают догола и осматривают глаза. Если глаза здоровы — хорошо. Если нет — извольте ехать обратно! У меня как будто глаза здоровые. Один только раз мне пришлось повозиться

с глазами. Мальчики из школы однажды сцапали меня, разложили и запорошили мне глаза табаком. Ох и колотил же их мой брат Эля! А сейчас у меня глаза ясные, как хрусталь. Вот с моей мамой, знаете, дело обстоит гораздо хуже. Так говорит мой брат Эля. Но кто виноват? Она по целым дням и ночам плачет. С тех пор как умер отец, она не переставая плачет.

— Ради бога! — толкует мой брат Эля. — Тебе нас, наверно, совсем не жалко! Ведь нам же из-за тебя придется, упаси бог, ехать обратно!

— Глупенький! — отвечает мать. — Разве это я плачу? Само по себе плачется, помимо меня...

Мать вытирает передником глаза и принимается за постель, за подушки. Нужно все подушки пересыпать. В Америке нет подушек. Там все есть, кроме подушек. Как там люди спят, не понимаю. Ведь им, должно быть, очень жестко. Моя золовка Броха помогает маме пересыпать перья. А подушек у нас, слава тебе господи, порядочно. Три большие перины, шесть подушек больших, четыре маленьких. Их называют «думками». Из них мама делает одну подушку. Я маленькие подушки люблю больше всего. По утрам я иногда затеваю с ними игры, делаю из них треугольные пироги, шляпы...

— Приедем, бог даст, благополучно туда и опять пересыплем их в маленькие.

Так говорит мама мне и моей золовке Брохе, намекая ей на то, что и она должна поступить так же. Броха делает так же, хотя поездка ее вообще не радует. Ей тяжело расставаться с родителями. Если бы кто-нибудь в прошлом году сказал ей, что она поедет в Америку, она бы, говорит, тому в глаза наплевала.

— Если бы мне в прошлом году сказали, что я останусь вдовой... — говорит моя мама и начинает плакать. Увидев это, мой брат Эля поднимает крик:

— Опять плакать? Ты, видно, хочешь нас погубить?!

2

Тут еще нелегкая принесла нашу соседку Песю. Увидев нас за пересыпкой подушек, она остановилась и начала душу изливать, причитать над нами:

— Едете, стало быть, в Америку? Дай вам бог приехать благополучно и счастливо устроиться. Бывает,

конечно, если богу угодно... Вот в прошлом году уехала одна моя родственница, ее зовут Ривл, со своим мужем Гиле. Пишет, что мучаются, но все-таки налаживают жизнь... И сколько ни просишь их, чтобы написали по-человечески: что, и как, и каким образом? А они отвечают: Америка — страна для всех. Каждый мучается и кое-как устраивает свою жизнь... Вот и пойми как хочешь... Хорошо еще, что вообще пишут. В первое время они совсем ничего не писали, будто забыли обо всех. Мы уже тут думали, что они, упаси бог, в море утонули. И только потом, когда миновало бог знает сколько времени, пришла весточка, что они уже, слава богу, в Америке. Мучаются и «делают жизнь»... Что и говорить, очень стоит затевать всю эту кутерьму, ломать всю свою жизнь, пересыпать подушки, ехать по морю и все такое!..

— Скажите на милость, может быть, вы перестанете наконец донимать нас своими причитаниями? — налетает на нее мой брат Эля и тут же получает отповедь:

— Донимать? Смотри пожалуйста, какой умник выискался! Он едет в Америку мучиться и «делать жизнь»! А давно ли я тебя на руках таскала, нянчилась с тобой, возилась? А ну-ка, спроси свою мамашу, сколько я натерпелась с косточкой, которую ты однажды проглотил в пятницу вечером, когда кушал рыбу! Если бы я тогда нехватила тебя сзади раза два-три, ты бы сейчас не ехал в Америку мучиться и «делать жизнь»...

Наша соседка Песя еще долго говорила бы. На счастье, вмешалась мама и стала ее упрашивать по-хорошему:

— Умоляю вас, Песинька, душенька, сердце, любочка, дай вам бог здоровья!..

Больше мама не в силах говорить и начинает плакать. Завидев слезы на глазах у мамы, мой брат Эля вскипает. Он бросает работу, выбегает из дому и хлопает дверьми:

— Провались все это сквозь землю!

3

В доме у нас уже пусто — разгром. Мамина комната набита узлами с подушками и перинами. Узлов этих навалено чуть ли не до потолка. Когда никого нет, я забираюсь на самый верх и соскальзываю вниз,

как на салазках. Кажется, никогда еще мне не было так хорошо, как сейчас. Готовить перестали уже давно. Мой брат Эля приносит с базара сушеную рыбу, и мы едим ее с луком. Рыба с луком — что может быть вкуснее! Наш друг Пиня ест вместе с нами. Он вообще очень рассеянный человек. Голова его вечно чем-то занята... А с тех пор как мы стали собираться в Америку, он и вовсе голову потерял. Так говорит мама. Одна штанина у него задрана, чулок опущен. Галстук чуть ли не на спине. И каждый раз, когда входит к нам, он обязательно стучается лбом о перекладину. Мать твердит ему одно и то же:

— Ты же сам видишь, как тебя вытянуло. Значит, надо немного нагнуться.

— Он же близорукий! — оправдывает своего товарища мой брат Эля, и они оба отправляются, чтобы покончить с нашей половиной дома. Надо расписаться. Мы уже давно продали нашу половину. Купил ее портной Зиля. Но легко сказать — купил. Не так-то просто портной покупает дом! Нудный человек этот портной Зиля! Сначала он один приходил трижды в день осматривать нашу квартиру. Обнюхивал стены, ощупывал трубу, лазил на чердак, осматривал крышу. Затем он привел свою жену. Ее зовут Мени. Стоит мне только взглянуть на нее, как меня начинает смех разбирать. Теленка нашей соседки тоже звали Мени. Оба «Мени» на одно лицо. У теленка была белая морда с круглыми глазами, и у жены портного — тоже... Потом Зиля стал приводить знатоков — осматривать квартиру. Главным образом — портных. Каждый из них отыскивал в нашем доме какой-нибудь недостаток. Наконец решено было привести отца Пини, Герш-Лейба-механика. Герш-Лейб-механик — знаток по части домов. Он честный человек. На него можно положиться. Он осмотрел нашу половину дома со всех сторон. Потом он закинул голову, сдвинул шапку на затылок, почесал под бородой и сказал:

— Этот дом может простоять, без преувеличения, лет сто, если не больше!

— Конечно! — перебил один из приглашенных портным Зилей знатоков. — Стоит его только пересыпать кирпичом, подпереть парочкой крепких бревен, смаст-рячить четыре новые стены и присобачить железную крышу, — тогда он может стоять и стоять, с божьего соизволения, до самого пришествия мессии!

Если бы Герш-Лейба-механика выругали, помянув родителей, или, скажем, окатили кипятком, он и то, кажется, не мог бы сильнее вспылить. Он хотел знать только одно: как это у паршивого портняжки, у ворюги и прощелыги, хватает наглости разговаривать с ним, с Герш-Лейбом-механиком, в таком тоне, такими словами, на таком наречии и таким языком?!

Я зря порадовался: думал, вот-вот начнется потасовка. А тут вмешались люди (везде и всюду, откуда ни возьмись, вырастают «люди»!), их разняли, помирили и начали торговаться. Сошлись в цене, послали за бутылкой водки и sprysнули сделку. На нас со всех сторон посыпались пожелания счастливого пути, благополучного прибытия, успеха в делах, больших заработков и счастливого возвращения...

— Полегче! Из Америки не так-то скоро возвращаются! — говорит мой брат Эля.

Завязался разговор об Америке. Герш-Лейб-механик даже не сомневался, что мы вернемся обратно: дай ему бог такой кусок золота... Если бы не призыв, говорит он, ни за что не позволил бы своему Пине ехать в Америку. Америка, говорит он, это — фи! Портной Зиля просит его извинить и спрашивает: чем же это Америка — «фи»? А тем, отвечает Герш-Лейб, что Америка — паскудная страна! Тогда Зиля снова просит не обижаться на него и объяснить: откуда Герш-Лейб, собственно, знает, что Америка — паскудная страна? Герш-Лейб отвечает, что до этого он дошел своим умом. Зиля просит объяснить это и ему. Тогда Герш-Лейб начинает мямлить и доказывать. Но слово со словом не клеится, потому что он уже слегка под мухой. Да и все уже навеселе. Все чувствуют себя прекрасно. Я тоже. И только мама поминутно прячет лицо в передник и вытирает слезы. Мой брат Эля смотрит на нее и говорит тихо:

— Разбойница! Не жалко тебе глаз! Ты губишь нас!..

4

Теперь началась новая история — прощание. Мы ходим из дома в дом прощаться. Перебывали уже у всех наших родственников, соседей, знакомых. У нашего свата устроили обед, созвали всю родню, подали пиво к столу. Меня усадили отдельно с сест-

ренкой моей золовки. Ее зовут Алта. Я уже как-то рассказывал о ней. Она старше меня на год и носит две косички, заплетенные бубликом. Когда-то мне ее сватали. С тех пор всегда, когда мы вместе, нас называют «жених и невеста». Все же мы не стесняемся разговаривать друг с другом. Она спрашивает, буду ли я скучать по ней. Ну конечно, я буду скучать! Затем она спрашивает, буду ли я писать ей письма из Америки. Разумеется, буду!

— Как же ты будешь писать? Ведь ты не умеешь!

— Подумаешь, большое дело в Америке научиться писать? — говорю я, заложив руки в карманы.

Алта смотрит на меня и улыбается. Я знаю, почему она улыбается. Она крепится. Она завидует тому, что я еду, а она нет! Мне все завидуют. Даже сынишка богача Иоси, Генех-кривоглазый, и тот, если бы мог, утопил бы меня в ложке воды! Он останавливает меня и подмигивает своим кривым глазом:

— Слышь, ты! Ты едешь в Америку?

— Да! Я еду в Америку.

— Что ты там будешь делать? Побираться?

Счастье его, что при этом не было моего брата Эли. Он бы показал ему, что значит «побираться»! Но я не хочу затевать историй с таким лоботрясом. Я только показываю ему язык и удираю к соседке Песе — попрощаться с ее оравой. Орава порядочная — я уже однажды рассказывал о ней. Восемь душ — один к одному. Все меня окружают, расспрашивают, доволен ли я, что еду в Америку. Тоже вопрос! Все они, конечно, здорово завидуют мне. Но больше всех завидует мне Гершл, тот, которого прозвали Вашти за то, что у него желвак на лбу. Он с меня глаз не сводит. Вздыхает и говорит: «Ох, и повидает же ты белый свет!»

Да! Повидаю! Но как дожидаться этого!..

5

Подкатил уже Лейзер со своими «орлами». Тройка огненных коней! На месте не стоят. То переминаются с ноги на ногу, топают, то фыркают и брызгают слюной прямо мне в лицо. Не знаю, что делать раньше: то ли на лошадей смотреть, то ли помогать узлы таскать. Впрочем, я могу делать и то и другое:

я стою возле лошадей и смотрю, как таскают узлы и подушки. Полон воз узлов и подушек. Целая гора подушек и перин. Пора уже усаживаться и ехать. Нам предстоит ехать сорок пять верст до железной дороги. Все уже на месте. Я, мой брат Эля, моя золовка Броха, наш друг Пиня, его жена Тайбл, вся их родня: отец Пини — Герш-Лейб-механик, часовщик Шнеер, тесть и теща Пини, мельник с мельничихой, дочь тети Крейны с птичьей физиономией. Даже старый дедушка, реб Геся, и тот пришел, чтобы сказать напутственное слово своему внуку Пине, как он должен вести себя в Америке. Из нашей родни был только пекарь Иойна со своими сыновьями. Жаль, что я до сих пор не познакомил вас с ними. Сейчас уже не время: уезжаем в Америку. Все суетятся, смотрят на нас, советуют нам остерегаться воров.

— В Америке нет никаких воров! — говорит мой брат Эля и щупает карман, который мать пришила ему в таком месте, что ни одному вору во всем мире и в голову не могло бы прийти, что там может быть карман. Там лежат все деньги, которые мы получили за нашу половину дома. Видно, там порядочная сумма, потому что все спрашивают, хорошо ли припрятаны деньги.

— Хорошо! Хорошо! Не беспокойтесь! — говорит мой брат Эля.

Ему уже попросту надоело перед каждым отчитываться в этих деньгах. Все говорят, что пора прощаться. Приготовились. Хвать — нет мамы! Где мама? Никто не знает. Мой брат Эля вне себя. Наш друг Пиня уже окончательно потерял свой галстук. Лейзер торопит. Он говорит, что мы можем опоздать к поезду.

Тише! Вон идет мама. Лицо у нее красное. Глаза распухли. Мой брат Эля обрушивается на нее:

— Что с тобой? Где ты была?

— На кладбище. С папой прощалась...

Брат отворачивается. Все останавливаются в безмолвии. С тех пор как мы собираемся в Америку, я впервые вспомнил об отце. Щемит сердце. Я думаю: «Все уезжают в Америку, а папа, бедный, остается здесь, на кладбище, один-одинешенек...»

Но долго раздумывать мне не дают. На меня прикрикивают, велят лезть в телегу. Но как я могу взобраться на такую гору подушек и перин? Есть, правда,

выход: Лейзер подставляет мне свои широкие плечи. Внезапно начинается целование, плач, рыдание. Хуже, чем в тишебов. Больше всех плачет мама. Она бросается на шею к нашей соседке Песе и говорит: «Вы были мне сестрой, даже лучше сестры!..» Песя плачет навзрыд, только ее полный подбородок трясется, а по жирным лоснящимся щекам катятся крупные, как горошины, слезы. Все уже расцеловались, кроме Пини. Смотреть, как Пиня целуется, — не надо никакого театра. По близорукости он никак не может попасть куда следует. Либо целует в бороду, либо в кончик носа, либо стучается лбом в лоб. К тому же у него манера, когда он ходит, цепляться за собственные ноги. Уверяю вас, что от Пини можно умереть со смеху.

Слава тебе господи — все уже в телеге. Вернее сказать, на телеге. На самом верху, на подушках и среди подушек, сидят мама, Броха и Тайбл. По другую сторону — мой брат Эля и наш товарищ Пиня. Я с Лейзером — на облучке. Мама, правда, хочет, чтобы я сидел возле нее, но мой брат Эля говорит, что на облучке мне будет лучше. Конечно, лучше! На облучке я вижу перед собою весь мир и весь мир видит меня! Лейзер берется за свой кнут. Прощание продолжается. Женщины плачут.

— Будьте счастливы!

— Счастливого пути!

— Пишите о своем здоровье!

— Будьте счастливы!

— Не забывайте нас!

— Пишите каждую неделю! Ради бога — каждую неделю!

— Кланяйтесь Мойше, и Басе, и Мееру, и Злате, и Хане-Перл, и Соре-Рохл с детьми!..

— Сердечно! Будьте здоровы! Будьте здоровы!

Так кричим мы все, и — я готов поклясться, что мы уже едем!

Лейзер хорошенько вытянул кнутом своих «орлов». Одного угостил сверх того кнутовищем. Колеса катятся. Мы качаемся и подпрыгиваем. Я подскакиваю на облучке и чуть не скатываюсь вниз от радости.

Щекочет в горле. Петь хочется. Едем, едем, едем в Америку!

Ехать по железной дороге — сплошное удовольствие! Лошадьми тоже неплохо, но трясет так, что потом бока болят нестерпимо. Кони Лейзера хоть и летят как орлы, однако мы порядком тащились, покуда прибыли на станцию. А когда прибыли, не могли вылезть. Мне было легче всех. Ведь я с Лейзером сидел на облучке. Правда, было жестко, все кости ныли, но зато спрыгнуть можно было за одну минуту. А вот они прыгать уже не могли. Вы знаете кто: мой брат Эля, моя золовка Броха, наш друг Пиня со своей женой Тайбл и моя мама. Хуже всех пришлось женщинам. Они где сидели, там и застряли! Пришлось сначала сбросить все узлы и всю постель и лишь потом вытаскивать наших женщин поодиночке. Все это сделал Лейзер. Он хотя и сердитый и проклинает всех и вся на чем свет стоит, но человек порядочный и извозчик честный. Жаль, что он оставил нас с узлами на станции, а сам пошел искать обратных пассажиров. Без него мы остались одни, словно среди моря. Во-первых, нам причинил немало огорчений служитель на станции. Он цеплялся к нам за то, что у нас много узлов, и не столько из-за узлов, сколько из-за постели. Дело ему большое, что мы везем много подушек! Мама пыталась говорить с ним по-хорошему, объяснила, что мы едем в Америку. А он расвирепел и послал нас в такое место, что даже стыдно сказать.

— Надо с ним поладить, дать ему сколько-нибудь... — говорит мой брат Эля нашему другу Пине.

Пиня — наш командир, голова. Он хорошо говорит по-русски. Беда только, что он уж чересчур горяч. Мой брат Эля тоже порядочная заноза, но он не так горячится, как Пиня. Тот немедленно вспыхивает и начинает ругаться. Он подошел к служителю и заговорил с ним по-русски. Передаю вам слово в слово его русскую речь:

— Слухай-но, чоловіку! Черт тобі не взяв, як ми поехали в Америку с множественное число подушки и подушечки, которые мы тобі дал на водку, и молчи, свинья!

Служитель, конечно, не остался в долгу. Он обозвал

его по-всячески: «жид-халамейз», «собачья морда», «свиное ухо», «поганая вера»...

Мы боялись скандала, полиции. Мама уже заламывала руки, плакала и говорила Пине:

— Кто тебя просил язык распускать, хвастать своим умением?

— Не пугайтесь! Возьмет полтинник и помирится.

И действительно. Помирились. Пиня не переставал сыпать по-русски. А служитель, не переставая ругаться, перетаскал все узлы и все подушки в большое помещение с высокими окнами, которое называется «вокзал». Но тут история только еще начинается. В чем дело? Служитель говорит, что нас не пустят в вагон с таким количеством подушек и тряпья (это он, видно, имеет в виду одеяла: немножко порвана подкладка, вата торчит — а для него это уже тряпье!). Решено пойти к начальнику. Кому идти? Конечно, Пине! И вот Пиня вместе со служителем отправляется к начальнику. Я иду следом за ними. С начальником Пиня объясняется совсем по-другому: он уже не так сердится, что-то говорит и размахивает руками. Произносит какие-то странные слова, которых я никогда не слыхал: «Колумбус», «Цивилизация», «Александр фон Гумбольдт», «Математика». Остальные слова я уже забыл. Начальник его слушал, поглядывал и молчал. Пиня, видно, здорово ему задал! Однако не помогло и это. Пришлось всю постель сдать в багаж и получить квитанцию. Мама была вне себя: на чем же мы будем спать?

2

Мама зря беспокоилась: на чем мы будем спать? Какой там сон! Было хотя бы где сидеть. Как назло, в вагоне до того тесно, что задохнуться можно. Кроме нас, едет множество пассажиров — евреев и русских, — и все дерутся за скамейки. Из-за нашей постели мы опоздали, все лучшие места были уже заняты. Кое-как поместили наших женщин с узлами на полу. Маму — в одном конце вагона, Броху и Тайбл — в другом. Когда они хотят поговорить, им приходится кричать на весь вагон. А пассажиры смеются над ними. Мой брат Эля и наш друг Пиня точно повисли в воздухе — ни туда ни сюда. Пиня слепой, он поминутно стучается обо что-нибудь лбом. А я?

Обо мне не беспокойтесь. Мне хорошо. Замечательно! Правда, жмут меня со всех сторон, но зато я стою у окна. И то, что я вижу, вы, конечно, никогда не видали. У меня перед глазами пробегают дома, версты, деревья, люди, поля, леса — описать это невозможно! А как мчится поезд! Как стучат колеса! Как тарахтит! Как свистит! Как визжит! Мама боится, чтоб я не выпал в окно, она поминутно кричит мне: «Мотл! Мотл!..» А какой-то барин в синих очках ее передразнивает и повторяет следом за ней: «Мотл! Мотл!»

Пассажиры смеются. Евреи притворяются, будто ничего не слышат. А мама и вовсе не обращает на них внимания и не переставая кричит: «Мотл! Мотл!» Что такое? Она хочет, чтобы я закусил. У нас с собою много всякого добра: редька, лук, чеснок, зеленые огурчики и крутые яйца — на каждого по одному яйцу. Давно уже еда не доставляла мне такого удовольствия. Правда, помешал нашей трапезе сам Пиня. Он решил заступиться за евреев. Ему досадно, что пассажиры смеются над тем, что мы едим лук и чеснок. Он вытягивается во весь рост и обращается к тому барину, что в синих очках, на своем «русском» языке:

— А как вы кушаете, свинья?

Это, как видно, задело наших попутчиков. Один из них как встанет да как закатит нашему Пине оплеуху — даже зазвенело! Пиня не из тех, что остаются в долгу. Он хотел дать две оплеухи сдачи. Но сослепу попал в другого... Хорошо, что в эту минуту вошел кондуктор с обер-кондуктором. Шум, суматоха... Все говорят, евреи жалуются на русских. Одному отдавили палец на ноге чемоданом, у другого сорвали шапку и выкинули за окошко. Русские кричат: «Вранье! Клевета!» А евреи ссылаются на свидетелей. Один из этих свидетелей — священник. Священник врать не станет. Пассажиры говорят, что евреи подкупили священника. Тот произносит длинную проповедь. Пока суд да дело, промелькнуло несколько станций. На каждой станции из вагона уходят пассажиры. С каждым разом становится свободнее. Наши женщины сидят уже, как барыни, на скамьях, со своими узлами. Мой брат Эля и наш друг Пиня ожили: у них лучшие места. Но только сейчас замечает Тайбл, что у ее мужа вздулась щека, что на ней видны следы пальцев. Тайбл вне себя от огорчения, ей жаль мужа. А Пиня клянется, что ничего не чувствует. Только щеку саднит. Пройдет!

Он не любит говорить о таких вещах. Он заводит беседу с оставшимися пассажирами, спрашивает, куда они едут. Оказывается, многие из них едут в Америку. Нас это очень радует.

— Помилуйте, чего же вы до сих пор молчали? Ведь мы тоже в Америку едем!

Это говорит Пиня, и мы со всеми знакомимся, узнаем, кто, откуда и к кому едет.

— Вы — в Нью-Йорк, а мы — в Филадельфию!

— А что это за Филадельфия?

— Тоже город, как и Нью-Йорк.

— Ну, положим! Филадельфия в сравнении с Нью-Йорком то же, что Эйшишки против Вильно, Деражня против Одессы, Отвоцк против Варшавы, Семеновка против Петербурга, Козелец против Харькова...

— Эге, да вы, видать, весь свет объездили...

— Иметь бы мне столько!.. Хотите, я назову вам все города, в которых побывал...

— Оставим это до другого раза. Скажите-ка лучше, как мне быть с границей?

— Будете делать то же, что и мы, что и все делают...

Попутчики усаживаются друг к другу поближе, и начинается разговор о «нарушении границы». Я никак не пойму, что значит «нарушить границу». Спросить некого. Мама — женщина. А что может знать женщина? Мой брат Эля не любит, когда ему морочат голову. Мальчик, вроде меня, говорит он, не должен вмешиваться в дела взрослых. Пиня занят. Он разговаривает. Все говорят, что лучше всего нарушать границу в Новоселице. А другой уверяет, что самое надежное — это Броды. Но тут вмешивается третий и заявляет, что Унгены — тоже неплохо. Его поднимают на смех: «Унгены — тоже мне граница! Румыния — тоже страна! Нехай их черт возьмет с такой страной и с такой границей!..»

Тише! Мы уже на границе!

3

«Граница»! Я думал — она с рогами. Оказывается, ничего особенного: те же дома, те же люди, что и у нас. Даже рынок с лавками и рундуками — все как у нас. Моя золовка Броха и жена нашего друга

Пини — Тайбл пошли на рынок за покупками. Я хотел пойти с ними, но мама не отпускает меня от себя ни на минуту: боится, как бы меня не украли у самой границы. Брата Эли и Пини нет. Они ходят с какими-то чужими людьми, которых я не знаю. Мама говорит, что это — агенты. Агенты будут с нами нарушать границу. Один из них выглядит настоящим жуликом: зеленый кафтан, белый зонтик, вороватые глаза. Второй, видно, порядочный человек — в шляпе. И еще какая-то женщина толчется тут же. Женщина, видать, очень набожная и честная. Она носит парик и все время разговаривает с богом. Она спрашивает у мамы: где она будет молиться над зажженными свечами, если мы здесь проведем субботу? Мама отвечает, что на субботу мы здесь не останемся. В субботу, говорит она, мы уже, с божьей помощью, будем по ту сторону. Женщина делает смиренное лицо и произносит: «Амины! Дай-то бог!» Однако она боится, что нас за нос водят. Агенты, с которыми мы сговариваемся, просто воры. Они выманят у нас деньги, говорит она, и заведут невесть куда. Если мы хотим тайком перейти границу, то это надо сделать при ее помощи — тогда все обойдется прекрасно и благополучно!.. Вот как? Стало быть, и она занимается тем же? Зачем же она носит парик и разговаривает с богом?

Но вот вернулись мой брат Эля и наш друг Пиня. Оба очень расстроены. Видно, поссорились. Один упрекает другого в том, что по его милости нам придется оставаться здесь на субботу. Но это бы еще с полгоря — мы узнаем, что оба агента хвастают, что донесут на нас как на нарушителей границы. Покуда что — мама уже плачет. Мой брат Эля сердится на нее за то, что она губит свои глаза. Из-за ее глаз, говорит он, нас всех в Америку не пустят! Эля и Пиня больше не разговаривают с агентами. Они заявляют: «Кончено! Не поедем в Америку и не будем нарушать границу!» У меня сердце обрывается. Я думаю, что это всерьез. Но оказывается, что это только для отвода глаз Пиня придумал! Нарочно так говорят, чтобы отвязаться от агентов. Мы начали сговариваться с женщиной, что в парике. Она взяла задаток и сказала, чтобы мы были готовы сегодня к полуночи. Ночи сейчас темные. Конец месяца. Самое лучшее время нарушать границу. Хотел бы я дождаться, увидеть наконец, что это такое — «граница» и как это мы будем ее «нарушать».

Весь день возились с вещами. Надо было все упаковать и сдать этой женщине. Вещи она переправит потом. Главное для нее, говорит она, — это души живые, люди! И наказывает, как нам вести себя. Когда настанет полночь, мы должны выйти за город. Там, говорит она, есть холм. Холм этот надо миновать, свернуть влево и идти, идти, пока не дойдем до второго холма. От этого холма надо повернуть направо и идти вперед и вперед, до кабака. В кабак должен войти один из нас, не все. Там, говорит, мы найдем двух мужиков, пьющих за столом водку. К ним надо подойти и сказать: «Хаимова», — этого достаточно. Как только они услышат слово «Хаимова» (это ее имя), то встанут и пойдут с нами до рощи. В роще нас будут ждать еще четверо мужиков. Лесом, говорит она, мы должны идти молча, без звука, чтобы, упаси бог, не услышали и не выстрелили. Там, говорит она, на каждом шагу стоит солдат с ружьем и стреляет... Из рощи мужики выведут нас на дорогу, под гору, и тогда мы уже на другой стороне...

Мне вся эта история с холмами, кабаком и рощей очень по душе. Мама побаивается. Бреха и Тайбл тоже. Мы подтруниваем над ними. Известное дело — женщины даже кошки боятся!..

Еле дождалась ночи. Помолились, поужинали, подождали, пока совсем стемнеет. Ровно в двенадцать часов мы все, вшестером, отправились в путь. Впереди шли мы, мужчины. За нами, как полагается, женщины. Все было так, как предсказала та женщина. За городом мы увидели холм, свернули от него налево и шли, шли, пока не увидели второй холм. От этого холма мы, как нам было сказано, пошли направо и добрались до кабака. В кабак вошел один из нас. Кто? Разумеется, Пиня. И вот ждем полчаса, час, два — нету Пини! Женщины говорят — надо зайти посмотреть, куда девался Пиня. Кому идти? Моему брату Эле. Но мама не хочет.

— А вот я пойду! — заявляю я.

Но мама говорит, что она боится.

— Погодите-ка! Вот и Пиня.

— Где ты был так долго?

— В кабаке.

- Где мужики?
- Спят.
- Что ж ты их не разбудил?
- Откуда вы знаете, что я их не будил?
- Почему ты им не сказал «Хаимова»?
- Откуда вы знаете, что я не сказал?
- Ну?
- Ну и ну!
- Так ведь очень скверно!
- А кто говорит, что хорошо?..

5

Мой брат Эля — умница! Он советует пойти в кабак вдвоем и еще раз попытаться разбудить мужиков. И действительно, не прошло и получаса, глядим, идут с обоими мужиками. Те еще заспаны, под хмельком, отплевываются и ругаются страшно. Слово «черт» повторяется чуть ли не сто раз. Наши женщины, кажется мне, начинают трусить. Я это чувствую по вздохам, по стонам, по «господу богу», которого мама каждую минуту поминает потихоньку. Громко она боится. Мы не произносим ни звука. Идем, идем, но других, четверых мужиков не видим. Где же они?

Вдруг наши два мужика останавливаются и велят нам сказать, сколько у нас денег. Нас такой страх обуял, что мы ни слова вымолвить не можем. Тогда выступает мама и говорит, что денег у нас нет. «Врешь! — отвечают они. — У всех евреев деньги есть!» При этом они достают два длинных ножа, подносят их нам к лицу и говорят: «Не отдадите все, что у вас есть, зарежем!»

Все стоят молча и дрожат, как овечки. И тут мама говорит моему брату Эле, чтобы он развязал карман и отдал деньги (это то, что мы получили за нашу половину дома). Но в эту минуту моей золовке Брохе вздумалось упасть в обморок. Увидав, что Броха упала, мама подняла крик, а глядя на нее, закричала и Тайбл...

И вдруг — трах-тарарах!! Выстрел! Эхо разнеслось по всей роще. Мужики наши словно сквозь землю провалились. Броха очнулась. Мама одной рукой охватила меня, другой — моего брата Элю.

— Дети! Бежим! С нами бог!

Не знаю, откуда у нее взялись силы столько времени бежать? Мы поминутно цепляемся за деревья, падаем, встаем и бежим дальше. И каждый раз мама оборачивается и спрашивает тихо:

— Пиня, бежишь? Броха, бежишь? Тайбл, бежишь? Бегите, бегите! С нами бог!

Сколько времени мы так бежали, не могу вам сказать. Рошу мы давно уже миновали. Светать начинается. Дует прохладный ветерок. Но нам страшно жарко! И вот видим перед собой улицу, другую, белую церковь, огороды, дворы, домишки. Видно, это местечко, о котором нам пророчила та женщина. Но в таком случае мы уже «по ту сторону»! Встречаем еврея с такими пейсами, каких я в жизни не видывал. Кафтан на нем длинный, рваный, на шее зеленый шарф. Он ведет козу. Останавливаем его и здороваемся. Он оглядывает нас с головы до ног. Пиня затевает с ним разговор. Еврей с козой говорит как-то странно: как будто по-нашему, но только акает. Пиня спрашивает, далеко ли до границы. Тот смотрит на него с удивлением:

— До какой границы?

Интересная история! Оказывается, что мы уже давно на той стороне, далеко от границы.

— Чего же мы в таком случае бежим как сумасшедшие?

И всех нас одолевает смех. Женщины чуть не падают от хохота. И только мама поднимает руки кверху:

— Благодарю тебя, господи!

И раздражается плачем.

XIV. МЫ УЖЕ В БРОДАХ

1

Знаете, куда нас занесло? Аж в Броды! Я полагаю, что мы уже недалеко от Америки. Красивый город Броды! И улицы и люди здесь совсем не такие, как у нас. Даже евреи здесь какие-то другие. То есть вообще-то они такие же самые, даже больше того, пейсы у них длиннее, чем у наших, кафтаны чуть что по земле не волочатся, носят какие-то странные шапочки, пояса, ботинки и чулки, а женщины — пари-

ки. Но язык у них! Что за язык! Это называется «немецкий». Совсем не то, что у нас. То есть слова такие же, как и у нас, но все на «а». Например: мы говорим «вос», а они — «вас»¹, мы говорим «дос», а они — «дас»², у нас — «Меер», у них — «Маер». А говорят! Поют, будто все время Пятикнижие читают. Однако мы тут же уловили эту манеру. Первым был наш друг Пиня. Он стал говорить по-немецки чуть ли не с первого дня по приезде. Ему это было легче, потому что немецкий язык он учил еще дома. Мой брат Эля говорит, что он хоть и не изучал немецкого, однако понимает не хуже Пини. Я прислушиваюсь к немецкому говору и тоже учусь. В чужой стране надо знать язык. Так уверяет Пиня. Его жена Тайбл уже разговаривает наполовину по-немецки, наполовину по-еврейски. Моя золовка Броха тоже не прочь была бы говорить по-немецки, но не может, бедная. Голова у нее непонятливая! А вот мама и слышать не хочет о немецком языке. Она заявляет, что будет говорить так, как говорила дома. Ломать язык из-за немцев она не обязана. Мама вообще на них сердита. Она думала, что немцы — честные люди. А они, оказывается, не ахти какие праведники. Намедни она была на рынке, а там ее обвесили: она просила свесить фунт, а ей дали бог знает сколько...

Так рассказывает мама и приходит к заключению, что и среди немцев, видно, встречаются воры. Услыхала это моя золовка Броха, загорелась и стала размахивать руками:

— Встречаются, говорите вы? Вор на воре! Один другого чище! Их остерегаться надо — здесь еще хуже, чем у нас! У нас, по крайней мере, знаешь, кто вор...

— У нас, глупенькая, тот, кто крадет, сам знает, что он вор.

И мама рассказывает о Химке. Была у нас когда-то такая работница, Химка. Отец, царство ему небесное, был еще жив в ту пору. Химка была очень славная девушка, только немножко на руку не чиста. И вот, когда все уходили из дому, она, бывало, не хотела оставаться одна. Самой себя боялась, как бы она чего-нибудь не утащила...

¹ Что (нем.).

² Это (нем.).

У немцев все по-иному. Даже деньги у них не как у нас. Тут и не знают, что такое копейка, гривенник, двугривенный. Тут знают только крейцеры. Здесь все продается на крейцеры. За наш рубль дают целую грудку этих крейцеров. Мама находит, что это не деньги — пуговицы. Мой брат Эля говорит, что они расползаются между пальцев, тают, как снег. Каждый день он забирается в уголок, вспарывает карман, достает рубль и опять зашивает. Назавтра снова вспарывает карман, достает рубль и зашивает. И так каждый день. Между тем дни уходят, а наших узлов и постели все еще нет. Женщина, которая помогла нам перебраться через границу, видно, здорово околпачила нас. Мало того что на нас в лесу напали ее же люди, мы еще, пожалуй, и без вещей останемся. Мама не переставая ломает руки и оплакивает наши вещи. «Постель! Подушки! Как мы двинемся в Америку без постели, без подушек?..» Пиня каждый раз придумывает новый план. Он подаст «заявление» железной дороге, обратится с «прошением» к начальнику границы... Он проберется туда, к той женщине, и устроит ей скандал. Он спросит у нее: «Как это понимать?!» Однако все это ерунда! Не помогут ни «заявления», ни «прошения». Пробраться обратно ему Тайбл не позволит, хоть дай ей мешок золота. Она так и заявила. Ей еще памятен наш переход через границу. Мы все его хорошо помним и рассказываем всякому и каждому, как та женщина дала нам своих людей, чтобы переправить нас, как они нас водили, завели в лес и хотели зарезать. Счастье, что у моей золовки Брохи манера падать в обморок и что мама подняла крик. Услышали солдаты и начали стрелять. Тогда мужики разбежались и мы спаслись. Так рассказывает мама. Мой брат Эля рассказывает ту же историю, но немного иначе. Его перебивает Броха и рассказывает опять-таки то же самое, но по-другому. Тогда ее перебивает Тайбл и говорит, что Броха не может помнить всего, потому что она упала в обморок. И Тайбл начинает рассказывать сызнова, но тут вмешивается Пиня и говорит, что она ничего не знает. Вот сейчас он расскажет все с самого начала и до конца. Каждый день и каждому в отдельности мы рассказываем нашу историю. Люди слушают, покачивают головами, причмокивают и говорят, что мы счастливы, что мы должны благодарить судьбу!

По эту сторону границы нам хорошо, лучше, чем дома. Мы ничего не делаем, палец о палец не ударяем. Либо сидим в гостинице, либо ходим гулять, осматривать Броды. Красивый город! Не знаю, что против него имеет моя золовка Броха. Каждый день она отыскивает новый недостаток. То ей не нравится, что грязно. То, говорит она, воняет хуже, чем у нас. Однажды ночью она проснулась с криком: на нее напали! Мы все соскочили с кроватей.

— Кто на тебя напал? Разбойники?

— Какие там разбойники! Клобы!..

Утром рассказываем хозяину гостиницы, а тот даже не знает, с чем это едят. Пиня объясняет ему по-немецки. Но хозяин говорит, что у них даже не знают, что это такое. У них, в немецкой стране, этого нет. Это мы, говорит он, верно, привезли с собою из дому... Ох и сердилась же на него Броха! Она, говорит, терпеть не может этого человека! Я не знаю за что. Он, кажется, очень порядочный. При разговоре он держит рот немного на сторону и улыбается. Кроме того, он любит давать советы: куда пойти, у кого покупать, у кого — нет. А когда мы отправляемся покупать что-нибудь, он идет с нами. Покупаем мы главным образом платье. Начали понемногу одеваться. Наш друг Пиня говорит, что неприлично ходить оборванцами. В чужом городе, говорит он, надо выглядеть по-человечески. Особенно за границей, где все чуть ли не даром. Ведь это же всему миру известно! Прежде всего он купил себе шляпу, какую носят немцы, короткий — по колено — пиджак и новый галстук. Видеть Пиню в немецком платье — мочи нет! Долговязый, тощий, близорукий, ходит вприпрыжку. А какой вид у нас! Мама говорит, что Пиня выглядит как цыган или как шарманщик. А Пиня говорит: он не знает, что лучше — цыган, шарманщик или оборванец? Это он на нас намекает. Мой брат Эля говорит, что если бы он захотел, он тоже мог бы вырядиться немцем. Невелик фокус — потратить деньги, растратить рубли. А рубли надо приберечь для Америки... Но Пиня отвечает, что в Америке деньги не нужны. Там, говорит он, мы сами — деньги! Он так долго уговаривает нас, что мой брат Эля покупает себе шляпу и пиджак, и мне тоже — шапочку и куртку. И вот мы втроем ходим по

улицам и говорим по-немецки. Я уверен, что все принимают нас за немцев. Беда только, что следом за нами ходят женщины, то есть мама, золовка Броха и Тайбл. Они ни на шаг не отстают от нас. Мама боится, как бы я не затерялся среди немцев, не заблудился, а Броха и Тайбл просто тащатся за мужьями, как телята. Чего они боятся, я не знаю. А так как мы все время бродим вшестером, на нас глядят во все глаза. Экую невидаль нашли!

— Самые глупые люди на свете — это немцы! — говорит мой брат Эля. — Что ни скажешь, всему верят на слово.

— Только денег никому не доверяют. Деньги для них дороже всего. Душу за крейцер отдадут. За крону отца продадут, а за гульден — самого бога!

Так говорит Броха, а Тайбл ее поддерживает. Все три женщины, как я уже говорил вам, что-то недовольны немцами. Не знаю почему. А мне они нравятся. Если бы не Америка, я остался бы здесь навсегда. Где еще такие дома, как здесь? А люди! Такие добрые люди! Все продают! Даже коровы здесь не такие, как у нас; может быть, они и не умнее наших, но вид у них солиднее. Тут все выглядит по-иному. А поговорите с женщинами, они скажут, что у нас лучше. Ничего им здесь не нравится, даже гостиница. И не столько гостиница, сколько хозяева. Они шкуру дерут, говорит Броха. За стакан кипятку деньги требуют, щепотки соли даром не дадут. Если мы вовремя не уедем отсюда, нам придется по миру ходить.

Так говорит моя золовка Броха. Но мало ли что она может сказать? Вот она о моем брате Эле говорит, что он — баба! А о нашем друге Пине и вовсе бог знает что говорит. Другая на месте Тайбл показала бы ей где раки зимуют, но Тайбл, как уверяет мама, человек без желчи. Она не перечит. Да и никто не перечит. Я тоже. Меня Броха не выносит. Называет меня «Поскребыш» или «Мотл-мордастый». Она говорит, что за время нашей поездки я отъел себе пару здоровенных щек. Меня это ничуть не трогает. Но мама не может вытерпеть — зачем она говорит о моих щеках? Мама начинает плакать. А мой брат Эля не любит, когда мама плачет. Он говорит, что она портит себе глаза, а с больными глазами не пускают в Америку.

Могу сообщить вам новость. Мы уже имеем весточку о наших вещах. Женщину, которая переправляла нас через границу, посадили в тюрьму. Пиня очень доволен. Он говорит, что поделом ей. «Позволь, а мои вещи?» — спрашивает мама. «А мои?» — спрашивает, в свою очередь, Пиня. Теперь мы уже знаем наверное, что наши вещи пропали. Что же делать? Надо ехать дальше. Другого выхода нет. Мой брат Эля совсем голову потерял. Мама его успокаивает:

— А что бы мы стали делать, глупенький, если бы у нас отобрали деньги, которые мы выручили за нашу половину дома, да еще бы зарезали?

Наш друг Пиня считает, что мама права. Еврей, по его мнению, должен всегда твердить: «Все к лучшему!» Броха язвит: недаром она своего мужа прозвала «бабой».

В общем, мы собираемся в путь. Расспрашиваем, как ехать в Америку. Люди выслушивают и дают советы — каждый по-своему. Один говорит — через Париж. Другой — через Лондон. Третий утверждает, что через Антверпен ближе. Нам так закрутили голову, что мы уже и сами не знаем как быть.

Парижа мама побаивается: там, говорят, чересчур шумно. Антверпен не нравится Брохе. Странное какое-то название — она такого и не слыхивала. Остается, таким образом, Лондон. Пиня говорит, что Лондон лучше всего. Он много раз читал в географии (это книга такая), что Лондон город хоть куда. Кроме того, это родина Мойше Монтефиоре *, да и Ротшильд, говорит он, тоже из Лондона.

— Ротшильд — ведь он из Парижа! — отвечает мой брат Эля.

Но уж это всегда так: что бы один ни говорил, другой скажет наоборот. Стоит одному сказать — день, другой скажет — ночь. Они, правда, не ссорятся, но спорят. И могут спорить часами, пока их не разнимут. Недавно заспорили они из-за немецкого слова «хрен». Один утверждал, что «хрен» по-немецки — «хран», второй настаивал на том, что «хрен» по-немецки будет «хрон». Часа два подряд ругались и, наконец, решили купить корешок хрена и показать его хозяину гостиницы. Принесли хрен и обратились к нему:

— Господин немец! У нас к вам просьба. Но только

скажите нам всю правду. Как на вашем языке называется вот этот фрукт: «хран» или «хрон»?

А хозяин и говорит:

— На нашем немецком языке этот фрукт называется не «хран» и не «хрон», а «меритих».

Сумасшествие! Ведь это же придумать надо... Немец — он вообще перекошник порядочный. Сказанет иной раз словечко — только послушать! Недаром говорят — немчура!

5

Извините меня, разговорился о глупых немцах и об их сумасшедшем языке и совсем забыл о том, что мы едем в Америку. То есть не прямо в Америку — пока только в Лондон. И не прямо в Лондон, а во Львов. Там, во Львове, есть, говорят, комитет для эмигрантов. Авось он чем-нибудь нам поможет. Чем мы хуже других эмигрантов? Тем более что мы потерпели такой убыток — потеряли все наши узлы и постель. Мама уже готовится поговорить и поплакать перед комитетчиками. Мой брат Эля спрашивает ее:

— Только не плакать! Надо помнить о глазах. Без глаз Америка не впускает...

Так говорит мой брат Эля и идет расплачиваться с хозяином. Спустя несколько минут он возвращается бледный как смерть. В чем дело? Хозяин, говорит он, представил такой счет, что у него в глазах потемнело. За все надо платить. За подсвечники, которыми мы пользовались в субботу, он считает — за шесть подсвечников — шесть крейцеров. За молитву — четыре крейцера. Что за молитва? Оказывается, он, хозяин, читал в субботу вечером молитву, а мы слушали, — значит, с нас причитается четыре крейцера.

— Почему четыре? — спрашиваем мы.

— Хотите пять? Можно и пять! — отвечает он.

Затем он записывает в счет нечто такое, что называется «комиссион». Это что еще за напасть? А это, говорит он, ему причитается за то, что он ходил с нами покупать одежду.

Услышав это, моя золовка Броха всплеснула руками:

— Ну, свекровь, что я вам говорила? Разве эти немцы не хуже ночных разбойников в лесу? Разве наши

хулиганы не праведники в сравнении с ними? В Бродях мы, по-вашему? Мы — в Содоме!!!

Сравнение с хулиганами не так задело хозяина, как сравнение Бродов с Содомом. Он загорелся! Сказал, что погромы нам устраивают за дело. Он находит, что этого еще мало. Будь он русский «кайзер», он приказал бы вырезать нас — всех до единого!..

Я, кажется, говорил уже вам, что наш друг Пиня — человек горячий. Пока его не задевают, он может молчать и молчать. Но уж если кто обмолвится не угодным ему словом, тому несдобровать! Пиня вскочил, вытянулся во весь свой рост, подошел вплотную к хозяину и прокричал ему прямо в лицо:

— Немчура проклятая! Черт бы твоего батьку взял!

Правда, это дорого стоило нашему Пине. За «немчуру» хозяин отвесил ему пару таких пощечин, что искры посыпались. Но все это было здорово интересно. Все Броды сбежались поглазеть. В общем, было весело. Я люблю, когда весело.

В тот же день мы удрали во Львов.

XV. «КРАКОВ И ЛЬВОВ»

1

Львов, видите ли, это уже совсем не то, что Броды. Во-первых, сам по себе город — чистота, ширина, красота! Не нагладишься. То есть, конечно, есть и во Львове улицы такие же, как в Бродях, по которым и среди лета можно пройти только в глубоких галошах и заткнув нос. Зато посреди города имеется сад, в котором разрешается гулять всем, даже козам. Свободная страна! В субботу евреи разгуливают по всем улицам, и никто им и слова не скажет. А какие люди! Чистое золото! Мама говорит, что от Бродов до Львова — как от земли до неба. Мой брат Эля жалеет о том, что после границы первыми идут Броды, а за ними Львов. Следовало бы наоборот. Но Пиня ему растолковывает, что Львов потому-то и лучше, чем Броды, что он расположен дальше от границы и ближе к Америке.

— Ничего себе «ближе»! — отвечает Эля. — Где Львов, а где Америка!

Что касается городов, говорит Пиня, то Эля может еще у него поучиться, потому что он, Пиня, учил географию.

— Если ты учил географию,— отвечает на это Эля,— скажи мне, где находится комитет?

— Какой комитет?

— Эмигрантский!

— Сказал тоже! Какое это имеет отношение к географии?

— Кто знает географию, должен знать все!

Так говорит мой брат Эля, и мы расспрашиваем всех о комитете. Но никто этого не знает. Станный какой-то город.

— Знают, только сказать не хотят! — решает моя золовка Броха.

Ей ничего не нравится. Львов, по ее мнению, тоже нехорош: слишком широки улицы. «Беда — невеста чересчур хороша!» У жены нашего друга Пини, у Тайбл, другая претензия к Львову. А именно? Почему у нас, когда едят что-нибудь кислое, говорят: «Такая кислятина, что Львов и Краков увидишь!» Или, если закатят кому-нибудь оплеуху, говорят, что «он Краков и Львов увидал»?

Словом, беда с этими женщинами. На них не угодишь!..

2

Мы уже разузнали, где комитет. Это высокий дом с красной крышей. Прежде всего надо немного постоять на улице. То есть не немного, а порядочно. Потом отворяют двери. Надо подняться по лестнице. А когда поднимаешься наверх, встречаешь много людей. В большинстве это наши, русские. Их называют эмигрантами. Почти все они голодные и с грудными детьми на руках. А те, кто без грудных детей, тоже голодные. Им велят приходить завтра. А завтра снова велят прийти завтра. Моя мама познакомилась уже со многими женщинами. У каждой из них свое горе.

— Если сравнить их горести с моими,— говорит мама,— выходит, что я счастливая!

Многие из них бежали от погромов. То, что они рассказывают, страшно! Все едут в Америку, и всем не на что ехать. Многих отослали обратно. Одним предлагают работу. Других посылают в Краков. Там, говорят,

настоящий комитет. А здесь что же? Сами не знают. Велят приходить завтра, они и приходят. Где же комитет? Да вот он, комитет. А что это за комитет? Они понятия не имеют! Входит какой-то высокий дяденька с конопатым лицом и добрыми смеющимися глазами.

— Вот один из членов комитета. Он — доктор.

Доктор, с добрыми, улыбающимися глазами, усаживается на стул. К нему поминутно подходят эмигранты и о чем-то толкуют, размахивая руками. Доктор выслушивает и говорит, что он один. Он ничем помочь не может. Есть, говорит он, у нас комитет, состоящий из тридцати с лишним человек, но никто не хочет сюда приходить. Что же он один может сделать?

Но эмигранты знать ничего не хотят. Они здесь больше жить не могут. Они уже проели все, что имели. Пусть, говорят они, им дадут билеты до Америки либо отошлют обратно. Доктор твердит, что он может отослать их только в Краков, если им угодно. Там есть комитет — может быть, он им чем-нибудь поможет. Эмигранты выслушивают и заявляют, что, пока суд да дело, им и дня прожить не на что. Доктор достает кошелек и дарит им монету. Эмигранты смотрят на монету и уходят. Но приходят другие. Они заявляют, что валяются с ног.

— Чего же вы хотите? — спрашивает несчастный доктор.

— Мы есть хотим! — говорят эмигранты.

— Вот принесли мне завтрак, ешьте! — предлагает доктор, указывая на кофе с булочками, которые ему принесли.

Он предлагает серьезно и отдает свой завтрак. Что он один может поделать? Эмигранты благодарят и добавляют, что просят не для себя, а для детей.

— Ну, приведите сюда детей! — говорит доктор и обращается к нам: — А вы чего хотите?

Тогда выступает мама и начинает рассказывать все с начала: о том, что был у нее муж — кантор, что он долго болел. Потом он умер и оставил ее, вдову, с двумя детьми — одним постарше, а другим совсем еще младенцем (это обо мне). Старшего она женила, попал он было в денежный ящик... Да деньги уплыли, а

ящик остался... Тесть обанкротился, а сын должен призываться...

— Мама, куда ты заехала? — говорит мой брат Эля и начинает всю историю рассказывать сызнова, но по-другому: — Призываться не призывается, а мы едем, стало быть, в Америку. То есть я, и мама, и моя жена, и маленький братишка (это я), и вот этот молодой человек (он указывает на Пиню) тоже, стало быть, едет с нами. Надо было перебираться через границу. И вот мы, стало быть, приехали на границу. Но так как паспортов у нас нет, потому что оба мы должны призываться...

— Погоди-ка, я расскажу! — перебивает Пиня и, оттолкнув моего брата, начинает ту же историю, но только немного по-иному.

Хотя Эля мне брат, я все же должен признать, что Пиня говорит гораздо красивее его. Во-первых, у него нет этих «стало быть», как у моего брата. А во-вторых, он здорово говорит по-русски. У него много слов русских и вообще замечательно красивых слов. Многих из них я не понимаю, но они красивые. Вот как начал наш друг Пиня:

— Я хочу дать вам краткий обзор всего положения, тогда вы будете иметь точку зрения. Мы едем в Америку не из-за воинской повинности, а ради самостоятельности и цивилизации, потому что мы очень стеснительны не только в рассуждении прогресса, но и в смысле воздуха, как говорит Тургенев... А во-вторых, с тех пор как начался у нас еврейский вопрос с погромами, конституцией и тому подобное, как говорит Бокль в своей «Истории цивилизации»...

Эх, жалы! Тут только и начинались красивые слова. Пиня только было раскачался, собрался говорить и говорить... Но доктор оборвал его посередине, отхлебнул из стакана и обратился к нему с улыбкой: .

— Скажите, что вам нужно?

Тогда снова выступил мой брат Эля и сказал, обращаясь к Пине:

— Что у тебя за манера говорить ни к селу ни к городу?

Пиню это, видно, задело, он отошел в сторонку, зацепился за собственные ноги и ответил сердито:

— Ты лучше говоришь? Говори ты!

Брат Эля подошел к столу и стал рассказывать вкратце нашу историю.

— Приехали мы, стало быть, на границу. Приехали и начали, стало быть, с агентами разговаривать. А агенты, сами знаете, ужасные жулики. Начали они нас друг у друга отбивать, подкапываться, доносить, ябедничать... Тем временем подвернулась, стало быть, одна женщина, порядочная, честная, набожная, святая душа. Сговорилась она, стало быть, с нами о цене и взялась всех нас переправить, раньше нас, а потом вещи. И вот дала она нам, стало быть, двух мужиков, провожатых, стало быть...

— Ишь ты, как скоро! Скажи пожалуйста! У него уже до провожатых дошло...

Это не вытерпела моя золовка Броха, оттолкнула брата и стала сама рассказывать все ту же историю, но только по-своему: как эта женщина наказала нас идти до холма, оттуда свернуть направо и опять идти и идти до второго холма. От второго холма пойти влево и идти и идти до кабака. В кабак должен был войти один из нас, встретить там мужиков, пьющих водку. Мужикам надо было сказать только одно слово: «Хаймова», — тогда они поведут нас лесом... Счастье, что у нее манера падать в обморок...

— Знаете, что я вам скажу, дорогие мои женщины? — перебил доктор. — У меня тоже манера падать в обморок. Скажите коротко, что вам надо?

Тут снова выступила мама, и между ней и доктором произошел такой разговор:

Мама. Хотите вкратце? У нас украли вещи.

Доктор. Какие вещи?

Мама. Постель: две перины, четыре подушки большие, и еще две большие подушки, и три маленькие — думки.

Доктор. Это все?

Мама. И три одеяла, два старых, одно новое. И несколько платьев, и платок шелковый, и...

Доктор. Я не об этом. Других несчастий не случилось?

Мама. Какие еще несчастья нужны вам?

Доктор. Я спрашиваю, чего вам не хватает?

Мама. Постели.

Доктор. Это все?

Мама. Мало вам?

Доктор. А билеты у вас есть? Деньги есть?

Мама. Грех жаловаться. У нас есть шифскарты, есть на билеты.

Доктор. Так чего же вам еще нужно? И слава богу. Я вам завидую. Готов поменяться. Я не шучу, я это серьезно говорю. Возьмите себе мой завтрак, нате вам моих эмигрантов, мой комитет, а вы дайте мне ваши шифскарты и билеты — и я сегодня же уеду в Америку. Что я тут могу сделать, один, с такой уймой нищих, не взглянуть бы?

Доктор какой-то... мы и сами не знаем, какой, решили мы. В общем, нечего медлить. Эля говорит, жалко деньги расходовать. Поедем лучше в Краков. Многие эмигранты едут в Краков. Пусть нам кажется, что и мы — эмигранты.

— Побывали во Львове, надо и в Кракове побывать! — говорит Пиня.

— Чтоб по поговорке было: «Краков и Львов»? — спрашивает Тайбл.

Итак, до свиданья! Едем в Краков.

XVI. С ЭМИГРАНТАМИ

1

Если хотите ехать в Америку, езжайте только с эмигрантами. С ними хорошо. Приезжаете в город — вам незачем искать гостиницу. Она приготовлена для вас заранее. На то и комитет устроен. Он следит за тем, чтобы все для вас было приготовлено. В первую ночь по приезде в Краков нас загнали в какое-то помещение, не то камеру, не то сарай. Там мы пробыли до утра. Утром к нам пришли от комитета и переписали всех по имени. Мама, правда, не хотела называть наших имен — боялась призыва. Мало ли что может случиться? Но эмигранты подняли ее на смех: какое отношение имеет немец к русскому призыву? Затем всех нас привели в большую гостиницу. Это большой дом со множеством кроватей и бесконечным количеством эмигрантов. «Совсем вроде нашей богадельни!» — находит моя мама. А золовка Броха говорит:

— Давайте лучше дальше поедем.

Я как-то говорил уже вам, что нашим женщинам ничего не нравится. Во всем они находят недостатки. Краков им с первой же минуты пришелся не по душе.

Впрочем, мой брат Эля тоже недоволен этим городом. Краков, говорит он, это не Львов. Во Львове, по крайней мере, есть евреи, а в Кракове — нет. То есть евреи имеются, но какие-то дикие — наполовину поляки: закрученные усы и «проше, пане!»... Так говорит мой брат Эля. Пиня ему возражает. Он говорит, что здесь больше «цивилизации». Хотел бы я знать, что это такое — «цивилизация», без которой наш друг Пиня не может обойтись?

2

В гостинице, которую для нас приготовил комитет, замечательно хорошо. То есть не столько хорошо, сколько весело. Здесь каждый раз знакомишься с новыми эмигрантами. Усаживаются, едят все вместе, рассказывают истории. А какие истории! Чудеса в решете! Чудеса, случившиеся во время погромов, при явке к призыву, при переходе через границу. Каждый рассказывает о своем агенте. Спрашивают друг у друга: «Кто был вашим агентом — рыжий или черный?» И следует ответ: «Не рыжий и не черный, просто вор».

Рассказываем, конечно, и мы о нашем чуде: как мы перебирались через границу, как познакомились с одной женщиной, как она выманила у нас вещи, как ее люди завели нас в лес, спросили, сколько у нас денег, и вытащили ножи, чтобы нас зарезать. Счастье, что у нашей Брохи манера падать в обморок и что мама подняла крик, — тогда раздался выстрел, мужики удрали, а мы тем временем перебрались на другую сторону. Все внимательно слушают, покачивают головами, причмокивают. Один эмигрант, высокий, с сердитыми глазами и с клочьями ваты в ушах, спрашивает:

— Как она выглядит, эта женщина? Набожная, святоша, с париком на голове?

Услыхав, что наша женщина как раз такая и есть, высокий эмигрант вскакивает и обращается к своей жене:

— Сора! Слышишь? Ведь это та же самая!

— Холера на нее и на всех агентов, господи! — отвечает Сора и рассказывает, как эта самая женщина обманула ее, обобрала с головы до ног и хотела всучить им шифскарты до Америки.

При слове «шифскарты» вскакивает другой эми-

грант, портной, с черными глазами на бледном лице, и говорит:

— Шифскарты? Разрешите, я расскажу вам историю о шифскартах.

Портной хочет начать свой рассказ, но его перебивает другой эмигрант, по фамилии Тополинский. Он, говорит, знает более интересную историю о шифскартах. У них в местечке имеется компания, которая продает якобы шифскарты от Либавы до Америки. И вот подцепили они одного молодого человека, выманили у него шестьдесят с лишним рублей и всучили ему какую-то бумагу с красным орлом. Приехал молодой человек в Либаву, хочет сесть на пароход, достает и показывает свою бумагу с красным орлом. Куда там! Ничего похожего! Прошлогодний снег! Это не шифскарта, а филькина грамота!

3

Истории с шифскартами начинают мне надоедать. Мне нравятся эмигранты. В вагоне я познакомился с одним мальчиком-эмигрантом. Он одних лет со мной, зовут его Копл, и у него рассечена губа. Он как-то лазил на лестницу, свалился и упал на полено. Копл клянется, что ему не было больно, только крови много вытекло. Мало того что он губу рассек, он, говорит, получил еще вдобавок от отца. Вот тот, высокий, с злыми глазами и с ватой в ушах, и есть его отец. А женщина по имени Сора — его мама. Они, говорит он, были когда-то очень богатые. То есть не когда-то, а совсем недавно, до погрома. Я спрашиваю у него, что это такое — погром? Все время слышу от эмигрантов: «погром, погром». Но что это такое, я не знаю.

— Не знаешь, что такое погром? — удивляется Копл. — Эге! Стало быть, ты совсем еще сосунок! Погром — это такая штука, которая теперь бывает повсюду. Начинается это с пустяков, но уж если начнется, то тянется дня три подряд...

— Но что ж это такое? Ярмарка?

— Ярмарка! Хороша ярмарка! Вышибают стекла! Ломают мебель! Вспарывают подушки! Пух летит, как снег!

— А зачем это?

— Вот те и здравствуй! Зачем? Громят не только дома — громят и лавки. Выбрасывают на улицу товар,

топчут, грабят, рассыпают, потом обливают керосином и жгут.

— Да брось ты!

— А ты как думал? Что же я, выдумывать, что ли, стану? А потом, когда грабить уже нечего, ходят по домам с топорами, ломami и дубинами. А полиция ходит следом. Поют, свистят, кричат: «Эй, ребята, бей жидов!» Бьют, убивают, режут, штыками колют...

— Кого?

— Что значит — «кого»? Евреев!

— За что?

— Что значит — «за что»? На то и погром!

— Ну и что, если погром?

— Убирайся! Ты теленок! Не желаю с тобой разговаривать!

Копл отстраняет меня и засовывает руки в карманы, как взрослый. Мне обидно, что Копл так кочевряжится передо мной. Однако молчу. «Погоди, зазнайка! И у меня еще чего-нибудь спросишь!..» Спустя несколько минут я снова подхожу к Коплу и затеваю с ним разговор. Уже не о погромах — о другом. Я спрашиваю, умеет ли он говорить по-немецки. Копл смеется:

— А кто же это не умеет говорить по-немецки? Немецкий — ведь это еврейский!

— Вот как? Если ты знаешь по-еврейски, скажи мне, как будет по-немецки «хрен»?

Копл еще пуще смеется, слова вымолвить не может.

— Что значит, как будет «хрен»? Хрен — это хрен!

— Значит, не знаешь!

— А как же?

Но, как нарочно, я и сам забыл, как по-немецки «хрен». Знал и забыл. Иду к брату Эле и спрашиваю. Но он говорит, что задаст мне такого «хрена», что тошно станет... Эля, видно, злится. Каждый раз, когда ему надо доставать деньги из зашитого кармана, он злится. Наш друг Пиня смеется над ним. Они затевают спор. А я отыскиваю местечко среди узлов на полу и ложусь спать.

Ничего мы в Кракове не добились. В комитете мы не были. Эмигранты сказали, что это напрасный труд. Приходите в комитет, говорят они, и начинается канитель. Прежде всего записывают ваши лета. Потом

посылают к врачу на осмотр. Затем велют ждать. Затем велют прийти еще раз. А когда приходите, спрашивают, зачем вы пришли.

Вы отвечаете, что пришли, потому что велели прийти. Тогда вас начинают уговаривать: «И к чему вам ехать в Америку?» — «А куда же нам ехать?» — спрашиваете вы. «Где это сказано, что вы обязательно должны ехать?» — отвечают вам.

Вы рассказываете о погроме. Но они говорят: «Вы сами виноваты. Вот вчера какой-то мальчик из ваших эмигрантов украл на базаре булку!» — «А может быть, он был голоден?» — говорите вы. «А вот вчера один из ваших эмигрантов посреди улицы подрался со своей женой. Пришлось жандармов вызывать». — «Жена была права. Она узнала мужа, который бросил ее и хотел удрать в Америку. Она его неожиданно увидела здесь и застучала на месте. Он хотел вырваться и бежать. А она подняла крик...» — «А почему большинство ваших эмигрантов ходят оборванцами?» — спрашивают они. «У них ничего нет!» — отвечаете вы. — Пусть им дадут одежду, они не будут ходить оборванцами.

Словом, читают мораль, а денег не дают.

Так жалуются нам эмигранты. Они считают нас счастливыми, потому что нам до сих пор не приходилось прибегать к милостям комитета. Мама говорит, что она и сейчас не стала бы обращаться к ним, если бы не постель. Если бы у нее не забрали вещей на границе, она была бы «королевой». Я вспоминаю мамин желтый шелковый платок, в котором она действительно выглядела «королевой». Но мама говорит, что ничего ей так не жалко, как постель. Что мы будем делать в Америке без постели?

Мама заламывает руки и начинает плакать. Брат Эля, заслышав это, кричит на нее:

— Опять? Опять плакать? Ты, видно, забыла, что мы уже недалеко от Америки и что надо беречь глаза?

Вы думаете, мы в самом деле недалеко от Америки? Куда там! Надо еще ехать и ехать. Куда ехать, я точно не знаю. Я слышу от эмигрантов названия городов: Гамбург, Вена, Париж, Лондон, Ливерпуль... О Гамбурге все говорят, что он мог бы сгореть хотя бы сегодня. Гамбург, говорят они, это Содом! Там эмигрантов гоняют в баню, как арестантов. Таких злодеев, как в Гамбурге, нигде нет.

Так говорят эмигранты, и мы пока что собираемся в Вену. Там, говорят, есть комитет, но — настоящий!

Комитет не комитет, а я знаю одно: мы едем в Вену. Слыхали вы когда-нибудь о таком городе? Погодите немного, вот приедем в Вену, тогда я расскажу вам все, что там творится.

XVII. ВЕНА — ВОТ ЭТО ГОРОД!

1

— Вена — вот это город!

Так решил мой брат Эля, а наш друг Пиня добавил: — Да и какой еще город! Всем городам город!

Даже женщины, которым ничего на свете не нравится, и те согласились, что Вена — это город. Ради такого города мама достала субботний шелковый платок. Моя золовка Броха вырядилась, как на свадьбу. Надела субботнее платье и в парике, с длинными болтающимися сережками, с красным лицом выглядит как рыжая кошка в черном повойнике. Видали вы когда-нибудь рыжую кошку в черном повойнике? Я видал.

Ребята нашей соседки Песи любят вытворять с кошкой всякие штуки. Кошка у них, как я уже вам рассказывал, носит странное прозвище: «Фейге-Лея-старостиха». Однажды они надели ей на голову ермолку. Ермолку, конечно, завязали тесемками и пустили кошку бегать. Кроме того, они, видимо для красоты, прицепили ей к хвосту гусиное крыло. Ермолка, очевидно, была великовата и сползала на глаза, а крыло выводило кошку из себя. И «Фейге-Лея-старостиха» стала метаться как сумасшедшая, бросаться на стены и причинила соседям ужасные убытки...

Ох, и влетело же тогда Песиным ребятам! Больше всех колотили Вашти, то есть Гершла, у которого желвак на лбу. Станный мальчик этот Вашти! Сколько его ни бей, а он как стенка! Скучаю я по нему больше, чем по другим! Но может быть, что мы еще увидимся с ним в Америке. Мы получили весточку, что наша соседка Песя, ее муж Мойше-переплетчик и вся орава едут в Америку. Раньше она причитала по поводу того, что мы едем в такую даль, а теперь и сама туда едет. Все нынче едут в Америку. Так пишет нам наш родственник Иойна-пекарь. Он тоже едет в Америку. Он уже на границе. Не на той, где мы переправлялись.

Наша граница не годится. Тут крадут постели. На других границах тоже крадут постели, но зато не нападают в лесу с ножами, как напали на нас. Эмигранты рассказывают, что есть границы, на которых раздевают догола и отбирают все, что имеешь. Но не бьют. Нас тоже не били, но собирались. Мы чуть не умерли от страха. К счастью, выстрелили из ружья. Но я уже рассказывал вам, как мы переправлялись через границу. Мы уже давно позабыли об этом. Неохота помнить о таких вещах. Правда, женщины и сейчас еще рассказывают о чудесах, случившихся с нами. Но их перебивают мужчины, то есть мой брат Эля и наш друг Пиня, и не дают им рассказывать. Пиня говорит, что он должен написать об этом в газетах. Он уже даже начал писать нашу историю в стихах. Я вам, кажется, уже рассказывал, что Пиня пишет стихами. Стихи о границе начинаются так:

Радзивиллов — городишко. Нечем похвалиться...
Здесь перебираются украдкой за границу.
Здесь людей обкрадывают с головы до ног...
Все, что есть, отдашь и скажешь: «Милостив мой бог!»
Счастливо отделался! Спасибо и на том,
Что не угостили на прощанье кулаком,
Что без мордобоя дело обошлось,
Что не пробуравили тебя ножом насквозь...

Это только начало, говорит Пиня. Дальше, по его словам, гораздо интереснее. Он, говорит, и Броды описал, и Львов, и Краков. И все в рифму. Пиня по этой части мастак! У него все складывается в рифмы. Он даже про собственную жену свою написал стихи. Я помню их наизусть:

Есть у меня жена —
Тайбл зовется она.
Миловидна, хороша.
Раскрасавица-душа,—
Нет на свете краше!
Да беда: не столковаться —
Не желает возвращаться
К своему папаше...

Как вам нравятся стихи? Хороши, не правда ли? А посмотрели бы вы, как дуется Тайбл! (У нее такая манера — дуться.) Моя золовка Броха заступается за нее. Она называет Пиню «язвой». Мама называет его «недотепа». Они терпеть его не могут за то, что он сочиняет стихи. А вот мой брат Эля ему завидует. Он говорит, что в Америке рифмы и стихи — ходкий товар.

Он уверен, что в Америке товар этот пойдет нарасхват. В Америке, говорит он, Пиню озолотят. Там много журналов, много еврейских газет. Пиня говорит, что он сам уверен в своем успехе в Америке. Он, говорит, чувствует, что создан для Америки и что Америка создана для него. Он ждет не дождется, как бы уже сидеть на пароходе и плыть по морю. Но пока что мы еще на суше и торчим в Вене.

2

Что мы делаем в Вене? Ничего. Гуляем по улицам. Ох и дома! Посмотрели бы вы, какие окна! Зеркала! А какие вещи! Игрушки! Одежда! Посуда! Украшения! Почти у каждой витрины мы останавливаемся и начинаем оценивать все, что видим. Мы, мужчины, оцениваем, а женщины высказывают пожелание иметь хотя бы половину того, что стоит этот город, с домами, магазинами и товарами. Пиня смеется и говорит:

— Хватит вам и десятой доли!..

— А тебе жалко? — говорит мой брат Эля и тербит свою бородку.

За время нашей поездки в Америку бородка у него здорово подросла. И очень странно подросла. Вроде веника. Я как-то нарисовал его на бумаге. Недавно я и Пиню нарисовал на бумаге, а мою золовку Броху — мелом на столе. Ну и влетело же мне! Она сама, Броха то есть, увидела и узнала себя, как в зеркале. Подозвала она моего брата. Вот он мне и задал! Если бы не мама, он бы меня прикончил. Каждый раз, как увидит, что я рисую, он меня колотит. А рисовать я люблю с детства. Раньше я рисовал углем на стенах. Меня за это били. Потом стал рисовать мелом на дверях — опять били. Теперь я рисую уже карандашом на бумаге — все равно побить хотят.

— Опять за своих человечков принялся?..

Но за рисование меня бьют не так, как за лепку. Я люблю мять хлеб и делать из него поросенок. Увидит это мой брат и колотит меня по пальцам. Наш друг Пиня заступается за меня. Он говорит:

— Чего ты от него хочешь? Пусть мнет, пусть рисует! Может, суждено ему быть художником!

Брат, как слышит, начинает сыпать:

— Что? Художником? Мазилой? Церкви мазать? Стены белить? Крыши красить? Ходить с измазанными

руками, как извозчик в дегте? Нет, пусть лучше будет певчим у кантора. Вот приедем, даст бог, в Америку, устрою его у кантора. У него сопрано.

— А почему не у мастера? В Америке все мастеровые. В Америке все работают!

Так заявляет Пиня, и тут же на него налетает мама:

— Вот как? Ремесленник? Не дождутся мои враги, чтобы сын кантора Пейси был ремесленником!

Вижу, что мама уже собирается плакать. Пиня оправдывается.

— Странная вы женщина! — говорит он. — А вот мы из Талмуда знаем, что раби Иоханан был сапожником, а раби Ицхок — кузнецом. Да и зачем далеко ходить? Вот мой дядя — часовщик, а мой отец — механик!

Пиня думает, что поправил дело. Оказывается, он только испортил. Мама не перестает плакать:

— Действительно, стоило моему мужу быть духовным лицом, кантором, умереть молодым, чтобы его младший сын был, упаси бог, портным или сапожником, да еще в Америке!..

— Опять? Снова плачешь? Забыла, что в Америке нужны глаза?

Так говорит мой брат Эля, и мама тут же перестает плакать.

3

Кем бы ни быть в Америке — быть бы уже там! Тянет туда — никакого терпения! Про себя я решил выучиться в Америке трем вещам: плавать, писать и курить папиросы. Все это я умею уже и сейчас, но не так хорошо, как следовало бы в Америке. Плавать я, наверное, был бы мастер, да негде было плавать. У нас на реке это невозможно. У нас, если ляжешь животом в болото, ноги болтаются на поверхности. Тоже река! А в Америке, говорят, море. Там, если ляжете на воду с пузырем, вас унесет к черту на кулички! Писать я тоже умею, хотя никто меня этому не учил. Я списываю печатные буквы из молитвенника. Пишу я так, что прочесть трудно. Я рисую, а не пишу, мне хотелось бы писать быстро, да я не умею. А в Америке, говорят, пишут быстро. Там, говорят, все делают быстро, второпях. Там всем некогда. Так в дороге рассказывали эмигранты. Мне известно почти все, что делается в Америке, хотя я еще там не был. Там, говорят, ездят под землей и «делают»

жизнь. Как ее делают, я еще не знаю. Но скоро буду знать. Я переимчивый. Увижу человека — и с первого же раза подражаю ему во всем. Однажды я представил нашего друга Пиню, показал, как он ходит вприпрыжку, как смотрит близорукими глазами, как он говорит быстро, будто горячую лапшу глотает... Моя золовка Броха покатывалась от хохота, а мама даже плакать начала от смеха. Но мой брат Эля не любит этого. Он не дает мне головы поднять. Странная история с моим братом Элей! Он любит меня и колотит до полусмерти. Мама не позволяет ему бить меня.

— Вот будут у тебя свои дети,— говорит она,— тогда ты их и бить будешь...

Но стоит кому-нибудь чужому пальцем тронуть меня, Эля ему глаза выцарапает. Недавно как-то мальчик одного из эмигрантов мне «губернатора показал». Вы не знаете, что это значит? Сейчас расскажу вам, как это делается: намусоливают большой палец и ударяют вас в бок между ребрами и животом, так что вам свет божий в копеечку кажется. Мальчик, который мне «губернатора показал», был парень лет одиннадцати с пухлыми щеками. Ручищи у него — отсохнуть бы им! Захотелось ему познакомиться со мной, подошел он ко мне и спросил, как меня зовут. Я говорю: «Мотл». А он отвечает: «Мотл-капотл, дробл-дротл, Иосиф-сотл, арц-анотл...» Я спрашиваю, что это значит. А он говорит: «Это значит, что ты балда, хотя меня тоже зовут Мотл. Губернатора хочешь?» — «Хочу». — «Поди-ка сюда поближе. Сейчас покажу».

Вот я и подошел. А он «показал». Я с ног свалился. Увидала это мама и подняла крик. Тогда прибежал мой брат Эля и задал ему!

С тех пор мы с Мотлом подружились. Кроме «губернатора», он научил меня многому. Например, говорить животом. Вы умеете? Научить вас этому невозможно. С этим рождаются. Надо держать рот закрытым, не двигать ни одним мускулом и лаять, как собака, или хрюкать по-свиньячье, да так, чтобы все принялись заглядывать под стол. Я здорово напугал наших. Вы знаете, что у моей золовки Брохи манера падать в обморок. Все бросились под стол, под кровати. Я и сам нагнулся — искать собаку — и продолжал лаять. Ох и комедия была! Однако мой брат Эля в конце концов догадался, где «собака зарыта», и отдубасил меня как следует. С тех пор я забросил искусство чревоуещания.

Мы бы уже давно уехали из Вены, если бы не «Ольянц» *. Кто такой этот «Ольянц», я не могу точно сказать. Слышу только, что говорят о нем: «Ольянц! Ольянц!» Все эмигранты злятся на него. Говорят, что «Ольянц» ничего не делает, что ему людей не жаль, что он евреев не терпит. Каждый день ходят к этому «Ольянцу» мой брат Эля и наш друг Пиня, и приходят они оттуда распаренные, как из бани.

— Загореться бы ему! — говорит Эля.

— Сгореть бы ему, как свече! — говорит Пиня.

— Дайте-ка лучше мне поговорить с «Ольянцем»! — говорит мама и берет меня за руку.

Мы все идем к «Ольянцу»: мама, и я, и Эля, и Пиня, и Броха, и Тайбл. Мне представляется, что «Ольянц» — с бородой, с поясом на животе и с красным носом. Почему с красным носом, я и сам не знаю.

Ох и таскались же мы! Моя золовка Броха пожелала «Ольянцу», чтобы у него так кололо в правом боку, как у нее в левом, — тогда он, может быть, не забирался бы к черту на рога, на самый край города!

Наконец-то добрались кое-как до «Ольянца». Живет он в шикарном доме — «дай бог всякому»! Но двора при доме нет. Вена вообще дворов не признает. Вена любит широченные окна и огромные двери. Но двери здесь держат на запоре. «Боятся, видно, чтоб их не украли?» — говорит Броха. Ей уже и Вена не по душе! Ей не нравится, что перед тем, как войти в дом, надо звонить. Меня это не трогает. Лишь бы открывали. Но «Ольянц» не торопится открывать. Можете звонить сколько влезет — он и с места не трогается. Думаете, мы здесь одни? Кроме нас, здесь еще много эмигрантов. Всем нужно попасть к «Ольянцу». Эмигранты смотрят, как мы звоним. «Позвоните еще немного, авось откроют, на ваше счастье!» — говорят они и смеются. У них, видать, легко на душе.

Все время прибывают новые люди. Собралось уже довольно много мужчин, женщин и детей. Я люблю, когда много народу. Если бы малыши не ревели, а мамы не проклинали их и не затыкали им рты, здесь было бы довольно весело. Но вот, слава богу, отворили двери. Все ринулись в дом, началась давка. Хорошо еще, что в дверях показался какой-то тип без шапки с красной бритой рожей и стал вышвыривать нас всех по-

одиночке, как поленья. Одну женщину с ребенком он так толкнул, что, если бы не мы с братом Элей, она бы зубов не собрала. Она и так трижды перекувырнулась.

Прошло много времени, пока мы все поодиночке вошли в дом. И вот тут-то и началась кутерьма — батюшки! Все хотят говорить первыми, все лезут к столам. А за столами сидят люди с обнаженными головами, с бритыми бородами *, хохочут и курят сигары. Кто из них «Ольянц», не знаю. Мама тоже не знает.

— Скажите, пожалуйста,— говорит она,— кто из вас «Ольянц»? Я потерпела убыток, у меня на границе отобрали всю постель и чуть не убили меня и моих детей... Вот они, бедные сироты, муж мой умер молодым, был всю жизнь кантором...

Но ей не дают продолжать. Кто-то тащит ее за платок и указывает на двери. Говорит он так, что ничего понять нельзя. Мама не хочет уходить, покуда не добьется своего.

— Зачем вы говорите со мной по-немецки? — спрашивает она.— Говорите со мной на нашем родном языке — я вам всю душу выложу. Скажите, кто здесь из вас «Ольянц»?

— Свекровь! Послушайте меня, идемте отсюда! Обходились мы, по милости божьей, без «Ольянца» и без Вены — авось и дальше хуже не будет... Господь не выдаст...

XVIII. АНТВЕРПЕНСКИЕ ЧУДЕСА

1

Слыхали вы когда-нибудь, чтобы город назывался Антверпен? Есть такой город на свете, и вот мы туда едем. Почему вдруг — в Антверпен? Потому что наш родственник, тесть моего брата Эли, пекарь Иойна, едет в Америку через Антверпен. Услыхав, что отец ее в Антверпене, моя золовка Броха засуетилась и потребовала, чтобы и мы ехали туда. Раньше она об этом городе и слышать не хотела. Ей не нравилось название. Теперь она влюбилась в Антверпен! Наш друг Пиня говорит, что ему придется отделиться от нас. Он хочет ехать из Вены прямо в Лондон. Тянет его, говорит он, в Лондон. В Лондоне, говорит он, уже пахнет

Америкой: англичане... рыжие волосы... клетчатые штаны... Совсем другой мир!..

— Езжай себе на здоровье к твоим англичанам с клетчатыми волосами и рыжими штанами, а мы поедем в Америку через Антверпен.

Так говорит моя золовка Броха, а жена Пини, Тайбл, дуется как индюшка. Я уже говорил вам, что она чуть что — начинает дуться и перестает разговаривать. Пиня спрашивает, чего она сердится. Она отвечает, что не любит англичан. «А ты их знаешь? — говорит Пиня. — Видела ли ты когда-нибудь хотя бы одного англичанина?» — «А ты где видел хотя бы одного англичанина?» — спрашивает она в свою очередь.

Словом, решено, что мы все едем в Америку через Антверпен. Мне безразлично — хоть через тартарары, лишь бы в Америку. Я и наш друг Пиня рвемся в Америку сильнее всех. Мы чувствуем, что нам будет там хорошо. Пиня в претензии к моему брату Эле:

— Едем, едем, а с места не двигаемся!

— Кто тебя держит? — отвечает Эля. — Езжай! Беги! Лети!

— Как же я полечу, когда твоей мамаше хочется познакомиться со всеми комитетами на свете?..

Услыхала это мама и говорит, обращаясь к Пине:

— Если ты такой умный, посоветуй, как нам ехать в Америку без постели?..

На это Пине отвечать нечего, и они снова мирятся. Наш друг Пиня не может расстаться с нами. Женщины тоже одна без другой жить не могут. Правда, они частенько ссорятся, говорят друг другу колкости. Иной раз чуть до драки не доходит. Но очень скоро они мирятся. Если бы не мама, Броха и Тайбл дружили бы недолго. Каждый день летели бы повойники... Особенно моя золовка. Она сама себя называет «спичкой». Подвернешься ей под руку в недобрый час — с грязью смешает. А пройдет минута — и она снова мягка, как вытяжной пластырь. Со мной она воюет чуть ли не с первой минуты со дня свадьбы. Она знает, что я ее не люблю. Но пуще всего она не выносит, что я смеюсь над ней. Ей всегда кажется, что я ее высмеиваю. Стоит мне посмотреть на нее — она считает, что я уже смеюсь.

Я уже рассказывал вам, что люблю рисовать и что мой брат Эля колотит меня за это. Недавно я нарисовал ногу — огромную ногу. Мелом на полу нарисовал. По-

смотрели бы вы, что творилось. Она, Броха то есть, пристала ко мне, якобы это я ее ногу нарисовал! Почему именно ее? Потому, что ни у кого нет таких больших ног, как у Брохи. Она тринадцатый номер калош носит! Вы бы видели эту пару калош!.. И пошла ябедничать к моему брату Эле. Тот, как всегда, раскричался:

— Человечки? Опять за старые штучки принялся? Человечков малевать?

Вот вам! Нога уже превратилась в человека! А человек — в «человечков»!.. С ума можно сойти! Должен признаться, что чем дальше, тем сильнее становится моя страсть к рисованию. Я заполучил цветной карандаш. Мне подарил его тот самый мальчик, который однажды «показал губернатора» и научил меня говорить животом. Я уже о нем рассказывал. Его тоже зовут Мотл. Мы называем его «Мотл Большой», а меня называют «Мотл Маленький». Подружились мы с ним крепко! За то, что он подарил мне цветной карандаш, я в вагоне нарисовал его на бумаге, всего как есть, с пухлыми щеками. Я взял с него слово, что он никому не покажет, а то, если узнает мой брат Эля, мне здорово влетит. И что же вы думаете? Он тут же отнес мой рисунок и ткнул его прямо под нос моему брату.

— Мотелева работа! Где он, этот мазила?

Так сказал мой брат Эля и стал меня разыскивать. А я уселся за маминой спиной, чтобы меня не было видно, и давлюсь от смеха. Лучшего места, чем у мамы за спиной, на всем свете нет!

2

Слава тебе господи — мы уже в Антверпене. Порядком потряслись и намыкались, но приехали! Ну и город, доложу я вам! То есть до Вены ему далеко. Вена гораздо больше и, пожалуй, красивее. Да и людей там больше. Зато в Антверпене какая чистота! Да и что за диво? Улицы здесь моют, тротуары начищают, а дома купают. Я сам видел, как их мылом намыливают и обмывают. Правда, не везде. Например, там, где находятся гостиницы, в которых живут эмигранты, все как полагается. То есть грязно, дымно, сыро, скользко, тесно, суматошно и шумно. Весело! Замечательно! Так, как мне нравится.

Нашего родственника, пекаря Иойны, еще нет. Соседки Песи с ее оравой — тоже нет. Они еще едут. Та-

щатся где-то по Германии. «Германия — это Содом!» — говорят эмигранты и рассказывают страшные истории. Наша беда с потерей постели — детские игрушки в сравнении с тем, что рассказывают эмигранты.

В гостинице мы познакомились с женщиной из Межбижа. Она как раз не вдова. У нее есть муж, он уже в Америке. Вот она и едет к мужу. Скоро уже год, как она тащится с двумя детьми. Перебывала везде и всюду. Нет такого города, в котором бы она не была. Перессорилась со всеми комитетами. Кое-как, с трудом добралась сюда, до Антверпена, и хочет сесть на пароход, а ей не разрешают. Думаете, у нее больные глаза? Ничего подобного! Глаза здоровые. Но она немножко тронулась. То есть вообще-то она говорит все как полагается. Но иной раз скажет вдруг что-нибудь такое — умереть со смеху можно. Спрашивают у нее, например:

— Где ваш муж?

— В Америке.

— Чем он занимается?

— Он там — царь...

— Как же это еврей может быть царем?

А она отвечает, что в Америке все возможно... Ну, что ты будешь делать? И еще одно вбила она себе в голову: она не ест! И нам есть не велит. Говорит, чтобы мы не притрагивались к молочным продуктам, потому что все молочное здесь мясное.

— А мясное? — спрашивает мама.

— Мясное здесь не мясное и не молочное...

Мы, конечно, смеемся. Все, кроме мамы. Маме не смешно. Ей плакать хочется.

— Хорош смех! — говорит она и действительно начинает плакать.

— Уже! Давно не плакала? Хочешь, чтобы нас отослали обратно из-за твоих глаз?

Так говорит мой брат Эля, и у мамы тут же высыхают глаза. Но еще больше, чем эту женщину, мама жалеет ее несчастных детей. Не знаю, почему мама их оплакивает? Детям как будто весело! Начнет их мама говорить глупости, они смеются. Я познакомился с ними. Они рассказали мне, что их отсылают обратно домой, но их мама не хочет ехать. Она хочет в Америку, к их отцу, к царю (хи-хи-хи!)... Ее обманывают, говорят, что посылают поездом в Америку (хи-хи-хи!)... Уговорили ее, что поезд идет отсюда прямо в Америку (хи-хи-хи!)...

Каких только удивительных вещей немотришься в этом Антверпене — даже описать невозможно! Ежедневно приезжают новые люди. Большинство с больными глазами. Это называется «трахома». В Америку с трахомой не пускают. У вас может быть тысяча всяких болезней, можете быть хромым и немым, каким вам хочется, только бы не трахома. Откуда берется трахома? От заразы. Иной раз и сам не знаешь, откуда она взялась. Так рассказывают здесь, в Антверпене.

Я это слышал от одной девочки. Зовут ее Голделе. Она одних лет со мной, а может быть, старше на год. С ней приключилась интересная история. Рассказать? Познакомился я с ней в «Эзре» *. Надо вам объяснить: «Эзра» в Антверпене то же, что «Ольянц» в Вене. Это тоже устроено для нас, для эмигрантов. Но только «Ольянц» — мужского рода, а «Эзра» — женского. Так что сами понимаете, какая между ними разница... Словом, сразу же по прибытии в Антверпен мы пошли прямо в «Эзру». «Эзра» не то что «Ольянц». «Ольянц» вышвыривает людей, как поленья, а «Эзра» никого не гонит. Можете приходить когда угодно, можете душу изливать сколько вам вздумается. Все, что вы говорите, заносится в книгу. Сидит девушка, которую зовут фрейлейн Зайчик, и записывает. Очень славная девушка. Она спросила, как меня зовут, и подарила мне конфетку. Но о фрейлейн Зайчик я расскажу в другой раз. Сейчас надо познакомить вас с Голделе.

Она из Кутно. Приехала сюда в прошлом году с родителями, сестрами и братьями. Было это в осенние праздники. Справили они праздники, говорит она, как дай бог всякому. То есть счастья они не искали, а медам их не баловали — валялись, как и все эмигранты. Зато у них были шифскарты до Америки на всю семью, и одеты они были по-царски: у каждого по паре рубашек и ботинки целые. Теперь она осталась с одной только рубашкой и без обуви. Если бы не фрейлейн Зайчик, она бы босиком ходила. Фрейлейн Зайчик, говорит Голделе, подарила ей свои ботинки, совсем еще хорошие. Голделе показала мне эти ботинки. Они совсем еще целые, только великоваты...

Словом, миновали праздники, пришло время садиться на пароход. Предложили им показаться врачу. По-

шли. Врач осмотрел их и нашел, что все здоровы и могут ехать в Америку. И только она, Голделе, ехать не может, потому что у нее трахома... Сначала они даже не поняли, что это означает. И лишь потом раскусили как следует. Это означало, что все едут в Америку, а она, Голделе, остается здесь, в Антверпене. Поднялся плач, вопли, стоны... Мама трижды в обморок падала... Отец хотел остаться здесь, но нельзя было: пропадала вся шифскарта... Тогда решили, что они поедут, а она, Голделе, останется, пока вылечит глаза... И вот уже больше года, как она лечится, а все еще не вылечилась. Фрейлейн Зайчик говорит, что это оттого, что Голделе постоянно плачет. Но Голделе уверяет, что ее глаза не вылечиваются по другой причине. Из-за синего камня! Каждый раз, когда она приходит к доктору, он натирает ей глаза тем самым камнем, которым пользуется других больных. Если бы она, Голделе, была в состоянии купить собственный синий камень, она давно бы уже вылечилась.

— Ну, а твои родители? — спрашиваю я.

— Они в Америке. Делают жизнь. Я получаю от них письма. Почти каждый месяц присылают письмо. Вот посмотри, читать умеешь? Почитай мне.

Она достает из-за пазухи целую пачку писем и просит, чтобы я читал вслух. Я бы, конечно, прочел, но не умею читать по-писаному. Печатное я бы прочел. Она смеется и говорит, что мальчик — это не девочка, мальчик должен уметь все на свете! А ведь она, пожалуй, права! Хотелось бы мне уметь читать по-писаному! Ох и завидую я Мотлу Большому: он умеет читать и писать (я уже вам рассказывал о нем)! Голделе дала ему прочесть свои письма. Мотл Большой прочел без запинки. Почти все эти письма написаны одинаково, теми же словами:

«Дорогая Голделе, милая Голделе, дай бог тебе здоровья! Когда мы в Америке вспоминаем, что дитя наше вырвали у нас из рук, что ты там одна на чужбине, среди незнакомых людей, нам жизнь не мила! Дни и ночи мы грустим и плачем по светлой нашей звездочке, отнятой у нас...» И так далее.

Мотл Большой читает и читает, а Голделе плачет и трет глаза. Это замечает фрейлейн и сердится на нас за то, что мы расстраиваем Голделе, а ей она говорит, что ей самой себя не жаль. Она окончательно губит свои глаза! В ответ Голделе смеется, а слезы так и текут.

— Губит мои глаза доктор своим синим камнем хуже, чем я своим плачем...

Мы прощаемся с Голделе, а я обещаю ей, что завтра в это же время мы снова увидимся.

— Если богу будет угодно! — отвечает Голделе со смиренным лицом, как старуха. И мы вдвоем — я и Мотл Большой — отправляемся гулять по Антверпену.

4

Мы, то есть я, Мотл Маленький, и мой товарищ, Мотл Большой, здесь не одни. Есть у нас еще товарищ. Это мальчик лет тринадцати, звать его Мендл. Он тоже застрял в Антверпене по пути в Америку. Не из-за глаз, а по другой причине. Его потеряли в дороге, где-то в Германии. Всю дорогу, рассказывает Мендл, они кормились одной селедкой. У него была изжога. И вот на одной станции он выскочил воды напиться и отстал от поезда, остался без билета, без гроша в кармане и без рубахи на теле. А так как языка он не знал, Мендл притворился немым. Возили его по всему свету, пока, наконец, он не увидел партию эмигрантов — евреев. Он рассказал им всю историю, те сжалились над ним и привезли его в Антверпен. Здесь он пробился до «Эзры». «Эзра» написала письмо в Америку — авось отыщутся его родители. Вот он и ждет ответа и шифскарты. То есть не целой шифскарты, а половины, потому что он еще маленький. Собственно, он не такой уж маленький — он притворяется. Похоже на то, что ему уже исполнилось тринадцать лет, хотя «тефилн» он еще не надевает*. У него их нет. Узнали эмигранты, что Мендлу уже тринадцать лет, а «тефилн» он не имеет, и подняли ужасный шум: «Почему не достанут для него «тефилн»?» А Мендл отвечает: «Почему вы не достанете мне обуви?»

Тогда один из эмигрантов с колючими глазами раскричался: «Ах, сорванец! Мало того, что о тебе заботятся, ты еще и нахал к тому же!»

Эмигрант с колючими глазами старался изо всех сил и добился того, что остальные эмигранты купили в складчину пару «тефилн» для Мендла.

Все можно раздобыть в Антверпене. Думаете, здесь нет синагог и молелен? Ого, какие еще синагоги! Одна из них турецкая. Думаете, что там молятся турки? Нет!

Там молятся евреи, такие же, как и мы, но по-турецки. То есть все шиворот-навыворот. Ни одного слова понять нельзя! Водил нас туда наш новый товарищ Мендл. Мы втроем, я — Мотл Маленький, Мотл Большой и Мендл, стали друзьями. Целыми днями мы разгуливаем по городу. В Бродах, в Кракове и Львове или в Вене мама боялась отпускать меня от себя. Здесь она не боится. Там, говорит она, сплошь отъявленные немцы, а здесь, в Антверпене, мы, по ее мнению, среди людей, среди своих. Тут и еврейскую речь услышишь. Она имеет в виду эмигрантов.

Да здравствуют эмигранты! Среди них я чувствую себя как дома. Особенно среди родных! Скоро будут у нас гости. На будущей неделе приезжает пекарь Иойна с семьей. Не сегодня завтра должна приехать наша соседка Песя со своей оравой. Вот тогда-то будет весело! Я вам, бог даст, все опишу.

ХІХ. ОРАВА

1

Ведь вы уже знакомы с нашей оравой. Это соседка Песя с ее мужем — переплетчиком (его зовут Мойше), с восемью ребятами, из которых каждый, как я уже вам рассказывал, имеет свое прозвище. Младший в одних летах со мной (девять лет, десятый). Зовут его Вашти. То есть настоящее его имя Гершл, но так как у него желвак на лбу, старшие прозвали его Вашти. Мне нравится Вашти. Я люблю его за то, что он не плачет. Сколько бы вы его ни колотили, он переносит все, как резиновая губка. Никакая пуля его не берет.

Однажды он разорвал чужой молитвенник. За это отец бил его доской, на которой режут бумагу. Вашти после этого прохворал два дня кряду. Можете себе представить, он даже от булки отказывался! Думали, что он не выживет. Мать, наша соседка Песя, его уже оплакивала, а отец ходил потеряв голову. Все были уверены, что это конец, что нет больше Вашти. Оказывается, ничего подобного! На третий день он попросил хлеба и ел, как после долгого поста. Покушать они все большие охотники. «Голодное стадо» — так называет их сама Песя. Песя очень славная женщина, только слишком уж толста. У нее три подбородка. Уже несколько раз я рисовал ее на бумаге. Увидал однажды

Вашти, выхватил у меня рисунок и показал своей маме. Она рассмеялась. Но узнал об этом мой брат Эля и хотел задать мне за «человечков». Счастье, что сама Песя за меня заступилась. «Ребенок,— сказала она,— дурачится... Право же, не стоит огорчаться!» Дай ей бог здоровья, этой Песе! Я люблю ее. Не терплю только, когда она меня целует. Как приехала в Антверпен, тут же бросилась меня целовать, как родного. Она со всеми целовалась. Больше всего, конечно, с мамой. Мама встретила ее, словно отца с того света увидала: она так расплакалась, что мой брат Эля налетел на Песю и стал говорить, что из-за нее мама погубит свои глаза и не сможет пойти к доктору...

Ходить к доктору обязан каждый приезжающий в Антверпен. Это первое, о чем спрашивают друг друга: «Были уже у доктора? Что сказал вам доктор?..» Даже «Эзра» всех приходящих сейчас же отсылает к доктору.

Когда мы впервые пришли туда, мама хотела было рассказать всю историю: о том, что муж ее был всю жизнь кантором в мясницкой синагоге, но простудился и заболел... Что она все продала, чтобы спасти мужа... Что муж умер, а она осталась с двумя детьми-сиротами... Одного, слава богу, женила... Попал он в «денежный ящик»... Но деньги уплыли, а ящик остался... Затем мы продали последнее, что имели — нашу половину дома, и отправились в Америку... Перебирались через границу под Бродами, чуть не были убиты темной ночью, потеряли все наше имущество, постель... Что мы теперь будем делать без постели в такой дальней стороне?

Мама рассказывала, «Эзра» слушала, а девушка, что сидит за столом (фрейлейн Зайчик), все записывала в книгу. Мама только еще собралась было рассказывать и рассказывать, но тут перебил ее один из «Эзры»:

— Итак, вы едете в Америку?

— Ну конечно,— отвечаем мы,— не в Егупец. В Америку.

— А у доктора вы уже были? — спросил тот, что из «Эзры».

— У какого доктора?

— Вот вам адрес,— говорит он.— Сходите прежде всего к доктору. Он осмотрит ваши глаза.

Услыхав слово «глаза», мой брат Эля взглянул на мать и побелел как полотно...

Чего он так испугался?..

Слава богу, мы все, кроме мамы, уже побывали у доктора. Мама пойдет попозже. Мой брат Эля боится: в последнее время она слишком много плакала...

Доктор осмотрел наши глаза, написал что-то на бумаге и запечатал в конверт. Вначале мы перепугались, думали, что он прописал нам лекарство для глаз. Спрашиваем, что он нам прописал? А он в ответ указал на дверь. Мы сообразили, что нам велят уходить... Пришли в «Эзру» и показали то, что написал доктор. Девушка (фрейлейн Зайчик) вскрыла конверт, прочла и говорит:

— Могу вам сообщить добрую весть: доктор говорит, что глаза у вас здоровые.

Конечно, это для нас добрая весть! Но что делать с нашей мамой? Она не переставая плачет. Мы твердим ей:

— Что ты делаешь? А вдруг доктор забракует твои глаза!

— Вот об этом-то я и плачу!..— отвечает мама и прикладывает к глазам примочку.

Примочку эту дал ей один эмигрант-фельдшер. Он ужасно некрасивый, у него какие-то дикие зубы. Однако он франтит: носит медные часы на серебряной цепочке и золотое кольцо. И фамилия у него некрасивая — Бибер! Приехал он в Антверпен вместе с оравой. Они познакомились в пути. Вместе перебирались через границу. Чудес, как с нами, у них никаких не было. Убивать их не собирались, постели не отняли, но все же они порядком намытарились. Хлебнули, говорят, горя. Им пришлось пройти через парную баню в Гамбурге. Чего только они не рассказывают об этом Гамбурге! Волосы дыбом встают! Содом, говорят они, щенок в сравнении с Гамбургом! Там с эмигрантами обходятся гораздо хуже, чем у нас с арестантами. Если бы не вот этот фельдшер, они бы погибли. Он хлопотал за них. Бибер — ужасно храбрый! Он рассказывает, как он объяснялся с немцами,— прямо-таки страх! Он нарочно говорил с ними по-русски. А русский, по его словам, он знает хорошо. Возможно, что даже лучше, чем наш Пиня. Пиня утверждает, что все, что рассказывает этот Бибер, было бы очень интересно, если бы это была правда. С первого взгляда он невзлюбил фельдшера.

Он даже стихи про него сочинил. Пиня, если кого невзлюбит, сочиняет о нем стихи. Если хотите, могу их вам пересказать:

Наш фельдшер Бибер,—
Скажу без утайки,—
Мастер рассказывать
Всякие байки.
Но бывает подчас
(На dniu сорок раз),
Что он и соврет —
Недорого возьмет...

3

Бибер-фельдшер, о котором я вам рассказываю, взялся привести в порядок мамины глаза. Он говорит, что ни один доктор в мире не отыщет в них изъяна. Во-первых, он знает это искусство еще издавна. Он фельдшер, а фельдшер — ведь это же наполовину доктор. Кроме того, он побывал в Германии и видел, что там делают с эмигрантами для того, чтобы у них были здоровые глаза. Он говорит, что там слепых зрячими делают.

— А может быть, наоборот? — спрашивает Пиня.

Бибер вспыхивает (он ужасный злоюка). И начинает сыпать: Пиня, говорит он, чересчур умен! Больно хитер для Америки! А в Америке хитрецов не любят! Америка, говорит он, страна, в которой хитрость не в почете. Там что подумал, то и сказал, что сказал, то и подумал. Там слово — это слово! Америка, говорит он, держится на правде, на справедливости, на уважении, на честности, на совести и человечности, на доверии и жалости...

— А еще на чем? — спрашивает Пиня.

Бибер еще пуще сердится!

Да жаль! Помешали. Пришли сообщить, что кто-то спрашивает нас. Кто бы это мог быть? Выходим — гости! Гости! Наши родичи приехали. Пекарь Иойна со своей семьей. Снова радость, торжество! Броха целуется с родителями, мой брат Эля целуется со своим тестем и шурыями. На него глядя, Пиня тоже целуется с нашими родичами, а глядя на Пиню, целуется с ними и фельдшер...

— Кто это такой? — спрашивают они.

— Я Бибер! — отвечает фельдшер.

Пиня раздражается смехом... А мама? Мама делает

свое дело: плачет! Мой брат Эля вне себя. Смотрит на нее и теребит свою бородку. Но сказать он ничего не может: ведь это же свои, не чужие, земляки... Как не дать маме немножко поплакать?

— Как вы перебирались через границу? Где вас обобрали?

Это первое, о чем мы спросили наших свояков. А у тех рассказов с три короба! Но меня эти рассказы не интересовали. Я забрался в уголок с сестренкой моей золовки. Я как-то уже рассказывал вам о ней. Ее зовут Алта, она носит косички, заплетенные, как витой бублик. Вы, наверное, помните, что мне ее прочили в невесты (на свадьбе у моего брата Эли). Тогда ей было девять лет. Теперь ей уже десять — одиннадцатый, в одних летах с Голделе, которая застряла в Антверпене из-за глаз. Я рассказываю Алте об этой девочке, о моем товарище Мотле Большом, о Мендле, об «Эзре», о барышне Зайчик, которая записывает в книгу, о докторе, который осматривает глаза. Потом рассказываю о Вене, об «Ольянце», о Кракове и Львове, о том, как мы переходили границу и чуть живыми выскочили. Я ничего не пропускаю. Алта слушает, широко раскрыв глаза. Потом она рассказывает мне об их делах. Ее отец давно уже собирался ехать в Америку, но мать не хотела. И не столько мать, сколько родня. Родня говорила, что в Америке работать надо, а мама к этому не привыкла. У ее матери была ротонда. Это отец подарил ей еще в те добрые времена, когда у них было много денег. И вот, когда стало скверно, а кредиторы стали наседать, решено было продать все и ехать в Америку. Когда дошло дело до ротонды, мать заявила: она готова продать все, только не ротонду!

— На что тебе ротонда? — спрашивает отец. — В Америке ротонда не нужна!

А мать отвечает:

— Как это, на что мне ротонда? Столько лет бога молила, добивалась ротонды, еле дождалась ее, а теперь — продать?

День и ночь только и разговору было что о ротонде! Вся родня (по материнской линии) собралась. Ссорились, ругались. Дело доходило до развода, то есть чтобы папа развелся с мамой, и все это из-за ротонды. А кто поставил на своем? Конечно, мама! Ротонду так и не продали! Взяли ее с собой, отдельно запаковали... И не успели добраться до границы, как ротонда исчезла...

Так рассказывает Алта, но дальше мне уже слушать не хочется. Мне только и надо было знать, сохранилась ли ротонда. Коль скоро ее нет, я очень доволен.

Беру с собою Алту и отправляюсь гулять. Я показываю ей город Антверпен. Но она не в восторге. Она, говорит, видала города покрупнее. Скажите пожалуйста! Вожу ее по заезжим домам, в которых живут эмигранты, знакомя ее со своими товарищами. Но Алта ничему не удивляется: зазнается. Всегда она такая...

Потом мы все вместе — наша орава и их орава — идем в «Эзру». Там встречаем нашу соседку Песю с ее оравой. Встречаем также Голделе. Она хочет поближе познакомиться с Алтой. Но та держится в стороне. Голделе отводит меня в угол и спрашивает: по какому случаю та девочка задирает нос, почему ей не пристало разговаривать с ней? Я рассказываю, что в прошлом году, на свадьбе у моего брата, мне ее сватали. Голделе вспыхивает, краснеет, отворачивается и трет глаза...

4

Что вы скажете о постигшем нас несчастье? Мы были с мамой у доктора — проверяли глаза. Доктор осмотрел мамины глаза и ничего не сказал. Написал записочку и положил в конверт. Пошли мы с конвертом в «Эзру». Никого не застали, кроме фрейлейн Зайчик, которая всех эмигрантов в книгу записывает. Встретила она меня смехом — она всегда смеется, когда меня видит. Каждый раз передает мне привет от Голделе и смеется. Раскрыла она конверт, прочла записку и, перестав смеяться, заломила руки.

— Что хорошего? — спрашивает мама.

— Что уж там хорошего! — отвечает Зайчик. — Скверно, милая моя! Доктор пишет, что вы не можете ехать в Америку...

Моя золовка Броха, по своему обыкновению, тут же упала в обморок. Брат стоит без кровинки в лице. Мама и сама оцепенела, даже плакать не может... Барышня Зайчик бросилась за водой. Привела в чувство золовку, стала утешать Элю, поговорила по душам с мамой и велела прийти завтра.

По дороге мой брат Эля упрекал маму в том, что она все время плачет, и напомнил, сколько раз он говорил, чтобы она не плакала! Мама хотела ответить, но не нашла слов... Подняла глаза и проговорила:

— Господи! Окажи свою милость, пожалей детей моих, возьми меня к себе!..

Наш друг Пиня утверждает, что виноват во всем этот лгун — фельдшер Бибер. Весь день и всю ночь они не переставая грызли друг друга. Наконец настало утро. Снова пришли в «Эзру». «Эзра» посоветовала нам попытаться проехать через Лондон. Авось Лондон пропустит нашу маму с ее заплаканными глазами в Америку. А если не в Америку, то хотя бы в Канаду... Где Канада, мы не знаем. Говорят, что это еще дальше Америки. Моему брату Эле и нашему другу Пине есть пока что о чем поспорить. Эля спрашивает:

— Пиня, скажи-ка, где это Канада? Ведь ты же был мастак по части географии...

Пиня отвечает, что Канада в Канаде, то есть не в Канаде, а в Америке. То есть он хочет сказать, что Канада это то же, что и Америка, но все же не Америка.

— Как это может быть? — спрашивает Эля.

— Ну, сам увидишь!..

А между тем надо идти к пароходу — проводить наших друзей, нашу соседку Песю, ее мужа — переплетчика Мойше и всю ее ораву. Бог ты мой, что творится на пристани! Мужчины, женщины, дети, узлы, подушки, мешки с постелью... Все бегут, кричат, плачут. Один обливается потом, другой ест, третий проклинает...

Вдруг раздается рев дикого зверя: «Гу-у-у-у-у!» Это гудит пароход, чтобы скорее прощались. Начинаются поцелуи, беготня, плач — театр, да и только! Все прощаются. Мы тоже. Целуемся со всей оравой. Мама целуется с Песей. Та утешает маму, просит ее не горевать: они, даст бог, вскоре увидятся в Америке... Мама машет рукой и проглатывает слезы... За последнее время она плачет гораздо меньше. Наверное, приняла что-нибудь, чтобы не плакать...

Все уже на пароходе. Мы — на пристани. Ох и завидуем же мы им! А как я завидую Вашти! Когда-то он мне завидовал, теперь я ему. А Вашти в рваном картузе стоит на пароходе и показывает мне язык. Это он дразнится: он, мол, едет, а я нет.

Мне, конечно, очень обидно. Но я креплюсь и показываю ему кукиш. «На тебе!» Это должно означать: «Врешь! Все равно я скоро буду в Америке!»

О, пожалуйста, не беспокойтесь! Скоро и я буду в Америке!..

Со дня на день орава эмигрантов становится все меньше и меньше, и Антверпен превращается в пустыню. В субботу уезжает масса эмигрантов, и все в Америку. Уезжает с ними и мой товарищ Мотл Большой, тот самый, который научил меня «показывать губернатора», говорить животом и тому подобным вещам.

Не знаю, что такого увидел в нем мой брат Эля, но он его терпеть не может. Я думаю, что виновата Броха. У моей золовки манера подслушивать, когда говорят, подсматривать, когда смеются. Ей надо знать, почему мы смеемся! А может быть, мы смеемся над тем, что Пиня все время таскает из карманов пряники и конфеты и жует? А может быть, над фельдшером Бибером, который хвастается перед эмигрантами и так врет, что можно со смеху умереть?

Однако на этот раз она была права. Мы устроили настоящую комедию, представили ее мамашу — пекарку Ревеле — с ее ротондой. Днем и ночью она только и говорит что о своей ротонде, которую украли на границе, рта не закрывает.

Можете себе представить, что даже моя мама не выдержала и сказала:

— Ох, сватушка! Если бы я вздумала столько говорить о своей постели и подушках, украденных на границе, сколько вы о вашей ротонде...

А пекарка Ривеле отвечает своим басом:

— Сравнили тоже!..

— Что же, у меня подушки краденые, что ли? — говорит мама.

— Краденые не краденые... Я у изголовья не стояла...

— Не понимаю,— говорит мама,— что это за разговор?

— Как аукнется, так и откликнется! — отвечает Ривеле.

— Сватушка! Я чем-нибудь задела вашу честь? — спрашивает мама.

— Кто говорит, что вы задела мою честь?

— Что же вы говорите «сравнили»?

— А разве можно сравнивать? — возмущается Ри-

веле.— Я говорю о своей ротонде, а вы суетесь с вашей постелью, с вашими подушками!..

— А у меня подушки краденые, что ли? — говорит мама.

— Краденые не краденые... Я у изголовья не стояла...

И снова то же самое, и опять то же самое!

Комедия, да и только!

2

Разумеется, мы вдвоем, то есть я, Мотл Маленький, и мой товарищ, Мотл Большой, в тот же вечер и договорились:

— Знаешь что? Я буду пекарка Ривеле, а ты будешь твоя мама... Будем представлять... Но только говорить надо теми же словами и теми же голосами. Я буду говорить басом, как пекарка Ривеле, а ты — плаксивым голосом, как твоя мама.

И вот оба Мотла нарядились. Один надел парик, а другой — платок. Созвали всю ребятню: тринадцатилетнего Мендла, сестричку золовки — Алту, Голделе с больными глазами и других эмигрантских мальчиков и девочек.

И мы принялись за работу.

Мотл Маленький (*плаксивым голосом*). Ох, сватушка! Если бы я вздумала столько говорить о моей постели и подушках, украденных на границе, сколько вы о вашей ротонде...

Мотл Большой (*басом*). Сравнили тоже!..

Мотл Маленький. Что же, у меня подушки краденые, что ли?

Мотл Большой. Краденые не краденые... Я у изголовья не стояла...

Мотл Маленький. Не понимаю, что это за разговор?

Мотл Большой. Как аукнется, так и откликнется!

Мотл Маленький. Сватушка, я чем-нибудь задела вашу честь?

Мотл Большой. Кто говорит, что вы задела мою честь?

Мотл Маленький. Что же вы говорите «сравнили»?

Мотл Большой. А разве можно сравнивать? Я говорю о своей ротонде, а вы суетесь с вашей постелью!

Мотл Маленький. А у меня подушки краденые, что ли?

Мотл Большой. Краденые не краденые... Я у изголовья не стояла...

3

Но поди угадай, что как раз в эту минуту откроются двери и на пороге окажутся гости: моя золовка Броха с ее мамашей, пекаркой Ривеле, с отцом — пекарем Иойной, и их сыновьями, моя мама, мой брат Эля, Пиня со своей женой, желтозубый фельдшер Бибер и еще какие-то мужчины и женщины!

Первым делом моя золовка Броха доложила, что я передразниваю всех на свете. Ей хотелось, чтобы весь свет со мной разделался.

Однако весь свет разделяться со мной не пожелал. С меня было довольно одного брата Эли. Рука у него сухая и костлявая. Если он отпустит вам сегодня вечером пощечину, у вас следы на щеке будут видны и послезавтра утром.

— Надо этих обоих Мотлов разлучить! — решила Броха.

И мой брат Эля сказал строго, что, если только увидит нас вдвоем, он из меня котлету сделает! Хотел бы я видеть, как он из меня котлету сделает? Он забывает, что есть на свете мама, которая скорее даст выцарапать свои больные глаза, чем допустит, чтоб из меня котлету сделали.

4

С мамиными глазами дело обстоит неважно. То есть скверно, очень скверно! Говорят, что ее не пустят на пароход ни за миллион! Надо бежать из Антверпена. Здесь врачи — злодеи! Смотрят прямо в глаза и чуть заметят у вас трахому — кончено! Нет у них ни к кому ни уважения, ни жалости! Придется нам ехать в Америку другим путем. Каким — еще не знаем. Путь-то много, было бы с чем ехать. Похоже на то, что в кармане у моего брата Эли уже «светает». Весь капитал, который мы выручили за нашу половину

дома, ушел на врачей и фельдшеров — все из-за маминых глаз. Я подслушал однажды, как мой брат Эля сказал, обращаясь к Пине:

— Дотащиться бы нам как-нибудь до Лондона!

Я, конечно, предпочел бы ехать прямо в Америку, а не в Лондон. Наша соседка Песя-толстая со всей своей оравой давно уже в Америке. Они уже «делают жизнь». Вашти небось уже разгуливает по улицам, заложив руки в карманы, и грызет орешки. Наши родичи — пекарь Иойна с женой, с сыновьями и с моей невестой Алтой — не могли дожидаться маминых глаз и уехали в Америку одни.

Ох, что творилось в тот день в Антверпене! Мы не позволили маме идти к пароходу, потому что при расставании с родственниками она будет плакать и вконец погубит свои глаза.

Но что толку? Она еще сильнее плакала. Она твердит, что мы лишаем ее единственного утешения — хотя бы выплакать свое горе, сердце облегчить!.. Но кто ее слушает?

5

Знаете, кто рад отъезду наших родичей? Ни за что не угадаете, — Голделе! Та самая девочка с больными глазами, родители которой уже больше года в Америке, а она все еще лечит глаза в Антверпене. Услыхав, что наши родственники собираются уезжать, она чуть в пляс не пустилась. В чем дело? Она терпеть не может Алту, которую мне когда-то прочили в невесты. Не любит она ее за чванство. Голделе ненавидит зазнаек.

— Твою невесту с рыжими косичками я видеть не могу: она гордячка! — сказала мне однажды Голделе. При этом лицо у нее пылало как огонь.

— Откуда у Алты взялись рыжие косички, когда они вовсе черные? — удивился я.

Но Голделе еще пуще рассердилась, расплакалась и сказала:

— Рыжие! Рыжие! Рыжие!

Когда Голделе сердится, ее лучше всего оставить в покое, пока она отойдет. Уляжется гнев — ее узнать нельзя. Со мной она совсем как сестра. Рассказывает мне обо всем: как она работает в гостинице, под-

метаает комнаты, кормит кур, нянчит ребят (хозяйка, у которой она живет, долгое время не имела детей; сейчас господь подарил ей сразу двойню). Затем Голделе рассказывает, как она ежедневно ходит лечить глаза и как доктор делает ей прижигание тем же синим камнем, что и другим больным.

— Эх, был бы у меня свой собственный камень, может быть, я увидела бы когда-нибудь своих папу и маму...

Так говорит Голделе, и на ее больные глаза навертываются слезы. У меня сердце разрывается. Не могу я слышать, как она говорит о своих родителях. Не могу видеть, как она плачет.

Я говорю ей:

— Знаешь, Голделе. Вот я еду в Америку. Я там сделаю жизнь и пришлю тебе оттуда синий камень.

— Не обманешь? Поклянись верой и правдой! — отвечает Голделе.

Я клянусь верой и правдой, что не забуду о ней. Как только господь мне поможет, как только начну «делать жизнь» в Америке, сейчас же вышлю ей синий камень.

6

Я уже знаю наверное, что в субботу утром мы едем в Лондон. Мы уже готовимся в путь. Моя мама, золовка Броха и Тайбл ходят из гостиницы в гостиницу прощаться с эмигрантами. И не столько прощаться, сколько излить свою душу перед другими людьми.

Что же оказывается? Нам еще грех жаловаться! Есть среди эмигрантов такие злосчастные, которые нам завидуют. Об их горестях даже не расскажешь. Все они у себя дома были зажиточными людьми, у всех был дом — полная чаша. У всех столовались нищие. Все они желают иметь столько, сколько у них отобрали. Все удачно выдали замуж и женили своих детей... А теперь все они нищие.

Странные люди! Мне уже приелись все эти истории. Раньше, бывало, как услышу про погром, я сразу настораживаюсь. Теперь я удираю. Мне больше нравятся веселые истории. Был у нас один веселый человек, хоть и лгун ужасный, — фельдшер Бибер, но и он уже в Америке.

— Небось врет там почему зря! — говорит Пиня.

— Долго ему врать не дадут. Не беспокойтесь. В Америке таких не любят... Там лгун хуже вора! — отвечает Эля.

— А почему ты знаешь? — спрашивает Броха.

И начинается канитель: я и Пиня поддерживаем брата Элю, а Тайбл держит сторону Брохи. Одни говорят одно, другие — наоборот.

Мы, мужчины: Америка — страна сплошной правды!..

Они, женщины: Америка — страна сплошных лгунов!

Мы, мужчины: Америка зиждется на правде, справедливости и сострадании!

Они, женщины: воровство, разбой, шарлатанство!..

К счастью, вмешивается мама.

— Детки, — говорит она, — к чему вам ссориться из-за Америки, когда мы еще в Антверпене?

Она, конечно, права. Мы все еще в Антверпене. Но уже ненадолго. Скоро-скоро мы уезжаем в Лондон. Все разъезжаются, все эмигранты, вся орава.

Что станет с Антверпеном?!

XXI. ПРОЩАЙ, АНТВЕРПЕН!

1

Ни один город мне не было так жалко покидать, как Антверпен. И не столько город, сколько людей. И не столько здешних людей вообще, сколько ораву эмигрантов. И не столько саму ораву, сколько моих товарищей и подруг. Многие уехали раньше нас. Вашти, Алта, Мотл Большой давно уже в Америке — делают жизнь. Остался один Мендл (Броха прозвала его «лошаком»), да еще Голделе — девочка с большими глазами. И больше никого. Что будет делать «Эзра», которая помогает эмигрантам? Кому она будет помогать? Затем жаль мне и сам Антверпен. Я буду скучать по Антверпену. Славный город, славные люди! Все торгуют брильянтами. Все носятся с камнями. Все знают одно дело: резать, гранить, шлифовать камни. Кого ни встретишь — либо камнерез, либо гранильщик, либо шлифовщик. Многие мальчишки из нашей оравы остались здесь и стали камнерезами. Если бы мы не рвались так в Америку, меня бы тоже отдали учиться, сде-

лали бы камнерезом. Моему брату Эле нравится это дело. Нашему другу Пине — тоже. Будь они помоложе, они, говорят, и сами принялись бы за работу — камни шлифовать. Броха смеется над ними. Она говорит, что драгоценные камни хорошо носить, а не шлифовать. Жена Пини тоже такого мнения. Тайбл и сама не прочь носить камни. Каждый день они ходят разглядывать витрины и налюбоваться не могут на бриллианты и алмазы, которые валяются, как мусор.

У женщин голова кругом идет, в глазах все мелькает. Выдержать не могут! Пиня смеется над ними. Он говорит, что все эти камни для него выеденного яйца не стоят. А те, что гонятся за ними, кажутся ему сумасшедшими. Думаете, он стихов про них не сочинил? Вот как они начинаются:

Антверпен — город камней!
Знает об этом весь свет.
Кругом полно богачей,—
Нищих в Антверпене нет!
Замечательная страна!
Алмазам — грош цена.
Брильянтов здесь больше всего!
Драгоценностей? Уйма различных!
Не хватает им лишь одного —
..... наличных...

Дальше не помню.

2

Запомнить все стихи, которые сочиняет Пиня, — надо иметь министерскую голову! Мой брат Эля ругается с ним из-за этого. Он говорит, если в «Эзре» узнают, что мы сочиняем стишки про Антверпен, нас выгонят из города. А мы и перед отъездом крепко надеемся на то, что «Эзра» нам чем-нибудь поможет.

Мы ходим туда каждый день. Мы там свои люди. Девушка, которая записывает в книгу, фрейлейн Зайчик, знает всех нас по именам. Меня она любит как родного, с мамой она как сестра. Можете представить, какова она, если даже Броха считает, что у барышни Зайчик добрая, еврейская душа. Вся орава эмигрантов в нее влюблена. И особенно за то, что она разговаривает с ними не по-немецки, а по-еврейски. Остальные все говорят только по-немецки, хоть ты им кол

на голове теши! Пиня заявляет, что страна эта немцам не принадлежит и что евреи могли бы здесь говорить по-еврейски. Ничего бы им от этого не сделалось. Но все евреи по эту сторону границы не любят еврейского языка. Даже нищие и те говорят здесь по-немецки. С голоду помирать будут, лишь бы по-немецки! Так говорит Броха и торопит, чтобы мы скорее ехали в Лондон. Ей уже надоел Антверпен и здешний язык. На каждом шагу только и слышишь: «Брильянты! Алмазы!» Все таскают полные карманы камней. А нам хоть бы один брильянт перепал!

— Потерял бы кто-нибудь парочку алмазов, а я бы их нашла! — говорит Броха, и глаза у нее при этом горят.

Не знаю, почему Броха так сохнет по алмазам и брильянтам? Я отдал бы вам все камни на свете за один ящик с красками и с кисточкой для рисования. Недавно я нарисовал пароход, битком набитый эмигрантами, и подарил этот рисунок Голделе. Она показала его барышне Зайчик, а та показала всем в «Эзре». Увидел это брат Эля, и опять мне досталось:

— Человечки?! Перестанешь ты когда-нибудь человечков малевать?

Давно уже Эля не колотил меня так. Я рассказал об этом Голделе, а она — барышне Зайчик. Тогда барышня Зайчик поймала моего брата и стала выговаривать ему за то, что он меня бьет. Брат Эля выслушал, вернулся домой и тогда только задал мне по-настоящему. Он говорит, что должен выбить из меня эту дурь — малевать «человечков».

3

Сегодня мы в последний раз были в «Эзре». Что мы там делали, я не знаю. Брат Эля о чем-то толковал. Пиня размахивал руками. Броха вмешивалась в их разговор, мама плакала. «Эзровцы» тоже что-то говорили — по-немецки, разумеется. Их было трое, и каждый из них щеголял своим немецким языком... О чем они говорили, я понятия не имею! Мысленно я уже на корабле, на море, в Лондоне, в Америке... Но в эту минуту прибегает Голделе и единым духом:

— Едешь?

— Еду!

- Когда?
- Завтра.
- Куда?
- В Лондон.
- А оттуда?
- В Америку.

— А я остаюсь здесь с больными глазами, а мои родители, бог весть, увижу ли я их когда-нибудь!

Голделе плачет. У меня сердце щемит. Хочу ее утешить — нет слов. Смотрю на нее и думаю: «Господи боже мой! Чего ты хочешь от этой девочки? Что она тебе плохого сделала?»

Беру ее за руку, ласкаю:

— Не плачь, Голделе! Вот увидишь, приеду я в Америку, устроюсь и первым делом вышлю тебе синий камень для глаз. А потом я вышлю тебе шифскарту, то есть половину шифскарты, — ведь тебе еще десяти лет нет. Приедешь в Америку, а там в «Кестл-Гартл» тебя будут ждать папа и мама. Я тоже буду там. Как будешь подъезжать к Америке, смотри на «Кестл-Гартл» в оба и ищи меня глазами. Я буду держать в руках вот этот карандаш! Видишь? Увидишь в Америке мальчика с таким карандашом в руках — так и знай, что это я, Мотл. Потом, когда выйдешь на берег, поцелуешься с папой и мамой. Но домой ты с ними не пойдешь. Ты отдашь им свои вещи, а сама пойдешь со мной — Америку смотреть. Я покажу тебе всю Америку, потому что буду уже знать там все вдоль и поперек. Потом приведу тебя домой к твоим родителям, будешь с ними ужинать, свежий бульон...

Голделе не стала слушать дальше. Она бросилась ко мне на шею и начала меня целовать. А я — ее.

4

Манера, доложу я вам, у этой Брохи: появляется где не надо. Принесла ее нелегкая как раз в ту минуту, когда я прощался с Голделе! Она ничего не сказала, ни полслова не проронила. Протянула только своим басом на целых три версты:

— Во-о-о-о-т оно что-о-о-о!..

Потом как-то по-особому поджала губы и покрутила носом. Да еще кашлянула при этом: «К-хм!» И отправилась прямо к моему брату Эле.

Что она ему говорила, я не знаю. Знаю только, что, когда мы вышли из «Эзры», он закатил мне пощечину, да такую, что у меня в обоих ушах зазвенело.

— За что? — спросила мама. — Что случилось?

— Он знает за что! — ответил Эля, и мы все пошли в гостиницу.

А там — шум, сутолока. Надо укладываться. Я люблю смотреть, как укладываются. Мой брат Эля — мастер по упаковке. Он снимает кафтан и начинает командовать:

— Давайте сюда грязное белье! Мама, чайник! Броха! Шляпу давай! Скорей! Калоши! Пиня, слепая курица, не видишь, что ли? Вот они, калоши, у тебя под самым носом! Мотл, чего стоишь как истукан? Помогай! Только человечков умеешь малевать!

Это уже относится ко мне. Я бросаюсь со всех ног, начинаю швырять все, что под руку подвернется. Эля вспыхивает, хочет меня побить. Но за меня заступается мама:

— Чего ты хочешь от ребенка?

Брохе не нравится, что мама называет меня «ребенком», и она с нею ссорится. Но мама ей напоминает, что я сирота, и хочет начать плакать.

Тогда говорит Эля:

— Плачь! Плачь! Выплачь все, что осталось от твоих глаз!..

Сейчас покидаем Антверпен.

Прощай, Антверпен!

XXII. ЛОНДОН, ПОЧЕМУ ТЫ НЕ СГОРИШЬ?

1

С тех пор как живу на свете, я не бывал на такой ярмарке, как в Лондоне. То есть не в Лондоне есть ярмарка, а сам по себе Лондон — ярмарка. Стук, звон, свист, грохот... А людей — будто маку насыпали, будто мошкара налетела! Откуда берется столько людей и куда они все спешат? Не то голодные, не то уезжать собираются... Иначе непонятно: зачем так толкаться, орудовать локтями, опрокидывать людей и топтать их? Это я говорю о Пине. Наш друг Пиня, как вы помните, очень близорук. К тому же он всегда задирает

кверху голову и ходит, как стреноженный. Человек он рассеянный, мысли у него витают в облаках.

Первое приветствие он получил на станции. Не успели мы вылезти из вагона, как случилось несчастье. Первым выскочил Пиня. Одна штанина задрана, чулок спущен, галстук, как всегда, на спине.

Никогда я не видал Пиню в таком состоянии. Он был как в жару. Начал, по своему обыкновению, сыпать непонятными словами: «Лондон! Англия! Дизраэли! * Бокль! «История цивилизации»!..» Успокоить его было невозможно. И не прошло и двух минут, как наш друг Пиня лежал уже на земле, а люди шагали через него, как через полено. К счастью, жена его, Тайбл, подняла крик:

— Пиня, где ты?

Мой брат Эля бросился в толпу и вытащил его, помятого и потертого, как поношенная шляпа. Это было первое происшествие. Второе случилось в тот же день, в городе, и как раз на еврейской улице, которая носит странное название «Уайтчепель». Здесь продают рыбу и мясо, молитвенники, яблоки, квас, торты и пряники, нарезанные куски селедки, талесы, лимоны, шерсть, яйца, рюмки, горшки, калоши, лапшу, веники, свистульки, перец, веревки, точь-в-точь как у нас. Даже грязи ничуть не меньше. И пахнет так же, а порой — и хуже. Мы ужасно обрадовались, когда увидели этот Уайтчепель. А Пиня даже чересчур обрадовался.

— Бердичев! — раскричался он. — Помилуйте, друзья мои! Мы не в Лондоне, мы в Бердичеве!

Ну и показали же ему «Бердичев»! Я думал, что его в больницу отвезут. С тех пор Тайбл не отпускает его от себя ни на шаг.

Я смотрю на Уайтчепель и думаю: «Господи! Если в Лондоне такая кутерьма, то что же тогда в Америке?»

Однако поговорите с Брохой — она вам скажет, что Лондон мог бы сгореть до того, как мы сюда приехали. С первой минуты она возненавидела этот город!

— Разве это город? — говорит она. — Это ад! Огонь мог бы пожрать его еще в прошлом году!

Мой брат Эля пытается оправдать Лондон, найти в нем достоинства. Но ничего не помогает. Броха мечет громы и молнии и желает этому городу сгореть. Тайбл ее поддерживает.

Мама говорит:

— Авось бог смилостивится и Лондон будет нашим последним испытанием.

И только мы втроем — я, Эля и Пиня — самого высокого мнения о Лондоне. Нам нравится именно эта сутолока, этот шум и грохот.

Что нам этот грохот? Пускай грохочет! Не нравится нам то, что мы околачиваемся без дела. Ищем комитет и не можем его найти.

Кого ни спросишь — либо не знает, либо не желает отвечать. Всем некогда, все заняты. Бегут! Но комитет нам нужен обязательно! Без комитета нам не обойтись. Нам не на что добраться до Америки. Карман моего брата Эли опустел. Деньги, которые мы выручили за нашу половину дома, расплзлись как дым.

— Что ты будешь делать со своим карманом? — шутит Пиня.

Эля сердится. Он шуток не любит. Он полная противоположность своему товарищу Пине. Эля — плаксивая душа. Пиня называет его «замороженный хозяйчик»...

Пиню я люблю за то, что он всегда весел. А с тех пор как мы приехали в Лондон, он повеселел еще больше. Он говорит, что там, в Кракове, во Львове, в Бродах, в Вене, в Антверпене, приходится объясняться по-немецки. А здесь, в Лондоне, — удовольствие. Здесь можно говорить по-еврейски, как дома, то есть наполовину по-еврейски, наполовину по-русски.

Но здешний язык еще хуже немецкого. Броха говорит, что она одного немца на трех англичан не променяет.

— Где это, — говорит она, — слыхано, чтобы улица называлась «Вайтчепель», а деньги — «айпени», «тапени», «трипени»?

Есть еще одно слово, означающее деньги: «файф». С этим словом связана целая история, случившаяся с нами. Если хотите, расскажу.

2

Вы уже знаете, что мы в Лондоне разыскиваем комитет. Отыскать в Лондоне комитет — все равно что иголку в стоге сена найти. Есть, однако, бог на свете. Идем мы однажды по Уайтчепелю. Было это в сумерки. То есть не в сумерки, а днем. Но в Лондоне не бывает ни дня, ни утра — здесь всегда сумерки.

И вот встречает нас человек в короткой куртке, в какой-то чудной шапке, с любопытными глазами.

— Готов побожиться,— говорит он,— что вы евреи...

— Конечно! Разумеется! Да какие еще евреи! — отвечает Пиня.

— Не хотите ли богоугодное дело сделать? — спрашивает он.

— Например?

— У меня сегодня йорцайт *. Уйти из дому в синагогу я не могу. А чтобы помолиться дома, не хватает нескольких человек для миньена. Этому пареньку уже исполнилось тринадцать?

Это он — обо мне. Я доволен, что он назвал меня пареньком и думает, что я уже взрослый.

Взобрались мы с ним в темноте по лестнице и вошли в темную комнатку, битком набитую мордастыми малышами, пропахшую жареной рыбой. Миньена еще не было. Не хватало семерых. Наш новый знакомый попросил нас посидеть, а сам выскочил на улицу — ловить желающих помолиться. Несколько раз пришлось ему бегать на улицу, пока он сколотил миньен. Тем временем я успел познакомиться с мордастыми ребятами и заглянуть в печь. Там жарилась рыба. Слово «жарить» здесь говорят так, что по-нашему получается «радоваться». Не понимаю! Рыба, что ли, очень радуется тому, что ее жарят? Так или иначе, но «радующаяся» рыба вовсе не так плоха, как это хочет представить моя золовка Броха. Во всяком случае, если бы мне сейчас предложили кусок этой рыбы, я бы очень обрадовался. Думаю, что и сама Броха тоже не отказалась бы. Мы все целый день ничего не ели. Уже несколько дней, как мы кормимся только селедкой и редькой. Наш хозяин поступил бы очень разумно, если бы предложил нам остаться и закусить. Но он, видать, и не догадывался о том, что мы голодны. Откуда я знаю? Очень просто: как только кончилось моление, а хозяин отхватил «Каддиш», он поблагодарил нас за труд и сказал, что мы свободны.

Однако мой брат Эля захотел воспользоваться случаем. Он завел разговор о комитете, поглядел при этом на жареную рыбу и проглотил слюну.

Хозяин, держась за двери одной рукой и размахивая второй, стал рассказывать о комитете невеселые вещи. Сначала он заявил, что вообще никакого комитета нет.

То есть имеется комитет, и даже не один, но лондонские комитеты не так-то просто выдают деньги. Чтобы получить помощь от лондонского комитета, вам придется основательно побегать, представить документы и свидетельства, что вы действительно эмигрант и действительно едете в Америку. Потому что имеется много эмигрантов, которые только говорят, что едут в Америку. А затем, когда вы все предъявите, комитет может выдать вам некоторую сумму только на обратный путь, то есть на проезд обратно домой. Потому что лондонские комитеты относятся к Америке очень холодно.

Услыхав такие речи, мой брат Эля рассердился (вы же знаете, что он вспыльчив). А о Пине, и говорить нечего. Он загорелся и пошел сыпать по-своему:

— Как можно? Какое полное право они имеют посылать нас обратно? Как им не стыдно? Здесь, в стране цивилизации?..

Но хозяин перебил его, отворил двери и сказал:

— Говори — не говори... Все равно. Вот вам адрес комитета, съездите туда, тогда сами увидите, что все ол райт!

3

Когда мы вышли на улицу, нас преследовал запах жареной рыбы. Все мы думали о ней, хотя никто, кроме Брохи, ни слова не сказал об этом. Зато Броха не поскупилась на добрые пожелания:

— Чтоб они подавились, господи боже мой, своей жареной рыбой, от которой несет за версту!..

— Чего ты хочешь от них? — возражает мама. — Порядочные люди! Живут, несчастные, в таком аду... И все же в поминальный день заботятся о миньене...

— Свекровь! — не перестает возмущаться Броха. — Пусть они сгорят вместе с их йорцайтом и их жареной рыбой! Останавливают незнакомых людей, зазывают их к себе в дом, а нет того чтобы дать ребенку кусок жареной рыбы, хотя бы из приличия...

Это она меня имеет в виду. Только что наш новый знакомый принял меня за тринадцатилетнего, а сейчас я для Брохи стал «ребенком»... «Да и вообще, хороши времена, если Броха стала заступаться за меня!» — подумал я.

Вшестером отправляемся в комитет. Наш негостеприимный хозяин посоветовал, чтобы мы не шли пешком,

а сели в трамвай и поехали прямо туда. Но беда с этими лондонскими трамваями: они не любят останавливаться. Как ни маши им руками, они делают свое дело — бегут. Бежать за ними следом — напрасный труд: не догонишь. К счастью, над нами сжалился какой-то англичанин с бритыми усами. (Если увидите человека с бритыми усами, знайте — это англичанин.) Англичанин, увидев, что мы машем руками, а трамвай пробегает мимо, отвел нас к какой-то церкви и знаками объяснил, что тут надо подождать. И действительно! Не прошло и минуты, как подошел трамвай и остановился. Мы все вошли и поехали.

В ту же минуту к нам подошел кондуктор и потребовал, чтобы мы взяли билеты. Пиня вышел вперед и спросил:

— Сколько?

— Файф! — ответил кондуктор.

Пиня еще раз спросил:

— Сколько?

— Файф! — повторил кондуктор уже с раздражением.

Тогда Пиня обращается к нам:

— Что такое? Вы слышите? Он велит нам свистеть!..

Мой брат Эля подошел к кондуктору и при помощи рук переспросил, сколько стоит проезд.

Кондуктор рассвирепел:

— Файф!

Пиня расхохотался, а Эля тоже вскипел и крикнул кондуктору:

— Сам свисти!..

Тот не выдержал и дернул за веревку, остановил трамвай и вышвырнул нас с такой злобой, как если бы мы намеревались зарезать его и отобрать сумку с деньгами.

А на поверку оказалось, что «файф» по-ихнему — это пять.

— Ну, посудите сами, не должен ли сгореть такой город? — спрашивает Броха, и мы отправляемся в комитет пешком.

4

В лондонском комитете весело, как и во всех других комитетах. Во дворе валяются эмигранты, словно кучи мусора, а в комнате сидят люди, курят сигары и говорят один другому: «Ол райт!»

Разница в том, что немецкие комитетчики носят усы, закрученные кверху, и говорят по-немецки, а лондонские комитетчики сбрили наголо усы и бороды и говорят: «Ол райт!» Комедия, да и только.

Мужчины ходят бритые, а женщины носят парики. И не только женщины, даже девицы носят накладные волосы с буклями, у всех у них огромные зубы, и безобразны они до того, что с души воротит.

Тем не менее они смеются над нами, указывают на нас пальцами и так визжат, что слушать совестно.

Две девицы остановили нас посреди улицы и пристали к моему брату Эле, чтобы он пошел в «барбер-шап». Тогда мы не знали, что это значит. Теперь мы знаем: идти в «барбер-шап» — значит остричься и побриться.

Странные существа! Сами ходят забрызганные грязью по самую шею, жрут на улице жареную рыбу, от которой разит за версту, и терпеть не могут волос. Пьют они тоже основательно, только на улицах не валяются, как у нас. Им не позволяют.

— Вообще, — говорит Броха, — страна неплохая, только что гореть не хочет.

— Какая тебе польза будет от того, что она сгорит? — спрашивает Эля.

В ответ Броха обрушивается на моего брата. Она, если захочет, может. Бывает так, что она молчит, слова ни с кем не вымолвит, но иной раз прорвет ее — тогда либо уши ватой затыкай, либо беги куда глаза глядят. Передаю вам ее речь слово в слово:

— Что ты заступаешься за этот хваленый Лондон с черным небом, с бритыми мордами, с замечательным Уайтчепелем, с радующейся рыбой, со старыми девами в буклях и в задрипанных юбках, с нищими, которые пьют джиджер — пиво, с кондукторами, которые приказывают свистеть, с праведниками, которые справляют поминальные дни и скупаются на глоток воды? Такой город обязательно должен сгореть!

Броха выпаливает все это единым духом и, сложив, как на молитве, руки, добавляет:

— Лондон, почему ты не сгоришь?!

Боже мой, когда же мы будем в Америке?..

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

В Америке

1. ПОЗДРАВЬТЕ НАС, МЫ УЖЕ В АМЕРИКЕ!

1

Нас можно поздравить — мы уже в Америке. То есть говорят, что мы уже в Америке. Америки мы еще не видали, так как пока что находимся в «Кестл-Гартл». То есть так это когда-то называлось. Теперь это называется не Кестл-Гартл, а Элис-Айленд. Почему Элис-Айленд?

— Потому что владельцем этой земли был когда-то некий Эля — дурак и пустомеля! — говорит наш друг Пиня, по своему обыкновению, в рифму.

Пиня вообще ужасно зол на этот Элис-Айленд. Почему здесь задерживают эмигрантов-бедняков, а богатых сразу же по прибытии свободно пускают на берег? Это пристало бы русским жандармам, а не такой стране, как Америка! Здесь все должны быть равны. Чтобы не было ни богатых, ни бедных.

И Пиня начинает сыпать: «Колумбус, Шекспир, Бокл, цивилизация!» Он собирается написать об этом стихи и разделаться с американцами по-своему! Он им покажет! Беда только, что у него нет ни пера, ни чернил, ни клочка бумаги.

Мой брат Эля говорит, что если Пине не нравится страна, он волен ехать обратно. Впрочем, вы помните, что Пиня и Эля редко бывают согласны. Что бы один ни сказал, другой будет утверждать обратное. «Зима и лето» — называет их моя золовка Броха и тут же получает основательную порцию от своего мужа. Эля называет ее «коровой», «взбалмошной козой» и други-

ми именами, которые не стоит повторять. А мама говорит своей невестке, что там, где две кошки дерутся, человеку вмешиваться не следует — как бы не оцарапали...

2

Что мы делаем в Элис-Айленде? Ждем, куда придут из города знакомые и родственники и нас выпишут. Хотя выписывали нас уже несколько раз. Нас переписывали, записывали и выписывали при посадке на пароход, потом на самом пароходе и теперь, когда нас высаживали. Каждый раз одно и то же: кто мы такие? Куда едем? Кого имеем в Америке?

Рассказываем, что жил на свете кантор Пейся. Умер, оставил вдову — нашу маму. Есть у нее сын — Эля. У него жена — Броха. А это вот его товарищ — Пиня. Это его жена — Тайбл. А я — самый младший, зовут меня Мотл. Вот мой товарищ — Мендл. А так как он большого роста, Броха прозвала его «лошаком».

Кто у нас в Америке? Да чуть ли не вся Америка — наши знакомые и друзья. Прежде всего — переплетчик Мойше и его жена Песя-толстая, наша соседка. У них орава ребят, и у каждого свое имя и прозвище. Считаем по пальцам: Пиня — Колодка, Велвл — Кот, Мендл — Черногус, Хаим — Буйвол, Файтл — Пе-те-ле-ле, Гершл с желваком на лбу, которого прозвали Вашти...

Но тут нас перебивают и говорят:

— Хватит детворы! Старших! Старших давайте!

Даем старших, перечисляем их по именам: пекарь Иойна — человек сердитый. Раз. Жена его, пекарка на границе. Услыхав слово «граница», мама вспоминает о наших пропавших вещах, спрашивает, нельзя ли их как-нибудь получить, начинает плакать. Тут на нее налетает Эля — зачем она плачет? Но мама говорит, что теперь она уже в Америке, что за свои глаза ей опасаться больше нечего, и, значит, она может плакать и плакать, сколько душе угодно.

3

То, что маму пропустили с ее глазами, — просто чудо! А то, что мы живы остались после путешествия по морю, — разве это не чудо? Сколько раз мы

видели смерть перед глазами! Сколько раз уже прощались с жизнью!..

Вначале, когда мы сели на пароход «Принц Альберт», все было замечательно хорошо. Я и мой товарищ Мендл пустились гулять по «Принцу Альберту» вдоль и поперек. Никому так хорошо не было, как нам. Никогда у нас такой квартиры не было, как сейчас. Дом на воде! Трехэтажный дом на воде. Я однажды уже обрисовал его вам со всеми примечательностями. Представьте себе, вы сидите как будто бы в доме или гуляете, заложив руки в карманы, и в то же время едете! Кушаете и едете! Пьете и едете! А людей — столько людей перевидаешь! Целый город едет с вами. А так как все едут на одном пароходе и в одно место — в Америку, то вы знакомитесь со всеми, и все знакомятся с вами, и вы узнаете за день столько всякой всячины, сколько в другом месте и за год не узнаете.

4

Бог ты мой, сколько знакомств завели моя мама, Броха и Тайбл среди женщин! Но все это ничто в сравнении с количеством знакомых, которых приобрели мой брат Эля и его друг Пиня среди мужчин. Сколько они ни говорили — никак наговориться не могли. Женщины разговаривали о домашних делах: о кухне, о кладовой, о чистом и грязном белье, постели, о чулках, наволочках, ротондах... А мужчины — об Америке, о заработках, о Колумбусе, о гонениях и погромах.

Без гонений и погромов они никак обойтись не могут. А я уже давно говорил вам, что не терплю этого. Чуть заговорят о таких вещах, я ухожу. Беру за руку своего товарища Мендла, и мы отправляемся гулять по улицам «Принца Альберта».

5

«Принц Альберт» достаточно велик и красив. Каменные ступени, медные перила. Сталь и железо — куда ни глянь. Затем «люди», то есть прислуга! Их называют «стюардсы» и «нойрсес». А матросы — как черти! Носятся во все стороны. Я и Мендл зави-

дуем им. Мы даем себе слово, когда вырастем и станем большими, записаться в матросы.

Одно нехорошо на «Принце Альберте»: нас не всюду пускают. Стоит нам попытаться выбраться из третьего класса, в котором мы едем, как нас тут же прогоняют. Сами матросы! Они ужасно злые. Да и пассажиры высших классов тоже злюки порядочные. Не будь они злюками, они запретили бы матросам выгонять нас. И что им сделается? Съедем мы там что-нибудь, что ли? Мой товарищ Мендл вообще недоволен. Он не понимает, для чего нужны классы. В Америке, говорит он, нет никаких классов.

Если я не верю, то могу спросить у моего брата Эли. Но Эля не любит, когда задают глупые вопросы. Я лучше спрошу нашего друга Пиню.

Пиня как раз не прочь поговорить о таких вещах. Он может совсем вас заговорить. Его только затронь — он, как заведенный будильник, не умолкнет, покуда завод не кончится.

6

Пиню я застал на палубе. Он сидел, уткнувшись носом в книгу. Он так близорук, что читает не глазами, а кончиком носа... Я подошел к нему вплотную.

— Реб Пиня, хочу вас кое о чем спросить.

Пиня отвел нос от книги.

— Что скажешь, малыш?

Так называет меня Пиня, когда он ко мне расположен. А расположен он ко мне почти всегда — даже когда ссорится с моим братом Элей, даже когда его жена Тайбл дуется.

Говорю ему, так, мол, и так. Правду ли говорят, что в Америке классов нет?

Надо было вам видеть, как загорелся Пиня, как он разгорячился, принялся ораторствовать, плевать, сыпать высокими словами: Америка — единственная страна настоящей свободы, настоящей справедливости! В Америке, говорит он, вот здесь можешь сидеть ты, а рядом с тобой — президент, подальше — нищий, побируша, ничтожество, а еще дальше — граф, князь, миллионер! Прогресс! Колумбус!..

Пиня только было собрался пустить в ход самые красивые слова, как его вдруг перебил какой-то эмигрант, совсем незнакомый:

— Если это и в самом деле, как вы говорите, такая счастливая страна, где все равны,— откуда же там берутся нищие и графы, побируши и вельможи? Одно из двух...

Но тут мы оставили Пиню с этим эмигрантом и другими пассажирами,— пускай себе дерутся,— лишь бы мы добились своего: узнали, что в Америке классов не существует. Выходит, стало быть, что Мендл прав. Он говорит, что классы надо ненавидеть. То есть что пассажиров высших классов надо ненавидеть!

Я не понимаю — почему? Что я могу иметь против них?

Но Мендл говорит:

— А чего они заперлись у себя во втором и в первом классе среди зеркал? Не пристало им, таким важным барам, сидеть вместе с нами здесь внизу? Или мы не такие же люди, как и они? Или бог у нас с ними не один и тот же?

Однако Мендл дождался-таки своего часа. Наступила ночь, когда вся знать, и второклассная и перво-классная, спустилась-таки к нам, в третий класс, и наступило всеобщее равенство.

Было это в ночь йом-кипур, когда читают «Кол-ни-дрей» *.

7

Так как «Принц Альберт» вышел из Лондона в покаянные дни, то справлять йом-кипур пришлось на пароходе. Накануне заговелись жареной картошкой — здесь это называется «петейтес». Кошерной кухни на «Принце Альберте» нет, вот и приходится нам все время питаться одной картошкой. Хлеба дают вдоволь. Чай и сахар бывают каждый день. Было бы совсем неплохо. Целый год можно так прожить. Однако моя золовка Броха говорит, что от этих «петейтес» живот разбухает. Но мало ли, что она может сказать? Ей не угодишь. Во всем она отыщет недостаток. Ей, например, и «Принц Альберт» не нравится за то, что он ползет. Где это слыхано, говорит она, чтобы поезд-

ка длилась десять дней? Ей отвечают, что виноват не пароход, а море. Наш друг Пиня принимается ей толковать, что моря на земле втрое больше, чем суши. А мой брат Эля говорит, что не втрое, а вдвое. Что-что, а географию он лучше знает. На земле, говорит он, две трети воды и одна треть суши. Значит, моря вдвое больше. А Пиня говорит:

— Нет, втрое!

— Нет, вдвое!

— Втрое!

— Вдвое!

Начинается ссора, но не надолго: вскоре они мирятся.

8

Кто будет молиться у аналая? Читать «Кол-нидрей»? Разумеется, мой брат Эля. Правда, кантором он никогда не был, но зато отец у него был кантором, известным кантором. Голос у него есть. Читает он хорошо. Что же вам еще надо?

К тому же наш друг Пиня способствовал тому, чтобы моего брата даже просили читать молитву. Он пустил по пароходу слух, нашептал каждому на ухо, что вон тот молодой человек с рыжей бородкой (Эля) — замечательный кантор. Молитвы он поет мастерски. А если ему еще поможет его братишка, вон тот малыш (это я), своим сопрано, то Судный день на пароходе будет такой, что нам сам бог и люди позавидуют!..

Сколько Эля ни умолял, чтобы его оставили в покое, как ни божился, что никогда в своей жизни в праздники у амвона не молился, ничего не помогло. Его чуть ли не силой притащили к амвону (поставили круглый столик и накрыли белой простыней), а меня Пиня так просто взял за ухо:

— А ну-ка, малыш, за работу!

И мы преподнесли пассажирам «Кол-нидрей», да так, что они небось запомнили надолго.

Дело не столько в «Кол-нидрей», сколько в других молитвах, и не столько в молитвах, сколько в плаче женщин и мужчин.

Вначале молящиеся только стонали, вздыхали, сморкались. Потом стали вытирать глаза, потом — потихоньку плакать, затем — все громче и громче, а потом уж вопить, причитать, падать в обморок.

Люди вспомнили о том, что всего год тому назад каждый из них жил у себя дома, молился в своей синагоге, на своем месте, у своего пюпитра, со своим молитвенником. Слушали своего кантора, своих певчих. А сейчас они скитаются, гонимые и преследуемые, как овцы, которых везут на убой, в тесноте, без воздуха...

Можете себе представить, какое у всех было настроение, если даже расфранченные пассажиры высших классов, в сверкающих цилиндрах на головах, и те не выдержали и прижимали шелковые платки к лицу, якобы вытирая пот. Но я-то хорошо видел слезы у них на глазах.

Всеобщая печаль была до того велика, что даже «стюардсы» и матросы почтительно стояли в стороне и наблюдали за тем, как люди в белых талесах, без обуви *, раскачиваются и плачут, — видно, достаточно горько у них на душе.

Мой брат Эля распелся вовсю. Я помогал ему. А поодаль, в углу, среди женщин стояла моя мама в праздничном шелковом платке, с молитвенником в руках и лила слезы в три ручья.

Маме теперь вольготно: настало ее время!

10

На следующий день мы постарались встать пораньше, чтобы начать моление вовремя. Однако ничего из этого не вышло. Невозможно было не то что молиться — стоять на ногах, нельзя было добраться до амвона. В глазах потемнело. Еле друг друга различали. Жизнь немила стала. Скверно, скверно, хоть умирай! Да, мы умирали.

Что произошло? Я сейчас очень устал, оставляю это до завтра.

Я начал было рассказывать вам, что произошло утром Судного дня на пароходе «Принц Альберт». Это было страшное происшествие. Мы запомним его на всю жизнь.

Началось это с пустяков. Ночью, вскоре после «Колнидрей», на небе показалась небольшая тучка, плотное, черное облачко. Раньше других заметили это я и мой товарищ Мендл. Когда все еще были внизу и после вечерней молитвы плакали и читали псалмы, мы с Мендлом разгуливали по «Принцу Альберту». Потом, забравшись в уголок, сидели и молчали.

Было тихо, тепло и хорошо на душе. Только немного грустно. О чем думал Мендл, не знаю. Я думал о боге, восседающем вон там, на небе. Как велик должен он быть, если все это принадлежит ему! И о чем он думает, когда слышит столько людей, читающих псалмы, восхваляющих его и изливающих перед ним свою душу? Мама говорит, что он всех видит и слышит. И все знает. Даже то, о чем я в эту минуту думаю. Нехорошо, если это так. Потому что только что я думал о вкусном яблоке, о сладкой груше или хотя бы о глотке воды, холодной воды. От картошки все внутри горит, а пить нельзя. В йом-кипур, после «Колнидрей», кто станет пить воду? Эля убьет меня. Он хочет, чтобы я и вовсе постился до завтрашнего вечера. Мама говорит: «Посмотрим».

А пока что она разыскивает меня по всему пароходу и не может найти. Один из матросов сказал ей, что я и Мендл сидим на самом носу. Мама зовет:

— Мотл! Мотл!

— Что, мама?

— Как это — «что»? Спать иди. Завтра надо рано вставать! Забыл? Праздник...

Уходить не хочется. Однако надо ложиться спать!

Утром, когда мы проснулись, все небо было уже обложено. Море рассвирепело. Волны поднимались выше парохода и швыряли «Принца Альберта»,

словно щепку или игрушку. Матросы бегали взад и вперед, как затравленные мыши. «Стюардсы» держались за перила. Пассажиры ходили, прижимаясь к стенам, и падали чуть ли не на каждом шагу. Вдруг разразился ливень. Гром грохотал беспрерывно. Бог разъезжает на своей колеснице в самый йом-кипур!.. Молнии одна за другой освещали черное небо. «Принц Альберт» кряхтел, раскачивался, поднимался и опускался. А дождь хлестал! Что это? Потоп? Но ведь бог дал клятву, что потопа на земле никогда больше не будет...*

— «Разверзлось Чермное море», — говорит мой брат Эля, и наш друг Пиня подтверждает:

— Да, как в Писании сказано...

Впервые, кажется, оба сказали одно и то же.

Слова эти, видно, понравились. Каждый раз, когда кто-нибудь из пассажиров поднимается и выглядывает наружу, он говорит, что действительно «разверзлось Чермное море». Затем человек как-то странно отбегает в сторону, отдает материнское молоко и исчезает...

Какое там моление? Где уж там йом-кипур? Люди позабыли обо всем на свете.

3

В нашей семье почин положила Броха. Начала кричать, что она вот-вот умрет!.. Потом принялась проклинать моего брата Элю. Зачем он уговорил ее ехать в Америку? Она наперед знала, что Америка — это Сибирь! Хуже Сибири! Сибирь — золото в сравнении с Америкой!..

Мама хотела заступиться за своего сына, начала увещевать невестку, говорить, что человек должен уметь переносить все, потому что все от бога. Ведь вот в молитвеннике сказано...

Но что сказано в молитвеннике, она проговорить не смогла, так как ей вдруг сделалось нехорошо. Глядя на нее, упала в обморок Тайбл. Тогда выступил Пиня.

— Комедия с этими женщинами, честное слово! — произнес он, заложив руки в карманы и сдвинув шляпу набекрень. — Глупцы! Дурачье! Казалось бы, не все ли мне равно, бушует ли море, качает ли пароход? Человек, разумное существо, находит выход из поло-

жения. Когда пароход кренится сюда, я накренаюсь в другую сторону, пароход — туда, а я — в эту сторону... Это называется «баланц»...

И кренясь то в одну, то в другую сторону, Пиня устроил такой «баланц», что сделалось дурно и моему брату Эле... Оба они вернули все, что ели когда-либо... То же было и с остальными пассажирами. Все они еле добирались до своих коек и валились как снопы. И лишь после этого началось форменное светопреставление...

4

Мы с моим товарищем Мендлом держались дольше всех. У Мендла было средство, которому его научил один из эмигрантов, ехавших вместе с нами и все время дававший нам советы. Эмигрант этот — «тертый калач». Так он сам о себе говорил. Он уже трижды ездил по морю в Америку и обратно. Вот он и знает средство от моря. А средство это состоит в том, чтобы сидеть на палубе и смотреть не по ширине моря, а вдоль, и не думать, что едешь верхом на коне, а представлять себе, будто катаешься на санках по снегу.

Кончилось это тем, что наш «тертый калач» свалился полумертвый на свою койку, а я и Мендл промокли на палубе до нитки. Добраться до наших коек мы уже были не в силах. Нас взяли под руки и отвели на место.

5

Сколько времени все это продолжалось? День, два, а может быть, всё три, — не знаю. Забыл уже. Знаю только, что, когда мы очнулись, жизнь на земле показалась нам радостной! Небо очистилось. Вода как стекло. «Принц Альберт» мчался, умытый, нарядный, рассекал колесами воду, поднимал пену, рассыпая во все стороны брызги. Пассажиры ожили, все от мала до велика вылезли наружу, на солнышко, на чудесный божий свет.

Кто-то пустил слух, что скоро покажется земля. Я и мой товарищ Мендл первые сообщили пассажирам добрую весть о том, что земля уже видна! Издали она казалась пятном, большим желтым пятном. Пятно

увеличивалось, ширилось. А вот уже видать и корабли. Множество кораблей с высокими тонкими мачтами...

Все горести позабыты. Пассажиры оделись по праздничному. Женщины принарядились. Мой брат Эля расчесал свою бороду. Броха и Тайбл повязали головы. Мама надела субботний шелковый платок. Мне и Мендлу надевать было нечего. Да и некогда. Мы уже подходили к берегам Америки. Посветлело в глазах, на душе стало весело.

Так должны были чувствовать себя евреи после перехода через Черное море. Хотелось петь и славить бога.

6

— Привет тебе, Колумбус! Привет тебе, свободная страна! Золотая, счастливая держава!

Так приветствовал наш друг Пиня новую страну. Он даже шляпу снял и поклонился. А так как он близорук, то не заметил, что мимо бежит здоровенный, вспотевший матрос с красным закопченным лицом, и они столкнулись лбами. То есть нос нашего друга Пини пришелся матросу между глаз. К счастью, матрос оказался хорошим парнем. Посмотрел он на Пиню и на его разбитый нос, усмехнулся и пробормотал что-то в усы. Наверно, выругался по-американски.

7

Вдруг поднялась суматоха. Пассажирам третьего класса было предложено: будьте любезны спуститься обратно в свои клетушки. Займите ваши места. Сначала просили вежливо. А потом тех, кто не поторопился, стали подгонять тумаками.

И вот все уже внизу: мужчины, женщины, евреи, русские, турки, цыгане... Задохнуться можно. Двери заперли, повесили железную цепь. Мы только в окна можем видеть, что делается снаружи. Никогда мы так скверно себя не чувствовали, как сейчас. Мы сами себе казались пленными.

— За что? Почему? — спрашивает меня Мендл, и глаза у него при этом горят, так и пышут пламенем...

Оказывается, мы уже приехали. Прибыли в Америку. В чем же дело? Пассажиров первого и второго класса спустили по длинной лестнице, чуть ли не в сто ступеней. А что будет с нами? Ведь мы уже в Америке!

— Не про нас это сказано! — говорил один из пассажиров — портной из Гайсина.

Человек он вообще неплохой, только немножко нудный. Одет франтом, носит сильные очки, очень высокого мнения о себе и любит говорить наперекор. Только услышит, что вы говорите, и тут же скажет наоборот. Между ним и нашим другом Пиней произошло уже несколько стычек. Эля с трудом их разнял. Портной дал себе слово больше не разговаривать с Пиней за то, что тот его оскорбил. Пиня обозвал его повсюду: «портняжка», «латочник», «барахольщик»... И спросил, сколько он за свою жизнь наворовал «остатков»?..

Сейчас, когда нас заперли, портной вдруг разговаривался, пересыпая свою речь древнееврейскими словами:

— Что мы? Что наша жизнь? Кто мы такие? Что мы такое? Подобны битым черепкам... Мы как скот. Когда привозят скот, его надо осмотреть...

Тут на него налетел Пиня: сравнение ни к черту не годится! Прежде чем говорить об Америке, надо руки мыть! И начинает сыпать словами, по своему обыкновению. Он слышать не может, когда плохо отзываются об Америке.

Портной отвечает, что он об Америке не говорит ни хорошо, ни плохо. Он это только к тому, что все действительно замечательно, и чинно, и благородно, да только не про нас... Нас не так-то скоро выпустят...

Пиня выходит из себя. Он кричит:

— А что же с нами будут делать? Солить впрок?

— Солить нас не будут, — отвечает ехидно и с удовольствием портной, — но отведут в такое место, которое называется Элис-Айленд. Там нас запрут, как телят в хлеву, и будут держать, покуда нашим родичам и знакомым не заблагорассудится прийти за нами...

Пиня даже подскакивает:

— Удивительная история с этим человеком! Этот

портняжка уже наперед знает обо всех несчастьях на свете! Не так чтобы стар, а опытен! Мы как будто и сами знаем, что существует Кестл-Гартл, то есть Элис-Айленд. Однако я ни от кого не слышал, что Элис-Айленд существует для того, чтобы там людей держали, как телят...

Чем дальше, тем больше горячится Пиня. Он настигает на портного, будто растерзать его хочет. Портной пугается и отходит в сторону.

— Тише! — говорит он. — Смотри пожалуйста! Зарезали его! Оклеветали его Америку! Не хотите — не надо! Вот станем старше на несколько часов, тогда поумнеем...

III. В ЗАТОЧЕНИИ

1

Недаром наш друг Пиня невзлюбил Элис-Айленд, готов был сочинить о нем стихи и поссорился с моим братом Элей. Однако гнева своего Пиня не обнаруживал. Ему не хотелось, чтобы гайсинский портной знал о том, что он, Пиня, недоволен Америкой. Вот он и крепился. Но внутри у него все горело.

— Как же это? Помилуй! Запирать людей, словно скот, и держать их, как арестантов, как пленных! — говорил он шепотом моему брату Эле, когда нас доставили на Элис-Айленд.

Выходит, стало быть, что портной был прав. Он заранее предсказал, что так и будет. Правда, он немного хватил через край. Он говорил, что нас запрут в хлев, а привели нас в просторное, светлое помещение и кормили совершенно бесплатно, без денег.

Замечательные, приветливые люди! Но пока мы добрались до этого помещения, господи! По длинному мосту с дверцами по сторонам проходили мы поодиночке. На каждом шагу нас останавливала какая-нибудь новая напасть с бляхой на фуражке, осматривала, разглядывала, обыскивала, ощупывала...

Прежде всего нам выворачивали белой бумажкой веки наизнанку и осматривали глаза. Затем — все остальное. Каждый делал на нас пометку каким-то мелком и указывал рукой, куда идти — направо или налево. И только после этого мы попали в большую

комнату, о которой я вам говорю. И только там мы нашли один другого. До этого мы так волновались, что потеряли друг друга. А перепуганы мы были, как телята, которых ведут на убой.

2

Чего мы, собственно, так пугались? Больше всего мы боялись за мамины глаза: что будет с ее красными, заплаканными глазами? Оказалось, однако, что именно ее осматривали меньше всех остальных.

— Это он заступился за нас, отец ваш, царство ему небесное! — сказала мама, обнимая нас и плача от радости.

От радости она просто не знала что делать! И брата моего узнать нельзя было. Обычно, когда начинается суматоха, когда едут, спешат, он все, что у него на душе, вымещает на мне. Затрещины сыплются, как из рукава, а Броха приправляет колотушки добрым словом...

Сейчас он будто кожу переменял. Достал из кармана и подарил мне «орендж», то есть апельсин, оставшийся с парохода. На «Принце Альберте» нам каждый день раздавали апельсины. Кто хотел, съедал, а кто не хотел, прятал свой апельсин подальше в карман, чтобы не увидали. Я свои не прятал. Как можно не съесть такую вкусную штуку?

Но громче всех выразил свою радость Пиня. Он сказал, обращаясь к нам:

— Ну? Кто умен? Я или вы? Не я ли говорил, что это враги выдумали, будто в Америку не пускают с заплаканными глазами? Бездельники, лгуны, клеветники, болтуны, злые языки, лодыри, мерзавцы! Они вам выдумают об Америке, что здесь другую веру принимать заставляют! Где он, этот гайсинский портняжка, черт бы его драл?..

Так Пиня снова поладил с Америкой.

3

В великой суматохе мы не заметили, что в нашей компании не хватает одного человека — моего товарища Мендла. Первая обнаружила это как раз Броха. Она хватилась и всплеснула руками:

— Горе мне! А где же «лошак»?

— Гром меня разрази! — крикнула мама, и мы все бросились искать Мендла. А Мендла нет как нет, словно в воду канул!

Позднее оказалось, что виноват был он сам. Во время опроса он запутался. Сначала он, как тогда в Германии, притворился немым, потом вдруг стал говорить ужасные глупости. Перво-наперво заявил, что ему всего десять лет. Потом пришлось сказать, что ему уже исполнилось тринадцать. А в конце концов он признался и рассказал чиновникам всю правду: что в Германии, при переходе через границу, родители его потеряли, а мы взяли его с собой. Адреса своих родителей он указать не может, потому что и сам его не знает. Если бы знал, где они находятся, ему незачем было бы прибегать к чужим. Он бы и сам до них добрался.

Поэтому его вместе с другими такими же заперли в отдельной комнате. Потом их всех отошлют обратно.

4

Услыхав такую историю, мы все, конечно, решили заступиться за несчастного Мендла. Мама была вне себя. Ей придется отвечать за живого сироту. А вдруг она когда-нибудь встретит его родителей — что она им скажет?

— Погодите, — говорит портной из Гайсина, — вы еще со своими делами не управились!..

— Здравствуйте пожалуйста! — заявил Пиня, сердито поглядывая на портного. Он готов схватить его за глотку.

Но портной, не обращая внимания, продолжает предсказывать, как будто его спрашивают. Он посыпает солью раны. Перечисляет все беды и мучения, которые нам предстоят. Возьмут у нас, говорит он, адреса наших родных и знакомых, потом возьмут деньги на отправку телеграмм и будут ждать, покуда кто-нибудь вздумает приехать. И лишь тогда, если тот, кто приедет, скажет, что знает нас и что он ручается за нашу честность и порядочность, нас выпустят из заточения.

Пиня, разумеется, вспыхивает как спичка. Он смотрит на моего брата и говорит по адресу портного: ему хотелось бы знать только одно — откуда он так хорошо знает законы Элис-Айленда?

На это портной отвечает, что на пароходе он познакомился с эмигрантом, который уже трижды ездил в Америку и обратно. Он, очевидно, имеет в виду «тертого калача». От него, говорит портной, он узнал все законы и обычаи. И не только это. «Тертый калач» рассказал ему еще много кой-чего об Америке, так что едет он туда уже готовым американцем. Он даже говорить уже умеет по-американски. Знает такие слова, как «чикен», «кичен», «шугар», «мистер», «бутчер»... Что это значит, он говорить не хочет. Сами узнаем, когда будем на месте.

Пиня отмахивается рукой и отходит в сторону, как будто хочет сказать: «Собака лает...»

5

Думаете, все не было именно так, как предсказал портной? Тютелька в тютельку! Когда мы прошли через чистилище докторского осмотра, у нас спросили, кто у нас есть в Америке.

В ответ первой выступила мама и сказала:

— Спросите лучше, кого у нас здесь нет?

И собралась уже называть по именам всех наших родственников и знакомых.

Это просто удовольствие смотреть на мою маму сейчас, когда ее пропустили с ее заплаканными глазами. Моя мама не такая уж молоденькая, но она еще замечательно красивая. Я давно уже не видал, чтобы мама так сияла, как сейчас.

Однако мой брат Эля не дает ей говорить. Адреса, говорит он, записаны у него на бумаге. Он лучше знает. Тут вмешивается Пиня и объясняет, что спрашивают не адреса, а имена. Но его обрывает Броха и говорит, что у Пини вообще никого нет в Америке, что все родственники и знакомые здесь — наши.

Пиня вспыхивает и спрашивает:

— В какой степени Песя-толстая, например, или ее муж — переплетчик Мойше, ближе вам, чем мне?

На это Броха отвечает, что наплевать ей на Пе-

сю-толстую. Говоря о родственниках, она имеет в виду своего отца, пекаря Иойну.

Оказалось, однако, что прав был Эля. Требуются не имена, а адреса. И тут начинается канитель с адресами.

6

Лучше нас всех умеет читать адреса, конечно, Пиня. Он берет у Эли бумагу, подносит ее к кончику носа и читает нараспев, как читают «Тноим» на помолвке. Но никто не может понять, что он говорит. Все слова точно наизнанку вывернуты.

Тогда Эля вырывает у него из рук бумажку с адресами и передает ее чиновнику. В ответ чиновник произносит два слова:

— Ол райт!

Мы не знаем, что это значит. Но гайсинский портной говорит, что он знает. «Ол райт» — это все равно что по-нашему «ну, ладно!», или «ну, что ж!», или просто «ну-ну». То есть все будет в порядке.

Потом у нас взяли деньги и отправили две телеграммы. Одну — переплетчику Мойше и его жене Песе-толстой. Вторую — пекарю Иойне. А нас тем временем угостили хорошим завтраком. То есть завтрак был не ахти какой. Чай, который нам подали, сказала Бреха, можно ножом резать. Зато этот завтрак нам ничего не стоил. На Элис-Айленде, как я уже говорил вам, все бесплатно.

Заморив червячка, мы стали ждать наших родных и знакомых.

7

Не так-то скоро, однако, это делается, как говорится. У нас глаза на лоб вылезли, пока мы дождались наших знакомых. Первой пришла наша соседка Песя с мужем. То есть мы их не видели, так как сидим взаперти. Но нам сообщили, что пришла к нам толстая женщина с мужем. И мы догадались, что это Песя и ее муж Мойше.

К нам их не пускают. Они на допросе. Нам, конечно, досадно. Нам посоветовали «подмазать» сторожей, тогда их, может быть, допустят повидаться с нами хотя бы издали.

Но наш друг Пиня говорит, что Америка — это вам не Россия. В Америке не «подмазывают».

На это отзывается гайсинский портной (всюду он суется), он говорит: весь мир, что один город... «Сребро и золото выше закона...»

Пине нечего ответить.

8

И конечно, гайсинский портной оказался прав. Нам это стоило «кводер» (это монета такая, четверть доллара), и мы сквозь решетку увидели нашу соседку Песю. Ее красное лицо и жирный подбородок были в поту. Она улыбалась нам издали. Мама кивала ей головой, и обе они плакали обильными слезами. Из-за широких плеч Песи выглядывал Мойше-переплетчик. Он уже не в картузе, как бывало дома, а в шляпе. А минуту спустя появился пекарь Иойна с сердитыми глазами. Иойна мало изменился, но борода — боже мой, где борода?.. Жена его, у которой была ротонда, тоже пришла.

Хотелось бы поздороваться, обняться, расцеловаться, расспросить друг друга о здоровье, о делах, о том, как живется в Америке...

Мне, например, не терпится узнать: где Вашти? Что делает сестра моей золовки Алта, которую мне когда-то сватали? Как поживает вся орава? Но поди кричи, надрывайся, когда шевельнуться не дают! Держат нас взаперти. И видеть мы их можем только из-за решетки, как арестанты, как пленные или как звери...

9

Жаль нашего беднягу Пиню! Он стесняется смотреть нам в глаза. Ему стыдно за Америку. Вы могли бы подумать, что Америка принадлежит ему и он за все в ответе. Вот с этих-то пор он и невзлюбил Элис-Айленд и сочинил про него рифму: «Земля эта принадлежала какому-то Эле — дураку и пустомеле...»

Это обидно моему брату, так как и его зовут Эля. Они начинают спорить и ссориться. Тогда вмешивается

Броха — она, оказывается, на стороне Пини — и говорит не совсем понятно:

— Битой собаке палки не кажут...

Что она этим хочет сказать?

IV. МОРЕ СЛЕЗ

1

Не хватало нам своих несчастий, бед и страданий — господь бог припас нам еще и чужие горести на Элис-Айленде. Не хватало слез, пролитых моей мамой со дня смерти отца и с тех пор, как мы скитаемся по белу свету — она и сейчас должна проливать слезы из-за несчастий, которые мы видим здесь, на Элис-Айленде. Что ни минута, господь преподносит ей новое горе. А мама все принимает близко к сердцу, ломает руки, прячет лицо и втихомолку плачет.

— Грешишь ты, мама! — говорит ей брат Эля, и, мне кажется, он прав. Чего ей плакать? По белу свету мы уже больше не странствуем, как до сих пор. Путешествие по морю мы тоже благополучно пережили. Мы уже почти в Америке. Еще час-другой — и мы свободны. Но как же не плакать, когда видишь столько горя? Столько слез? Море слез?

Чтобы рассказать вам обо всех несчастьях, каких мы навидались на Элис-Айленде, я должен был бы засесть с вами на целый день и на целую ночь и рассказывать, рассказывать и рассказывать.

2

Что вы, например, скажете, о такой истории?

Отец, мать и четверо детей задержаны — ни туда ни сюда. В чем дело? При опросе оказалось, что их девочка лет двенадцати не умеет считать в обратном порядке. Ее спрашивают:

— Сколько тебе лет?

— Двенадцать!

— А сколько лет было тебе в прошлом году в это время?

Она не знает.

— Считай от одного до двенадцати!— говорят ей. Девочка считает.

— А теперь считай от двенадцати до одного! Не умеет.

Спросили бы меня, я бы одним духом просчитал: двенадцать, одиннадцать, десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один! Подумаешь, какой фокус!

И вот было решено, что эту девочку в Америку выпускать нельзя.

Как же быть родителям и остальным детям? Горе отца и матери просто описать невозможно. А как жалко девочку! Камень и тот бы тронулся! Мама, глядя на них, плачет, а моя золовка Броха и жена Пини Тайбл тоже вытирают глаза.

3

Или как вам понравится такой случай?

Едет с нами одна женщина. Звать ее Цивья. Ее давно уже бросил муж. Она разослала письма по всему свету и получила сообщение, что муж ее находится в Цинциннати — это город такой в Америке. Вот она туда и едет, чтобы поймать его. На пароходе ей посоветовали, чтобы она вызвала из Нью-Йорка кого-нибудь, кто сказал бы, что он ее муж,— тогда ее выпустят. Совет этот исходил от «тертого калача», о котором я вам уже рассказывал. Помог также и гайсинский портной. «Тертый калач» взял на себя заботу вызвать одного из своих близких друзей, который выдаст себя за мужа этой Цивьи...

Однако, когда дело дошло до опроса, выяснилось, что все это обман. Человек, который пришел, оказался женатым и таким же родственником этой женщины, как вы — моим.

Батюшки, что творилось! Весь Элис-Айленд ходунном ходил. Больше всех злорадствовал Пиня, оттого что у гайсинского портного дело сорвалось. И хотя Пиня зол на Элис-Айленд за то, что нас задержали, но показывать это перед портным — дудки! Наоборот, он еще дразнился:

— Ну, господин портной! Не говорил ли я вам, что в Америке не проходят такие штучки, фокусы, обманы? О Колумбус, слава тебе!

Зато он и получил от моей мамы. А еще больше — от Брохи. И его жена Тайбл тоже не молчала. Они ему чуть глаза не выцарапали за то, что он издевается над человеком, истекающим кровью. И как нарочно, мама подружилась с этой Цивьей, как с сестрой. Теперь несчастную женщину отсылают обратно, а того, кто выдал себя за ее мужа, тоже по головке не погладят. Пока что их обоих задержали, а мама по этому поводу сама не своя.

4

Молодая женщина — кровь с молоком — едет к мужу своему в Бостон. У нее ребенок, девочка с кудрявой головкой, картинка. Зовут ее Кецеле¹. Настоящее имя ее — Кейля, по бабушке. Но прозвали ее Кецеле. Ей неполных три года, но она уже повсюду бегает, разговаривает, поет и пляшет. Весь «Принц Альберт» носился с этим ребенком. Все ее любили, обнимали, целовали, брали с рук на руки. «Кецеле! Кецеле!» А женщина, ее мать, с нами крепко подружилась. Она ни на минуту не отходила от моей мамы, рассказывала все, что на душе. Перечитала нам все письма от мужа. Больше трех лет они не видались. Он даже не знает своего ребенка, никогда еще не видал свою девочку и мечтает о ней день и ночь. Он даже представить себе не может, как это он вдруг увидит своего ребенка, свою Кецеле.

При этом женщина уже проливает слезы, а мама тоже вытирает глаза. Мне все это смешно: чего тут плакать? Я беру Кецеле на руки, кормлю ее кусочками яблока и апельсина, прямо из рук — в ротик. Кецеле заглядывает мне в глаза, смеется, гладит меня своей маленькой бархатной ручкой. А я целую ее маленькие теплые пальчики. Жаль, что нет у меня ящика с красками! Я нарисовал бы Кецеле с ее шелковыми кудряшками, прекрасными голубыми глазенками и ангельским личиком. Мой товарищ Мендл смеется надо мной за то, что я вожусь с куклой. Для него она «кукла»!

И вот уже недалеко от Америки вздумалось Ке-

¹ Кецеле — кошечка, котик.

целе заболеть и... У меня мороз по коже пробегает, когда я вспоминаю это время. Полжизни отняла у меня эта девчурка. Я даже говорить об этом не могу, даже думать не могу. Не требуйте от меня, чтобы я рассказал вам, что сделали с Кецеле...

Расскажу только, что было с ее матерью, когда мы приехали на Элис-Айленд. Она не плакала. Она смотрела на всех застывшими, стеклянными глазами. На вопросы не отвечала. Все боятся, что женщина тронулась... Ее отошлют обратно. Моя мама в отчаянии. Брат Эля вне себя. Он не выносит маминых слез. И Пиня что-то прячется. Не видать его...

5

Думаете, только евреям скверно на Элис-Айленде? Другие тоже мучаются, и немало.

Едет с нами целая ватага итальянцев. Все — в бархатных штанах, с деревянными башмаками на ногах. Когда они ходят, башмаки стучат, как конские копыта. Славные, замечательные люди! И меня они за что-то полюбили. Называют меня как-то очень странно: «Пикколо бамбино». Угощают меня орешками и изюмом, которые они достают из карманов своих бархатных штанов. А я от таких вещей не отказываюсь. Разговаривать с ними я не могу. Они не знают моего языка, а я их не понимаю. Но мне нравится, как они говорят друг с другом. Особенно они напевают на букву «р»: «Бона сэrrра!», «Мио карро!», «Прrrрего синьоррэ!..»

И надо же случиться беде. Уже в самом конце, когда дошло дело до опроса, один из них проболтался. Рассказал правду, что их вызвал подрядчик на работу из Лондона, по контракту, на постройку какого-то моста. А это, говорят, в Америке не разрешается. Их хотят отослать обратно.

И вот все они говорят сразу, размахивают руками и нажимают на букву «р»: «Сакrrраменто!..»

Однако ничего не помогает! Жалко их ужасно. У некоторых из них я видел слезы на глазах.

Поздравляю вас! У нас на Элис-Айленде свадьба. Откуда вдруг свадьба? А вот послушайте.

Есть тут девушка из Чуднова, сирота, звать ее Лея. Она смуглая и приветливая. Всю дорогу она провела с нашими женщинами. С Брохой и Тайбл она так подружилась, что водой не разольешь. От них мы узнали, что Лея одинокая, никого в Америке у нее нет. С детства она работает. Сколотила немного денег и едет в Америку. В Чуднове она больше жить не может. Там во время погрома убили ее отца. Мать от горя умерла. Осталась она одна во всем мире. Добрые люди сжалились над ней, научили работе. Она шьет, и строчит, и вяжет, и гладит, — «золотые руки», говорит о ней мама. Все уверены, что в Америке Лею озолотят за ее работу. И жениха она себе найдет самого лучшего.

Лея опускает глаза и краснеет до корней волос...

Беда только, что в Америке нет никого, кто бы ее встретил и взял к себе.

И вот нашелся на «Принце Альберте» парень, Лейзер Бах. Он столяр и едет к своему дяде в Чикаго. Лейзер — чудовище: он рыжий, с толстыми двойными губами. Но я его люблю за песни. Он замечательно поет еврейские песни.

Короче говоря, решили: так как у Лейзера есть кому ехать, а у Леи нет никого, то пускай он, Лейзер Бах, скажет, что Лея его невеста...

Придумал это, конечно, тот самый пассажир, которого называют «тертым калачом». Так оно и было. При опросе Лейзер сказался женихом, а Лея — невестой. Казалось бы, все хорошо? Оказывается, однако, что на Элис-Айленде такие фокусы не проходят: раз жених и невеста — извольте венчаться.

Лея плачет навзрыд. Все ее уговаривают:

— Глупенькая, в чем дело? Приедете на место, он даст тебе развод, и ты снова та же Лея, что и была...

А она боится: вдруг он откажется? Но быть отправленной обратно лучше? В общем, у нас свадьба. Грустная свадьба, без музыки. Но с раввином, служкой и — со слезами, с целым морем слез.

Одному только человеку хорошо. Знаете кому? Гайсинскому портному. Он теперь торжествует. Говорить он ничего не говорит. Но шагает мимо нас, разглаживает бородку и поглядывает сквозь свои очки на Пиню. Но Пиня умнее его. Он уткнулся кончиком носа в какую-то книжку и будто не замечает портного. Плевать ему на него!

Немного своих горестей, немного чужих — все это омрачает нашу радость по поводу того, что мы уже в Америке. Мы столько навидались и наслышались на этом Элис-Айленде, что вся наша семья сгрудилась и, прижавшись головами друг к другу, глядит на огромный, шумный город, расположенный вдалеке от нас.

Знаете, как мы выглядим? Мы похожи на стадо овец, сбившихся в кучу на поле, в знойный летний день, неподалеку от железной дороги, с удивлением глядящих, как мимо них с шумом и грохотом проносятся и исчезают вагоны.

Жаль, что нет у меня карандаша и бумаги, чтобы нарисовать нашу сгрудившуюся семью и остальных запертых на Элис-Айленде эмигрантов, сидящих на своих узлах.

Люди вздыхают, рассказывают друг другу все, что у них наболело. Иные молчат, а иные плачут, купаются в слезах. В море слез.

V. НА ТВЕРДОЙ ПОЧВЕ

Если вы никогда не ездили по морю, если никогда не приходилось вам пробыть десять дней и десять ночей на воде, если вы никогда не были в плену на Элис-Айленде и не видели столько горя, страданий и мук, не купались в море слез и не смотрели во все глаза, когда наконец придут вас вызволить, — если вы сами этого не испытали, вы не сможете понять, что значит стоять обеими ногами на земле, на твердой почве.

Если бы я не боялся моего брата Эли и не стеснялся бы людей, я бросился бы на землю и перекувырнулся бы три раза кряду через голову. Так хорошо, светло и весело было у меня на душе, когда я почувствовал, что стою обеими ногами на суше.

Можете себе представить, даже такой меланхолик, как мой брат Эля, и тот стал выглядеть по-иному. Потирая руки, он обратился ко всем нам:

— Стало быть, мы уже в Америке!

— С божьей помощью, да будет благословенно имя его! — ответила мама, взглянув на небо, и добавила с глубоким вздохом: — Кто жив, тот добирается до места. Не приходит только тот, кто лежит в земле...

Это она об отце. Никогда и нигде она не забывает об отце даже на минуту.

2

Но больше и сильнее всех высказывает свою радость наш друг Пиня. Он — боюсь сказать — окончательно рехнулся, попросту с ума сошел. Встал лицом к морю, поднял правую руку, сжал кулак и разразился целой проповедью:

— Слушайте, вы, ослы, злодеи, пьянчуги, хулиганы, погромщики! Это вам мы обязаны тем, что находимся сейчас здесь, в этой стране. Если бы не ваши законы, преследования и погромы, мы не знали бы о Колумбусе и Колумбус не знал бы о нас!..

Кто знает, как долго еще изливал бы душу наш Пиня, если бы пекарь Иойна не положил руку ему на плечо и не сказал:

— Пиня! Господь с тобой! К кому ты обращаешься? К камням? Идем! Мы опоздаем на «ферри»! Или ты хочешь остаться ночевать на Элис-Айленде?

Хватаемся за наши узлы и отправляемся к «ферри».

3

Однако это только так говорится. Не так-то скоро мы усаживаемся и едем. Вы забыли, что у нас есть еще одна забота — мой товарищ Мендл. Его не выпускают. А без него мы с места двинуться не можем. Мама говорит, что она не сможет спокойно жить в Америке, если этого сироту, упаси бог, отошлют обратно

невесть куда. К счастью, мы на Элис-Айленде наткнулись на «Общество гостеприимства». Общество это имеет здесь своего человека, очень доброго и приветливого. К этому человеку нас и направили. Мы рассказали ему все, что произошло с Мендлом. Говорили мы, конечно, все сразу. Тогда этот человек нас перебил и предложил выбрать кого-нибудь одного — рассказчика. После долгих споров было решено, что рассказывать будет Броха. Почему — Броха? Потому что мужчины, Эля и Пиня, не могут видеть, как один из них говорит, чтобы не влезть в самую середину. Мама хоть и хорошо говорит, но зато чересчур долго. То есть ей непременно надо начать с Адама. О том, что был у нас отец и звали его Пейся. И что он был кантором. Потом он, не про нас будь сказано, заболел. И так далее, и так далее. А тот до конца выслушать не хочет. А у моей золовки Брохи это выходит скоро. «Слово-другое и — магарыч!» — как говорит Мойше-переплетчик.

Лишь тогда, когда Броха рассказала вкратце историю Мендла, человек от «Общества гостеприимства» принял-ся за работу. Он куда-то побежал, вернулся и снова убежал. И наконец, после всех трудов и мучений, привел-таки парня.

4

А когда Мендла привели, человек от «Общества гостеприимства» взял его за ухо и прочел ему наставление:

— Помни же, паренек, мы поручились за тебя, обещали, что ты будешь хорошо себя вести. Два года подряд ты в нашем распоряжении... Мы будем следить за тобой. Если не будешь вести себя как полагается, тебя вышлют обратно, откуда приехал!..

Потом этот человек записал его имя, переписал наши имена и имена всех наших родных и знакомых и их адреса. И мы — свободны. Можем идти куда хотим и делать что угодно.

Думаете, Мендла это тронуло? Ничуть! Мой товарищ Мендл из тех, кого ничто не берет. За это я люблю его. Как вспомню о своем товарище, о том, кем он был и кем потом, спустя долгое время, стал, — прямо-таки чудеса! Но до этого еще далеко. Пока что мы на «ферри».

«Ферри» — это такой пароход, или паром, на котором можно ехать вместе с лошадьми и возами и с чем угодно. «Ферри» достаточно длинен и широк, чтобы я со своим товарищем Мендлом мог, взявшись за руки, бродить по нему вдоль и поперек...

В первую минуту мама была занята с нашими родственниками и знакомыми. Все говорили, расспрашивали друг друга о жизни и делах. Но немного погодя мама спохватилась, что нас нет, и, конечно, подняла ужасный шум. Она была уверена, что мы упали в воду и утонули. А мы, оказывается, заметив лестницу, забрались на второй этаж «ферри» и оттуда увидели страшно высокую железную фигуру какой-то женщины, похожей на кормилицу. Но не успели мы как следует разглядеть эту фигуру, как услышали крики мамы и увидели перед собой моего брата Элю. Он был страшно зол на нас за тот страх, который мы нагнали на всех нашим исчезновением. Нам бы, конечно, здорово досталось. Мой брат Эля рассчитался бы с нами как следует. Но, к счастью, моя золовка Броха вдруг почувствовала себя нехорошо и как завизжит не своим голосом:

— Ой, свекровушка, мне дурно!..

Броха хотела начать свои фокусы, как это было на море... Но дай бог здоровья гайсинскому портному (он ни на минуту не отстаёт от нас)! Он налетел на нее и стал усовещивать:

— Такой особе, как вы, не сглазить бы, следовало бы знать разницу между морем и мелкой речонкой! Фи, право же, стыдно!

Броха стала оправдываться: она не знала, что это речка, она думала, что мы снова на море. Но Пиня говорит, — ему кажется, что по одному только запаху можно отличить море от реки. Море пахнет рыбой, а в реке рыбы нет. Тогда гайсинский портной спрашивает, откуда он это взял. А Пиня отвечает, что он разговаривает не с ним, что он вообще не любит затевать споров с портными. Тут вмешивается переплетчик Мойше. Он напоминает Пине, что мы уже в Америке. А Америка, говорит он, страна портных. В Америке портной такая же почтенная личность, как у нас самый уважаемый домовладелец, а может быть, и больше. В Америке, говорит он, портные имеют свою «июнию».

«Июния» — это почти то же, что у нас «цех». Но здешняя «июния» — это совсем не то, что наш «цех»...

— И мы, пекари, тоже имеем свою «июнию», — добавляет пекарь Йойна. — Наша «июния» пекарей, пожалуй, не меньше портновской.

— Ну, что вы сравниваете! — перебивает переплетчик.

И начинается спор о том, чья «июния» крупнее.

— Еще несколько минут, и мы в Нью-Йорке! — говорит Пиня, обращаясь к Эле, чтобы прекратить разговор об «июниях», который всем нам порядком надоел...

Мы всматриваемся в город, вырастающий перед глазами и приближающийся с каждой минутой.

Ох, какой город! Какие высоченные дома! Церкви, а не дома! А окна! Тысячи окон! Эх, будь у меня карандаш и бумага!..

6

Тррах-тарарах-тах-тах-тах! Тах! Дзинь-дзинь-дзинь-глин-глон! У-а! У-а! У-а! Ду-ду-ду-ду-д! Фью! Ай-йя-йя-йя-йя! И снова: тррах-тах-тах! И вдруг врывается хриплый визг недорезанной свиньи: хрр-хрю-хрю!

Таковы были звуки, ошеломившие нас в первую минуту, когда мы прибыли в Нью-Йорк. До этих пор, на воде, мы были спокойны. Но здесь, как только мы почувствовали, что действительно стоим обеими ногами на земле, в самой Америке, нас охватил страх от грохота и сутолоки...

Первой растерялась мама. Она выглядела, как испуганная наседка, которая растопыривает крылья и, раскрыв клюв, квоочет над своими цыплятами.

— Мотл! Мендл! Эля! Броха! Пиня! Тайбл! Где вы? Идите сюда! — кричит она, раскинув руки.

— Господь с вами, свекровь! Чего вы кричите? — говорит Броха. А Эля добавляет:

— Кончится тем, что из-за твоего крика нас вышлют из Америки!

— В четверг, после дождика! — заявляет Пиня, заложив руки в карманы и сдвинув на затылок шляпу. — Не дождутся этого наши враги!

Напор толпы был ужасен. Наш друг Пиня чуть

не оказался в таком же положении, как в свое время в Лондоне, когда мы туда приехали. То есть еще минута — и он лежал бы, измятый и растоптанный, посреди улицы. На сей раз он отделался тумачком в бок. Но удар был до того сильный, что шляпа у Пини слетела с головы и покатила кудато в сторону. Это отняло у нас несколько лишних минут, и мы опоздали на «кар», то есть на трамвай. Пине больше нравится слово «кар», и мы все с узлами влезли в него и захватили все свободные места. Едем в город.

— Слава тебе господи! Избавились от напасти, от гайсинского портного! — радуется Пиня.

А мой брат Эля говорит:

— Погоди радоваться! Если бог захочет оказать нам свою милость, то мы еще не раз встретимся с ним в Нью-Йорке...

VI. НА НЬЮ-ЙОРКСКОЙ УЛИЦЕ

1

Въезд в Нью-Йорк ужасен! Сама по себе езда не так страшна, как пересадка из одного вагона в другой. Только как будто бы сели, — и уже вы летите, как орлы, где-то в вышине по длинному узкому мосту, — убиться можно! Это у них называется «элевейтор». Думаете, это все? Не торопитесь! Вылезаете из «элевейтора», пересаживаетесь в другой вагон, спускаетесь по лестнице, словно в погреб, и летите уже под землей, да так быстро, что в глазах мелькает. Это уже называется «цобвей». Почему «цобвей»? Мой брат Эля говорит, что и у нас говорят «цобвей», когда погоняют волов.

Пиня хохочет до упаду.

— Придумал тоже! Волы, — говорит он, — еле ползут, а это — летит!

— На то и Америка, чтобы летало... — отвечает Эля.

Но тут вмешивается моя золовка Броха и заявляет, что та же Америка была бы гораздо лучше, если бы здесь не летали по-сумасшедшему. Она клянется, что больше не поедет. Кончено! Ни на «элевейторе», ни на «цобвее», хоть озолоти ее! Лучше уж она пешком будет

ходить, чем так вот носиться сломя голову где-то под облаками или под землей.

— Не поднимай меня и не швыряй! — добавляет она.

Странная женщина моя золовка! Я, например, готов разъезжать на «элевейторе» и на «цобвее» день и ночь. Мой товарищ Мендл — тоже.

2

Казалось бы, мы уже побывали на всем свете. Видели, казалось бы, трамваи и во Львове, и в Кракове, и в Вене, и в Антверпене, и в Лондоне. Но такой тесноты, такой толкотни и давки, как здесь, в этом аду, мы нигде не видали! Булавочной головке упасть некуда. Один выходит, двое входят. Сидеть негде. Приходится стоять. Падаешь. Надо держаться за кольцо. Здесь это называется «висеть на страпе». Все тело млеет. А поможет бог и освободится место, на него много охотников. Наконец с трудом захватываешь место. Оглянешься — сидишь между двух черных людей. Негр и негритянка. Какие странные люди! Ужасно толстые губы, крупные белые зубы и белые ногти. Сидят и что-то жуют, будто жвачку, как быки.

Лишь потом я узнал, что жвачка эта называется у них «чойнгом». Это такая конфета из резинки. Ее держат во рту и жуют. Глотать этого нельзя. «Бои», то есть мальчики, старики и калеки только тем и живут, что торгуют этой жвачкой.

Наш друг Пиня, если помните, ужасный лакомка. Любит сласти. Дорвался он однажды до этих конфеток и потихоньку проглотил полную коробку. Кончилось это тем, что он сотворил над собой какую-то ужасную историю, чуть не отравился. Врачи выкачивали из него через глотку этот «чойнгом». Спасли.

Однако я забегаю вперед. Возвращаюсь к нашему въезду в город Нью-Йорк.

3

Все время поездки на «элевейторе» и на «цобвее» наши мужчины и женщины только и делали, что разговаривали. Я говорю «разговаривали», но это не-

верно. Как можно разговаривать на «элевейторе» или на «цобвее»? От шума, лязга и грохота колес, от скрежета рельсов, от звона стекол оглохнуть можно. Вы сами своего голоса не слышите! Вы вынуждены кричать друг другу на ухо, как при разговоре с глухим. Наши даже охрипли от крика. Мама несколько раз умоляла Песю:

— Песинька, душечка, голубушка, любочка! Давайте оставим это до другого раза!

Но, помолчав минуту, они снова начинают кричать изо всех сил. Да и не удивительно: живые люди, старые друзья, бывшие соседи. Как же сдержаться и не излить друг перед другом душу? Столько времени не виделись. А поговорить есть о чем, поговорить нужно о многом!

4

Наговорившись и накричавшись о разных других вещах, перешли к вопросам: куда заехать, у кого остановиться? После долгих рассуждений и споров было решено, что мама, я и наш друг Пиня со своей Тайбл останутся у нашей соседки Песи-толстой. А Эля и Броха заедут к ее родителям — пекарю Иойне и Ривеле.

А как же Мендл?

Песя заявляет, что Мендла она берет к себе. Но пекарка Ривеле говорит — нет! У Песи, не сглазить бы, и без того едоков хватает. Песе это обидно. Она говорит, что нет во рту лишних зубов и нет у матери лишних детей.

— Погодите! Давайте спросим его самого! — предлагает муж Песи, переплетчик Мойше, и спрашивает Мендла: куда ему хочется — к ним или к пекарю?

А Мендл отвечает, что хочет быть там, где его товарищ Мотл. Я не сомневался, что Мендл так и скажет.

5

— Уже скоро, еще одна «стейшн» и — «стап»! — говорит пекарь Иойна уже по-американски.

Мы не понимаем, что значит «стейшн» и «стап».

Он объясняет, что «стейшн» — это станция, а «стап» — значит остановка, конец пути.

— Сват! — удивляется мама. — С каких это пор вы начали разговаривать на здешнем языке?

А пекарка Ривеле отвечает:

— Уверяю вас, сватушка, что через неделю и вы начнете разговаривать на здешнем языке. Потому что, если вы выйдете на улицу и спросите: «Где здесь мясник?» — то можете спрашивать до послезавтра, — никто вам не ответит.

— А как же я должна сказать? — спрашивает мама.

— Вам придется спросить, где здесь «бучер», — отвечает Песя.

— Не дождутся они! — вмешивается Броха. — Хоть лопни они все, я буду говорить «мясник», «мясник», «мясник»!

6

Вдруг — остановка. Пекарь Иойна подхватил свою жену, моего брата Элю и золовку Броху, и все они бросились к выходу. Мама тоже поднялась. Она хотела проводить своих детей, попрощаться. Поднялся и Пиня — попрощаться со своим товарищем, а заодно и условиться, когда и где они увидятся.

Но — куда там! Где там! Не успели оглянуться, как Иойна, его жена, мой брат и Броха уже были по ту сторону. Кондуктор захлопнул двери, вагон рванулся вперед.

Пиня как стоял ошеломленный и растерянный, так и свалился с ног. Минуту спустя он уже лежал у какой-то негритянки на коленях. А та отшвырнула его от себя обеими руками так, что он полетел на другую сторону скамьи, а его шляпа покатилась к дверям.

Мало того, поднялся хохот. Весь вагон помирал со смеху. Я и мой товарищ Мендл тоже смеялись. За это нам досталось от мамы и от Пининой жены, Тайбл.

Но как же тут не смеяться?

Всему на свете приходит конец. Пришел конец и нашему въезду в Нью-Йорк. Мы уже на улице. Здесь это называется «стрит».

Если бы я не знал, что мы в Америке, я был бы уверен, что мы в Бродах или во Львовe. Те же мужчины, те же женщины, те же крики и та же грязь, что

и там. Только что шум и сутолока здесь гораздо больше и грохот сильнее. Да и дома выше, не в пример выше. Шесть этажей — это чепуха. Есть дома в двенадцать этажей, и в двадцать, и в тридцать, и в сорок... И еще выше. Но об этом потом.

Пока что мы с узлами на улице. Надо еще порядочное расстояние пройти пешком. Здесь это называется «вокен». Вот мы и «вокаем». Впереди — переплетчик Мойше на своих коротких ногах. За ним его жена, Песя-толстая. Ее с трудом ноги несут: до того она жирна и увесиста. За Песей «вокают» Пиня со своей Тайбл. От «вокания» Пини можно умереть со смеху. Он приплясывает на своих длинных ногах, цепляющихся одна за другую. Одна штанина спущена, другая задрана. Шляпа на затылке. Галстук — по ту сторону. Удивительная фигура — так и просится на бумагу.

Я и мой товарищ Мендл «вокаем» позади всех. Останавливаемся чуть ли не у каждого окна. Нам нравится, что надписи сделаны по-еврейски и что за стеклами выставлены еврейские вещи: молитвенники, арбекафесы, ермолки, маца... Ни с того ни с сего в самом начале зимы — маца! Видать, еврейский город. Но стоять подолгу нам не дают. Мама зовет:

— Идите сюда!

Значит, надо идти.

7

Кто не видал нью-йоркской «стрит», тот ничего интересного не видал. Чего тут только нет! Мужчины торгуют, женщины сидят и беседуют. Дети спят в колясках. Коляски здесь называют «кереджес». Все они одинаковы. Здесь же на улице кормят маленьких молоком из бутылочек. Дети постарше играют во всевозможные игры: в пуговицы, в «бол», играют в колясках, в саночках, катаются на «скэйтс». Это такая штука на четырех колесиках, которую привязывают к ногам. На них бегают. От шума и детских голосов оглохнуть можно. Улица принадлежит детям. Никто не посмеет прогнать их отсюда. Вообще Америка — страна, созданная для детей. За это я люблю ее. Пусть кто-нибудь посмеет пальцем тронуть ребенка! Мой брат Эля испытал это на себе самом. Десятому закажет! А дело было так.

Однажды я и Мендл были на улице и играли в «чекес». Это игра с круглыми деревянными пуговками, которыми стреляют.

И вот в самый разгар игры налетел на нас мой брат Эля. По старой своей привычке, он ухватил меня одной рукой за ухо, а другой собирался закатить мне основательную оплеуху.

Но тут как из-под земли вырос «бой», этакий здоровяк. Он подбежал к брату и вырвал меня у него из рук. Потом он засучил рукава и сказал что-то по-американски. А так как мой брат Эля английского языка не понимает, то этот парень сжал кулак и поднес его к самому носу брата. Тут же собралась толпа. Эля стал оправдываться по-еврейски, говорить, что он мне приходится братом и имеет поэтому право учить меня уму-разуму.

Но те, что сбежались, заявили, что в Америке так не водится: брат не брат, а колотить младшего не полагается...

8

Заговорился я и совсем забыл, что мы уже прибыли на место, то есть к нашей соседке Песе и ее мужу, переплетчику Мойше. Войдя в дом, мы никого из оравы не застали. Оглядываюсь по сторонам, ищу своего старого товарища Вашти. Нет ни Вашти, ни остальных. Куда они все девались?

А вот послушайте.

VII. ОРАВА НА РАБОТЕ

1

Я рассказывал вам, что мы пришли к нашей соседке Песе-толстой и никого из ее оравы не застали дома. В чем же дело? Оказывается, вся орава — на работе. Но прежде чем рассказать вам, чем каждый из них занят, надо описать, как расположился в Америке наш переплетчик Мойше. Во-первых, самый дом. У нас в местечке Песя-толстая даже побоялась бы забираться на такую вышину. Идешь и идешь по лестницам — чуть ли не на сто ступеней, пока доберешься до

квартиры. А в квартире комнат и комнатушек без конца. А в каждой комнате кровати с одеялами, занавески на окнах... Одно помещение называется «кичен», по-нашему — кухня. Но печи здесь нет. Стоит железная плита с дырами для варки, а воду берут прямо из стены — холодную и горячую — сколько угодно! Отвернули кран — и готово.

2

Через несколько дней, когда мой брат Эля и его жена Броха пришли проведать нас, Пиня взял его за руку, привел в кухню и, показав ему оба крана с водой, заговорил по своему обыкновению:

— Ну, Эля, как тебе нравится Колумбус?

Но Эля, конечно, в долгу не остался.

— Сейчас ты горой за Колумбуса стоишь. А что ты говорил раньше, на Элис-Айленде? — спросил он.

В ответ на это Пиня стал доказывать, что Элис-Айленд не принадлежит Америке. Элис-Айленд расположен между Америкой и границей. Эля заявил, что все это чепуха. Начался спор, как всегда, но тут вмешалась Броха и сказала, что оба они ничего не знают и что спор этот ломаного гроша не стоит.

Однако я начал рассказывать о квартире переплетчика и отвлекся. Извините, возвращаюсь к нашей соседке Песе и к ее детям — к ораве.

3

Нашему переплетчику Мойше и его жене Песе-толстой никогда, конечно, и не снилось, что они будут жить в такой квартире и иметь столько комнат. Для всего — отдельная комната. Комната для сна называется «бэд рум». Для еды особая комната — «дейнинг рум».

«Почему «дейнинг рум»?» — ломают себе головы Эля и Пиня и никак понять не могут, откуда берется такое слово...

Но переплетчик Мойше говорит:

— К чему зря ломать себе голову? Главное то, что я в Нью-Йорке своим домком живу, а дети у меня, с божьей помощью, работают... Трех жаловаться.

Смотрю я на переплетчика Мойше и думаю: «Господи! Как меняется человек! Дома его и не слышать было. Всюду и везде орудовала Песя. Он знал только свое дело — клейстер варить и книги клеить. А здесь он на целую голову вырос». Шутка ли, когда у человека нет забот. Все дети работают и приносят деньги. Я вам перечислю всех по именам и расскажу, чем они заняты и сколько зарабатывают.

Мама завидует нашей соседке Песе, что бог дал ей столько детей, не сглазить бы...

4

Старшего парня дома называли «Колодкой». Здесь его зовут Сэм. Почему — Сэм? Не знаю. Знаю только, что он уже зарабатывает деньги. Он служит в «пей-пербакс-фектори». Но вы, конечно, не знаете, с чем это едят? Придется объяснить вам. Это фабрика, на которой делают коробки из картона. Вы не думайте, что это очень трудная «джаб» («джаб» — это работа). Сам он коробок еще не делает. Он только разносит их. Берет связку коробок по десяти дюжин в руку и бегают с ними по узким улицам между автомобилями и трамваями... Тут надо смотреть в оба, а то раздавят. За это он получает два с половиной доллара в неделю и надеется на прибавку. Со временем он, может быть, будет получать три доллара в неделю. Это — на первое время. А немного погодя «босс» (хозяин) обещает научить его делать коробки. Босс говорит: «Ты только будь хорошим «боем», тогда все будет «ол райт». По-нашему это значит: «Не будь дураком — будешь кушать кашу с молоком».

5

Второй паренек, Велвл, которого называли «Котом», теперь уже называется Вилли. Он тоже — «деливер бой», то есть мальчик на побегушках. Он работает в «гроссери-стор», или, по-нашему, в бакалейной лавке. Это уже труднее. Вставать надо ранехонько, когда сам бог еще спит. Прежде всего приходится рассортировать и упаковать заказы. Потом разнес-

ти их покупателям. В пакетах бывают печенье, масло, сыр, яйца, сахар, молоко, сметана. Со всем этим приходится лазить по лестницам, на двести ступеней, до самого «тап-флор», то есть на самый верх, под крышу. Сделать это надо к тому же быстро, одним духом, потому что нужно еще успеть вернуться и подмести магазин, убрать его и сделать всякую другую работу до полудня. После полудня он свободен. Получает Вилли немного — всего пятнадцать сентов в день, за исключением пятницы. В пятницу он получает целый кводер и халу на субботу.

6

То, что я рассказал вам, касается старших мальчиков. Младшим здесь не разрешают работать по утрам. В Америке дети обязаны ходить в «скул», то есть в хедер. Не то — скандал! А учат тут бесплатно, да еще книги вам дают.

Наш друг Пиня, когда узнал об этом, был вне себя. Он вспомнил, что у нас дома еврейских детей в гимназию не принимают. А тут, в Америке, вас силой тащат. Не то будете платить штраф.

— Ради одного этого,— говорит Пиня,— наши черносотенцы должны были бы живьем в землю зарыться!..

Но так как в школу ходят только до полудня, то во вторую половину дня можно чем-нибудь заниматься и зарабатывать. Так они и делают, младшие ребята Песи.

Один, тот, которого зовут «Черногус», работает в аптеке. Здесь это называется «дрог-стор». Он моет бутылки и бегаёт на почту за марками. Здесь их называют «стэмпс» и продают в аптеке. За свою работу «Черногус» получает доллар с четвертью в неделю.

— На улице не валяется! — говорит переплетчик Мойше и забирает у него деньги.

7

Файтеля — «Пе-те-ле-ле» — здесь называют Филиппом. Он тоже полдня учится в школе, а во вторую половину дня торгует еврейскими газетами, которые

называются «пейперс». Он бегаёт по Ист-бродвею (это такая улица) и кричит: «Пейперс! Пейперс!» Зарабатывает он от сорока до пятидесяти сентов в день, а иногда и больше. И эти деньги, конечно, идут к отцу в котел. Все зарабатывают, а переплетчик всех их содержит.

8

Все зарабатывают. Даже мой товарищ Гершл, который с желваком на лбу и прозван за это Вашти. Но здесь его называют не Гершл и не Вашти, а Герри. Он учится в школе. А во вторую половину дня он стоит за лотком на Ривингтон-стрит у одной знакомой, из нашего же местечка, и помогает ей продавать рис, ячмень, горох, бобы, орехи, изюм, миндаль, инжир, финики, рожки и соленые огурцы. Работы у него немного. Он должен только следить, чтобы не таскали. Потому что женщина, когда приходит спрашивать крупы, тем временем берет изюм, миндаль или финик и отправляет к себе в рот. Зато он сам частенько лакомится вкусными вещами.

Вашти не станет от меня что-нибудь скрывать. Он признался, что однажды так дорвался до изюма, что у него потом три дня подряд живот болел. За работу свою он ничего не получает — разве что перепадет ему от покупателя за доставку. Он получает иной раз пенни или два, а то и пять. У нас это называется «на чай». Здесь говорят: «тип». За неделю бывает, что и доллар набежит. Дома у себя Вашти и во сне никогда копейки не видал. Разве что в пурим, когда разносят подарки. Но пурим бывает раз в год, а тут у него каждый день праздник. Ежедневно деньги зарабатывает.

— Колумбус! Тебя озолотить надо! — сказал Пиня, когда он проходил по Ривингтон-стрит и увидел Вашти за лотком. Он купил у него рожков на три сента и один сент подарил Вашти — «на чаек».

А сам переплетчик Мойше тоже без дела не сидит. Он теперь не занимается переплетным мастерством, как у себя дома. Потому что в Америке, говорит он, это дело требует огромных средств на аренду магазина и покупку инструментов, кроме того, нужно приобрести знакомства.

С другой стороны, пойти в подручные, служить — ему, говорит он, уже не по летам. Вот ему и посоветовали — среди своих не пропадешь! — арендовать книжный ларек на Эссекс-стрит.

Нашему другу Пине это ужасно нравится. Он, говорит, и сам охотно занялся бы таким делом. А нравится это потому, что, как он говорит, около чего трешься, того и наберешься. Пиня любит книги, как рыба — воду. Уж он как дорвется до книги, уткнется в нее носом — его и не оторвешь.

10

И даже наш сват, пекарь Иойна, и тот больше не занимается прежним своим делом. И все потому же: чтобы открыть пекарню, говорит он, нужно состояние Ротшильда. Кроме того, нужно еще принадлежать к «июнии». А он, говорит, уже слишком стар для этого. Пойти к кому-нибудь работать, не состоя в «июнии», он боится, так как в случае забастовки — а это в Америке каждый день случается — ему могут и голову разбить. Что же делать? Скверно.

И вот ему посоветовали хлеба и булок не печь, а заняться выпечкой пирожков! Домашних пирожков с творогом или с капустой. И что же вы думаете? Пекарь Иойна успевает! Его пирожки славятся по всему Ист-сайду. Если пройдете по Эссекс-стрит и увидите на одном из окон надпись крупными буквами по-еврейски: «Здесь продаются домашние пирожки», — знайте, что это наш сват, тесть моего брата Эли, пекарь Иойна. А если вы на той же улице, как раз напротив, увидите еще одну надпись по-еврейски: «Здесь продаются домашние пирожки», — знайте, что это уже не наш сват, пекарь Иойна. Это его конкурент, так что вы туда не ходите. Лучше идите к тестю моего брата Эли. А чтобы не ошибиться, вот вам примета: как войдете, сразу

узнаете нашего свата — он человек сердитый. Если его не узнаете, то узнаете ее, пекарку Ривеле. У нее двойной подбородок и бусы на шее. А мою золовку Броху вы, без сомнения, узнаете: у нее большущие ноги. Еще там толчется ее сестренка, конопатая девочка с косичками. Ее зовут Алта, когда-то мне ее сватали. Но о ней поговорим в другой раз.

VIII. МЫ ИЩЕМ ЗАНЯТИЕ

1

Нельзя пожаловаться, мы очень желанные гости у нашей соседки Песи и у ее мужа — переплетчика Мойше. И живетсЯ нам здесь совсем неплохо. И весело! А уж в воскресенье, когда вся орава свободна от работы, — и вовсе говорить не приходится. Мы, то есть вся ребятня, собираемся вместе, и мой товарищ Мендл с нами, — и отправляемся в театр, то есть в «мувинг-пикчурс»¹. Стоит это пять сентов с человека, а чудес навидаешься таких, что просто голова кругом! Будь я сыном короля или внуком Джейкоба Шифа, я бы дни и ночи пропадал в кинематографе. Я бы и не вылезал оттуда. И мой товарищ Мендл — тоже. И Вашти, которого здесь называют Герри, — тоже.

Поговорите, однако, с моим братом Элей — он вам скажет, что это глупости, чепуха, детская забава. Но если это детская забава, почему же туда так тянет нашего друга Пиню, и его жену Тайбл, и мою золовку Броху? Но у моего брата на все имеется готовый ответ: у женщин, говорит он, ума столько же, сколько у детей, а Пиня, по его мнению, ходит в кинематограф просто назло ему, Эле. Кончилось, однако, это тем, что Эля однажды в воскресенье и сам с нами пошел. С тех пор он, ни одного воскресенья не пропуская, ходит смотреть картины. Все мы ходим — и стар и мал. Даже Песя, и переплетчик Мойше, и наши родственники — все! Одна только мама не ходит. Ее муж, говорит она, будет в земле лежать, а она — по театрам ходить? Не дождутся этого ее враги!

¹ Кино (англ.).

Нам живется неплохо у наших соседей, совсем-таки неплохо. Но нельзя же все время жить в гостях. Надо искать какое-нибудь дело — «джаб». В Америке, говорит мой брат Эля, каждый должен «делать жизнь».

Он озабочен больше всех. Ежедневно приходит от своего тестя и усаживается с мамой говорить о делах. Броха тоже садится. И наш друг Пиня тут же. У Пини планов и проектов — без конца. Но все его планы никуда не годятся. То есть вообще-то они годятся, но брату не нравятся. А если что и понравится брату, ему возражает Броха. Пине, например, пришла мысль, чтобы он, Эля, Броха и Тайбл поступили на фабрику и сделали портными, то есть шили бы на машине. Но Броха говорит, что не стоило ради такой замечательной профессии бросать дом и рисковать жизнью на море. Подумаешь, какое счастье — на старости лет заделаться портными! На это Эля отвечает, что он еще не знает, что лучше: продавать пирожки на Эссекс-стрит или шить на машине? Броха, конечно, вспыхивает оттого, что Эля попрекает ее пирожками, и намекает ему на то, что если бы не отцовские пирожки, они все пухли бы от голода...

3

Нашего друга Пиню я люблю за его речи. Его, когда он разгорячится, удовольствие слушать. Когда все наговорились всласть, он вскочил и, размахивая обеими руками, произнес целую речь. Я помню ее слово в слово. Вот что сказал Пиня:

— О! Вы темные, дикие люди! Глубоко еще сидят в вас отсталые взгляды! Но Америка — это не страна жандармов! Все миллионеры и миллиардеры Америки в молодости работали тяжело и трудно. Кто на фабрике, кто на улице. Спросите Рокфеллера, Карнеги, Моргана, Вандербильдта, кем был каждый из них в свое время? Не подметали они улиц? Не продавали газет? Не чистили чужих сапог за пятак?

Или взять, к примеру, автомобильного короля, мистера Форда. Спросите его, не был ли он когда-то шофером, извозчиком? Да и великие люди, такие, как

Вашингтон, Линкольн, Рузвельт,— что же они, так и родились великими людьми, президентами? Даже нынешний президент Вильсон, да простит он мне,— разве не был меламедом?..

4

Этого мой брат Эля уже не мог стерпеть. Он перебил речь нашего друга Пини:

— Ну, братец, хватил через край... Осторожнее! Не забывай, пожалуйста, что Вильсон пока-то король...

Но Пиню, когда он разгорячится, не уймешь. Он высмеял моего брата Элю:

— Ха-ха! Король? Какой король? Откуда король? В Америке нет никаких королей!

— Ну ладно, не король, так президент. Какая разница? — попытался отделаться Эля.

Но Пиня перебил его:

— Большая разница! От короля до президента, как от неба до земли! Король — это король, а президент — это президент! Король — это по наследству, а президента выбирают. Захотим мы — и Вильсон будет президентом еще четыре года, а не захотим — и снова он меламед! А знаешь ли ты, что через несколько лет и я могу стать президентом?

— Ты? Президент?

— Я — президент!..

5

Никогда, с тех пор как я знаю своего брата Элю, я не видел, чтобы он так смеялся, как в этот раз. Вы знаете, что брат мой человек озабоченный, меланхолик. Редко когда увидишь его смеющимся. А если он и смеется, то как-то наполовину.

Но на этот раз на него такой смех напал, что мама даже перепугалась. Однако было над чем посмеяться. Надо было видеть нашего друга Пиню, как он стоит, заложив руки в карманы узких брюк, едва охватывающих его новые большие американские ботинки... Надо было видеть его галстук, который Тайбл то и дело поправляет на нем, чтобы он лежал как следует, а галстук не слушается, хоть режь его... а жесткая американ-

ская шляпа, которая не желает сидеть на месте! И главное, его близорукие глаза и острый крючковатый нос, который в рот заглядывает...

— Господи боже мой! И вот такой будет президентом?.. Ну как же тут не смеяться!..

6

Вдоволь насмеявшись, мой брат Эля обращается к маме:

— Ну ладно. Нас Пиня уже обеспечил. Мы все отправляемся на фабрику и будем строчить юбки на машине. А о самом Пине и подавно заботиться нечего: ведь он же, бог даст, будет президентом... Но что делать с нашими малышами?

Эля имеет в виду меня и моего товарища Мендла. Он не выносит того, что мы околачиваемся без дела. Он страшно злится, когда мы болтаемся на улице и играем в мяч или в пуговицы. Однажды он попытался ухватить меня за ухо, но вы помните, чем это кончилось? Какой-то парень сунул ему кулак прямо под нос, чтобы он знал, что в Америке можно драться только с равными.

— Да вы о себе позаботьтесь, а о ребятах заботы мало! — говорит переплетчик Мойше, тем самым намекая на то, что мы хоть и милые гости, но пора и нам уже кое-чем заняться и зарабатывать на хлеб...

7

А нам, думаете, приятно сидеть на чужих хлебах из милости? Моя мама помогает Песе на кухне. Она печет, и готовит, и стирает, и убирает. Жена Пини застилает кровати и подметает полы в комнатах. Сам Пиня помогает переплетчику в ларьке. Правда, толку от этой помощи не так уж много. Пиня, как увидит книги, уткнется в них носом — и будь здоров! Однако это бы еще с полгоря. У него к тому же манера писать. Послал ему бог перо, в котором вечно держатся чернила. Бумага здесь стоит дешево, дешевле пареной репы, — вот он и сидит и царапает.

— Ты учишься писать? — спрашивает Эля.

Но Пиня не отвечает. Он складывает исписанные листы, прячет их глубоко в боковые карманы пиджака с обеих сторон и выглядит как распухший.

8

Мы, то есть я и мой товарищ Мендл, тоже без дела не сидим. Покуда у нас еще будет «джаб», мы изо всех сил помогаем Песиной ораве. Я помогаю старшему — «Колодке», которого зовут Сэм, разносить картонные коробки. А мой товарищ Мендл помогает иной раз Вилли, который служит в бакалейной лавке, или Файтелю — Филиппу, который торгует газетами. За нашу работу мы ничего не получаем, кроме того что по воскресеньям они берут нас за свой счет в театр, то есть в «мувинг-пикчурс». А когда мы выходим из театра, они угощают нас мороженым. Здесь это называют «айз-крим» и едят либо с двумя кусками бисквита, либо запивают содовой водой. Потом мы гуляем в парке. А парков в Нью-Йорке много, и всюду пускают бесплатно. Замечательная страна — Америка! Ходи куда хочешь и делай что угодно!

9

Когда есть время, я забегаю к старому своему товарищу Вашти. Но его «боссиха» (хозяйка) не особенно рада моим визитам. Она заметила, что Вашти иногда подсовывает мне кусок рожка или парочку изюминок и миндалин. Двух сластен, говорит она, ее ларек выдержать не может!

Так что я больше туда не хожу. Я жду, когда Вашти придет вечером домой. Иной раз он приносит мне в кармане что-нибудь вкусное. Но Броха, как увидит, что я жую, тут же докладывает моему брату Эле. Эля спрашивает, что я жую. Я отвечаю: «Чойнгом». То, что все в Америке жуют. Но Броха говорит, что у нее с души воротит от этой жвачки.

— Не все ли тебе равно? — удивляется Эля. — А если коровы жуют жвачку?

Тут вмешивается Пиня. Он не может допустить, чтобы американцев сравнивали с коровами. Он говорит:

— Ты берешь народ, первый, величайший, мудрей-

ший и самый свободный народ в мире, и сравниваешь его с... коровами! Скажи мне, пожалуйста, что было бы с нами, если бы Колумбус, упаси бог, не открыл Америку?

— Другой открыл бы! — отвечает просто и не задумываясь Эля.

10

Слава тебе господи! Могу сообщить вам радостную весть: у нас уже есть занятие. Больше нам не придется ходить без дела, прибегать к милости и есть чужой хлеб. Мы уже работаем на фабрике. То есть не я и не мой товарищ Мендл. Нас не принимают, мы еще слишком молоды. На фабрику идут пока двое из нашей семьи — мой брат Эля и наш друг Пиня.

Что значит работать на фабрике и как там работают? Об этом я вам расскажу.

IX. МЫ РАБОТАЕМ НА ФАБРИКЕ

1

Как работают на фабрике, я не могу вам точно сказать. Я и сам не знаю. Меня туда не пускают, потому что мне еще тринадцати лет нет. Знаю только то, что слышу от моего брата Эли и от нашего друга Пини. Каждый вечер, вернувшись домой с фабрики, они рассказывают всякие чудеса. Приходят они измученные и голодные, и мы садимся ужинать. Ужин — по-здешнему «сапер». Броха терпеть не может это слово, как правоверный еврей — свинину. Есть еще слово, которое она не выносит. Это — «винде». «Винде» — здесь означает окно. Затем она слышать не может, когда говорят «стакинкс». Вы, конечно, никогда не догадаетесь, что «стакинкс» — это... чулки! Или — как вам нравится словечко «дишес»? Казалось бы, «посуда», говорит Броха, гораздо красивее! А что может быть проще слова «ложка»? Так нет же, им это не по вкусу. По-ихнему ложка — это «спун». Недаром у Брохи поговорка (у нее имеются свои поговорки): «Какова страна, таков и язык...»

Эля и Пиня работают в разных мастерских. Один — «опрейтор», то есть попросту говоря портной. Второй — гладильщик. Портной не должен шить вручную. Он строчит на машине. Но и это надо уметь — само по себе не строчится. Откуда же моему брату Эле уметь шить на машине, когда ни отец, ни дед, ни прапрадед никогда портными не были и машины в глаза не видали? Наши предки, говорит мама, были сплошь канторы, раввины и синагогальные служки. Скверно, конечно! Но на то и Америка: нет в Америке такого дела, которым бы человек заниматься не мог. В Америке всему выучиваются. Возьмите, к примеру, раввина. Ведь для того, чтобы быть раввином, уж наверное требуется умение? Раввин должен уметь хотя бы разрешать спорные вопросы? Тем не менее в Америке имеются раввины (здесь их называют «реверентами»), которые у себя на родине были мясниками. Мой брат Эля познакомился здесь с одним специалистом по обрезаниям. У себя на родине он был портным, да еще дамским к тому же!

— Как же это так? — спрашивает Эля.

— Америка! — отвечает тот.

Как мой брат Эля научился строчить? А как же дамский портной научился делать обрезание? Эля порядком натерпелся. Ему давали остатки материи, чтобы он прошивал их на машине. Вот он и прошивал — туда и обратно, — покуда дело не пошло на лад. На следующий день он уже строчил. Правда, можете себе представить, что это была за строчка! Но хорошо и то. А вот Пиня и этого не смог. Не потому, что он ленился. Упаси бог! Пиня готов тачку на себе возить, лишь бы жить в Америке. Но беда в том, что он ужасно близорук и делает все второпях. Его тоже посадили за машину, как и моего брата. И ему дали прострочить куски материи. Но с ним случилось несчастье, или, как здесь говорят: «эксиденц». Наш друг Пиня второпях задел за свой пиджак и пристрочил левый рукав. Хорошо еще, что машина по руке не прошла. Ох и хохотали же над ним! Портновская братия подняла его на смех! Прозвали его «грин-

горн», то есть «зеленым». А «зеленый» — это такой, который только что приехал с родины и ничего еще в Америке не знает. «Зеленый» — это позор, хуже вора...

Но это бы еще, как Броха говорит, с полгоря. Случилось нечто похуже. Сейчас узнаете.

4

Как раз в той мастерской, где мой брат работал за машиной и где начал было учиться наш друг Пиня, находился наш старый знакомец и враг Пини — портной из Гайсина.

Если вы помните, мы с этим гайсинским портным ехали вместе на корабле «Принц Альберт». Вы, наверное, помните также, что с нашим другом Пиней этот портной был на ножах. И вот надо же богу устроить так, чтобы Пиня повстречался с ним в одной мастерской! Да как еще повстречался! Гайсинский портной здесь, оказывается, важная персона. Он не «опрейтор», он — «катор», то есть закройщик. Он кроит, а портные шьют. Но этого мало. Он говорит, что недолго будет заниматься этим делом. Он надеется вскоре стать «дезайнером». А это и вовсе большая шишка! «Дезайнер» — это мастер, который делает фасоны, модельщик. А модельщик зарабатывает пятьдесят долларов в неделю и семьдесят пять, а то и все сто!

Уж если везет человеку, так везет! Как наша Броха говорит: «Одному бог даст все, другому — ничего...»

5

Как только Пиня переступил порог мастерской, к нему навстречу вышел портной из Гайсина, уставился на него через свои серьезные очки, протянул руку и воскликнул:

— Хеллоу, земляк! Ай-ду-ю-ду?

Это значит: «Здравствуйте пожалуйста! Как изволите поживать, уважаемый?»

Пиня смотрит на него своими близорукими глазами: «Это что еще за шут гороховый?» Он его даже не узнал.

И лишь когда тот назвал «Принца Альберта», Пиня

вспомнил, кто это такой. И, говорит он, ему будто трижды сердце пробуравили!

Казалось бы, что такого сделал ему этот гайсинский портной? Но Пиня говорит, что видеть его не может! Если бы он знал, что ему будут платить тысячи долларов в час, он и то не остался бы ни на минуту в этой мастерской! А к тому же еще этот «эксиденц» с пристроченным рукавом...

6

Словом, «опрейтором» Пиня уже не будет. Он пошел в другую мастерскую и нанялся в гладильщики. Собственно, пока еще только в подручные. Когда он научится, тогда пойдет дальше и выше. До чего он доберется?

— Ничего нельзя знать! — говорит Пиня. — Никто не знает, кому завтрашний день принадлежит. Ни Карнеги, ни Вандербильдт, ни Рокфеллер не знали, что впоследствии они будут тем, что они есть...

А пока наш Пиня основательно мучается. И все из-за того, что он вечно торопится. К тому же эта близорукость. Ежедневно он приходит ошпаренный.

Однажды он пришел с искалеченным носом. В чем дело? Во время глажки он обжег себе нос. Каким образом утюг угодил ему в нос? Но Пиня говорит, что нос не стал дожидаться, куда утюг пожалует к нему. Нос не поленился и сам потянулся к утюгу.

Как же так все-таки? Оказывается, Пиня разыскивал кусок материи, но по близорукости нагнулся к столу и ткнул самым кончиком носа в раскаленный утюг.

— Растяпа в сугроб упадет — и то на камень наткнется...

Полагаю, что, если я и не скажу вам, вы сами догадаетесь, что слова эти принадлежат Брохе. Моя золвка умеет ввернуть словечко...

7

Броха недовольна. Мама — тоже. И Тайбл — тоже. Но видели вы когда-нибудь, чтобы женщины были довольны? Они оплакивают нас, мужчин, потому, что нам приходится в Америке так трудиться, что-

бы «делать жизнь». Шутка ли, работать на фабрике! В половине восьмого нужно быть уже на работе. Час продолжается езда до фабрики. А перекусить что-нибудь тоже надо. А помолиться и подавно нужно. Вот и подумайте, когда же мы должны вставать? А опоздать нельзя ни на минуту. Если опоздаете, вам за каждые пять минут высчитывают полдневный заработок. Откуда они знают, опоздали вы или нет? На то и Америка. В Америке на каждой фабрике имеются такие часы. Как только пришли на работу, вы прежде всего нажимаете на часы. Здесь они называются «клак». Слово «клак», говорит мой брат Эля, происходит от слова «колокол»; колокол звонит, и часы тоже звонят...

— Но так называются только стенные часы. Карманные часы не звонят и называются поэтому «ватч».

— Почему «ватч»? — спрашиваю я у Эли.

— А как же им называться?

— Вачики...

— Почему «вачики»?

— Потому что карманные часы — это «часики». Ведь вот «бой» означает «парень», а мальчик — это «бойчик»...

Эля начинает сердиться и говорит, что я научился у Пини говорить наперекор. Хорошо еще, что Пини при этом нет. Будь он здесь, они бы поссорились из-за этого слова, так же как недавно они чуть не подрались из-за слова «брек-фиш» — завтрак.

Эля сказал, что завтрак называется «брек-фиш» потому, что к завтраку едят рыбу или селедку...¹

— Почему же «брек-фиш», а не «брек-селедка»? — спросил Пиня.

— Глупая твоя башка! — ответил Эля. — А селедка не рыба?

Пиня почувствовал себя побитым и предложил:

— Давай спросим у американца!

И не поленились, остановили на улице бритого еврея (это было в субботу) и спросили:

— Вы давно в Америке живете?

— Тридцать лет. А в чем дело?

— Объясните нам, пожалуйста, почему у вас завтрак называется «брек-фиш»?

¹ Ф и ш — рыба.

— Кто вам сказал, что завтрак — это «брек-фиш»? — удивился тот.

— А как же?

— Брекфест! Брекфест! Брекфест! — трижды прокричал американец и добавил: — Зеленые дикари!..

8

Боюсь, что на фабрике мы долго не продержимся. Мой брат Эля говорит, что рабочим досаждают «форман». На каждой фабрике имеется «форман» — старший надзиратель. И не один, а на каждом этаже свой «форман». На этаже, где работает Эля, «форман» — изверг, злодей! Когда-то он сам был «опрейтором». Но выслужился и стал надзирателем. Рабочие говорят, что он хуже «босса».

По мастерской пошел слух, что надзиратель передвигает часы.

Так что, когда бы вы ни пришли, у вас опоздание! Понимаете, какой жулик?!

А наш друг Пиня рассказывает о своей мастерской еще более интересные истории. Их «форман» не разрешает рабочему заглянуть в газету. Читать за работой газету — упаси бог! О курении и говорить не приходится. Словом перекинуться нельзя. В мастерской, если не считать лязга и грохота машин, такая тишина, что слышно, как муха пролетит. И еще одно «удобство» у них в мастерской: утюги греются на керосине. Здесь это называется «газ», но воняет он не лучше нашего керосина.

9

Словом, запах керосина так ударяет в голову, что рабочие падают в обморок и должны бросать работу. За это у них высчитывают из жалованья. То есть когда выдают получку за неделю, у вас ничего не остается. То вы опоздали на пять минут — долой полдня, то вы ушли слишком рано — еще полдня долой... А то вы в обморок упали — целый день пропал.

Нет! Так больше нельзя. Придется бастовать.

Х. МЫ БАСТУЕМ!

1

Мне кажется, никогда в жизни так хорошо не бывает, как во время забастовки! Это вроде того, как если учишься у злого меламеда, который больно дерется, а у него отбирают всех ребят и подыскивают для них другого учителя. И вот, пока подыщут, вы не ходите в хедер...

Мой брат Эля и наш друг Пиня перестали ходить на фабрику. Наш дом совсем по-иному выглядит с тех пор, как они бастуют. Раньше мы их, бывало, видели раз в неделю — в воскресенье. Потому что, как я вам уже рассказывал, когда работаешь на фабрике, надо вставать на рассвете, чтобы, не дай бог, не опоздать. А когда они возвращались домой, я, бывало, уже спал. Почему? Потому что они работали сверхурочно, то есть даже после того, как все уходили домой. Работать их никто не заставлял — они просто хотели побольше заработать. А в том, что при получке у них высчитывали дни, они ведь не виноваты.

— Допустим, что разбойники напали...— говорил Эля.

— Допустим, что ты глуп! — отвечала моя золовка Броха.

Если бы она, говорит Броха, работала на фабрике, она бы не давала себе на ноги наступать! Всем этим надзирателям и «боссам» тошно было бы от нее, уверяет она. Ей можно поверить! Она умеет!

2

Зато и радовалась она, когда во всех мастерских объявили забастовку. Это значит, портные всего Нью-Йорка побросали утюги да ножницы и — гуд бай! Батюшки, что творилось! И дома, и на улице, и в «холлах»! «Холл» — это зал или театр. Собираются туда портные со всего Нью-Йорка на митинг, и говорят, и говорят, и говорят... Таких слов наслушаетесь, каких вы никогда и не слышали: «Дженераль-страйк», «юнион», «организовано», «сорок восемь часов», «повышенное жалованье», «скэбы», «штрейкбрехеры», «пикеты»... и тому подобные слова, которых вы не понимаете. Мой товарищ Мендл

говорит, что он слова эти понимает, но объяснить мне не может. «Старше будешь, сам поймешь!» — говорит он. Возможно. А пока я присматриваюсь к людям, вижу, как они горячатся, и у меня руки чешутся: так хочется нарисовать их, изобразить каждого в отдельности, как он выглядит, что делает, как стоит и говорит.

3

Взять, к примеру, моего брата Элю. Сам он ни слова не говорит. Он только подходит то к одной, то к другой кучке людей, просовывает туда нос или настораживает ухо. При этом он грызет ногти и ужасно волнуется. Удовольствие видеть, как мой брат кивает головой каждому, что бы тот ни говорил. Он со всеми соглашается. Вот подошел к нему портной с желваком на лбу. Портной ухватил его за лацкан, трясет его и уверяет, что все это ни к чему, что напрасен весь этот шум. Портные своей забастовкой ничего не добьются, потому что общество фабрикантов гораздо сильнее нас! И мой брат утвердительно кивает головой. А я боюсь, что Эля, так же как и я, даже не знает, что это такое за «общество фабрикантов»... Потому что вот подошел к нему другой портной — с утиной физиономией. Портной этот шлепает губами, держит брата за пуговицу и поминутно выкрикивает: «Нет! Мы должны бороться, бороться до конца!»

И Эля слушает и тоже кивает головой... Жаль, что нет при этом моей золовки. Уж она бы ему сказала...

4

Совсем по-иному выглядел наш друг Пиня. Кто не видал его и не слышал его речей на митингах, тот ничего интересного в своей жизни не видал. Как выглядит Пиня, вы знаете по моим прежним рассказам. Его близорукие глаза и крючковатый нос, что в рот глядит, вы, конечно, помните. Не забыли вы, надо полагать, и его длинных, узких брюк — одна штанина спущена, другая задрана, — его галстук на расстегнутой манишке... А как он горячится, как сыплет, словно из пожарного рукава, громкими словами и именами великих людей!..

И вот представьте себе Пиню, выступающего перед тысячной толпой, которая к тому же не желает его слу-

шать! Начал он с Колумба, с открытия Америки, затем перешел к Соединенным Штатам и только было собрался говорить и говорить, но ему не дали.

— Кто этот оратор? — спрашивает один портной у другого.

— Какой-то «зеленый»! — отвечает тот.

— Что ему нужно?

— Чего он болтает?

— Морочит голову!

— Шарап! — выкрикивает один, а другие подхватывают:

— Шарап!

5

Вообще говоря, «шарап» — это слово нехорошее. Означает оно: «Долой». Однако наш друг Пиня слов не пугается. Пиня, когда он разговорится, — все равно что бочка с водой, из которой вынули затычку. Можете придерживать рукой, можете затыкать отверстие тряпкой — ничего не поможет. Пока вода не вытечет до последней капли, труд ваш напрасен. Пиня должен отговорить свое. Разве что его стащат с трибуны. На этот раз с ним так и пришлось поступить. Два портновских подмастерья, гладильщики, взяли его за обе руки и честь честью сняли с трибуны.

Однако это не помешало ему договорить до конца. Он закончил свою речь, уже идя с нами домой. А когда мы пришли, он еще долго говорил перед моей мамой, перед золовкой Брохой и перед своей женой Тайбл. Я и мой товарищ Мендл тоже были среди слушателей. И мне кажется, что Пиня был прав. Но поговорите с женщинами... Когда Пиня кончил, моя золовка Броха сказала, по своему обыкновению, не совсем понятно:

— Не все ли равно индюку, когда его зарежут — на пурим или на пасху?..

Может быть, вы знаете, что она хотела сказать?

6

Между тем проходит день за днем. Забастовка продолжается. Рабочие держатся крепко. Митинги собираются каждый день. И каждый раз на новом месте.

Однако и фабриканты, говорят, тоже держатся крепко. Они не хотят уступать. Но все говорят, что уступить им придется. Нет того, чего рабочие не могли бы добиться. Дело доходит до последнего средства. Если и это не поможет, тогда все кончено! Так говорят наши. Что ж это за средство? Мы соберемся, все забастовщики всего Нью-Йорка, и пройдем по улицам с демонстрацией. Это значит, что тысячи и тысячи портных пройдут с флагами по всему городу. Мне и моему товарищу Мендлу это нравится. Мы будем первыми. Но поговорите с такой женщиной, как моя золовка Броха, и она вам скажет, что, на ее взгляд, — это детская игра, вроде игры в солдатики...

— Жаль ваших сапог! — говорит она.

Послушали бы вы, что ответил ей на это Пиня!

7

Дело с забастовкой зашло у нас уже довольно далеко. Я и мой товарищ Мендл уже готовились, как готовятся к Четвертому июля. В этот день в Америке праздник. На улицах стреляют из ракетниц, и случается, говорят, что даже людей убивают. Шутка ли — Четвертое июля! Ведь это же день, когда Соединенные Штаты освободились от врагов...

Я и Мендл были уже настроены по-праздничному. Но торжество наше было омрачено. На Канель-стрит убили человека. Эту весть принес Пиня. Он был на месте и видел убитого. Он говорит, человек этот заслужил свою смерть — это был гангстер.

— Что это такое — гангстер? Вор? — спрашивает мама.

— Хуже вора! — отвечает Пиня.

— Разбойник?

— Хуже разбойника!

— Что может быть хуже разбойника? — удивляется мама.

— Гангстер, — говорит Пиня, — хуже разбойника, потому что разбойник — это разбойник, а гангстер — это наемный злодей. Его наняли, чтобы он избивал забастовщиков. Он напал на девушку-забастовщицу и хотел ее избить. Та подняла крик, сбежались люди, и началась драка.

Больше от Пини ничего нельзя было добиться. Он

шагал на своих длинных ногах взад и вперед и страшно волновался. Он рвал на себе волосы и сыпал словами и именами:

— Эх, Колумбус! Ай-яй, Вашингтон! Ай-яй, Линкольн!

Наконец Пиня поднялся и убежал.

8

Пока суд да дело, а пострадали мы — я и мой товарищ Мендл. Мама поклялась своим здоровьем и жизнью, что ни за какие деньги не пустит нас на улицу! Ни меня, ни Мендла, ни Элю, ни Броху, ни Тайбл. Потому что если дошло до того, что на улицах убивают людей, так о чем же говорить! Она на всех нас нагнала такого страха, что Тайбл расплакалась, как ребенок: бог знает где сейчас ее Пиня!..

Тогда мама забыла о нас и стала утешать бедную Тайбл: есть у нас великий бог, ничего с Пиней не случится. Он, с божьей помощью, благополучно вернется домой и будет мужем своей жене и отцом своим детям, которые, бог даст, еще когда-нибудь будут. Пока что у Тайбл детей нет. Она лечится и надеется, что дети у нее будут.

— И много детей! — говорит мама.

— Аминь! Дай бог! — говорю я и тут ж получаю затрещину от моего брата Эли, чтоб я не был озорником и не совал свой нос куда не следует.

9

Слава тебе господи, Пиня пришел. Пришел с радостной вестью: человек, гангстер, которого убили, оказывается, жив и будет жить. Но калекой он останется уже навсегда. Его не убили насмерть, его просто здорово отколотили, вышибли глаз и сломали руку.

— Поделом! Пусть не будет гангстером!

Но маме его жалко:

— Пусть он себе будет кем хочет. Есть бог на небе, пусть он с ним и рассчитывается. За что ему было ломать руку и выбивать глаз? Чем провинились его жена и несчастные дети, чтобы иметь отца-калеку?..

Забастовка затянулась, и мы ходим без дела. Мой брат Эля вне себя. Мама его утешает. Она говорит, что бог, который привел нас в Америку, нас, надо надеяться, не покинет. Наш родственник, пекарь Иойна, и наши добрые друзья, Песя-толстая и ее муж — переплетчик Мойше, да и все остальные друзья и знакомые приходят к нам каждый день и утешают нас. Небо, говорят они, наземь еще не валится. Где это сказано, что в Америке надо обязательно заниматься портновским делом? Можно прожить и без этого. Как? Сейчас я вам расскажу, как мы «делаем жизнь» в Америке.

ХІ. КАСРИЛОВКА В НЬЮ-ЙОРКЕ

1

Прежде чем рассказать вам, как мы «делаем жизнь» в Америке, я должен перечислить по именам, кто здесь находится из наших друзей и знакомых, так как только благодаря им мы понемногу оправились и начали заново строить свою жизнь. Оказывается, что у нас здесь есть и друзья и знакомые, — дай бог не сглазить! Вся Касриловка перебралась в Америку. После нашего отъезда из дому, говорят они, там начался переполох, смятение, бегство. Там произошел страшный погром, резня и пожар — весь город сгорел дотла! Новость эту сообщила нам мама. Где бы ни стряслась какая-нибудь беда, первой узнает о ней мама. Где? В синагоге. В «Касриловской синагоге». Есть и такая в Нью-Йорке.

2

В первую же неделю по приезде в Нью-Йорк мама прежде всего расспросила о синагоге, куда можно было бы ходить молиться по субботам. Оказалось, что в Нью-Йорке синагоги, слава богу, имеются чуть ли не на каждой улице. В первый раз нас проводила наша соседка Песя. Синагога эта — наша. То есть прихожане, которые там молятся, все из нашего местечка. Она так и называется: «Касриловская синагога». Там мы увиделись со многими нашими земляками. Прежде всего мы уви-

дели — угадайте кого? Будь вы семи пядей во лбу — все равно не отгадаете. Во-первых, кантора, нашего кантора Герш-Бера с длинной бородой, того самого, у которого я когда-то служил в певчих, если вы помните, и таскал на руках его Добцю. Девочка умерла еще в Касриловке во время погрома. А кантор Герш-Бер с женой и старшими детьми живут в Америке. Он здесь и кантор, и обрезальщик, и меламед. Здесь это называется не меламед, а «тычер». Почему «тычер»? Потому что он тычет чем попало в ребят. Делает он это незаметно, чтобы никто не видел. Потому что бить ребят в Америке не разрешается, как я вам уже рассказывал. Говорят, что Герш-Бер здесь очень неплохо зарабатывает. Но он сильно изменился. То есть вообще-то он тот же самый, что и был, но одевается он по-другому. Если бы он дома надел такую шляпу, как здесь, за ним бы бегали. Кафтан на нем тоже укорочен, а пейсы подрезаны. Только бороду он не трогает. Зато ее трогают другие. В Америке бороды не любят. Однажды поймали его на улице озорники и хотели отрезать ему бороду. На счастье, подбежали люди и спасли его. С тех пор он, когда ходит по улице, прячет бороду в воротник пальто.

3

Сапожник Бере тоже здесь. Это тот самый Бере, у которого мой брат Эля когда-то нанимался травить мышей. Если вы помните, сапожник Бере любит рассказывать всякие чудеса, выдумывать невесть какие истории, иначе говоря, не прочь соврать. Он и здесь занимается сапожным делом, как и дома. Рассказывает он о своей работе такие вещи, что если бы это было правдой хотя бы на одну треть, так и то было бы замечательно. Бере заявляет, что он лучший сапожник в Америке. С его сапогами, говорит он, носятся по всей стране. Клянется он так, что и богоотступнику поверить можно. Сам президент будто бы заказал у него пару сапог.

Мой брат Эля говорит, что история с президентскими сапогами — такая же правда, как и история о кошке, которую съели крысы, рассказанная им когда-то...

Даже богач Иося, которому у нас в местечке все завидовали, и тот здесь, в Америке. Но он уже больше не богач. В чем дело? Его пришиб погром. От самого погрома он, собственно, не так уж пострадал. Правда, его пограбили, мебель сломали, постель распороли, товар из лавки порастаскали. Но их не били, потому что три дня и три ночи они прятались в погребе и чуть от голода не умерли. Но все это было бы с полгоря. Беда в том, что все его должники обанкротились. Тогда и ему пришлось прекратить платежи. Кто мог бы ждать, что такой надежный человек, как реб Иося, должен будет обанкротиться и бежать из Касриловки? Бежал он среди ночи. Куда? В Америку.

Его сынишку, Генеха-кривого, вы, наверное, помните? Помните, как он смеялся надо мной, что я еду в Америку? Теперь он здесь таскается по улицам и, завидев меня, убегает. Ему и сейчас, видите ли, не пристало разговаривать со мной! Мой товарищ Мендл говорит, что он ему обязательно и второй глаз приведет в порядок. Мендл терпеть не может, когда чванятся и задирают нос.

Интереснее всего то, что и лекарь Менаше, и его Менашиха тоже здесь. Вы, конечно, помните их сад с персиками, с вишнями, с яблоками и грушами? Все это пошло прахом. Сожгли их дом и сад, все превратили в пепел. Вы бы их теперь не узнали. Оба состарились и поседели. Он развозит лоток с яблоками и апельсинами, а она торгует чаем Высоцкого.

— Горе горькое,— говорит мама со слезами на глазах,— до чего они дожили...

— Поделом! Черт с ними! — говорит мой брат Эля, и я с ним совершенно согласен.

Поделом Менашихе — она была ведьма, нищему жалела гнилое яблочко, упавшее с дерева. Думает, я забыл, как меня однажды сцапали на крыше... Покуда жив, помнить буду!

За то время, что мы таскались по заграницам, нашу Касриловку разгромили, разграбили и пожгли. Похоже, что и наша половина дома, которую мы продали портному Зиле, тоже сгорела. А Зиля сейчас здесь, он по-прежнему портняжит. Разница только в том, что дома он был сам себе хозяином, а здесь, в Америке, он служит. Иной раз — подручным гладильщиком брюк, иной раз — «опрейтором» на машине. Зарабатывает он семь-восемь долларов в неделю. Ему бы, говорит он, этого было маловато, но ему помогают три дочери. Они шьют рубашки.

Рубашки здесь называются «шойртс». Я спрашиваю моего брата Элю, откуда взялось такое слово, но он не знает. Пиня говорит ему, что он и многих других слов не знает. На это Эля отвечает, что корень других слов ему понятен. Тогда Пиня спрашивает:

— Откуда берется слово «бучер»? И почему «бучер» — это мясник?

— Потому, — отвечает Эля, — что мясник расчebuчивает тушу на куски...

— А почему же портной называется «опрейтором»?

— Потому, — говорит Эля, — потому что... Чего ты пристал ко мне? Обязан я, что ли, понимать все слова, которые говорят в Америке?

— Не кричи, пожалуйста! Подумаешь, осласчастливил! — говорит Пиня и обращается ко мне: — Поди-ка сюда, малыш! Если хочешь что-нибудь узнать, никогда не спрашивай у твоего брата Эли. Он ничего не знает.

— Оба вы знаете не больше покойника! — вмешивается моя золовка Броха, заступаясь за своего мужа.

Однако я отвлекся посторонними разговорами и забыл, что начал перечислять, кто из наших знакомых находится в Америке.

Кроме членов семьи нашего друга Пини, здесь сейчас вся Касриловка. Возможно также, что и семья Пини тоже переберется сюда. Отец Пини, Герш-Лейб-

механик, и его дядя, часовщик Шнеер, пишут Пине, что они бы выехали, да только денег у них нет. Они просят выслать им шифскарты. Вот мы теперь и копим гроши. Когда накопим несколько долларов для уплаты задатка, мы вышлем им шифскарты на выплату, в рассрочку. А выплатить они смогут, потому что приедут они сюда не с пустыми руками. Механик Герш-Лейб пишет, что он придумал новую печь, которая требует очень мало дров, почти ничего. Как? Это его секрет. А часовщик Шнеер придумал часы, на которые вся Америка будет бегать любоваться, как на чудо. Что ж это за часы? А вот послушайте, что пишут нашему Пине из дому.

8

Сами по себе это обыкновенные настенные часы, с обыкновенным циферблатом. Однако, когда вы хорошенько присмотритесь к циферблату, вы увидите, что на нем нарисованы солнце, луна и звезды. Думаете, это все? Погодите! Каждый раз, когда часы бьют двенадцать, открывается маленькая дверца и выходят из нее сначала офицер со шпагой, а затем двенадцать солдат-музыкантов. Офицер взмахивает шпагой, и двенадцать солдат играют марш и уходят. Дверцы закрываются, и — кончено!

Как вы думаете, можно с такими часами зарабатывать деньги в Америке? Над этими часами Пинин дядя проработал добрых несколько лет. Они были уже почти готовы, но во время погрома их разбили в куски.

Однако ничего — лишь бы мысль осталась. Пусть он только приедет в Америку, и все будет, как здесь говорят, ол райт.

9

А о том, как мы «делаем жизнь», я все еще вам не рассказал. Но это я оставлю до следующего раза.

ХІІ. МЫ ДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ

1

Первым выбился на дорогу и начал делать жизнь мой брат Эля. А кому он этим обязан? Маме. Она по субботам ходит молиться в «Касриловскую синагогу» и встречается там с разными людьми. Вот она и познакомилась с президентихой, то есть с женой старосты синагоги. Староста здесь называется «президент». Президентиха — славная женщина и очень уважает мою маму за то, что она всегда знает, на чем остановился кантор и что он говорит. А здешние женщины понятия не имеют о том, что они читают в молитвеннике. Так говорит моя золовка Броха. Она уверяет, что здешние женщины ходят в синагогу только для того, чтобы показывать свои брильянты. И что они, извините, ужасные дуры. Броха говорит, что они ни аза не смыслят, что они умеют только жрать и сплетничать...

Мама ее перебивает и говорит:

— А разве то, что ты рассказываешь, дочь моя, не сплетня?

Броха отвечает, что ей можно, потому что она рассказывает своим, а не чужим...

Однако вернемся к президентихе и к ее мужу — президенту «Касриловской синагоги».

2

Слыхали вы что-нибудь об «Ибру нейшонэл вуршт компани»? Там продают еврейскую кошерную колбасу, сосиски, жареные языки и копченое мясо. Во всех концах города эта компания имеет магазины, в которые вы приходите покупать кошерную колбасу. Если вы голодны и у вас есть время, вы велите подать себе горячие сосиски, только что из кипятка, и едите их с хреном или с горчицей, как вам угодно. Если вы не стеснены в деньгах, можете заказать себе еще одну порцию. Я и мой товарищ Мендл однажды уписали по три порции и чувствовали, что могли бы одолеть еще по две, — да только порошу у нас не хватило... Но не об этом я хотел вам рассказать.

А рассказать я хотел вот что. Президент нашей синагоги является одним из хозяев этой колбасной компании. И вот мама через президентиху добилась, чтобы президент принял моего брата Элю на службу. То есть продавцом. Если кто-нибудь приходит и велит подать горячие сосиски, надо не постесняться и подать.

Вначале мой брат поломался: «Помилуйте, молодой человек с бородкой, сын кантора Пейси и зять пекаря Иойны, и вдруг — подавальщик!»

Но тут его отчитал Пиня.

— Ты что думаешь? — мылил ему шею Пиня. — Ты думаешь, что все еще живешь в проклятой Касриловке? Ты в Америке! В Америке такие же порядочные люди, как ты, например Карнеги, Рокфеллер, Вандербильдт торговали газетами, разносили спички, чистили сапоги на улицах. Прочти биографию какого-нибудь Джорджа Вашингтона, Эйбрама Линкольна или других великих людей, тогда увидишь, что сыну кантора Пейси вполне пристало продавать сосиски.

Но здесь Пине основательно влетело от моей мамы. Покуда Пиня сыпал именами — Карнеги, Рокфеллер, Вандербильдт, — это ее не трогало. Но когда он наряду с Вашингтоном и Линкольном упомянул имя моего отца, кантора Пейси, — это ее задело. Она сказала, что не знает, кто такой Вашингтон и кем был Эйбрам Линкольн. Очень возможно, что это были порядочные люди и очень почтенные евреи, но она не хочет, чтобы имя ее мужа таскали сюда, в Америку. Пусть он, говорит она, будет в раю добрым заступником за нее, за нас и за всех евреев.

— Амины! — говорю я и тут же получаю пощечину от моего брата Эли, чтобы не совал свой нос куда не надо.

Короче говоря, у моего брата есть занятие, и он делает жизнь. Он продает сосиски, подает к столу и получает за это, во-первых, пять долларов в неделю, а кроме того, его два раза в день кормят. Это тоже чего-нибудь стоит. А чего стоит то, что в магазин приходит масса народу? Каждый день он знакомится с самыми почтенными людьми Нью-Йорка. Есть надежда, что мой брат далеко пойдет, потому что он понравился хозяевам и пользуется большим уважением у покупателей. Покупатель любит, когда его обслуживает порядочный человек, неприрожденный лакей. Единственный недостаток в том, что у моего брата, не про вас будь сказано, растет борода. Не будь у него бороды, он был бы совсем-совсем ол райт. Но борода, как назло, здесь, в Америке, разрослась у него и в ширину и в длину. То есть больше в ширину, чем в длину.

Пиня говорит, что Эля мог бы свою бородку, как говорят в Америке, немного обкорнать. Так, как сделал это он, Пиня. Он зашел к парикмахеру, сел в кресло и закинул голову, не говоря ни слова, потому что тогда еще по-английски говорить не умел.

Парикмахер подошел, взял его за нос и, рассказывает Пиня, ничего не сделал. Он только хорошенько намылил ему все лицо и прошелся по нему бритвой всего два раза, а потом попросил встать. А когда Пиня встал, рассказывает он, и взглянул в зеркало, он себя не узнал. На лице у него не осталось даже следа от бороды и усов. Гладко, как доска для теста. Ему, говорит он, показалось, что он улыбається...

Бог ты мой, как ему досталось от его жены Тайбл! Она, бедняга, два раза падала в обморок и даже заболела от горя и стыда. Но так было только в первое время. Теперь она уже привыкла. Пиня каждую неделю бреет все лицо и выглядит как настоящий американец. Он уже говорит по-английски и постоянно жует «чойнгом». Но он уже этого больше не глотает... Если бы он к тому же следил, чтобы манишка не была расстегнута, чтобы галстук был на месте и чтобы обе штанины были вровень, а не одна вверху, а другая внизу,— он был бы вполне джентльменом.

Если бы у Пини не кружилась голова (он родом из такой семьи — «головастых»), если бы он не носился со всякими крупными делами, которые здесь называются «бизнес», он мог бы делать жизнь. Собственно, он и так живет, беда только в том, что он каждый раз хватается за другое дело. Зато у него достоинство: он не стыдится никакой работы на свете. Он готов делать все, что ему прикажут, лишь бы заработать доллар. Подметать улицу? Ну что ж! Сгребать уголь? И то хорошо. Продавать газеты? И того лучше. Америка, говорит он, страна свободная, а стыдно только красть. Вот потому-то, говорит он, здесь все работают и никто не ворует. Воруют только итальянцы. Урожденный американец, говорит Пиня, ни за что не украдет, пусть хоть золото лежит. Американец никогда вас не обманет, никогда не соврет. Так уверяет Пиня. Он даже стихи сочинил об Америке. Все стихотворение я не помню, могу сказать только несколько строчек наизусть. Вот как оно начинается:

Колумбова страна
Для «зеленых» создана.
Огромная страна —
Ей нет конца и края.
Здесь лжи в помине нет,
Неправды здесь не знают...

Не помню, как у него там дальше, а кончается это стихотворение так:

Америка — справедливости страна:
Здесь есть президент, здесь нету царя...

Мой брат Эля смеется над ним. Он говорит, что «страна» и «царя» — не бог весть какая удачная рифма. На это Пиня отвечает присказкой: «Если мужа звать Яшкой, можно пить из его фляжки, а если мужа звать Лейзер, так черт его батьке...» Спрашивается: где же рифма? Ответ: «Черт его батьке без всякой рифмы...»

Думаете, что наши женщины не зарабатывают? Я имею в виду мою золовку Броху и жену Пини, Тайбл. Они работают на мужских галстуках. А кому

они должны быть благодарны? Опять-таки моей маме и опять-таки тому, что она ходит по субботам в синагогу. Она там познакомилась с одной «олрайтницей», то есть богачихой (богачей здесь называют «олрайтниками»). Эта богачиха, не тем будь помянута, была когда-то прислужой у нас, в Касриловке, у богача Иоси. Зовут ее Крейндл. С ней произошла целая история, которую можно рассказать вкратце.

8

Был у нас в Касриловке когда-то мясник по имени Мейлах. У этого Мейлаха служил парень по имени Нехемья. И вот этот Нехемья влюбился в эту Крейндл и хотел на ней жениться. А жениться ему было не на что. Он и надумал: однажды мясник Мейлах дал ему деньги, чтобы купить на ярмарке корову. А он, Нехемья то есть, взял эти деньги и вместе с Крейндл удрал в Америку. Ему повезло, и он здесь стал «олрайтником», а Крейндл сделалась богачихой. Теперь у них своя фабрика галстуков.

Крейндл справляла годовщину смерти своей матери и по этому случаю пришла в синагогу. Здесь она встретила маму и не отреклась от старого знакомства. Узнав от мамы, что мой отец был кантор Пейся, она еще крепче подружилась с мамой и обещала ей помочь чем может. Мама ей ответила, что помощи ей не нужно, она хотела бы только получить работу для своих детей. Слово за слово, и богачиха добилась от своего мужа места на фабрике для моей золовки Брохи и для Тайбл. Недели две они ходили на Бродвей работать на фабрике. А потом мама добилась, чтобы им давали работу на дом, так что им не приходилось сидеть по целым дням в мастерской.

9

Однако это продолжалось недолго: покуда был сезон, они были заняты, а затем, когда работы не стало, наши женщины остались без дела. Но мы особенно не огорчались, потому что: «Господь бог одной рукой карает, другой исцеляет». Так говорит моя мама.

Я этого уразуметь не могу: к чему карать, а потом исцелять? Не лучше ли не карать, тогда богу и исцелять не приходилось бы... И еще говорит мама, что «господь посылает исцеление до хворобы...».

10

К чему это она говорит? Сейчас узнаете. Но давайте немного отдохнем, чтобы набраться сил для дальнейшего рассказа.

XIII. ИСЦЕЛЕНИЕ ДО ХВОРОБЫ

1

Я обещал вам рассказать, что моя мама имела в виду, когда говорила, что «бог посылает исцеление до хворобы». Дело было так.

Моему брату Эле надоело служить в еврейской колбасной компании. Это дело не для него. Не забудьте, что мой брат Эля — сын кантора Пейси. Он человек деликатный. У него голос, он хорошо умеет молиться у амвона. Пристало ли такому человеку подавать сосиски к столу? Но это само по себе было бы, может быть, не так уж важно — беда в том, что существуют разные люди. Есть люди благородные, порядочные. Такой человек заходит, велит подать себе порцию сосисок, садится, съедает, платит и — до свидания.

2

Существуют, однако, и другие люди. Иной раз попадаете невежа, вот он и начинает душу мотать. То ему кажется, что сосиски недостаточно горячи, то ему не хватает горчицы... Да и говорит он не как полагается: «Будьте, мол, добры, подайте еще одну порцию!» Он свистнет или щелкнет пальцами и рывкнет: «Эй, человек! Еще порцию!» А мой брат Эля не привык, чтобы с ним так разговаривали. Он вспыхивает и такому грубияну не отвечает. Тот начинает сердиться и кричит еще громче: «Эй, профессор! Поди сюда!» Тогда Эля отвечает: «Какой я вам профессор?..» Тот

еще больше раздражается и начинает кричать. Услышит это хозяин, подходит к моему брату и спрашивает по-английски:

— Что тут с тобой происходит?

Эля не отвечает.

— Почему ты не отвечаешь, когда я тебя спрашиваю? — кипятится хозяин.

А Эля говорит:

— Спросите у меня по-человечески, тогда я вам отвечу.

— А как это по-человечески? — говорит хозяин.

— По-человечески — значит по-еврейски... — отвечает Эля.

— А если я говорю по-английски, так я, по-твоему, крокодил?

— Может быть...

— В таком случае, — говорит хозяин, — получай расчет. То есть завтра можешь дома сидеть...

3

«Раз в три дня кусок хлеба есть буду, только бы не продавать сосисок!» Так говорит мой брат Эля. Наш друг Пиня с ним не согласен. Пиня придерживается того взгляда, что Америка страна свободная, что в Америке все пристало. А если вы хотите с ним спорить, он тут же приводит в пример своих миллионеров: «Карнеги... Вандербильт... Рокфеллер...»

— Откуда ты знаком с этими людьми? — спрашивает Эля.

— А откуда я знаю, что творится в русском «Дворе»? — отвечает Пиня.

— В самом деле, откуда ты это знаешь?

— Если бы ты читал столько романов, сколько я, — отвечает Пиня, — ты бы, может быть, тоже знал...

4

Пиня имеет в виду книги, которые он читает у переплетчика Мойше. Книги эти напечатаны на простом еврейском языке. Они толстые, тяжелые, тяжелее маминого молитвенника. Переплетчик Мойше дает их читать за плату. И зарабатывает на этом, потому что одну книгу читают чуть ли не сто человек — главным

образом женщины. Женщины любят романы. Моя золовка Броха читает их по субботам днем. Моя мама и Тайбл очень любят слушать, как Броха читает. Мама тут же засыпает, а Тайбл слушает и вздыхает. Иногда даже плачет — у нее сердце доброе. Будь это не в субботу и если бы можно было, я нарисовал бы кистью на бумаге, как Броха читает, как мама спит и как Тайбл плачет...

Однако мы немного заговорились, а между тем все еще не знаем, как это бог посылает исцеление до хворобы.

5

Прежде всего — о хворобе. Конечно, это хвороба, когда такой человек, как мой брат Эля, ходит без дела. Он не может работать так, как наш друг Пиня. Пине, например, ничего не стоит взять лопату зимой и чистить снег на улице. Эля говорит, что он бы тоже пошел чистить снег, но только не на улице.

— А чего бы ты хотел? — говорит Пиня. — Чтобы тебе твою порцию снега на дом приносили?

Эле досадно, что Пиня шутит.

— Тебе, видно, хорошо! Оттого ты и остришь! — говорит Эля.

— Конечно, хорошо, как только вспомню, что я живу в Америке...

— Счастье тебе привалило! — говорит Эля и с досадой уходит в «Касриловскую синагогу».

И вот тут, в «Касриловской синагоге», и приходит исцеление. Каким образом? А вот услышите.

6

Я, кажется, уже рассказывал вам, что в то лето, когда мы таскались по лондонскому Уайтчепелю, у нас на родине, в нашей милой Касриловке, произошел ужасный погром, с пожаром вдобавок. Все, что можно было разграбить, — разграбили. Что можно было сломать — переломали. Остальное подожгли и сожгли. Что касается бедняков, то о них говорить не приходится. Кроме нескольких подушек, им терять было нечего. Они благодарили бога, что в живых остались. Потому что были и такие, которых били и ко-

торые от этих побоев умерли. Несчастные ребятишки частью погибли от рук хулиганов, частью умерли с голоду. Но об этих не говорят. Говорят о тех, которые вчера еще были зажиточными, состоятельными, богатыми людьми, а на следующий день превратились в нищих, бедняков, без рубахи на теле и без куска хлеба. Вот об этих несчастных когда подумаешь, говорят наши,— мороз по коже дерет! Почему мороз не дерет по коже, когда думаешь о бедняках и об их несчастных детях,— я никак понять не могу. Мой товарищ Мендл тоже не понимает этого. Он говорит, что у касриловцев такая уж манера: если бедняк умирает от голода, это для них пустяки. А вот если богач превращается в нищего — их черт за душу хватает!..

7

Словом, среди наших касриловских богачей был один по имени Мойше-Нойах. Помимо того что он имел собственный дом и двор с садом, он вообще был богач. Доказательство: летом он расхаживал в одних кальсонах и в халате. Бедняк бы не отважился показаться в нижнем белье. Стало быть, надо полагать, что он был человек сильный, богатый,— он мог ни с кем не считаться. Кроме того, весь мир знает, что от матери ему остались в наследство три магазина посреди базарной площади. Была у него когда-то и дойная корова. Лавки на базаре приносили ему достаточно дохода, даже предостаточно. Тем не менее его жена Нехама-Мирл (ее называли «Дехаба-Бирл», потому что у нее был заложен нос и она гнусавила) добывала от этой коровы почти все пропитание для своих домашних. А для того чтобы никто ее скотину не сглазил, Нехама-Мирл любила жаловаться, что корова перестала доиться и больше не дает молока... Но Касриловку не обманешь. Все знали, что это вранье, что корова доиться не перестала и дает молоко...

Теперь представьте себе, что такой человек, как Мойше-Нойах, удирает в Америку, голый, босый, в чем мать родила,— как же его не пожалеть? Но что может делать Мойше-Нойах в Америке? Работать на фабрику он не пойдет, дети его тоже. И вот люди из касриловского землячества пожалели его и сделали служкой в «Касриловской синагоге».

Быть служкой в Америке — дело нешуточное. Служка в Америке живет лучше, нежели домохозяин в Касриловке. От одних поминок и годовщин можно разбогатеть. Здесь очень тщательно соблюдают годовщины. В течение всего года не молятся. Некогда: время — деньги. Но если у кого-нибудь случится годовщина смерти какого-нибудь родственника, он бросает все дела и бежит в синагогу. А из синагоги он бежит в еврейский ресторан и заказывает кошерный обед, потому что у него сегодня годовщина. Вот в таких случаях службе и перепадет немалая толика. А уж если у кого-нибудь сыну исполняется тринадцать лет, тут служба и вовсе крупно зарабатывает.

У нас на родине, когда мальчику исполнялось тринадцать лет, ему надевали тефилн и заставляли молиться каждый день. Здесь, в Америке, тринадцатилетие — праздник. Мальчику надевают маленький талес, и его, как жениха, вызывают к Торе. Пропищит он, как молодой петушок, главу из «Пророков», а потом поднимает руки и лепечет вызубренную наизусть проповедь, обязательно по-английски. Упаси бог — по-еврейски! Затем идут к раввину (здесь он называется «рабей», ходит бритый и выглядит, как у нас польский ксендз). Раввин накрывает мальчика своими широкими рукавами и благословляет его...

Короче говоря, Мойше-Нойах имеет хорошее занятие. Единственный недостаток в том, что он должен сам ходить по хозяевам и собирать пожертвованные ими деньги и ежемесячные взносы в пользу синагоги. Посудите сами, пристало ли человеку, который совсем недавно был богачом, служить сборщиком? Его жена даже плакала и изливала душу моей маме.

— Можете мне поверить на слово, — говорила она, — что каждый раз, когда мой муж отправляется собирать деньги, он жизни своей не рад...

Выслушав жалобы Нехамы-Мирл, моя мама посоветовала ей, чтобы Мойше-Нойах взял в сборщики моего брата Элю. Ему это будет в помощь, а брат заработает. Мойше-Нойах, конечно, ухватился за этот план обеими

руками. Мой брат Эля вначале колебался, ему это было не особенно приятно, но тут пришел на помощь Пиня. Он, по своему обыкновению, разговорился и задал Эле как следует:

— Не понимаю, откуда у тебя такая гордость? Чем ты лучше Карнеги, Рокфеллера, Вандербильда?.. И пошел!

Пиня умеет, если захочет!

10

Кто мог бы думать, что такая мелкая должность, как сборщик у синагогального служки, со временем превратится в большое дело? И даже не в одно, а в целых два дела. С одной стороны — в сборщика мебельной фирмы, для моего брата Эли, и, с другой — в сборщика страховой компании, для нашего друга Пини. Однако я вижу, что вы не понимаете, о чем я говорю? Погодите немного, я все объясню вам.

XIV. МЫ СБОРЩИКИ

1

В Америке хорошо то, что все вам приносят прямо в дом. И все вам дают на выплату. За один доллар в неделю вы можете обставить свою квартиру по-барски.

Здесь никто ничего не покупает за наличные деньги. Разве только такой человек, как Джейкоб Шиф. Он, говорят, самый богатый человек в Америке. Богаче его нет. Так говорит мой брат Эля. А наш друг Пиня уверяет, что Карнеги гораздо богаче, и Вандербильт тоже, а Рокфеллер и подавно! Но Эля не соглашается: ни в коем случае! Те, может быть, имеют больше земли, имений, но наличных денег — дудки! Шиф богаче всех. Тогда Пиня начинает горячиться и кричит, что Эля сам не знает, что говорит. Одних пожертвований Рокфеллер раздает за год больше, чем все состояние Шифа. Тут уж не выдерживает Эля и говорит Пине, что он юдофоб, антисемит, потому что, если бы Рокфеллер даже и был богаче Шифа, он все равно должен

был бы говорить, что Шиф богаче. Потому что Шиф еврей.

— Будь он хоть трижды еврей! — отвечал Пиня. — Из-за этого я буду лгать? Ты, Эля, чересчур часто забываешь, что мы в Америке, что в Америке терпеть не могут лжи!

— Столько бы болячек нашим врагам, да на хорошем месте, и столько добрых лет нам всем, сколько выдумок и лжи говорят за один день в Нью-Йорке, не считая Бруклина, Бронзвилья и Бронкса.

Так говорит моя золовка Броха, и спору приходит конец.

2

Коль скоро мебель дают на выплату по одному доллару в неделю, значит, нужен человек, который ходил бы из дома в дом получать эти доллары. Для этого существуют сборщики. Их много, каждый сборщик имеет свой участок, свои дома. Работа его состоит в том, что он должен постучать в дверь, потом войти и поздороваться. Потом он говорит: «Какая сегодня прекрасная погода!» Затем он выдает вам квитанцию, забирает доллар и говорит: «Гуд бай». Больше говорить не надо. Шапку снимать не обязательно. Здесь это не в моде. Можете войти в самый богатый дом в шапке, калошах, курить при этом сигарету, или насвистывать что-нибудь, или жевать ваш «чойнгом». Никто вам ни слова не скажет. На то и Америка.

3

Мой брат Эля очень доволен своим занятием. Это гораздо лучше, чем стоять в колбасной и продавать сосиски. Да и зарабатывает он гораздо больше. Раз на раз не приходится. Иную неделю зарабатывает восемь долларов, иногда десять, а то и двенадцать. Это зависит от погоды. При хорошей погоде можно ходить пешком, при скверной — приходится ехать на трамвае. А это стоит никель. Однако таких никелей у моего брата уходит немного. Потому что по натуре он человек скуповатый. Совсем не то что Пиня. У нашего

Пиня гораздо более широкая натура. Он редко ходит пешком. Он, говорит, вынужден ездить, так как он близорук, его и раздавить могут. И не столько из-за близорукости, сколько из-за того, что он вечно о чем-нибудь думает. У него голова пухнет. К тому же он ни минуты не может обойтись без того, чтобы не заглянуть в книгу или в газету. А иной раз бывает, что он вдруг начинает писать. Ходит, думает и думает, не слышит, что ему говорят, потом хватает карандаш или перо и начинает писать! Исписать он может десять листов со всех сторон. Что он там написал и что он делает с написанным — никто не знает. Даже его жена Тайбл — и та не знает. Когда Эля спрашивает, что он написал, Пиня отвечает:

— Поживем — узнаем...

Мы уже как будто бы пожили, но знать мы еще ничего не знаем.

4

Однако это не мешает нашему другу Пине зарабатывать на жизнь. Да как еще зарабатывать! Пиня тоже сборщик. Не по мебели, а по страхованию. Здесь все застраховываются: молодые и старые, женщины и дети, отцы и матери, сестры и братья, дедушки и бабушки. И тоже не на наличные, а в рассрочку, — от никеля и до доллара в неделю. Чем больше сумма страхования, тем больше вы должны платить. Есть такие дома, где все люди — от прадедушки до правнука — все застрахованы от смерти. А если застрахованы еще не все, сборщик должен застраховать незастрахованных. Что значит «страховать» и как это застраховывают человека от смерти, я точно не знаю. Знаю только, что мой брат Эля отказался от этого занятия. Он предпочел иметь дело с мебелью. Почему? Потому что сборщик платы за мебель должен обходиться, как я уже вам говорил, только словами «здравствуйте» и «до свидания». А при страховании надо говорить, уговаривать, заговаривать и переговаривать. На это мастер наш друг Пиня. Он и стенку разговорить может, он и мертвому язык развяжет.

Нашему Пине совершенно безразлично, кто вы такой и что вы такое. О чем бы вы ни говорили, он обязательно сведет на свое. Если вы застрахованы, вы можете говорить о страховании. А если вы не застрахованы, то вы подавно должны говорить о страховании. И уж если вы заговорили, то вы от Пини не отвертитесь. Уж он вас застрахует. А если не вас, то вашу жену, ребенка, деда, тещу, кузину, вашего соседа... То есть вы застраховываете себя с тем, что если ваш сосед умре раньше вас, то вы получаете от страховой компании добрых несколько сот долларов. Сосед ваш тоже застраховывается. То есть, если, упаси бог, вы умрете раньше его, он получит от компании несколько сот долларов. Платите вы оба по одному кводеру в неделю. Ходить сами выплачивать взносы вы не обязаны — компания приходит к вам. Не сама, а через сборщика. Пиня приходит и получает у вас деньги. За это ему платят пятнадцать процентов комиссионных.

Это — за сбор денег. А если он вас застрахует заново, то есть если он «выпишет вам новый полис», агент получает в пятнадцать раз больше. Иначе говоря, если вы уплачиваете один кводер страховой премии, агент получает от компании пятнадцать кводеров сразу! Вот и сосчитайте, сколько это составляет?! Теперь представьте себе, что нашему Пине удастся выписывать по два, по три, а то и больше полисов в день, и все по кводеру! Ведь это же целое состояние!

— Боже мой! Ведь вы весь дом золотом завалите! — говорит моя золовка Броха, а Тайбл даже краснеет, глядя на своего Пиню, достающего из всех карманов кводеры и никели.

— А вы что думали? — отвечает Пиня, раскладывая отдельно кводеры и никели. — Думаете, что Карнеги, Вандербильдт и Рокфеллер так и родились со своими миллионами?..

Где бы взять сейчас лист белой бумаги? Я нарисовал бы углем такую картину: стол, за столом сидит мама, сложив руки. Рядом с ней, по одну сторону, стоит Броха, высокая, долговязая, большеногая. По другую сторону — Тайбл, маленькая, щуплая, как цыпленок. Обе они работают — одна шьет, другая вяжет. У одного края стола — мой брат Эля, обросший бородой, держит пачку карточек в одной руке и стопку бумажных долларов в другой. Это он собрал за день. По другую сторону стола стоит, согнувшись, наш друг Пиня, бритый, настоящий американец. Он вытаскивает из обоих карманов кводеры и никели. А так как он близорук, то каждую монету он подносит к самому носу. На столе уже две высокие стопки: в одной кводеры, в другой никели. Но Пиня еще не кончил. У него еще много монет. Это можно видеть по его брючным карманам, которые распухли, чуть не лопаются...

Ничего нет вечного на свете, и никогда человек не бывает доволен тем, что имеет. Надоело нам ходить и собирать чужие доллары, кводеры и никели. Лучше маленькие булочки, да свои, нежели большие пироги, да чужие. Так говорит Броха.

Первым невзлюбил свое занятие мой брат Эля. Надоело ему дело, и не столько само по себе дело, сколько его клиенты. Некоторые перестали платить. Одни заявили: «Забирайте вашу мебель, она нам ни к чему не нужна...» Другие предъявляли претензии: «Почему кровать скрипит? Почему в зеркале сразу два лица видно? Почему ящики комода не хотят ни открываться, ни закрываться? И почему каждый стул весит три пуда? А когда сядешь на него — будто на гвозди сел!..» А кое-кто надумал переехать на другую квартиру. Вот и ищи их!

Но хуже всего вот что: есть такие, которые обязались платить еженедельно. Покуда они могли, они платили. А сейчас они больше не могут. Почему? Кормилец семьи заболел, или остался без работы, или случилась забастовка. Потерять клиента не хочется. Что же делать? И Эля выкладывает пока что из своего кармана.

Словом, что говорить? Скверно!

Думаете, наш друг Пиня доволен своим занятием? Тоже нет. Пока уломаешь клиента, говорит он, глаза на лоб вылезут. Разговариваешь с ним три дня и три ночи. Разъясняешь ему, дураку такому, смысл страхования, кое-как добился согласия, а на следующий день оказывается, что он раздумал или врач написал о нем бог знает что: не понравился ему клиент. Но хуже всего для страхового агента то, что клиенты часто перестают платить. Тогда у агента вычитают в пятнадцать раз больше того, что составляет страховая премия. Пиня говорит, что, если бы не отказы от уплаты премии, он бы весь дом золотом завалил! Но, на его счастье, несколько клиентов сразу, будто сговорившись, прекратили платежи.

— Пускай они сгорят — эти клиенты, и страховки, и агенты, и отказы — вместе со страховыми компаниями! — говорит Пиня.

Лучше уж он вместе с Элей начнет собственное дело. Несколько долларов они оба, с божьей помощью, скопили, они могут дело делать.

И решено было, что мы затеваем собственное дело.

ХV. МЫ ЗАТЕВАЕМ БИЗНЕС

1

Все, что душе вашей угодно, вы можете найти в газетах. Вплоть до птичьего молока. Если вы ищете работу, вы ее найдете в газете. Нужны рабочие руки — тоже найдете в газете. Ищете ли вы жениха или невесту — и их в газете найдете. Если вам нужно дело — то и его найдете в газете. Мы искали дело, поэтому мы стали изо дня в день просматривать газету и остановились на объявлении следующего содержания: «Постоянный сигарно-конфетно-сельтерский ларек продается. Напротив школы. Причина — семейные обстоятельства. Хороший доход гарантирован. Спешите!»

Если вы еще зелены, то есть недавно живете в Америке, надо вам растолковать, что значит ларек. Это — стол, за которым продают сигареты, письменные принадлежности, конфеты и содовую воду, а также

газеты. Стол этот помещается напротив школы. А продают его из-за того, что муж с женой разводятся, или по каким-либо другим семейным обстоятельствам...

2

Жена моего брата Эли, Броха, поначалу выступила с возражениями: во-первых, откуда известно, что все это правда? А во-вторых, к чему нам вмешиваться в чужие дразги? Если муж и жена хотят развестись, какое нам до этого дело?..

Думаете, Броха только в этом случае возражала? Она и во всяких других делах отыскивала недостатки. Мой брат Эля давно уже махнул на нее рукой. Но и досталось же ему от нее! Она дала ему понять, что у него нет никаких оснований зазнаваться. Пусть он не думает, что если он на три четверти обкорнал свою бороду, то он уже может задирать нос...

На это Эля ответил, что ее отец, пекарь Иойна, и во-все снял бороду... Но тут вмешался наш друг Пиня и сказал:

— Знаете что? Держу с вами пари — два против одного, что вы среди ста миллионов американцев не найдете и полудюжины человек с бородами! Иначе назовите меня лгуном!

— Ну и что же из этого следует? — спросила мама. — Что мне до всех?.. Поговорите лучше о другом...

Моя мама не любит, когда говорят о бородах. С нее, говорит она, достаточно того, что сын кантора Пейси так разделался со своей бородой!..

3

Дело, которое мы затевали, имело много достоинств. Первое — это то, что мой брат Эля, если вы помните, еще у нас дома был мастером по изготовлению разного рода напитков. Поэтому нам было выгодно готовить содовую воду и продавать большой стакан за один цент. С сиропом — два сента. Сироп мы тоже делали сами. Второе достоинство в том, что у нас были самые дешевые конфеты. За один цент мы давали полную горсть. Да и сами мы тоже могли сосать кон-

феты. Говоря «мы», я имею в виду себя, моего товарища — Мендла и Пиню. Мы втроем помогали Эле, стояли за нашим столом и лакомились, когда никто не видел. Только когда здесь бывала Броха, лакомиться было нельзя. А она, как назло, чуть ли не целыми днями торчала у лотка и помогала торговать. Мы все помогали, даже Тайбл, даже мама. Покупатель, когда подходил к нашему лотку, даже пугался, увидев семью с таким количеством бизнесменов. Но это к лучшему: покупатель любит лезть туда, где тесно.

4

Лучшее время для нашего дела — это лето, жаркие дни. Летом в Нью-Йорке сущий ад. Люди весь день едят мороженое. Продают его в сэндвичах, то есть между двумя бисквитами кладут немного мороженого. Это стоит пенни. Зарабатываем мы при этом ровно половину. Но главный наш заработок — вода. Это холодный напиток, который здесь называется «сайдер», что-то вроде кисло-сладкого или сладко-кислого кваса, который пенится и щиплет за язык. Те, что пробовали когда-нибудь шампанское, говорят, что у этого напитка точно такой же вкус. И хотя «сайдер» — напиток американский, тем не менее готовит его — кто бы вы думали? — мой брат Эля.

Чего только Эля не умеет? Вы не смотрите на то, что в нем чуть душа держится. Наш друг Пиня уже несколько раз упрекал моего брата в том, что его шампанское обладает одним только качеством — оно холодное. А вообще оно никуда не годится. Ничуть не сладко! На это мой брат отвечает: если это шампанское никуда не годится, отчего же Пиня по целым дням его хлебает?

— А что тебе, если я хлебаю? — говорит Пиня. — Сколько может выпить человек? Если я буду пить подряд с утра до ночи — и то не знаю, выпью ли я на один никель.

Тут вмешивается Броха и говорит, что никель тоже на улице не валяется. Тогда заступает за своего мужа Тайбл и заявляет, что ее Пиня — такой же компаньон в деле, как и Эля, а компаньон может, кажется, позволить себе израсходовать иной раз никель?

Хорошо, что мама сидит тут же. Она говорит, что

если бы ее озолотили, она бы и за грехи свои даже не притронулась к этому американскому напитку, который выглядит, как сивуха, и от которого тошнит!

Все смеются и поневоле перестают говорить друг другу колкости.

5

Позднее, в середине лета, когда поспевают арбузы, мы делаем еще лучший бизнес. Мы разрезаем арбуз на много кусков и получаем по сенту за кусок. Если попадется удачный арбуз, его превращают в золото. И несколько кусков еще остаются на столе. Тогда у нас хороший ужин. Потому что нарезанный арбуз нельзя оставлять на следующий день: от него остается месиво. Вот мы, то есть я, мой товарищ Мендл и Пиня, молим бога, чтобы оставалось как можно больше кусков...

6

Однако все это такие вещи, которые хороши в свое время. Пройдет лето, кончится сезон — и конец шампанскому и арбузам! Зато сигареты — это товар, не знающий никаких сезонов. Сигареты продаются круглый год, и мы на этом совсем неплохо зарабатываем. Сигареты бывают разные. Есть по сенту за штуку, а есть и дешевле — две штуки за сент. Сигареты — это тоже такой предмет, которым иной раз полакомиться можно, покурить тайком, чтобы никто не видал.

И надо же однажды случиться так, что я утащил сигаретку и мы с моим товарищем Мендлом ее закурили. Я потяну, и он потянет. И все прошло бы благополучно. Но существует на свете Броха. Надо было ей пронюхать, что мы курим сигаретку. Она пошла и доложила Эле. Тогда мой брат задал мне такую сигаретку, что я ее до сих пор помню! Дело было даже не столько в сигаретке, сколько в том, что это случилось в субботу. Сын кантора Пейси курит в субботу — за это убить бы следовало! Тут даже мама добавила, что поделом вору и мука...

С тех пор мы сигарет больше не курим. Я даже запаха их не выношу...

Кроме сигарет, у нас имеются еще и газеты для продажи. Еврейские газеты и журналы. Заработки от этого невелики, но зато нашему другу Пине есть что читать. Он не пропускает ни одной газеты. Как уткнется носом, его не оторвать. Тянет его, говорит он, к газетам, словно магнит. Ему и самому очень хочется писать в газетах. Он уже несколько раз был на Ист-бродвее, где газеты печатаются. Что он там делал — неизвестно. Думаю, что он носил туда несколько своих стихотворений. Потому что как только доставляют пачку газет, первым за них хватается наш друг Пиня. Он ищет и рыщет по всем уголкам, даже руки у него дрожат. Потом он срывается с места и бежит на Ист-бродвей. Мой брат Эля спрашивает, какие дела у него на Ист-бродвее. А Пиня отвечает, что он ищет бизнес.

— А разве у нас не бизнес? — спрашивает Эля.

— Вот это, по-твоему, бизнес? — отвечает Пиня. — Целая семья из семи едоков за одним лотком! Тоже мне дело!

— Откуда семь едоков? — спрашивает Эля.

Пиня считает по пальцам: он и Тайбл — двое, Эля и Броха — вот уже четверо, мама — пять, и два малыша — семь.

«Малыши» — это я и мой товарищ Мендл.

8

Маме досадно. Она заступает за меня и за моего товарища. Она говорит, что мы честно зарабатываем свой хлеб. Рано утром, до того как ларек открывается, мы разносим утренние газеты нашим клиентам. Потом мы ходим в школу (да, мы уже ходим в школу!). А когда мы возвращаемся, то помогаем делать бизнес.

Мама так и говорит, она уже тоже наполовину изъясняется на здешнем языке. Она говорит уже не «кухня», а «кичен», не «курица», а «чикен». Но беда в том, что она путает эти слова и получается у нее: «Пойду в курицу посолить кухню...»

Все смеются, она тоже смеется.

— Ладно, — говорит она, — как бы ни сказать, была бы думка хороша...

ХVІ. ХЕЛЛОУ, ЗЕМЛЯК!

1

Однажды утром я и мой товарищ Мендл обегали со свежими газетами наших клиентов. Вдруг я почувствовал удар в спину и услышал:

— Хеллоу, земляк!

Обернулся, смотрю — это Мотл! Мотл Большой — тот самый, который таскался с нами по белу свету: в Кракове и Львове, в Вене и Антверпене. Если вы помните, этот Мотл научил меня «показывать губернатора» и говорить животом. Он вместе с другими уехал гораздо раньше нас. В то время как мы блуждали по лондонскому Уайтчепелю, он давно уже был в Америке. У него уже тогда было занятие, которое он и сейчас не оставил. Он работает в заведении, где чистят платья. Как? Берут, говорит он, например, пару измятых брюк, кладут их в машину между двумя валиками, валики нагреваются, а потом поворачивают колесо, и — брюки выглажены!

2

— А вы чем занимаетесь? — спрашивает Мотл Большой.

— Мы, — говорю я, — доставляем газеты нашим клиентам, до того как идем в школу. А когда возвращаемся из школы, мы помогаем в деле. У нас ларек...

— Ого! — говорит Мотл Большой, удивляясь моему английскому языку. — Ты уже совсем неплохо говоришь по-английски. И сколько же зарабатывают в неделю такие бизнесмены, как вы?

— В среднем, — говорю я, — мы можем заработать один доллар в неделю. А иной раз — один с четвертью...

— И это все? — говорит Мотл Большой пренебрежительно. — Я один зарабатываю три доллара в неделю... А как звать этого джентльмена? — говорит Мотл, указывая на моего товарища.

Я отвечаю, что его зовут Мендл. Мотл смеется и говорит, что «Мендл» — это никуда не годится! Что это за имя?

— А как же ему называться? — спрашиваю я.

Мотл задумывается на минутку и потом говорит, что лучше бы моему товарищу называться Мэйк, а не Мендл. Мэйк — это красивее.

— А как же тебя звать? — спрашиваю я.

— Мэкс.

— В таком случае,— говорю я,— я тоже должен называться Мэкс. Ведь меня тоже зовут Мотл...

— Значит, твое имя Мэкс! — говорит он и прощается с нами: — Гуд бай, Мэкс! Гуд бай, Мэйк!

Мы уславливаемся встретиться в ближайшее воскресенье в кинематографе. Обмениваемся адресами и расходимся по своим делам.

3

В воскресенье, после обеда, я и мой товарищ Мэйк, которого недавно называли Мендл, идем в кинотеатр смотреть знаменитого артиста Чарли Чаплина. Мой брат Эля и наш друг Пиня тоже идут с нами. Всю дорогу они говорят о Чарли Чаплине: какой это большой человек, сколько он зарабатывает, и о том, что он еврей. Но так как Эля и Пиня никогда столкнуться не могут, мой брат спрашивает, чем так знаменит Чарли Чаплин. Пиня отвечает, что тысячу долларов в неделю не платят кому попало...

— Откуда ты знаешь? Ты считал его деньги? — спрашивает Эля.

Пиня говорит, что он об этом читал в газетах.

— А откуда известно, что Чарли Чаплин еврей? И об этом, говорит Пиня, пишут в газетах.

— А откуда это знают газеты?

— Газеты знают все! — отвечает Пиня. — Ведь вот знают же, что Чарли Чаплин немой от рождения, что он не умеет писать и читать, что отец у него был пьяница, что он сам был клоуном в цирке...

Эля выслушивает все это и говорит хладнокровно:

— А может быть, все это враки?

Пиня вспыхивает и говорит, что мой брат нудный человек... Я согласен с Пиней. Хоть Эля и приходится мне родным братом, но он все-таки нудный. Что правда, то правда...

4

Только мы подошли к кассе покупать билеты, как услышали:

— Здорово, Мэкс! Как поживаете, Мэйк?

Это был Мотл Большой, которого теперь уже называют Мэкс.

— Не покупайте билетов,— сказал он,— я угощаю...

Он достал из кармана полдоллара, бросил его девушке, сидящей у окошка, и приказал дать три билета «наверх», то есть на галерею.

— Это что еще за напасть? — спрашивает у нас Эля.

Мы рассказали ему, кто это такой. Эля смерил его взглядом с головы до ног и спросил, почему он с ним не поздоровался.

— Что же ты так заважничал в Америке, что тебе даже не пристало говорить по-еврейски?

Мотл Большой не ответил. Но в это время откуда-то из входных дверей послышался визгливый голос, будто кто-то с улицы сказал:

— Идиот!

Мы все обернулись к двери, но никого не увидели. Посмотрели с удивлением друг на друга. Эля бросился к дверям, Пиня — за ним, но и там никого не было. Посмотрели на потолок, по углам — нигде ни души. Что бы это могло быть?

А Мотл Большой взял за руки меня и моего товарища, и мы втроем взобрались на галерею. Тут он рассказал нам по секрету, что это он, Мэкс, животом произнес слово «идиот». И тут же повторил свой фокус. Нас обуял такой хохот, что мы едва могли высидеть и смотреть на все шутки, которые проделывал Чарли Чаплин.

5

За всю свою жизнь вы, наверное, не видели такого шута горохового, как этот Мотл Большой, или Мэкс. Уж на что, казалось бы, Чарли Чаплин мастер вытворять разные штуки! А Мэкс подражает ему, копирует его во всем. Когда мы вышли из театра, он приклеил себе пару черных усиков, как у Чарли Чаплина, надвинул котелок на лоб, как Чарли Чаплин, ноги вывернул и стал ходить, вихляя задом и размахивая тросточкой,— точь-в-точь как Чарли Чаплин! Мой товарищ Мендл, или Мэйк, не мог удержаться и бросился его целовать. И все люди, которые стояли возле театра на улице, указывали на него пальцами: «Вон идет второй Чарли Чаплин...»

Можете себе представить, что даже такой серьезный

человек, как мой брат Эля, и тот держался за бока и хохотал. Хохотал он, однако, недолго. Спустя минуту его веселье было омрачено. В чем дело? Дело в том, что вдруг послышался голос будто из-под земли, из погребка:

— Идиот!

6

Все наклонились, стали заглядывать в подвал, мимо которого мы проходили. Прислушивались. Мэкс тоже прислушивался, как и все, будто он тут совсем ни при чем... И вдруг голос донесся откуда-то сзади, сверху, будто с крыши:

— И-ди-от!

Эля, а за ним и все остальные задрали головы вверх и смотрели во все глаза. Это была замечательная картина. Я и мой товарищ Мэйк знали, откуда исходит голос, не могли удержаться и вдруг прыснули от хохота.

7

Это задело моего брата Элю. Будь это не в Нью-Йорке, на улице, мне бы не миновать оплеух. Но так как это произошло посреди Нью-Йорка, на улице, Эля ограничился тем, что хорошенько выругал нас — меня и моего товарища Мэйка. Потом он стал читать нам мораль. Он указал на Мотла Большого, то есть на Мэкса, и сказал:

— Берите пример с вашего товарища... Такой же паренек, как и вы, а вот он не хохочет...

— И-ди-от! — снова послышалось из-за спины Эли.

Эля обернулся, а на него глядя, обернулся и Пиня. Мы — вслед за ними. Обернулся и Мэкс. Я и Мэйк чуть не лопнули от хохота.

8

— В Америке камни говорят... — Так выразился наш друг Пиня. Он хотел бы только знать: кого это называют «идиотом»?

— Того, кто спрашивает, — ответил Эля.

Как же, однако, он был поражен, когда из-под земли вдруг послышался приглушенный голос:

— Ошибаетесь, реб Эля! Идиот, извините, это вы сами...

.

9

С тех пор мой брат Эля больше не ходит в кинотеатр и не хочет ничего слышать о Чарли Чаплине.

XVII. МЫ РАСШИРЯЕМ СВОЙ БИЗНЕС

1

В Америке не любят топтаться на одном месте. В Америке двигаются вперед, то есть растут, расширяются. Нашего ларька не хватало на то, чтобы содержать семью из семерых человек. Мы стали искать более крупное дело. Не ларек, не стол, а целый магазин, то есть лавку.

В Америке долго искать не приходится. Надо только, как я вам уже рассказывал, следить по газетам. Там можно найти все что угодно. Беда только, что за дело, которое на ходу, надо хорошо заплатить. Имя стоит денег. За фирму иной раз приходится платить больше, чем за товар. В доказательство могу вам сказать, что даже наш ларек, который приносил едва десять долларов в неделю, мы продали за хорошие деньги только из-за фирмы. Какой-то «зеленый» откупил его у нас. Он даже не особенно допытывался, сколько мы зарабатываем. Ему достаточно было видеть, что семеро душ вертятся вокруг одного лотка и живут. Стало быть, это — бизнес...

2

Ларек свой мы продали со всем товаром, с посудой и даже с витриной. Но секрета изготовления содовой воды, разного рода сиропов, а главное, напитка, который называется «сайдер», мой брат Эля не хотел раскрыть ни за какие деньги. Он сказал, что каждый делает то, что умеет. Вот, например, он изготавливает вино на пасху. Пасхальное вино моего брата славится по всей Америке. Вы не смотрите на то, что он его делает впервые! Все наши знакомые, которые молятся

вместе с нами в «Касриловской синагоге», пообещали покупать вино на пасху только у нас. Наш друг Пиня распространил слух и разрезвонил по Нью-Йорку, что мой брат Эля изготавливает пасхальное вино, которое может пить сам президент. А трезвонить наш Пиня большой мастер. Здесь это называется «реклама». Пиня говорит, что на этом, на рекламе, держится вся Америка. Каждый купец может расхваливать свой товар, каждый рабочий может рекламировать свою работу. Весь мир может знать, что мой напиток кислее уксуса, а я могу объявлять, что он слаще сахара. Вы можете быть убеждены, что работа моя ломаного гроша не стоит, а я могу ее ценить в миллион. На то и Америка — свободная страна.

3

Расхвалив и разрекламировав по всему «Дауптауну» пасхальное вино моего брата Эли, Пиня однажды отозвал его в сторону и сказал:

— Послушай, Эля, я расписал твоё пасхальное вино как нельзя лучше. Смотри же, не осрами меня. А то ты, чего доброго, наготовишь вина такого же вкуса, как твой напиток в Касриловке... Помни же, что это Америка, что здесь пьют вино, а не квас.

Эля чувствовал себя обиженным и не хотел отвечать. За него ответила Броха. Она словно кипятком ошпарила Пиню:

— Посторонний человек, услышав такие речи, мог бы подумать, что в Америке живут одни только знатные люди и аристократы, которые ничего, кроме вина, не пьют и как сыр в масле катаются... Дал бы мне господь столько счастливых лет, сколько кружек суровца¹ и огуречного рассола здесь выпивают за день!.. Я своими глазами видела олрайтницу с Гренд-стрит, которая заказала ведро яблочного кваса и сотню кислых яблок, кислиц... И уверяю вас, что эти кислицы гораздо лучше и вкуснее здешних апельсинов и грейпфрутов, — даже не поймешь, как их резать и с чем их едят...

Я не передаю до конца всего, что сказала Броха, потому что она, как начнет говорить, не так-то скоро кончит. Пиня это тоже знает. В таких случаях он надевает шапку и уходит. Это самое лучшее средство. Я тоже так поступаю.

¹ Суровец — сырой мучной квас.

«Магазин по продаже конфет, сигарет, письменных принадлежностей, газет и т. п. спешно продается. Очень дешево. Выгодное дело. Лучшее соседство. Причина — одиночество владельца...»

Это мы вычитали в газете и сразу почувствовали, что дело нам подходит. Начали ходить осматривать магазин. Первыми пошли мужчины, то есть мой брат Эля, наш друг Пиня и мы вдвоем, то есть я и мой товарищ Мендл, которого уже зовут Мэйк. Нам дело понравилось. Затем пошли женщины: мама, Броха и Тайбл. Им не понравилось. Каждая из них обнаружила какой-нибудь недостаток. Мама сказала, что это слишком далеко от синагоги. Правда, на той улице тоже есть синагога, но это чужая, не наша «Касриловская синагога». Эля спрашивает: разве в той синагоге не тот же самый еврейский бог, что и в «Касриловской»? Но мама отвечает, что бог-то один, да прихожане другие. Она привыкла к касриловцам. С ними, говорит она, и молишься как-то по-другому. Она представить себе не может, как она будет слушать другого кантора, не нашего Герш-Бера?

Таковы претензии мамы. Броха находит другой недостаток: что мы будем делать с таким количеством комнат? На что нам пять комнат? Наша соседка Песя-толстая посоветовала лишние комнаты сдать квартирантам со столом.

Но Броха говорит:

— Этого еще не хватало! Возиться со столовниками...

А Тайбл, как попугай, повторяет вслед за Брохой то же самое.

Тогда Пиня обращается к своей жене:

— Может быть, ты бы когда-нибудь сказала свое собственное слово, а не пережевывала слова Брохи?..

Тогда выступает Броха и окатывает Пиню холодной водой:

— Всяк судит о другом, а не о себе...

И Тайбл снова повторяет вслед за Брохой:

— Всяк судит о другом, а не о себе...

— А что бы ты стала делать,— говорит Пиня, обращаясь к своей жене,— если бы ты была одна? На это отвечает Броха:
— Если бы да кабы...
И следом за ней то же самое говорит Тайбл.
— Тьфу! — сплевывает Пиня и уходит.

6

Думаете, одни мы ходили смотреть магазин? Ходили также наши родственники, друзья и знакомые. Прежде всего пошел пекарь Иойна, затем пошла его жена. Вдвоем они пойти не могут, так как не на кого оставить пироги. Вот они и ходят поодиночке. Потом пошел переплетчик Мойше, а за ним Песя-толстая... Впрочем, извините меня, я ошибся: раньше пошла Песя-толстая, а уже потом переплетчик Мойше. Еще пошло несколько наших знакомых, которые молятся с нами в одной синагоге, то есть несколько касриловцев, знающих толк в делах. Но владелец магазина их плохо принял. Попросту говоря — выгнал. Он заявил, что никак не мог себе представить такую огромную семью! Это задело мою маму. И она отправилась вместе с Брохой. Броха закатила ему такой концерт, что он ее надолго запомнит. Кончилось это тем, что этот бизнесмен поклялся перед богом, что продает свое дело только потому, что собирается жениться. Но теперь он уже раскаивается. Если у женщины, говорит он, может быть такой язычок, как у нашей Брохи, то жениться не стоит. Лучше, говорит он, оставаться до гроба холостяком.

7

Однако это только так говорится. Бизнесмен так же горячо хотел продать свое дело, как мы желали его купить. Тем более что наш ларек мы уже почти продали. Я говорю «почти», потому что наш покупатель силой всучил нам десять долларов в задаток. Здесь это называется «депозит». Мы уже раскаивались, что взяли депозит, потому что этот «зеленый» висел у нас над душой по целым дням и не хотел отходить от нашего ларька. Ужасно нудный человек, гораздо более нудный,

чем мой брат Эля. Мой брат — золото в сравнении с ним. «Зеленый» до того надоедал нам, что мы уже швыряли обратно его задаток, но он не хотел брать. Он влюбился в наш ларек, он был уверен, что мы богатеем.

— «Зеленый» остается «зеленым»! — говорит наш друг Пиня.

8

Что такое «зеленый» — право, не знаю. Мой товарищ Мэйк тоже не знает. Слышим, что говорят: «зеленый», «зеленый», и мы вслед за ними повторяем.

Вздумалось мне нарисовать покупателя нашего ларька мелом на тротуаре. Я намалевал его зеленым мелком. Все сразу узнали, кого я нарисовал, и хохотали. Кроме моего брата Эли. Он не смеялся. Бить он меня не стал, но заставил мокрой тряпкой стереть рисунок. Не то нам придется платить штраф. Попробуйте плюнуть на улице — немедленно вырастает городской (здесь он называется «полисмен»). Он берет вас за ухо и отводит в участок. А там вас штрафуют на пять долларов. В Америке очень строго!

9

Вы, пожалуй, думаете, что здесь всюду чистота, как в Антверпене, что никто не плюет на улице? Ошибаетесь. Плюют и харкают на чем свет стоит. Америка — свободная страна. Разве что на Пятой авеню не плюют. Да и то не везде. Только там, где живут миллионеры. Миллионеры не плюют. Плюет только тот, кому нехорошо. А богачу хорошо — чего ему плевать?..

XVIII. МЫ ПЕРЕЕЗЖАЕМ

1

В Америке — обычай: переезжать. То есть перебираться из одной квартиры в другую, меняют одно дело на другое. Все обязаны переезжать. Если кто-

нибудь не переезжает по доброй воле — его заставляют. То есть если вы не платите за квартиру, на вас подают в суд и выбрасывают на улицу. Это называется: вас выселили. Не удивляйтесь поэтому, если вас спросят: «Когда вы переезжаете?» А когда спрашивают, надо отвечать. Мой брат Эля однажды поплатился за то, что не хотел отвечать одному из наших клиентов, которого мы снабжаем спичками. Каждую неделю он получает у нас коробку спичек бесплатно. Здесь спички дают без денег. Да и незачем ждать, покуда дадут. Подходят и берут.

2

Клиент, о котором я рассказываю, — странный человек. Его стоит описать. Кто он такой, мы не знаем, где он живет и чем занимается, мы тоже не знаем. Человек он, судя по всему, небогатый. Это видно по его потертому костюму, который он носит постоянно, по поношенной шляпе и заплатанным ботинкам. Зато он человек очень аккуратный. Приходит он каждый день в один и тот же час, в одну и ту же минуту. Берет утреннюю газету, просматривает первую и последнюю страницы, заглядывает в середину и кладет на место. Ни разу он у нас ничего не купил, если не считать того, что каждую неделю он берет у нас бесплатно коробок спичек и ежедневно читает газету. Моему брату Эле это, конечно, досадно. Хорошо один раз, другой раз. Но не каждый же день! И вот однажды Эля ему сказал:

— Это стоит пенни...

Клиент продолжает свое дело: читает первую, потом последнюю страницу газеты.

Мой брат повышает голос:

— Это стоит сент!

Клиент взглянул на него, сложил газету и положил ее на место.

К о н е ц

ПРИМЕЧАНИЯ

МОНОЛОГИ

Цикл, объединяющий часть рассказов и новелл, написанных Шолом-Алейхемом в период с 1901 по 1916 г. в форме монолога.

ГОРШОК

Впервые напечатано в еженедельнике «Дер юд», Варшава, 1892.

Стр. 12. *...обед давала... «продавала» его и обратно «выкупала», и еще одно имя прибавила...* — По суеверным представлениям религиозных евреев, один из способов исцелить больного — дать обет пожертвования на благотворительные цели определенной суммы, соответствующей сумме числового значения букв имени больного, это называлось «продавать» и «выкупать». «Прибавить имя» означало «обмануть» ангела смерти.

Стр. 15. *«...горшок... придется выкинуть!»* — По законам иудейской религии запрещается смешивать молочное с мясным; религиозные евреи пользовались отдельной посудой для молочных и мясных блюд. Если молочное попадало в мясную посуду или наоборот, посуда и ее содержимое считались «трефными», и их выбрасывали.

ГУСИ

Впервые напечатано в еженедельнике «Юдише фольксцайтунг», Варшава, 1902.

Стр. 20. *Капорес* (искупление) — иудейский религиозный ритуал, состоящий в том, что в канун Судного дня мужчина берет петуха, а женщина курицу, и, читая соответствующую молитву, вертят птицей вокруг головы и произносят: «Да будет это моей заменой... моим искуплением. Этот петух (эта курица) пойдет на смерть, а я обрету счастливую, долгую и мирную жизнь!» Птица идет в пищу.

НЕМЕЦ

Впервые напечатано в еженедельнике «Юдише фольксцайтунг», Варшава, 1902.

БЕЛАЯ ПТИЦА

Впервые напечатано в ежедневной газете «Дер фрайнд», Петербург, 1904.

Стр. 37. *...не слушать звуков рога...* — В день иудейского религиозного Нового года (Рош-гашана) и другие праздничные дни в синагоге трубят в бараний рог (шофар).

Цшоке Г. (1771—1848) — немецкий педагог и публицист, сочинения которого были популярны у еврейских просветителей XIX в.

Эул — название последнего месяца иудейского календаря (соответствует августу — сентябрю).

ПРАЗДНИЧНЫЙ ЦИМЕС

Впервые напечатано в ежедневной газете «Дер фрайнд», Петербург, 1904.

Стр. 43. *Бунимович* — виленский банкир.

Любавичская синагога — синагога, в которой молились последователи любавичского цадика (вождь хасидов, проживавший в местечке Любавичи, бывшей Могилевской губернии).

Сирота — знаменитый кантор в России, впоследствии эмигрировавший в Америку.

Стр. 44. *...кормится за счет Двойры-Эстер...* — то есть в столовой благотворительного общества имени Двойры-Эстер.

Стр. 45. *...в шалаше...* — Набожные евреи в праздник кущей устраивают шалаш, символизирующий шалаша, в которых, по библейским преданиям, жили древнееврейские племена, бродившие сорок лет по пустыне.

ЗА СОВЕТОМ

Впервые напечатано в еженедельной газете «Дер тог» («День»), Петербург, 1904.

У ДОКТОРА

Впервые напечатано под названием «Человек с желудком» в еженедельной газете «Дер тог», Петербург, 1904.

«ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»

Впервые напечатано в газете «Дер фрайнд», Петербург, 1904.

Стр. 64. *Филактерии* (тефилн) — молитвенные принадлежности, представляющие собой кожаные коробочки, в которых помещены написанные на пергаменте библейские тексты.

Стр. 72. *Габай* — староста в синагоге или каком-либо братстве. *...милосердные из милосердных...* — характеристика евреев в Талмуде.

ИОСИФ

Впервые напечатано в ежедневной газете «Дер вег» («Путь»), Варшава, 1905.

Стр. 82. *...хрюкающего...* — здесь: свинина, которую иудейской религией запрещалось употреблять в пищу.

ХАБНО

Впервые напечатано в ежемесячном журнале «Ди юдише цукунфт» («Еврейская будущность»), Краков, 1905.

Стр. 96. *Ахадгаамизм, клойзнеризм* — разные течения в сионизме периода 1905 г.

Стр. 102. *«Змирес»* — субботние песнопения.

«Габдала» — молитва над свечами вечером на исходе субботы.

ТРИ ВДОВЫ

Впервые напечатано в газете «Дер фрайнд», Петербург, 1907.

Стр. 119. *Книга Иова* — одна из библейских книг философского содержания.

Стр. 122. *Нигилистка*. — Нигилисты — представители демократической, передовой интеллигенции 60-х гг. XIX в., отрицавшие принципы и традиции дворянской культуры. Противники революционной демократии называли «нигилистами» также всех революционно настроенных людей.

Эсеровки — члены или последовательницы мелкобуржуазной (а в годы гражданской войны — контрреволюционной) партии эсеров, существовавшей в России в 1905—1920 гг.

Кадетки — члены или последователи буржуазной партии, существовавшей в России в 1905—1917 гг.

Стр. 128. *Бундовец* — член еврейской мелкобуржуазной националистической партии «Бунд».

Стр. 129. *...будто сам господь изрек это на горе Синайской....* — Согласно библейской легенде, бог Яхве на этой горе объявил пророку Моисею религиозное учение Тору, изложенное в первых пяти книгах Библии.

С РИВЬЕРЫ

Впервые напечатано в газете «Ди найе вельт» («Новый мир»), Варшава, 1910.

ГИТЛ ПУРИШКЕВИЧ

Впервые напечатано в газете «Хайнт» («Сегодня»), Варшава, 1911.

Стр. 138. *Пуришкевич В. М.* (1870—1920) — крупный помещик-реакционер.

Стр. 142. *Пергамент* — депутат II и III Государственных дум в царской России, представитель партии кадетов.

Стр. 143. *Ниселович и Фридман* — депутаты III Государственной думы, представители партии кадетов.

МИСТЕР ГРИН НАХОДИТ ЗАНЯТИЕ

Впервые напечатано в газете «Дер тог», Нью-Йорк, 1915.

Стр. 145. *Джейкоб Шиф, Нейтан Штраус, Гери Фишл* — американские банкиры.

Стр. 146. *...если я вам скажу, что говорит мистер Грин, вы будете думать: зеленый? желтый? синий?* — Грин по-еврейски — зеленый, и персонаж, по ассоциации с этой фамилией, произносит слова, также обозначающие краски.

«Зеленый» — иммигрант в Америке до его акклиматизации.

Стр. 147. *Даунтаун* — часть Нью-Йорка, расположенная в низменности.

Стр. 148. *Аптаун* — часть Нью-Йорка, расположенная на возвышенности.

ИСТОРИЯ С «ЗЕЛЕНЫМ»

Впервые напечатано в газете «Вархат» («Правда»), Нью-Йорк, 1900.

РАССКАЗЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Новеллы этого цикла содержат много веселых и грустных рассказов, отображающих жизнь «бедных, разутых и раздетых еврейских детей». Шолом-Алейхем учил смеяться и удивляться, возмущаться и негодовать, бороться за свое счастье и счастье своих матерей и отцов любимых им Копеле, Мотеле, Двойреле.

НОЖИК

Впервые опубликовано в «Ди юдишес фольксблат» («Еврейская народная газета»), СПб., 1887.

Стр. 158. *«Бык, который боднул корову»* — начальные слова одного из трактатов Талмуда.

Стр. 159. *...завьяловский.* — Фирма Завьялова считалась до Октябрьской революции лучшей в России по изготовлению ножей.

Стр. 166. *Меер-чудотворец* — один из законоучителей Талмуда, живший во II в. В его честь в религиозных еврейских домах были специальные кружки, куда бросали мелкие монеты для благотворительных целей.

ФЛАЖОК

Впервые опубликован в «Дер юд», Варшава, 1900.

Стр. 176. *Лег-боймер* — тридцать третий день со второго дня пасхи, который считается праздником учащихся; дети и юноши освобождаются от занятий, и им разрешается развлекаться разными играми.

ХАНУКАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ

Впервые опубликовано в «Дер юд» («Еврей»), Варшава, 1900.

ЧАСЫ

Впервые опубликовано в «Дер юд», Варшава, 1900.

У ЦАРЯ АРТАКСЕРКСА

Впервые опубликовано в газете «Дер юд», Варшава, 1901.

Стр. 201. *Мондриш* — и с к а ж.: Мордехай.

Стр. 206. *Мемухон* — по Библии, советник Артаксеркса. В народном представлении — народный гонец.

Впервые опубликовано в «Дер юд», Варшава, 1901.

Стр. 216. *Мезуза* — кусок пергамента, на котором написаны библейские стихи. Свернутый свиток помещается в деревянный или металлический футляр и прикрепляется к косяку дверей. Мезуза — магическое средство, способное, как полагают верующие, уберечь от злых духов.

Стр. 220. *...четыре вопроса.*— Имеются в виду вопросы, задаваемые сыном отцу во время пасхальной трапезы по тексту «Сказания о пасхе».

Стр. 221. *Хомец* — мучные изделия из кислого теста; иудейская религия запрещает употреблять хомец в дни пасхи.

РЯБЧИК

Впервые опубликовано в «Дер юд», Варшава, 1901.

МАФУСАЛ

Впервые опубликовано в «Дер юд», Варшава, 1902.

Стр. 238. *Мафусал* (Мафусаил) — библейский персонаж, олицетворяющий долголетие, так как, согласно Библии, он жил девяносто шестьдесят девять лет.

СКРИПКА

Впервые опубликовано в журнале «Ди юдише фамилие» («Еврейская семья»), Варшава, 1902.

Стр. 252. *Тувалкаин.*— По Библии, Тувалкаин — первый кузнец «всех орудий из меди и железа». Безбородько спутал его с Тувалом (Фувалом), который, согласно Библии, играл на разных инструментах.

Царь Давид (XI в. до н. э.), по преданию, играл на скрипке.

Паганини Никколо (1782—1840) — великий итальянский скрипач и композитор.

- Стр. 254. *...владели мясной таксой... держали на откуп коробочный сбор.*— Налог на кошерное мясо, дозволенное иудейской религией к употреблению, отдавался царским правительством на откуп.

Стр. 255. *...солила мясо.*— По Библии, кровь содержит в себе души животных, потому ее запрещено употреблять в пищу. Во исполнение библейского предписания набожные евреи за час до приготовления пищи солят и вымачивают мясо.

ЦИТРУС

Впервые опубликовано в «Ди юдише фольксцайтунг», Варшава, 1902.

Стр. 265. *...в проекте.*— Так называли контору откупщика коробочного сбора.

Стр. 266. *Эсрог* (цитрус) — сорт лимона. Над эсрогом, если он имеет головку («питем»), произносят молитвы в праздник кушей.

Лулев — магический имитативный обряд, совершаемый в дни праздника кушей. В одной руке держат лулев, состоящий из пальмовой ветви, перевязанной тремя миртовыми и двумя ветками вербы, а в другой руке — эсрог, и ими машут в воздухе, что, по представлению верующих, служит магическим средством для вызова ветра и дождя.

Стр. 268. ...*корфинский* — то есть с острова Корфу, считался самым лучшим.

Стр. 269. «*Бытие*» — название первой книги Библии.

ЗЕЛЕНЬ К ПРАЗДНИКУ

Впервые опубликовано в «Ди юдише фольксцайтунг», Варшава, 1903.

Стр. 276. *Голиаф* — согласно Библии, филистимлянский исполиц, убитый Давидом.

Стр. 277. *Хагада* — сборник религиозных сказаний о пасхе.

ЖАЛОСТЬ КО ВСЕМУ ЖИВОМУ

Впервые опубликовано в газете «Дер фрайнд»; СПб., 1903.

ПЕСЕЛЕ, ДОЧЬ РЕБЕ

Впервые опубликовано в «Дер фрайнд», СПб., 1903.

Стр. 286. *Короткая пятница* — пятница в канун зимнего солнцестояния.

Великая суббота. — Так называют субботу в канун еврейской пасхи.

«*Поучение отцов*» — один из трактатов Талмуда, в котором сформулированы моральные принципы иудаизма.

...*он увидел...* — Имеется в виду Гиллель (I в. до н. э.), богослов и законоучитель; отличался кротостью и человеколюбием.

Стр. 291. *Миньен* — необходимый кворум (десять мужчин старше тринадцати лет) для совершения синагогального богослужения.

Тноим — брачный акт, который составляется до венчания и в котором оговорены материальные условия помолвки.

УБОГАЯ

Впервые опубликовано в «Дер фрайнд», СПб., 1903.

Стр. 300. ...*сидеть «ишве»*... — траурный обычай: в течение семи дней после смерти родного человека не выходить из дому, сидеть на полу без обуви и скорбеть по умершему.

Стр. 302. ...*поет на манер койгенов.* — По Библии, койген — потомок первосвященника Аарона, жрец. Во время синагогального богослужения в дни больших религиозных праздников койгены, благословляя общину, читают молитвенные гимны.

ЮЛА

Впервые опубликовано в «Дер фрайнд», СПб., 1903.

Стр. 320. *...я вижу семь коров.*— Имеется в виду библейский рассказ о египетском фараоне, которому приснилось семь коров.

ШАЛАШ — ЛУЧШЕ НЕ НАДО!

Впервые опубликовано в газете «Дер тог» под названием «Мойше — лучше и не надо», СПб., 1904.

ПРЕДПАСХАЛЬНАЯ ЭМИГРАЦИЯ

Впервые опубликовано в «Дер тог», СПб., 1904.

Стр. 331. *...с великолепным «востоком»...*— Имеется в виду вышитая или нарисованная картина на библейский сюжет, которую верующие евреи развешивали на восточной стене.

САМЫЙ МЛАДШИЙ ИЗ КОРОЛЕЙ

Впервые опубликовано в «Дер фрайнд», СПб., 1904.

Стр. 346. *...Не было в доме короля!*— Пасхальная вечерняя трапеза проводится в определенном порядке, поэтому она называется «сейдером» (сейдер — по-еврейски «порядок»). Сейдер предписывается совершать лежа, как это делали римские патриции во время пиршеств. Обычно сейдером правит глава семьи, именуемый королем.

Стр. 349. *...приступаю... ко второму бокалу из четырех...*— Во время пасхальной сейдеры предписано выпить четыре бокала вина. «Рабами мы были» — фраза из сборника «Сказание о пасхе».

ГЕЦЛ

Впервые опубликовано в «Дер фрайнд» под названием «История с орехами», СПб., 1904.

Стр. 350. *...во время войны...*— Имеется в виду русско-японская война 1904 г.

Стр. 352. *Раши* — рабби Шлойме Ицхаки (1040—1105), крупный комментатор Библии и Талмуда.

ТРАПЕЗА

Впервые опубликовано в газете «Ди цайт», Вильно, 1906.

ТРИ ГОЛОВКИ

Впервые опубликовано в «Дер фрайнд», СПб., 1908.

ЧЕТА

Впервые опубликовано в книге «Праздничная библиотека Шолом-Алейхема» под названием «Чета к пасхе», Одесса, 1909.

РАЗБОЙНИКИ

Впервые опубликовано в книге «Праздничная библиотека Шолом-Алейхема», Одесса, 1909.

Впервые опубликовано в «Ди найе велт», Варшава, 1910.

ПАСХА В ДЕРЕВНЕ

Впервые опубликовано в «Ди найе велт», Варшава, 1910.

Стр. 405. *Алеф и бейс* — первые две буквы алфавита (иврит).

МАЛЬЧИК МОТЛ

Повесть

Первая часть впервые публиковалась в течение 1907—1908 гг. в еженедельнике «Дос юдише фолк» и в газете «Дер фрайнд» под названием «Эмигранты». Вторая часть печаталась в 1916 г. в нью-йоркской газете «Вархайт».

Стр. 472. *Агоде* и *Слихес* — книги легенд и сказаний об исходе евреев из Египта.

Стр. 507. *Монтефиоре Мойше* (1784—1885) — английский банкир и филантроп.

Стр. 524. *«Ольянц»* (и с к а ж. *«Альянс»*) — комитет помощи эмигрантам.

Стр. 525. *...с обнаженными головами, с бритыми бородами...* — признак вольномыслия, ибо иудейская религия запрещает евреям обнажать свои головы и брить бороды.

Стр. 529. *«Эзра»* («Помощь») — благотворительный комитет.

Стр. 531. *...ему уже исполнилось тринадцать лет, хотя «тефилн» он еще не надевает.* — Согласно иудейскому вероучению, мальчик в тринадцать лет достигает религиозного совершеннолетия и обязан иметь молитвенную принадлежность «тефилн».

Стр. 547. *Дизразли Бенджамин* (лорд Биконсфилд, 1804—1881) — крупный английский политический деятель и писатель.

Стр. 549. *Йорцайт* — ежегодный обряд воспоминания о душе в день смерти близкого, сопровождаемый зажиганием свечей и чтением поминальной молитвы «Кадиш».

Стр. 559. *«Кол-нидрей»* — молитва, читаемая в Судный день.

Стр. 561. *Без обуви.* — Иудейская религия запрещает носить обувь в Судный день.

Стр. 562. *Разверзлось Черное море.* — Имеется в виду библейская легенда о чудесном переходе древнееврейскими племенами Черного (Красного) моря.

Стр. 563. *...потопа на земле никогда больше не будет.* — Имеется в виду библейская легенда о потопе и обещание бога впредь не поразить «все живущее» таким способом.

СОДЕРЖАНИЕ

МОНОЛОГИ

Горшок. <i>Перевод Я. Тайца</i>	7
Гуси. <i>Перевод М. Шамбадала</i>	17
Немец. <i>Перевод С. Гехта. Редакция И. Бабеля</i>	27
Белая птица. <i>Перевод М. Шамбадала</i>	37
Праздничный цимес. <i>Перевод Р. Рубиной</i>	42
За советом. <i>Перевод М. Зощенко</i>	46
У доктора. <i>Перевод М. Шамбадала</i>	58
«Царствие небесное». <i>Перевод С. Гехта. Редакция И. Бабеля</i>	64
Иосиф. <i>Перевод Л. Юдкевича</i>	81
Хабно. <i>Перевод Р. Рубиной</i>	96
Три вдовы. <i>Перевод М. Шамбадала</i>	106
С Ривьеры. <i>Перевод Р. Рубиной</i>	134
Гитл Пуришкевич. <i>Перевод М. Шамбадала</i>	138
Мистер Грин находит занятие. <i>Перевод М. Шамбадала</i>	145
История с «зеленым». <i>Перевод Р. Рубиной</i>	148

РАССКАЗЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Ножик. <i>Перевод Б. Плавника</i>	157
Флажок. <i>Перевод Я. Слонима</i>	170
Ханукальные деньги. <i>Перевод Д. Волкештейна</i>	183
Часы. <i>Перевод Е. Аксельрод</i>	195
У царя Артаксеркса. <i>Перевод Я. Слонима</i>	201
Омраченный праздник. <i>Перевод М. Шамбадала</i>	214
Рябчик. <i>Перевод Р. Рубиной</i>	228
Мафусал. <i>Перевод Л. Юдкевича</i>	238
Скрипка. <i>Перевод Л. Юдкевича</i>	247
Цитрус. <i>Перевод Р. Рубиной</i>	264
Зелень к празднику. <i>Перевод М. Шамбадала</i>	275
Жалость ко всему живому. <i>Перевод М. Шамбадала</i>	281
Песеле, дочь ребе. <i>Перевод Е. Аксельрод</i>	286
Убогая. <i>Перевод Е. Аксельрод</i>	294

Юла. Перевод Е. Аксельрод	305
Шалаш — лучше не надо! Перевод Р. Рубиной	322
Предпасхальная эмиграция. Перевод М. Шамбадала	330
Самый младший из королей. Перевод Р. Рубиной	338
Гецл. Перевод Л. Юдкевича	350
Трапеза. Перевод Л. Юдкевича	359
Три головки. Перевод Е. Аксельрод	366
Чета. Перевод Л. Юдкевича	372
Разбойники. Перевод Д. Волкенштейна	388
Эсфирь. Перевод Д. Волкенштейна	397
Пасха в деревне. Перевод М. Лецинской	402

МАЛЬЧИК МОТЛ

Повесть

Перевод М. Шамбадала

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I. Сегодня праздник — плакать нельзя!	415
II. Мне хорошо — я сирота!	427
III. Что из меня выйдет?	432
IV. Мой брат Эля женится	442
V. У меня выгодная должность	449
VI. Золотое дно	455
VII. Напиток моего брата Эли	459
VIII. Мы наводняем мир чернилами	465
IX. Последствия чернильного наводнения	472
X. Улица чихает	475
XI. Наш друг Пиня	481
XII. Мы едем в Америку!	487
XIII. Мы нарушаем границу	495
XIV. Мы уже в Бродах	502
XV. «Краков и Львов»	509
XVI. С эмигрантами	514
XVII. Вена — вот это город!	519
XVIII. Антверпенские чудеса	525
XIX. Орава	532
XX. Орава расплзается	539
XXI. Прощай, Антверпен!	544
XXII. Лондон, почему ты не сгоришь?	548

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

В Америке

I. Поздравьте нас, мы уже в Америке!	555
II. Разверзлось Черное море	562
III. В заточении	567
IV. Море слез	573
V. На твердой почве	578
VI. На нью-йоркской улице	583
VII. Орава на работе	588
VIII. Мы ищем занятие	594
IX. Мы работаем на фабрике	599
X. Мы бастуем!	605
XI. Касриловка в Нью-Йорке	610
XII. Мы делаем жизнь	615
XIII. Исцеление до хворобы	620
XIV. Мы сборщики	625
XV. Мы затеваем бизнес	630
XVI. Хеллоу, земляк!	635
XVII. Мы расширяем свой бизнес	639
XVIII. Мы переезжаем	643
Примечания М. Беленького	646

Шолом-Алейхем

Ш78 · Собрание сочинений. В 6-ти т. Т. 4: Монологи; Рассказы для детей; Повесть: Пер. с евр./Редкол.: Г. Бакланов, М. Беленький, В. Лакшин; Сост., примеч. М. Беленького.— М.: Худож. лит., 1989.— 655 с.

ISBN 5—280—00800—1 (Т. 4)

ISBN 5—280—00212—7

В четвертый том шеститомного Собрания сочинений выдающегося еврейского писателя Шолом-Алейхема (1859—1916) вошли: монологи, рассказы для детей и повесть «Мальчик Мотл».

Ш 4702210201—203
028(01)—89 подписное

ББК 84Е1

ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

Монологи

Рассказы для детей

Повесть

Редактор Л. ОСИПОВА

Художественный редактор А. МАКСИМОВ

Технический редактор Г. МОИСЕЕВА

Корректор Г. ГАНАПОЛЬСКАЯ

ИБ № 5381

Сдано в набор 11.10.88. Подписано в печать 07.04.89. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага кн.-журн. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 34,44. Усл. кр.-отт. 34,44. Уч.-изд. л. 34,34. Тираж 150 000 экз. Изд. № IV-3211. Заказ № 44. Цена 3 р. 10 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Вавоная, 28

**ШОЛОМ-
АЛЕИХЕМ**

4